



2

ВЕРА КЕГЛИНСКАЯ

2

Вера Кеглинская



ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

*Собрание сочинений
в четырех томах*



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1979

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

Собрание сочинений

Том 2

В ОСАДЕ

роман



ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1979

P2
К 37

Оформление художника
Н. ВАСИЛЬЕВА

К 70302-051 подписное
028 (01)-79

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1979 г.

В ОСАДЕ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

КОНЕЦ АВГУСТА

1

Смеркалось. Река тускло сияла, всей своей гладью вбирая последний угасающий свет погожего дня. Из леса сильнее потянуло запахами сосновых стволов, нагретых солнцем, и увядающей травы — мирными запахами начинающейся осени. Но вдали, над потемневшим горизонтом, вспыхивали кровавые зарницы, сопровождаемые глухими раскатами, и в чистом, живоительно свежем воздухе с режущим свистом проносились снаряды, разрываясь где-то за лесом, за скошенными лугами.

Сорок мужчин и женщин ожесточенно и молча работали, углубляя траншею. Скрежетала под лопатами каменная земля, гулко ухали кирки, ударяясь о камни, над насыпью размеренно взлетали и рассыпались комья влажной земли. Мелкие камни срывались, скакали по обрывистому берегу и звонко шлепались в воду. Слышалось тяжелое, прерывистое дыхание утомленных людей, ускорявших движения каждый раз, когда снаряд вспарывал над ними воздух.

— Поди-ка сюда, Маша! — позвал Сизов, распрямляя ноющую спину.

Он снял кепку и подставил дуновению речного ветерка посеревшее лицо и седые, взмокшие от пота волосы.

— Закурим? — предложил он, прислоняясь к стенке траншеи и вознею с папиросами и спичками пытаться унять дрожь пальцев.

Мария рассеянно взяла папиросу, прикурила и несколько раз затянулась горьковатым дымом отсыревшего табака.

Над ними неожиданно басовито прогудел снаряд.

— А где-то здесь, совсем рядом, наша дача, — удивленно сказала Мария.

Снаряд разорвался ближе, чем все прежние, земля под ногами содрогнулась, с насыпи посыпались камешки.

— Злятся! — презрительно крикнула Соня, на секунду вскинув побледневшее лицо, и размахисто ударила киркой неподдающийся камень.

«Злятся... На кого? На нас? Значит, стреляют именно в нас?» Марии уже пришлось в последние дни осваиваться с новыми, вдруг ворвавшимися в жизнь понятиями: «пристрелка», «берут в вилку», «обстрел квадрата»... Вот этот берег, эта влажная земля и работающие тут люди — квадрат, взятый на прицел...

Ей стало страшно, захотелось вдавиться в стенку траншеи, не видеть, не слышать... Упрямо тряхнув головой, она отшвырнула папиросу и заставила себя выбраться наверх. Тяжело карабкаясь вслед за нею, Сизов усмехнулся и крикнул ей:

— Вот тебе и дача!

Мария поглядела назад, где уже сгустилась вечерняя мгла, где были, но почему-то молчали свои. Затем повернулась к югу, где находились еще не видимые немцы, откуда неслись их свистящие снаряды. Зарницы, возникавшие там, отсвечивали теперь на полнеба. Сияние реки погасло, над низким западным берегом уже клубился туман. Мария поежилась от сырости и неясного страха, — туман окутывал прибрежные кусты, в его медленном движении каждый куст казался притаившейся, осторожно подползающей фигурой.

— Что ж, мы свое дело сделали, — сказал Сизов, оценивая взглядом укрепления, протянувшиеся вдоль берега. — Вроде неплохо сделали, — добавил он без радости, думая о чем-то своем.

Мария тоже оглядела построенные ими укрепления. Ее подвижное лицо — одно из тех лиц, что привлекают не красотой, а неуловимой и милой неправильностью черт и живой сменой выражений, — осветилось удовлетворением, гордостью. Но потом оно померкло, как будто до него дотянулся ползущий от реки туман.

— Иван Иваныч... куда ж это наш майор запропастился?

— М-д-да... — неопределенно протянул Сизов и покоился в сторону недалекого, но не видного за поворотом реки моста, откуда донесся дробный треск пулеметной и винтовочной стрельбы. Не желая волновать свою помощницу, он деловито сказал: — Сейчас кончим и разыщем, пусть принимает участок.

Пронзительный воющий звук возник над ними, будто падая с неба.

Мария скатилась в траншею и больно ударилась коленом об острие брошенной лопаты. Все лежали, только Соня стояла, стиснув в руках кирку и подняв к небу вздернутый носик, да старая Григорьева, прижимаясь к стенке траншеи всем своим мощным телом, гневно поводила глазами. Звук удара и разрыва слился с новым воющим звуком.

— Нервных просят выйти,— сказал Сизов. — Мины.

Всегда спокойная Лиза, сестра Сони, зажала уши пальцами и заплакала.

— Молчи! — злобно крикнула Соня.

— Пришлите аптечку,— передали с другого конца траншеи. — Ранен Сашок.

Лиза, всхлипывая, вскинула на плечо медицинскую сумку и поползла по траншее туда, где несколько темных фигур склонились над общим любимцем — пятнадцатилетним Сашком.

— Черт знает что! — проворчал Сизов. — Минометы бьют на близкую дистанцию...

— Опять! — прошептала Мария.

Завывание мин было самым противным, самым страшным из всех звуков войны, день за днем надвигавшейся все ближе и ближе.

— Как Сашок? — крикнула она, стараясь преодолеть страх, и встала.

— Пустяком отделался, парापина,— издали ответила Лиза. — Кончаю перевязку.

Сизов поплевал на ладони и взялся за лопату. Он не хотел приказывать, просто начал работать сам,— он это делал все время с тех пор, как война подошла вплотную. И Мария, втягивая голову в плечи, тоже принялась за работу. Григорьева громко вздохнула, со злобой рванула и выкинула из траншеи тяжелый камень. Было слышно, как он стукнулся о бревно, грузно поскакал по склону и бултыхнулся в воду.

— Куда наши-то подевались, не пойму! — сердито сказала Григорьева, выковыривая киркой второй камень. — То над душой висели, торопили, а когда работу принимать — никого нету!

— Большой бой идет,— вслух подумала Мария. — Попадётся рубеж — придут.

Минометный и артиллерийский обстрел прекратился, но от наступившей тишины стало еще страшнее.

— Идут! — крикнули с дальнего края участка.

Из полутьмы вывалились сгорбленные фигуры. Было что-то пугающее в их неверной походке, в угрюмо опущенных головах, в том, как они жались друг к другу, словно боясь потеряться. Мария кинулась навстречу: это были свои. Некоторые вели под руку раненых, а один качался, как пьяный: он нес на спине товарища, и нес, видимо, давно, — движения его были неточны и дышал он с хрипом.

— Кто идет? — окликнул Марию один из бойцов.

— Это мы... окошники... — сказала Мария, испуганно разглядывая эту странную, никем не руководимую группу.

— Так что же вы здесь делаете? — вскричал боец. — На кой черт торчите здесь? Вы ж одни остались, все ушли! Мы — последнее прикрытие!

— Как?

— А вот так! — Боец сплюнул и сказал тише: — Хорошо, они не пронюхали, а то бы давно здесь были...

Мария напряженно всматривалась в полумраке в его лицо, грязное, морщинистое, измученное, злое, и под этой маской страдания и грязи ей мерещилось что-то молодое, знакомое, близкое, — и в этом молодом и близком было безысходное отчаяние. Она не поверила словам бойца, вернее — не поняла их толком, это было слишком дико и страшно, но она поверила его отчаянию, и оно ошеломило ее.

— Но почему? Почему? — спросила она, силясь понять. — Почему отступать? Мы так построили... и река... Майор говорил — им ни за что не пройти...

— Не знаю... — мрачно сказал боец. — Только сил никаких нет... Пять суток... каждый день... каждый день... и как!.. Сколько может человек!.. У них авиации туча, головы не поднять... Улетят и листовки бросают: «Ушли на заправку, ждите через двадцать минут»... Я в них из винтовки, из винтовки, из винтовки!.. К черту! — вдруг выкрикнул он высоким мальчишеским голосом, и губы его затряслись так, будто он сейчас заплачет. — К черту, уходите, ломайте всё, будем драпать дальше, пока не сдохнем!

— Митя! — прошептала Мария.

Теперь, когда он почти плакал, она разом узнала его, узнала в этом грязном, постаревшем, измученном, иска-

женном злобой лице знакомые черты Мити Кудрявцева, своего соседа по квартире. Боже мой, Митя! В мгновенном проблеске памяти возникло его лицо, которое было ничем не похоже на сегодняшнее, настолько начисто стерла с него война юношеское, доверчивое выражение. Мария провожала его на фронт. Да ведь это было всего полтора месяца назад!.. Форма на нем была новенькая, аккуратная, за ремень винтовки были заткнуты цветы, он был свежевыбрит, и окружали его друзья, студенты-ополченцы. Он не смел при всех поцеловать ей руку, а только погладил и сказал: «Целую...»

— Вы, Марина?.. — пробормотал Митя, болезненно морщась, будто старался узнать и все-таки не узнавал. — Ну, и... уходите! Уходите скорее, или вы не понимаете?

— На кой дьявол вас здесь оставили? — сказал другой боец и поправил винтовку, висевшую у него на плече дулом вниз. — Пошли, ребята! И вы за нами. Или вам жизнь не дорога?

— Я не знаю... — растерянно сказала Мария. — Мы сдали участок...

— Да пусть он провалится к... ваш участок! — закричал Митя ненужно громким голосом.

Мария отшатнулась от него и побрела назад, в траншею.

— Надо уходить, товарищи,— сказала она. — Наши отступили, надо уходить.

И стала собирать инструменты.

Все было кончено, все гибло. Сколько дней жила она вдохновляющей надеждой, что вот здесь, на построенном ею рубеже, будет остановлен бешеный напор врага! Сколько дней они все работали сверх сил, чтобы построить в срок, построить прочно... Напрасно! Поздно... Снова и снова вставало в ее памяти измученное лицо Мити с трясущимися, непослушными губами. И страшнее его слов было то, что для него сейчас, видимо, не существовало ни прошлого, ни будущего, ни уважения, ни любви, ни целомудрия, ни надежды...

— Скорее, товарищи, скорее! — повторяла она. — Мы не доберемся до своих, скорее!

— Спокойненько! — негромко, но отдельно сказал рядом Сизов. — Лопаты сосчитайте, бабоньки, все ли?

— Все, все, сама считала,— откликнулась Григорьева.

Митя и другие бойцы уже удалялись. Окопники тронулись следом. И как только они, оторвавшись от

напряженного целеустремленного труда, вышли через темные перелески на пустые дымящиеся луга, война окружила их всеми своими зловещими звуками и красками. Гремели выстрелы, вдали дрожало зарево пожара, где-то громыхали гусеницами танки, гудели моторы, вплетая свой утробный гул в какофонию боя.

Уже совсем стемнело, когда они вышли к шоссе. В темноте, прорезаемой вспышками, было трудно разобрать, где и как идти. Все шоссе было запружено машинами, людьми, орудиями, повозками; гремели тягачи, истошно гудели автомашины, ругались шоферы и водители, стонали раненые, натужно кричали командиры, пытаясь установить порядок.

Просвистел снаряд; столб огня, земли и дыма взметнулся впереди, на миг озарив округу, и в мгновенном, как вспышка магна, свете Мария увидела нарядную, белую дачу с башенкой. Она узнала эту дачу. Мимо нее они часто проезжали с Борисом в самые первые дни их любви, когда все вокруг казалось прекрасным и как бы созданным для них, для счастья. И невероятным, диким показалось ей все, что окружало ее сейчас, и все, что ожидало ее впереди, и трудно было поверить, что ее Борис находится где-то здесь, в двадцати километрах, в своем райисполкоме, который теперь, наверное, уже не райисполком, а какой-нибудь штаб обороны или штаб формирования партизанских частей.

Она шагала по обочине, туло глядя под ноги и стараясь ни о чем не думать, не вспоминать. Густая грязь облепила ботинки, стало тяжело передвигать ноги. Мария попробовала выйти на кромку шоссе, но поскользнулась и упала. Загудел над ухом грузовик; она вскочила и уже не нашла рядом никого из своих. Крыло второго грузовика чуть не сбilo ее с ног, она отскочила в сторону и побрела одна по вязкой грязи, всхлипывая и качаясь.

Некоторое время она шла рядом с грузовиком, который чуть не сбilo ее, потом грузовик уполз вперед, а за ним шли пехотинцы, — они шли спотыкаясь, без строя, раненые вперемешку со здоровыми, шли молча, даже не ругаясь. Потом и пехота ушла вперед, а рядом оказался тягач с орудием. Мария уже не пыталась нагнать своих, ей только хотелось не отставать от других, хотя бы вот от этого тягача, чтобы не оказаться позади всех. Тракторист орал, требуя, чтобы ему уступили дорогу, но идущей впереди пехоте некуда было податься, и орудие еле про-

двигалось; стиснутое со всех сторон разнородной гущей людей и машин. Потом Мария отстала и от этого еле ползущего орудия и некоторое время стояла, в каком-то оцепенении наблюдая возню около двух сцепившихся повозок. Она смотрела и слушала ожесточенную ругань возчиков, ничего не воспринимая. Затем она вдруг вспомнила Митю, его грубое ругательство и трясущиеся губы, но теперь ее уже не ужаснуло состояние безнадежности и распада, овладевшее Митей. Она снова поскользнулась и упала, и не нашла в себе сил, чтобы подняться и шагать дальше. Кто-то толкнул ее сапогом и чертыхнулся. Очень близко разорвался снаряд, раздался скорбный вопль и отчаянное ржание раненого коня... Мария разом очнулась от оцепенения и даже не подумала, а мимолетно ощутила: «Ленинград... Андрюша...» — и рывком поднялась на колени, сясь встать.

— Жива? — спросил над ее ухом дружеский голос. Сильные руки помогли ей подняться.

— Василий, тут женщина ослабла, возьми-ка ее под ту руку.

Мария пошла, опираясь на руки незнакомых бойцов. С трудом передвигая отяжелевшие ноги, она думала о том, что теперь, наверное, дойдет и что нельзя не дойти, и, может быть, ничто еще не погибло. Минутами ей казалось, что это Борис почувал, как ей плохо, и пришел ей помочь, и ведет ее сквозь трагический хаос ночного отступления, и она верила, что есть еще и прочность прежнего, привычного мира, и надежда, и возможность все исправить, изменить, отстоять... Она жадно вглядывалась в темноту, но вспышки разрывов озаряли все то же запруженное машинами и людьми шоссе, падающих и ковыляющих раненых, у которых нет другого выхода — ковылять со всеми или отстать и погибнуть. И Мария, все более теряя силы и способность идти, знала то же — надо все-таки идти и идти или отстать и погибнуть.

— А ты не плачь,— вдруг сказал Марии ее незнакомый спутник. — На то и война. Враз не победишь. Это тебе не гулянка. Всякое бывает.

Странно было слышать сейчас эти грубовато-спокойные, простые слова, но в них была правдивость, в них Мария обрела нужное ей простое объяснение непонятного и сложного явления.

— Да,— сказала она. И виновато добавила: — Я очень устала. Мы с рассвета копали. Но я дойду.

«Дойду», — повторила она про себя и удивилась неожиданно возникшей уверенности, потому что ей неясно было, куда надо пойти, где все это кончится, где еще существует иной, прочный, привычный мир, да и существует ли он вообще.

2

Андрюшка играл на полу в косом луче солнца. Мягкий розовый свет озарял белобрысую головку и пухлые ручки, разбирающие пирамиду цветных колец. Этот розовый свет пронизывал края откинутых занавесок и дымящийся на столе чай. Марии хотелось протереть глаза — не спит ли она? Или, быть может, она спала вчера и в ночном кошмаре ей привиделось то, чего не могло быть на самом деле, чего не должно быть?

Она вышла в кухню и увидела свои еще не вычищенные, облепленные грязью ботинки.

Мать, как всегда подтянутая, с завитыми и тщательно уложенными волосами, счищала присохшие комья грязи с ее пальто. На руках у нее были старые перчатки: Анна Константиновна берегла свои пальцы пианистки.

— Как хорошо дома, — сказала Мария, целуя мать.

Она вернулась к сынишке, присела рядом с ним на ковер и помогла ему расцепить кольца. Андрюшка разметал их по ковру, но тотчас притянул к себе и стал соединять с той же напряженной деловитостью, с какой за минуту до того старался их разъединить.

— Пей чай, Муся. Остынет, — сказала, входя, Анна Константиновна.

— Пусть стынет... Мама!

— Что, детка?

— Мама... от Бориса ничего не было?

— Ах, я сама так тревожусь... Сегодня в булочной говорили, что немцы сбросили парашютистов в Гатчине...

— Ох, не слушай ты, бога ради, что говорят в булочной!

— Да я и не верю, но ведь уши не заткнешь... А ты мне никогда ничего не рассказываешь.

— Что же мне рассказывать?

— А ты знаешь, что у тебя пальто пробито пулей или осколком, уж не знаю чем, только...

— Наверно, папиросой прожгла. И от Оли ничего не было?

— Уж Олю-то Борис наверняка эвакуировал. А за Бориса ты не бойся, он такой разумный и осторожный человек.

— Осторожный?

Странно, что мама, так хорошо умеющая разбираться в людях, совсем не понимает Бориса! Или она просто втайне недолюбливает его? Любого безрассудства, необдуманной смелости можно ждать от Бориса скорее, чем осторожности и рассудительности. Но даже если в нем и есть осторожность и рассудительность, они сейчас будут использованы им в таком страшном, таком опасном деле...

Резкий звонок заставил вздрогнуть обеих женщин. С одной мыслью побежали они открывать дверь.

Нет, не Борис!

Незнакомый лейтенант танковых войск держал конверт в запяленных руках, покрытых разводами грязи.

— Лейтенант Кривоzub! — весело представился он. — Марии Николаевне Смолиной письмецо от двоюродного брата. Жив, здоров, кланяется.

Письмо Алеши было коротко. Несколько бодрых слов, приветы: «Достается нам здорово, но духа не теряем. Отступаем с боями, лупим их сколько можем. Не беспокойтесь, к вам не пропустим». И всё.

Мария дала лейтенанту помыться и напоила его чаём. Лейтенант пожаловался, что не знает города, а ему давали кучу писем, и все надо разнести сегодня до темноты, чтобы к ночи поспеть на завод за новым танком. Вид у него был смертельно усталый, и, как только он на минуту замолкал, глаза его начинали слипаться. Но Марию приятно поразило его отличное настроение. И снова ей показалось, что вчерашний хаос на шоссе и встреча с Митей были дурным сном.

Лейтенант похвалил Андриюшу: «Ух ты, крепыш!» — и любезно сказал Марии, что Алеша — хитрец! — скрывал, какая у него красивая двоюродная сестра.

— Да ему и вспоминать нас, наверное, некогда, — заметила Мария, с удовольствием возвращаясь к забытому в последние дни ощущению своей привлекательности.

— Вот так раз! — воскликнул Кривоzub. — Чем труднее воевать, тем важнее помнить, кого защищаешь!

Значит, теперь он будет вспоминать и о ней — среди тех, кого защищает?.. Она поглядела на него, чтобы убедиться в этом, но лейтенант уже спал — сном мгновенным и глубоким, как обморок, в той же позе, даже не опираясь о стол или о спинку стула.

— Бедный мальчик, — одними губами прошептала Анна Константиновна.

А Марии вдруг представилось, что где-то — кто знает где! — Борис вот так же на минуту забылся обморочным сном измученного воина...

Лейтенант вздрогнул, открыл покрасневшие глаза и виновато улыбнулся:

— Не храпел? Порядок! А теперь помогайте, нужно определить наибо́льший маршрут.

Мария разобрала кучу писем, которые надо было разнести, наметила самый короткий маршрут и пошла проводить лейтенанта. Ей хотелось расспросить его наедине.

— Ну, как у вас?

— Горячо! — ответил Кривозуб. — Вот уж месяц из боев не вылазим. День и ночь. А толку мало. Сколько уж продрапали, и опять драпают. Одними танками не отобьешься, а пехота... Эх, да что говорить!

Мария снова вспомнила Митю, его серое, искаженное лицо и затем ночь на шоссе.

— Но почему? Почему?

— Так ведь головы не поднять, — сказал лейтенант. — Авиация.

— А у нас?

— На нашем участке мы наших самолетов почти не видали... А ихние так и стригут, так и стригут, всё с бреющего полета. Страшно, кто не привык. А кто у нас привык! Молодежь, войны не видали.

Кривозуб говорил спокойно, задумчиво, и не чувствовала в нем Мария того беспокойства, которое томило ее непрерывно, как тупая боль.

— Сколько ж еще отступать? Так до Ленинграда докатитесь, — мрачно сказала она.

— Очень просто, — ответил Кривозуб. — И так уже недалеко осталось — куда ближе!

Мария с гневом покосилась на него, и резкое слово уже готово было слететь с ее губ, но он вдруг сказал:

— Только ведь знаете, как русский человек? Пока не разбередит его до сердца — добродушен да нетороплив.

А как разбередит до сердца — плечами поведет, да развернется, да размахнется, да ка-ак ахнет! Так оно, верно, и будет.

И она поняла, что его спокойствие не от безразличия, а оттого, что он сам все время воюет и успел познать не только горечь отступления, но и силу сопротивления, и что он верит, твердо верит в эту растущую силу.

Ей стало весело с ним — и ему с нею, кажется, тоже. Они почти бежали по ощетилившимся улицам, не замечая горьких и грозных примет войны. Но как только они позвонили у первой двери, война ударила их всей своей чудовищной противоестественностью.

— Елену Андреевну?.. От мужа? Господи, она так ждала!.. Убило ее... снарядом... на окопах...

В другой квартире к ним выбежала молоденькая женщина и, увидев танкиста, мертвенно побледнела, вскинула перед собой руку и закричала:

— Что?! Говорите сразу — что?!

Потом она читала письмо, плакала, улыбалась, требовала подробного рассказа о своем Коле, допытывалась: опасно ли там, где он находится, правда ли, что в танке погибнуть нельзя? Сама понимала, что спрашивает глупости, и все-таки ждала успокоительного ответа. Мария смотрела на нее сквозь слезы, до нее вдруг дошло, что она тоже могла бы вот так расспрашивать, ища успокоения, приди к ней посланец от Бориса, и тоже не поверила бы успокоительным ответам...

По всему маршруту — в каждом доме, за каждой дверью — их встречали женщины. Старые и молодые. Матери, жены, невесты. Сдержанные и обезумевшие от страха за близкого человека. Перепуганные, собирающиеся в дорогу, все равно как и куда, лишь бы подальше от войны, — и внешне спокойные, уже принявшие решение остаться и оборонять свой город. Сколько было женщин, столько и любвей, — и как они все любили, как хватали письма, как хотели узнать все-все подробности о любимых... Замечала ли Мария раньше, что вокруг нее так много любви? Ей-то казалось, что ни у кого нет такой, как у нее с Борисом... Но боже ж мой, все находят способ послать весточку! В каком же самом страшном месте ее Борис, если он и сообщить о себе не может?!

По одному из последних адресов они никого не застали и уже хотели опустить письмо в почтовый ящик, когда увидели женщину, спешившую к ним вверх по

лестнице. Она тащила за руку маленькую девочку и дышала тяжело, с натугой.

— От Шуры? — крикнула она и, не радуясь, добавила: — Все время этого боялась... как же теперь?

Она была беременна, вероятно ходила последние дни. Если бы не это, ее можно бы принять за старуху, такое у нее было серое, сморщенное лицо, так неряшливо свисали вдоль запавших щек нерасчесанные пряди тусклых, будто пропыленных волос.

Девочка захныкала, женщина открыла дверь, знаком позвала за собою, сунула девочке стакан простокваши.

— Старшенькая у меня пропала, — шепотом сказала она и тяжело опустилась на стул, свесив руки.

Мария с ужасом слушала ее рассказ о том, как она поехала за своими девочками под Старую Руссу — детсады спешно эвакуировались, на станцию подали несколько составов теплушек, платформы были забиты детьми и матерями... Немцы налетели неожиданно, бомбили станцию, а потом проносились совсем низко и стреляли по платформам из пулеметов. Все металось, ища укрытия. Женщина бежала, корзина в одной руке, младшенькая в другой, а старшая, пятилетняя, бежала рядом... Как она отстала? Где она потерялась?.. Среди убитых детей ее не было. Может быть, ее подобрали и сунули в одну из теплушек? Составы под огнем загружали и отправляли... С тех пор женщина искала свою старшенькую, рассылала запросы во все эвакуопункты страны... Но сумела ли девочка назвать свою фамилию и адрес? Пять лет, и такое пережила...

«Хуже этого ничего не может быть, — мертвея, думала Мария. — И с Андрюшей... Если ехать в последнюю минуту, и с Андрюшей может такое случиться... А он и имя свое не выговорит. А в него — из пулеметов...»

Женщина почти не расспрашивала о муже, но, когда Кривоzub и Мария уходили, придержала лейтенанта за локоть:

— Вы вот что — ему ни слова об этом. Скажете — живы, здоровы, соседи помогают, военкомат. Все хорошо, скажите. Пусть не беспокоится.

Она улыбнулась, — через маску отчаяния и усталости проступили прежние черты, и вдруг стало видно, что она еще молода и даже хороша, и любит, и любима. А она все держала Кривозуба за локоть, всматриваясь в его лицо, будто что-то изучая или взвешивая.

— Только одно,— сказала она тихо,— только одно: пас-то, Ленинград... не отдавайте!..

Домой Мария возвращалась одна по аллее вдоль Марсова поля. Аллея была пустынна и душиста. От первых опавших листьев, от мокрых стволов, от пропитанной дождевой влагой земли исходил пряный аромат. На воде канала распростерся бледно-лиловый лист, слегка покачиваясь на медленной струе. Марии было отрадно здесь после пережитого потрясения, после суровых улиц, где горожане закрывали витрины ящиками с песком, где тащились неизвестно куда вереницы телег и тачек с беженцами из пригородов. Из наскоро собранных узлов домашнего скарба выпячивались самовары и граммофоны, позади на привязи устало брели коровы, свободно скакали тонконогие жеребята... Было отрадно внимать тишине, нарушаемой лишь шуршанием облетающих листьев, после суровых улиц, где стучали, стучали, стучали молотки, где проходили, шаркая подошвами, войска и отряды строителей с лопатами на плечах, где проносились автомобили, вымазанные коричнево-зелеными полосами и укрытые ветками, где грохотали орудия и танки — не так, как бывало раньше, перед парадами, а озабоченно, тревожно.

Здесь, на широкой площади, война ничем о себе не напоминала, и ветерок с Невы был, как прежде, беззаботен и чист. Наступил час, всегда загадочно прекрасный, когда день уже кончился, но еще не сгустилась ночь,— в серовато-лиловое небо выползла ущербная неяркая луна, край неба над Петропавловской крепостью еще алел. В неопределенном вечернем освещении и строгое здание Ленэнерго, и низкая гранитная ограда братских могил, и кучи деревьев, и темная поблескивающая вода канала вдоль аллеи, и сама аллея, прямая и нежная,— все это было так необыкновенно хорошо и так любимо, что сердце Марии сжалось от боли. Да нет же, нельзя! Невозможно, невысказанно отдать это даже на день, даже на час!

— Ведь они, говорят, уже в Стрельне,— донесся до Марии возбужденный женский голос.

Две женщины шли по проезду в одну сторону с Марией, отделенные от нее зеленой изгородью. Они шли очень быстро, поравнялись с Марией и стали удаляться, постукивая каблучками.

— Господи,— сказала вторая женщина,— туда ведь трамвай ходит. Двадцать девятый.

Аллея кончилась. Мария растерянно остановилась и оглянулась. Площадь вся лежала перед глазами, зеленая, просторная, прекрасная, как всегда. Все так же свободно и легко венчал ее плавный подъем моста с двумя рядами фонарей; их матовые гроздья, как гроздья винограда, были подернуты багрянцем заката. Справа чернела листва Летнего сада. Отсюда Мария не могла увидеть, но мысленно увидела: вдоль набережной сад окаймлен решеткой строгого и совершенного рисунка... Сколько раз в студенческие годы и потом, в поисках точного архитектурного решения, Мария бродила вдоль этой решетки, по этой площади, по этому городу, стараясь угадать секрет чудесного единства и соразмерности, превративших ее город в цельное произведение искусства.

Все было как прежде в ее городе. Почти как прежде. Но на расстоянии нескольких остановок пригородного трамвая — фашисты... Они хотят ворваться на эту площадь и залить вот эти братские могилы борцов за свободу кровью сотен, тысяч ленинградцев? Они расположатся на отдых в этих дворцах, сорвут и переплавят на новые пушки вот эту решетку, и памятник Суворову, и памятник Ленину на броневике?.. Они ворвутся в наши дома, грабя, насилуя и убивая всех, кто им не покорится, кто не способен сдаться. И ту, беременную, тоже... Что им наша честь, наши святыни... наши дети!.. Здесь и повсюду, куда они допрут на своих моторах, один огромный концлагерь хотят они создать для всех нас, чтобы лишить нас всего, что у нас есть, чтоб у Андрюши не было ни детства, ни будущего, чтобы я была уже не я, а затравленное, лишенное чести существо, чтобы мы все перестали быть людьми... Ленинград им нужен?.. Да, город Ленина, самую идею они хотят поработить, уничтожить, растоптать...

— Лучше умереть, — сказала она вслух.

И это решение не испугало, а успокоило ее.

Когда она подошла к своему дому, темная фигура дворника с противогазом через плечо выдвинулась ей навстречу из подворотни:

— Товарищ Смолина! Такое распоряжение — сегодня в ночь собрать по дому все бутылки, какие есть. Утром сдадите в контору.

— Бутылки?

— Ну да. В танки их кидать, что ли.

К ночи приехал Борис.

Мария стирала на кухне детское белье, когда раздался знакомый, настойчивый звонок. Она выронила белье и побежала в переднюю, не вытерев мокрых, в мыльной пене, рук. Анна Константиновна уже открыла дверь, и Мария увидела тяжелый чемодан и вещевой мешок, просунувшиеся впереди Бориса. А за ними ввалился, хрипло дыша, и сам Борис в теплом не по сезону кожаном пальто. Это был несомненно он — его широкоплечая, высокая фигура, его сильные, большие руки, его вьющиеся светлые волосы над крупным лбом, его прямой, немного короткий нос, и в то же время это был совсем не он, не его взгляд, не его губы, не его голос. Бросив на пол чемодан и мешок, он огляделся, запекшиеся губы его дрогнули и произнесли странные слова:

— Слава богу, вы еще здесь...

Он сел на ближайший стул, не раздеваясь, не улыbnувшись Марии, не протянув к ней рук, как всегда бывало, когда он приезжал в Ленинград. Он даже как будто не заметил ее. Он положил на колени покрасневшие руки и стал отдуваться шумно и глубоко, оттопыривая губы.

Онемев, Мария стояла в дверях и машинально обтирала передником мокрые пальцы. Анна Константиновна, строго потупив глаза, закрыла дверь на цепочку и оставила к стене чемодан. Борис поймал ее косой наблюдающий взгляд из-под опущенных век, как бы впервые увидел ее, а затем Марию, и странное, не похожее на прежнее, лицо его мгновенно изменилось — подтянулись губы, просветлели глаза, оживились мускулы, и вот уже прежний раскатистый, добродушный голос как бы собрал и восстановил все черты знакомого Марии и любимого ею облика.

— Фу! Как я мчался к вам и как боялся, что вы сорветесь с места, — сказал этот голос, и прежняя сияющая улыбка довершила полное преобразование лица. — Муся, да где ж ты там, девочка? Или не рада?

Она рванулась к нему, спрятала голову в его больших, со вздувшимися жилами, руках и, не то плача, не то смеясь, повторяла:

— Боря... Боря... Боря...

— Ну вот,— сказал он снисходительно и обрадованно, целуя ее. — Так и знал, что ты будешь тревожиться... Разве я похож на человека, который так себе, зазря, погибнет?

— Но ведь можно и не зазря...

— А тогда не жалко... а?

— Молчи.

Большой, шумный, слишком размашистый для тесной квартиры, он тщательно чистился, мылся, переодевался, на ходу выхватывая у Анны Константиновны то хлеб из корзинки, то жареную картофелину прямо со сковороды. Мария ходила за ним следом, касаясь его плеча, его мокрых волос, его руки, неотрывно смотрела на него, и радовалась ему, и не хотела, не позволяла себе вспоминать его таким, каким увидела несколько минут назад.

Он не спросил об Андрюше, и, войдя в комнату, только мельком заглянул в кроватку сына. Мария не обижалась. Он не понимал, он никогда не понимал и не умел ценить сынишку... Но она любила Бориса, и тут ничего нельзя было поделать. Если бы они жили вместе, семьей, ее, быть может, оскорбило бы его отцовское невнимание. Но Борис работал в районе и приезжал редко, на два-три дня; эти дни были так насыщены страстью и радостью узнавания друг друга, что Мария сама отвлекалась от сына. А когда Мария выезжала в район как архитектор-строитель и встречалась с Борисом не только у него дома, но и на совещаниях в райсовете, и на строительных площадках, тогда она с новой силой влюблялась в него, потому что он был связан с самыми дорогими ее мечтами, с их быстрым и удачным осуществлением. И она, не ропща и ничего не требуя, жила от одной встречи до другой, считая дни и заранее радуясь, что увидит его. Сейчас, как и всегда, ей ничего не нужно было от него, лишь бы он был вот так, рядом, большой, энергичный, уверенный в себе, ласковый, шумный.

— А где Оля? — спросила Анна Константиновна, подавая ужин.

— Крутится в своем комсомоле,— беспечно ответил Борис и, запрокинув голову, залпом выпил стаканчик водки.

Марии хотелось как можно скорей остаться вдвоем с Борисом и получить от него, как всегда, умное и подробное объяснение всему, что происходит. Но Анна Кон-

стантиновна сама хотела объяснений и стала расспрашивать. Борис отвечал немногословно, снисходительно, но так, что все становилось ясно.

Положив подбородок на сцепленные руки, Мария смотрела на любимое лицо и слушала любимый голос. Все, что говорил Борис, было сурово, но успокоительно. Анна Константиновна облегченно вздыхала, и Мария впервые поняла, какую глубокую тревогу скрывала она под обычной спокойной сдержанностью. Это была общая черта матери и дочери — умение сдерживать свои чувства, хоронить в себе и тревогу, и боль, не докучать своими переживаниями. А у Бориса Трубникова все рвалось наружу с жизнерадостной непосредственностью, и Мария особенно любила в нем это свойство. Бывало, он и старается сдержаться или скрыть свои чувства, а глаза выдают, подрагивание подвижных бровей, движения губ выдают. Или на совещании, когда обсуждался проект или ход строительства, он молчит, откинувшись в председательском кресле, смотрит в сторону, а Мария только взглянет на него — и безошибочно угадывает, кого он поддержит, кому несдобровать, какое решение он примет... И в те редкие минуты, когда им случалось поссориться, — они оба были упрямы, — что бы он ни говорил, Мария всегда умела уловить, что именно для него главное, чего он хочет, как поступит...

Слушая его сейчас, Мария искала по неуловимым признакам то самое главное, что волнует его сегодня и что определит его поступки, и старалась разгадать, для чего и надолго ли он приехал, что он собирается делать в эти трудные дни и какая новая разлука, какая новая тревога надвигается на нее. Ведь недаром же он при маме ни словом не обмолвился о своих делах!

Но, странно, сегодня ей не удавалось разгадать его. Она не узнавала его души ни в его логично построенных речах, ни в том, как он произносил то или иное слово, как он смотрел при этом, как хмурил брови или усмехался. Голос был тот же — и не тот. Лицо то же — и не то. Как будто там, в передней, час назад, усилием воли собрав воедино все черты знакомого Марии облика, он приказал им служить ему, а душу запрятал. И теперь Марии нужно было продираться сквозь привычные представления о нем, мимо его гладких слов к той сути, которую она не понимала и боялась понять...

— Сразу не победишь. На то и война, — ответил Борис на какой-то вопрос Анны Константиновны.

Мария встрепелась. Где она слышала эти самые слова? На темном, обстреливаемом шоссе, от раненого, измученного солдата... Там эти слова прозвучали большой правдой. Почему же в устах Бориса они звучат иначе? И почему Борис упорно обходит вопрос о цели своего приезда?..

— Не успокаивай нас, Боря, не надо, — резко сказала она. — Я была в твоём районе вчера. На шоссе. Я все видела сама.

— Ты?.. Вчера?..

— Да, вчера.

И она стала рассказывать, что ей пришлось увидеть и пережить, совсем забыв, что она старательно скрывала правду от матери. Когда она заметила округлившиеся от ужаса глаза Анны Константиновны, было уже поздно смягчать краски.

— Не ожидал от Сизова, что он пошлет тебя туда! — со злостью сказал Борис и невесело улыбнулся Анне Константиновне. — Ничего, теперь уж что пугаться! Больше она никуда не поедет.

— Если будет нужно — поеду, — быстро и твердо сказала Мария.

— Поедешь в тыл с Андрюшкой и мамой, да!

Она вспыхнула от обиды, но Борис с покровительственной усмешкой отвел её возражения:

— Я знаю, ты у нас храбрая и сознательная, тебе обязательно нужно на фронт. Ну, мы ещё поговорим об этом, правда? А сейчас пора спать. Я так устал...

Он громко зевнул, потягиваясь.

— Раз уж я все равно проговорилась при маме, я хочу рассказать о Мите...

И Мария рассказала про встречу у реки.

— И что же ты сделала? — с гневом спросил Борис.

— А что я могла сделать?

Доброе лицо Бориса выразило презрение.

— Надо было пристрелить его, как собаку! Вот что сделал бы я на твоём месте.

— Митю?!

— Да, Митю!.. Он не Митя, а боец. И из-за таких бойцов немцы докатились до Ленинграда.

Мария молчала, подавленная. Да, у неё не хватило ни понимания, ни твердости. Она не сказала Мите ни

одного слова осуждения. Она вела себя по-женски, по-бабы. Ей следовало возмутиться, как возмутился Борис. Может быть, все дело в том, что она растерялась сама? Она готова была признать себя виновной. Но, вспомнив горсточку бойцов последнего прикрытия, и неизвестного, хрипевшего от усталости бойца, что тащил на спине раненого товарища, и слова Мити о том, как он стрелял по самолетам «из винтовки, из винтовки, из винтовки!», и его хриплый вздох: «Пять суток... каждый день... Сколько может человек!..» — она усомнилась в том, что Митю нужно было пристрелить.

— А меня беспокоит, что вы не привезли с собою Олю, — тихо сказала Анна Константиновна.

У Трубниковых давно не было матери, и Анна Константиновна, не очень жалуя Бориса, с материнской нежностью любила его двадцатилетнюю сестру.

Борис сдержался, но в глазах его сверкнул гнев.

— Мы не располагаем собой, — жестко отрезал он. — Каждый выполняет свой долг.

И он встал из-за стола.

Мария радовалась, что наконец останется вдвоем с Борисом, и уже готовилась сесть рядом с ним на диван, положить голову на его плечо — так они любили сидеть, когда хотелось поговорить, — и спросить: «А теперь объясни мне...» Но как только дверь за Анной Константиновной закрылась, Борис сказал изменившимся, тревожным голосом:

— Слава богу, ушла!.. Дела очень плохи, Муся. Об этом не надо никому говорить, но наш район почти весь занят. То есть утром так было, сейчас, возможно, и весь. Когда я уезжал, оставалась одна дорога. Поезда уже не ходили. У кирпичного завода шел бой. Не сегодня-завтра немцы будут под самым Ленинградом. Они рвутся в обход. Со дня на день последняя железная дорога будет перерезана...

— Я знаю, — сказала Мария со спокойствием, которое удивило ее самое. — Я знаю... Но сегодня был танкист от Алеши, он сказал очень верно: русский человек...

— Это все лирика! — прервал Борис. — Сейчас не до болтовни. Мы едем завтра в ночь на грузовиках. Завтра, и ни днем позже. Собирай Андрюшку, маму, бери самое необходимое и ценное...

Мария была так поражена, что не отвечала. Борис почувствовал ее молчаливое сопротивление, мягко привлек к себе:

— Остаться здесь — безумие, понимаешь? Я ж не пакиер и не трус, я не растерялся, как твой Митя. Но я трезво оцениваю обстановку. Я сделал все, что мог. Вывез оборудование литейного завода и мастерских... Остальное приказал закопать... Ты бы видела! Ни грузовиков, ни горючего... все бралось с бою! Я летел на своем ЗИСе, пока не лопнула крышка, потом висел на подножке последнего поезда. Поезд обстреляли из пулемета. Бомбили... Я так боялся, что уже не застаю вас...

— А где Гудимов? — еле слышно спросила Мария.

Борис не ответил; он продолжал, все более распадаясь:

— Конечно, борьба не кончена, она еще только начинается. Ты еще увидишь! А сегодня надо работать, работать, работать! Если хочешь, именно тыл решит исход войны. Бешеными темпами разворачивать производство — вот что нужно! Каждый способный человек должен отдать этому все силы. Неважно, что ты хочешь, где ты хочешь быть...

— Постой... — звенящим голосом сказала Мария. — Это все верно. Но я что-то не понимаю. Ты — один из руководителей района. Вы что же, все уехали? И Гудимов?

Она вдруг представила себе Бориса таким, каким он ввалился в квартиру час назад, и от этого ей стало трудно дышать.

— Гудимов — секретарь райкома, — вяло ответил Борис. — У него там свои задачи, у меня — свои. И, в конце концов, сейчас важнее развернуть наше производство на новом месте, чем геройствовать в немецком окружении и ждать, пока тебя раздавят.

— Наверное, это так и есть, — утомленно сказала Мария. — Я хочу думать, что ты прав. Но почему у меня ощущение... и я не понимаю, почему Гудимов...

Борис подчеркнуто громко вздохнул. В голосе его звучало сдерживаемое бешенство:

— Ты всегда была идеалисткой! Но в условиях войны это нелепо. Нелепо и опасно! И твой Гудимов, если хочешь знать, вроде тебя. Партизанский вождь! Ты себе представляешь кучку агрономов, учителей и ветеринаров

против полчищ танков, против артиллерии и «мессершмиттов»?!

— А где Оля?

Борис густо покраснел и крикнул:

— Вот и Ольга тоже! Брат ее ищет по всему городу, а она в штабах, с карабином... Гудимов! Партизаны! Романтика!..

— Ты... поссорился с Гудимовым?

— Я выполнял свою задачу, а он свою, вот и все,— веско сказал Борис. — Я не понимаю, что ты мне стараешься пришить?.. Сейчас надо не философствовать, а собираться в путь.

— А Ленинград? —спросила она упрямо. — А Ленинград?

Он улыбнулся и притянул ее к себе.

— Девочка моя... Ты так не приспособлена для всего этого! И все же надо трезво смотреть правде в глаза. Главное — не поддаваться панике...

— Это я поддаюсь панике?

— Ты не хочешь видеть правду. Пойми. На этом участке мы потерпели поражение. Мы расквитаемся за него позднее. За него и за все. А сейчас надо работать и спасать то, что еще можно спасти. И потом, зачем гибнуть тебе? И малышу? И маме?.. Зачем глупые жертвы? Что ты можешь сделать?

Мария резко отстранилась. Она уже не чувствовала усталости, сковывавшей ее волю.

— Как ты думаешь, что будет, если все ленинградцы возьмут и уедут, чтобы не жертвовать собою?

— Будет то же, что с Наполеоном в Москве. Немцы возьмут пустой город.

— Немцы?! Возьмут?!

— А ты что же... — помолчав, медленно заговорил Борис. — Ты уверена, что не возьмут? Не могут взять?..

— Могут,— прошептала Мария. — Могут, если мы отдадим... Но мы не отдадим. Мы будем строить новые укрепления, баррикады, мы будем драться. Красная Армия и мы, мы все. До последнего человека! И Митя, которого ты бы пристрелил! И все, когда за ними будет Ленинград, когда схватит за сердце, все будут драться!..

Борис молчал. Она видела его большую фигуру с опущенными плечами, освещенную сзади настольной лампой. Она угадывала мрачное и смятенное выражение его лица. И вдруг с острой жалостью и отчаянием сказала

себе: «Да ведь это же Борис!.. Мой Борис... Я же люблю его...»

Она припала к его плечу и заплакала.

Борис гладил ее вздрагивающую спину и утешал, как маленькую:

— Я знаю, тебе тяжело. Но кому же теперь легко? Надо ехать, детка, надо ехать и постараться выиграть войну, и тогда все вернется, все будет наше. А баррикады... Это же не пятый год, не Парижская коммуна... Бронированная армия... как ты удержишь ее баррикадами!

— Ну и пусть я умру, это легче, чем оставить Ленинград врагу.

— Ты просто фанатичка! — снова начиная раздражаться, сказал он. — И странно, что ты забываешь о маленьком. У тебя сын!

— У меня еще и муж! — взметнувшись, с неожиданной яростью крикнула Мария. — Муж, который должен защищать меня и моего сына! Своего сына!

— Тише!

— Почему тише? — с презрением бросила она. — Почему тебе кажется, что об этом надо говорить шепотом? Потому, что ты не хочешь защищать?..

— Дура! Сумасшедшая! — прошипел он. — Можешь кричать сколько угодно. Разбуди мать, разбуди ребенка, тебе же наплевать на их спокойствие! Ты же героиня романа! Жанна д'Арк!

Она смолкла. Никогда еще он не был с нею груб.

И его грубость вдруг подчеркнула, что все изменилось, что перед нею не тот Борис, которого она любила, а нежданно изменившийся, чужой, пугающий ее человек.

— Маша... — спохватившись, позвал он виновато и ласково. — Не безумствуй! Не упрямясь! Не надо играть в героизм. Или ты обязательно хочешь, чтобы я был раздавлен гусеницами танка? Расстрелян во дворе жакета? Громкие слова говорить и я умею, но неужели мне еще притворяться перед тобой? В конце концов я просто не хочу быть лишней жертвой в той кровавой бане, которая будет здесь на днях!

Она отошла в угол, села на детский диванчик, стиснула ладонями горячие виски. Что же это?.. С яркой отчетливостью встал в ее памяти первый день войны, залитая солнцем дорожка сада и Борис в гимнастерке и сапогах, улыбающийся, сильный, с могучими плечами,

с громким оживленным голосом. Он подшучивал над нею и над Анной Константиновной: «Перепугались фашистов? Ого! Они еще нашей силы не пробовали!» — и сам казался Марии олицетворением этой силы... Как она верила ему тогда, как она любила его и как боялась потерять его в начавшейся жесточайшей войне! Куда же он исчез, тот обожаемый, могучий, веселый человек?..

— Я ничего не понимаю, — сказала она негромко. — Минутами мне кажется, что ты... но я не понимаю, как это могло случиться, что ты...

Она не выговорила вслух, но про себя с беспощадной твердостью произнесла это короткое презрительное слово — трус.

4

Утро занималось вялое, пасмурное, — или оно показалось таким Марии. Она не могла вспомнить, как заснула вчера. Был долгий до изнурения, мучительный разговор. Потом она плакала, и он поднял ее на руки, снова любимый и более сильный, чем она, и говорил с нею, как с маленькой обессиленной девочкой, и жадно целовал ее, а она все слабела и подчинялась ему и своему желанию поверить в него, в любовь, в свое прежнее счастье.

А может быть, это и был сон?..

Борис торопливо одевался — невеселый, грузный. Он заметил, что она проснулась, и как-то жалобно, криво улыбнулся. Мария не чувствовала в себе ни воли, ни любви, ни презрения.

— Я уйду, Муся. Забегу узнать, пришли ли грузовики. Потом в Смольный, оформить документы. А ты собирайся.

Так как она не отвечала, он подошел и поцеловал ее.

— Ты наговорила вчера много оскорбительного и несправедливого, — сказал он дрогнувшим голосом. — Но я не сержусь. Я забыл. Я люблю тебя и Андрейку... Если грузовики пробились, мы выедем сегодня в ночь.

Ей нечего было говорить, она сама не знала, что будет.

— Мама! — раздался торжествующий голос Андрюшки.

Розовый, в короткой старой распашонке, с глазами, сверкающими любопытством, он поднялся в кроватке, держась за перекладину.

— Папа! — вскрикнул он, узнав отца.

Борис подхватил сына, подкинул в воздух и вместе с ним подсел к Марии на край кровати. Он редко проявлял интерес к мальчику, и Мария всегда радовалась, видя их вместе. Но сейчас и эта радость не шевельнулась в ней.

— Я как мертвая, — сказала она, отворачиваясь.

— Ты устала. Наберись сил, детка, дорога будет нелегкой. И вставай, буди маму, начинайте укладываться.

— Ладно, — уклончиво сказала она. — Ты иди, а то не успеешь побывать везде, где нужно.

— Ты сердисься на меня?

— Нет.

Когда он ушел, она впервые за утро спросила себя: что же делать? Ей не хотелось ни ехать, ни оставаться. Закрывать бы глаза и не думать... Андрюша барахтался рядом с нею, пришлось встать, одеть, накормить его. Анна Константиновна спросила: «Тебе к девяти?» Мария ответила: «Да», машинально собралась и поехала в строительную контору. Там будет видно, что делать! Если уезжать, все равно надо брать расчет. А главное, надо поговорить, посоветоваться с Сизовым. За две недели работ на строительстве оборонительных укреплений Мария оценила и полюбила Сизова, того самого ворчливого, непокладистого Сизова, с которым часто ссорилась до войны и который ядовито и своенравно спорил с нею по поводу каждой детали ее проекта сельской десятилетки.

В конторе Мария не застала никого, кроме кассирши. Все уехали на Московское шоссе и на улицу Стачек строить баррикады.

— А где найти Сизова?

— Иван Иванович где-то на участке возле Благодатного переулка.

Перескакивая с одного трамвая на другой, Мария мысленно подбирала слова, какими она объяснит Сизову все, что на нее навалилось: «Я спорила и отказывалась, но раз он едет... у меня мама и сынишка...», «Понимаешь, Иван Иванович, если бы он ушел в партизаны, я бы с ума сходила от тревоги, а теперь уезжать от всех тревог кажется еще хуже...», «Ты мне скажи, как бы ты решил на моем месте, совсем честно скажи...», «Ты не будешь презирать меня за то, что я уеду?»

Чем ближе она подъезжала к прифронтной окраине, тем явственнее выступали вокруг приметы надвигающегося фронта.

Лежали кучи камней, металлического лома и труб, приготовленные для баррикад, кое-где угловые и нижние окна были заложены кирпичом, деловито сновали военные, к фронту неслись перегруженные грузовики, накрытые брезентом, на каждом шагу попадались женщины и подростки с лопатами, с ломом, с тачками, — все они работали тут же, на улицах, или направлялись на работу еще ближе к фронту. И все невозможнее казалось Марии подойти к людям, строящим баррикады для самозащиты, и сказать им: «А я уезжаю...»

Иван Иванович стоял посреди улицы у груды металлических ферм и калориферов парового отопления, его красный потрепанный шарф развевался на ветру. Сизов что-то втолковывал четырем парнишкам, размахивая рукою в рваной, пожелтевшей от глины перчатке.

— А-а! Смолина! Иди-ка скорее сюда! — обрадованно закричал он, заметив Марию. — А я уж думал, тебя там убило позавчера! До чего же ты мне нужна, голубушка! Будешь бригадиром этой заслонки, поняла? Вот эти парнишки твои — четверо и те бабочки — пятеро. Хорошая бригада!

Он стал объяснять ей, что и как надо делать. В середине объяснения вдруг внимательно поглядел на Марию и спросил:

— Дома всё в порядке?

— Всё в порядке. В общем, — смутившись, ответила Мария.

— Это и главное, чтобы в общем, а в частности можно доделать, так строители считают, — усмехнулся он и погладил Марию по плечу. — Ну, принимайся, золотко! Чего не договорил — соображай сама! — И побежал по улице к работницам, которые подкатывали к будущей баррикаде тяжелые канализационные трубы.

С доверием людей, делающих общее незнакомое дело и желающих сделать его как можно лучше, к Марии уже обращались члены ее бригады. Так ли они начали? Не лучше ли будет положить фермы вот эдак, а в переплеты просунуть калориферы, а затем уже заложить камнем и засыпать землей? Женщина с узкими плечиками примеривалась к будущей бойнице и предлагала делать пониже,

а то выходит только мужчине по росту, но ведь будут и женщины?..

Мария согласилась с тем, что ферма, прошитая трубами парового отопления, будет прочным основанием «заслонки», поглядела, так ли заваливают пустоты камнями, и сама примерилась к бойнице, — да, нужно пониже, чтобы и женщине, и подростку было удобно стрелять. Затем ей пришло в голову, что камни надо засыпать землей сразу же, ряд за рядом, так будет плотнее, особенно если трамбовать землю. Она никогда раньше не видала баррикад, и в институте никто не учил ее технике их строительства, и окружающие ее люди тоже никогда их не строили, но они старались изо всех сил.

Отгоняя свои неразрешенные сомнения, но все время чувствуя их давящую тяжесть, Мария приглядывалась к товарищам. Так или иначе, каждый из них понимал, что нависла смертельная опасность, каждый из них решал этот вопрос — уехать или остаться? — для себя, для своих близких... Или для них вопрос решился сам собою, без душевной борьбы? Может ли это быть?..

В бригаде были старые знакомцы Марии — Сапок, Григорьева, сестры Кружковы. Мария знала, что у Григорьевой три сына — и все на фронте под Ленинградом. Пожилая, медлительная и немногословная, Григорьева работала по-хозяйски обстоятельно и аккуратно, в ее широких костистых руках таилась мужская сила, и все ее поведение выражало спокойствие и гневное презрение к врагам. «Они думают», «они воображают» говорила она с холодной усмешкой. Мария понимала, что предложение уехать в тыл Григорьева сочла бы оскорбительной нелепостью.

Сестры Кружковы — Лиза и Соня — вели себя как девушки, которым везде хорошо, — были бы кругом друзья. Кровные интересы связывали их с Ленинградом, и все происходящее они принимали как неизбежное, страшное, но все-таки интересное. Пожалуй, старшая из сестер, Лиза, согласилась бы уехать, если бы кто-то настоял на этом и все устроил так, что ей не пришлось бы затрачивать усилий. Но решать самой, волноваться, что-то менять в своей жизни было не в ее характере. В неторопливых движениях, какими она привычно накручивала на пальцы белокурые пушистые волосы, в сдержанной улыбке и в немного сонных красивых глазах сквозила уютная лень. Лиза служила на танковом заводе те-

лефонисткой и в ночь должна была выходить на дежурство. Ее сестра Соня была так не похожа на нее, что никто не признавал их сестрами. Черноглазая и смуглая, как цыганочка, Соня принадлежала к тому типу девушек, которых нельзя представить себе вне комсомола, вне спортивных кружков и общественной деятельности. Напористая, насмешливая, быстрая, она успела к своим двадцати годам побывать и телефонисткой, и слесарем, и снималась в кино в мелких ролях — «украшала собою маленький кусочек экрана». Теперь она кончала шоферские курсы, занималась в стрелковом кружке и собиралась то ли в моторизованные войска, то ли в танковые; но обязательно на фронт. Нарастающая опасность и ожидание больших событий вызывали у нее душевный подъем.

Вместе с девушками добровольно работала в бригаде их маленькая пожилая тетка, которую все почему-то звали Мирошей. Домашняя хозяйка, швея и рукодельница, Мироша, видимо, растерялась, плохо понимала, что происходит, и от этого жадно тянулась к людям, которые больше понимают, знают, что делать, и с которыми проще переживать страшное время. В работе она была суетлива и бестолкова, но так охотно за все бралась, так внимательно, открыв рот, прислушивалась ко всем указаниям и так хотела суметь, что и ее две руки были не лишние.

Больше всех заинтересовала Марию молодая женщина с узенькими плечами, в домашнем фланелевом платице, работавшая азартно и стремительно. Ее звали Любой Вихровой, но девушки называли ее Соловушкой, а Мироша, с уважением в голосе, величала Владимировной. По отрывочным разговорам в бригаде Мария поняла, что Люба Вихрова недавно вышла замуж за директора танкового завода и что сама она не то работала на заводе, не то происходила из кадровой заводской семьи. У Любы был брат Мика, летчик-истребитель, и через этого брата Люба и Соня были как-то связаны. Однако Марию больше интересовало другое. Неужели муж Любы не считает нужным эвакуировать ее? Что заставляет Любу оставаться в городе? Но чем больше Мария присматривалась к Любе-Соловушке, тем яснее ей становилось, что Люба и не решала ничего и просто отмахивалась, если с нею заговаривали об эвакуации, что ей свойственна в жизни беспечная легкость и в любой

обстановке она чувствует себя естественно. Она не только не была похожа на замужнюю женщину да еще жену директора крупного завода, но всей своей азартной увлеченностью была сродни мальчишкам, работавшим в бригаде.

Старшему из мальчишек, Жорке, едва ли исполнилось восемнадцать лет. Он был франтоват и развязен, тщательно закрученный чуб намеренно выпускал на лоб из-под козырька «капитанки», курил толстую трубку и лихо сплевывал сквозь зубы, явно кому-то подражая. О военной опасности он говорил с нарочитым пренебрежением, сквозь которое проглядывало жадное любопытство. Его приятель Колька был маленький, юркий, работал в паре с Жоркой и находился под его влиянием, и было удивительно, что он не только не отстает от более взрослого и сильного товарища, но и опережает его и подстегивает. Третьего, паренька лет шестнадцати, звали шутливо Андреем Андреевичем; он играючи таскал любые тяжести и щеголял мускулами, развитыми, как у борца. Он болезненно переживал «несправедливость» военкомата, отказавшего ему в приеме в армию, и мечтал попасть в артиллерийскую часть. Младшим из мальчишек был Сашок, уже знакомый Марии. У Сашка было круглое детское лицо и тонкое, гибкое тело. Легкое ранение, полученное три дня тому назад, повышало его в собственных глазах и в глазах товарищей. Работал он торжественно, многозначительно. Чувствовалось, что возможность баррикадных боев на родной улице наполняет его воинственными и честолюбивыми мечтами, что он строит баррикаду для себя лично и никому не уступит чести на ней сражаться.

Все эти разнородные люди, никогда не воевавшие и не желавшие войны, готовились теперь к борьбе ожесточенно и страстно. Когда Мироша передала слух, будто немцы уже подошли к Пулкову, Сашок заявил уверенно:

— Здесь только и начнется настоящее дело!

Григорьева поддержала:

— Юденич тоже у Пулковской высотки прогуливался, и баррикады тогда здесь же строили. А все равно — и Юденич Питера не увидал, и они не увидят.

— Форты кронштадтские ка-ак бахнут! — сказала Люба.

— Зачем фьорты? — откликнулась Лиза с неожиданной горячностью. — Сейчас за Морским каналом линкор стоит, его главный калибр им покажет!

Колька авторитетно поправил:

— Не один линкор, кораблей много.

— У нас на линкоре свой артиллерист есть, — сказала Соня, метнув на сестру лукавый взгляд. — Попросим — поддержит.

— А у нас с тобой, по-моему, и летчик на поддержку найдется, — добавила Люба.

Мария вслушивалась в разговоры, где серьезные размышления и тревога перемежались шутками, вглядывалась в лица людей, копошившихся по всей улице возле будущих баррикад, и в душе ее совершалась сложная работа, подготавливая решение.

«Есть на свете трусы, паникеры, себялюбцы? Да, есть, — говорила себе Мария, стараясь не думать о Борисе. — Да, они есть, — неохотно признавала она. — Но я с другими, с настоящими. Вот они — кругом, бок о бок со мною, питерцы, ленинградцы, неунывающий народ, готовый на неслыханную выносливость, когда дело коснется его чести и свободы... Да, русский народ — это же они все, и Люба-Соловушка, и Сашок, и Мироша, и силач Андрей Андрееч, и старая Григорьева, и Сизов, и неизвестный артиллерист главного калибра на линкоре, и тот боец на шоссе, и я... да, и я тоже!»

Никогда еще Мария не чувствовала такой гордой радости оттого, что она вместе с окружающими ее и милыми ей людьми — часть родного города и того вернейшего отряда его, что зовется ленинградцы. Разве она задумывалась об этом раньше? Все вокруг было свое, несомненное: люди, творчество, Ленинград. Право строить и создавать. Поддержка и уважение людей. Любовь и материнство. Все прошлое и все будущее. Все казалось уже завоеванным и утвержденным раз и навсегда. Завоеванным теми, кто умирал, не сдаваясь, в темных казематах Петропавловской крепости, кто штурмовал Зимний и строил вот здесь, на этих улицах, революционные баррикады, чьи могилы пламенеют цветами за гранитной оградой на Марсовом поле... Для ее поколения это было уже прошлое — волнующее, но далекое. Принимая все как должное, она была такой, какой ее воспитывала жизнь, — деятельной, любознательной, жаждущей счастья, поглощенной своим трудом, своей семьей, своими

замыслами и мечтами... А теперь, в дни надвигающейся опасности и величайшего душевного испытания, перед угрозой потерять все, она ощутила в себе упрямую русскую душу и вдруг отчетливо поняла: все ее мечты, замыслы, весь ее труд — лишь крупинки большой народной жизни. Вне широкого потока народной жизни ей нечем будет дышать, нечего любить. И, может быть, все прожитые ею годы отрочества и юности, наполненные учебой, творчеством, страстью, думами и самовоспитанием, — лишь подготовка вот к этому дню, когда она отбросит свое нежданное, душащее горе и вместе с незнакомыми, но родными людьми сумеет построить свою первую баррикаду.

Когда она вернулась вечером домой, ей было совсем нетрудно сказать Борису:

— Я не поеду.

Ее не удивило, что Борис все-таки едет без нее и без Андрюши. Теперь она уже ничего не ждала от него, хотела только одного — конца разговоров, уверений, суеты, упреков, просьб. С Борисом она и не ссорилась, и не мирилась, — даже помогла ему собраться в дорогу. Она видела, что он не может остаться, даже если бы захотел, — ведь это значило бы признать все ее упреки справедливыми, сознаться, что он струсил. И она старалась не говорить о его отъезде, как будто ему предстояла обыкновенная командировка. Борис согнулся, стал суетлив и неестественно вежлив, он много раз повторял, что проводит оборудование до места назначения — «я не имею права его бросить» — и сразу вернется в Ленинград.

— Вот и чудесно! — сказала Мария. — Я приготовлю для тебя хорошенькую баррикаду.

Борис начал уверять, что до баррикадных боев дело не дойдет, что он слышал сегодня в Смольном успокоительные вести с фронта.

— У меня профессиональное разочарование, — пошутила Мария. — Неужели мы зря стараемся?

За ужином, чтобы нарушить гнетущее молчание, она рассказала о том, какие у нее славные люди в бригаде и как быстро все сдружились.

Анна Константиновна весь вечер ходила с непроницаемым лицом и за ужином притворялась, что не понимает происходящего между дочерью и зятем. Но тут она вскинула на Бориса потемневший взгляд и сказала с ударением:

— Такое время! Дружатся на всю жизнь и расстаются навсегда.

Мария удивленно поглядела — значит, знает мама?.. Но Анна Константиновна уже потупилась и как ни в чем не бывало полоскала в тазике чашки.

Прощаясь, Борис хотел обнять Марию и заговорить с нею прежним, ласковым, неотчужденным тоном, но Мария сдержанно поцеловала его и шутливо сказала:

— Ты же приедешь, ненадолго прощаемся. — И подтолкнула его к двери: — Иди, грузовики дожидаются.

Закрыв за ним дверь, она с оцепенением слушала, как гулко звучат на лестнице его удаляющиеся шаги.

5

Расставшись с Марией Смолиной, лейтенант Кривоzub поехал на танковый завод. Новые мощные танки КВ, которые ему предстояло получить, были таким богатством для батальона, что он заранее предвкушал радость товарищей, и приятную возню с опробованием машин, и упоение первого боевого дела. Ух, и силища в этом КВ! Танк подвернется — он танк протаранит, орудие сунется стрелять — он орудие раздавит, дом поперек дороги станет — дом свернет!

Огромный завод с затемненными корпусами и черными бесконечными дворами и переходами ошеломил его — не размерами своими, не танками и тягачами, ползущими без огней по дворам, а множеством танкистов, которые ходили здесь, как дома, озабоченные, со всеми знакомые, всем примелькавшиеся. У них у всех тоже были срочные ордера, они тоже рассчитывали на получение КВ в первую очередь, ругались между собою и покорно становились на любую работу, какая только нужна была, лишь бы ускорить выпуск долгожданных машин.

Лейтенант Кривоzub прорвался к директору. Усталый немолодой человек с осипшим голосом встретил его виноватой улыбкой и злобно закричал в телефонную трубку.

— Сорок платформ, и ни одной меньше! И чтоб посуды были поданы немедленно, иначе я свое хозяйство не повезу! Ты понимаешь или нет, шутить с таким хозяйством!

Он долго препирался по телефону, а потом, не глядя, бросил телефонную трубку на аппарат и посмотрел на лейтенанта усталыми, добрыми глазами:

— Все знаю. Срочный ордер. Острая необходимость. Танки нужны сегодня, даже сейчас. Так?

— Так,— со вздохом согласился Кривоzub. И тихо спросил: — Эвакуируете завод?

У директора страдальчески сморщились губы.

— Ты приказ выполняешь, когда тебе приказывают? Ну, и я выполняю.

— Очевидно, надо,— грустно сказал Кривоzub.

Директор вдруг оживился:

— Надо? Конечно, надо! Ты понимаешь, что на новом месте завод должен через два месяца утроить программу? Месяц назад принято решение, а сейчас корпуса для завода уже кончают... Кон-ча-ют! Ты когда-нибудь слышал про такие темпы?! Во сне не снилось, даже в первую пятилетку,— а уж на что темпы были! Вот сейчас перебросим оборудование, часть рабочих, мастеров, инженеров... — Он лукаво усмехнулся: — Я-то здесь останусь... ведь дело в чем? Там развернуться, и здесь по-прежнему давать фронту машины, и старые ремонтировать тоже... Кто-то должен здесь управляться? — Он сам себя перебил, заметив, что заболтался с танкистом: — В общем, друг, ступай в сборочный и жди. Твоя очередь дня через два будет.

Кривоzub открыл рот, чтобы возражать, но в кабинет с шумом влетел толстый, вспотевший человек, размахивая очками в простой металлической оправе, и еще в дверях закричал:

— Это что же, Владимир Иванович? Мне в глаза одно, а за спиной— в списочек и на баржу, к черту на кулички? Мне в глаза: «хорошо, конечно, пожалуйста», а сами списки подаете и всё по-своему?

Директор, отдуваясь, развел руками.

— Солодухин, не плачь, не кричи, добром прошу. Если от меня требуют, чтоб основные кадры ехали...

— А я выдвигенец! Меня ж только неделю назад крестили начальником! — Солодухин нацепил очки, подозрительно оглядел директора и сказал ядовитым, обличающим тоном: — Сам, говорят, остаешься? А нас — на баржу?

Владимир Иванович рассмеялся.

— Да не на баржу, милый человек! Не на баржу, а на самолет! Основные кадры на самолетах... с семьями... с полным комфортом!

— Ты что же думаешь,— вскричал Солодухин, гордо выпрямляясь,— Солодухин комфорта добивается? О семье хлопочет? Фикусы спасти хочет? Да моя старуха — хоть золото мечи — с места не стронется! У меня сын таким вот лейтенантом под Красногвардейском дерется! Я здесь тридцать два года в те же ворота хожу и тот же номер вешаю!

Он, видимо, устал кричать, и гордая осанка была утомительна для неповоротливого, грузного тела.

— Как хочешь, Владимир Иванович,— сказал он жалобно.— Но я тебе говорю последний раз, и ты вспомни, хоть ты теперь и директор, и мне начальник, что когда-то из моих рук мастерство получал... Уважь меня, Владимир Иванович, христом-богом прошу... Все равно на самолет ты меня без милиции не заманишь.

Он повернулся и вышел, деликатно притворив за собой дверь.

А на смену ему уже входил старик очень высокого роста, сухощавый, строгий на вид, с небольшими седыми усиками над красивым ртом, окруженным четкими мелкими морщинками — свидетелями жизни размеренной и трудовой, старившей ровно и постепенно, без сильных потрясений. За стариком вошло еще трое мужчин, гораздо моложе, но таких же высоких и сухощавых. У старшего, которому могло быть лет около сорока, курчавились над губою такие же небольшие светлые усики.

— Династия Кораблевых,— устало сказал директор и встал навстречу старику.— Ну, что скажете, Василий Васильевич?

Старик сел в кресло и покосился на танкиста, но Кривозуб прочно сидел на месте, не собираясь уходить.

— Вот что, Владимир Иванович,— сказал старик медленно.— Не могу! Я в заводском отряде против Юденича бился, и двое старших сыновей со мной — вот этот, Иван, и еще Герасим, погиб он тогда под Пулковом... Сколько лет существует завод, столько лет на нем работают Кораблевы...

Директор положил свою руку на руку старика и ответил:

— Как же теперь завод на новом месте без Кораблева станет? Василий Васильевич! Кто первый трактор выпу-

скал с завода? Вы! Кто первый танк— маленький, не чета теперешним, но первый,— кто его с завода выпускал? Вы! Кто первый КВ, гордость нашу, выпустил? Вы! Так как же сейчас вы завод свой бросите, когда на него такая огромная тяжесть ложится! На необжитое место перебраться, в недостроенных корпусах в месяц все смонтировать и в ход пустить, а через два месяца утроить программу! Вы лучший наш мастер, вы же понимаете, что это значит. Кораблев на своем веку сотни три квалифицированных рабочих обучил. И все-таки они и сейчас к вам за советом бегут. А там к вам придут тысячи новых учеников. И это будут не питерские рабочие, а колхозники, школьники, женщины... Им в короткий срок танки выпускать. А Кораблев от такого трудового подвига укроется? Василий Васильевич, это нельзя. Вам нельзя.

— Не могу,— сказал старик.

Сыновья стояли молча. Владимир Иванович кивнул на них:

— Кораблевыми завод гордится. И новый завод, там, на Урале, будет гордиться Кораблевыми. Здесь ваш младший сын еще в молодых мастерах ходит, а там он будет — питерский золотой работник, опора производства. Василий Васильевич, я вас не уговариваю, а правду говорю. Надо.

Старик посмотрел на самого младшего сына — молодого, стройного, с подвижным и непокорным лицом.

— Не подводил я завод еще никогда,— сказал Василий Васильевич и вытер глаза большим клетчатым платком. — Ладно. Поеду. Но вот о самом младшем прошу. И слышать не хочу, правильно ли, неправильно,— прошу как уважения с вашей стороны старому Кораблеву. Младший, Григорий, пусть остается здесь...

Молодой Кораблев перевел на директора умоляющий и требовательный взгляд. Губы его сжались, упрямым движением он провел ладонью по вспотевшему лбу.

— Я сейчас работаю на ремонте боевых машин, Владимир Иванович,— напомнил он.

— Хорошо,— сказал директор и пожал обе руки старого мастера,— будет по-вашему. И вы, Василий Васильевич, напишите оттуда, как и что. Очень вам будет трудно там. Но на вас я надеюсь. И на ваших сыновей.

Отец с сыновьями скрылись за дверью.

— Вот так целый день воюю,— устало сказал директор лейтенанту Кривоозубу. — И ты, парень, ко мне не

приставай. Сходи сам погляди — сборка работает круглые сутки, машины со сборки так прямо и шпарят на фронт. Красить некогда. Полтора процента ежедневно. Люди по неделям с завода не уходят. Придет твоя очередь — получишь.

Зазвонил телефон.

— Кто не вышел?.. Почему?.. Да что он, с ума сошел, теперь болей!.. Снарядом? Фу ты незадача! — Прикрыв трубку рукой, директор спросил Кривоzubа: — Ты слесарное дело знаешь? — И тотчас обрадованно сообщил в трубку: — Тут у меня как раз слесарь нашелся. Сейчас пришло.

Кривоzub поднялся.

— Тебя уборщица проводит, — без дальнейших объяснений сказал Владимир Иванович. — А насчет танков не беспокойся. Никого еще не подводил. К тому же ты рядом со сборкой будешь. Последишь.

Оставшись один, Владимир Иванович вытащил из-под стекла, покрывавшего письменный стол, длинные списки, просмотрел один, вздохнул, вычеркнул в нем Солодухина и приписал его фамилию в конце второго списка.

Потом позвонил на свою квартиру, и голос его стал нежным и молодым:

— Пришла, Соловушка? Устала?.. Не знаю, родная, скорее всего не приду. А утром забегу... Опять на баррикады? Так я пораньше баррикад забегу, хоть погляжу на тебя... А потом в Смольный. Знаешь, Солодухин остается. И Курбатов выпросился, я его начальником сборки ставлю... Ну, спи, Любушка, спи...

Ему захотелось домой. Соловушка вошла в его жизнь перед самой войной. Свадьбу праздновали в субботу 21 июня, а 22-го, услышав по радио — война! — он помчался на завод, и с тех пор встречи с Любой были кратки.

Утром он уже выезжал из ворот, когда к заводу подкатила машина секретаря райкома Пегова. Пришлось вернуться. С Пеговым был молодой инженер Петр Семенович Левитин, работник завода, ушедший в народное ополчение с заводским отрядом в первые дни войны.

— Узнаешь молодца? — весело спросил Пегов.

Владимир Иванович хотел схватить в объятия молодого инженера, но тот торопливо и испуганно отстранился. Оказалось, Левитин только что из госпиталя, где ему «чинили спину».

— В отставку вышел герой,—сказал Пегов. — А я его к тебе знаешь зачем везу? В партком посадим его, когда Соколов уедет. Как смотришь?

— Я бы хотел на производство,— неуверенно сказал Левитин. — Я вполне здоров, да и...

— А партком что, не производство? Ты думаешь, у парткома теперь какие задачи? Первая — танки! Вторая — танки! Третья — танки!

Обрадованный Владимир Иванович немедленно повел Левитина и Пегова по цехам — показать, как напряженно идет работа, несмотря на то, что половина оборудования уже подготовлена к эвакуации и состав рабочих обновился на треть. К Любе он не попал совсем, а в Смольный выбрался уже во второй половине дня.

Он ехал по городу в приподнятом настроении, так как Левитин в парткоме был настоящей находкой при нынешнем недостатке кадров. Но на аллее, ведущей к Смольному, предчувствие неприятных разговоров оттеснило радостные мысли. Владимира Ивановича вызывали в Смольный все по тем же эвакуационным делам, и он чувствовал себя не совсем безгрешным в том, что список инженерно-технических и рабочих кадров, намеченных к эвакуации, сокращался с каждым днем.

В бюро пропусков было оченьлюдно и даже накурено, хотя курить строго запрещалось. Владимир Иванович встретил массу знакомых и в очереди за пропуском наконец нашел самый убедительный довод в пользу оставления рабочих в Ленинграде.

→ Ты ж понимаешь,—сказал он директору другого завода, тоже намеченного к эвакуации,— ну как я докажу питерцу, ленинградцу, кадровику, что он должен родной город оставить в такое время?

— А почему не ответить, что сейчас — в окруженном городе — производство неизбежно сократится, а в тылу он принесет гораздо больше пользы? — раздался за ними рассудительный голос.

Замечание было верное, но оба директора недоброжелательно оглянулись. Владимир Иванович узнал старого знакомого — Бориса Трубникова.

— А ты здесь какими судьбами?

— Тоже свои заводешки перевозжу,—сказал Трубников, оживленно пожимая руку Владимиру Ивановичу. — Как я с ними выскочил от немцев — ну, просто тысяча и одна ночь!

— Постой, ты разве директором заделался?

— Зачем! Но я председатель райисполкома, хозяйство все равно мое. Или ты Советской власти не подчиняешься, директор? — пошутил Трубников.

— Все под Советской властью ходим, — в тон ему ответил Владимир Иванович. — А сам ты куда теперь?

— Да вот перевезу оборудование, устрою их на новом месте... а там в армию или... да куда пошлют! Я себе не хозяин.

— Ну да, ну да... — пробормотал Владимир Иванович и отвернулся, вытаскивая из внутреннего кармана партбилет.

До окошечка было еще далеко, но Владимиру Ивановичу не хотелось продолжать разговор, и товарищ его, протолкнувшись вперед, ворчливо сказал:

— И чего нас с тобой мучают, Владимир Иванович? Видно, есть охотники добровольно ехать — и пусть едут!

Владимир Иванович поморщился и сказал громко:

— А знаешь, ко мне с этой эвакуацией сутки напролет ходят. Изругали всего. И вот, кто не хочет ехать, упирается, я на того и в тылу надеюсь. А кто сам рвется — нигде из него толку не выйдет! В тылу, думаешь, именины будут? Там, видать, тоже фронт и темпы такие, что имя-отчество свое забудешь.

Разговор наверху оказался неожиданно приятным. Владимира Ивановича не только не ругали за то, что он остается сам, но и расспрашивали, как он думает разворачивать здесь производство на малом оборудовании и хватит ли остающихся в Ленинграде инженеров и рабочих.

Разговор уже подходил к концу, когда вошла секретарша и вполголоса спросила:

— Тут Трубников, насчет разрешения на отъезд... Ждать ему?

Собеседник Владимира Ивановича поднял на него поскучневший взгляд:

— Тебе, случаем, работника не надо? — И, не дожидаясь ответа, махнул рукой: — Ладно, пусть едет. Скажите — разрешаю.

Когда Владимир Иванович подъехал к заводу, ворота были распахнуты настежь, и новый танк, весело гремящая, бежал по двору от сборочного цеха к воротам. Владимир Иванович вздохнул — танк не успели покрасить, а он любил, чтобы продукция завода шла в мир законченной.

На броне танка сидели рабочие, и во дворе, у ворот и за воротами останавливались рабочие и просто прохожие. Они смотрели на новый танк без улыбок, но в сдержанности и суровости их лиц и движений читалась такая глубокая вера, такая страстная, непоколебимая надежда, что и Владимир Иванович, выскочив из машины, почтительно стал в сторону, пропуская танк.

В открытом люке мелькнуло лицо вчерашнего лейтенанта. «Словчил все-таки!» — с удовольствием подумал Владимир Иванович, так как любил настойчивых и оборотистых людей.

Танкист узнал директора и, придержав машину, весело крикнул:

— Либо добыть, либо назад не быть, такая поговорка есть! — и еще что-то, заглушенное лязгом гусениц.

За воротами рабочие соскочили с танка, остановились, молча глядели вслед. Молодая женщина, перебежавшая улицу, пропустила его и помахала ему рукой. Мальчишки, игравшие в войну возле баррикады, вытянулись в ряд и, не мигая, проводили глазами непокрашенный танк, уходивший с завода прямо в бой.

6

Затихал город, большой, неугомонный, — затихал преждевременно, по строгому закону осадного положения. Последние пешеходы, поглядывая на уличные часы — десять без трех минут! — бегом возвращались домой. Ночные дежурные, оправляя противогазы, занимали свои места у ворот и на крышах. Верхним постам завидовали: хорошо в этот час на покато́й кровле, еще теплой после солнечного дня, — можно лечь и дышать ночной свежестью, и смотреть с высоты на затихающий город, и чувствовать биение его напряженной жизни, и слушать, слушать, слушать... Многое слышно в такую тихую ночь: глухое ворчание далеких орудий, настойчивые гудки паровозов на Финляндском узле, тяжелый грохот танков, несущихся через город на запад и на юг, к фронту... И многое видно с высоты: оранжевые всполохи на западе и на юге, тревожные всполохи выстрелов, своих и немецких; иногда далекое зарево пожара, иногда — взлетающие в небо цветные нити трассирующих снарядов: может быть, у Пулкова, может быть, над Колпином или над Крон-

штадтом зенитчики отбивают воздушный налет. А в городе пустынно, только на заводах — скрытая от глаз жизнь, напоминающая о себе глухим гулом машин, от которого дрожит воздух над затемненными корпусами. И трамваи, позванивая, трудолюбиво выполняют свою ночную работу...

В эту ночь трамвайные поезда шли по необычному маршруту: целые вереницы грузовых платформ заворачивали по запасной ветке в ворота танкового завода.

В гудящих корпусах делали танки. И тут же, в проходах, в углах цехов, быстро и гулко постукивали молотками, заколачивали ящики, одевали досками уезжающие станки...

Во дворах завода — мелькание фонарей, заклеенных синей бумагой, мелькание сотен людей в скудных полосах света, грохот лебедек, крики: «А ну, взяли!», «Майна!», «Вира!», дребезжание цепей большого подъемного крана, вырисовывающегося громоздким хоботом на фоне озаренного дальними выстрелами неба. Детский плач, женские тихие растерянные голоса: «Катя, узел где?», «Уж скорее бы!» И однообразный быстрый стук молотков. Грузовики-пятитонки пыхтели и пятились к местам погрузки. Осипший голос прорезывал шум:

— Первый механический — сюда!

Другой голос, тоже натруженный, но более звонкий, выкрикивал неподалеку:

— Сборочный цех — сюда!

И толпы женщин и детей приходили в движение, летели в кузова корзины, чемоданы, узлы, матери подсаживали детей, надрывно плакали малыши, терялись в сутолоке любопытные мальчишки, которым все надо посмотреть, отчаянно звали матери: «Ванюшка!», «Витька!», «Кешка!», ахали и кричали старухи, забираясь наверх.

— Поехали!

Грузовики выезжали, набитые до отказа людьми и вещами, другие грузовики въезжали в ворота, пыхтели и пятились к местам погрузки, и снова выкликали натруженные голоса:

— Двенадцатый цех — садись!

— Инструментальный — сюда!

И новые толпы женщин, детей, стариков суетились, вскрикивали, тащили корзины, чемоданы, узлы, устраивались в темноте и в давке: в больших кузовах сразу становилось тесно.

Мужчин тут не было. Некоторые подбегали помочь, хмуро успокаивали жен и ребят, строго наказывали мальчишкам сидеть тихо, потом торопливо отходили. Трамвайные платформы принимали груз, одетый досками. Заводские мастера провожали свои станки на платформы, обходили их кругом, щупая обшивку, говорили: «Хорош!» Иногда злой голос выкрикивал: «Осторожно, черт, что делаешь!» Крановщики замирали, десятки рук любовно направляли качающийся в свете фонарей громоздкий ящик, тихие голоса бережно помогали рукам:

— Так! На себя! Еще раз! Отпускай! Есть!

А рядом, в темноте двора, голоса:

— Третий цех — садись!

— Второй механический — сюда!

Новый отряд грузовиков выезжал со двора мимо нагружающихся трамвайных платформ, и вдруг женский голос, полный слез и отчаяния, понесся над дворами с одного из грузовиков:

— Прощай, милые! Прощай, Ленинград! Про-о-оща-а-а... — и захлебнулся, утонул в рыданиях других женщин.

Рабочие молча тянули к лебедке тяжелый ящик. Толстый запыхавшийся человек, услышав странные звуки рядом, вскинул тоненький луч фонарика:

— Василий Васильевич... Не надо... Вернетесь...

— Оставь, Солодухин. Не тронь.

И снова деловые оклики, осторожные приказания:

— А ну, взяли! Тихо! На себя, черт, на себя! Вправо пемного! Пошла!

И грохот лебедок, дребезжание цепей, глухой стук спускающихся на платформы ящиков, стон потревоженной обшивки.

Уже перед утром стихли шумы погрузки и негромкий голос сказал:

— Уезжающие, садись!

В рассветном полумраке все люди на минуту смешались, стало тихо, крепкие рукопожатия и поцелуи были длительны и безмолвны. Потом провожающие отхлынули. Уезжающие вскакивали на платформы, усаживались на ящики или рядом с ними. Закуривали трубочки, сворачивали папироски, огоньки спичек дрожали в усталых руках.

— Василий Васильевич, ты что же... разве не на самолете?

— Нет уж... с заводом вместе...

— А Гриша твой... Где же он?

— Оставляю здесь. Работает.

Лязгнув, тронулись платформы. Одна за другой выкатывались из ворот, сворачивали на трамвайную магистраль. Василий Васильевич сидел на последней платформе, свесив ноги, не опираясь ни спиной, ни руками — прямой, неподвижный... Два сына сидели рядом с ним. Жена и невестки с детьми уехали на грузовиках.

Заводские ворота развернулись перед глазами и слились с темной линией забора. Затем забор остался позади, и на несколько минут открылась отдаляющаяся панорама завода — крыши цехов, красные кирпичные стены старых заводских зданий и серые железобетонные здания новых цехов, больших, просторных, — новый завод, возникший на территории старого и принявший его название, его кадры, его неумирающие славные традиции. Василий Васильевич не мог увидеть, но угадал небольшое здание, где началась пятьдесят два года назад его рабочая судьба, первый корпус, где он, уже пожилой мастер, выпускал первый трактор — еще маленький, малосильный, но такой нужный для восстанавливающегося хозяйства страны, новые корпуса, где он налаживал станки, требовательно и неотступно обучал молодых рабочих, где он начинал производство, недосыпая, ворча, ругаясь, заставляя переделывать, перекраивать, переставлять станки и людей, пока все не налаживалось как следует...

Завод скрылся из виду, только трубы его, прямые, черные, еще долго царили над убегающими вдаль кварталами домов. Василий Васильевич увидел и свой дом. Он не был там уже много дней, занятый подготовкой станков к эвакуации. Жена и невестки сами отобрали необходимые вещи и сами привезли их вечером на завод.

Дом был тоже новый, построенный в первую пятилетку, но Василий Васильевич считал его уже старым, потому что после него было построено для заводских работников много других домов, лучше, с более высокими потолками, с более просторными комнатами. Но дом Василия Васильевича был первым из построенных, и квартиру там дали из особого уважения. Много было тогда споров с женой: жена не хотела переезжать из старого деревянного домика на окраине, где у нее был огородик, где прямо под окнами можно было вешать белье и где

ничто ее не пугало — ни лестницы, ни окна, откуда могут вывалиться с высоты четырех этажей ее внучата, ни кра- ны газовой плиты, которые могут незаметно отвернуть ребятишки... Но потом жена пленилась ванной, и горячей водой, и удобствами газовой плиты, и тем, что для всего находилось место и можно было отдохнуть вечером с муж- ем, поговорить о своих делах без помехи. Василий Ва- сильевич чуть улыбнулся, мимолетно вспомнив все вол- нения с переменной квартиры, но улыбка сбежала с его губ. Окна его квартиры были закрыты, в ящиках на под- оконниках еще пышно цвели цветы, посаженные невест- ками, но поливать их теперь никто не будет, и цветы скоро завянут, засохнут — одинокие свидетели былой жизни...

Трамвай обогнул триумфальную арку, перегородив- шую площадь. На посветлевшем небе четко вырисовыва- лись скульптурные группы коней, горячих, буйных, стремящихся вперед... Эти кони были для Василия Ва- сильевича давнишней милой приметой: показались кони — значит, дома. Но сейчас он их увидел по-новому: кони рвались в сторону, противоположную той, куда трамвай увозил Василия Васильевича, они бились и неистовство- вали, они звали за собой — не на восток, а на запад...

Под аркой и с двух сторон ее уже поднимались конту- ры строящихся баррикад. Толстые канализационные тру- бы, заготовленные здесь, наверное, для ремонта подзе- много городского хозяйства, пошли на основание барри- кады. Баррикада еще только начата, какая она будет готовая — ему уже не увидеть...

Потянулась улица, носящая короткое звучное имя. Мало кто знал теперь человека, давшего улице свое имя. А Василий Васильевич помнил его так хорошо, как дру- гих своих товарищей по многолетнему труду, по много- летней борьбе. Он вспомнил сейчас грозные дни обороны города, когда в цехах строили бронепоезд и рабочие, уже с винтовками, прислоненными к станкам, но еще не ото- рвавшиеся от труда, не спали ночей, вооружая поезд, на котором сами пойдут в бой... Он тоже ушел тогда, старый Кораблев, с двумя старшими сыновьями, потерял одного сына, но отстоял свой город, свою революцию, свой за- вод... А теперь? Куда едет он прочь от сражений в такие тягостные дни?..

— Неладно как-то... в такое время ехать...

Какое совпадение мыслей подсказало Ивану Кораблеву тихие, ни к кому не обращенные слова?

Отец покосился на него и вздохнул.

Становилось все светлее и светлее, городские кварталы проносились мимо.

Не было в этом городе ни одного квартала, незнакомого Василию Васильевичу. Вот здесь жила его Ксюша, тогда еще невеста, работница табачной фабрики, дочка старого токаря с завода Лесснера. Здесь он ходил в воскресную рабочую школу, организованную большевиками. Вот на этой площади он помнит массы рабочих, женщин, мальчишек, отправлявшихся ко дворцу 9 января 1905 года... Он уже тогда не верил в милость царя, он пошел потому, что шел завод, и когда полиция начала стрелять, он кричал, потрясая окровавленной рукой: «Поняли царскую милость?!» Вон там, в угловом доме, во дворе, было его партийное крещение — первое собрание большевистского кружка... А здесь, уже после революции, после гражданской войны, он проезжал на трамвае номер шестнадцать во дворец Урицкого на заседания Совета, на собрания партийного актива... Там он слышал Кирова...

— Партия знает, что делает, — сказал он сыну. — Что ты понимаешь: неладно или ладно? А если подвоз нам сорвут, если металла и топлива не станет, если завод разбомбят — как ты будешь танки выпускать? А сколько танков нужно против фашистской силищи — можешь ты подсчитать?.. Правительство и партия больше тебя понимают.

Он ворчал, но боль душевную не унять было ни воркотней, ни доводами разума. Вот он проходил перед его глазами в последний раз — город его жизни, город его трудовой славы... В нежном блеске раннего утра он был чист и задумчив, прямолинеен и четок. Его строгой красоты не могли исказить ни ящики с песком, укрывшие витрины, ни бумажные кресты на стеклах, ни щели, вырытые в садах и на площадях. Белые кресты, еще не потемневшие от времени, придавали домам даже некоторую нарядность. Но то, что вызвало к жизни эти кресты, эти щели, эти баррикады и ящики с песком, — смертельная угроза, нависшая над городом, превращала его в живое, любимое существо, и, как живое, любимое существо, прежде всего хотелось заслонить его собой... Старому мастеру не дали права быть воином. Ему был предначертан иной, далекий, извилистый путь борьбы — путь, требую-

щий разбега во времени, месяцев усилий, а не дней единогоборства. Василий Васильевич принимал задачу как рабочий и как солдат. Но... но если пока, сегодня не хватит сил, не хватит рук, не хватит горячих сердец, чтобы заслонить, чтобы отстоять, чтобы спасти город?..

А город уже проснулся. Пассажирские трамваи шли навстречу, задерживая грузовые платформы на скрещенных путях. Люди высовывались из окон. Рабочие и работницы, торопившиеся на работу, останавливались на минуту и провожали глазами нагруженные платформы. Стрелочницы замирали над своими стрелками, милиционеры забывали взмахнуть жезлом, шоферы замедляли ход машин. Уезжаете?.. Увозят?.. Оставляете нас?.. Нагруженные платформы, пересекающие весь город от фронтальной окраины к вокзалу последней, уже находящейся под угрозой железной дороги, — завод, поставленный на колеса для дальнего пути, — как не вздрогнуть, увидев тебя, как не вздохнуть, провожая, как не задуматься над собственной судьбой?..

Платформа медленно вползала на мост. Самое красивое место в красивейшем городе открылось жадным глазам уезжающих: Нева, перехваченная дугами легких мостов, замшелые стены Петропавловской крепости с тонким шпилем, пронзающим, как меч, осеннее светлое небо, Ростральные колонны, стоящие стражами по бокам стройного и прекрасного в своей строгости здания Биржи, мощный и легкий дворец с вереницей темнеющих на фоне неба статуй, выстроившихся, как часовые, во всю длину его фасада... И, подобно скорбному эху, прозвучал в ушах Василия Васильевича женский неистовый вопль:

«Прощай, милые!.. Прощай, Ленинград! Прощай-а-а-а...»

Он стиснул руками колени, чтобы унять дрожь. Прикрыл глаза — все равно жадный взгляд не мог вобрать все, что хотелось запомнить и увести с собой. Но усталость... такая усталость охватывала тело, сковывала мозг... Потом надо разобраться... понять до конца, чтобы все стало несомненным... поверить, что этот извилистый путь — самый правильный...

Мерное шарканье тысячи ног вывело его из оцепенения. С Выборгской стороны всходила на мост воинская часть. Нет, это не была воинская часть. Штатские пальто, кепки, кожанки, спецовки, пиджаки... но винтовки за плечами, но воинский четкий шаг, старательная выправ-

ка, созданная не тренировкой на учениях, а страстью долга...

Они не пели, но Василию Васильевичу показалось, что они поют. Ему показалось, что грозная и знакомая с юности мелодия реет над ними, подобно знамени, омытому кровью.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...
В бой роковой мы вступили с врагами...

Он встречался глазами с проходящими выборжцами, сквозь невольные слезы обмениваясь с ними безмолвными обещаниями. Он мысленно принимал на себя все более и более тяжелые обязательства — без усталости, без передышки, всеми силами души и тела, всем опытом полувекового труда помочь тем, кто идет сражаться... И мысль о Григории, о младшем Кораблеве, доставляла ему горькую отраду.

7

Первые дни после отъезда Бориса Мария могла жить только отгородившись от всего света. Она ни разу не заплакала, но в любую минуту могла заплакать, если бы дала себе волю, если бы призналась кому-нибудь в том, что с нею произошло. Она не говорила ни с кем, даже с матерью.

Анна Константиновна тоже молчала. Иногда Мария ловила ее взгляд, исполненный сострадания и готовности разделить любое чувство... Но Мария отворачивалась. Нет, нет, не надо, только не об этом!

Ей было трудно подходить к сыну. Она не позволяла себе задумываться над тем, какую страшную ответственность взвалила на себя, решив оставить его здесь, и какую перемену в судьбе сына она вызвала, расставшись с Трубниковым. «Потом, — говорила она себе, — потом, когда все выяснится, все определится... потом будет время все решить...»

Ей казалось, что должно прийти письмо, телеграмма, записка с посланным. Что мог написать ей Борис? Она не знала. Что-нибудь такое, что рассеяло бы нависший над нею кошмар, что показало бы Бориса прежним, достойным любви, и подтвердило бы — он был прав, уезжая, без него ни оборудование, ни люди не доехали бы... а вот

теперь он довез их и спешит обратно... Пустяки! В глубине души она не верила этому и не ждала ничего. Короткое слово было сказано и звучало над нею каждый раз, когда она думала о Борисе. А думала она все время, безостановочно, потаенно. Его будут оправдывать. Да и почему обвинять его? Он говорил правильные, разумные слова. Можно поручить ему написать статью «О роли тыла в войне» — это будет самая продуманная и прочувствованная статья Бориса Трубникова! Он, конечно, проявит всю свойственную ему энергию, чтобы скорее пробиться в далекий тыл с грузами. Он один заменит в пути всех своих директоров, обрадованных присутствием напористого «толкача» с луженой глоткой,— уж Трубников заставит любого диспетчера, любого коменданта сделать все, что ему нужно! Он будет много, очень много работать... И его оправдают... нет, его даже не обвинят! Кто узнает, кто заинтересуется тем, что этот волевой хозяйственник когда-то ввалился с мутными глазами, с искаженным лицом в квартиру любимой женщины и выдал странные слова: «Слава богу, вы еще здесь...», а потом уехал один. Нет, его некому обвинить. Он сам постепенно поверит тому, что поступил хорошо, достойно. Но ведь она, Мария,— она-то знает, что он просто струсил! Она-то знает, что Борис Трубников прячется от суда собственной совести, что он старался не глядеть ей в глаза перед отъездом... Она-то знает: если бы Борис не струсил, он первый закричал бы с грубоватой насмешливостью: «Да что я, нянька — взрослым директорам носы утирать? Что у меня, другого дела нет, как их провожать да беречь, чтоб не простудились!» Она как будто слышала его прежний раскатистый голос, и этот голос протестовал и глумился: «Были бы заводы настоящие! Заводики-то третьестепенные, ерундовые! Ну, будут они котелки выпускать, колеса, печки — очень хорошо, очень полезно! Но при чем здесь я? Я ж председатель райисполкома — так дайте мне вместе с моим народом фашиста бить! Меня каждый человек в районе знает, и я каждую тропку знаю!» Вот что мог сказать Борис Трубников. И от этого некуда было уйти...

Мария вспоминала Гудимова. Гудимов любил Бориса. Как ему, наверное, больно, что Борис покинул его и свой район в опасную минуту!.. А Оля?.. Она тоже любила брата. Училась у него, уважала его... Презирает она его теперь? Отреклась от него?.. Девушка, едва достигшая два-

дцати лет, она стала на тот путь, которым должен был пойти брат. Что сможет сделать Оля? А Борис мог бы сделать много...

Горе давило Марию, как тяжелый камень. Может быть, она согнулась бы под его тяжестью, если бы у нее было время оставаться наедине со своими мыслями. Но времени было очень мало, и она сама старалась быть непрестанно занятой и на людях. Так проще.

Баррикады росли — ряд за рядом, улица за улицей. Их начали строить неуверенно, наугад, старанием возмещающая отсутствие опыта. Теперь и Сизов, и Мария, и люди в их бригадах приступали к делу с уверенностью ветеранов.

Мария полюбила своих товарищей по работе, среди них ей было легче. Только Сизова она избегала — ему надо рассказать, а рассказывать нет сил.

Здесь, на баррикадах, война была единственной и жестокой реальностью. Каждое утро строители слушали под уличным репродуктором очередную сводку Совинформбюро. Утренняя сводка давала тон всему долгому рабочему дню. А сводки были мрачны. Советские войска отступали, с тяжелыми боями оставляя города. В украинских, белорусских, в русских городах шли уличные бои — может быть, у таких же баррикад, построенных женщинами и подростками. Может быть, в эту самую минуту женщина, похожая на нее, на Марию, иступленно поднялась во весь рост и метнула бутылку с горючей жидкостью в двигающийся танк...

«Ну что ж, значит, и я смогу! — говорила себе Мария. — Ей тоже страшно. Она тоже любит жизнь. Почему же ей умирать, а мне — спастись? Я смогу. Когда пужно будет — смогу».

Через неделю после отъезда Бориса утренняя сводка была особенно тревожной. «Ожесточенные бои на всем фронте... особенно упорные на Кингисеппском, Гомельском, Новгородском направлениях...» На Одесском... И еще два новых направления — Днепропетровское и Смоленское... Господи, да что же это?! На Днепре... Под Смоленском... А Кингисепп и Новгород — они ж совсем рядом, местные поезда ходили...

После многодневных тяжелых боев наши войска отступили... Во второй части сводки, где ежедневно отмечались героические воинские подвиги советских бойцов, рассказывалось о единоборстве одного советского летчика

с десятью немецкими самолетами, о самоотверженности молодого пулеметчика, несколько часов сдерживавшего натиск большой группы автоматчиков. Эти драгоценные крупницы беспредельного героизма народа блестяли во мраке грозных событий как еще неясное обещание, как зов народной совести. Да, только так, не жалея себя,— иначе не совладать с бронированными армиями, не остановить их, не задержать их громяющей поступи по советской земле.

«Смогу я? — спрашивала себя Мария, представляя страшное одиночество молодого пулеметчика перед неминуемой смертью, и сердце ее замирало. — Должна... Он мог, и я должна...»

Иногда ей хотелось ухватиться за всякую добрую весть, чтобы поверить: опасность преувеличена, ее пронесет мимо, до меня не дойдет... Но Мария сама отгоняла надежду. Возможность уличных боев становилась с каждым днем все неотвратимее.

Фронт был рядом, бои шли в дачных пригородах, артиллерийская кононада была отчетливо слышна в центре города. Газеты и воззвания говорили языком первых лет революции: «Ленинград в опасности! Враг у ворот!», «Встанем как один на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы!» Со всех концов страны — из Горького, из Баку, от ветеранов Красной Пресни и от шахтеров Донбасса — приходили в Ленинград письма, рожденные гневом на врага, тревогой за судьбу Ленинграда и уверенностью, что не дрогнут, не отступят, во что бы то ни стало выстоят и победят ленинградцы.

— Нынче все взгляды — на нас, — говорила Григорьева, медленно и прочувствованно читая эти письма. — Не город мы, а Ленинград!

Соня кричала:

— Будьте покойны! За нас краснеть никому не придется!

Мария повторяла про себя запомнившиеся ей слова воззвания: «Будем неукротимы в борьбе, будем беспощадны к трусам...» Значит, я права. Я была беспощадна. Надо быть беспощадной и к себе, и к своей слабости. Не пожалеть ничего. Ничего? Если погибну я, погибнет и Андрюша...

— Ну что, Маша, не сдрейфим? — спросил однажды Сизов, с трубочкой подсаживаясь к Марии.

— Постараемся не сдрейфить,— ответила Мария и вдруг просто, без подробностей, сообщила, что Трубников сдрейфил. Уехал.

— Д-да... — протянул Сизов и уткнулся в кисет, выскребывая со дна остатки табака. — Ну и плюнь,— сказал он через минуту. — Он, видишь, нервный. А мы с тобой, видно, крепче. Ты не сокрушайся.

— Обидно.

— Это конечно... Но знаешь, золото мое, время сейчас страшное. Мы даже не отдаем себе отчета, какое страшное. И человек проверяется в нем, как под микроскопом,— все потроха видны. Разве ты могла знать? Можно было всю жизнь вместе прожить и не узнать. Он и сам не думал, что сдрейфит в тяжелый час. А вот сдрейфил.

Они помолчали.

— Оставь каждого со своим страхом наедине, так разве душа не взмолится: «Да минет меня чаша сия»? Непросто это, Маша, на смерть добровольно пойти, если никто тебя не гонит. Тут голова должна быть крепче печенки. А у него печенка верх взяла... Ты не расстраивайся, роденькая. Уж будем как-нибудь все вместе держаться.

Больше об этом не говорили, но теперь Марии стало еще лучше на строительстве баррикад,— не надо было прятать глаза от дружеских глаз Сизова. И с каждым днем все реже набегали тоскливые мысли. Горе отодвигалось, тускнело перед угрозой крушения всей жизни, всего, что дорого.

Враги хозяйничают в Луге... бои на улицах Пушкина, под Гатчиной, под Колпином... последняя железная дорога перерезана у Мги... финны в Белоострове... немцы рвутся к Петергофу и Стрельне... они прорвались к Пулкову...

— Как раз к нашим баррикадам лезут,— сказал Сизов. — Что ж, бабоньки, придется нам испытать в деле качество нашей работы? А?

— Качество подходящее,— откликнулась Соня.

— Да отсюда я один подобью десяток танков! — заявил Сашок, прищуривая глаз, как будто уже сию минуту собирался бросить связку гранат. Становись в очередь, фрицы, кому на тот свет охота!

Лиза недовольно покачала головой:

— А если они тебя?

— Ну да! Я уже стреляный. Я знаю, как надо. И укрытие здоровое.

— Вот мы так шутим, шутим,— сказала Люба, расширив глаза,— а ведь, наверное, на самом деле придется...

Все смолкли.

— Я только мин боюсь,— тихо сказала Лиза. — Бр-р, как они воют... И осколки от них...

Сизов усмехнулся:

— От чего бы ни было, помирать все равно противно. Только зачем же помирать? Я две войны отвоевал, а живой! Человека даже на войне убить трудно.

— Почему?— в один голос воскликнули девушки.

— А потому, золотые мои, что он сопротивляется, не хочет, чтобы его убили.

— Факт! — подтвердил Сашок. — На кой черт!

Мария улыбалась и чуть-чуть, не затягиваясь, дымил папироской. Сейчас ей не верилось ни в смерть, ни в поражение. Она вдруг поняла, что не боится, что ей удивительно привольно дышится в необычайном мире баррикад, бойниц, готовых к бою людей и улиц. Душа ее как бы распахнулась навстречу приближающимся боям, и все, что с детства накапливалось в ней без применения — готовность к самопожертвованию во имя родины и революции, зависть к подвигам героев, комсомольская боевая страстность,— все теперь ожило и требовало действия. Ведь недаром ее поколение научилось петь «Это есть наш последний и решительный бой» еще до того, как могло понять подлинный смысл этих слов.

И вот он настал, ее час.

Однажды утром, когда бригада разбирала инструменты, раздался оглушительный грохот. Грязный фонтан взметнулся над баррикадой. Тонко зазвенели стекла, разбиваясь о мостовую. Люди упали кто где стоял, пряча лица.

— Дальнебойный,— сказал Сизов, первым поднимаясь и отряхиваясь.

— Однако в городе страшнее, чем на воле,— признался он немного погодя.

Тогда все разом заговорили. Мироша уверяла, что ее ударило в спину — «вроде кто толкнул со всей силы». Все объясняли, что упали от неожиданности. Соня ругалась, ощущывая себя дрожащими руками.

— А я испугалась,— тряхнув головой, сказала Мария и пошла к месту разрыва.

Часть недостроенной баррикады разметало снарядам, воздушной волной выбило несколько окон в соседних домах.

— Вот тебе и здоровое укрытие, — буркнула Лиза, косясь на побледневшего Сашка.

Бригада молча заложила брешь камнями и землей и продолжала строить баррикаду, невольно прислушиваясь. Но в этот день немцы больше не стреляли.

Перед вечером где-то очень близко, будто за спиной, ахнул выстрел. Потом другой, третий, четвертый. Снаряды, гудя, проносились над головами.

— Это в Благодатном переулке, — объяснил Андрей Андреич. — Гаубичная батарея стоит.

Батарея в Благодатном переулке! Все растерянно улыбались. Как-никак не сразу привыкнешь к тому, что через твою голову стреляют пушки.

— Вот мы и на фронте, — сказал Сизов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ПОСЛЕДНИХ РУБЕЖАХ

1

Гудимов лежал на мшистой земле в стороне от товарищей. Иногда он прикладывал ухо к земле и улавливал идущий издалека грозный рокочущий шум. По шоссе шли вражеские танки.

Три часа назад, когда он вывел своих людей в лес, передовые танки уже ворвались на станцию и в город. Бой шел у кирпичного завода. Противотанковая засада ждала немцев возле санатория «Сосновый бор»... Что произошло за эти три часа? Танки не задержались в городе и несутся по шоссе вперед, на Ленинград...

Здесь, в чаще леса, было тихо и полутемно. Наверху по-летнему пекло солнце, обжигая верхушки деревьев, но внизу, под сплетающимися ветвями, царила душная сырость вечной тени.

Семнадцать человек деловито суетились возле землянок, чистили винтовки, некоторые переобувались, обучая друг друга несложному искусству обращения с портянками. Переговаривались тихо, будто их могли услышать. Когда неподалеку упала шишка, прошумев среди ветвей, все подняли головы и некоторое время молча всматривались в сумрак.

— Василь! — громко позвал Гудимов.

Акимов подбежал, обрадованный тем, что Гудимов нарушил молчание.

Гудимов внимательно и критически оглядел своего секретаря. Ладный охотничий костюм его (и ведь охотником был никудашным, просто не хотел отставать от райкомовской компании!) казался сейчас слишком нарядным, оперным. И сумка на боку — для форсу, из желтой кожи. Чем он так набил ее? Наверное, половину вещей и брать не стоило. А полотенце, должно быть, забыл.

— Возьмешь Трофимова, — приказал Гудимов, — выйдете к шоссе, к развилке дорог, определите, куда идет движение. Понял?

— Ладно, — нехотя сказал Акимов.

— Ты боец или кто? Повтори приказание.

— Взять Трофимова, выйти к шоссе и определить, куда идет движение.

— Трусишь?

— Алексей Григорьевич! — горячо зашептал Акимов. — Я не трушу, но вы же понимаете, я никогда не ходил в разведку и не знаю...

— А ты не думай «разведка», а просто выйди на опушку и погляди. Ну, ступай.

Акимов и Трофимов ушли. Гудимов смотрел им вслед, невесело усмехаясь. Кто скажет, что это умелые разведчики, ловкие партизаны! Управдел райкома и районный судья... Но когда-то ведь приходится начинать!

К Гудимову несмело приближалась Ольга Трубникова. Она тоже казалась ряженой, в мужских бриджах и сапогах, в кожанке поверх белой блузки, с рассыпающимися светлыми волосами, подстриженными по-мальчишески коротко. Когда ж это она постриглась? Хорошая у нее была коса, золотая, а на конце — почти белая и пушистая. И сама Ольга всегда казалась свежей, как утренний холодок, все в ней было привлекательно и недоступно — девичий мир, к которому и тянет, и страшно подойти... Но сейчас Ольга напомнила своего брата Бориса Трубникова, и это воспоминание было Гудимову неприятно.

— Ну что? — спросил он сухо.

— Разрешите поговорить с вами, товарищ командир, — опустив глаза, сказала Ольга.

— Садись, — он показал ей на траву рядом с собой.

— Алексей Григорьевич... — Она умоляюще дотронулась до руки Гудимова, и губы ее дрогнули. — Вы ничего мне не говорите. Что Борис?

— Я ж тебе сказал. Он эвакуирует оборудование завода и мастерских.

— Я не о том спрашиваю вас. Вы мне не доверяете?

— Как ты думаешь, я бы принял тебя в отряд, если бы не доверял?

— Алексей Григорьевич... он себя позорно вел, да? Я чувствую, что он не так себя вел. Все молчат, но я ведь понимаю... Я себе места не нахожу.

— Слушай, Ольга, — Гудимов сжал ее руку и сразу отпустил. — Я любил Бориса и был дружен с ним. Но я перестал любить его и перестал считать его другом. Он поступил допустимо, но я ждал, что он поступит иначе.

Вот и все. А то, что он забыл о тебе и не увез тебя с собой, это еще штрих.

— Я бы все равно не уехала!

— Ну и не будем говорить об этом. Только запомни: мое отношение к тебе совершенно не зависит от моего отношения к твоему брату.

Ольга молчала, сурово сжав губы.

— Как у вас дела с землянкой?

Ольга оживилась, в глазах затеплилась еще не смелая улыбка.

— Очень хорошо получилось. Вы зайдите поглядеть. Совсем просторно. И самовар мы почистили. Коля воды принес. Чуть начнет смеркаться, поставим самовар.

— Как на даче.

— Так ведь мы надолго здесь, надо устраиваться.

Гудимов прислушался и знаком велел Ольге сделать то же самое. Ольга смутно услышала далекий гул машин, и взгляд ее стал напряженным.

— Оля... ты веришь, что здесь мы можем быть полезны?

— Да,— ответила она быстро, не задумываясь. Потом задумалась, с некоторым удивлением вглядываясь в хмурое и даже недоброжелательное выражение лица Гудимова. — Да,— повторила она, — не сейчас, не сегодня, но когда их основные силы пройдут. А как же!

Гудимов медлил, тоже вглядываясь в лицо своей собеседницы. Затем тихо заговорил:

— Конечно, так, Оля. Но для этого нам надо много поработать. Очень много. Какие мы в данный момент партизаны? Дачники, застигнутые грозой в лесу! Те, кто посильнее характером, должны будут работать, как черти, чтобы склотить из группы дачников настоящий боевой отряд. Можешь ты это?

— Постараюсь.

Ольга ответила просто, поглядела на Гудимова ясными, умными глазами; в них было больше раздумья, чем уверенности, и это понравилось Гудимову. Не хотелось ему показной бодрости.

— Ну и отлично! Так вот, для начала возьми с собой кого-нибудь из твоих комсомольцев и ступайте к железной дороге. Поглядите, что там творится. Имей в виду: дорога, должно быть, под наблюдением, так что не зарывайтесь.

Он оставил лагерь на своего заместителя — прокурора Гришина — и пошел один в сторону города. Лес был знаком ему с детства, он знал здесь все грибные и ягодные места. Но теперь и в тишине леса, и в ярких пятнах солнца, пробивавшихся сквозь листву, и в малиннике на опушке леса — во всем было что-то новое... близость врага?..

У опушки Гудимов залег в кустарнике, огляделся и медленно пополз. Теперь он видел очертания города. Но разве ему нужно было видеть, разве он не представлял его себе так ясно, как только можно? Каждую крышу, каждый палисадник, каждый ухаб на улице... От моста взбегает на пригорок Курортная улица. Направо — затерянные в сосновом лесу домики детского оздоровительного лагеря. Зимой и летом приезжали сюда ленинградские бледненькие ребятишки, лечились здесь, дышали сосновым воздухом и уезжали румяными, окрепшими. Теперь домики стоят заколоченные, а ребятишки... где они? Увезены в переполненных поездах на восток, надолго оторваны от родителей, от родного Ленинграда? Или бегают по пыльным улицам, перегороженным баррикадами, и под ноющий рев сирены укрываются в подвалах, превращенных в бомбоубежища?..

Отсюда Гудимову видны были только окраинные дома и сады, но сейчас он видел отчетливо, до мельчайших подробностей, и то, что скрыто от глаз: пожарный сарай, новый стадион, куда сбегалась молодежь из всех домов отдыха, приземистое здание лодочной станции и расчищенную площадку у излучины реки... Сюда весной начали свозить строительные материалы для нового легочного санатория. В райкоме на стене еще и сейчас висит, наверно, проект Марии Смолиной. Она назвала его «Верю в здоровье». Стройные, чистые контуры, много мягкого света, много воздуха и зелени, крыша — балкон, частью застекленный, для прогулок в дождливую погоду... Гудимов вдруг отчетливо представил себе, как рыжий нахальный фашист тычет грязным пальцем в светлые листы проекта и хохочет: «Жаль, что не успели построить, мы бы открыли уютный публичный дом!»

От ненависти, стыда и отвращения у него пересохло во рту. Речка журчала совсем близко. Вода в ней всегда холодна, и по левому берегу течение нанесло песчаную отмель, на которой так хорошо бывало погреться на солнце после купания. Если бы можно было хоть на миг оку-

нуться в холодную быстрину, припасть губами к струящейся влаге... Нет, нельзя! Немцы, быть может, смотрят из окна ближайшего домика на его речку, на его лес, на его малиновые заросли по краю леса...

Впрочем, есть ли тут немцы? Сколько видит глаз, все окна закрыты, все сады безлюдны. Будто вымер город. Далеко, с другой окраины города, поднимается к небу вялый дым — должно быть, догорает станция. А сюда, возможно, еще не добрались?..

Он как-то вдруг заметил трех человек, спускавшихся по улице к берегу. Они шли, взявшись под руки. В середине — женщина. Как странно они шли!..

Прежде чем Гудимов разглядел, что двое других — солдаты, женщина отделилась от них и пошла, спотыкаясь, к реке. И тотчас он узнал ее — Белякова, заведующая районной страхкассой, скромная, исполнительная, вечно о ком-то хлопочущая женщина. Он ей давал рекомендацию в члены партии несколько лет назад... И вот она идет спотыкаясь, втянув голову в плечи, потом ускоряет шаг, оглядывается... Выстрел, и женщина падает, цепляется за землю, переваливается через край обрыва и остается неподвижной на отмели.

В ту же минуту Гудимов тоже выстрелил, и один из солдат упал, выронив автомат. Второй побежал назад, залег у частокочла и начал беспорядочно стрелять в сторону леса.

Белякова лежала на отмели, положив голову на руку, как будто спала.

Гудимов выбрался из кустарника, ползком добрался до леса и побежал. Возбужденный своим неожиданным поступком, он не сразу сообразил, что немцы не решатся углубиться в лес. Он присел у малиновых зарослей, сунул в пересохший рот несколько ягод и прислушался к наступившей тишине.

«Правильно ли я поступил? — думал он. — Не предупредил ли я их до времени, что в лесу есть партизаны? Хотя, что ж! Пусть знают. Пусть боятся. Они все равно не найдут нас. Зато Белякова отомщена... Мог ли я думать тогда, что моя рекомендация пройдет такую страшную проверку!.. Один гад уже поплатился за жизнь Беляковой. Один — это мало. Но ведь сегодня наш первый день. Почему они схватили Белякову? Выдал ее кто-нибудь? Или она держалась с ними гордо, независимо, не желая смириться? Но почему она оказалась в городе? Не

успела уйти? Кого-нибудь устраивала, спасала, а о себе подумать, как всегда, забыла?.. Да, это не Трубников... Именем Беляковой мы назовем этот детский лагерь, когда вернемся. И памятник поставим вот здесь, над обрывом. А пока — мстить за все. Счет начат. Даже легче дышать оттого, что счет начат...»

Подходя к партизанскому лагерю, Гудимов решил обойти его кругом и проверить бдительность дозорных.

— Стой!

Гудимов не понял, откуда идет голос, и с интересом остановился.

— Пароль, — снова раздался голос.

— Народ.

Зашевелился кустик. Курносое лицо пионерработника Коля Прохорова выглянуло из-за кустика, потом Коля встал, и кустик вместе с ним.

— Товарищ Гудимов! — обрадовался Коля. — А я даже струхнул — идет кто-то и прямо на меня, прямо на меня.

Гудимов видел, что Коля совсем не струхнул, что он по-мальчишески доволен своей выдумкой и своими новыми обязанностями, как был бы доволен любой увлекательной военной игрой, каких он немало проводил, руководя пионерами.

— А ведь вы меня не видали, правда? — спрашивал он.

Второй дозорный лежал в траве и, видимо, замечтался, — он вскочил, когда Гудимов уже подходил к нему. Гудимов отчитал его и сердитым пришел в лагерь.

— Разведчики вернулись?

— Нет еще.

Гудимов поглядел на часы. Он ходил больше трех часов. До железной дороги было ближе, чем до города. До развилки дорог немного дальше. Но пора бы уж им вернуться! Оля смелая, но неопытная, и она очень хочет оправдаться — за брата...

— Почему не рапортуешь по форме? — резко сказал он Гришину.

— Так ведь все в порядке, — удивленно сказал Гришин и присел рядом с Гудимовым на поваленное дерево. — Нас мало, Алексей Григорьевич, — тихо проговорил он. — Неужели мы будем формалистику разводиться?

— Прокурор еще называется! — огрызнулся Гудимов. — А формалистику будем разводиться обязательно. Ты

проверил, как твои дозорные караулят? Не проверил? Что же ты делал здесь, начальник?

Уже темнело, когда вернулась Ольга.

— Мы пытались испортить рельсы,— огорченно сказала она,— но у нас не было инструмента... Два поезда прошли мимо нас... с орудиями... и оба — к Ленинграду...

Трофимов вернулся часом позже, а Василий не вернулся совсем.

Вытянувшись перед Гудимовым, как боец, Трофимов толково и не торопясь доложил все, что удалось установить в разведке: танковая колонна и мотопехота прошли от развилки вправо, на хуторах за Косой горой пусто, в деревнях Ивановке и Старой Ивановке находятся еще наши части, отступившие от станции.

Партизаны стояли кругом и слушали. Трофимов замолчал, и все молчали.

— А где Акимов?— наконец спросил Гудимов.

— Акимов ушел от меня возле Старой Ивановки.

— И что же он сказал тебе? — с трудом выговорил Гудимов.

— Сказал, что... Товарищ Гудимов, нехороший разговор был. Не стоит повторять.

Гудимов слышал напряженное дыхание товарищей. Лиц не разглядеть было, но, и не видя их, Гудимов понимал, что гнев, смятение и обида на всех лицах.

— Отчего же, повтори,— сказал он. — Здесь партизаны, а не барышни. Им надо знать, как выглядят трусы.

— Он сказал, что если Красная Армия отступает и не может справиться с такой силищей, то семнадцать человек, плохо обученных и вооруженных, тем более ничего не сделают, и глупо погибать ни за што ни про што...

— Ни за што ни про што! — со злобой повторил Гудимов. И вдруг закричал, наступая на Трофимова: — А ты что же, отпустил с миром? Какой ты партизан, если предателя милуешь?!

Он сам понял, что его крик неуместен. Трофимов часто и громко дышал, переминаясь с ноги на ногу, а партизаны стояли так тихо и неподвижно, как будто и не дышали совсем.

— А я сегодня фашиста убил,— подавив раздражение, сказал Гудимов и, уловив, как сразу потянулись поближе к нему люди, начал рассказывать по порядку все, что произошло.

Рассказывая, он думал о Беляковой и о тех, кто окружал его. Это же его актив, товарищи, с которыми столько лет рос, учился, работал. Все они добровольно пошли трудным партизанским путем. Опыта нет, жутко, но ведь и у него нет опыта, и ему жутко.

— Вот так погибла наша Белякова, — закончил он и всем корпусом повернулся к Трофимову, все еще стоявшему навывтяжку. — А ты, шляпа, помиловал дезертира, предателя! Акимов побоялся, что нас семнадцать, и удрал, чтобы нас стало еще меньше. Попади такая сволочь к врагу, разве он не выдаст всех нас, чтобы шкуру свою спасти? А ты отпустил его.

— Я не догадался, — сказал Трофимов, облизнув пересохшие губы.

— Вот и плохо, что не догадался, как партизан должен с врагом поступать. — Он помолчал. — Я думаю, товарищи, что за свой позорный проступок партизан Трофимов подлежит расстрелу.

Ольга ахнула. Трофимов шагнул вперед и снова застыл навывтяжку.

— А ты уж и приготовился? — добродушно сказал Гудимов. — На первый раз — забудем, благо ты разведку провел хорошо и сам понимаешь. Тем более что без Акимова мы стали не слабее, а сильнее; верно, друзья? Или у нас еще найдутся сомневающиеся?

— Нет у нас таких! — гневно сказала Ольга. — Мы же знали, на что идем!

— Акимов всегда был чиновничьей душой, — буркнул Коля Прохоров. — Из него все равно толку никакого.

— С Акимовым моя вина, не разобрался в человеке, — признался Гудимов и заговорил, выбирая самые точные и строгие слова: — Проверьте себя, товарищи. Решать надо сегодня и до конца войны. Мы здесь не играем в партизан, а взяли на себя тяжелую и страшную задачу. Каждый промах может стоить жизни всем. Начнем воевать — нам Акимовы не нужны. Кто в себе не уверен, пусть скажет сразу. Завтра за разговоры о беспомощности буду расстреливать на месте.

В полной тишине стало слышно, как пролетел поверху, над деревьями, ветерок и как где-то далеко бухает артиллерия.

— Ну, добре, — сказал Гудимов и тронул Трофимова за плечо. — Ступай делить сухари, раз жив остался. И даю тебе десять дней сроку — отличиться.

— Было бы где,— с облегчением откликнулся Трофимов.

Ночью, когда все уснули, Гудимов проверил посты, а потом прилег на траве под деревом. Летнее северное небо тускло светилось между ветвями. Из ближайшей землянки доносился мощный храп. Гудимов не знал, кто из его бойцов храпит во сне. А ведь в партизанской жизни и это может иметь значение!.. Каждую привычку, каждое свойство характера надо знать в каждом человеке. Ведь от любого из шестнадцати зависит жизнь всех остальных. Они все доверились друг другу и больше всего командиру. Они заснули успокоенными, потому что поверили в его твердость, в его командирское умелое руководство. До сегодняшнего вечера он все еще был для них Алексеем Григорьевичем, секретарем райкома, теперь он стал для них командиром. Их пока всего шестнадцать, но насколько легче было управляться с большим районом, чем с этой горсточкой людей!.. А Василий — сволочь. Как вышло, что семь лет работала рядом такая мелкая гадина, а он не знал этого? Был аккуратный, исполнительный секретарь, любой протокол или резолюцию находил в одну минуту, никогда не забывал ни одного поручения... а души-то в нем и не было! И Борис оказался шкурником. Потихоньку, как вор, укатил на своей машине, бледный от страха, что его остановят... Как это он сказал накануне? «Разве ты не понимаешь, что сейчас самое важное — быть в Ленинграде, отстоять Ленинград!» Трусливый болтун! А здесь мы будем бороться за что? Не за Ленинград? Поезд с орудиями, пущенный под откос, — разве это не помощь Ленинграду? Дезорганизация тыла немецких войск, наступающих на Ленинград, — разве это не помощь Ленинграду? Да и остановит ли Трубников свой бег в Ленинграде? Нехорошие у него были глаза во время того разговора. Неискренние, бегающие. Знает ли Маша Смолина, кого она любит? Нет, конечно. Неоткуда ей узнать. А жаль. Она славная. Вот Ольга узнала, поняла и мучается... Она-то оказалась настоящей!.. Маша — та, наверное, уцелеет, Трубников увезет ее в тыл. А Ольга?.. Кто из них уцелеет, из шестнадцати?.. Никчемная дрянь, вроде Акимова и Трубникова, останется в живых... Но много ли шансов дожить до победы у них, у спящих сейчас в этом тихом лесу?

Гудимов боялся думать об этом даже наедине с самим собой, но много ли они сумеют сделать, много ли они

успеют сделать, вступив в неравную борьбу с металлическим чудовищем, от которого тяжелый гул стоном идет по земле?..

Гришин вышел из землянки, окликнул Гудимова, опустился рядом с ним на траву:

— Все думаешь?

— Думаю, что надо начинать действовать, — вполголоса ответил Гудимов. — И начинать с железной дороги. Тол у нас есть, народу нужно немного. А эшелоны идут на Ленинград.

2

Мика Вихров вел самолет над облаками.

Иногда он врывался в клубящийся серый пар, и тогда ему казалось, что он прорезает облака собственным гудящим, послушным телом, — настолько сильно было в полете ощущение своей полной слитности с машиной.

Стараясь не выходить из облаков и осматриваясь «в четыре глаза», как умеют осматриваться только летчики, Мика то и дело скашивал взгляд на зеленый городок, проплывавший под крылом. Сквозь пелену влажного пара Мика видел, а еще больше угадывал очертания дворцов, извивы аллей в парках, похожих сверху на кудрявый зеленый мех, рассыпанные тут и там зеркальца прудов. По милым приметам он угадывал знакомые места — висячий мостик над протокой, бронзовую девушку с разбитым кувшином, из которого струйкой льется вода, сидящего на скамье Пушкина, такого задумчивого и такого живого, что даже забывалось, что это памятник, а хотелось заговорить с ним, пожалеть его и рассказать ему о себе... Мысль о том, что именно сюда устремляются тяжело нагруженные бомбардировщики, вызвала у Мики и ярость, и боль, и острое чувство своей личной ответственности. Он был один в небе. От него одного зависело, сбросят или не сбросят десятки бомб на маленький зеленый городок, где мила сердцу каждая тихая улочка, каждый уголок парка...

Город Пушкин! Летная школа, робость и задор первых полетов, оценки учителя: «У тебя, парень, есть хорошие задатки» — скупая оценка, от которой он ходил неделю в состоянии восторга. Страстные ночные споры

с закадычными дружками по школе о том, что такое настоящий летчик и настоящий человек. Первый самостоятельный вылет на глазах у инструктора и возбужденных дружков... Успехи, благодарность в приказе, упоение оттого, что почувствовал полную уверенность в воздухе, овладение фигурами высшего пилотажа, новая благодарность в приказе и гауптвахта на десять суток за «воздушное хулиганство»... До сих пор весело вспомнить, какой каскад сложных фигур устроил он над аэродромом, упиваясь своей властью над машиной и ощущением своего мастерства. Вот когда он поверил, что может летать почкаловски! И даже гауптвахту он принял как деталь чкаловской биографии, потому что Чкалову тоже было тесно в рамках учебных задач и Чкалов тоже расплачивался за озорство в воздухе многими сутками ареста... На гауптвахте компания была веселая, дружная, книг было много, и Мика впервые в жизни пристрастился к чтению, решив прочитать подряд всю серию романов о молодых людях девятнадцатого века, которую издавали, как объяснили Мике, по инициативе самого Горького. Жаль было, что среди этих книг нет повести о жизни Пушкина, хотелось глубже узнать и понять причины задумчивой грусти молодого поэта, каким он запомнился Мике по памятнику возле лица. Но такой повести не было, и вместо нее Мика успел прочитать только книгу с труднопроизносимым названием «Кинельм Чиллингги» труднопроизносимого автора Бульвера Литтона, и чужая неудавшаяся любовь потрясла его, и он украдкой утирал слезы, читая прощальное письмо девушки: «Дорогой, дорогой...» Ему самому захстелось необыкновенной, самоотверженной, несчастной любви, и, когда приехала из Ленинграда Соня и дружки устроили им беглое свидание через окно, он говорил такие многозначительные и печальные слова, что Соня спросила, здоров ли он, и сказала на прощанье, что он похож на Печорина. Только на второй день Мике удалось без ущерба для самолюбия выяснить, кто такой Печорин, и последние два дня на гауптвахте прешли за чтением «Героя нашего времени». Когда он вернулся в школу, товарищи встретили его как героя, но совсем не печоринского типа, и даже инструктор обращался к нему с уважением, потому что, как-никак, Мика показал «класс» и сам начальник школы сказал о нем, что Вихров «великоленен в воздухе», а это было главным, поскольку Мика был летчиком. Затем снова приехала Соня, и они гуляли

с нею в парке и катались на лодке по озеру, а потом вышли поглядеть Турецкую баню и долго сидели на ступеньках у воды, разговаривая о каких-то пустяках и думая о другом. Потом они пошли по тенистым аллеям, так и бросив лодку возле Турецкой бани («Черт с нею, с лодкой, найдут, кому нужно», — сказал Мика), и все было чудесно, и он чувствовал себя влюбленным и благородным, как Кинельм Чиллингли. Но на висячем мостике, когда Соня взяла его за руку, он вдруг поцеловал ее — и опомнился от звонкой пощечины. В этом не было ни романтики, ни красоты. Пощечина была отпущена сильной и решительной рукой. Мика разозлился до того, что повернулся и пошел прочь, чтобы никогда не встречаться больше. Подумаешь, недотрога! А Соня крикнула вслед: «Советую вернуться и сдать лодку, а то без документа опять попадешь на губу!» Самым унижительным было то, что лодку действительно пришлось вернуть и лодочники не могли не понять, что летчик потерпел неудачу... Но при выходе он столкнулся лицом к лицу с Соней. Ее смуглое лицо выражало такое невинное добродушие, что невозможно было расстаться с нею, тем более что тут и там попадались гуляющие курсанты и было бы глупо оставить Соню, а потом увидеть ее с кем-либо из обрадованных дружков. Мика взял ее под руку и строго сказал, что проводит ее на вокзал, так как считает ниже своего достоинства обижаться на женщину. Они дошли до вокзала молча и долго бродили взад и вперед по перрону, и это молчание на людях сближало их. Он понял, что любит ее, несмотря на пощечину, любит не как Кинельм Чиллингли и не как Печорин, а совсем по-другому и очень нежно, и, в конце концов, даже приятно, что она недотрога. Он сказал, что она не должна сердиться, потому что он не хотел оскорбить ее, и она ответила: «Я знаю», после чего они пропустили два поезда и всё блуждали по перрону, и все люди и все поезда мира не имели к ним ни малейшего отношения. Затем они очутились в тоннеле под путями, над ними прогрохотал еще один поезд, а они стояли в полумраке и целовались, отрываясь друг от друга, когда кто-нибудь проходил мимо...

Мика нашел глазами белое нарядное здание вокзала и почти одновременно увидел бомбардировщиков на встречном курсе. Девять тяжело нагруженных самолетов плыли медленно, четким строем.

Мгновенно забыв все на свете, Мика углубился в клубящийся пар облака и стал забираться выше бомбардировщиков, заходя в сторону солнца и выбирая удобный угол нападения.

Бомбардировщики шли напрямик к маленькому зеленому городку, шли не таясь, с самоуверенной наглостью. Как укол в сердце, пронзило Мика чувство ярости, он весь подобрался, и ярость стала холодной, сосредоточенно-спокойной, а ощущение слитности с машиной усилилось — теперь и пулемет ощущался им как часть собственного тела. В точно рассчитанную минуту он вывалился из облака и нажал гашетку пулемета, всем телом, слитым с самолетом, устремляясь на головной бомбардировщик. На какой-то миг он увидел белое лицо фашистского летчика, а затем головной «юнкерс» взорвался, и из черного облака дыма стали валиться вниз его покореженные обломки. Силой взрыва Мика потряхнуло, он сумасшедше обрадовался, представив себе фашистского капитана с железными крестами и всю его паршивую команду, разлетевшуюся в клочья, и плавно развернул свой «ишачок», нацеливаясь на другой бомбардировщик. «Юнкерсы» рассыпались во все стороны, заворачивая назад, а Мика погнался за двумя ближайшими и снова обрадовался, увидев, что бомбардировщики сбрасывают бомбы в поле, чтобы облегчить себя. Ему удалось нагнать один «юнкерс» и зайти ему в хвост. От струи пуль «юнкерса» затрясло и окутало дымом; надо было подбавить еще немного, но Мика не успел этого сделать. Из облаков выскочили два «мессершмитта», и все внимание Мики разом сосредоточилось на том, чтобы увернуться от первой атаки и не допустить следующей.

Труден был бой маленького старого истребителя с быстродными и более современными истребителями, но уже не первый раз и Мика, и другие советские летчики принимали такой бой. Мика даже похвалился перед Соной, что «ишачок» маневреннее и никогда не подведет, так что он ни за что не променял бы его ни на какой «мессер». Так они все говорили, и только их напряженное ожидание новых машин, которые вот-вот начнут поступать, противоречило тому, в чем они сами себя старались убедить. Сейчас, вычерчивая в воздухе стремительные линии и думая только о том, чтобы сбить противника и уцелеть самому, Мика использовал все хитрости выработанной коротким боевым опытом тактики неравного

боя. Один раз ему удалось удачно развернуться и нырнуть под «мессера», послав ему в пузо пулеметную очередь, но «мессер» ускользнул невредимым.

То, что произошло в следующую секунду, Мика толком не понял. Должно быть, в азарте он на короткое время упустил из виду второго истребителя и не заметил его маневра. Пуля свистнула у щеки, заставив Мику откинуться назад, а родной «ишачок» вспыхнул и начал валиться на левое крыло. Никакие попытки выровнять самолет не удавались. Затем пламя дохнуло в лицо, и самолет стал существовать отдельно от Мики, впервые непослушный и непонятный, дорогой, как сама жизнь, но уже обреченный.

Мика высвободился из кабины, оторвался от самолета, дернул кольцо парашюта и увидел, как пылающий «ишачок» кувыркаясь пошел вниз и врезался в землю. Он отвернулся от маленького чадающего костра, — непереносимо глядеть и некогда. Беззащитно болтаясь в воздухе — завидная мишень! — он ждал, что один из «мессеров» вернется расстрелять его — так они обычно делали, — но «мессеры» будто и не видели его. Он старался разгадать, что это значит, и вдруг увидел: несколько «юнкерсов», те, что не сбросили бомбы в поле, то ли пять, то ли шесть, неумолимым строем идут сквозь облака на Пушкин, и оба «мессера» кружат вокруг них, нахально и задорно кружат, как бы издеваясь над одиноким летчиком, болтающимся далеко внизу под куполом парашюта. Это было как оскорбление — их пренебрежительное невнимание к нему. Мика не то вскрикнул, не то застонал от злости, и вдруг его пронзил страх — может быть, внизу уже немцы, и «мессеры» знают это? Но с земли не открывали огня по нему — значит, там свои? Или... или немцы ждут его, чтобы взять в плен?! Только не это, лучше смерть, только не это! В крайнем случае — последнюю пулю себе... Подтягивая стропы и всем телом помогая движению парашюта, он старался дотянуть до леса, — там легче скрыться. Кажется, и ветер помогал ему, добрый ветер родины. Поле с чадающим костром осталось в стороне, под ним — зеленый курчавый мех. Дотянул! Курчавый мех быстро приближался, постепенно теряя сходство с мехом и распадаясь на острые пики елей, колючие шапки сосен и нежно-зеленые островки берез. Мика влетел в зеленую гущу, цепляясь стропами за ветви; одна ветка больно хлест-

нула его по щеке... Все! Тишина. Покой. Запах грибов и сырости.

Путь до своих потребовал полутора часов нудного блуждания — с остановками, с прислушиванием к шорохам и треску ветвей. В пути он старался не думать ни о чем, кроме самого пути: верно ли направление, где могут быть свои, не нарваться бы на врагов. Постом, когда он набрел на своих и ему дали мотоциклиста, Мика думал только о том, чтобы скорее добраться до полка, а в дороге, злясь оттого, что скорость и ветер в лицо были непривычными, земными и трясло так, что душа может выскочить, он забеспокоился, как он будет докладывать Комарову о бое и как он скажет, что машина погибла... И впервые в жизни подумал о самом себе враждебно, презрительно, и ему стало горько, что он не погиб вместе с машиной... На кой черт он нужен теперь и другим, и самому себе?!

В полку его встретили радостно. Сообщение о гибели самолета было уже получено от наземных постов, и Комаров, выслушав доклад Мики, деликатно сказал, что полтора самолета за один — не так уж плохо, и послал Мику отдыхать. Но Мика видел, что Комаров еле сдерживает досаду — самолетов осталось вдвое меньше, чем легчиков...

Мика пошел обедать. Ел с жадностью, так как здорово проголодался, но еда показалась горькой. Друзья окружили его, расспрашивали о бое, и Мика заметил, что они обращаются с ним не так, как обычно, а бережно и сочувственно, как с больным, и тогда ему стало до конца ясно то, что раньше он знал умом и во что не мог, не хотел поверить: другого самолета ему не дадут, другого самолета нет...

Люба Вихрова только что пришла с работы, тщательно умылась и поставила на плиту чайник, когда к ней ввалились два летчика. Она сразу узнала старшего лейтенанта Глазова, большерукого, нескладного, очень доброго приятеля брата. Но Мику она узнала только тогда, когда он прошел, не спрашивая разрешения, в комнату и поставил на стол бутылку водки.

— Пить будем, Соловушка, — сказал Мика и отвернулся, чтобы сестра не видела его дрожащих губ и багровой царапины на щеке.

— Вот уж не ждала вас сегодня,— щебетала Люба, накрывая на стол и стараясь показать, что она не замечает состояния брата: она решила, что он пьян.

Глазов хотел помочь Любе хозяйничать и разбил чашку. Его Люба тоже приняла за пьяного и даже спросила:

— Не хватит ли вам на сегодня?

— Нам на сегодня всего хватит, кроме водки,— ответил Глазов.

Тогда Люба выскользнула на кухню, позвала соседского мальчика, дала ему записку и скомандовала: «Одна нога здесь, другая там, и чтобы мигом собралась». И еще не было налито по второй рюмке, когда появилась Соня. Мика встрепенулся, покраснел, отодвинул рюмку:

— Ничего не понимаю... откуда ты взялась? Откуда вы знаете друг друга?

— А мы вместе баррикады строим,— сказала Соня. — Мы будем сражаться, а ты будешь прикрывать нас с воздуха!

— Никого я не буду прикрывать! — крикнул Мика. — Кто я теперь? Без-ра-бот-ный! Лучше б я угробился вместе с самолетом.

Он уронил ершистую мальчишескую голову на руки. Глазов смотрел в тарелку, ничего не говоря, потому что он сам уже вторую неделю сидел без самолета и не надеялся скоро получить машину. Женщины стояли над Микой и не знали, как утешить его.

— Перестань, Мика,— тряхнув головой, сказала наконец Люба. — Решили пить, так давайте пить! Соня, возьми себе рюмку в буфете. Мика, подвинься, мы посадим сюда Соню. А я вам спою, спою со слезой... Какую же сейчас другую споешь! Теперь от грустной веселей становится, а от веселой — слезы...

И она пела, прикрыв глаза, высоким, чистым голосом, а Мика пил водку и никак не мог напиться допьяна, и Соня, подавляя тоску, подливала ему водки и уговаривала выпить еще, потому что женским чутьем угадывала, как нужно ему сегодня хотя бы короткое забытье.

3

Парило. Если смотреть в небо, от зноя рябило воздух. Внутри танка дышать было нечем, но на земле, возле танка, было приятно лежать, пожевывая прохладные горь-

коватые стебли и поглядывая кругом, — тишина, безлюдье, сонный покой... И поле впереди нетоптанное, все белое от ромашек.

— Интересно, есть тут кто, кроме нас, или нету? — вслух подумал Алексей Смолин, потянулся за ромашкой и стал обрывать лепестки, приговаривая: «Свои, немцы, свои, немцы, свои...» Вышло «свои». Алексей отбросил стебель и покачал головой: — Что-то не похоже, чтобы свои здесь были. Врет ромашка.

— Она только на любовь приспособлена гадать, — сказал Гаврюшка Кривозуб. — На любовь погадай.

Алексей сорвал травинку и попробовал ее на вкус, но тоже отбросил, — травинка была горькая.

— Ты заметь, — сказал он задумчиво, — если позиция вроде этой, обязательно нас с тобой посылают. Любит нас Яковенко.

Алексей привел два танка на указанную ему позицию сегодня на рассвете. Задача была для него понятна и не нова — устроить засаду, одну из тех хорошо замаскированных и дерзких засад, которыми ошетибилась ленинградская земля, чтобы со страстным упорством во что бы то ни стало задерживать, изматывать, морально подавлять врага. Одну из тех засад, где численному превосходству наступающих противопоставляется внезапность удара, преимущество скрытой, хорошо подготовленной позиции в родных, до подробностей знакомых местах, когда каждое болотце, роцца, поворот дороги помогают своим и вредят чужакам. Одну из тех засад, где наглой самоуверенности противостоит злое мужество и готовность погибнуть, но не пропустить врага... Что ж, место было подходящее: с одной стороны болото, с другой лес, а между ними холмистый перешеек, вот это ромашковое поле и роцца, которую немцам не миновать. Роцца молодая, жидкая, но удобная для наблюдения.

Танкисты быстро окопались, замаскировали машины, отрыли запасные позиции, сделали расчеты стрельбы по ориентирам. Алексею все больше нравилась позиция: впереди высотка, между высоткой и роццей поле, — враг будет как на ладони, только бей. Сережа Пегов даже хорохорился: «Пусть-ка сунутся!» Только одно смущало Алексея: давая задание, Яковенко сказал ему, что засада будет поддержана пехотой, а на месте Алексей никого не обнаружил. Наспех отрытые окопы по опушке роцци стояли необжитые, пустые. Алексей связался по

радио с Яковенко и получил ответ: «Занимайте позицию впредь до нового распоряжения, ваша задача выиграть хотя бы двое суток». Пока что враг не появлялся, и после неторопливого обеда командиры лежали в тени, радуясь передышке.

— Впечатление такое, что тут километров на десять ни души, — сказал Кривоzub.

— Я ж говорю... — лениво отозвался Алексей. — Война, будь она неладна!

Они помолчали.

— До чего ромашки здесь много, — вздохнул Кривоzub. — И никакого ей дела нет, воюем мы тут или прохлаждаемся... Ишь цветут!

— Когда в небо смотришь, ни в какую войну не верится. Тесно на земле, что ли?

— Мне тесно! — убежденно откликнулся Кривоzub. — С фашистами? Тесно!

— Ну и мне с ними тесно. Я не о том... А ты никогда не думал, Гаврюшка, что вот тебя могут убить, а небо будет все такое же, и трава такая же, и все в мире будет как всегда, кроме тебя?..

— А чего о смерти думать! — неохотно откликнулся Кривоzub. — У нас говорят: хуже, когда боишься, — лиха не минешь, а надрожишься.

— Я не из страха. Я понять хочу. Я всегда думал так: вот вокруг большой мир, и это все — мое, для меня. Живи, пользуйся, сумей только прожить хорошо, умно, интересно. А сейчас это под угрозой, и не мир для меня, а я для него, и, чтобы он жил, мне, может, умереть придется. Готов я? Не хочется, конечно, а готов.

— А я знаешь чего хочу? Дожить до того дня, когда наши танки по Берлину прогрохочут. Или хотя бы по Кенигсбергу, или какой там город первым от нашей границы. Даже помереть тогда согласен, только бы сперва одним глазком...

— Товарищ старший лейтенант, немцы!

Алексей мгновенно очутился на своем командирском месте и прильнул глазом к смотровой щели. Два немецких легких танка медленно ползли из-за высоты к полю, белому от ромашек. Люки у них были открыты, и танкисты, прикрываясь от солнца рукой, лениво поглядывали по сторонам.

Алексей знал, что Гаврюшка с такой же быстротой, как и он, занял свое место и не должен стрелять до того,

как выстрелит командир взвода. Но Алексей побаивался, что у Гаврюшки может не хватить выдержки, а ему хотелось подпустить танки как можно ближе к роще, где им придется разворачиваться, и тогда бить наверняка. Эти два беспечных танка были, очевидно, передовыми. Но, черт возьми, как они нахально двигаются! Гусеницы медленно подминают траву, мерцающую белыми звездочками ромашек. А фрицам, видно, хорошо дышится на вольном воздухе. Курортная поездка? Ну погодите!

— Товарищ старший лейтенант,— прошептал заряжающий Костя Воронков,— пора бы...

Алексей дернул бровью — нет, мол, не пора. Водитель Носов и радист Коля Рябчиков то и дело снизу заглядывали в башню. Алексей, успокаивая, поднял ладонь и прикусил губу, чтобы унять собственное нарастающее возбуждение.

Миновав середину поля, задний танк вышел на одну линию с передним и стал забирать вправо. В гулкой тишине Алексей слышал только рокот моторов и громкий стук своего сердца. И оттого, что тишина была такой гулкой и все его существо было напряжено и приковано к неспешно приближающимся танкам, ему стало казаться, что немцы почуют засаду. Но танки шли спокойно. Они, видимо, решили обойти рощу с разных сторон. «Замечательно!.. Гаврюшка, конечно, догадается взять на себя левый танк. А мне — правый. Вот он сейчас доползет до кустика, и как только его башня поравняется с кустиком (ориентир точно рассчитан), надо бить по башне. Только бы Гаврюшка выдержал... его, наверное, сейчас трясет от нетерпения... Вот сейчас... еще минуту...»

Немцы были не более чем в трехстах метрах. Они не могли видеть хорошо замаскированную засаду, но, быть может, что-то им почудилось или осторожность взяла верх над желанием подышать воздухом, — командир головного танка полез вниз, чтобы закрыть люк. В то же мгновение Алексей ударил по башне, и не прошло и секунды, как выстрелил Гаврюшка. Два звука слились в один, но этот один влился в грохот следующих выстрелов — своих и ответных.

Почти ничего не видя в густом, нерасходящемся дыму, Алексей чутьем уловил, что отвечает им только один танк — левый, и перенес огонь на него. На секунду в разрыв между клубами дыма он увидел разорванную, странно косую башню правого танка... Он продолжал

стрелять, выкрикивая во весь голос ожесточенные ругательства, каких никогда не произносил в обычной жизни.

Через несколько минут все было кончено. Танки горели голубым пламенем среди белых ромашек. Танкисты не выбрались из машин. Только на правом танке открылся было люк водителя и ослепший от дыма водитель высунулся наружу, но пулеметная очередь прошла его, и он повалился назад.

Алексей выглянул наружу и увидел над соседним танком потное лицо Гаврюшки.

— Сейчас появятся еще, смотри в оба, — строго сказал Алексей.

Они ждали, вглядываясь в залитый солнцем горизонт так пристально, что слезы набегали на глаза.

Грузовик с пехотой выскочил из-за высотки, застыл и дал полный назад.

«Начинается», — сказал себе Алексей.

Он уже знал, что немцы не полезут напролом малыми силами, что они подтянутся и ударят по роще так, чтобы наверняка обезопасить себе путь, что скоро его два танка испытают на себе всю мощь ударов, наносимых злобно, широко, без экономии средств. И он внутренне приготовился к тому, чтобы не дрогнуть, когда испытание начнется.

Артиллерийский снаряд просвистел над танками и разорвался в роще далеко позади. Алексей плотно закрыл люк. Надо было не выдавать себя и ждать.

Снаряды падали по всей роще, один врылся в землю так близко, что танк трянуло и осколки зацокали по броне. От пыли и дыма ничего не было видно.

Потом стрельба прекратилась и наступила тишина — необыкновенная, глухая, до звона в ушах. На землю пали сумерки, над болотом тонкими струйками, как табачный дым, шевелился туман, и каждая струйка тумана, каждое темное пятно вызывали настороженность, приковывали внимание до рези в глазах.

Ушли немцы? Притаились за высотой? Готовятся к удару?..

С наступлением темноты немцы стали первничать. Над высоткой взлетела ракета. Яркий, неестественный свет озарил ромашковое поле, черные остовы обгорелых танков, склоны холма. На минуту ромашки всныхнули, как огромный рой светлячков. Потом все погрузилось во мрак. И тотчас снова взлетела ракета.

Наблюдение за противником велось неослабно. Все устали. Поели всухомятку, по очереди. Так же по очереди пытались спать, но никому не спалось.

Утреннюю зарю укрыли непроглядные тучи. Пошел дождь. Березы стряхивали на землю отяжелевшие листья. Алексей увидел, что за сутки облетело много листьев, покрытых первой ржавчиной увядания. Осень?.. Или снаряды вчера помогли?..

Погода навевала скуку. Дозорные на опушке мокли и зябли. Алексея неожиданно сморило, и он проспал, может быть полчаса, может быть всего несколько минут. Сон освежил его, он выскочил из машины, чтобы размяться, и молча курил, слоняясь подле блестящего от воды танка. Он очень обрадовался, когда Кривоzub тоже вылез покурить.

Гаврюшка Кривоzub окончил военную школу уже во время войны и во взвод Алексея пришел два месяца назад, в начале боев на лужских рубежах. Теперь Гаврюшка считался уже бывалым танкистом, потому что два месяца на лужском плацдарме стоили двух лет. В тяжелых, почти не прекращающихся боях, сражаясь малыми силами против танковых и моторизованных колонн врага, молодые воины приобретали опыт, менявший многие школьные представления о правилах и методах танкового боя. Они научились думать: «Нужно — значит можно», и побеждать, где, казалось, неизбежно было поражение. Они считали каждый день, замедлявший продвижение вражеского нашествия, и, подсчитывая, сами потом удивлялись, что дни слагались в недели и месяцы.

И Алексею, и Кривоzubу запомнились бои под Молосковицами. Из продолговатой рощи, прозванной танкистами «галошей» за ее форму, они нанесли внезапный и сильный удар по танковой колонне врага и перебили, подбили, сожгли много танков. Такого крупного успеха им еще не выпадало, и Алексей с Кривоzubом ликовали, поверив, что наступление фашистов остановлено, что дальше они не пройдут. Пожалуй, эта совместно пережитая радость после многодневных изнуряющих боев и положила начало их дружбе.

А потом выяснилось, что немцы прорвались глубоко на правом фланге и захватили станцию Молосковицы, а на левом фланге заняли деревню Лялино и совхоз, так что роща оказалась в «мешке». Надо было либо органи-

звать круговую оборону в «галаше» и драться здесь до последнего, либо пробиваться назад через узкую горловину между станцией и совхозом. Приказано было пробиваться, пользуясь ночной темнотой. При отступлении у танка Алексея, потрепанного в бою, забарахлил мотор, и Алексей отстал от других. Они выбрались только перед рассветом, на малом ходу. Явившись к Яковенко, Алексей узнал, что Кривоzub еще в середине ночи с двумя бойцами пошел к нему на помощь и до сих пор не возвращался. Алексей разволновался и хотел идти на поиски Кривозуба, но Яковенко прикрикнул на него: «Полезай на печку и спи, ты мне для дела нужен. Дружки чертovsky!» Алексей улегся на лежанке и почти сразу крепко уснул, так как не спал двое суток, но перед сном успел впервые осознать, что они с Гаврюшкой действительно сдружились по-настоящему и ничего не может быть для него больнее, чем несчастье с другом. Проснулся он оттого, что знакомый голос рапортовал совсем близко:

— Товарищ капитан, обшарил всю роццу. Смолина не обнаружил и танка тоже не обнаружил, нету там его танка.

— Гаврюшка! — крикнул Алексей, вскакивая, и больно стукнулся головой о потолок.

— Шлем надевать надо, когда спать ложишься, — серьезно сказал Яковенко.

Гаврюшка полез наверх:

— Да ты здесь? Черт косою! Я ж из-за тебя...

Они обнялись и крепко поцеловались. Алексей почувствовал слезы на глазах и завозился, освобождая лежанку:

— Ложись сюда.

Сидя подле друга, Алексей рассказывал, что у него случилось, и не сразу заметил, что Гаврюшка спит. Тогда Алексей прикрыл его курткой и еще некоторое время сидел рядом, растроганный нежностью впервые понятого чувства. Какой дурак выдумал, что люди грубеют на войне! Никогда еще не было его сердце так открыто для любви и нежности, для воспоминаний и надежд... А проявлений меньше... так разве чувства сильны проявлениями!..

Гаврюшка проснулся. Сейчас у него был довольно помутный вид и молодые озорные глаза его смотрели спящего тускло.

— Не вылазят фрицы, — пробурчал он, зевая.

— Еще вылезут.

Они оба прислушались к тишине, звенящей и томительной. Алексей скосил глаза на часы, сказал:

— Одни сутки уже прошли.

— Они еще потопчутся,— добавил Кривоzub.

— Дадутся им эти сорок километров! — сказал Алексей без пояснений, и Гаврюшка понял его, кивнул головой:

— Длинные будут для них. И чем ближе к Ленинграду, тем длиннее.

Они оба ничего не знали о том, что происходит за пределами вот этой рощи, ромашкового поля и болота. Тут пролегла одна из многих возможных дорог наступления, здесь они должны были стать насмерть, чтобы не пропустить врага.

Через час от Яковенко пришел приказ: одному танку остаться на позиции, второму немедленно вернуться за срочным заданием. Решение, кому оставаться, предоставлялось Смолину.

— Ну, что тебе отстукали? — полюбопытствовал Гаврюшка.

— Придет время, сообщу,— сухо, по-командирски ответил Алексей.

Не обижаясь, Гаврюшка отошел к своей машине.

Алексей стоял молча, стиснув челюсти, и поглядывал в сторону высоты, проступавшей сквозь дождливую муть, и на серое небо, где ветер уже рвал и разгонял тучи. После ночи, освещенной тревожным сиянием ракет, занимался день неизбежного боя. Все предвещало бой: и зловещая тишина, наступившая с рассветом, и улучшение погоды, и простой расчет, что за ночь противник успел подтянуть силы. Удара можно было ожидать с минуты на минуту. И один из танков надо было отправить немедленно, пока видимость плохая и в небе нет авиации.

Алексей посмотрел на своих товарищей и встретил сочувственный взгляд радиста Коли Рябчикова. Рябчиков знал приказ. Знает ли он, что решил его командир? И побоятся ли он, побоятся ли другие парни остаться одни в этой проклятой роще, в этой недоброй тишине?

Алексей подозвал Гаврюшку:

— Лейтенант Кривоzub, вернетесь в штаб батальона и получите новое срочное задание.

— Есть вернуться в батальон и получить срочное задание! — повторил Гаврюшка. И вдруг, поняв: — А ты, Леша?

— Лейтенант Кривоzub, передайте комбату, что ружье мною обороняется и будет обороняться до конца.

— Есть.

— Выходите немедленно.

— Есть, товарищ старший лейтенант... Леша, что же это?..

— Ладно, Гаврюша, сыпь...

Теперь Алексея интересовало только состояние экипажа. Не заскучают ли ребята, оставшись одни? Ребята глядели невесело. Даже башенный стрелок Сережа Пегов, беспечный мальчишка, отчаянная головушка, и тот притих.

— Вы чего губы распустили? — спросил Алексей, подходя к ним. — Или вы со мной когда-нибудь пропадали?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант, — ответил Носов. — А что задумались — так ведь каждому жить хочется.

— Ишь ты! — буркнул Коля Рябчиков. — А под Молосковицами жить не хотели? Там хуже переплет был.

— Да что ты меня учишь! — огрызнулся Носов. — Я, знаешь, больше твоего воевал, и случая не было, чтоб сдрейфил. В финскую войну под Кирка-Муола...

Сережа Пегов махнул рукой:

— Бросьте психовать, чего уж! — И объяснил со вздохом: — Тишина эта действует. Хуже всякого боя... Да и уходили бы они скорее, раз такое дело. Провожать всегда тошно.

Алексей приказал перегрузить часть боезапаса из танка Кривоzubа к себе. Авральная работа и дополнительный боезапас оживили людей.

— Теперь дело крепко, — приговаривал Сережа Пегов, осторожно и ловко размещая снаряды.

С кривоzubовцами прощались неестественно весело, а потихоньку всовывали друзьям записочки и адреса родных: «Перешлешь при случае... если доведется, занесешь сам...»

Гаврюшка подошел к Алексею:

— Леша, я сразу к Яковенке и расскажу обстановку...

— Слушай, Гаврюшка, — с досадой сказал Алексей. — Мы с тобой друзья и все такое. А в войне один

танк с экипажем — это один танк с экипажем, и не больше. А до Ленинграда — сорок пять минут поездом. Так что ты сырости зря не разводи.

Гаврюшка кивнул и протянул обе руки:

— Ну, бувай здоров!

Проводив товарищей, сели завтракать. Молча и ожесточенно очищали консервные банки, похрустывали сухарями. Ветер дул порывами, разгонял тучи. Первые бледные лучи солнца осветили рощу, скользнули по склону молчаливой высоты.

Алексей сосал сухарь и думал о давешнем разговоре, что каждому жить хочется. Да, хочется. А может быть, эта светлая роща — последний рубеж его жизни? Листья покраснеют и опадут уже без него, и зима начнется без него, и не пойдет он по молодому снежку, поскрипывая сапогами... Да, это возможно. Но, как никогда, чувствовал он в эти минуты, что от него зависит — жить или не жить. От его искусства вести бой, от его находчивости и смелости, от быстроты мысли и верности решений. Сумеет он действовать умнее, хитрее, напористей врага — и отобьется, спасет парней, и машину, и себя. Не сумеет — тут и могила будет под березками. Да только некому будет рыть могилу...

— Вот ты говорил, Коля, что каждому жить хочется, — сказал он Рябчикову, и по тому, как сразу прислушались все, понял, что каждый по-своему думал о том же. — Хочется, конечно. Только без победы, думаешь, будет нам жизнь? Я так понимаю: если хочешь жить — дерись, как черт. Впятером так впятером. Один останешься — один дерись.

— Так и будет, — сказал Рябчиков.

Около девяти часов в прояснившемся небе медленно проплыл немецкий разведчик, покружился над рощей и ушел.

— Кофе напьются и начнут, — сказал Сережа Пегов.

Ровно в девять появились бомбардировщики. Грозно гудя, они шли прямо на рощу. Алексей приказал всем лечь под танк в открытую глубокую нору.

В норе было мокро и душно. Взрывы бомб сотрясали землю так, что от стен отваливались пласты мокрой глины. Потом взрывы прекратились. Гудение самолетов удалилось и вдруг надвинулось снова с удвоенной силой. До танкистов донесся треск пулеметов, — немцы на бреющем полете прочесывали рощу.

— Все наверх! — приказал Алексей.

Надо было ждать врага наземного. Видно, этот путь к Ленинграду нужен немцам во что бы то ни стало. Значит, и на других путях им не сладко? Что ж, это хорошо. А день предстоит жаркий... Беглым воспоминанием прошли в памяти собственные недавние размышления, и прощание с Гаврюшкой, и разговор с товарищами. Последний рубеж жизни? Нет, шалишь!

Только успели скрыться самолеты, начался шквальный артиллерийский огонь. По броне цокали осколки, глухо шлепали комья мокрой земли. Со стоном упала на машину вырванная с корнем береза, и нежная веточка ее закачалась перед смотровой щелью.

— Важные мы персоны, — сказал Сережа Пегов. — Сколько боезапаса на нас расходуют!

Бодрились ребята, готовясь встретить трудную минуту. А она приближалась. Немцы не могли не разобраться очень скоро, что против них всего-навсего один танк. Они старательно бомбили пустые окопы, но в наступлении они быстро выяснят, что окопы пусты. Пулеметчиков бы сюда!.. Хоть двух, хоть одного...

— Рябчик, — позвал он радиста под влиянием мгновенной и занятой мысли. — Что, если ты с автоматом заберешься в тот окоп, что справа, и, когда попрет пехота, шуганешь ее с фланга? Только на месте не сиди, меняй позиции, понятно?

— Есть, понятно.

Рябчиков выпрыгнул из машины и пополз к опушке.

— Товарищ командир, разрешите мне тоже... в левый...

Это просился Сережа.

Шипящий вой мин прорезал тишину. И на том краю поля появилась пехота, — перебежками, с автоматами у животов, она бежала к роще.

— Иди, — сказал Алексей.

Он пожалел о своем решении, увидев, как Сережа, еле пригнув голову, смело побежал меж деревьев. Захлопнул люк, мельком подумал, придется ли вновь увидеть товарищей. И забыл о них, потому что пехота уже пробежала около половины поля.

— Давай! — выдохнул он, не глядя на Костю Воронкова.

Они открыли одновременный огонь из пушки и пулемета.

Пехота залегла, но из-за высоты на полной скорости выскочили два танка. Алексей со злобным спокойствием, хорошо рассчитав, послал снаряд под гусеницы переднего танка и второй снаряд — по заднему танку. Передний покачнулся и стал, но второй помчался по полю зигзагами, открыв огонь. Пехота поднялась и побежала вперед. Носов бил ее из пулемета, с флангов заработали автоматы Сережи и Рябчикова. Алексей видел, как падали немцы там, где их будто смахивали веера пуль.

Немцы заметались и повернули назад. Алексей не успел порадоваться этому, потому что танк упорно приближался, его снаряды ложились всё ближе, а сам он казался неуязвимым. Задыхаясь от страшной злобы и всеми силами души стараясь сохранить выдержку, Алексей продолжал бить по танку.

Танк вдруг осел на правый бок, потеряв гусеницу, но его башня тотчас повернулась и возобновила огонь.

Пехота, добежав до подбитого танка, залегла. Алексей видел, как офицеры пытались погнать солдат в новую атаку, но солдаты не поднимались.

— Дрейфят! — крикнул он Носову.

Теперь он сосредоточил все силы на том, чтобы попасть в башню проклятого танка, уничтожить пушку. И точным попаданием он разворотил башню. Танк замолчал. Но из-под разбитого танка выскочил танкист с пистолетом в руке, он что-то кричал и взмахивал рукой, не прячась от пуль, и пехота поднялась и побежала за ним во весь рост, крича и безостановочно стреляя из автоматов. Пулеметные очереди косили ее, но танкист был цел, и солдаты продолжали бежать за ним.

Алексей бил, бил по наступающим. Он смутно понимал, что автомат Рябчикова замолчал, но и эту мысль он не допускал до сознания, потому что поредевшая цепь неуклонно приближалась и танкист с узким, уже хорошо видимым лицом бежал впереди, все так же крича и размахивая пистолетом.

Алексей торжествующе вскрикнул, когда этот танкист на бегу подпрыгнул и опрокинулся назад. И вся наступающая цепь сразу показалась ему жидкой, непрочной. Она замешкалась, остановилась... Повернула назад... Побежала...

Весь потный, распаленный успехом, Сережа Пегов подошел к машине, для чего-то погладил ладонью ее броню и, слегка рисуясь, сказал с небрежной усмешкой:

— На испуг взяли. По ихней тактике.

— А где Рябчик?

Рябчикова не было.

— Я пойду сам,— сказал Алексей. — Костя, гляди в оба.

Рябчикова он увидел, как только добрался до окопа. Качаясь и спотыкаясь, Рябчиков медленно брел по окопу, не пригибаясь и, видимо, забыв об опасности,— он хотел к своим и ни о чем другом не думал. Увидав своего командира, он остановился и заплакал. Слабость была в нем неожиданна и испугала Алексея.

Короткий участок от окопа до своего танка они шли очень долго, потому что Рябчиков не давал командиру нести его, а сам еле передвигал ноги, всей тяжестью наваливаясь на поддерживающую руку Алексея. Он был ранен куда-то пониже плеча, гимнастерка уже набухла кровью.

Сережа прыгающими пальцами разрывал индивидуальный пакет, готовясь к перевязке.

Алексей осмотрелся: на ромашковом поле тут и там холмиками лежали трупы. А живых немцев видно не было. Ни на высотке, ни возле нее — никакого движения. Тишина — мертвенная, неверная, пугающая своей необъяснимостью. Обмануло ли немцев сопротивление? Или они поняли, что силы тут малые, но берегут себя, подтянут силищу да и обрушат ее разом на упрямую рощу? А боезапас на исходе.

И все-таки идут вторые сутки. «Хотя бы двое суток,— сказал Яковенко. — Мы их остановили. Остановили! Теперь продержаться до вечера... Эх, снарядов бы побольше! И Рябчиков...»

Рябчиков лежал под березой, припав спиной к белой, в пятнах копоти, коре. Он мутнеющими глазами смотрел на командира, и Алексей понял, как ему худо и как ему хочется сейчас безопасности, настоящей помощи, умелых рук, облегчающих боль.

Принять бой, имея за спиной лежащего на земле раненого товарища?.. Когда их танки пойдут, все сминая на пути...

А над рощей, над полем, на высотке и за нею по-прежнему стояла тишина. Грозная, мучительная. Кажется, ожидание томительнее и страшнее боя.

Так прошел час. Два часа. Три.

Не наш, свистяще-прерывистый гул самолетов возвестил: начинается! «Юнкерсы» шли строем: тройка, еще тройка и еще одна. Без истребителей, нагло. Их гул ударил в уши... и стал удаляться. Они проплыли мимо, будто эта роща им совсем не нужна. Потом за высоткой заурчали моторы... Танки? Но танки так и не появились, их урчание и грохот замерли вдаль. Пошли в обход?.. Где-то в отдалении справа заработала артиллерия, коротко застрекотали пулеметы... и все стихло.

Тишина. Невыносимая тишина. И нарастающая тревога,— обйдены? Остаемся в тылу их наступления? Сколько раз уже было так: наткнувшись на сопротивление, они не тратят сил и времени, нащупывают брешь в другом месте и прут вперед, вперед. И все твои усилия, твоя готовность стоять насмерть — все идет прахом, тебя просто не берут в расчет, ты сам в окружении...

Алексей попытался связаться с Яковенко, но ничего не вышло. Теперь ему предстояло решать самому. И надо было набраться мужества, чтобы уйти с рубежа, который недавно казался ему последним рубежом его жизни, и неизвестными путями с боем прорываться к своим.

4

Эта война не была похожа на войну, как ее представлял себе Митя, записываясь в народное ополчение. Митя был студентом-электриком и готовился к мирной и точной профессии, но война пробудила в нем жажду подвига, и все, что в предыдущие годы откладывалось в подсознании — зависть к героям страны, совершающим смелые полярные экспедиции и труднейшие дальние перелеты, преклонение перед бойцами Мадрида и Барселоны, восторженное обожание Чкалова, генерала Лукача и Долорес Ибаррури,— все это сейчас питало страстные и честолюбивые мечты о воинских подвигах, о славе, о прекрасном звании Героя Советского Союза...

Он понимал, что война будет тяжелой и кровавой, и смерть казалась ему возможной, но и смерть свою он видел значительной и героической. Он ясно рисовал себе, как его боевые друзья — мужественные, загорелые люди — рассказывают Марии об этой славной смерти и передают его забрызганное кровью недоконченное письмо, и Мария тихо плачет и говорит: «Да, он любил ме-

ня... я знала это, хотя он никогда ни слова не сказал мне... Я только теперь оценила его...»

Но разве эта открывшаяся ему война была войной, какую он себе представлял?!

Война для Мити началась утомительным переходом, во время которого он до крови растер ноги. И затем незаживающие ранки и мозоли непрерывно терзали его, отравляя существование больше, чем немецкие самолеты. Летчики не могли видеть скрытую деревьями роту, они сбрасывали бомбы вслепую, и Митя не верил, что бомба может попасть в него.

Но когда Митя был послан с Колей Григорчуком, товарищем по институту, в штаб батальона через болото, поросшее редким кустарником, немецкий самолет вдруг напал на них, как коршун на цыплят. Это было дико, нелепо до смешного и страшно до изнурения. Друзья забились под кусты, но кусты были слишком жидки, чтобы спрятать их. Пули впились в землю, в сучья, сбивали листья с ветвей. Самолет пронесся так низко, что оглушил ревом мотора. Мите хотелось выругаться, чтобы подбодрить себя и Колю, но собственный, изменившийся от страха голос еще усилил ощущение беспомощности и стыда. Самолет развернулся и снова помчался к ним на бреющем полете. Митя схватил винтовку и выстрелил. Коля тоже выстрелил по самолету. Но самолет пронесся над их головами, чуть не задев кусты. Когда он наконец улетел, Митя долго не мог говорить, и ему хотелось спать, мучительно хотелось спать, так, что он зевал до боли в челюстях. А ночью сна не было, и Митя с отращением вспоминал испытанный им ужас.

Рота стояла в лесу под снарядными разрывами и бомбами, ничем себя не проявляя, а положение на фронте все усложнялось и ухудшалось. Немцы рвались в обход Ленинграда, перерезая железные дороги, к Колпину и к Неве. Никто ничего толком не знал, появлялись слухи, все чаще повторялись слова: «берут в клещи», «прорыв», «окружение». Митя надеялся, что вот-вот его рота вступит в бой, и тогда непременно начнется перелом. Он с тревогой думал о Марии, и ему захотелось успокоить ее какими-то очень убедительными словами. Он писал письмо долго и старательно, и начавшийся обстрел леса не оторвал его от письма. Снаряды стали рваться близко. Митя все-таки закончил письмо, заклеил его и отдал батальонному письмоносу. Письмоносец

пошел к велосипеду, оставленному у дерева на краю тропинки,— и вдруг на глазах у Мити письмоносца разорвало на куски, и клочья писем, кружась, полетели по ветру. Шипящего свиста мин Митя уже не слышал, настолько поразило его это мгновенное уничтожение человека в прозрачном осеннем лесу.

А потом началось то, что за пять суток совершенно оторвало Митю от всего дорогого и важного, чем он жил до сих пор, и бросило его в новый, кровавый, грохочущий мир, где, казалось, ни мечты, ни добрые порывы, ни сама жизнь не имели цены. Сотни снарядов и мин с своим и грохотом обрушивались на них, потом прилетали десятки самолетов и последовательно бомбили квадрат за квадратом и прочесывали лес пулеметным огнем, а через полчаса прилетали новые десятки самолетов, и начиналось все сначала... А Митя лежал, всем телом вдавливаясь в землю в поисках спасения, и это унижительное лежание лицом вниз тоже было войной. К удивлению Мити, убитых и раненых было немного, но все измучились, и если не молчали, то остервенело ругались.

На пятое утро рота получила приказ занять оборону и прикрывать любой ценой отступление основных сил. Это был первый бой для Мити и его товарищей, но какой тяжелый и горестный бой! Прижатые к земле непрерывным минометным и пулеметным огнем, ополченцы стреляли озлобленно и мрачно, не рассчитывая на спасение, стреляли для того, чтобы задержать наступление фашистов на несколько часов и затем самим, если кто уцелеет, отступить за реку. Уцелели немногие, но врага задержали. Митя не был даже ранен, но убило Колю Григорчука и еще нескольких товарищей по институту. Коля упал рядом, и Мите некогда было отодвинуть труп, чтобы кровь не стекала под локоть. От запаха крови, от страха и отчаяния Митю тошнило.

Именно в тот вечер, отступая с остатками роты, Митя встретил Марию на другом берегу реки.

Встреча с Марией была так же неправдоподобна, как и все остальное, и Митя не поверил в нее. Он шел пошатываясь, мучаясь болью в ногах, мрачно ругаясь и желая только одного — дойти хоть куда-нибудь, где можно снять сапоги, свалиться на землю и заснуть...

В давке на шоссе он растерял всех своих. На рассвете истомленный боец, оказавшийся рядом, сказал ему с улыбкой:

— Сапоги бы снять, а? Ничего больше не нужно!

И Митя сразу привязался к этому бойцу, высокому, широкоплечему, с лицом, даже в усталости освещенным незатухающей мыслью, с печальными и внимательными глазами.

Уже рассвело, когда бредущих по шоссе бойцов собрали на лугу возле какой-то деревеньки, пересчитали, построили и стали разбивать на роты, взводы и отделения. Митя не отходил от своего случайного спутника, и они вместе попали в отделение сержанта Бобрышева.

— Музыкант Юрий Осипович, ополченец,— представился спутник Мити.

Сержант поглядел и переспросил:

— А фамилия как?

— Это фамилия — Музыкант... А по профессии я ботаник.

— Немногим лучше,— вздохнул сержант. — Ну, товарищи бойцы, умываться к речке, а затем обедать.

Подъехала походная кухня, и все бойцы получили горячий обед.

— А теперь спать,— сказал Бобрышев, разочарованно оглядывая свое отделение. — Поспите малость, тогда поговорим как с бойцами. А ну, валитесь!

За это разрешение бойцы сразу полюбили сержанта.

Когда сержант разбудил их, солнце уже поднялось высоко, и командир взвода, бледный, невеселый лейтенант, повел свой взвод занимать позицию. Небольшой пригорок перед болотистым лугом прикрывался сзади березняком, а в березняке стояла артиллерийская батарея, и это вселяло в пехотинцев уверенность. Грунт был податливый, мягкий, и рота окопалась хорошо. Музыкант прошелся по березняку и радостно сообщил, что справа стоят танки. Бойцы окончательно повеселели. А тут еще лейтенант громко заявил в трубку полевого телефона, что никуда отсюда не уйдет и немцам хватит наступать — теперь потопчутся!

Оживленный и отдохнувший, Митя с удовольствием разглядывал новых соратников, когда Бобрышев собрал отделение.

— Ну, будем знакомиться, кто вы есть,— сказал сержант. — Рассказывайте, кто такие? Чем занимались до ополчения?

Сам Бобрышев оказался артиллеристом, и вынужденное командование пехотинцами его огорчало, тем более

что пехота была не настоящая, как он ожидал, а с бору да с сосенки, штатский, необученный народ.

В отделении, кроме Мити и ботаника, нашлись еще нотариус и учитель географии. Долговязый, не в меру худой учитель держался так не по-воински, что Бобрышев глаза от него отводил. Нотариус был загадочен. «А это что за профессия такая?» — спросил Бобрышев. Он, не стесняясь и не скрывая своего беспокойства, расспрашивал, что же умеют делать порученные ему люди, пытливо всматривался в их лица, в их фигуры и даже вздохнул:

— Вот угодил!

Но большая часть бойцов оказалась из ленинградских кадровых рабочих, с Выборгской стороны, с известных на всю страну заводов, и Бобрышев слегка оживился:

— Слыхал я, что ленинградские рабочие нигде лицом в грязь не ударяли. Так что глядите, друзья, должно наше отделение себя показать как следует. И до боя я вас буду учить, вы уж не обижайтесь — отдыха не будет. Вы ж не бойцы, дела не знаете, верно? А без знания с немцем неловко воевать. Он, черт, изворотлив, хитер.

Митя с жаром сказал:

— Вы не думайте, что мы необстрелянные. Мы всего навидались!

Он стал рассказывать, как досталось его прежней роте в бою у реки.

Теперь вчерашний бой вспоминался Мите не горестным и мрачным, а героическим и славным. Им было сказано: любой ценой прикрыть отступление основных сил, и они это выполнили, хотя не очень приятно знать, что позади тебя отступают.

— Ничего нет хуже вот этого драпанья! — сказал Жильцов, немолодой уже токарь с завода имени Карла Маркса.

Его поддержали все. Да, да, только не отступать!

Все эти люди невоенных профессий хотели воевать и побеждать. Но воевать они еще не умели. Они не знали войны. Они не знали, что война будет такой — не похожей на военные романы, утомительной, путаной, без линии фронта, без ясной расстановки сил. Они не знали, что война — не только атаки и сражения, где храбрые побеждают, но и тягостные отступления и кровавые не-

удачи, в которых и храбрым не дается желанная победа. Они должны были все испытать сами, на собственной шкуре узнать войну. И опыт покупался поражениями и кровью.

И Митя, и другие бойцы, доставшиеся Бобрышеву, еще мало умели, но уже хлебнули солдатского горя. Отсутствие вдохновляющих побед не дало им ощутить свои собственные силы. И Бобрышев не столько понял это, сколько чутьем угадал свою ответственность за души вверенных ему людей.

— Ну и ладно, раз так,— сказал он. — Вы тут народ сознательный, агитировать мне вас нечего. А бойцов делать из вас нужно.

Он снова с изумлением оглядел нотариуса:

— Скажи пожалуйста! Так-таки всю жизнь заверял подписи, писал бумажки... а теперь воевать пошел.

— Я под Веймарном двух автоматчиков убил,— обиженно сказал нотариус.

— А мы танк бутылкой подожгли! — подхватил фрезеровщик со «Светланы».

Учитель географии усмехнулся:

— А нас один раз немец на хитрость взял. Гудит все небо, будто самолетов триста на тебя мчится. А это один самолет с усилителем звука — вот они что делают! А я человек не военный, но раз воевать нужно, я хочу, чтобы меня научили и предупредили, чтобы я не растерялся... А то были случаи, когда я просто терялся... — Он поморщился, вспомнив что-то неприятное, и тихо добавил: — Вообще же, мне кажется, я не очень боюсь умереть. Позор для меня хуже.

— Вот и будем воевать без позора! — поддержал Бобрышев. — Эх, друзья! — сказал он, помолчав. — До чего же не хочется этого позора! Я не ленинградский, в Ленинграде у меня даже знакомых нет. А вот чувствую: отступать до Ленинграда — ну, лучше помереть!..

— Я лучше пулю в лоб пуцу,— сказал Музыкант,— я все равно людям в глаза смотреть не смогу. И жене... У меня жена смелая, умная, красивая... Мы с нею вместе в Ботаническом саду работали... Ребенка ждет, но, когда я в ополчение записался, она ни слова не сказала... слезы себе не позволила...

Митя вдруг вспомнил встречу с Марией на берегу реки, впервые вспомнил не как дурной сон, а как мучительную явь, и ужаснулся самому себе.

— Скорее бы в бой! — сказал он пылко.

— Успеете, — отозвался Бобрышев, — а пока проверим малость, как вы пулемет понимаете.

Бой начался на второй день перед вечером. И сперва он казался тем долгожданным боем, который принесет победу. Митя слышал, как с воем пролетали над его головой снаряды с батареи, укрытой в березняке. И сам бил из ручного пулемета по краю болота, где показались пехота. Немецкие самолеты прошли над полем боя и, встреченные зенитным и пулеметным огнем, сбросили бомбы в болото, не причинив вреда. Один самолет покачнулся, накренился и пошел, вихляя, вниз, — должно быть, шлепнулся где-нибудь неподалеку. Немцы снова выскочили на той стороне болотистого луга, но огонь артиллерии и пулеметов отогнал их, и хотя в расположении взвода стали рваться снаряды и мины, все повеселели и пришли в то состояние, когда помнишь об опасности, но уже не боишься ее.

Но тут замолчала артиллерийская батарея в березняке, и слева, неизвестно каким образом попав сюда, выскочила группа немецких автоматчиков. Припав к земле и почти слившись с нею, бойцы яростно стреляли, и Бобрышев подбадривал их возгласами:

— Так! Так, ребятки, так!.. Дистанция — четыреста!.. Так!.. Так!..

Автоматчики постреляли и выдохлись; они стали отступать, не желая принимать боя, и всем хотелось бежать за ними и уничтожить их. Бобрышев весь дрожал от нетерпения, но лейтенант не только не позволил Бобрышеву поднять свое отделение в атаку, а почему-то злобно закричал: «Смотри лучше, черт!» — будто он предвидел или знал, что будет делать враг. Стрельба тотчас возникла и сбоку, и далеко позади. Все ждали, что вступят в бой наши танки, но лейтенант узнал по телефону, что они ушли к шоссе отражать прорвавшиеся немецкие танки.

— Отделение, слушай меня! Ленинградцы, подтянись, приготовься! — громким шепотом сказал Бобрышев, и вид у него был настороженный и собранный, как у охотника, знающего о близости зверя и готового встретить его появление с любой стороны.

И зверь появился — сзади, оттуда, где должна была быть наша батарея. С тыла по расположению взвода застрочили пулеметы и автоматы. Произошло замеша-

тельство, кто-то первым произнес слово «окружение», слово полетело от отделения к отделению, но лейтенант приподнялся и заорал, поблескивая азартными глазами:

— Врешь, к черту, не выйдет!

Он стал налаживать круговую оборону, и лицо у него было такое вдохновенно-уверенное, увлеченное, горящее веселым бесстрашием, что Митя не поверил, когда лейтенант вдруг повернулся и медленно повалился на бок с простреленной головой.

В ту же минуту на другой стороне луга появились немцы. Они стремительно шли во весь рост, с автоматами у животов. С ходу открыли огонь, спотыкались о кочки и увязали в болоте, но продолжали идти вперед.

— Ребятки, ленинградцы, держись! — услышал Митя голос Бобрышева.

Митя припал к пулемету и стрелял с упоением, с бешенством, и автоматчики падали, но их было много, и те, кто не упал, продолжали бежать по лугу. Рядом с Митей стрелял из винтовки Музыкант, стрелял Жильцов и другие товарищи, и у немцев было так много потерь, что Митя верил: атака будет отбита... Вдруг он почувствовал за спиной какое-то странное движение и услышал ругань и крики. Оглянувшись, с ужасом увидел, что большая часть взвода побежала, а Бобрышев и еще несколько человек кричат и пытаются задержать и повернуть назад бегущих, но им это не удается, и Жильцов стреляет по бегущим и кричит: «Предатели, стой!»

Митя продолжал работать у пулемета. Учитель подавал ему диски, пока они были. Затем оба схватились за винтовки, но одиночными выстрелами ничего нельзя было сделать, а немцы уже приближались, уже были видны их искаженные лица. Митю охватил безумный страх, что он останется один и будет схвачен или убит, и он вскочил и побежал тоже... Он увидел рядом с собой Бобрышева. Бобрышев бежал, выкрикивая одно и то же иступленное ругательство, а пули догоняли их. Упал Жильцов, упал фрезеровщик со «Светланы», но никто не остановился посморгнуть, живы ли они, и вдруг перед Митей упал боец, и Митя увидел, что это Музыкант. Задерживаться было нельзя, он перепрыгнул через упавшего и побежал дальше, задыхаясь от усталости, от ужаса и горя.

Он опомнился в стороне от выстрелов, в густом курстарнике, замыкавшем сосновый лес. Березняк остался

далеко позади. Уцелевшие бойцы сбились в кучку. Их было всего десять или двенадцать человек.

— Ну, спасибо! — сказал Бобрышев, и губы его тряслись от ненависти. — Ну, порадовали... воины!

Митя бросился на землю, еле удерживая рыдания. Ему хотелось умереть.

— А ты брось,— услышал он над собой голос учителя. — Мы ж до конца держались, при чем же здесь ты! Что ты мог сделать, когда эта сволочь побежала!

— Из моего отделения трусов не было,— сказал Бобрышев с гордостью. — Эх, жаль ребят! Зазря погибли. Кабы эти воробы не дернули...

Из их отделения уцелели только Митя, учитель географии и молоденький рабочий с «Красной нити», Саша Панов. Остальные были из других отделений, и Митя недоброжелательно поглядывал на них — воробы!

— Лучшие мои бойцы погибли,— грустно сказал Бобрышев, и Мите стало неловко, что он жив.

Они пробыли в кустах до сумерек, прислушиваясь к звукам боя, постепенно удаляющимся. В темноте Бобрышев повел их через лес. Шли очень долго, соблюдая крайнюю осторожность. Поднялась луна, призрачный голубой свет скользнул по стволам сосен.

— Привал,— сказал Бобрышев, все еще молчаливый и злой.

Они пожевали сухарей и заснули, не выставив даже охранения. На рассвете Митя проснулся от холода и увидел Бобрышева, возвращающегося из лесу.

— Теперь действительно окружение. Впереди немцы и с боков немцы,— сказал Бобрышев.

И Митя понял, что Бобрышев совсем не спал и сам ходил на разведку, ни на кого не надеясь.

— Вы бы меня разбудили,— со стыдом сказал Митя. — Или вы и мне не доверяете?

— Доверие доверием, а вывести вас отсюда будет непросто,— задумчиво и беззлобно ответил Бобрышев.

Он повел свой маленький отряд, выбирая путь по каким-то ранее установленным приметам.

Они благополучно шли целый день, и Бобрышев разрешил только один короткий привал. На привале он подсчитал неприкосновенный запас продовольствия и ввел жесткую, голодную норму, но приказал по пути есть чернику и другие ягоды, какие попадутся.

Боец из другого отделения, армянин Кочарян, шепнул Мите:

— Вот это командир! Если бы у нас такой командир был, разве мы побежали бы! Никогда не побежали бы!

Во второй половине дня они вышли к шоссе, которое нужно было пересечь, чтобы попасть к своим. На шоссе царило оживление — проносились немецкие броневики и грузовики, тянулись повозки, на перекрестке стоял солдат-регулирующий с таким уверенным видом, как будто он стоял здесь уже много дней.

Пересечь шоссе было невозможно, и Бобрышев повел их вдоль шоссе по лесу, коротко объяснив: до ночи.

Ночью движение затихло, тускло белевшая во мраке лента шоссе казалась безопасной и неширокой. Изредка проносились на большой скорости машины. Бобрышев толково объяснил, как перебираться через шоссе: рассредоточившись, перебежкой, с винтовкой наготове. Перебравшись на ту сторону шоссе, сойтись на условный звуковой сигнал.

Бобрышев тихонько дал этот сигнал. Прикрыв глаза и выпятив губы, он вдруг удивительно музыкально и точно засвистел соловьем, и хмурое волевое лицо его на секунду стало детским, добрым и бесконечно далеким от войны.

Над ними загудело небо — тяжелые бомбардировщики плыли на восток, где-то высоко в небе тоже пересекая линию шоссе.

— Пошли! — сказал Бобрышев.

Они перебежали враспыленную небольшое пространство, отделявшее шоссе от кромки леса, и уже бежали через шоссе, уверенные в успехе, когда яркие лучи автомобильных фар вспыхнули справа, и в этих лучах их согнутые фигуры определились отчетливо, как мишени. Очевидно, враг был настороже, потому что автоматы зататакали мгновенно, и машина резко остановилась.

— Вперед! — звонко крикнул Бобрышев, в два прыжка преодолев освещенную полосу и бросаясь в канаву. Оттуда он открыл стрельбу по фарам автомобиля.

Митя и еще несколько человек успели последовать за ним, но трое бойцов, застигнутые лучом на другом краю шоссе, отступили. Меткая пуля вывела из строя одну фару, и немцы выключили вторую, продолжая стрелять во все стороны по крайней мере из десятка автоматов. Теперь, когда свет уже не ослеплял глаз, немецкий

грузовик и прижимающиеся к нему солдаты стали постепенно вырисовываться на тусклой ленте шоссе, а притаившихся ополченцев можно было обнаружить только по вспышкам выстрелов. Немцы, очевидно, поняли невыгоду своего положения: они полезли обратно в грузовик, продолжая стрелять наугад, и затем машина рванулась вперед и на полной скорости промчалась мимо и скрылась вдали.

Когда бойцы собрались около Бобрышева, их оказалось всего семь человек. Два темных пятна на шоссе были телами бойцов, погибших, наверное, от первых же пуль, по ту сторону шоссе был убит Саша Панов. Одного бойца, тихонького и робкого, не могли найти. Бобрышев дважды свистал соловьем, подождал немного, посвистал еще и, вздохнув, сказал:

— Может, убег со страху. Может, и пропал. Надо идти.

Удрученные потерей товарищей, они пошли снова в глубь леса. В середине ночи Бобрышев разрешил утомленным людям часок поспать, а сам сел и закурил. Смирный усталостью, Митя тоже лег, но вспыхивающий огонек папироски заставил его стряхнуть сон и приподняться:

— Товарищ Бобрышев, если караулить... или снова на разведку... давайте я. Вы и ту ночь не спали.

Папироска ярко вспыхнула, тихий голос ответил:

— Ладно, поспи пока. Разбужу.

Разбудили Митю крупные капли дождя, стекавшие с ворота шинели на шею. Было еще темно, шел крепкий, звонкий дождь. Бойцы зашевелились. Одни вставали, другие, не просыпаясь, старались получше укрыться шинелями. Бобрышев всех поднял и сказал строго:

— Быстренько, пошли!

К вечеру заболел учитель географии. Пришлось из-за него сделать привал. Учителя прикрыли шинелями, и Митя, набрав малины, всовывал ему в рот ягоду за ягодой, надеясь, что от малины больной пропотеет и выздоровеет.

— Что ж, товарищи,— сказал Бобрышев,— конечно, двигаться с больным придется медленнее, но товарища мы не бросим.

Митя даже удивился, что Бобрышев заговорил об этом, все было ясно без слов. Но несколько часов спустя один из бойцов ушел собирать ягоды и исчез. Бобрышев

нахмурился и пошел на поиски. Вернулся он с винтовкой, подсумкой и документами.

— Вот какие шкуры бывают на свете,— сказал он и лег, закрывшись с головой шинелью.

Теперь их было шестеро — один больной и пять здоровых. На рассвете Бобрышев приказал соорудить подобие носилок, и они пошли дальше, неся учителя поочередно. Нести больного через густой лес было тяжело. И очень хотелось есть. Только после полудня они вышли к какой-то деревне. Бобрышев велел хорошо замаскироваться, а сам пошел на разведку. Вернулся он с караваем хлеба и теплым молоком в манерке для больного. Учитель жадно пил, а остальные жевали хлеб и старались не смотреть на молоко, стекавшее по подбородку учителя с непослушных запекшихся губ.

— В деревне немцев до полусотни,— сообщил Бобрышев. — Женщина, что дала молоко и хлеб, говорит, будто вчера они прорвались далеко вперед в сторону Павловска и идти туда опасно. Но фронт у них не сплошной, и мы наверняка пробьемся, если не вдадимся в панику.

Запасы сухарей кончились. От слабости и голода никто не мог нести носилки, приходилось все чаще сменяться.

У Мити снова разболелись, а затем сильно распухли ноги. На привалах он не снимал сапог, опасаясь, что потом не сможет надеть их. Питались одними ягодами; пробовали жевать сырые грибы, сдирали с деревьев и сосали кору. У Мити начался изнуряющий понос; он часто думал, что лучше было бы просто лечь и не вставать. Но Бобрышев упорно шел вперед и тихо говорил товарищам:

— Ничего, выберемся.

Его неизменно поддерживал Левон Кочарян, веселый и выносливый армянин:

— Это не по горам ползать. Дойдем, товарищи. Чего тут не дойти!

Они шли навстречу боям. Звуки войны стали отчетливыми и не затихали ни днем, ни ночью.

Дважды проходили так близко от немцев, что слышали разговоры солдат. Теперь двигались ночью, а днем забирались в яму или в разросшийся кустарник и спали. Этого требовала безопасность, но у Бобрышева были и иные соображения: он видел, что идти так, как прежде,

люди не могут. Он сам только напряжением воли заставлял себя вставать и день ото дня все с большим трудом передвигал распухшие, отяжелевшие ноги.

На восьмые сутки умер учитель.

— Похороним, а? — просительно сказал Бобрышев.

Четыре оставшихся бойца стали молча рыть могилу штыками. Митя старался изо всех сил, но руки были так вялы и неловки, что ничего не получалось.

— Ладно, полежи пока, — сказал Бобрышев.

Митя лег. Позвякивали, сталкиваясь, штыки товарищей. По желтому заострившемуся лицу покойника бегал муравей. Где-то близко бухала артиллерия. Чирикала над головой птица. Митя закрыл глаза, и сразу все завертелось и поплыло вокруг, и ощущение смерти вошло в душу, не пугая и не удивляя, — ощущение смерти как покоя.

5

Давно ли стоном стонала земля от фашистских танков и нельзя было высунуть нос не только на шоссе, но и на проселочные дороги, чтобы не нарваться на врага?

Как-то вдруг все стихло. Фронт передвигался на ближние подступы к Ленинграду, а здесь был уже немецкий тыл, и на проселочных дорогах плотно вмятые следы гусениц обрастали жидкой травкой. Иногда по шоссе тянулись к фронту обозы, но их сопровождал большой конвой, и за ними оставалась пустота.

В городах бесчинствовали фашистские гарнизоны, гестапо хватало людей по любому подозрению, по любому доносу.

Отряд Гудимова потерял связи, установленные в первые дни. Кто-то выдал радистку: хорошо законспирированная рация была захвачена гестаповцами, радистку повесили при въезде в город на сосне. Предателя установить не удалось, поэтому все связи в городе попали под сомнение.

После первой удачной диверсии, когда группе партизан удалось разобрать участок железнодорожного полотна, к железной дороге нельзя было сунуться: дорога тщательно охранялась патрулями, у мостов выросли укрепления и пулеметы держали под прицелом все подступы, по которым всю ночь ползали щупальца прожекторов. Для нападения на конвои сил не хватало. И от-

ряд жил, притаюсь, в сырой чаще леса, без общения с миром, без известий с родины, в настроженном и томящем одиночестве.

Непрерывно, как и все последние дни, обдумывая положение отряда и перебирая возможности изменить его, Гудимов вышел к краю леса и остановился в кустах.

В поле, ярко освещенном осенним солнцем, женщины вязали снопы. Их было одиннадцать: старшая — уже старуха, а меньшая — девчонка лет пятнадцати. До Гудимова доносились их голоса — неторопливые, негромкие голоса людей, занятых делом. Только песен не было, смеха не было, и оттого ладная знакомая работа казалась ненастоящей.

Вдалеке виднелись крыши села. В этом селе был один из лучших колхозов района, тут Мария Смолина строила школу-десятилетку, и все они приезжали на праздник открытия школы — Мария, Борис Трубников, Гришин, Ольга...

Это было прошлой осенью.

Гудимов выбрался из кустов и смело пошел к работающим женщинам. Он не знал их или не узнавал. Но внутренняя уверенность вела его: под владычеством врагов, отрезанные от родины, лишённые привычного уклада жизни, разве могли они не научиться ценить, вспоминать, сравнивать?.. И разве не их дети читали с подмостков Пушкина и пели хором «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!» Эта девчонка с косами — не она ли плясала тогда комическую русскую, по-бабьи повязав платочек и веселя глаз повадкой заправской плясуньи? А если и не она, то ее подруга во всяком случае...

Женщины заметили постороннего человека и прекратили работу. Повернув к нему застывшие лица, они напряженно ждали.

— Здравствуйте, гражданочки! — сказал Гудимов.

Женщины молча поклонились.

— Не узнаете?

Одна из женщин, тихо ахнув, оглянулась на село, потом на подруг.

— Никак товарищ Гудимов?

— Он самый.

Гудимов сел под копной и закурил. Женщины неподвижно стояли вокруг него и глядели без радости и без удивления.

— Или не рады? — спросил Гудимов. — А я вот увидел вас и припомнил, как мы с вами в прошлый год открытие школы праздновали... Да не с тобой ли я плясал, молодка? — обратился он к старухе.

— Отчего же не со мной! И со мной плясал, за честь считал! — с широкой, смелой улыбкой отозвалась старуха и решительно подсела к Гудимову. — Не обижайся на нас, мил человек, что мы вроде как не рады. Испугались мы. Сколько страху натерпелись! Да и ты с бородой на себя не похож стал. И своих людей мы давно не видим. Так одни среди страхов и слухов живем. А тебе мы рады. Что ты живой.

— У нас говорили, что вас повесили, — сказала девочка, краснея.

— Руки у них коротки вешать меня.

— А вы что ж теперь делаете?

— С фашистами воюю, чего ж еще делать! Теперь другого дела нет.

Гудимов курил и доверчиво улыбался женщинам. Семь лет этот район, эти колхозы, эти люди были его большим домом, его семьей. Им он отдавал все думы, всю энергию. И мечты его всегда были связаны с ними и воплощались вместе с ними, через них... Как же им быть врозь теперь, в беде!..

А женщины, постепенно свыкаясь с ним, уже спрашивали:

— А на фронте что, не знаете? С Ленинградом как? И что же теперь будет? Объясни ты нам, товарищ Гудимов. Долго нам еще под немцем жить?

Он сам не знал многого, те же вопросы волновали его, но он объяснял им как мог. И он делился с ними своей верой в то, что советский народ нельзя ни уничтожить, ни закабалить, что победа будет завоевана, как бы трудно ни было.

Молодая женщина неожиданно расплакалась и виновато сказала:

— Давно настоящих слов не слыхали!

Старуха спросила напрямик:

— Что вам нужно, партизанам? Зачем пришел?

Гудимов пока уклонялся от прямого ответа:

— Захотел узнать, как вы живете. Немцы-то у вас есть или нету? Хлеб для кого убираете — для себя или для них?

Женщины заговорили наперебой, торопясь высказать все, что наболело. Немцы были и ушли. Расстреляли секретаря колхоза Василия Ивановича, остальные мужчины успели схорониться, — кто где. Увели с собой учительницу, она не хотела идти, отбивалась, ее ударили прикладом и бросили в грузовик. С хлебом неизвестно что будет. В селе поставили власть — старосту. Привели откуда-то сукиного сына Ермолаева-старшего, того, что был завмагом и сидел в тюрьме.

Женщины рассказывали, жаловались, возмущались беспорядками. Они уже обращались к Гудимову как к своей исконной власти, как к человеку, который рассудит и заступится, стоит только выложить ему все, как есть. И эту их непоколебимую уверенность нельзя было не оправдать.

— Ладно, разберемся, — пообещал Гудимов. — А как у вас, о партизанах слыхали? Говорят о них или не слышно?

О партизанах никто ничего не знал, но все были уверены, что они существуют. Немцы тоже о них спрашивали. Дошел слух, что на лесном перегоне недавно разобрали путь, движения не было несколько часов. Был недавно случай: немецкую повозку обстреляли в лесу, убили лошадь, но кто стрелял — неизвестно. Солдат прибежал ни жив ни мертв. Еще, говорят, третьего дня мост у Косой горы, над балкой, провалился под броневиком, и будто бы бревна были подпилены.

— Это ваша работа? — спросила девочка с жадным любопытством.

— Партизанская, — сказал Гудимов. — Только партизаны бывают разные. Тебя как зовут?.. Тania?.. Так вот, Tania, если ты ночью подпилишь бревна под мостом и немцы провалятся... или хлеб, немцами отобранный, ночью керосином обольешь и подожжешь — партизанка ты или нет?

— Партизанка! — с восторгом прошептала Tania.

— Ну вот видишь. Умному понятно. А здесь все умные. Кто и не был умен — немцы научили. А что вы женщины да девочки... так и в отряде девушки есть. И помощь нам будет ото всех, кто не хочет фашистской сволочи кланяться.

— Так чего тебе надобно? — нетерпеливо спрашивали женщины.

— Да пока немного. Хлеба испечь надо, надоело на сухарях сидеть. Белье постирать.

— Может, еще чего? Ты говори!

— Познакоимся — видно будет. А вам не страшно партизанам помогать? Узнают немцы — расстрелять могут.

— Могут, — согласилась старуха. — Не только расстрелять — повесить! Да что же делать, мил человек?

Гудимов ушел от них таким легким и счастливым, будто заново начал жить. И, вернувшись в лагерь, поглядел на своих товарищей по отряду как бы извне, со стороны, и его поразило, что он не замечал до сих пор их запущенного и нелепого вида. За месяц почти все мужчины обросли бородами, даже у Коли Прохорова что-то курчавилось на подбородке и над губой топорщились колючие усики.

Гудимов попросил у Ольги теплой воды и зеркальце, закрылся в землянке, взглянул на свое отражение. Понятно, что женщины струсили, увидав такого лесного духа!

Он начисто сбрил усы и бороду, затем позвал Ольгу:

— Ну как?

— Ой, до чего же ты лучше стал!

— На советского человека стал похож. Такому скорее бабы поверят, правда? — Он лукаво подмигнул Ольге: — А ну-ка организуй общественное мнение.

Парикмахерская была устроена под деревом, и около добровольного парикмахера быстро выстроилась очередь. Проходя, Гудимов громко сказал Гришину:

— Выжидать довольно! Пора действовать по-настоящему.

Он знал: через несколько минут эти слова будут известны всем. И действительно, как только с бритьем было покончено, все собрались вокруг Гудимова, подтянутые, повеселевшие, и на лицах отражалось жадное ожидание перемен.

— Вы помните, товарищи, историю с обозом?

Все помнили. Партизанская разведка услышала ночью дребезжание колес и устроила засаду. Когда в полутьме звездной ночи показался неясный силуэт первой повозки, партизаны открыли стрельбу. Ответной стрельбы не было, — немцы, видимо, притаились, поджидая появления партизан. Но партизаны не поддались на эту уловку и отступили.

— А вот мне сегодня рассказали, как дело было. Ехал один солдат на одной повозке. Испугался он до смерти и убежал. А повозку бросил. То-то она нам пригодилась бы, если там были патроны, или гранаты, или, скажем, консервы!

— Первый раз... — смущенно пробормотал один из участников засады.

Гудимов махнул рукой, хотел было возразить, но понял — не нужно. Сдержанно сказал:

— Приготовьтесь, товарищи, проверьте оружие. Народ на нас смотрит, ждет нашего партизанского слова. Пора начинать.

Он задержал Ольгу Трубникову.

— Ты, Ольга (он всегда избегал называть ее по фамилии), пойдешь в село пожить у одной старухи. Разведешь, как да что. Старуха надежная, поможет. А староста там — шкура продажная. Его надо убрать. Твоя задача — присмотреться, как это лучше сделать. Понятно?

Ольга кивнула головой и спросила, как ей одеться и за кого себя выдавать. Он видел, что она горда его доверием и в эту минуту не думает об опасности поручения.

Вечером он провожал Ольгу. Старуха должна была встречать за околицей и обещала выдать ее за свою племянницу. Девочка Таня взялась поддерживать связь между Ольгой и Гудимовым, так как Ольге не следовало отлучаться из села.

Шли медленно. Темные деревья то смыкались над ними, то расступались, открывая высокое небо с загорающими звездами. Мох беззвучно оседал под ногами. Слышно было, как шурша опадают сухие листья. Лесная тишина дарила им всю вселенную и одновременно отгораживала их от всей вселенной — они были вдвоем, все остальное как бы перестало существовать.

Он услышал сдавленный голос Ольги:

Послушайте!

Ведь если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

— Что это?

— Маяковский.

Ему хотелось пожать ее руку, но он не посмел.

— Ты берегись,— сказал он. — Не горячись. Если тебе что-нибудь покажется подозрительным, немедленно сматывайся — и назад.

— Как тогда наши ребята от одного солдата? — насмешливо откликнулась Ольга.

— Ты здесь будешь одна. Без оружия.

— Я буду среди своих.

— Мне бы не хотелось подвергать тебя опасности, Оля...

— Почему? — с какой-то внутренней стремительностью спросила она, повернув к нему лицо, тускло освещенное звездами.

— Не хочется — и все.

Ольга коротко вздохнула, отвернулась и сказала:

— После войны, Гудимов, тебе и не придется подвергать меня опасности!

Старуха уже ждала. Они втроем коротко договорились о связи. Деловито попрощались.

Гудимов смотрел, как удалялись по белеющей дороге две женские фигуры. Ольга была в городской жакетке, в косынке, в сандалиях. Впервые за месяц он видел ее в женском платье, без сапог, и, может быть, поэтому она показалась ему сегодня хрупкой, незащитной и очень родной.

«Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно...» Нет, никогда не удавалось ему запомнить стихи. А Ольга знает их множество и читает ему запросто, как будто они — часть ее существа. «После войны...» Доживут ли они до этого счастливого «после войны»?.. Он представил себе свою просторную, пустоватую квартиру, где он никак не мог обжиться, потому что не успевал бывать дома. Окна раскрыты в сад. Сумерки. Ольга сидит на подоконнике в белом платье. Но, боже мой, почему она окажется в его комнате после войны?..

В лагере Гудимова поджидал Трофимов, вернувшийся из разведки. Вид у него был возбужденный и виноватый.

— Товарищ командир отряда! — отпрапортовал он, чуть задыхаясь. — В пути подобрал двух бойцов, попавших в окружение. Один — ополченец, токарь с завода «Светлана», Иван Коротков, с оружием, слегка ранен в ногу, дошел сам. Второй — личность невыясненная. Ранен, бредит. Несли на руках. Документов не обнаруже-

но... По виду — советский человек... Я так рассудил, что правильно привести их в отряд...

Трофимов еще не имел возможности оправдать себя в бою, и самостоятельное решение о двух бойцах беспокоило его: вдруг окажется, что он снова сделал что-нибудь не так?

— Шли сюда окольными путями, — добавил он многозначительно.

— Окольными? — весело подхватил Гудимов. — Молодец, судья! Начинаешь забывать, что сидел при секретарше и телефонах! Ну, пойдём, показывай своих героев!

Иван Коротков уже освоился среди партизан и был в приподнято-счастливом настроении.

— Вот славно! — восклицал он со светлой улыбкой, молодившей его изнуренное, обросшее щетиной лицо. — Я все думал: должны же встретиться какие-нибудь свои!

Гудимову он сказал:

— Что хотите делайте, никуда от вас не уйду! В свою дивизию мне теперь не пробиться, а Советской власти и здесь служить можно. Винтовка с патронами при мне.

Раненый лежал в землянке на топчане Трофимова. Добиться от него ничего нельзя было.

— Музыкант... Ботаник... Музыкант... — бормотал он на все расспросы и недоуменно озирался воспаленными глазами.

С ним предстояло немало повозиться, пока он станет в строй. Но пополнение отряда показалось Гудимову счастливым предзнаменованием: так оно совпало с возникшей в этот день уверенностью, что начинается новый период боевых действий.

Через несколько дней связист принес записку от Ольги:

«Товарищ командир, предатель за три избы от нас. Все будет нетрудно. Сообщите мне час, тетя Саша постучится к нему и вызовет по делу, а тут вы начнете действовать. Наметила трех человек вовлечь. Двое — пареньки по семнадцати лет, один двадцати восьми лет, воевал в финскую, был ранен, одна нога короче, но боевой и ходит быстро. Когда придете, они помогут. В селе два человека ненадежных: молочница Клавдия Перкконен — подслуживалась к немцам и теперь к Ермолаеву, и старик

Фофанов — подхалим и подкулачник, как говорят. Их не любят. Жду указаний.

Золотые мои друзья, как я к вам привыкла и как хочется вас видеть!»

Вечером Ольга прислала вторую записку:

«Сегодня Ермолаев пришел от коменданта с приказом сдать весь хлеб в комендатуру. Утром Ермолаев будет сгонять людей на работу. Считаю политически очень важным свершить суд сегодня в ночь. В связи с хлебом настроение накаленное. Жду приказа. О.»

Гудимов немедленно послал ответ:

«В 10 часов вышли Таню на обычное место встречать. Выбери удобный пункт — баня, сарай, изба. Трех друзей вызови на этот же час, не раньше. Увидимся вечером».

Гудимов знал, что операция будет легкой и достаточно взять с собой одного-двух человек. Но партизанам было полезно участвовать в деле, а кроме того, Гудимову хотелось провести его торжественно, или, как писала Ольга, политически.

К назначенному часу отряд подошел к селу. Таня встретила его за околицей, глаза ее сверкали в темноте, она говорила восторженным и таинственным шепотом. Гришин развел посты по намеченному плану. Остальные партизаны прошли за Таней в баню, одиноко стоявшую в конце большого темного огорода. В бане горел свет. Керосиновая лампочка освещала напряженно-спокойное лицо Ольги.

— Вот и вы... — прошептала она и улыбнулась мгновенной жалобной улыбкой.

— А где твои молодцы?

— Сейчас придут.

— Хорошо. — Гудимов мимоходом пожал ей руку. — Тебе не надо показываться вместе с нами. Иди пока домой и жди. Будем созывать народ — придешь со всеми и с ними же уйдешь. С нами ты не знакома.

Ольга не могла скрыть огорчения, но покорно кивнула и выскользнула в темноту.

Трое партизан подошли к дому старосты, и тетя Саша постучала в дверь.

— Чужой человек пришел, просится ночевать, — через дверь говорила она. — Боюсь я его. Ты сходи, проверь документ.

— Что ж ночью ходить! Приведи его сюда,

— Да что ты, начальник! Как же я приведу его? А вдруг он убежит, кто тогда отвечать будет? Может, он шпион какой?

Ермолаев долго собирался, кряхтя и ругаясь, потом загремел запорами и вышел во двор. У калитки его схватили, обезоружили и повели в баню.

В жидком свете лампы партизаны увидели насмерть перепуганного человека с виновато бегающими глазами. Он и всматривался в каждого из окружающих его людей, силясь понять, что его ждет, и всячески избегал встречи с чужими недобрými взглядами, и лопотал что-то, ища оправданий, и съезживался, стараясь стать незаметным.

«Как на плакате! — подумал Гудимов. — До чего мерзок!»

— Соберите народ, — приказал он новым партизанам, привлеченным Ольгой. — Будем судить эту гадину всем миром, как полагается.

Видно, некрепок и неспокоен был нынче сон, — через несколько минут в баню набилось народу до отказа. В предбаннике и в огороде тоже стояли люди, на полкѣх и на печке страстно шептались возбужденные зрелищем ребята, и с каждой минутой новые ребята, прошмыгивая между ног взрослых, присоединялись к приятелям, так что полкѣ уже трещали, а светлые и темные головенки торчали в три ряда.

Партизан жадно рассматривали, некоторых узнавали: «Да это Трофимов, судья!», «Сам прокурор здесь!»

Связанный староста стоял в углу и исподлобья озирался.

Гудимов не обдумывал заранее, какую речь он произнесет. Он знал, что обстановка подскажет нужные слова. Он уверенно, по-хозяйски размещал людей в тесноте, перебрасываясь с ними шутками и заигрывая с ребятишками, и все время чувствовал себя дома, снова дома, среди родных. И уже не удивлялся тому, что люди сбегались сюда без расспросов, словно давно ждали этого часа, и совсем так же теснятся вперед и даже переругиваются из-за мест, как бывало раньше перед собраниями.

— Товарищи советские граждане! — начал он негромко. — Мы с вами сегодня во вражеском тылу. Но советскими людьми быть не перестали и не перестанем. И Советская власть была и будет нашей единственной властью. С немецкими захватчиками у нас один разговор — борьба. А предателей, изменников, продажных

фашистских прислужников мы будем уничтожать, как уничтожают вошь. От имени народа, от имени Советской власти объявляю общественный суд открытым. Обвиняемый — Ермолаев, бывший вор и арестант, а теперь слуга фашистов и предатель родины. Судьи — вы все. Сами решайте, что с ним делать.

По собранию прошло движение. Это не было единодушное движение согласия — нет! При последних словах Гудимова лишь немногие оживились; у большинства людей лица как-то вдруг потускнели, только что оживленно блестящие глаза потупились, а кое-кто тревожно перешептывался с соседями, втягивал голову в плечи, стараясь стать незаметным. И Гудимов понял, что вражеская оккупация уже наложила свой черный след на души людей, что многие не прочь поглядеть на партизанский суд, но сами боятся говорить о предателе и тем более — судить его...

— Начинайте, — отрывисто бросил Гудимов, сел на лавку и предоставил Трофимову и Грушину допрашивать предателя.

Собрание настороженно молчало. Оглядывая ряды взволнованных лиц, Гудимов искал среди них лица тех, о ком ему писала Ольга. Женщину он узнал — такое у нее было злобно-трусливое и виноватое выражение. Взглядом спросил Ольгу, — она ли? Ольга кивнула и украдкой показала на второго — Фофанова. Вот уж никак не признать, такого на плакате не увидишь — благообразный, внимательный, пожалуй, даже симпатичный... Встретил бы такого, ничего о нем не зная, никогда не усомнился бы, что свой, советский человек. И сейчас смотрит на запинающегося, дрожащего Ермолаева, как и все, — напряженно и молча. Зритель? Но и другие держатся как зрители...

Да, собрание непроницаемо молчало. Но вот Ермолаев попытался отрицать свою вину, и вдруг высокий женский голос метнулся из предбанника: «Врет!» Собрание загудело, и пожилой крестьянин протиснулся вперед и закричал, потрясая рукой:

— А кто хлебом-солью немцев встречал? Не отопрешься, гадина, народ все видит!

Он оглядел тесно сбившихся односельчан и сказал им, разводя руками:

— А бояться — что же теперь бояться! Хуже того, что фашисты нам готовят, ничего не придумаешь. И отбить-

ся от них надо. А предателей ждет смерть, это пусть все знают. Смерть!

Собрание откликнулось гулом одобрения. И тогда сквозь страх и смущение прорвалось то, что делало этих людей даже сейчас, здесь, в оккупации, советскими людьми.

Один свидетель, другой, третий — кто с места, кто протискиваясь вперед — избличали предателя, обращаясь к односельчанам за подтверждением своих слов, и десятки голосов подтверждали... И почти каждый выступавший повторял: «А предателей ждет смерть!» Да, не только Ермолаеву это говорилось... И все это понимают. И те кто, быть может, готов предать, спасая себя или сводя старые счеты с Советской властью, и те, кто продолжает молчать, стараясь безлико затеряться в толпе. Почему они молчат? Из обывательского равнодушия — «без меня сделают», «меня немец не тронет»? Из страха перед тем, что налетят каратели и кто-то из односельчан донесет?.. Не осуждал Гудимов — нелегко, ох как нелегко этим людям! — но все больше гордился теми, кто проталкивался к столу, на люди, поднимая руку и выкрикивая:

— Дайте я скажу! Да пустите же, граждане, я ему все припомню!

Радуюсь этому взрыву страстей, Гудимов с шутками и прибаутками придерживал его, чтобы собрание все-таки оставалось организованным, настоящим собранием, потому что позднее — он знал это — люди будут припоминать все и рассказывать о каждой подробности, и то, что партизаны принесли с собой не только возмездие предателю, но и законность и порядок, будет одобрено как свидетельство силы.

Ольга стояла в углу в группе девушек. Встретив взгляд Гудимова, она повела глазами вокруг, и Гудимов понял, какое торжество для нее сегодняшний вечер.

Он написал на листке блокнота: «Дорогой мой товарищ, мы боремся за будущее счастье, за общее и, быть может, наше тоже. Но и в этой борьбе у нас будут часы вот такого удовлетворения и счастья. И жизнь хороша, и жить хорошо! Так, кажется, в стихах?»

Передать листок было невозможно, он только показал ей глазами, что записка ждет ее, и Ольга поняла.

Допрос окончился. Гудимов предложил высказаться, но в ответ раздались пылкие голоса:

— А что тут говорить!

— Много ему чести — говорить о нем! Расстрелять его, как собаку, и все!

— Предложение одно — смерть изменнику! — торжественно-суровым голосом сказал Гудимов. — Голосую. Кто за смерть изменнику?

И снова томительный страх сковал людей. Только десятка два рук поднялись сразу. Потом еще, еще... Люди косились на соседей, оглядывались на кого-то — поднял ли? — и тогда сами тянули руки вверх. А многие как бы онемели, застыли.

— Какие могут быть воздержавшиеся? — взметнулся от двери тот же высокий женский голос, что первым нарушил молчание вначале. — «За» или «против»!

— «За» или «против»! — поддержало много голосов. — «За» или «против»!

И тогда будто вздох облегчения прошел по собранию. В напряженном молчании подняли руки все. Все до единого. Гудимов с интересом ждал, как будут голосовать указанные Ольгой «ненадежные». Женщина, оглянувшись, чуть подняла руку и быстро отдернула ее, а Фофанов с каким-то вызовом вскинул руку и долго держал ее вскинутой, выпучив глаза и испуганно приоткрыв рот. «Ладно, — подумал Гудимов, — это вам урок и предупреждение».

— Кто «против»?

«Против» не было никого. А те, ненадежные? Женщина вертелась волчком, выглядывая, а Фофанов даже не поднимал глаз, — старательно свертывал самокрутку, смачно слюнил ее. «Ну-ну, поразмысли, гадюка, да не выпускай жало, отрубим!»

Когда старосту повели расстреливать, весь народ повалил следом.

Ни одна женщина не вскрикнула и не отвела глаз, когда раздался залп.

А потом Гудимова окружили плотной толпой, и началось второе, быть может самое главное, собрание, когда люди спрашивали, что же теперь делать, что будет дальше, часто ли будут приходиться партизаны, и ощущение неизбежности борьбы нарастало с каждым словом и захватывало самых как будто бы отсталых людей. Возбужденные этой необыкновенной ночью, приобщившей их к зарождающейся всенародной борьбе, люди уже не боялись. Они наперебой зазывали к себе партизан, и ока-

залось, что и баньки успели протопить, и заботливые руки уже завязали в узелки кто домашних пирогов, кто сала и луку, кто шанежек, — что нашлось под рукой.

Когда отряд уходил из села, трое новых партизан стали в ряды вместе со всеми, и тогда выбежал из толпы пожилой колхозник, тот, что первым выступил на суде, и с ним его сын, паренек лет шестнадцати, а за ними — еще двое крестьян. Они тоже пристроились в ряды.

Гудимов увидел в толпе провожающих отчаянное лицо Ольги. Как ей хотелось, бедняжке, занять свое место и гордо пойти с товарищами у всех на глазах!

— До скорого свидания, друзья! — сказал Гудимов и начал пожимать руки, со всех сторон потянувшиеся к нему.

Ольга тоже протянула руку, и он незаметно сунул ей в ладонь записку. Она благодарно улыбнулась и сразу отошла.

Два дня все было спокойно, и Ольга сообщала только, что хлеб не повезли, а спрятали, что из окрестных деревень приходят узнать о посещении партизан, что кругом только и говорят о суде над Ермолаевым, о том, что «предатели все равно ничего, кроме пули, не заработают».

Гудимов ждал карательного отряда и не ошибся. На третий день разведка сообщила, что на двух грузовиках из города выехали каратели.

Засада была устроена поодаль от села, в лесу, у поворота дороги, где на ухабах машины должны были замедлить ход. Да и вряд ли немцы опасались встречи с партизанами среди бела дня, такого еще не бывало.

Иван Коротков первый метнул гранату под колеса головной машины, почти одновременно Коля Прохоров послал гранату во вторую машину. Засвистели партизанские пули. Но каратели не были застигнуты врасплох: в ответ тоже полетели гранаты, застрочили пулеметы и автоматы. Партизанам помогло только то, что их заслонял лес, а каратели — на виду. Бой был недолгий, но тяжелый, трое партизан было ранено, один — тяжело, в живот... Собранные после боя трофеи были великолепны: автоматы, патроны, два пулемета с запасом дисков, шинели, сапоги, два мешка консервов, белого хлеба, сахара.

Группы карателей положили на дороге в ряд, на грудь офицера приколоты записку:

«Собакам — собачья смерть! Такая судьба ждет каждого фашистского бандита. Свободный народ не будет рабом!

Народные мстители».

Довольные успехом, уже собрались уходить, когда хватились Трофимова. Все время был тут — и вдруг нету. Покричали, поаукали. Стали шарить в лесу...

Трофимов лежал лицом вниз, щекой на мшистой подушке, и казался мирным пожилым дядькой, грибником или охотником, притомившимся от ходьбы и пристроившимся в тени вздремнуть. Его рыхлая фигура, седой ежик его волос, его поза были такими штатскими, не воинскими, что на миг всем поверилось — спит. Только вот маленькая, опаленная по краям дырочка на куртке между лопаток...

Видимо, он был ранен одним из последних выстрелов, зачем-то пошел прочь, подальше от места боя, и упал или сам лег — и умер.

Первая в отряде смерть...

Его похоронили тут же, на месте засады, под сосной. Положили на могильный холмик сосновые ветки. Коля Прохоров ножом вырезал на сосне: «*Партизан, народный судия Трофимов*» и дату смерти. Потом огорчился:

— Ой, надо было мягкий знак, а у меня судия.

— Все правильно, — сказал Гудимов.

Дали залп из винтовок и автоматов, постояли — и пошли молчаливой цепочкой в глубь леса.

6

Склонясь над кроваткой сына и сонно покачиваясь в такт песне, Мария пела почти беззвучно:

Богатырь ты будешь с виду.
И казак душой,
Провожать тебя я выйду —
Ты ж махнешь рукой...

И облегчающее сознание того, что сын еще очень мал, спутывалось с горьким предвкушением далекой скорби, и она думала в полудреме о том, что, быть может, теперешние страшные бои будут наконец последними для человечества и ее минует материнская неизбывная тре-

вога за существо более дорогое, чем собственная жизнь... Но сколько раз матери над колыбелями сыновей страстно надеялись, что война — последняя и над новым поколением не будет нависать смертельная опасность!..

Все глуше звучали слова песни. В тишине стали слышны мягкие стук дождевых капель и невнятные голоса дальнотойных орудий. «Вот мы и на фронте», — сказал Сизов. «И маленький спящий ребенок тоже на фронте! И это я оставила его здесь... Это я буду виновата, если с ним что-нибудь случится... Прости меня, солнышко мое. Но ты даже не можешь простить, ты не понимаешь...»

Настойчивый, резкий звонок.

Очнувшись, Мария вслушивалась. Вот мама прошла в переднюю, звякают запоры, хлопает дверь. Чей-то незнакомый голос, непонятные восклицания...

— Муся! — испуганным шепотом позвала Анна Константиновна. — Муся, пойдя сюда!

Мария вышла, жмурясь от яркого света после полумрака детской.

— Муся... это Митя!

— Ну и что же? Где он?

Мария решительно направилась к Митиной комнате, но Анна Константиновна схватила ее за руку:

— Он такой страшный, Муся!.. Ввалился... ничего не объяснил... Я боюсь... Он... переодетый!..

— Переодетый?

— Я сразу вспомнила, что ты рассказывала... Может быть, он убежал?

— Глупости! — неуверенно ответила Мария и, не стучась, вошла в комнату Мити.

Она почти натолкнулась на него, — Митя стоял у двери, придерживаясь рукой за косяк, и стаскивал с ноги сапог. От неожиданности он потерял равновесие и чуть не упал. Его обросшее лицо исказилось жалкой улыбкой.

— С приездом, Митя! — бодро сказала Мария. — Боже мой, в каком вы виде!

На нем были крестьянские поношенные штаны и рваная куртка, из-под которой виднелась грязная, расстегнутая на груди рубаха. Вода капала с куртки на пол. Солдатские сапоги были забрызганы мокрой грязью.

— Шел солдат с фронта, — криво усмехаясь, сказал Митя простуженным и злым голосом. — Шел и притомился.

Не здороваясь, он снова взялся за сапог.

— Садитесь,— сказала Мария. — Давайте сюда ногу! Давайте, давайте, ничего!

Она с трудом стянула с него сапоги. Ей было неловко смотреть на его почерневшие, до крови стертые ноги со вздутыми жилами. А Митя, не стесняясь ее присутствия, блаженно шевелил занемевшими, черными от грязи пальцами.

— Мама! — крикнула Мария от двери. — Мамочка, скорее затопи ванну, ставь чайник и приготовь чего-нибудь поесть!

Она сказала Мите как можно веселее:

— Раз пришел солдат с фронта, надо его обмыть и покормить. А разговоры потом. Верно?

Митя посмотрел на нее, и впервые в его усталом лице мелькнуло прежнее выражение преданности. Но это выражение было странным сейчас и не удержалось.

— Да о чем разговаривать,— сказал Митя. — Рассказывать — не поверите, а раз не поверите — к чему время тратить!

Она предложила:

— Вы полежите пока.

Митя беспомощно оглянулся:

— Куда же я лягу такой?

Она решительно принесла ему халат Бориса:

— Снимите с себя все и выкиньте за дверь и завернитесь в это, пока не согреется ванна.

Побежала на кухню, налила в таз теплой воды, поставила на пол перед Митей:

— Опустите ноги!

— Ну, зачем вы это... — пробормотал Митя, но послушно опустил ноги в воду и от удовольствия закрыл глаза.

Аяна Константиновна сунулась было в комнату, но Мария не впустила ее, плотно прикрыла дверь и тихо спросила:

— Ну а теперь скажите мне, Митя, что с вами случилось? Откуда вы?

— Из окружения,— коротко ответил Митя.

— Боже мой... как же вы добрались?

— А всяко,— угрюмо сказал он. — Вы что хотите знать? Как в болоте валяются? Как сырые грибы жуют? Как умирают? Или роман с приключениями — «Двенадцать суток в тылу врага»?

— Знаете, Митя, даже в раздражении и усталости вы могли бы не говорить со мной таким тоном.

— Простите,— вяло откликнулся Митя и наклонился, ладонью растирая грязь на разопревших ногах.

— Вы голодны?

— Нет. — Он махнул рукой и поморщился. — Мне сейчас много есть нельзя. Попить дайте.

Она принесла стакан чаю.

— А маскарад мой вы суньте в печку, там вши есть,— сказал Митя. — Что вы смотрите? Мы себя за окопиков выдавали. Вот как вы были... — Помолчав, он вдруг спросил: — Помните, как я вас тогда встретил?

Она молча кивнула.

— Противно? — спросил он, отвернулся и коротко всхлипнул.

Мария поняла, что он не только устал, но жалок и противен самому себе и в таком состоянии не может ни смотреть на нее, ни разговаривать с нею по-прежнему.

— Нет,— сказала она искренне, потому что брезгливость уступила место всепоглощающей материнской жалости. — Нет, Митя, не противно, но страшно и больно... Если бы я могла помочь вам!

— А чем вы можете помочь? Сочувствием? Добрых намерений много. А получается... Ну, черт с ним! Что об этом вспоминать! И так тошно.

Марию мучил вопрос, который она никак не решалась задать.

Митя откинулся назад, прикрыв глаза, губы его распустились, и отросшая борода не могла скрыть их обиженного мальчишеского выражения.

«Чепуха,— убеждала себя Мария,— не мог же он после двенадцати дней таких мучений не прийти домой отдохнуть... Он же совсем еще мальчик, и мне хочется обмыть, накормить и приласкать его, как Андрюшку... Он не привык... да и можно ли привыкнуть к болоту, к сырым грибам, к голоду! Он пришел отдохнуть... Разве он не имеет права?..»

Мария вышла на цыпочках, унося с собой Митины лохмотья. Она сунула их в топку ванной и без всякой брезгливости следила, как чадят и тлеют пропотевшие тряпки. На кухне Анна Константиновна жарила картошку и заправляла салат. У нее был все тот же растерянный и виноватый вид.

— Ты что, мамуленька?

— Не знаю, Муся... у него такой странный вид...

— Он из окружения, мама.

— Это правда?

— Что ты хочешь сказать, мама?

— Не сердись, Мусенька. Мне самой стыдно... Только... он не потихоньку пришел?

— Ты боишься?

— Да! — воскликнула Анна Константиновна. — За него. Боюсь! Я дольше вас жила, Муся, я знаю, как легко сделать ошибку и как трудно потом исправить.

Марии нечего было ответить. Разве ее не томили те же сомнения?

Когда Митя вышел из ванной в белой рубашке, открывающей покрасневшую от мытья тонкую шею, и от двери улыбнулся Марии, она снова устыдилась своих подозрений и повела его ужинать.

— Да вы и побриться успели?

— А как же! — воскликнул Митя. — Полный восстановительный ремонт! Анна Константиновна, ну что, похож я теперь на человека? А то вы перепугались до смерти, признавайтесь! Не то вор, не то бандит...

— Не то дезертир, — добавила Анна Константиновна.

Митя промолчал.

— Садитесь и ешьте. Чтобы все было съедено, — сказала Мария.

Анна Константиновна хотела присесть к столу, но Мария глазами попросила ее уйти.

— А что же мама? — спросил Митя, и Марию удивило, что он не рад остаться с нею вдвоем.

— А вам мало моего общества?

— Да нет, я так спросил...

— Расскажите мне, Митя...

— Ой, не надо! С меня хватит. Больше всего хочу забыть, забыть начисто. Будем говорить о чем-нибудь другом.

Но они ни о чем не говорили. Митя жадно ел, с наслаждением пил, а глаза его избегали внимательных глаз Марии.

Решившись, она спросила:

— А что вы думаете... что вы должны делать теперь, Митя?

— Спать! — развязно ответил он, зевая.

— Я не о том,— упрямо продолжала она. — Вы надо-долго домой? Когда вы должны являться?

Митя вдруг встал, отталкивая стакан.

— А вы не думаете, Мария Николаевна,— мальчишеским фальцетом закричал он,— вы не думаете, что человек должен выспаться и отдохнуть? Чего вы меня так торопите на убой?!

Она встала, побелев. Они враждебно смотрели друг на друга.

— Хорошо,— сказала она,— хорошо! Идите спать. Вам действительно надо выспаться.

И она, чуть не плача от обиды и злобы, стала стелить ему постель.

— Не сердитесь,— мягко сказал он за ее спиной,— я что-то не то сказал... Я еще не очухался. Вы не обращайтесь внимания... И вы мне ничего не рассказали о себе. Как вы живете, Марина? Работаете?

— Да,— сказала она резко,— строю баррикады.

Она мало и плохо спала в эту ночь. Ей вспомнились злые слова Бориса: «Я бы пристрелил его, как собаку». Но ведь сам-то Борис... он же удрал от испытаний войны, он же злился потому, что его не сумели защитить!

Ее разбудил непонятный шаркающий звук. Она вскочила и в халате выбежала в коридор. Митя стоял в кухне и тщательно чистил ботинки.

— Доброе утро, Мариночка! — приветствовал он ее прежним почтительно-ласковым голосом. — Вот видите, я встал раньше вас.

— А куда вы так рано?

— Нужно,— улыбаясь, сказал он,— дело есть.

Они позавтракали и вместе вышли из дому.

— Я вас провожу немного, ладно? — предложила она.

— Чудесно! А вы не опоздаете на ваши баррикады?

Воздух был чист и прохладен, от него горели щеки. Улица, обмытая вчерашним дождем, была пронизана утренним мягким светом.

— Вы куда, Митя?

Не отвечая, он сказал:

— Я вам, кажется, нагрубил вчера? Ради бога, не обижайтесь. Я сам не свой был.

Нет, она не обиделась. Если бы только она могла до конца поверить, что вчерашние слова были случайной вспышкой раздражения! Если бы она могла быть уверена в том, что он поступит так, как нужно...

— Я просто хочу знать, куда вы сейчас идете.

Он остановился, выпустил ее руку.

— Вы что, подозреваете меня, что ли? — грубо сказал он. — Прикажете отчитаться? Пожалуйста. Иду являться в комендатуру, и другие ребята наши придут, а что будет дальше — не знаю. Удовлетворены?

— Митя... я не... Митя, Борис уехал, понимаете? Нашел предлог и уехал. Если я могла ошибиться в нем...

Они пошли рядом, каждый думая о своем. Молчали. До комендатуры осталось два квартала.

— Знаете, Марина... не провожайте меня дальше. Мне все кажется, что вы мне не верите.

Его откровенность застигла ее врасплох. Да, ей хотелось дойти до комендатуры и увидеть, как он войдет.

— Ну вот еще, — сказала она краснея.

Они неловко, нерадостно простились.

Вечером Анна Константиновна сообщила:

— Митя забегал.

— В военном?

— Нет, как ушел утром. Мы с Андрюшкой гуляли, а он прибежал, взял ключ, сбегал наверх и почти сразу вернулся. Видно, очень спешил.

— И он не в военном?

— Я же тебе говорю.

Что это могло означать? Почему он, забежав, не оставил ни записки, ни адреса? Подозрения снова овладели ею: правильно ли она поступила, поверив ему на слово? «Что вы меня так торопите на убой?!» — закричал он вчера. А Борис говорил: «Сумасшедшая! Жанна д'Арк! Или ты обязательно хочешь, чтобы я был раздавлен гусеницами танка? Расстрелян во дворе жакта?» И еще он закричал: «В конце концов, я просто не хочу быть лишней жертвой!» — и уехал... А Митя? Один неверный шаг... А потом — на всю жизнь пятно. На всю жизнь? А велика ли у него будет эта *вся* жизнь, если он поступит как надо?..

И еще Мария думала: «А я? Если б я испытала все то, что выпало на долю Мити, я бы не сломилась? Я бы пошла добровольно снова?.. Рассуждать — легко, осуждать — просто, а жизнь — одна-единственная. Да, но разве я захочу любой жизни, даже в рабстве, под пятой фашистов?.. Разве я захочу жизни во что бы то ни стало, пусть с позором, с презрением к самой себе?..»

Анна Константиновна гуляла с Андриюшкой в садике возле дома. Андриюша узнал мать и побежал к ней навстречу, но ножки его, еще неверные, почему-то всегда заносили его вправо, и Марии пришлось бежать и перехватывать его. Очень довольная, Мария подошла к матери с Андриюшей на руках.

— Ну что? — спросила Анна Константиновна.

Анна Константиновна жила в постоянном возбуждении. Ей было труднее, чем людям молодым и осведомленным. На работе в Доме малюток она бывала всего два раза в неделю на суточных дежурствах и там не только не могла получить каких-нибудь объяснений, но еще сама должна была все объяснять, как умела, нянькам и сестрам. У нее было смелое сердце и женская, испытанная жизнью настойчивость. Но тяжелые новости обступали ее с утра — сводки по радио, рассказы беженцев, слухи, подхваченные в булочной и на прогулке. Она все впитывала и ждала от дочери какого-то исчерпывающего, совершенного слова, которое поможет ей разобраться в событиях и понять, почему так происходит. Она слепо и безусловно верила в дочь, как часто верят матери в своих выросших детей. Когда-то они их нянчили, учили говорить, передавали им свой жизненный опыт. Теперь птенцы выросли, обрели крылья, лучше и вернее матерей понимают изменившуюся жизнь, и матери, растерявшись перед новым поколением, не похожим на их поколение, превращаются в больших беспомощных детей, которых надо учить, опекать, повседневно направлять.

— Все в порядке, мама, — сказала Мария.

— Ты всегда успокаиваешь меня, как маленькую, что все в порядке. А сегодня в булочной говорили, будто парашютисты высадились на Московском шоссе... будто бои теперь будут на улицах...

— И зачем ты только слушаешь, мамочка, что говорят! Рассказы о парашютистах давно надоели — это рассказы для школьников.

— Я и не верю... Но, Муся... ведь, не женщины будут сражаться на баррикадах!

— У нас и мужчин хватает, мама, — успокоительно сказала она, — Знаешь, я сегодня видела Митю...

Это было утром, на прифронтовой окраине, где строили уже не отдельные баррикады, а целую систему укреплений. Военный старичок, руководивший работами, ничего не приказывал Марии, только просил: «Если можете, побыстрее!» Мария поторапливала бригаду и сама работала наравне с другими. Они начали копать траншею, когда Люба-Соловушка крикнула: «Ой, идут наши!» — и все побежали к проспекту.

Мерный топот сапог по асфальту... Идут, идут наши за околицу, на близкий фронт. Мерный, грозный топот сапог...

Мария побежала тоже и остановилась на краю тротуара в негустой толпе горожан. Военская часть шла неторопливым шагом, не четким, без щегольства, сурово-спокойным шагом. Ничего показного не было в этой массе вооруженных людей, и на обычных солдат они не походили: разномастные шинели, пилотки и фуражки, в одном строю с пехотинцами летчики, артиллеристы, пограничники... Рядом с пожилыми шагали совсем юные, а вдоль колонны, то тут, то там, стараясь шагать в ногу, шли женщины — хоть немного, до фронтовой заставы у «Электросилы», но проводить близких. Не было ни музыки, ни цветов, ни приветствий, ни слез. Только по всему пути молча стояли по краям тротуара ленинградцы — стояли и с жаркой надеждой смотрели на свое родное воинство.

Мария тоже стояла и смотрела, заглядывая ком в горле, — и вдруг увидела Митю. Он шел вторым в ряду, чуть заметно прихрамывая, — видимо, еще не зажили растертые до крови ноги. Когда Мария рванулась к нему, он удивился и обрадовался, в его сосредоточенно-строгом лице мелькнуло прежнее юношеское обожание, но только мелькнуло, — что-то в нем укрепилось новое, взрослое, незнакомое Марии. Он не мог выйти из строя, и она не могла подойти к нему, но она пошла в его ряду, тоже стараясь шагать в ногу, отделенная от Мити молодым армянином, который даже голову откидывал, чтобы не мешать им смотреть друг на друга.

— Тут они, ваши баррикады? — хмуро спросил Митя и помотал головой: — Нет! Не пропустим до вас. Верно, Левон?

Боец, до сих пор старавшийся быть незаметным, повернул к Марии смуглое лицо с добрыми глазами:

— Сердцу больно смотреть, как женщины баррикады строят. Только не пропустим, точно говорю: не пропустим!

— Я верю,— серьезно ответила Мария ему — и Мите.

Теперь она пыталась все рассказать матери, но рассказ получался жесткий, без того, что так взволновало ее и в Мите, и во всем этом суровом прощании с уходящими на фронт людьми.

Мать выслушала и поняла сама:

— Как хорошо!

Это было то же, что думала Мария, но теперь она спросила:

— Что именно?

— Господи, он же не один был в таком состоянии! — воскликнула Анна Константиновна. — И если они сейчас идут с такой уверенностью...

Мария поднялась к себе. Ей надо было написать Алеше. Она дружила со своим двоюродным братом еще с тех пор, как Алеша защищал ее в драках от мальчишек. В четырнадцать лет Алеша был немного влюблен в нее. Потом жизнь разнесла их в разные стороны, и когда они встретились снова, уже взрослыми людьми, между ними быстро установились приятельские отношения, к которым примешивалась бескорыстная юпошеская нежность.

«Мой дорогой танкист», — написала Мария и задумалась. Она часто писала Алеше в эти месяцы войны, но никогда ей не было так трудно писать, как сегодня.

«Мы решили остаться. Ты поймешь, что я не могла иначе. Я хочу делать то, что нужно, вместе с другими. Борис уехал. Он кого-то эвакуирует, что-то организует. Не знаю точно. Я с ним не поехала. Каждый решает за себя. Доказывать бессмысленно...»

Нет, она недоговаривает. Разве Алеша не знает, как она любила Бориса? Она вспомнила Митю, — ведь ему она доказывала? И это не было бессмысленно? А разве не пыталась она ночь напролет доказать, внушить Борису?..

«Я думаю, что мы с ним уже не увидимся, даже если он вернется. Мама хорошо сказала: сейчас такое время, когда дружатся на всю жизнь и расходятся навсегда».

Написав эти слова, Мария удивилась собственному спокойствию. Как случилось, что Борис сделался для нее чужим и далеким, что воспоминание о нем не вызывает прежней боли?

Ее перо снова заскользило по бумаге: «Если бы мы могли с тобой повидаться, ты понял бы, Лешенька, как мне сейчас все это безразлично...»

Нет, письмо не получилось. Сухо, рассудочно и потому неверно. Процесс был сложнее, глубже, и никакого безразличия в ней не было. Но она научилась отключать то, что уже пережито,—слишком много переживаний приносил каждый день, каждый час, и сердце привыкло рассчитывать силы. Иногда ей казалось, что все люди как люди, а она одна как бы свернулась тугой вибрирующей пружиной и надо удержать равновесие, чтобы ни одна нить не лопнула. Но, приглядываясь к окружающим, она подмечала тот же душевный настрой и уже догадывалась о том, что все подчинены какой-то психологической необходимости, все отключают лишнее, непосильное,— иначе не выдержать.

«Алеша, в письме не получается правды, но я не лгу тебе. Если бы поговорить, ты бы понял. Я очень счастлива, что осталась. Я чувствую себя полезной и окруженной людьми, как никогда в жизни...»

За окном и за стеной в репродукторе возник рыдающий вой сирены.

— Внимание! Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога! — озабоченно объявил низкий мужской голос, и снова завывла сирена.

Ожидая конца сигнала (он мешал сосредоточиться), Мария смотрела в окно на тихое, уже по-вечернему бледное небо и на подростков, занимавших посты на крыше соседнего дома. Воздушная тревога не волновала ни Марию, ни других ленинградцев. Почти каждый день завывали сирены, но небо оставалось спокойным, зенитки молчали, враг не появлялся. Хотя немцы были под городом и их аэродромы находились в непосредственной близости от Ленинграда — расстояние измерялось минутами полета, — в возможность бомбардировок перестали верить. Ну, подумаешь, загудели! Опять ничего не будет...

Мария облегченно передохнула, когда кончился противный вой сирены, и взялась за перо. Ее глаза задержались на только что написанных ею словах: «Я очень счастлива, что осталась...» Очень счастлива?! Выглядит дико. И все же... да, порой она чувствовала себя такой вольной и счастливой, что сама удивлялась,— господи, откуда оно взялось, это чувство?! А сейчас ей пришло на ум: бывает же человек счастлив не оттого, что ему хо-

рошо, а оттого, что поступил наилучшим образом, что не сделал шага, который потом унизил бы его и мучал!.. Она обмакнула перо, подыскивая слова для наиболее точной передачи своей мысли. И вдруг разом весь внешний мир наполнился грохотом и гулом, таким незнакомым и таким страшным, что мысль отлетела и нужно было судорожное усилие воли для того, чтобы усидеть на месте и справиться с порывом страха, с желанием бежать, бежать как можно скорее вниз, вниз, вниз, в подвал, в землю, за прочные каменные стены, под укрытие шести этажей.

Мария стиснула пальцы так, что ногти вонзились в ладони, и усидела на месте. Она пыталась вернуться к мыслям, занимавшим ее ранее, но ни одной мысли не было в голове. По крыше дробно застучали осколки. Мария не поняла, что это за звук, и бросилась к окну. Она увидела тех же подростков, испуганно прижавшихся к дымоходу, но сразу забыла о них: три самолета с воем промчались над домами. Самолеты незнакомых очертаний, с желтыми изломанными крестами на загнутых кверху хвостах, окруженные белой пеной разрывов... Они промчались мгновенно, и у Марии было впечатление, что они летят сверху вниз и вот-вот где-то неподалеку врежутся, как снаряды, в дома.

Их воющий гул, и трескотня зениток, и дробный стук осколков по крыше, и бешеный стук собственного сердца слились для Марии в одно. Она не помнила, как сорвалась с места, как очутилась на лестнице, закрыла ли дверь. Она помнила только внезапную тишину во дворе, когда, уже овладев собой, вышла из парадного. Тишина была так внезапна и полна, что все происшедшее показалось небывшим.

Дежурная подошла от ворот к Марии:

— Девятка ихняя пролетела над самой крышей!

Мария ответила ей так же сдержанно:

— Я в окно смотрела. Очень низко они пролетели. — И спросила: — Вы моих не видали?

— В убежище пошли.

Мария уже входила в убежище, когда снова началась стрельба.

— Дверь закрывайте! — нервно крикнули ей.

За железной дверью в полуподвальном коридоре, приспособленном под убежище, грохот стрельбы был почти не слышен. Освещенные двумя небольшими лампочками,

люди сидели на скамейках, расставленных рядами вдоль стен. Одна женщина, стоя под лампочкой, быстро вязала на спицах, не обращая внимания на других, не прислушиваясь и, видимо, не желая ни видеть, ни слышать. Среди взволнованных взрослых не спеша топал Андрюша, с доброжелательным любопытством разглядывая невиданное сборище людей. Взрослые заигрывали с ним, звали его к себе, каждому было приятно подлинное спокойствие маленького человечка. Но в то время, когда они разговаривали с Андрюшей ласковыми и деланно-веселыми голосами, их уши напряженно ловили приглушенные звуки извне: что там? Господи, что там творится?

Анна Константиновна подошла к дочери, сжала ее руку и тихо спросила:

— Страшно наверху?

Мария привычно ответила:

— Да нет, что ж там страшного.

Но лицо матери дышало такой душевной силой, что стыдно было отделываться общими словами.

— Привыкнем понемногу,— сказала Мария, обнимая мать. — Первый раз всегда страшно.

Она снова вышла во двор. Теперь стрельба шла со всех сторон, то приближаясь, то отдаляясь. Раза два отчетливо слышался гул самолетов, но за домами их не было видно. Иногда раздавался пронзительный свист, земля содрогалась, звенели стекла, и Мария отмечала: бомба.

Ее слегка лихорадило.

С улицы сообщали:

— Пожар большой где-то. В стороне порта или немного левее.

Женщины, теснившиеся в парадном, обсуждали:

— Нефтехранилище, наверно...

— А может, завод какой?

Через несколько минут уже уверенно сообщили, что горят продовольственные склады.

— Вы вот болтаете,— злобно сказала пожилая женщина, — а может, среди нас шпион слушает.

Все почувствовали себя неловко и смолкли.

Веселый рожок возвестил отбой воздушной тревоги.

Мария добежала до угла и остановилась. Половина неба была окутана медленно поднимающимися клубами черного, тяжелого дыма, а в их основании, где дым был

особенно густ и черен, даже при свете догорающего дня желтели мощные языки пламени.

— Да, это не дом горит! — сказал кто-то рядом.

Мария стояла долго. Вечерние краски сгущались над нею в спокойном небе, а пламя дальнего пожара полыхало по-прежнему, и медленные клубы дыма, расстилаясь по небу, торопили наступление темноты.

«Началось,— вдруг отчетливо поняла Мария. — Вот оно, начало».

Она поднялась домой. Анна Константиновна наспех готовила для Андрюши запоздавший ужин. Андрюша побежал навстречу матери, но его непослушные ножки понесли его вправо, и путь к матери он проделал в два приема: сперва завернул к дивану и ухватился за него, чтобы восстановить равновесие, потом пустился в дальнейший путь. Мария раскрыла объятия и подхватила сына на руки.

— Солнышко мое! — прошептала она, прижимая к себе его теплое, подвижное тельце.

Никогда еще не томила ее такая мучительная, до слез доводящая нежность, и некуда было деться от чувства вины перед его младенческим неведением.

8

В ее тихой квартире стало шумно. Марии казалось, что она сама попала в гости в необжитый, неустроенный дом. Андрюша бегал по комнатам, разглядывая новых людей и новые вещи. Вещи были запыленные, перемазанные известкой, и Анна Константиновна деликатно, но упорно оттаскивала от них ребенка.

Маленькая суетливая Мироша в помятой нарядной шляпке и зимнем пальто, из которого еще не выветрился запах нафталина, неутомимо развязывала узлы, перетирала, выносила на лестницу чистить, разбирала и распределяла по местам все имущество семьи. Сонная и растерянная Лиза, лениво накручивая на пальцы полураспустившиеся локоны, делала вид, что помогает тетке, но толку от ее помощи было мало. Она еле держалась на ногах после бессонной ночи, проведенной на улице. Нарушение привычного хода жизни ошеломило ее. Кроме того, она ждала со дня на день, что артиллерист с линкора, старший лейтенант Леня Гладышев, забежит

повидаться с нею; он сообщил о предстоящей командировке на берег еще пять дней назад. А что будет теперь? Правда, Лиза прикрепила к уцелевшей дверной раме записку с новым адресом и долго втолковывала управхозу, что передать, если ее будет спрашивать высокий моряк. Но разве можно быть уверенной, что Леня догадается пробраться в разрушенный дом, и что управхоз будет на месте и не перепутает, и что у Лени хватит времени приехать сюда!

Сони, конечно, не было. Она целыми днями пропадала в разных военных учреждениях, добываясь отправки на фронт. Но если бы Соня и пришла, она не облегчила бы работы Мироше: Соня была еще менее хозяйственна, чем ее сестра, а шуму поднимала столько, что ломило в висках. И так голова шла кругом от всего, что пришлось пережить за сутки!

Их дом разбомбило вчера вечером. Лиза была на заводе, Соня где-то бегала. Мироша рано легла в постель и дремала. Перед самым несчастьем, проснувшись от сильной стрельбы, Мироша решила встать. В пустой квартире ей было не по себе. Она спускалась по лестнице, когда в дом попала бомба. Мирошу оглушило и бросило на землю. Она так испугалась, что не пыталась ни встать, ни звать на помощь. Женщины из группы самозащиты подобрали ее, кто-то сказал:

— Несите в карету.

— В медпункт сперва,— заспорила другая женщина.— Может, она и неживая.

— Что вы, милые, я ж совсем здоровая! — вострепнувшись, запротестовала Мироша.— Чего вы хоронить торопитесь?

Среди своих она отошла от испуга и тоже увидела, что от дома осталась только лестница, торчащая сама по себе, а вокруг одни развалины. Стоя на улице, она рассказывала всем, кого ей удавалось заинтересовать:

— Ведь никогда я по сирене не спускалась и сегодня в постель легла, но как время подошло, будто голос какой твердит и твердит: вставай! Только это я встала да начала спускаться, вдруг огонь, треск, все сыплется.

Но ее перебивали, каждому не терпелось рассказать свое.

После полуночи пришла с дежурства Лиза. Лиза растерялась еще больше, чем Мироша, и все повторяла: «Где же я теперь спать лягу?» Потом ее позвали раска-

пывать обвал. Оказалось, что половина их комнаты во втором этаже висит почти неповрежденной, уцелели платяной шкаф и оттоманка, где лежат в нафталине зимние вещи. Лиза полезла наверх с бойцами спасательной группы и собрала все, что удалось найти.

Соня нашла Лизу и Мирошу на узлах посреди мостовой. Она несколько минут молча разглядывала висящую над развалинами знакомую стену своей комнаты, освещенную луной, потом узлы, сжавшуюся в комочек тетку, сонную Лизу и закричала, всплеснув руками:

— Ох, ну и народ! Да вы что, лунные ванны принимать собрались? Неужто вы так и будете всю ночь на узлах сидеть?

Она побежала разыскивать активистов из соседних домов. Вместе с ними начала размещать жильцов разбомбленного дома на ночлег. Это она умела — нажать, накричать, потребовать, организовать. Она проносилась мимо с чужими ребятишками на руках, волочила чьи-то чужие узлы, ругала плачущую женщину, боящуюся оставить без присмотра покореженную кровать и этажерку: «Ну кто их тронет? Ну кому это барахло понадобится? Идите спать!» А про своих Соня забыла, и, когда все были пристроены, оказалось, что Мироша с Лизой по-прежнему сидят на улице и Мироша совсем озябла. Соня отругала их и повела ночевать в домовую контору соседнего дома. Там было несколько скамеек и продавленный диван.

— Ну, теперь устраивайтесь сами! — сказала Соня, вытащила из узла зимнее пальто, завернулась в него и улеглась на скамейке, сунув под голову узел с платьями. — Спокойной ночи, счастливых снов!

В положенный час Мироша пошла в свою бригаду, не столько для того, чтобы работать, сколько из желания рассказать о несчастье и посоветоваться со Смолиной. Предстояли хлопоты о новой квартире, и Мироша заранее падала духом.

Мария решительно заявила, что никуда ходить не пужно, что она ее возьмет сегодня же к себе и племянниц тоже, — все равно из прифронтовых районов переселяют население в центр, а у Марии есть совершенно свободная комната, ее рабочий кабинет.

Мироша прослезилась и стала отказываться:

— Ну, девочки еще ничего, а я ведь беспокойная, все сучусь и сучусь...

— Придется не суетиться, только и всего,— сказала Мария. — И не реви, Мироша, чего ты киснешь, в самом деле! На фронте живешь, не в тылу! Если можешь работать — принимайся, не можешь — иди домой.

— Мой дом теперь — весь город, такой большой у меня дом,— проворчала Мироша.

— Тогда берись, работай, после работы вместе поедем.

И вот они все оказались у нее. Острая жалость охватила Марию, когда она ввела их в свой рабочий кабинет, тихий, педантично прибранный, с гладкими чертежными досками, с чертежами, свернутыми в трубки, с моделями зданий, занявшими целую полку над книгами.

Вспомнился месяц, когда она работала над проектом новой школы для одного из лучших колхозов того района, которым руководил Борис. Андрюшка только что родился, Борис и мама считали, что надо отказаться от проекта,— вредно утомлять себя. Но Марии хотелось жить полнее и напряженней, чем прежде, материнство не заглушило творческой мысли, а придавало ей особую глубину и чистоту. Мария вкатывала коляску в кабинет и ставила ее подле рабочего стола. Андрюшка спал или гугукал потихоньку, разглядывая незнакомый мир непонимающими внимательными глазками. Когда приближался час кормления, он начинал проявлять беспокойство, но не плакал, а только вытягивал губки и, пыхтя, водил ими из стороны в сторону, смутно помня, что где-то рядом всегда находится утешающий теплый материнский сосок. И Мария кормила его тут же, у рабочего стола. Пока он сосал, сначала быстро и сильно, потом все ленивей и слабей, она думала и о Борисе, и о своем проекте, и о том, как выросший Андрюшка поедет с нею в район и она покажет ему уже не новые, но по-прежнему красивые, любовно обдуманые и построенные дома и скажет: «Это я строила!» Как ей хорошо, интересно жилось и работалось тогда!

— Здесь прямо как в церкви,— с уважением сказала притихшая Мироша.

«Что ж,— подумала Мария,— если для верующего церковь— место, где он может сосредоточиться в своей вере, то эта комната — моя церковь. Здесь я всегда бывала наедине с самой собой и со всем, что я любила, о чем мечтала, чего хотела достичь... Только где ж это все теперь? Мои дома заняты фашистами или разбиты, со-

жжены... Начатый перед войной проект санатория пылится на шкафу, он никому не нужен. Бориса тоже нет, и любви нет. Остался Андрюша... Но есть ли сейчас хоть одна мать на свете, чья материнская радость не отравлена тревогой и страхом!..»

— Пустая комната — это очень грустно, — сказала Мария. — Я рада, что будут люди и голоса.

— А работать вам не понадобится?

— Работать?.. — Она помолчала и вдруг подхватила, тряхнув головой: — Конечно, понадобится! Больше, лучше, быстрее, чем раньше! А как же? Для чего же мы боремся, Мироша, если не для этого?

— Я сама часто так думаю, — сказала Мироша, вздыхая. — Ведь какой из меня землекоп или каменщик? Я ж портниха! Я, бывало, девушке платье сошью, и она в нем запрыгает такая хорошенькая... Я в молодости нарядов не имела. И всегда мне хотелось каждую молоденькую счастливой видеть. И наряжать ее. Я красивое люблю, по мне бы все было мирно и весело — так люди жить должны. Если б не злоба, что жизнь нашу калечат, никогда бы я за лопату не взялась. Во мне и силы-то никакой нету.

— А вот сила в тебе есть, — сказала Мария, обнимая Мирошу за худенькие плечи. — Мы сами иногда не знаем, какие вокруг нас люди ходят — и сильные, и красивые.

Но Мироша, смутившись, начала болтать чепуху. Мария прервала ее:

— Ну, ладно, располагайтесь, устраивайтесь.

Возня с размещением была в самом разгаре, когда прибежала Соня.

— Здесь живет боец автомобильной роты Софья Кружкова? — от двери затараторила она. — Честь имею представиться, Мария Николаевна, зачислена бойцом Красной Армии. Пока при управлении тыла фронта, но это пока! Да и какой нынче тыл! Главное — приняли, а там — мое дело, как на фронт перекочевать. Меня уж научили... Ух ты, какой мировой мальчик! — воскликнула она, увидав Андрюшку, и присела перед ним на пол. — Давай знакомиться, парень! Смотри, что у меня есть. — Она вытащила карманный свисток и засвистела. — Как, ничего тетя? Стоит познакомиться?

— А тревоги сегодня не будет, — заявила Лиза от окна: — смотрите, дождь пошел!

Все устремились к окнам. Осенний унылый дождь только еще начинался, но по тому, как плотно заволокло небо серыми тучами, ясно было, что зарядит он надолго. Никто ничего не сказал, все вернулись к делам, но стали спокойнее и веселей.

Было около восьми часов вечера, когда начались звонки на парадном. Марии пришлось бегать открывать, и она мельком подумала, что создала себе хлопотливую жизнь, пустив жильцов. Но пришедшие были интересны ей и так сразу, безусловно включили ее в круг семьи, что Мария забыла свою досаду.

Первым пришел летчик, назвавшийся Микой Вихровым. Он был удивительно, до смешного похож на свою сестру Любу, но держался дичком и на всех смотрел исподлобья. Они с Соней уселись на подоконнике в неприбранной комнате и то сердито спорили вполголоса, то молчали, то быстро целовались, если им казалось, что на них не смотрят.

Затем пришли два моряка, и Мария поняла, что один из них должен быть тем самым артиллеристом главного калибра, которым Соня дразнила сестру.

Они вошли шумно, все еще возбужденные тем, что пережили у разбомбленного дома, пока не узнали, что Кружковы уцелели, и не получили их новый адрес. Они от двери заговорили об этом, но Лиза сказала, лениво передернув плечами:

— Ах, только не об этом! Знаете ленинградское правило? О бомбах не говорить.

— Есть не говорить! — откликнулись лейтенанты, радуясь, что после долгого перерыва попали на берег и проведут вечер в женском обществе.

Фигура летчика рядом с Соней смутила их.

— Знакомьтесь, Лиза, — развязно сказал Леня Гладышев. — Ничего, что я привел с собой незваного гостя? (Мика Вихров недоброжелательно уставился на незваного гостя.) Это мой брат. Леня Шевяков, — добавил Гладышев и подтолкнул приятеля вперед. — Прошу любить и жаловать!

— Ваш брат? — удивилась Лиза. — У вас есть брат?

— А как же! — сказал Леня Шевяков. — Разве мы не похожи? Нас на корабле даже путают иногда, до того мы похожи.

Они были совсем не похожи, но все, кроме Мики Вихрова, охотно приняли неожиданного брата.

Приход лейтенантов оживил Лизу и пробудил в ней умение и желание прибрать раскиданные вещи. Через десять минут все было убрано если и не совсем разумно, то во всяком случае с глаз долой.

Мироша и Анна Константиновна захлопотали на кухне. Война, воздушные налеты, разбомбленный дом, близость фронта — все забылось. Окна завесили, стрельбы сегодня не было, молодежь беспечно болтала, а старшие знали, что в доме гости и надо гостей хорошо принимать.

Мария чувствовала себя где-то между молодежью и старшими. Ей нравилось быть среди молодежи, но она не умела выключиться из войны так, как они, она не умела веселиться, как Соня, и лениво кокетничать, как Лиза, и принимать всерьез болтовню лейтенантов. Тогда она вспомнила, что она хозяйка дома, и пошла помогать старшим готовить ужин. Когда все собрались вокруг стола и Мария налила всем по стаканчику вина, Ленья Гладышев сказал:

— За то, чтобы мы снова встретились в полном составе!

И Мария поняла, что никто не забыл о войне.

— За нового бойца! — сказала она, чокаясь с Соней.

— Ерунда это, — буркнул Мика, — совсем незачем девушке... Ты себе представляешь условия работы шофера на фронте?.. Да и вообще незачем!

Мика Вихров еще не получил нового самолета, и все, что происходило на фронте, казалось ему ошибочным и скверным, потому что сам он лишен был возможности воевать и воздействовать на ход событий. Зачисление Сони в армию разозлило его: он, летчик-истребитель, сидит без дела, а девушка будет воевать!

— Ничего, — сказала Соня, — я тебе как-нибудь боезапас подвезу, спасибо скажешь. Без шоферов и летчику делать нечего.

— Я разве летчик? — огрызнулся Мика. — Вот посмотрю еще денек, да и пойду к черту, хоть в пехоту! Не могу я больше пить-есть и в небо глаза пялить!

— Они потому и летают так нахально, что у нас самолетов мало, — сказала Мироша. — Слышу, как они гудят безнаказанно, даже плакать хочется.

Ленья Шевяков обиделся, так как командовал зенитной батареей:

— Это неверно, что безнаказанно. Вчера одиннадцать самолетов под Ленинградом сбили, позавчера девять, а был день — восемнадцать. Отдельные прорываются, да и невозможно совсем не допустить прорыва самолетов, когда у них теперь аэродромы — рукой подать.

— А прицельного бомбометания у них не выходит, — поддержал Гладышев: — швыряют бомбы с большой высоты куда придется.

— Так это зенитчики, что ли, сбивают самолеты? — недоброжелательно перебил Мика. — Зенитчики только мажут! Я вчера смотрел — ну, прямо злость трясет. Идут немцы на две тысячи метров, не больше, а зенитки небо роют вокруг, то спереди, то сзади — ни одного попадания!

— Пусть-ка они к нам сунутся, увидят! — сказал Леня Шевяков.

— Леня, конечно, сразу всех посшибает, — пошутил Гладышев.

— Эх, дали бы мне машину, я бы их посшибал! — с отчаянием сказал Мика и вконец разозлился, увидав, что незванный гость, подозрительный брат Гладышева, слишком явно ухаживает за Соней. — Вам на линкоре что! — вызывающе крикнул он. — Сидите себе за толстой броней да иногда пальнете главным калибром по невидимой цели. Вам что! Разве вы знаете, что такое настоящий бой? Приходится вам драться одному против трех, одному против десяти? Вам легко разговаривать.

Упрек был злой, и отвечать на него было трудно. Лейтенанты сами страдали оттого, что еще не участвовали в настоящем боевом деле. Но спускать летчику не хотелось.

— Летчики всегда думают, что, кроме них, никто по настоящему не воюет, — отрезал Леня Гладышев.

— А что вы делаете, вы? — не унимался Мика.

— Посчитаем потом, — успокоительно сказал Леня Шевяков, — мы еще не воевали. Сейчас вот они, — он кивнул на «брата», — дают «огонька» по мере надобности, и со дня на день надобность будет увеличиваться. А вы думаете, — обратился он к Мике, — нам очень приятно сидеть без дела?.. Вы не можете себе представить, — сказал он Соне, — вот на фронте плохо, отступают наши, и все кажется — если бы ты там был, не допустил бы!

— Я сама так чувствую, — согласилась Соня. — Думаю: буду там — все иначе пойдет. Кажется, что без тебя

и дело не так делается, и людей поднять некому, и немцев не так бьют, правда?

Мика косился на Шевякова и Соню: ишь ты, уже нашли общие точки зрения! И почему Соня обращается к этому приглаженному лейтенантику, когда он, Мика, гораздо сильнее чувствует то же самое? До чего они падки на новых поклонников, эти девчонки! И Соня ничем не лучше других.

Мария слушала их спор и думала о том, что вот эти люди, собравшиеся здесь, хотят воевать во всю силу, и все они пока не воюют по-настоящему, и что таких людей еще много... Какова же будет сила народа, когда каждый займет свое место!

Она хотела сказать об этом, но звонок заставил ее подняться. Она увидела Любу и нескладного, чересчур высокого летчика с широкими плечами и восторженной улыбкой на скуластом обветренном лице.

— Не у вас ли мой брат, товарищ Смолина? — не здороваясь, спросила Люба.

— Вихров, Мика, я за тобой, дружище! — пробасил за нею летчик.

И Люба, и летчик были чем-то так взволнованы и обрадованы, что забыли поздороваться и перезнакомиться со всем обществом. Они сразу набросились на Мику, затормошили его, затискали в объятьях. Несколько минут только и слышны были короткие, счастливые восклицания: «Ну что, черт?» — «Я же говорила!» — «Ого! Я им теперь!» — «Мишка, друг, крутанем, а?» — «О-го-го!»

Мария решительно оторвала Любу от брата:

— Соловушка, мы хотим знать, что случилось?

— Живем, Соня! — крикнул Мика и стремительно подхватил Соню под мышки, поднял и расцеловал, не стесняясь многочисленных свидетелей.

— Ох, до чего ж я за тебя рада! — воскликнула Соня, тоже не смущаясь. Она давно поняла то, чего еще не поняли другие.

— Самолеты идут! — задыхающимся от счастья голосом сообщила Люба.

Вскоре после того как Мика взял увольнительную в город, в полку получили сообщение, что новые самолеты на днях придут в пункт Н. (Глазов так и сказал: пункт Н.) Завтра экипажи новых самолетов должны выехать для приемки машин.

— Ну, я и поскакал тебя разыскивать! — на всю квартиру грохотал Глазов. — Думаю, опять ты напешься с горя, так лучше вместе выпьем на радостях!

Люба выбежала к вешалке и впорхнула в комнату с бутылкой водки.

— По такому случаю можно? — неуверенно улыбаясь, как провинившаяся девчонка, спросила она у Анны Константиновны.

На радостях пришлось выпить всем. Еще несколько минут назад два моряка и летчик явно мешали друг другу и были готовы поссориться, а теперь они стали приветливы и дружелюбны, обменивались пожеланиями военных удач и настоящих боевых дел. И Мика утешал моряков, похлопывая их по плечам, как давних приятелей:

— Не горюй, дружище, вы еще повоюете! Ваша артиллерия — это знаешь какое дело! Ну, смотри, зенитчик, поддай им жару снизу, а мы долбанем сверху!

Женщины, облегченно улыбаясь, не вмешивались в их мужской разговор.

После ужина Люба пела. Она пела не по нотам и не по правилам, а так, как подсказывало настроение, так, как хотелось. Слушая ее, трудно было оценивать голос и замечать недостатки пения, но зато нельзя было не оценить ее самое — ее горячую, наивную, жадную до всего прекрасного душу. Люба пела русские и украинские песни, и голос ее, звучный и теплый, передавал слушателям все обаяние непосредственного чувства, давшего жизнь народным песням: и сильную, безоглядную любовь, и тоску расставания, и близость к родной природе, и чистую простоту цельного характера. Песня сменяла песню, и каждый раз новой стороной раскрывалось существо маленькой певицы и по-новому звучал ее голос — то веселый и звонкий, чуть вибрирующий на верхах, то протяжный и грустный, то разудалый и дерзкий.

Когда Мария осталась одна в своей комнате, ей было и горько, и радостно, и обидно. Новые люди вошли в ее жизнь. Новые судьбы скрещивались с ее судьбой, волнения и надежды новых людей легко стали ее волнениями и надеждами. Теперь, глядя в небо, она всегда будет тревожиться и о Мике, и о его забавном неуклюжем приятеле так же, как отныне она будет тревожиться и об этих двух моряках, и о Соне... Но почему нет человека,

о котором она могла бы тревожиться и которого могла бы ждать безраздельно, так, чтобы радость не приходила к ней лишь отражением чужой радости, и горе, если оно случится, было ее личным, самым страшным горем? В эту ночь она поняла, что очень трудно иметь на фронте любимого мужчину, но это и гордость, и право женщины в дни войны — провожать, тревожиться, ждать.

9

Только на вторые сутки после того, как танк Алексея Смолина оставил позицию в березовой роще, танкисты увидели своих. То, чего боялся Алексей, сбылось: березовая роща оказалась уже в тылу врага, и обратно к своему батальону пришлось пробиваться с боями и в обход, по лесам и болотам.

К ночи они наткнулись на бойцов передового охранения. Русская неторопливая речь была так приятна, что Алексей выскочил из танка и кого-то обнял. И поволжски окающий голос сказал ему из темноты:

— Хорошо, что свои, а кабы немцы? Ходите тут одни, словно в мирное время... Идите до нашего капитана, он и раненого устроит, и обстановку расскажет... Митюха, проводи танк до капитана.

Через десять минут Рябчикова отдали в руки медиков, остальных провели в удобную, любовно отделанную землянку, не похожую на те наспех вырытые ямы, которые им приходилось видеть до сих пор у пехотинцев. Капитан Каменский был, должно быть, еще не стар, в голосе и движениях чувствовалась молодая энергия, но красивое лицо его заросло бородой и помялось в тяжелом сне, а припухшие, покрасневшие глаза никак не хотели раскрыться как следует.

— Подняли вас... — с сожалением сказал Алексей.

— Да! — вздохнул капитан, не скрывая досады. — Черт знает, до чего мне не везет. Как дорвусь до койки — обязательно что-нибудь помешает.

— Вы бы нас куда-нибудь в другое место пристроили, — сказал Сережа.

— Ладно, ладно, здесь я командир, знаю, кого куда! — ответил капитан, и в лице его мелькнуло то выражение насмешливой ласки, которое Алексей замечал у Яковенко.

Невыспавшийся капитан стал интересен и дорог, а уютная землянка и чистый стол с появившимися на нем консервами, хлебом, маслом и большими кружками в цветочках, и хозяйственный боец, колдующий над котелками у раскаленной печурки, и свет керосиновой лампы располагали к отдыху, к быстрой походной дружбе, возникающей мгновенно и не забывающейся никогда.

— Хорошо у вас,— сказал Алексей. И деловито добавил: — Хлопцы мои сморились, заслужили отдых.

— А вы нет? — спросил капитан, усмехнувшись. И крикнул бойцу: — А водка где? Ты уж не жалея, Перепечко, не жалея. Ведь знаю, где-нибудь у тебя припрятано. Тащи на стол!

— Есть тащить на стол! — неохотно сказал Перепечко. — Я ж не жалею,— объяснил он танкистам,— а без приказа не полагается.

После основательного ужина всех устроили на ночлег, Смолин остался у капитана.

— Ох, и спать же я буду! — воскликнул Алексей, вытягиваясь на койке.

— А я? — откликнулся Каменский. — Мне даже думать сладко, как я сейчас спать буду!

— Вы первый пехотный командир, который мне нравится,— неожиданно признался Алексей.

Если бы он не был таким сонным и счастливым, он никогда не позволил бы себе откровенничать.

Каменский шутливо откликнулся:

— Плохо угощали?

— Нет, не то,— серьезно ответил Алексей, стараясь уяснить самому себе, что ему так понравилось в капитане. — Может быть, и то, как угощали,— сказал он, подумав. — Когда из боя приходишь, горячая еда и водка — тоже боевое обеспечение, ведь так? Землянка у вас хорошая. И порядок. И все нашлось быстро, без суеты. И ваш боец из боевого охранения, как сказал мне: «Идите до нашего капитана...» Ну, ладно! — сам себя оборвал Алексей, стыдясь своей откровенности. — Вы спать хотите.

Каменский, снимая сапог, смотрел на Алексея загоревшимися глазами.

— Вот вы понимаете это! — заговорил он со страстной убежденностью. — По-моему, если ты командир, так тебе до всего есть дело — и сухие ли у бойцов ноги, и как людей накормили, и какое настроение у каждого

самого незаметного твоего бойца! И обо всем у тебя душа болеть должна. И в батальоне у тебя и хозяйство, и настроение — все должно быть отлично, тогда и воевать будут отлично. Равнодушие к людям у всякого человека противно, а у командира — преступно.

Он опустил ногу, так и не сняв сапога.

— Ну, встретил вас боец и сказал: «Идите до нашего капитана...» Вы почему об этом вспомнили?

— Знаете, капитан,— сказал Алексей,— положение тяжелое, и слишком часто видишь растерянность или путаницу. А тут почуял я прочность. И в том, как он сказал «до нашего капитана»,— уважение, любовь...

— Да,— подхватил Каменский,— они меня любят. Я знаю.

Он сидел на койке, забыв о сне, разгоряченный мыслями, заинтересованный разговором со случайным своим собеседником. И Алексей понял, что у этого капитана есть свое прекрасное честолюбие: любовь бойцов для него высшая слава и награда, и сейчас он счастлив тем, что посторонний человек почувствовал эту любовь.

— Вот бы нам с вами вместе повоевать! — вдруг сказал капитан. — Оставайтесь, а? У меня ведь батальон сейчас — не батальон, а прямо корпус в миниатюре. И артиллерия, и минометы, и мотоциклисты эти потайные: захватил три мотоцикла, обучил бойцов, держу при себе, докладывать не тороплюсь. Батарейку подобрал при отступлении, выручил, тоже держу при себе. Занял рубеж и держу, и не отдам... Не отдам! — выкрикнул он и посмотрел на Алексея злыми, горящими глазами, как будто Алексей собирался возражать ему. — Вот танков мне не хватает. Оставайтесь, а? Мы с вами таких дел наделаем!

Алексей, тоже забыв о сне, присел на койке и спросил так, как будто от него зависело, где он будет воевать:

— А что бы вы стали делать?

— А то,— убежденно сказал Каменский,— что не могу я ждать, пока враг на меня нападет. Сам нападать хочу... Вот, смотрите!

Он вытащил карту и развернул ее перед Алексеем:

— Немцы вот здесь, они стремятся вот сюда и сюда — на охват, понятно? И вот если вы делаете удар сюда и прорываетесь вот сюда, а я в это время наношу удар здесь, с фланга, под микитки,— я вам ручаюсь, что

при быстроте и четкости может быть успех... Окружение, окружение! Мы бы им показали, что такое окружение!

— Мы через эту деревню прорывались,— указал Алексей, рассматривая карту и определяя по ней проделанный путь. — Ох, и петляли же мы! А немцы чувствуют себя беспечно, и если неожиданно ударить...

— Так давайте!

Алексей грустно улыбнулся:

— Если бы вы связались с нашим Яковенко через командование...

— Волянка начнется,— сворачивая карту, сказал Каменский и зевнул. — Ну, давайте спать!

— Давайте... А ваш батальон тоже отступал?

Каменский покраснел и отвернулся.

— Тоже! Вот именно тоже! — с горечью сказал он. — А что было делать? Я принял батальон — ополченцы же! Войны не знают. Командиры людей не изучили, бойцы командиров путают, в лицо не знают... В боевой обстановке притирались друг к другу, и все-таки переправу на Луге держали одиннадцать дней. Одиннадцать дней! С необученными, необстрелянными людьми! Конечно, потери... Так я как пополнялся? Собираю людей по дорогам, отбившихся, легкораненых, отступающих: стой! — и к себе. Приведешь человека в порядок — в подразделение. Скопом не брал, а раскидаешь таких в одиночку по хорошим отделениям и взводам, глядишь — человек приобвыкнется быстрее и духу наберется настоящего...

— А вы сами, товарищ капитан, кадровый командир?

— А что?

— Да чувствуется — любите военное дело. И понимаете.

Каменский молодо, задорно рассмеялся:

— А вот и не угадали. Историк я... Ис-то-рик! Шесть лет в книгах рылся... выписки, картотеки... — Он снова рассмеялся. — Участвовать в живой истории оказалось интересней. Вот вы говорите — понимание, любовь... Да, люблю и, мне кажется, понимаю. В гражданскую я мальчишкой воевал, конечно, но тогда не та война была... Хотя, вообще-то говоря, окопы рыли и блиндажи строили, и обеспечение, и сотни повседневных бытовых военных вопросов были те же... И опыт пригодился. Но не в этом дело. Что мне нравится — хотя и того, что мне не нравится, тоже хватает — активность! Меня бьют, да!

Но и я бью, и могу бить больше, и буду бить больше, чем бил. Мы переправу одиннадцать дней держали — думаете, враг был другой или силы у нас были особые? Нет, всё те же. А порядок был, воля была, дух у людей такой был — не отдавать переправу, хоть ты тут умри! И не отдавали... И вот когда я чувствую, что я командир и у меня есть общее понимание задачи, и план, и уверенность в людях, и они во мне уверены и сделают то, что я им прикажу, когда я чувствую, что у меня в руке судьба большого дела и от моего умения и искусства зависит, что будет... Люблю, да!

— Яковенко, наш комбат, называет это — командирское чувство.

— Правильно называет.

Они помолчали, но ни тот, ни другой уже не могли заснуть и не хотели засыпать.

— Вот вы спросили, отступал ли я. Ну да, отступал. После одиннадцати дней боев отступал, когда с боков никого не осталось и у меня людей больше половины выбило. И все-таки ничего горше я в жизни не испытывал... Вот небольшое место, берег, деревенька, ты за них зубами грызся, и кровь тут везде твоих людей... и, кажется, встань они сейчас — как бы я в глаза им поглядел?

— Я тоже во всяких переплетах был,— сказал Алексей. И живо вспомнилось ему ромашковое поле, отяжелевшие от дождевой влаги цветы, колеблемые ветром, и серое ветровое небо в тяжелых тучах, сквозь которые медленно пробивалось осеннее солнце. — И на днях еще... Пехота подвела. Мы в засаде... И я так думал: не мне судить, не мне разбирать, кто в чем виноват, почему да что. Я вот командир танка, командир танкового взвода. И мое дело выполнять любой приказ и тут уж проявлять и инициативу, и смелость, и умение, и все. И если я так буду и другой так будет — вот дело и пойдет как следует. Верно?

— Нет, не верно! — резко сказал Каменский и поднялся. Он был возбужден и, видимо, рассержен. — Солдатское это рассуждение! Не больше... Приказ выполнять — да! Приказ безусловен — да! А если приказ не все предусмотрел или устарел, пока ты дрался, да тебе в голову придет новое решение, лучшее, и ты видишь, что оно победу даст?

— Да я не о таких случаях...

— Обо всех случаях! — выкрикнул Каменский. — Ты — командир. Понимаешь? Командир! Сегодня у тебя взвод, завтра случится — у тебя и батальон. Ты вот пехоту ругаешь, взаимодействие плохое. И верно, плохое, никуда не годное взаимодействие. Так вот может случиться, что завтра в бою мы будем взаимодействовать, и меня убьют, и начштаба убьют, и ты окажешься старшим командиром... Может это быть? Может! Так изволь заранее думать обо всем и мнение свое иметь обо всем — и кто виноват, и чем такой командир плох, и чем другой командир хорош. Когда в бой поведешь, это тебе все пригодится. Приказ исполняй. Но без понимания, без мысли, без продумывания и общего, и частного — ты не командир. Вот ты ругаешь — пехота подвела... А почему, понимаешь ты?

— Не выдерживают огня, окружения пугаются... чего ж тут не понимать! Видел своими глазами.

— А как, по-твоему, плохие люди бегут? Не наши, не советские люди это?

— Нет, почему же...

— Ты не мнись, а пойми. Вот у меня ополченцы в батальоне. Есть, конечно, отдельные людишки — дрянь, они везде есть, но в основном народ-то — золото! Ленинградцы — рабочие, интеллигенция — пошли добровольцами, каждый понимает, за что воюет, и у каждого есть люди, которым в глаза не посмотришь, если побитым вернешься... Теперь они у меня — кремень, а не бойцы. Прикажешь стоять — он мертвым и то не упадет! А расспроси их — ведь многие вначале терялись, да еще как! Самим себе не верили, в оружие свое не верили. А почему? Почему, скажи ты мне! По-че-му?

Алексей молчал, ожидая, что капитан сам себе ответит. И капитан ответил:

— А потому, что люди не были воспитаны к войне. Я знаю, ты скажешь: как же не были, когда на значок ГТО сдавали, и в армии обучались, и на летних сборах... Да не в том дело! Вот я парня одного спрашиваю — значок ГТО, с парашютом прыгал, квалифицированный рабочий и все такое: «Как же ты побегал? Ведь ты же родину свою предаешь вот на этом бугорке, с которого бежишь... всю советскую жизнь предаешь!..» Стыдится, молчит. Теперь он стал боец — лучше не надо. И вот я его как-то расспрашиваю, как он жил, что делал... И тогда же я подумал и стал проверять на других людях —

да, так оно и есть! Очень счастливо наше молодое поколение — да и не только молодое — жило... Легко!.. Кто постарше, те еще много беды видали. Своими ведь руками поднимали все... А молодежь трудностей настоящих не знала. Избавили мы ее от больших трудностей. Подрастает парень — в школу, в пионеры, потом на работу. О нем уже заботятся, чтобы квалификацию ему дать, чтобы в комсомол «втянуть» — слово-то какое неленое! И разговор вокруг него — и обслужи его культурно, и в учебу его «втяти», и билеты в театр чтобы уполномоченный привез, и тем окружи, и так охвати... Это неплохо, мы за то и боролись, чтобы детям горя не знать, — да только воевать с такой подготовкой трудненько! Закалки нет!

Алексей сказал обиженно:

— Я тоже так рос, однако воюю не хуже других.

— Чудак человек! Разве ж я в обиду говорю? В мирное время да разве я не хотел, чтобы сынишка мой горя не знал? Разве я не делал всего, что могу, чтобы сыну моему жилось легко и интересно? Для того и советский строй создавали. А что ты воюешь хорошо — так ты, во-первых, обучен, командир уже, у тебя и техника, и дисциплина... А мои парни разве теперь плохо воюют?.. Только я тебе вот что скажу: от мирной обеспеченной жизни, какой мы перед войной добились, и вот до этого окопного существования — в сырости, под огнем, среди смертей и ранений, — ты понимаешь, какой внутренний перелом должен произойти? Как самого себя перестроить нужно?

— Но ведь счастливому народу и терять приходится больше! — воскликнул Алексей. — Значит, и победа ему важнее. Я же, если меня взять или Кривокуба, друга моего, мы же им горло зубами перегрызем, а своего не отдадим и в нашу жизнь фашистов не пустим!

— Во-во! — поддержал Каменский. — Вот это правильно! Я тебе что сказал? Счастье балует, а избалованному человеку приспособиться на войне труднее, вот и все. Но счастье свое кому же не дорого? И когда такой человек на фронте обтерпится, воевать научится да поймет, что вот сейчас все решается и от него зависит, как будет дальше, тогда наш народ так будет драться, как еще не дрались люди, и никто его не сломит!.. И мы с тобой еще увидим это. Мы еще увидим, как будет наступать наш народ!..

Каменский прикрутил фитиль лампы и хотел задуть ее, но новая мысль отвлекла его.

— А потом — привычка к дисциплине! — сказал он, останавливаясь перед Алексеем. — Вот ты должен взять винтовку и с полной выкладкой протопать пятьдесят километров да потом, не отдохнув, идти в бой и драться до последнего, а сверху тебя бомбят, и артиллерия шпарит, и минометы, да еще откуда-нибудь сзади автоматчик палить начнет. А ты должен действовать, и слушать своего командира, и любой приказ выполнить точно и быстро, потому что в бою одна минута иногда успех решает. Страшно тебе и больно тебе, а действовать ты должен как машина, только еще лучше, потому что с умом... Тут нужна железная воля и дисциплина тоже железная... А дисциплины у нас мало было. И почтения к старшему тоже как следует не воспитывали. Вот ты мне скажи: привык ты с детства, с пионерского возраста, не опаздывать? Скажем, назначен у тебя пионерский сбор в шесть — так чтобы тебе стыдно было прийти в четверть седьмого? Или тебе поручение дали выполнить в три дня — привык ты выполнить в три дня и ни на полсуток позднее? Не привык? А ты мне скажи: как можно воевать без дисциплины и порядка?

— Вот это точно!

— Не было бы точно, я бы не стал говорить.

Капитан закричал, укладываясь, и снова показался Алексею не молодым, а уже пожилым и утомленным человеком. Но вот он заговорил, и голос его звучал молодо:

— А все-таки, брат ты мой, мы еще так драться будем, как ни один народ не дрался. Вот ты увидишь! Силы у нас только разворачиваются, и уклад у нас такой, и сознание такое, и народный характер тоже такой — упорный, устойчивый. Расхлябанности у нас пока немало, и государство у нас молодое, но в системе общественной у нас более высокие принципы организации. Сейчас Гитлер на скорость бьет, с ходу победить хочет. Но с ходу можно нас потеснить, а победить — не выйдет. А когда борьба развернется и все наши силы соберутся, тут наше социалистическое качество и скажется. Да так скажется, как никому и не снилось... И тебе тоже, дружок, потому что молод, другого не видал.

Алексей спросил робко:

— А долго война будет, как вы считаете?

— Долго! — со вздохом ответил Каменский. — Может быть, и не так уж долго, как тяжело... Наберись терпения.

— Да я что ж! Я человек военный.

— Женат?

— Нет, что вы!..

Капитан невесело рассмеялся:

— Хорошо ты сказал это — нет, что вы! Значит, думаешь, не стоит жениться?

Алексей смутился:

— Да просто не пришлось. Жены не нашел. А так — почему же...

Каменский молчал. Лампа начала мигать и коптить. Капитан приподнялся и, задув ее, сказал: «Ну, спокойной ночи!» Алексей был растревожен мыслями и лежал, вглядываясь в черный мрак и прислушиваясь к напряженному дыханию капитана. «Спит он? Хороший он человек, а подумал, наверное, что я бездумный, легкомысленный парень, ни о чем не привыкший серьезно рассуждать...»

Алексей уже дремал, когда ясный, бодрый голос спросил его:

— А ты славы хочешь?

Алексей очнулся и от неожиданности не сумел ответить правду, а переспросил:

— То есть как — славы?

— Эх вы боитесь отвечать напрямик! — сказал Каменский. — То есть как? А очень просто — орден получить, Героя Советского Союза получить... Хочешь?

— Конечно, хочу!

— И я хочу! — страстно подхватил Каменский. — Хочу славы, отличия... А как же! Ведь не за красивые глаза отличают. Мы воюем, и наше умение, наши успехи отмечаются вот этими наградами и званиями... И еще я хочу потому...

Он неожиданно смолк. В темноте не понять было, какое у него лицо, но дышал он быстро, горячо, и Алексей не решился спрашивать.

— Вот ты заговорил о женитьбе, — после долгого молчания сказал Каменский. — И хорошо, что ты не женат! Прежде чем жениться, друг, проверь сто раз. Сто раз подумай, если не хочешь быть несчастен. — Он опять помолчал. — Если бы не темнота, я бы тебе письмо одно прочел. Да я его и так помню. Женат я уже десять лет.

Сынишка. Особого счастья не было, но и разладу не было. Эвакуировалась она в начале войны. Избалованная она у меня, жили хорошо, заботы у нее были всё мелкие — по хозяйству, с сынишкой. Да я сам заботлив, так что ей мало приходилось. Трудно ей одной было? Наверно. Она мне не жаловалась, но и между строк читаешь. Новое место, военные условия, о жилье, о дровах, обо всем самой думать надо. А она у меня к труду непривычная, полено расколоть не умеет... И вот письмо. Не мне письмо, подруге ее. А подруга эта сейчас в армии, переводчица. Принесла мне и сказала: «Вот, Леонид Иванович, не хочу тебя расстраивать, а еще больше не хочу, чтобы ты на фронте о ней вспоминал да скучал. Прочитай, что Лелька пишет, не могу таить такую гадость». Хорошая девушка. А письмо — при мне оно, не сжег, потому что с одного раза не поверишь. Вынимаю да перечитываю — правда ли? «Не осуждай меня, Валечка,— так она подруге пишет,— я знаю, что поступила не мужественно, что многие будут меня презирать. Леониду (это мне) я ничего не могу написать, он на фронте, как мне нанести ему удар! Но сейчас все так страшно, так непрочно, и здесь мне было так плохо, так тяжело, все трудности навалились на меня сразу. И вот мне встретился человек, который меня полюбил, и помог мне, и очень обо мне заботится. Он гарантийный инженер на большом заводе. Я знаю, что поступила плохо, но я не могла больше биться одна в этих ужасных условиях. У меня не хватало сил. Что будет дальше, я не знаю, но ведь жить-то хочется, и каждый живет как умеет...» Понятно? Жить хочется, а мужа могут убить, а тут заботы, квартира, удобства, гарантийный инженер... И должность-то, как нарочно,— гарантийный!

Алексей только промычал «д-да...» и растерянно обдумывал, какими словами утешить капитана.

— Это урод какой-то! — воскликнул он. — Вы не расстраивайтесь. Не стоит она вас, и даже этого гарантийного тоже, наверно, не стоит... Таких баб жалеть нечего!

— А сын? — тихо напомнил Каменский.

И опять Алексею было трудно что-либо сказать.

— Сынишка пишет мне,— вдруг потеплевшим голосом сказал Каменский: — «Хочу, чтобы скорее кончилась война и ты приехал», а в другом месте: «Хочу, чтобы ты был Героем Советского Союза...» Девятый год ему. В школу пошел нынче...

Алексей задумался о том, как сложна жизнь, и как трудна война, и как на войне (и на фронте, и в тылу) обнажаются люди со всеми их хорошими и дурными качествами; потом он подумал, что действительно мало размышлял, анализировал, а размышлять и анализировать нужно — для того, чтобы лучше воевать сегодня, и потому, что после войны надо будет восстанавливать жизнь всей страны и каждой семьи, каждого человека, вернувшегося с фронта, а это будет не легко и не просто. Он услышал негромкий размеренный храп, порадовался, что капитан наконец заснул, и мысленно пожелал ему побед, славы, звания Героя, и размечтался о том, что Яковенко прикомандирует его танк к батальону капитана, и они вместе проведут стремительную операцию, вместе получат Героев, и тогда пусть расстроится от обиды на свой промах эта мерзавка-жена, а сына они заберут от нее, и надо будет найти капитану настоящую жену...

Он заснул, обдумывая, как это все устроить, и, когда Каменский стал будить его, Алексею показалось, что он только что задремал. Он подскочил по военной привычке, готовый немедленно действовать, но капитан добродушно сказал, что погодка чудесная и пора пить чай, а радист уже целый час тщетно связывается с Яковенко, так что до выяснения обстановки можно позавтракать не спеша. Алексей с удивлением увидел, что капитан чисто выбрит, свеж и подтянут, никаких следов усталости и недосыпания нельзя было заметить в его красивом, перечеркнутом энергичными морщинами, оживленном лице.

— Успели выспаться? — спросил Алексей с завистью.

— А как же! Три часа поспали — и хорошо. Бритву хочешь?

Алексей побрился, вымылся до пояса холодной водой и с наслаждением ощутил возвращение обычной бодрости. Перед завтраком он все-таки сбегал повидать свой экипаж, навестил Колю Рябчикова и, поспорив для порядка, обещал взять его с собою, а не отправлять в санбат.

— А я тебя проверял, лейтенант, — весело встретил его Каменский. — Зову пить чай, а сам думаю: если сядет завтракать, не сходя к своим бойцам — значит, плохой еще командир. А ты и сходил!

Прошло два часа, прежде чем удалось установить связь с батальоном и получить новый адрес его. Оказалось, что батальон находится недалеко.

В штабе батальона царило такое возбуждение, что никто не обратил внимания на возвращение Смолина, и Алексей даже обиделся: как-никак вернулся с боевого задания, после прорыва немецких линий; можно, кажется, расспросить, обнять, просто сказать доброе слово.

Яковенко сидел над телефоном и кричал в трубку, время от времени мощно продувая ее во всю силу своих легких.

— А, Смолин, очень хорошо! — воскликнул он и закричал в трубку: — Выслал два!.. Смолин, ты в порядке? Ах, раненый... Да, да. Два, два, больше у меня нет! Что? Громче, не слышу! Есть сообщить! Понятно!

Он положил трубку на аппарат и устался на Смолина, видимо совершенно не помня, откуда и почему появился перед ним этот лейтенант.

Помрачнев от обиды, Алексей с подчеркнутой официальностью и гораздо короче, чем хотелось, начал докладывать, но Яковенко снова вызвали к телефону, потом он выбежал, забыв отпустить Смолина, и Алексей ждал его, бледный от негодования, и думал, что надо скрыть от экипажа холодный прием, потому что ребятам будет обидно.

Яковенко вернулся, связист снова пытался кого-то вызвать, но ничего не выходило, и Яковенко нервничал и ругался. Потом он вдруг увидел перед собой оскорбленное лицо лейтенанта Смолина и тогда разом вспомнил, как волновался об этом лейтенанте, как ждал сообщений и как сегодня ночью дважды вскакивал, чтобы проверить, нет ли связи со Смолиным.

— Алеша, милый, я ведь тебя и не... и не поздравил даже! С возвращением! — Он подошел обнять Смолина, но не обнял, а взял за плечи и сказал восхищенно: — А дружок-то твой! Кривоzub! Каково?!

Мгновенно забыв обиду, Алексей крикнул:

— Да я ничего не знаю!

И Яковенко закричал в ответ:

— Чепуха какая! Как же тебе никто не сказал!

Выяснилось, что танк Кривоzubа из засады расстрелял танковую колонну немцев, что сам он цел, но попал под сильный огонь и к нему на помощь послано два танка — все, что было под рукой. Сражение еще продолжается, но уже ясно, что успех очень крупный, самый крупный за все время боевых действий бригады.

— И ведь один КВ! Один! — восклицал Яковенко.

— Товарищ комбат! — умоляющим голосом сказал Алексей. — Разрешите заправиться, принять боезапас и пойти на помощь. Может, еще успеем, а?

— У меня и впрямь некого больше послать. Черт с тобой, сынь, только быстренько!

Экипаж охотно принял новое задание, но Рябчикова пришлось заменить новым радистом из штабных, — Рябчиков был плох.

Алексей Смолин, не отрываясь от смотровой щели, все ждал, когда перед глазами возникнет поле боя с подбитыми и сожженными танками. Он вспоминал разгром колонны возле рощи, прозванной «галошей», — неужели сегодня успех крупнее? От возбуждения у него пересохло во рту. Страшно хотелось увидеть Гаврюшку и сказать ему: «Черт косой, что натворил!» — и услышать в ответ: «Смолин с Кривоzubом свое дело знают...» И всем существом хотелось боя — выручить, вмешаться, своим появлением создать решающий перевес, поставить последнюю точку...

И вот он увидел поле боя — мертвое поле с нависшей над ним будто утомленной тишиной. На узком шоссе между болотистыми низинами лиловатым пламенем горело больше десятка средних танков, а в болоте возле шоссе торчало еще несколько провалившихся, сцедившихся, покореженных танков со свернутыми набок пушками — страшное кладбище машин, свалка металлического лома, подернутая сизым, медленно тающим дымом. А на краю леса стояли три КВ, толпились танкисты, вились голубые дымки папирос, и Алексей понял, что он опоздал, делать ему больше нечего, бой окончен.

Он не видел Гаврюшки, но сразу узнал его танк среди одинаковых машин. Танк-победитель стоял весь в ранах и ссадинах, чуть осев набок и гордо выставив в сторону побежденных свою заслуженную пушку. Алексей подошел к танку и с уважением потрогал его выносливую, изъеденную осколками броню.

— В музей бы его! — сказал рядом Сережа Пегов, и Алексей удивился, что Сережа будто угадал его мысль.

А тут появился Гаврюшка, весь закопченный и похожий на негра. Глаза его ввалились, словно после тяжелой болезни, но сверкали, как два фонаря. Гаврюшка обрадованно улыбнулся другу, и белые зубы, блеснувшие в улыбке, еще усилили сходство с негром.

Они поцеловались; от Гаврюшки пахло дымом и пб-том, но было чертовски приятно поцеловать его в про-копченные щеки.

— Вот и свиделись,— сказал Гаврюшка растроган-но. — Я ж тебе говорил...

— Это я тебе говорил,— возразил Алексей, огляды-ваясь на поверженные и догорающие немецкие танки.

И вдруг острая зависть пронзила его душу, омрачая радость встречи и победы. Он торопливо подавил ее, но осадок чего-то постыдного остался.

День кончился празднично. Экипаж победителей чествовали, приехало большое начальство, и к вечеру стало известно, что Гаврюшку Кривокуба представили к званию Героя Советского Союза.

— А все вышло так просто,— рассказывал Гаврюш-ка Алексею. — Место у меня было очень удобное, у по-ворота, узкое дефиле среди болот, им и деваться некуда. А шли они, сволочи, как на прогулку — люки нараспаш-ку, а танкисты наверху, в трусиках, загорают, мерзавцы, как на французском курорте! Привыкли!.. Ну, я подпу-стил их и ахнул в головной, а потом в задний. Пристрел-ка была точная, попало как по заказу. Ох, и заметались же они! Вперед нельзя, назад не пройти, я всаживаю сна-ряд за снарядом. Они с шоссе в болото, вязнут, сцепля-ются... потеха! А курортники в трусиках прыгали, как зайцы. Ей-богу, со смеху помереть можно было, только смеяться некогда!.. Они меня сперва обнаружить не мо-гли, а потом дали жару! Только все равно ничего у них не вышло, а тут еще ребята наши подошли... Ох, повез-ло! Это называется — повезло!

— Это называется Герой Советского Союза,— попра-вил Алексей, и снова непрощеная зависть зашевелилась в нем, и он сам на себя рассердился, что может завидо-вать, да еще кому! Гаврюшке! Лучшему другу!

— А что, к лицу мне будет Золотая Звезда, как ты думаешь? — легкомысленно спрашивал Кривокуб, выпя-чивая грудь.

Он не вспоминал о боях в березовой роще, ему было сейчас не до этого, так же как и всем. Сегодняшняя победа оттеснила все остальное... Да и в конце концов, у Смолина ведь не было победы, только бои с неравными силами и прорыв, требовавший выдержки и расчета... но на то и война!

Алексей навестил своих. И Коля Рябчиков сказал ему:

— Вот, товарищ старший лейтенант, не останься вы на позиции вместо Кривокуба, были бы вы сейчас Героем... Очень ребята за вас огорчаются.

— Вздор! — необычно резко крикнул Алексей. — Прекратите болтовню! Стыдно!

Вместо того чтобы посидеть вечером со своим экипажем, как он всегда делал на отдыхе, он лег на койку, сказав, что умирает от желания спать. Но сна не было: злость на самого себя, на Рябчикова, на равнодушные товарищеские, не заинтересовавшиеся его боевыми делами, на легкомысленные Гаврюшки, блаженствующего среди похвал и поздравлений, — злость душила его, тяжелая, мучительная злость. Он вспомнил ночной разговор с капитаном Каменским, — тогда мир казался ему широким, умным и полным возможностей, а сейчас — узким, несправедливым, полным случайностей... Слава! Что такое слава? Потеря... Может быть, гораздо больше героизма нужно было для того, чтобы остаться в березовой роще, отправив танк товарища вместо себя на задание, которое привело к такому героическому результату... А кто это оценит? Даже Гаврюшке наплевать, он теперь упоен своим успехом, что ему старая дружба! Золотую Звезду на грудь — вот о чем он сейчас думает!..

Алексей не пошел ужинать, притворился спящим. Он слышал, как Гаврюшка вошел и несколько раз тихонько окликнул его. Алексей даже захрапел, так ему не хотелось видеть приятеля. И вдруг почувствовал, что дружеские руки заботливо укрывают его одеялом.

После ужина, когда Гаврюшка вернулся и сел на соседнюю койку с папиросой в зубах, не решаясь будить Алексея и скучая без него, Алексей не стал больше притворяться и, открыв глаза, в упор поглядел на друга:

— Ну что, черт косою? Счастлив?

Гаврюшка помотал головой, сердито кусая папиросу.

— Что так?

— Нехорошо получилось... — пробормотал Гаврюшка, отводя глаза. — Ты думаешь, я не знаю, что Яковенко не меня вызывал? Пойди ты, а не я, и все было бы наоборот. Выходит, ты ради меня... а теперь я Герой... Хорошо это, да? — совсем по-детски, чуть не плача, выкрикнул он.

— Вздор! — закричал Алексей. — Болтовня! Стыдно!

Он кричал те же слова, что недавно со злобой и обидой бросил Коле Рябчикову, но теперь в его голосе были нежность, благодарность и облегчение. Он вскочил, опрокинул Гаврюшку на койку, дал ему несколько здоровых тумаков и присел рядом.

— Не дури, Гаврюшка! Война длинная, не помрем, так еще дважды Героями будем,

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБЫЧНАЯ НОЧЬ

1

Они вышли вместе. Анна Константиновна крепко сжимала руку дочери, словно хотела удержать ее, не отпускать от себя. И Мария вела мать с особой, бережной нежностью. В эти дни почти непрерывных воздушных налетов они виделись очень редко и каждая встреча могла стать последней. Обе чувствовали это, но болтали о том, о сем как ни в чем не бывало.

— Мироша так привязалась к Андрюше, что радуется, когда у меня дежурство,— говорила Анна Константиновна. — И, честное слово, она даже ревнует его ко мне!

— И ко мне,— отвечала Мария. — Она чудесное существо, но уж суетлива! Топчется, мечется, а все попусту.

— Ах, да знаешь, она вчера...

— А третьего дня...

Они рассказывали друг другу о смешных оплошностях Мироши и украдкой поглядывали в небо, где порывы ветра разрывали спасительную облачную пелену.

Только на трамвайной остановке, прощаясь, Анна Константиновна быстро шепнула:

— Береги себя, Муся. Не рискуй.

И Мария так же быстро, вскользь, ответила:

— И ты.

Трамвай ушел. Мария осталась одна. Беспечная улыбка сбежала с ее губ; хмуро опустив голову, она зашагала по улице размеренным шагом. Ей очень не нравились суточные дежурства матери в Доме малюток, где Анна Константиновна много лет работала музыкальным руководителем, а с недавнего времени — дежурным старшим педагогом. Даже в свою прежнюю музыкальную деятельность — в устройство наивных детских праздников и разучивание песенок — Анна Константиновна вкладывала всю страстность беспокойного характера. Все, что она делала, она делала образцово, красиво, с выдумкой и

талантом. Пусть это был всего-навсего двадцатиминутный праздник для малышей,— она мучила сестер и нянь репетициями и спевками, ночами шила костюмы для кукол, изничтожая свои платья, если не оказывалось под рукой подходящих лоскутков. Воспитание музыкального вкуса и слуха у детей казалось ей важнейшей задачей. Мария старательно прятала снисходительную улыбку, когда мать с увлечением рассказывала ей о своем успехе или расстраивалась оттого, что неуклюжая няня что-то перепутала... Впечатлительная, как ребенок, Анна Копстантиновна не умела отдаваться делу наполовину. И вот теперь она отвечала уже не за чистоту первых музыкальных впечатлений детей, а за самые их жизни. Дежурный старший педагог! Ведь это означало — и старший пожарный, и комендант детского бомбоубежища, и, в случае беды, руководитель спасательных работ.

— Понимаешь, Муся,— говорила она,— важно не только спасти, сохранить детей. Важно, чтобы они продолжали жить так, будто войны нет. Уберечь их от потрясений, от нервной травмы...

«А ведь ей шестьдесят лет,— вспомнила Мария. — Она умеет сдержаться, казаться спокойной, но скольких усилий стоит ее сдержанность!.. И это съедает ее жизнь... Заставить ее бросить работу? Но она ни за что не согласится. Да и предлога нет. Теперь, когда Мироша незаметно прибрала к рукам и Андрюшу, и хозяйство... Мироша — верный человек, добрая душа, но как страшно оставлять с ней Андрюшу...»

Бывать дома Марии почти не удавалось. Большой четырехэтажный дом, где помещалась строительная контора, назывался теперь «объектом», и начальником этого объекта был назначен Сизов. Иван Иванович поворачивал, что всегда его пихают в какую нибудь дыру на затычку, а затем вызвал Марию и сказал:

— Дело такое, Маша. Мне нужен начальник штаба, и чтоб в штабе был полный порядок. Берись. Больше некому.

Мария пробовала отказаться. Она даже обиделась сначала. Как может не понимать Сизов, что ей придется почти целые сутки проводить на объекте, а у нее ребенок, и в эти ночи оставлять его мучительно жутко!

Сизов сказал со вздохом:

— Ничего не поделаешь, золотко. В мирное время разве я тебя отрывал бы от семьи?

И Мария стала начальником штаба объекта.

Объект был сложный. Кроме строительной конторы, в доме помещались клуб и столовая строительных рабочих, несколько мелких разнородных учреждений и жильцы. Надо было организовать совместную дружную работу самых различных, впервые встречающихся людей, а это требовало бесконечных согласований и споров. Сизов целыми днями пропадал на строительстве рубежей, и вся повседневная работа по объекту легла на плечи Марии. Она не боялась работы, но ее томило чувство личной ответственности за все и за всех — за сохранность объекта, за жизни людей, за военный порядок. И так уж получилось, что объект стал ее домом, откуда она убегала с чувством виноватости и куда возвращалась с тревогой — все ли благополучно? «Ничего, я втянулась», — отвечала она на вопросы Сизова. Она впервые самостоятельно руководила людьми и испытывала неведомое ей прежде удовлетворение оттого, что воля, чувства и настроения многих людей подчинялись ее воле, подпадали под влияние ее чувства и настроения.

Подходя к парадному, Мария подняла голову и согнала с лица выражение озабоченности и тревоги. Спокойной и приветливой вступила она в пределы своего объекта.

Иван Иванович спускался по лестнице ей навстречу. Помятый красный шарф, как всегда, болтался на его шее. Под мышками он тащил два огнетушителя.

— Вовремя пришла, опять ерунда с жильцами! — закричал он издали, забывая поздороваться с Марией. — Тимошкина не вышла на пост, прячется, а Клячкин принес справку от врача, без печати и штампа, муровая справка! Я им сказал, что ничего и слышать не хочу, чтоб были на постах.

Мария отняла у него огнетушители и сказала с упреком:

— Опять сам таскаешь? Больше некому? — Подумав немного, добавила: — А Клячкина и Тимошкину я не пущу на посты, Иван Иванович. Как хочешь, не пущу! Куда мне такие бойцы? Они сбегут, чуть что случись. Лучше их отставить и сообщить приказом, почему их не допускают до обороны дома.

— Ишь ты! — с удовольствием воскликнул Сизов и ласково потрепал Марию по руке. — Ну, хозяйствуй, хозяйюшка, а я понесся дальше.

Мария была уже на второй площадке, когда снизу вдогонку ей раздался голос Сизова:

— Ты не начальник штаба, а прямо Спиноза! Спиноза!

Довольная принятым решением, Мария вызвала к себе Тимошкину и Клячкина. Она знала их обоих и понимала, как трудно им оторваться от привычного быта и почувствовать себя «бойцами». Скромный пожилой бухгалтер Клячкин просидел, наверное, лет тридцать на одном стуле, у одной конторки, пользуясь одними и теми же счетами, так что костяшки их должны хранить следы от прикосновений его пальцев. И дома он, наверное, многие годы одними и теми же движениями заменяет пиджак теплой домашней курткой и засовывает подагрические ноги в разношенные шлепанцы... А маленькая домашняя хозяйка Тимошкина годами жила интересами мужа, дочки, хозяйства, стряпала и стирала, судачила с соседками, запиралась на ночь на пять запоров — «не дай бог, воры!» — а теперь, конечно, затемно бегаёт в очереди к магазинам, чтобы «отovarить» свою иждивенческую карточку... И это бойцы? Но все-таки и они должны стать бойцами.

Не поднимая глаз от расписания дежурств, Мария сказала с нарочитой небрежностью:

— Вы можете не беспокоиться больше насчет дежурств. Мы пересмотрели списки группы самозащиты и оставили только надежных, проверенных. Сегодня будет приказ о том, что вы оба от группы отчислены.

Клячкин буркнул себе под нос: «Очень хорошо!» — и застыл в недоумении. А Тимошкина села на стул, два раза громко вздохнула и расплакалась.

— Это как же так — надежных? А чем же я ненадежная? У меня муж на фронте, дочь в госпитале медицинский персонал, а я сомнительный элемент? Если я не вышла на пост, так я дочке вещи возила, она на казарменное перешла, белье просила и тапочки... Разве я когда отказывалась? За что же меня опозорили? Во двор не выйдешь...

Клячкин спросил растерянно:

— Приказ вывешивать будете?

— Конечно.

— Тогда я... я не хочу! — выкрикнул Клячкин. — Я в этом доме двадцать лет живу! Я в банке на дежурства остаюсь, в банке доверяют!.. И как же так можно —

без всякого предупреждения взять да ударить человека по самолюбию?!

Смеясь про себя, Мария строго сказала:

— Мы на фронте, товарищ Клячкин. Вашим самолюбием заниматься некогда.

— А вот я возьму и выйду на пост, и никто меня не снимет с него!

Только уладилось с дежурствами, как прибежала тетя Настя, комендант здания, и вызвала Марию вниз. У парадного стояла ручная тележка, нагруженная домашним скарбом. Ребенок лет четырех топтался возле нее, прижимая к груди игрушечный грузовик и ярко раскрашенную утку. Две женщины, молодая и старая, носили узлы и баулы с тележки в парадную. Мария пригляделась и узнала в молодой женщине жену рабочего Семенова, одного из лучших работников Сизова. Сейчас женщина двигалась как заводная, взад-вперед, как будто боялась хоть на минуту остановиться.

— Разбомбило? — кратко спросила Мария.

Семенова опустила на пол узлы и тихо ответила:

— Начисто. Вот тут все, что осталось.

Лицо ее не выражало ни горя, ни отчаяния, а только крайнюю усталость.

— Мой на оборонительных. Мы уж пока к вам.

Тетя Настя, недавно назначенная комендантом, дрожала за порученное ей имущество и на вновь прибывших смотрела не только с жалостью, но и с опасением.

— Куда ж мы их, Марья Николаевна? В штаб?

— А что им делать в штабе! Им расположиться надо, устроиться, выспаться. Открой комнату отдыха, пусть поселяются там.

— Насовсем? — ахнула тетя Настя.

— Нет, не насовсем, — усмехаясь, сказала Мария. — До победы.

Тетя Настя помолчала, горестно вздохнула и буркнула, громыхая связкой ключей:

— Ну, пойдете.

Позабывшись об устройстве Семеновых и заодно прикинув, где и сколько можно разместить людей, если случатся новые несчастья, Мария пошла проверить, как идет очистка чердаков от горючего хлама. Там ее и застигла очередная воздушная тревога.

Мария выглянула в слуховое окно. На крыше, держась за перила, одиноко стояла Зоя Плетнева, библио-

текарь клуба. Ее светлые волосы свободно трепал ветер, а пожарная каска болталась на боку вместе с противогазом.

— Простудитесь, Зоенька,— сказала Мария, становясь рядом с ней.

Ближние батареи молчали, но в районе порта и вокзалов яростно бухали зенитки. Самолетов Мария не видела и подумала даже, что огонь просто заградительный, но Зоя схватила ее за руку и прошептала:

— Вон они... Марья Николаевна... вон они...

И Мария разглядела почти сливающуюся с облачной дымкой девятку самолетов. Они шли цепочкой, уклоняясь от рвущихся вокруг снарядов, затем один круто пошел вниз, сбросил три бомбы и взмыл в облака. А за ним устремился второй, потом третий, четвертый... Издали бомбы казались крошечными кувыркающимися палочками, но взрывы их подбрасывали над далекими крышами высокие фонтаны обломков.

Чувство горького бессилия рождала эта наглая бомбежка среди бела дня.

— Что хотят, то и делают.

— У зенитчиков снарядов мало,— обиженно объяснила Зоя.— Каждый снаряд на счету. Они только прицельным бьют.

Внезапно возникший над головами рев моторов испугал их обеих. Обе пригнулись, и Зоя, надевая каску, прикрыла ею голову. Самолет пронесся над ними. Его полет был так уверенно прям, что Мария закричала со слезами радости в голосе:

— Наш! Наш! Наш!

Маленький истребитель врезался в облака и скрылся.

Ухватившись за перила, Мария и Зоя смотрели, как вторично заходят бомбардировщики над облюбованным ими районом, где уже клубится дым пожара. Бомбардировщики шли тем же нерушимым строем, будто связанные один с другим, извиваясь среди разрывов... И вдруг разрывы прекратились, стало тихо, но строй разбился, рассыпался. Девять бомбардировщиков бросились в разные стороны от маленького истребителя. Мария не заметила, что случилось с одним из бомбардировщиков, она увидела уже тяжело падающий черно-красный клубок, а затем в небе закачались белые купола парашютов.

— Сбили... — выдохнула Зоя, прикрывая глаза.

— Один против девяти,— медленно сказала Мария.

Она вспомнила брата Соловущки Мику, и ей почему-то казалось, что это именно Мика Вихров прилетел на своем долгожданном самолете «долбануть фрицев», и она старалась представить себе его мальчишеское лицо во время боя и то страшное одиночество, в котором он находился там, высоко в небе, один среди врагов.

2

Соня Кружкова, боец автомобильной роты, в этот час выполняла первое боевое задание. В числе пяти водителей ей было приказано поехать в район порта, получить спецгруз и отвезти по адресу.

— Никакие тревоги в расчет не принимаются, — сказал черноглазый мальчишка-лейтенант, недоброжелательно глядя на Соню. — Понятно вам?

Лейтенант был зол, что ему подсунули девчонку, да еще только что получившую шоферские права, и он третирует Соню заносчиво и открыто под одобрительные улыбки шоферов. Соня понимала это и решила терпеть все безропотно, так как ей нравились и порядки в роте, и военная форма, и шоферские рукавицы, и заносчивость черноглазого лейтенанта, и недоверчивость шоферов. Она так долго добивалась зачисления в армию, что теперь ей нравилось решительно все, и она была уверена, что скоро покажет себя и завоюет общее признание.

— Понятно, товарищ лейтенант, — четко сказала она. И добавила с вызовом: — Это само собой разумеется, товарищ лейтенант. Разрешите исполнять?

Машину Сони выпустили последней из пяти. В хвосте других трехтонок Соня понеслась по городу, очень гордая тем, что ведет военную машину и выполняет военное задание. Было удивительно приятно ловить взгляды встречных шоферов и милиционеров на перекрестках... Нет, она не улыбалась им, а смотрела строго, гордо, как ей казалось, суровым взглядом воина.

Тревога застигла их еще в пути. Пока сержант оформлял на складе документы, стрельба усилилась, и немецкие самолеты можно было видеть прямо над головой. Но погрузка началась, и Соня вместе с другими шоферами помогала размещать в кузове продолговатые тяжелые ящики.

Бомба упала за три дома от склада, воздушной волной Соню сбilo с ног. Соня вскочила еще до того, как к ней

подбежали на помощь, и со стыдом заметила, что, кроме нее, все устояли на ногах. Покачиваясь, она подошла к своей машине, но у машины никого не было — грузчики разбежались.

— Разве их заставишь сейчас грузить,— сказал один из шоферов,— в подвал забились!

— Придется самим,— как можно спокойнее ответила Соня и пошла за ящиком.

Вторая бомба упала поблизости; куда — за домами видно не было, но запах гари и дыма ударил в нос.

— Эти штучки сдетонируют — мокрого пятнышка не останется,— буркнул шофер и пошел звать грузчиков.

Соня поняла, что ему страшно, и удивилась, почему не страшно ей. Но думать об этом было некогда, больше всего на свете ей хотелось первой нагрузить машину и первой выполнить задание, чтобы лейтенант задумался, может ли девчонка быть хорошим бойцом и водителем. И боялась она только одного: вдруг не хватит сил справиться с тяжелыми ящиками, если грузчики не придут до конца налета.

— Это что за безобразие? — услышала она за собой сердитый окрик.

Она испуганно оглянулась, уверенная, что окрик относится к ней. Но пожилой человек из складских начальников кричал не ей, а выглядывавшим из подвала грузчикам:

— Стыдитесь! Девушка надрывается, а вы в щель забились, как бабы!

— Бабы теперь на крышах дежурят,— задорно отозвалась Соня. — Сравнение устарело!

Когда грузчики возобновили работу, Соня позволила себе передохнуть и закинула голову: по завываниям моторов в облаках она поняла, что над ней идет воздушный бой. На мгновения в просветы облаков показывались горбатые туловища «юнкерсов», потом мелькнули знакомые очертания советского истребителя. Соне хотелось верить, что это Мика вылетел в бой, чтобы защитить ее, и она мысленно послала ему привет и снова принялась таскать ящики, мечтая рассказать Мике про свой первый выезд и про то, как видела его в облаках и знала, что это он... А если и не он, все равно, это его товарищ,— может быть, Глазов или еще кто-либо... Не здесь, так в другом месте Мика в воздухе и защищает ленинградское небо.

Люба-Соловушка уже три месяца жила в новой квартире, но до сих пор чувствовала себя в ней как в гостях. Если бы Владимир Иванович бывал дома, у них наладились бы семейный уклад жизни и хоть какое-нибудь хозяйство, для всего нашлись бы прочные, удобные места, и надо было бы бороться с окурками, сунутыми в цветочный горшок, с пеплом, оброненным на ковер, со всем тем милым беспорядком, который вносит в дом мужчина. Но Владимир Иванович почти не бывал дома, и три комнаты его новой квартиры напоминали пустые номера гостиницы. Светлая стандартная мебель древтреста была расставлена парадно, как на выставке. Люба пользовалась только одной, самой уютной комнатой, где стояла широкая супружеская кровать. По ночам она пугливо жалась к стенке на этой слишком большой кровати, стараясь чтением отвлечься от страха, какой внушала ей темная и тихая квартира. Вечерами, вернувшись со строительства баррикад, она сидела в кресле тут же, возле кровати, так как на ночном столике стоял телефон. В теплые вечера она выходила на веранду или в сад, оставив открытой дверь, чтобы слышать телефонный звонок. Веранда и сад были ее радостью, украшением ее «дворца». Садик был маленький, тенистый. С веранды были видны трубы завода, где директорствовал Владимир Иванович, и, глядя на серый дым, вьющийся из труб, Люба представляла себе большие цехи и Владимира Ивановича, выслушивающего готовые танки. Почему-то ей казалось, что он именно выслушивает их, как доктор, и лицо у него, как у доктора, строгое и внимательное.

В садике висели детские качели, и Люба иногда, после телефонного звонка мужа, садилась на узкую доску и покачивалась, мурлыкая песенку. Ей было и хорошо, и грустно. Одиночество не угнетало ее, она непрерывно ощущала, что любимый человек вот тут, близко, у другого конца телефонного провода, и знала, что он так же хочет видеть ее, как она его. А редко удается — так на то и война. Проклятый Гитлер! Она выдумывала для него страшные казни: посадить его на высокую каланчу и обстреливать со всех сторон, чтобы он корчился от ужаса... привязать его к столбу и чтобы на него один за другим пикировали самолеты...

На строительстве баррикад Люба подружилась с пятнадцатилетним Сашком. Он был близок ей веселостью, озорством, любовью к увлекательному чтению, мечтами о баррикадных боях, бесстрашием и острым языком. Сашок жил на одной улице с Любой. Мать его уехала за город на оборонительные работы, старшие братья были на фронте, отец почти не выходил с завода. Люба приводила Сашка к себе домой, поила чаем и болтала с ним, как с равным товарищем. Во время бомбежек они развлекали друг друга пересказами прочитанных приключенческих романов, а если было уж очень беспокойно, убегали в сад, в защитную щель, и по очереди выглядывали оттуда.

В этот вечер Люба и Сашок сидели на веранде и старались не обращать внимания на гул самолетов, треск зениток и вой падающих бомб.

— На острове этом никого не было, — рассказывал Сашок, — кроме зловредного старика и мальчика, то есть самого автора, который пишет. Это с ним в детстве произошло... Даже животных там не водилось, только птицы раз в год прилетали на остров выводить птенцов. И тогда старик с мальчиком собирали птичьи яйца, ловили птенцов и сушили на солнце их мясо. Это у них были заготовки на зиму. А на душе у старика была страшная тайна, а под полом у него были бриллианты. Он иногда поднимал половицу и перебирал свои сокровища, но мальчик ничего этого не знал... А когда на горизонте появился корабль, мальчик не знал, что это такое, и подумал, что это птица...

Обычно Люба слушала, по-детски раскрыв рот. Само неправдоподобие рассказа было для нее привлекательно, она любила следить за ходом авторской выдумки и загадывать, что будет дальше. Она никогда не торопила рассказчика, так как романы приключений тем и хороши, что в них все непрерывно запутывается, а в самом конце распутывается ко всеобщему удовольствию. Но сегодня над головой творилось что-то такое страшное, что увлечься событиями на далеком острове было невозможно. И Люба рассеянно спросила, прислушиваясь к тревожному завыванию моторов над домом:

— А что за тайна у старика?

— Не спеши, — сказал Сашок. — Разве бывает в книгах, чтобы тайна открывалась вначале! Для этого старику — ого! — надо еще ослепнуть и получить удар ножом по руке, и свалиться с утеса, и раскяться перед

смертью... Однако шумно сегодня! — заметил он, исподлобья поглядев вверх.

Но за серыми низкими облаками ничего не было видно.

— Ну, рассказывай, Сашенька... Фу, как они гудят! Это воздушный бой, правда?

— Факт! Слышишь, пулемет шпарит. Не иначе твой брат долбаит.

— Ой!... Ну, рассказывай, Сашок... Ты говорил, что появился корабль и мальчик принял его за большую белую птицу — у него же паруса, верно?.. Ой, что это? Саша, что это?!

Черно-красный гудящий клубок пронесся наискось высоко над переулком и через секунду с тяжелым грохотом взорвался где-то неподалеку.

— Самолет... — шепотом сказала Люба.

— «Юнкерс», — успокоил ее Сашок.

— А вдруг он на какой-нибудь дом упал?!

— Может быть...

Люба завизжала пронзительно, истошно: длинные ноги, болтаясь в воздухе, скользнули мимо веранды. Темная фигура, опутанная стропами парашюта, бестолково раскачивалась, силясь удержаться на ногах, но не удержалась и шлепнулась на землю, и парашют навалился на нее.

— Саша, миленький!.. — отчаянно закричала Люба.

Но Сашок уже перемахнул через перила крыльца, схватил стоявшую у крыльца лопату, и Люба увидела, как он со всего размаха ударил парашютиста лопатой по спине. Тот зарычал и попробовал вскочить, судорожно отпихивая спутавшую его ткань парашюта. Сашок ударил немца снова, но парашютисту удалось выпростать из-под парашюта голову, и Люба увидела его искаженное злобой и страхом, длинное, чужое лицо. Визжа от ужаса, Люба схватила единственное, что попало ей на глаза — ведро с песком, и выплеснула все содержимое ведра в ненавистное лицо. Пока немец отплевывался и протирал глаза, Сашок оглушил его новыми ударами по голове.

— Плашмя бей, плашмя, чтоб жив остался! — кричала Люба.

— У него пистолет! — кричал Сашок, продолжая бить немца.

Когда парашютист ткнулся лицом в землю, вконец оглушенный, Сашок деловито обыскал его, вытащил из кобуры пистолет.

— Связать его надо, — шепнула Люба, дрожа всем телом. — Сашенька, дружок, ты подумай только... — пробормотала она, глядя на врага сверкающими от возбуждения, широко раскрытыми глазами.

— А ну, давай, — буркнул Сашок, притворяясь равнодушным и хватая стропы дрожащими от волнения руками.

Они вдвоем закатали немца в парашют и накрепко опутали стропами, стянув их хитрыми узлами.

— Живо, Сашок, беги за милицией... Нет, постой... — Она вдруг испугалась остаться одна с пленным. — Хотя ничего, беги... только поскорее. Нет, постой, я возьму пистолет.

Стиснув в трясущихся руках трофейный пистолет, она стала возле немца, вытянувшись, как часовой.

Парашютист открыл глаза и разглядывал Любу растерянным, испуганным взглядом.

— Сволочь! Сволочь! Сволочь! — исступленно повторяла Люба, подавляя страх и наслаждаясь возможностью высказать живому врагу в лицо все, что она о нем думает. — Ну, что глядишь, гадина? Долетался? Бомбить женщин и детей — пожалуйста, а отвечать — сдрейфил? Вот мы тебя лопатой угостили как следует — ты и скис! Вошь ты тифозная — понимаешь?

Из дому донесся настойчивый трезвон телефона.

— Гадина вонючая! Из-за тебя порядочный человек волнуется, а я тут сиди возле тебя и караул! Бандюга!..

Увидав милиционеров, входящих в сад вслед за Сашком, она крикнула им:

— Берите его, я сейчас!

И со всех ног бросилась в дом, к телефону, который все еще заливался настойчивым звоном.

— Володя, милый! Я в саду была, я слышала, что ты звонишь, но не могла подойти... В щели?! Как бы не так! Где? — Она расхохоталась. — Стояла возле одного фрица и не могла отойти... Фрица! Господи, Володенька, как же ты не слышишь!.. И не возле чего, а возле кого! Ну, фрица, пленного, парашютиста... понял?.. Очень просто, поймали и связали, Сашок за милицией бегал, а я с ним объяснялась по-русски... Ой, Володя, тут начальник приехал забирать его, мне некогда. Я потом позвоню!

Начальник отдал Любе честь и стал записывать ее фамилию, имя и отчество. Он обращался к ней так почтиительно, как никогда еще никто к ней не обращался. И он

сказал, что по указаниям постовых они искали этого парашютиста за несколько домов отсюда, в конце переулка, так что если бы не ее храбрость...

— Вы его запишите, — скромно сказала Люба, указывая на Сашка, который отвернулся, стараясь выразить всем своим видом полнейшее безразличие. — Это все он...

Оставшись снова вдвоем, Люба и Сашок сели тут же, в саду, на ступеньку крыльца и почувствовали себя не только счастливыми, но и совершенно измученными.

— Вот тебе и роман с приключениями, — устало улыбаясь, сказала Люба.

4

К пяти часам дня Сизова вызвали в райком. Иван Иванович не любил собраний и обычно, пристроившись где-нибудь в уголке на собрании, которого не удалось избежать, мгновенно засыпал под журчание голосов. Но теперь он шел с удовольствием и интересом, так как секретарь райкома Пегов проводил собрания по-военному — коротко и четко, не допуская общих слов.

Продолговатый зал заседаний с одной стеклянной стеной был уже полон, хотя Сизов пришел без двух минут пять. Здесь были партийные и советские руководители, директора, хозяйственники. Многие — в военных и полувосенных костюмах. Необычно много женщин и стариков. Противогазы через плечо, противогазы, повешенные на спинки стульев, противогазы на коленях вместо портфелей...

Воздушная тревога недавно кончилась, но грохочущие звуки разрывов время от времени доносились в зал, и стекла тонко дребезжали. Здороваясь со знакомыми и приглядываясь к новым лицам (опять много народу на фронт ушло!), Сизов продвинулся вперед, чтобы лучше слышать.

Было две минуты шестого, когда за столом президиума появился Пегов. Он постучал по столу карандашом и тотчас заговорил. Говорил Пегов негромко, глядя поверх голов собравшихся, будто там, на противоположной стене, видел тезисы своей сжатой до предела информации:

— Положение очень напряженное, товарищи. Бои идут непосредственно под городом, ближайшие дни решат судьбу нашего Ленинграда. Фронт ее решит, и мы

с вами своей работой. До сих пор у нас оставалась еще Северная железная дорога, по которой шло снабжение боеприпасами и продовольствием. На днях наши войска были вынуждены оставить станцию Мга, и, таким образом, последняя железная дорога немцами перерезана. Город зажат в кольцо, и немцы, очевидно, сделают все возможное для того, чтобы замкнуть кольцо полностью. Надо отдать себе отчет, товарищи коммунисты, что положение серьезное. И готовить людей к новым испытаниям. Драться придется всем, кто способен держать оружие. В первые дни бомбардировок врагу удалось разбомбить и поджечь часть наших продовольственных складов, причем погибло и испорчено много продовольствия, а подвоз сейчас прекратился или почти прекратился. Меры принимаются. Вы же понимаете, что страна нас не оставит. Но пока будет очень туго, и вы должны быть готовы к тому, что в ближайшие дни хлебная норма будет снижена. Возможно, довольно резко.

Пегов помолчал, разглядывая лица сидевших перед ним людей.

— Что вы должны делать?

Где-то неподалеку раздался грохот взрыва, стекла дробно зазвенели. Сидевшие у стеклянной стены тихонько пересаживались в глубь зала.

— Запишите, товарищи,— сказал Пегов,— завтра с утра проведете новый набор в народное ополчение. С возрастом и состоянием здоровья можно особенно не считаться. — Он вдруг добродушно усмехнулся: — Я вижу, многие в зале оживились. Не выйдет, товарищи! Никого из руководителей отпускать не будем. У нас здесь фронт не менее важный. И ты, товарищ Сизов, не надейся.

Иван Иванович сердито крикнул с места, так как терпеть не мог обращать на себя внимание:

— А я при чем? Я же молчу!

Пегов понимающе подмигнул ему и сказал грубовато:

— Молчу и думаю: раз состояние здоровья особой роли не играет, попробую-ка я надуть Пегова и дерну на фронт с ополченцами — авось не поймают!

В зале засмеялись — в эти дни смеялись легко и охотно, если был малейший повод. Пегов дал людям эту минутную разрядку и продолжал:

— Только инвалидов и больных вы мне, пожалуйста, не вербуйте, такой крайности покамест нет. Но, на вся-

кий случай, организуйте у себя обучение — как метать бутылку с горючим, стрельбе. Это мы рекомендуем и будем проверять... Второе. Немцы начали сбрасывать большое количество зажигательных бомб. В основном народ хорошо справляется с ними, у нас в районе не было ни одного крупного пожара. Но кое-где актив домов плохо обучен тушению бомб. Обучите завтра же, а еще лучше сегодня вечером. Третье. В городе работает агентура врага. Дело агитатора сейчас не речи произносить, а ходить в очереди, в убежища, в подъезды, везде, где скапливается народ, и на ходу разъяснять, агитировать, разоблачать паникеров и шептунов. И каждого подозрительного человека проверять — шпионов, ракетчиков немало. Народ наш показал в войне большое единство, большую сплоченность... Но враги у нас остались, и забывать об этом — преступление. Все антисоветские элементы подняли сейчас голову. Они будут играть на настроениях людей при снижении хлебных норм. Учтите это. И соберите коммунистов, агитаторов — а сейчас каждый коммунист обязан заниматься агитацией, — потолкуйте с ними конкретно и горячо, чтобы поняли до конца.

Он замолчал, покосился на стеклянную стену, дребезжавшую от близких взрывов, и спросил:

— Вопросы есть?

Немолодая женщина в гимнастерке приподнялась в конце зала и спросила звонким голосом:

— Женщины будут проситься в ополчение — записывать?

— Да, — не задумываясь, ответил Пегов. — Если будут проситься, записывайте. Только с умом, с отбором. Есть у нас такие женщины, которые лучше иного мужчины сражаться будут. Молодых, здоровых, бездетных, да еще если она физкультурница, стрелок да характером боевая, можно записывать. Еще вопросы есть?

— Какие нормы будут?

— Пока не скажу. Решается вопрос. Ну, все? Можно расходиться и браться за дело. Предупреждаю товарищей, что сейчас идет артиллерийский обстрел нашего района, поэтому кучей не выходите и на улице держитесь осторожно, без удалства. Замечено, что наши руководители часто во время бомбардировок бравировать, лезут обязательно на крышу, во время обстрела не укрываются, если снаряд рвется — стесняются лечь на землю. Лишние жертвы могут у нас быть, друзья, а людей у нас мало, и

люди нам нужны. Поэтому учтите: не храбрость это, а глупость. Все. Расходитесь по одному, товарищи.

Иван Иванович посмотрел на часы — было двадцать минут шестого. Он вышел на улицу и с интересом остановился перед свежей воронкой от снаряда, разворотившего мостовую. «Не лезть на крышу, — проворчал он про себя. — Как же я других посылать буду, а сам в подвал спрячусь?.. Глупость, глупость! На фронт не ходи, на крышу не ходи!..»

Поразмыслив дорогой, Иван Иванович подошел к своему объекту в твердом убеждении, что указание Пегова не относилось к нему, так как Пегов не упомянул начальников объектов, а уж они-то обязаны самолично бывать везде — на то их и поставили.

5

Начиналась ленинградская сентябрьская ночь. Уже объявили очередную воздушную тревогу, но в городе было пока тихо. Мария поднялась на крышу — проверить посты: она считала нужным подбодрить своим присутствием дежурных да и не любила находиться во время бомбежек внизу, откуда не видно ни врага, ни сопротивления ему.

Небо очистилось от облаков. Зеленоватые звезды уже загорелись в нем, но еще не сверкали в полную силу своего далекого, всегда немного загадочного света. Через час, когда темнота сгустится, они станут ярче.

Мария смотрела в высокое спокойное небо — и снова удивилась тому, что в этом прекрасном мире, где столько мудрой гармонии, надо стоять на крыше под сиянием далеких звезд и, держа наготове песок, лопату и защитные рукавицы, ждать бомб, огня, смерти, разрушений...

Отгоняя ненужные горькие мысли, Мария подошла к темной и неподвижной фигуре дежурной и спросила, не было ли слышно стрельбы зениток.

— Нет еще, — ответила женщина.

Мария с удовольствием узнала в ней Тимошкину, ту самую, которую утром хотела исключить из группы самозащиты.

— Да вы идите, чего вам здесь стоять, я же никуда не уйду, — сказала Тимошкина гордо.

— Здесь лучше,— объяснила Мария и прошла по крыше на другой ее конец, откуда открывался вид на Неву и на районы, лежащие за Невой.

Черные воды реки поблескивали, отражая звезды. По мосту проплыли два тусклых голубых луча — автомобиль. Дома стояли черные, будто нежилые. В одном доме светлыми полосками обозначилось плохо затемненное окно. Но вот уже закачалась на нем штора, и чьи-то торопливые руки наглухо скрыли свет. Мария понимала, что это значило: какая-нибудь домохозяйка Тимошкина или Васильева прошла по улице, заботливо осматривая окна своего объекта, и заметила светящиеся щели в окне третьего этажа, и крикнула сердитым голосом своему связному, какому-нибудь Сашке или Кольке, что в десятой квартире опять безобразие, и мальчишка помчался наверх и поднял страшный стук, и важным от сознания ответственности голосом накричал на хозяев квартиры. Пристыженные хозяева сорвали с постели одеяло, чтобы лучше затемнить окно, и клялись, что этого никогда больше не будет... Мария знала, что тысячи таких женщин, мальчишек, девчонок ходят сейчас по улицам, ревниво оберегая мрак, окутавший город. Она знала, что тысячи людей стоят сейчас на всех крышах так же, как она, и радуются полному мраку, поглощающему очертания самого красивого в мире города... И она подумала о том, что раньше, до войны, если ей случалось с высоты верхнего этажа озирать город, каждое окно казалось ей таинственным, скрывающим неведомую жизнь неведомых людей, чьих интересов и чувств она не знает и никогда не узнает. И в дни, когда ее собственная жизнь не ладилась, она чувствовала себя потерянной в этом большом городе, где миллионы жизней текут независимо, не соприкасаясь с ее жизнью... Теперь ей казалось, что она знает все, чем живут ее сограждане за плотно занавешенными окнами, что жизнь ее полностью слита с жизнями других людей и всего города в целом.

Вдруг желтая ракета взлетела в небо за мостом, разбрасывая золотые искры. В ее свете на миг четко выступила из мрака конусообразная крыша вокзала.

Мария заметалась, бессильная что-либо сделать, как-то перехватить, погасить на лету эти предательские сигналы.

Стрельба донеслась до нее глухими ударами. В небе, споря со светом звезд, замерцали огненные вспышки.

Самолет был невидим, но его путь угадывался по огонькам разрывов.

Снова взлетела за мостом ракета. Мария закричала: «Ракета!», хотя ее никто не мог услышать отсюда. Ей казалось, что никто, кроме нее, не видит этих сигналов, и она всматривалась в темноту, надеясь уловить хоть какое-нибудь движение за мостом. Но темнота и расстояния скрывали все.

Стрельба зениток стала громче, ближе. Противный дребезжащий свист падающей бомбы донесся до Марии. Дом покачнулся, на секунду крыша будто ушла из-под ног. Бомба упала в Неву, мельчайшая водяная пыль коснулась лица Марии.

— Опять ты, Смолина, на самую верхотуру залезла!

Иван Иванович стоял в слуховом окне. Мария обрадовалась ему, как родному.

— Снова две ракеты! Вон там! — сообщила она, подходя.

— Сколько этой сволочи ловят, а все не переловят...

— Я бы их задушила!

— Поймать бы! А задушить охотники всегда найдутся.

Еще бомба упала где-то далеко за мостом. Было видно, как поднялся смерч обломков. Через минуту яркое пламя взметнулось к чистому небу, и стала видна оседающая облаком пыль.

— Зажигалки, что ли? — спокойно сказал Сизов.

— Не похоже, — в тон ему ответила Мария.

— Где-то на Муринском, а?

— Мама там сегодня на дежурстве, — все тем же спокойным тоном сказала Мария. — Где-то близко от них.

— А сынишка с кем?

— В бомбоубежище в детской комнате ночует. Мироша с ним... — Помедлив, она заговорила как ни в чем не бывало: — Знаешь, она такая смешная, Мироша...

Она пересказывала забавные истории об этой славной, суетливой женщине, а Сизов посмеивался и вставлял свои замечания, ехидные, но беззлобные. Разрывы сверкали теперь прямо перед ними, и вверху грозно гудел невидимый самолет.

— А вот и зажигалки, — заметила Мария и продолжала рассказывать.

Как маленькие блуждающие огоньки, мерцали тут и там ослепительно желтые растекающиеся костры, но

они возникали и гасли, возникали и гасли; крошечные черные силуэтики, мелькая на фоне костров, изо всех сил боролись с пламенем, побеждали его и возвращали ночи ее непроницаемость, и в судорожной поспешности их движений были единая воля и единый темп, объединявшие в эту ночь — как и во все предыдущие, как и во все последующие ночи — тысячи добровольных защитников города.

— Красиво! — со вздохом сказал Иван Иванович.

— Да... А я вчера письмо получила... от Трубникова.

— Ну, и что он хочет?

— Оно написано еще с дороги. А шло месяц. Пишет, что здесь будет страшно, что будут бомбить.

— Спасайся кто может?

— Вроде того.

— Отвечать будешь?

— Посмотрю. Ответить, что уже страшно?

Она печально усмехалась, а глаза ее неотрывно следили за далекой борьбой на Муринском, где пламя металось, билось и опадало, встречая со всех сторон ожесточенное сопротивление воды и человеческого упорства.

6

Мироша поднималась по лестнице между вторым и третьим этажом, когда где-то близко грохнула бомба. Мироша припала к перилам и прислушалась, но, кроме обычной трескотни зениток, ничего не услышала. Она постояла, раздумывая, куда идти — наверх или вниз. Андрюша уснул в детской комнате, и сейчас ему ничего не нужно было. Хотелось сбежать домой, поесть и захватить молоко на утро для Андрюши. Доставать молоко было с каждым днем труднее, она боялась — вдруг квартиру разбомбят и пропадет целая бутылка чудесного молока. Она побежала наверх.

Дома было еще страшнее, чем на лестнице: в незавешенные окна падали отсветы выстрелов и разрывов, радио передавало нервный стук метронома, учащенный, как сильное сердцебиение. Натыкаясь в темноте на мебель, ударившись с разбегу лбом о раскрытую дверь кухни и удержавшись от крика только потому, что от собственного голоса в пустой квартире было бы еще страшнее, Мироша ощупью нашла бутылку с молоком и только двину-

лась на кухню искать хлеб и сваренную днем картошку, как где-то близко снова упала бомба. Мироше не захотелось есть, она побежала к выходу. Уже в дверях ей вспомнилось: она сняла с Андрюши мокрые штанишки. Значит, утром нечего будет надеть ему. Она вернулась и долго рылась в ящике комода, путаясь в рубашонках и лифчиках. Но эти детские маленькие вещички неожиданно успокоили ее. Впервые испытываемая нежность овладела ею, и с этой нежностью в сердце все показалось ей не страшным. Она разобралась наконец в ворохе детского белья, отобрала нужное и затем прошла снова в кухню, с аппетитом поела холодной картошки с солью, сунула в карман кусок хлеба и стала безмятежно спускаться вниз.

Некрасивая, неуклюжая, в молодости слишком робкая, а теперь не в меру суетливая, Мироша никогда не знала семьи и любви, не имела друзей, не видела ни веселья, ни радостей. Когда после смерти старшей сестры к ней приехали две подрастающие племянницы, которым некуда было деваться, она очень радовалась и некоторое время наслаждалась непривычным семейным оживлением в доме. Но девочки как-то слишком быстро подросли. Ни одной из них не приходило в голову приласкать Мирошу или позаботиться о ней; с эгоизмом веселой молодости они как должное принимали услуги доброй суетливой тетки, подшучивали над нею и смотрели «не в дом, а из дому».

И вот теперь, потеряв привычный угол, в котором она прожила все взрослые годы, Мироша в новом и временном жилище обрела нежданное счастье: маленький мальчик с любопытными глазами и звонким вкрадчивым голоском, проникающим в душу, интересовался ею как равной, охотно гулял с нею и нуждался на каждом шагу в ее заботах. Прошла всего неделя, как Мироша жила в доме, а она уже радовалась, когда Анна Константиновна уезжала на суточное дежурство, и ревновала, если Андрюша бросался навстречу возвращающейся бабушке или матери. Все неиспользованные силы любви обратились у Мироши на этого чужого ребенка, случайно оказавшегося рядом с нею.

Медленно спускаясь по ступеням и шаря ногой на поворотах, чтоб не оступиться в потемках, она думала о том, как ей успеть утром, пока Андрюша спит, согреть молоко у дворника, живущего рядом с бомбоубежищем,

и что хорошо бы успеть накормить Андриюшу и вывести гулять до того, как придет домой Мария Николаевна, — пусть увидит, что бестолковая Мироша все успевает и со всем справляется не хуже Анны Константиновны!

В бомбоубежище было очень людно. Мироша проскользнула в детскую комнату и постояла над кроваткой Андриюши.

— Ангелочек ты мой... — прошептала она, поправляя одеяло.

Мокрые штанишки висели на спинке стула. Оглядываясь, не заворчит ли кто-нибудь, она пробралась к раковине в углу убежища и стала стирать. Строгая дама в белом халате поверх пальто подошла к ней и спросила:

— Вы что делаете?

Испугавшись, Мироша пролетела:

— Штаншечек на смену нет... маленькому...

Строгая дама сочувственно сказала:

— Да уж, с ребенком сейчас трудно. Вы повесьте их на трубе отопления, к утру просохнут. — Она подумала и добавила: — А дежурить вам все-таки придется, хоть у ворот или по убежищу.

— Я с удовольствием, — охотно согласилась Мироша, радуясь тому, что ей не запретили стирать. — Только я робкая... если стреляют, я прямо трясусь... Давеча наверх сбегала за молоком, так руки-ноги дрожали... шишку на лбу набила...

Дама постояла, разглядывая Мирошу, и вдруг сказала:

— А все-таки наверх побежала за молоком? Значит, и зажигалку побежишь тушить, если понадобится! Ничего, привыкнешь.

— Привыкну, — согласилась Мироша, — только не всякий день я могу дежурить, ведь ребенок у меня...

Строгая дама ушла, а Мироша все бормотала себе под нос, что у нее на руках ребенок, и все ее существо отзывалось на эти слова.

7

Лиза сидела одна в маленькой каморке заводского коммутатора, но тяжелое положение на сборке было ей известно, как никому другому, так как этот сумасшедший инженер Курбатов непрерывно вызывал № 94 и ругался скверными словами с мастером Солодухиным из-за дета-

ли 11-71. Лиза не знала, что это за деталь 11-71, но ей было ясно, что сборка танков должна идти бесперебойно, и она сочувствовала Курбатову и с волнением слушала перебранку между цехами, хотя от ругательств Курбатова ее бросало в краску; но в конце концов никто не знал, что она подслушивает, а задержка важной детали была достаточным поводом для того, чтобы обругать эту шляпу — Солодухина.

— Лиза, голубка, — попросил Солодухин, — если этот сумасшедший будет еще звонить, скажи, что номер занят.

— Не имею права, — злорадно отрезала Лиза. И добавила: — Вы бы лучше нажали с этой одиннадцать — семьдесят один.

— Я ж нажимаю! — плачущим голосом сказал Солодухин и швырнул трубку.

Плановик вызвал главного бухгалтера, и они начали нудно и долго сверять какие-то цифры и препираться из-за них. В это время загудела сирена. Лиза съежилась, так как сидеть одной во время бомбежек было очень страшно, а коммутатор должен был работать с особенной четкостью. Она соединила штаб ПВО с городом, а затем директора со штабом ПВО и снова штаб ПВО с центральным наблюдательным постом. Она подслушала сообщение, что крупные соединения бомбардировщиков рвутся к городу, что три бомбардировщика обнаружены в их районе и ближайшие зенитные батареи открыли огонь. Последнее можно было и не сообщать, так как от стрельбы зенитных пушек, расположенных недалеко от окна коммутатора, дрожали стекла. Начальник штаба доложил директору, что все дежурные пожарных и санитарных звеньев заняли свои посты.

Плановик все еще был соединен с бухгалтерией. Лиза прислушалась, подозревая, что они со страху забыли повесить трубки, но услышала все тот же нудный спор с перечислением цифр, параграфов и снова цифр. № 32 настойчиво звонил, и, конечно, это Курбатов опять вызывал № 94.

— Ну, не жми, не жми, — плачущим голосом умолял Солодухин, — я ж тебе обещал, я весь в мыле, будет тебе твоя деталька, только не жми, не жми, не порти мне нервы...

Курбатов ответил витиевато и длинно. Лиза сорвала наушники, но все же услышала стон Солодухина:

— Пожалуйста, без психических атак!

Трубка снова упала со звоном, и Лиза хотела вызвать Солодухина и сделать ему внушение за грубое обращение с телефонным аппаратом, но в это время ее подкинуло на стуле и все здание затрясло крупной, постепенно затихающей дрожью. И тотчас зажглась лампочка главного поста. Лиза привычно, не слушая вызова, соединила его со штабом и услышала сдержанный доклад о том, что тяжелая бомба упала за оградой завода, воздушной волной выбиты стекла сборочного цеха и на вышке контужена наблюдатель Сомова, но остается на посту. Лиза ахнула, так как хорошо знала Катю Сомову: они состояли в одной цеховой организации комсомола. Центральный пост продолжал докладывать, что бомбардировщики делают второй заход над заводом. Лиза втянула голову в плечи, дрожащим голосом откликнулась на вызов сборочного цеха и спросила Курбатова:

— Как у вас, все целы?

— Все и всё, кроме стекол, да мелкие царапины... Дай мне этого мерзавца девяносто четыре!

И снова началась ругань с Солодухиным. Но Лиза не слушала, так как центральный пост доложил, что пикируют два бомбардировщика. Гул стрельбы заглушил голоса, а затем руки Лизы оторвались от щита, воющий звон заполнил уши, и в наступившей темноте она полетела куда-то вверх, навстречу вою и грохоту, и больно ударилась боком и плечом.

Она очнулась в темноте на полу. Что-то лежало на ней. Она ощупала странный предмет руками и поняла, что это ее стул. Кругом стояла полная тишина, по полу тянуло холодом. Лиза ощупала себя. Бок очень болел, и ныло плечо. Значит, она несомненно жива. Но вокруг нее все было тихо и мертво, похоже было, что нет больше ни завода, ни людей, ни зениток, ни пикирующих самолетов, что она здесь одна живая на всей огромной территории завода... Она приподнялась, не зная, что же теперь делать, как выбраться отсюда, и вдруг увидела свой щит, на котором нервно вспыхивали и гасли лампочки. Корчась от боли в боку, Лиза встала, добрела до коммутатора и, растерявшись перед множеством одновременных вызовов, отдала предпочтение директору, но в ответ на свое «алло» ничего не услышала. Тогда она откликнулась на вызов центрального наблюдательного, и очень далекий голос потребовал штаб. А тут снова неистово замигала лампочка директора, и Лиза издали услышала: «Оглох-

ли вы, что ли?» Она с отчаянием ответила: «Плохо слышно, Владимир Иванович!» И с трудом разобрала, что он требует штаб, и как сквозь вату донесся до нее доклад штаба о том, что самолеты делают третий заход. Но ни стрельбы, ни воя самолетов не было слышно, и тогда она поняла, что завод жив и люди живы, и есть и стрельба, и пикирующие самолеты, а не слышит только она. Подавленная неожиданной бедой, она откликнулась на вызов Курбатова и умоляюще попросила: «Голубчик, громче, меня оглушило, я не слышу!» И Курбатов потеплевшим голосом сообщил ей, что бомба в пятьсот килограммов упала во дворе и погас свет, и пусть она соединит его с постом энергетики, а затем с 94-м. Она соединила с постом энергетики. В это время снова загорелся свет, и Лиза увидела, что весь пол засыпан штукатуркой, но глядеть было некогда, — лампочки непрерывно требовали ее внимания. Плановик сердито прокричал, скоро ли его соединят с главным бухгалтером. Бухгалтер ответил, и как ручеек потекли цифры, параграфы и снова цифры. А Солодухин вдруг сам потребовал сборочный цех. Лиза и его попросила говорить громче, и Солодухин закричал во весь голос Курбатову, может быть думая, что все немного оглохли, а может быть, от радости:

— Черт косолапый, получай пяток своих одиннадцать — семьдесят один!

— Золото! — не своим голосом прокричал в ответ Курбатов. — Целую тебя, моя птичка! Только пяти мне мало, нажми, голубка! Христом-богом прошу, нажимай дальше, ты лучший мастер в мире. Солодухин, дружище, не сдавай темпов! Ты там цел или нет?

— Стену продырявило, дует! — закричал Солодухин и снова шмякнул трубку.

Но Лизе некогда было делать ему внушение, потому что вызовы шли непрерывно.

И она кричала, переспрашивала, умоляла говорить громче.

Наконец секретарь парткома спросил ее дружески:

— Тебя, может, сменить, Кружкова?

— Не надо, Петр Семенович, — ответила Лиза, — некому меня заменять. Уж я доработаю, мне в полночь смениться. Вы только погромче — я слышу, если громко.

— Спасибо, милая! — прокричал Петр Семенович, как будто она сделала ему личное одолжение. — Дай мне сборочный, Курбатова!

— Одиннадцать — семьдесят один начала поступать! — поспешила сообщить ему Лиза и снова заметалась среди вспыхивающих лампочек.

Было около двенадцати часов ночи, когда тревога кончилась. И Лиза с грустью подумала, что сменщица Валя, конечно, опоздает, так как она трусиха и ни за что не пойдет пешком под бомбами на завод. Но без пяти двенадцать Валя впорхнула в комнату и что-то защебетала, тараша испуганные глаза.

— Не слышу! — раздраженно крикнула Лиза.

Валя еще больше вытаращила глаза и затараторила погромче, что это ужас что такое, весь двор разворочен и стена треснула... Лиза услышала, но почему-то рассердилась на болтовню подруги и снова закричала:

— Не слышу! Меня оглушило. Понимаешь?

— Господи! — вскричала Валя. — Как же ты работала?

Не отвечая, Лиза уступила Вале место у доски, но на прощанье все-таки соединила сборку с Солодухиным и снова уловила ругань Курбатова и ответную ругань Солодухина:

— Через полчаса еще пяток получишь, собака!

8

Это был третий рейс Сони за боезапасом. Днем, когда она нагрузила свою машину и понеслась обратно через наполненный стрельбой город, она была крайне довольна собой и ожидала, что сержант доложит о ней лейтенанту, а лейтенант похвалит ее и внимательно посмотрит на нее и в его еще недавно наглых глазах восхищение смешается с удивлением и раскаянием. Она радостно ждала этой минуты, но пришлось заниматься выгрузкой, а тревога все еще продолжалась, и лейтенант коротко приказал снова ехать туда же за грузом и поторапливаться. Соня, страдая от ломоты в пояснице после непривычной работы, не отдохнув, вывела свою машину и помчалась по знакомому маршруту, стараясь не думать о том, что все вышло не так, как хотелось.

Тревога кончилась, погрузка пошла быстро, и Соня стала для виду возиться с мотором, чтобы передохнуть, а когда они приехали обратно, им было приказано быстро пообедать. Обед показался Соне таким вкусным, что она повеселела,

Но после обеда выяснилось, что получено новое срочное задание. Лейтенант забегал перед каким-то старшим лейтенантом, говорившим властно и очень сердито, и все машины, кроме Сониной, получили новое задание. Шоферы шепотом сообщали друг другу, что поедут на фронт, на передний край. А про Соню лейтенант сказал:

— Ладно, девушку пока не пошлем. Пусть возит, как возила.

Возражать не полагалось по уставу. Соня молча проглотила унижение, приняла документы от сержанта и одна поехала на знакомый склад. Сержант крикнул ей вдогонку:

— Ты не надрывайся, пусть сами грузят, а то к утру свалишься.

По пути, уже в полумраке быстро наступающей ночи, ее застигла новая тревога. Теперь, когда Соня была одна и приходилось ехать медленнее, с трудом разбирая дорогу в тусклом свете синих фар, ей было гораздо страшнее, чем днем.

Она поняла, что очень устала и хочет домой, чтобы тетя Мироша напоила ее горячим чаем и постелила ей постель, и еще она поняла, что Мика снова должен быть в воздухе и, наверное, сейчас где-нибудь сражается, и что в любую минуту Мику могут ранить, убить, и что тогда все потеряет смысл и будет тяжело и невыносимо горько жить на свете.

Чтобы не думать об этом и меньше бояться, она снова сама грузила опасные ящики, поглядывая в небо, где скользили лучи прожекторов и рвались снаряды. Когда рядом с нею шлепнулся осколок, она хотела подобрать его, но обожгла пальцы и долго дула на них, а потом кожаной шоферской рукавицей все-таки подняла виток горячего металла, сунула в карман шинели и решила, что покажет его Мике, и снова страх за него и тоска по привычному образу жизни охватили ее. Она благодарно улыбнулась грузчику, сказавшему ей:

— Ну и времечко! Девушка, а тоже воевать приходится!

Когда она ехала назад, на улице перед нею метрах в ста пятидесяти упала бомба, разворотив мостовую. Машину будто толкнуло назад, переднее стекло разлетелось на мелкие кусочки. Соня никак не могла понять, почему ее не порезало стеклом, когда все вокруг обрызгано осколками. Тогда ей вспомнилось, как говорил Мика: «Со мной

ничего не будет, я заколдован вплоть до самой смерти». И она решила, что тоже заколдована до самой смерти, а смерть казалась ей очень далекой, еще более далекой, чем Гоголулу, где Мика обещал ей прогулку под кокосовыми пальмами во время кругосветного перелета, о котором они мечтали...

Лейтенант встретил ее во дворе и разрешил погреться, пока разгружается машина. Но Соня обиделась на его важный, пренебрежительный тон и стала помогать бойцам разгружать машину. А потом лейтенант сказал ей, что придется съездить еще четыре раза. И Соня поняла, что это и есть военная служба, когда надо ездить и ездить столько, сколько потребуется, и нельзя ни уставать, ни жаловаться на боль в пояснице, ни признаться, что хочется спать, ни ответить дерзостью наглому мальчишке — только потому, что он лейтенант и начальник...

Она вздохнула. Военная служба выглядела мрачнее, чем ей казалось раньше. Но, отправляя ее в новый рейс, лейтенант подошел к машине и спросил дружеским голосом:

— А почему у вас стекло выбито?

— Бомба упала впереди, товарищ лейтенант, — бойко отпартовала Соня. — Воздушной волной выбило.

— Не поранило вас?

— Никак нет, товарищ лейтенант. Я заколдована до самой смерти.

— Вот как! Это хорошо. А ехать можете?

— Могу, товарищ лейтенант.

Лейтенант внимательно посмотрел на нее, и, хотя в его взгляде не было ни восхищения, ни уважения, смешанного с удивлением, Соня осталась довольна, так как он сказал ей без тени прежней презрительной наглости:

— Ну, езжайте, раз так. Потом отоспитесь.

И она снова, до боли в глазах вглядываясь в темноту, повела машину через затаившийся, будто опустевший город в ту сторону, где особенно неистовствовали зенитки.

Пожилая домохозяйка Григорьева, работавшая в бригаде Смолиной на строительстве баррикад, не хотела записываться ни в пожарные, ни в санитарки и выдержала многодневный бой по этому поводу со всеми акти-

вистками своего дома. Она уверяла, что боится огня с детства, когда случился большой пожар в деревне, а на крыше у нее и в мирное время голова кружилась. Для санитарного дела она считала свои руки непригодными. «У меня ж лапы, как у ломовика, — говорила она. — Я ж раненого не перевяжу, а покалечу! Я ж свое дите пеленать боялась!»

Так она и слыла отказчицей и несознательной все лето и осень, пока не начались бомбардировки города. А тут она всех удивила, вступив в спасательный отряд при районном штабе ПВО, занимавшийся раскопками разбомбленных домов. Здесь ее недюжинная физическая сила нашла себе применение, но еще больше и лучше подошел ее характер — доброта и жалостливость, соединенные с упрямой волей, и привычка к простой, понятной работе, дающей немедленный результат.

На раскопках она не боялась ни свисающих балок, ни шатающихся, полуразрушенных лестниц, ни стонущей темноты подвалов, где жались полусасыпанные, оглушенные, перепуганные люди. Ничто не могло испугать или остановить ее, если она думала, что можно спасти хотя бы одного человека. Она полюбила свою опасную, великодушную работу и увлекла ею трех пареньков, работавших с ней на баррикадах: Жорку, Колю и силача Андрея Андреича. Мальчики показались ей подходящими потому, что они были ловчее и бесстрашнее взрослых мужчин. Коля был такой гибкий и тоненький, что мог пролезть в любую щель, а Андрея Андреича она уважала за огромную силу его тренированных мускулов. Жорку она не любила — «франтоват и нагловат», но заодно с приятелями пришлось принять и его: Коля без Жорки никуда не шел.

В эту ночь отряд дежурил при районном штабе, и Григорьева, сидя с вязаньем у печурки, прислушивалась к незатихающим шумам боевой ночи и вздыхала: «Да, сегодня долго не повяжешь...» Вид у нее был мирный, совсем домашний — не боец спасательного отряда, а бабушка на досуге.

Через полчаса после начала тревоги отряд получил приказ идти на раскопки большого пятиэтажного дома.

— Полутонная бомба была, — сказала Григорьева, по звуку взрыва и силе удара безошибочно определявшая вес упавшей бомбы. — Ох, повозимся сегодня!

Крючок и вязанье исчезли в ее широком кармане, лицо стало строгим, и шла она впереди всех солдатским широким шагом.

Дом был расколот пополам, вся середина его сверху и до второго этажа была уничтожена взрывом, бесформенная груда обломков завалила второй этаж и входные двери. Не ахая и не сокрушаясь, Григорьева деловито осмотрелась и так же деловито, сухо расспросила уцелевших жильцов дома, где у них бомбоубежище, где входы в него, есть ли у квартир двери на черные лестницы.

Работа началась азартная, быстрая. Воздушный налет продолжался, но работающие не замечали ни стрельбы, ни гула самолетов, ни падения новых бомб. Из-под обломков к ним доносились призывы и стоны людей. Оба входа в бомбоубежище были засыпаны, свет погас, люди метались и кричали в темноте, не зная размеров несчастья и преувеличивая их.

Григорьева работала во дворе, у запасного входа в бомбоубежище. Из бомбоубежища доносились крики и плач. Григорьева постучала в дверь мощным кулаком и закричала:

— Ну, чего? Чего? Подождать не можете? Уцелели, и слава богу! Помолчите немного, только душу тянете!

Дверь придавило осевшим потолком. Пришлось рубить ее топорами. Григорьева с силой рванула на себя остатки двери и сказала, вдруг прослезившись:

— Ну, где вы, милые? Выходите...

Люди бросились в узкий выход, тесня друг друга.

— По одному, по одному! Ну и народ! — кричала Григорьева, грубоватыми окриками пытаясь заглушить волнение.

Шатающиеся, бледные, обезумевшие люди выскакивали во двор и растерянно толпились под открытым небом, жадно вдыхая ночной воздух, смешанный с известковой пылью, и глядя на вновь обретенный мир остановившимися, непонимающими глазами. Женщины прижимали к себе детей, до боли стискивали их в объятьях и ни за что не хотели хоть на секунду выпустить их из рук. Младенцы спали, некоторые плакали, и матери тут же во дворе кормили их, приговаривая бессмысленные слова.

Ошалевшая от ужаса старушка подбежала к Григорьевой. Она длинно, путанно и слезливо объясняла что-то, ее почти невозможно было понять, и Жорка сказал пренебрежительно:

— Да она же просто рехнулась, разве не видно?

Но Григорьева уловила в безумной скороговорке старухи какие-то точные слова — семьдесят вторая квартира, мальчик. Она стала допрашивать старушку, терпеливо выбирая из потока слов то, что ей нужно было. А затем уверенно сообщила всем, что в семьдесят второй квартире оставалась женщина с двухлетним ребенком Стасиком, муж у женщины на фронте, она поленилась сойти вниз.

От квартиры семьдесят два в третьем этаже ничего не осталось, кроме одной стены. Старушка показывала впустоту дрожащим пальцем и приговаривала:

— Вот тут... вот тут... кровать его у этой стеночки стояла... хороший такой мальчик... послушный...

Григорьева первая полезла на груды обломков, широко расставляя ноги и хватаясь за расщепленные бревна. Мусор и щебень осыпались из-под ее ног. Придавленные обвалом, женщина и ребенок не могли быть живы, но Григорьева упорствовала: поищем!

Андрей Андреич рядом с ней осторожно разбирал обвал, сбрасывая вниз, на оцепленную улицу, все, что можно было.

Прошел час лихорадочной работы, когда Григорьева, подняв руку, шепотом сказала:

— Слышу детский плач.

Все прислушались. Но никто ничего не слышал. Да и Григорьева уже не слышала. Может быть, померещилось?

— Нет, не померещилось, — упрямо настаивала она. — Вот отсюда. Такой тоненький, жалобный голосок...

Еще полчаса продолжалась разборка, и вдруг все явно слышали доносящийся снизу захлебывающийся детский плач.

— Осторожней!

Боясь потревожить груды обломков, чтобы они не обвалились на уцелевшего ребенка, люди бережно, как драгоценность, высвобождали доску за доской, камень за камнем. Полуразрушенное перекрытие качалось у них под ногами.

— Тут провалишься к черту! — буркнул Жорка, отскакивая.

Григорьева с ненавистью прикрикнула на него, что он может убираться к черту, не ожидая, пока провалится, без него сделают. Но Жорка ответил ей, что она здесь не

хозяин, и снова полез на спатающееся под ногами перекрытие.

Детский плач отчетливо доносился снизу. Григорьева и Андрей Андреич начали с остервенением, забыв осторожность, раскидывать руками обломки, освобождая проход в обвале.

— Колюшка! — позвала наконец Григорьева, вытирая подолом струившийся по лицу пот.

Они раскопали узкую щель, и через эту щель детский голос был слышен так, будто ребенок совсем рядом.

— Пролезешь, Колюшка? — заискивающим шепотом спросила Григорьева.

Коля скинул куртку, взял ручной фонарь и попробовал вползти в щель. Но она была слишком узка даже для него. Ребенок надрывался от плача. Андрей Андреич руками отдираал камни и штукатурку, расширяя лаз, а Григорьева лежала рядом на животе и говорила в темноту не свойственным ей ласковым, мурлыкающим голосом:

— Не плачь, миленький, не плачь, родименький, сейчас мы пойдем к маме, мой хорошенький...

Ребенок затихал на минуту, ожидая, что его сейчас возьмут, а потом, обманутый в своем ожидании, заливался отчаянным плачем, и у мальчиков, расширявших лаз, от нетерпения дрожали руки.

— Ладно, хватит!

Коля полез в щель.

Григорьева слышала, как он пыхтит и скрипит зубами от боли, протискиваясь среди острых камней и щепы. Но он все-таки пролез, и луч фонарика замелькал где-то внизу. А затем сдавленный голос Коли раздался на том конце щели:

— Тут мать убитая... и он у нее в руках... я не могу отодрать его...

Ребенок продолжал захлебываться слезами, голосок его слабел.

— Коленька, постарайся, отдери, — умоляла Григорьева. — Ты, главное, не бойся, сперва одну руку разогни, потом другую...

— Она застыла... и у него ножки придавлены...

Ясно было, что Коле очень страшно одному с покойницей.

— Сейчас я приду! — крикнул вниз Жорка и стал снимать пальто и пиджак. — Сейчас, Коля, погоди... Ты ребенка успокой...

Забыв о том, что это ненавистный ей Жорка, Григорьева приняла от него одежду и ласково советовала лезть ногами вперед и, главное, беречь лицо, не пораниться. Жорка стал проталкиваться в щель. Один раз он вскрикнул, потом застонал тихим, долгим стоном, но слышно было, что он уже внизу. Григорьева удивилась, услышав неузнаваемо добрый голос Жорки:

— Вот так, мой маленький, вот так, хороший, сейчас мы освободим твои ножки... Видишь, какой фонарик? Хороший фонарик, правда?

Ребенок затих, только изредка протяжно всхлипывал. Луч фонаря осветил щель.

— Берите ребенка, я подам, — сказал Жорка.

Коля подошел к лазу со вторым фонариком, и Григорьева увидела исцарапанное лицо Жорки и его окровавленное плечо под разорванной в клочья рубахой. Жорка поднял на руках ребенка:

— Берите, только потише, у него ножки ушиблены.

И Григорьева, вдвинувшись, сколько могла, в щель, приняла ребенка на свои огромные руки, покрытые ссадинами и пылью.

10

Анна Константиновна накинула поверх халата пальто и вышла в сад. Сад был озарен розовым, колеблющимся светом близкого пожара, и в этом свете отчетливо выступали низенькие детские скамейки, маленькие, словно игрушечные, качели, деревянная загородка для ползунков, аккуратно обструганные ящики с песком. В этом свете был хорошо виден и дом, построенный специально для детей, с широкими окнами и крытым балконом, опоясавшим второй этаж. Там дети спали днем — летом в одних рубашонках, зимой в теплых меховых мешках. Теперь стекла были выбиты или поблескивали расходящимися трещинами. И детишки не спали больше ни на балконах, ни в своих белых спальнях, где так много воздуха. Для них устроили спальню в подвале, тесно сдвинув кровати, а самых маленьких укладывали в бельевые корзинки, поставленные в ряд на стульях. Во время своих дежурств Анна Константиновна сплетала гирлянды из осенних листьев и украшала ими серые, угрюмые стены. Ей хотелось, чтобы дети не были лишены красоты даже сейчас, среди бомб и смертей.

— Второй час тушат,— сказал ночной сторож, подходя к Анне Константиновне,— дом старый, сухой, хорошо горит.

Пламя, теснимое со всех сторон струями воды, то замирало, то выбивалось в новом направлении, но и здесь его настигали струи воды, и тогда шипение, пар и дым говорили о неутомимой силе сопротивления, более мощной, чем сила огня. Иногда искра залетала в сад и красным светлячком мигала на дорожке — помигает и погаснет.

— Скоро потушат,— успокоительно ответила Анна Константиновна,— теперь уж можно не беспокоиться.

Недавно, когда рядом после падения бомбы возник пожар, Анна Константиновна приказала подготовиться к тому, чтобы эвакуировать детей из дома, если пожар распространится. Сонных детей одели и положили в ряд. Каждая няня и уборщица знала, кого она должна взять на руки и куда выносить.

— Будете раздевать? — спросил сторож.

— Подождем. Пусть тревога кончится.

Карета скорой помощи взвыла у ворот. Санитар вынес из кареты что-то завернутое в одеяло и пошел вслед за Анной Константиновной в дом.

В одеяле был мальчик, перепачканный известковой пылью, заплаканный, уснувший крепким сном измученного, пострадавшего младенца.

— Няня, горячей воды, ванночку. Молока согрейте!

— Распишитесь,— сказал санитар.

Анна Константиновна расписалась в том, что приняла Анастаса Кочаряна, двух лет, мать убита, отец на фронте, адрес такой-то, дома ребенка звали Стасиком.

— Очень плакал, перепугался,— сказал санитар. — Я уж ему в дороге и песни пел, и палец давал сосать.

— Палец! — возмутилась Анна Константиновна. — Санитар — палец давал!

— А что с ребенком делать, разве я знаю? Вы с ним осторожней, у него ножки ушиблены.

Карета уехала. Анна Константиновна захлопотала. Надо было ребенка осмотреть, обмыть, накормить, уложить спать. У себя дома она сейчас ничего не стала бы делать с малышом, дала бы ему выспаться. Но принять в учреждение, где сотни детей, неосмотренного, невымытого ребенка...

— Мыть не будем! — вдруг решительно заявила она. — Ничего не будем делать. Как есть пусть спит. На свою ответственность беру.

Медицинская сестра с возмущением всплеснула руками:

— Необмытого ребенка?!

— Да! — упрямо сказала Анна Константиновна. — К себе в дежурку возьму и сама с ним возиться буду. Знаете, иногда лучше ребенку палец в рот сунуть, чем дать ему от слез задохнуться. Травма ж у него! Трав-ма!

Она взяла спящего мальчика в дежурку и положила на постель, осторожно высвободив его из грязного одеяла. Мальчик застонал, не просыпаясь.

— Спи, Стасик, спи, мое солнышко, — приговаривала Анна Константиновна, поглаживая его по спинке.

Среди ночи Стасик проснулся, раскрыл глаза и, отвернув лицо от незнакомых людей, тихо заплакал.

— А ты лучше погляди, кто рядом с тобой спит, — спокойно сказала Анна Константиновна. — Погляди, какой мишка! Мохнатый, глаза как пуговики, носик твердый — потрогай, какой твердый носик!..

Дети всегда, как зачарованные, слушали ее певучий голос. Но Стасик только огляделся и снова залился тихими слезами.

— Ну, и не надо мишку. Мишка будет спать вот здесь, на стуле, — продолжала болтать Анна Константиновна, пока няня готовила ванну и белье.

Она приняла уже много детей, спасенных из-под обломков или подобранных беженцами; она знала, что все эти дети пережили страх и горе, непосильные для их возраста, и к каждому такому ребенку надо было искать особый путь, чтобы он ожил и стал веселым. Она видела всяких детей — дико ревущих, отбивающихся, испуганнотихих, отупело-молчаливых. И за каждого шла борьба, и все уже стали нормальными детьми. Стасика она отнесла к числу особенно трудных детей, потому что его тихие слезы казались проявлением взрослого, сознательного горя.

— Стасику надо спать, а сначала надо помыть ручки, и ножки, и ушки, и глазки, — говорила она, раздевая ребенка.

Ножки распухли, посинели, кровоподтеки и ссадины чернели на вздувшейся коже. Прикрыв ножки пеленкой,

чтобы мальчик не испугался, Анна Константиновна сама понесла ребенка в ванну.

Теплая вода была приятна и, видимо, облегчала боль в ногах. Стасик покорно лежал в ванне и позволял мыть себя. Но как ни старались Анна Константиновна и няня заинтересовать его, показывая игрушки, хлопая в ладоши, звеня колокольчиками, Стасик отводил сосредоточенный взгляд и оставался безучастным.

После ванны Анна Константиновна завернула его в теплое, мягкое одеяло и посадила к себе на колени.

— А теперь мы будем пить молочко, да? А что это за штучка в бумажке? Да это конфетка! Ну-ка, давай развернем бумажку и попробуем...

Но мальчик равнодушно отводил глаза, и слезы медленно скатывались по покрасневшимся от купанья круглым щечкам. И это было самое страшное — недетская сосредоточенность розового пухлого ребенка.

У няни опустились руки, она вышла из комнаты. А когда вернулась, виновато объяснила:

— Не могу я таких вот несчастных видеть... душа горит... Что делают, проклятые!.. — И добавила: — Я в сад выходила, пожар-то все полыхает, все не унимается. Сволочь фашистская, что делают!

Анна Константиновна понесла Стасика к приготовленной кроватке, но он судорожным движением вцепился в ее рукав.

— Не хочешь? Ну и не надо, давай посидим, поиграем.

Играть он не захотел и на все игрушки смотрел равнодушно.

— Я тебя положу вот так, у меня на руках, и спою тебе песню, а ты поспи...

Он послушно прикорнул у нее на руках. Анна Константиновна напевала колыбельную и вспоминала внука, его непоседливость, его неугомонную шаловливость, его светлые веселые глаза. С ним тоже может произойти вот такое... Не сегодня, так завтра. Останется один, без мамы, без бабушки, потрясенный страхом, на чужих руках. Так пусть эти чужие руки для каждого ребенка будут материнскими, нежными, неутомимыми руками.

— Горит? — спросила она вошедшую няню.

— Горит еще. Только потише. Такая там борьба идет, прямо смотреть страшно. И пожарные, и свои

жильцы как есть в огонь лезут, по бревнышку растаскивают...

В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла...

У Стасика медленно закрывались, раскрывались и опять закрывались помутневшие глаза, но пальцы его продолжали цепко держать рукав Анны Константиновны.

Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой...

Няня потушила свет и отодвинула край шторы. Красные прыгающие блики залетели в комнату. Пригнувшись, Анна Константиновна увидела висящую в воздухе золотую балку. Балка вдруг надломилась и пылающими угольями полетела вниз.

— Кончают,— сказала няня.

Продолжая покачивать на руках уснувшего ребенка, Анна Константиновна думала о том, что няня выразилась очень точно,— не пожар кончается, а люди приканчивают пожар. Среди неисчислимых бедствий страсть сопротивления захватила людей сильнее, чем ощущение бедствия. Она во всем, эта страстная сила. И в борьбе за детство Стасика — тоже. В конечном счете за что же и борются люди, за что же боремся все мы, как не за то, чтобы вернуть Стасику детство?

11

Поздним вечером Вера Подгорная вышла за ворота Ботанического сада и тихо пошла домой, не обращая никакого внимания на отчаянную пальбу зениток. Все это время она жила, замкнувшись в себе, в своем горе и в своих мыслях, и сложность личных жизненных решений пугала ее больше, чем немецкие самолеты. Две недели назад ее разыскал в Ботаническом саду незнакомый сержант. После этого начались бомбежки, бесконечно сменявшие одна другую воздушные тревоги. После этого бомба упала в оранжерею, и весь персонал несколько суток не уходил с работы, спасая от осеннего холода нежные тропические растения... Все это было после прихода сержанта, но Вера отчетливо помнила только разговор с ним. Все происшедшее потом мелькало перед нею, как сон,— обрывками, неясно, невнятно.

Тогда она стояла среди кустов красных роз, которые отдал под ее опеку Юрий, уходя в армию. Розы в этом году цвели долго и пышно, как никогда. Она срезала розы и, случайно подняв глаза, увидела главного садовода Терентия Ивановича, приближающегося к ней с незнакомым военным. Она сразу поняла, что военный принес известие о Юрии, — может быть, потому, что оба шли молча, издали всматриваясь в ее лицо.

— Вера Даниловна, к вам, — сказал Терентий Иванович и свернул мимо кустов, не подходя.

И тогда Вера поняла, что известие плохое.

— Сержант Бобрышев, — представился военный.

Вера выронила ножницы и сказала тихо:

— Скажите сразу. Сразу. Так будет лучше.

Бобрышев всматривался в ее сдержанное и строгое лицо, потом его взгляд скользнул по ее фигуре. Должно быть, он знал, что она беременна, и боялся волновать ее.

— Ничего, говорите. Только сразу, — повторила она и взяла его за руку.

А сержант вдруг поднял к губам ее руку и поцеловал неуклюже и робко. И тогда Вера поняла, что Юрия больше нет, что Юрий погиб. Она не вскрикнула и не заплакала, только вся помертвела, будто оборвалась ее собственная жизнь. Все, что окружало ее, отодвинулось, осталось только лицо сержанта, его страдальчески сморщенные губы и голос, притушивший последнюю робкую надежду.

— Ваш муж много говорил о вас, — сказал он. — Он говорил, что вы настоящая русская женщина, добрая, сильная, красивая... Я все мучился, идти ли к вам... Убитый он упал или раненый, не знаю... Может, в вашем положении лучше бы ничего не знать. Но я подумал, что вам, пожалуй, уехать правильнее, или помощь нужна...

— Его не нашли? — почти беззвучно спросила она.

— При отступлении это было. Никого тогда не подобрали.

И тут она сказала слова, которых сама испугалась, но они жили в ней и теперь как страстная, горькая мольба:

— Пусть бы уж он был убит...

Потом она попросила:

— Пойдемте... походим...

Они молча пошли по дорожкам среди цветов и деревьев, горевших всеми красками осенней, прощальной красоты.

— Значит, вы оба тут и работали? — задумчиво сказал Бобрышев. — Красивая у вас профессия...

И она начала торопливо рассказывать этому чужому человеку, что выросла в Курской области и с детства ухаживала за яблоневыми и вишневыми садами, а Юрий Музыкант рос на Украине. Оба они любили свою профессию и пять лет работали вместе в Ботаническом саду и думали, что так и будут жить.

— Понимаете? — спросила она. — Ведь это все для человека, для того, чтобы люди жили красивее...

Прошло много времени, прежде чем она собралась с силами и смогла выслушать подробный рассказ Бобрышева о том, как погиб Юрий Музыкант. Они сели на скамейку у маленького пруда, и Бобрышев медленно вспоминал дни, проведенные вместе с Юрием, их разговоры и последний бой, когда Юрий упал раненый.

— Тогда трудно было хорошо держаться, — сказал он, — но про мужа вашего ничего худого не скажешь. Хороший был боец. Неопытный, правда, но стойкий.

— Он никогда раньше и винтовки не держал, — сказала Вера.

Они уже прощались, когда она неожиданно потеряла власть над собой:

— Скажите мне, что его убили... что он не мог попасть к немцам... Вы его мало знали, но он никогда, никогда не смог бы жить в плену... он бы руками задушил первого фашиста, который к нему подошел бы... Скажите, что он был мертв... вы же видели, как он упал, вы же должны понимать, когда человек падает мертвый или раненый...

Проводив Бобрышева, она пошла к Терентию Ивановичу и сказала:

— Юрий Осипович убит.

— Может быть, еще окажется... — начал было Терентий Иванович.

— Нет! — крикнула Вера. — Я говорю вам — он убит... Я знаю...

Так она и жила с тех пор, не замечая собственного существования, единственной страшной надеждой, что смерть спасла Юрия от позорного плена, от издевательств и пыток.

Сегодня Терентий Иванович сказал ей:

— Столько горя сейчас кругом, что даже не знаешь, надо ли еще цветы растить... Кому они нужны, цветы?

— А жизнь? — спросила Вера с отчаянием. — А жизнь мне нужна?

Но жизнь была нужна ей. Жизнь была нужна ей даже не потому, что ей предстояло в муках родить нового человека и в нем продолжить оборвавшуюся жизнь Юрия, но потому, что не жить — значило сдаться. А сдаваться она не могла, и Юрий не мог. Разве сейчас эти бомбы не воют в лицо: «сдавайтесь»? Нет, надо жить, несмотря ни на что...

Она уже подходила к дому, когда прямо над нею взвилась в небо и волшебным дождем рассыпалась ракета.

Вера остановилась. Вот они и здесь... и здесь тоже, убийцы! Они заползли в наш город. Какой-то притаившийся убийца исподтишка выстреливает в небо ракету, а другие убийцы в самолетах, нагруженных тоннами взрывчатого груза, мчатся на сигнал и несут смерть.

Откуда он стрелял?

Она стояла в темноте, боясь дышать. Откуда он стрелял, этот убийца?

Она не задумывалась над тем, что она будет делать, что она сможет сделать, — ей просто нужно было знать, откуда он стрелял.

Впервые за две недели она ясно и ярко воспринимала все, что происходило вне ее. Каждую тень подмечали ее внимательные глаза, каждый звук улавливал ее обостренный слух. И когда гул самолета приблизился в грохоте нацупывающих его пушек, она охватила напряженным взглядом улицу и темные дома — не выстрелит ли он снова, чтобы указать самолету цель?

И он выстрелил.

Ракета взвилась и вспыхнула. Путь ее в темноте был не виден, но все нервы Веры были так напряжены, что по еле уловимому звуку она вскинула глаза на фасад своего дома и не столько увидела, сколько почувствовала, что во втором окне четвертого этажа захлопнулась форточка.

Она еще несколько минут смотрела на это окно. Темное, молчаливое окно. Зачем сейчас, во время воздушной тревоги, открывать форточку? Кому придет в голову проветривать комнату, когда воздух сотрясается от гула и грохота?.. Но, может быть, ей показалось?.. Нет! Форточку захлопнули вон там, во втором окне четвертого этажа.

В домовой конторе, где теперь помещался штаб ПВО, дежурила Зинаида Львовна, жена профессора, смазливая, нарядная и крикливая. Вера всегда избегала ее с инстинктивным недоброжелательством сдержанного, думающего человека ко всему внешнему, шумному, показному. Зинаида Львовна наименее подходила для того, что собиралась делать Вера, но медлить было нельзя, и Вера строго, повелительно вызвала ее на улицу.

— Кто живет вон в той квартире?

— Это рядом с нашей,— испуганно сказала Зинаида Львовна. — А что?

— Кто там живет?

— Боже мой, там доцент Скворцов с женой, с Милочкой. Знаете, такая молоденькая изящная дама, он недавно женился. А затем там прислуга, Фрося. И все как будто. Нет, у них сейчас еще родственники Фроси живут, беженцы из Кингисеппа. Старики. Милочка такая сердечная, она их пустила в кухню... Но, боже мой, что случилось, Вера Даниловна? Вы меня так напугали, что у меня коленки дрожат...

— Пойдемте наверх, проверим квартиру. Оттуда пускали ракету.

Зинаида Львовна ахнула. Вера видела, что она вся трясется, и уже пожалела, что позвала ее на помощь. Но Зинаида Львовна вдруг вся подобралась, как котенок перед прыжком, прижала палец к губам и затем заговорила с уверенностью и энергией:

— Вот мой план! Идем в бомбоубежище, посмотрим, все ли они спустились и кто остался наверху. Потом идем проверять затемнение. Я ответственный дежурный. меня обязаны впустить, да и они же меня знают!

— Пойдемте, только поскорей.

— А милицию не вызовем?

— Вызывайте. Но ждать не будем. Вдруг он еще раз выстрелит? Укажите им номер квартиры, пусть идут прямо туда.

Следуя за Зинаидой Львовной, Вера на миг испугалась, не показалось ли ей все это, не выйдет ли страшной неловкости и стыда. Но она отогнала сомнения. Все точно, форточка захлопнулась. Второе окно, четвертый этаж. Зачем во время тревоги, ночью, открывать форточку?

В бомбоубежище Зинаида Львовна нашла и доцента с женой, и Фросю, и старушку-беженку из Кингисеппа.

— А дедушка твой где? — спросила Зинаида Львовна таким ласковым и невинным голоском, каким, наверно, говорила с мужем, когда хотела обмануть его.

— Наверху, голубушка, наверху, — заныла старуха. — Ноги у него разболелись, не может он по лестницам ходить.

— Вот и плохо, что наверху, — сказала Зинаида Львовна. — У вас не затемнено как следует, а он свет зажег, второе окно с краю так и светится.

Фрося всполошилась:

— А чего он там делает, в столовой? Не должен он туда ходить вовсе...

— Пойдем проверим.

Пока они поднимались, Фрося ворчала:

— И не рада, что приютили... Старуха-то его мне тетка, она ничего, только стонет да жалости ищет... Не люблю таких! А старик разлегся, будто у себя дома, ноги у него, видишь, болят, да сердце заходится, да желудок ёкает... Сидит и сидит, прямо глаза намозолил. И чего он в столовую лезет? Я еще позавчера заметила: как пришли после тревоги, на ковре пепел обронен да махоркой пахнет. Ну чего он лезет в чужие комнаты? По буфету шарить? Я хоть и закрываю теперь все, а пропади что-нибудь — с кого спросят?!

Они уже поднимались от третьего этажа к четвертому, когда Зинаида Львовна схватила Фросю за плечо и, сама замирая от ужаса, прошептала:

— Тише! Этот старик — шпион, понимаешь? Мы должны ворваться в квартиру так, чтобы застать его на месте. И протянуть время, пока не подойдет милиция.

Обомлевшая Фрося беззвучно повернула ключ в замке и открыла дверь. Зинаида Львовна с Верой бросились в столовую и чуть не сбили с ног старика, шедшего им навстречу с ручным фонариком.

Не смущаясь, старик заговорил слезливым голосом:

— Слава богу, хоть люди пришли, не так страшно... А то прямо места себе не найду... пальба такая!.. Дом трясется... Ой, даже сердце заходится... Уж скорее бы помереть...

— А мы затемнение проверяем, у кого-то в вашем этаже окно просвечивает, — с удивительной естественностью затараторила Зинаида Львовна. — Вы, дедушка, случайно не зажигали света? — Она села на сундук в пе-

редней и прислушалась. — Страшно-то как! До чего же вы храбрый, дедушка, что вниз не спускаетесь!..

Старик кряхтя стал объяснять, что у него «отказывают» ноги.

Вера прошла в столовую и в потемках нащупала форточку — она была прихлопнута, но на задвижку не закрыта. И к самому окну был придвинут стул — очевидно, старик влезал на него.

Вернувшись в переднюю, она при свете фонарика старалась разглядеть старика. На продолговатом, сморщенном лице топорщились желтые усы и поблескивали недоверчивые, настороженные глаза, странно не соответствовавшие расслабленной позе и жалобному голосу.

— И откуда у вас фонарик взялся, дядя? — спросила Фрося, усиленно подмигивая Зинаиде Львовне.

Вера не вслушивалась в подробные объяснения старика. Она вдруг с предельной отчетливостью осознала, что вот этот стоящий перед нею человек с настороженными глазами — враг. Один из той чудовищной армии убийц, что хлынула на Советскую землю, бомбит, жжет, убивает, грабит, калечит, — один из тех, кто убил ее Юрия. Она только на минуту с брезгливостью и гневом подумала о том, кто он, вот этот первый увиденный ею враг: наемный подлец или подлый фашист? Опытный шпион или недавно завербованный подручный убийца? Ей это было не важно. Следователь разберется, по уликам и слезливым признаниям вытянет одну ниточку и по ней начнет добираться до клубка... Для нее это просто враг, первый, которого она увидела своими глазами, чудовище из тех, что убили Юрия или замучили в плену...

Стоя в темном углу передней, она снова погрузилась в свой горестный и мучительный мир и уже изнутри этого своего мира увидела мерзкое и страшное лицо врага.

Входная дверь распахнулась рывком. Два луча фонарей рванулись из мрака впереди входящих людей.

Вера увидела мгновенно преобразившееся хищное лицо старика и стремительное движение его руки, выдержанной из-за пазухи пистолет.

— Убийца! — закричала Вера и повисла на плече старика, стиснув руками его шею и стараясь пригнуть книзу его голову.

Старик упал. Вера повалилась на него, не отпуская. Старик хрипел и подкидывал всем телом, не по-стариков-

ски сильным и мускулистым. Его локоть ударил ее в живот. Она с острым испугом вспомнила: «Ребенок!» — но продолжала стискивать шею старика из последних сил, как в ночном кошмаре, стараясь удержать его и чувствуя, что он выскользывает из ее рук.

— Все, гражданочка, отпустите,— раздался над нею сдержанный голос.

Кто-то помог ей встать.

Разжав веки, она увидела в руках двух мужчин скрюченную, безвольно поникшую фигуру старика, суетящуюся вокруг него и задыхающуюся от возбуждения Зинаиду Львовну, выступающее из темноты бледное лицо Фроси.

— Вы бы присели,— сказала Фрося.

Вера села на сундук, прислонилась к вешалке. Всем телом ощутила покой. Но в ту же минуту выпрямилась и насторожилась, прислушиваясь к слабым, но внятным толчкам в своем теле — первым толчкам ребенка.

— Вера Даниловна, а ведь мы с вами такую птицу поймали, что нам благодарность объявят, правда? — залепетала возле нее Зинаида Львовна. И вдруг, ахнув, другим, естественным голосом спросила: — Голубчик, что с вами? Вы не повредили себе? На вас лица нет!

Вера только головой покачала, и Зинаиду Львовну поразило отрешенное от всего происходящего, покорное и блаженное выражение ее усталого лица.

Пегов уже давно не спал ночами. Круглые сутки райком был штабом, куда стекались запросы, сообщения с мест и задания сверху — от Военного совета, от горкома. Во время бомбардировок Пегов знал, что происходит в воздухе и на всей территории его широко раскинувшегося района. Он знал, как идет тушение пожара в одном конце района, сколько откопали засыпанных обвалом людей в другом конце. Он знал, как выполняется производственный план на каждом предприятии района, и задержка детали 11-71 была известна ему подробней и обстоятельней, чем Лизе, хотя он и не слышал перебранки между Курбатовым и Солодухиным. О том, что телефонистка Кружкова, оглушенная воз-

душной волной, оставалась на посту, он узнал раньше, чем Лиза сменилась с дежурства.

Он знал очень много, сидя в своем кабинете, но приток сообщений не мог заменить ему живого общения с людьми. Поэтому, как ни трудно было ему вырваться из стен райкома, он все-таки находил время для поездок по району, по-мальчишески удирал через заднюю дверь кабинета и по двору выбегал к машине, чтобы его не перехватили на парадной лестнице.

В этот вечер он побывал на раскопках большого пятиэтажного дома, поговорил с пожилой домохозяйкой Григорьевой, откопавшей уцелевшего ребенка, и попробовал успокоить плачущего мальчика, которого при нем передавали санитару кареты скорой помощи. Он внушил управхозу, что надо узнать воинский адрес отца и сообщить, куда помещен сын. И это он велел санитару сообщить в Дом малюток, что ребенка звали в семье Стасиком: новым людям будет легче приучить к себе малыша.

Оттуда он проехал на швейную фабрику, возле которой упала неразорвавшаяся бомба. Место падения бомбы было оцеплено, из соседних домов удалили жильцов, но фабрика продолжала шить шинели так же, как солдаты продолжают воевать, когда на них сыплются снаряды и бомбы. Пегов прошел в цехи. Утомленные, взволнованные женщины поднимали лица от машин и вопросительно вглядывались в Пегова. Старые работницы узнавали его и шепотом сообщали другим. Радостный говорок пошел по цехам,— присутствие секретаря райкома в опасную минуту как-то облегчало напряжение и отодвигало опасность. Пегов поговорил с работницами. Да, они боялись, но никто не прекратил работы.

— Да разве кто уйдет! — сказала одна работница. — Бойцам ведь хуже нас достается. А здесь почти у каждой или муж, или брат, или сыновья на фронте.

Выйдя с фабрики, Пегов подошел к саперам, уже работавшим на месте падения бомбы. Бомба ушла глубоко в землю, и обезвредить ее было не легко. Саперы не надеялись справиться раньше следующего вечера.

«Значит, правильно, нельзя прекращать работу на фабрике», — сказал себе Пегов, с сожалением вспоминая востроженных и скрывающих тревогу работниц.

— На танковый, — бросил он шоферу.

Танковый завод он любил больше всех других предприятий района. Он сам несколько лет назад был на

этом заводе, тогда еще тракторном, секретарем парткома, и весь процесс перестройки завода с производства тракторов на производство танков прошел при его участии. Он знал на заводе весь основной рабочий костяк и уже во время войны, когда часть людей ушла в армию, способствовал выдвиганию многих рядовых рабочих и инженеров, которых помнил как толковых, грамотных и не любящих болтовни работников. В районе подшучивали над его пристрастием к танковому заводу, но сейчас оно стало естественным и оправданным требованием фронта. Кроме всего этого, Пегова тянуло на завод еще одно, уже совсем личное чувство: на заводе постоянно толкались танкисты, принимавшие новые машины и пригонявшие на срочный ремонт старые, помятые в боях танки. И Пегов всегда находил время потолковать с танкистами о качестве машин, о последних боях и как бы мимоходом спрашивал:

— А вы не встречали Пегова, Сергея, башенного стрелка?

Он приехал вскоре после того, как две бомбы упали в районе завода. Директора Владимира Ивановича он застал у секретаря парткома Левитина, где собрались парторги цехов, — новый призыв в народное ополчение должен был начаться на кратких митингах вечерней смены и на летучках во время ночной смены. Директор разъяснял парторгам, что часть рабочих не может быть отпущена заводом.

Пегов попросил передать этим рабочим, что их труд в полном смысле слова фронтовой, так что обид не должно быть.

— А теперь пойдём к Солодухину, поглядим, что у него затирает.

В цехе Солодухина обрушилась часть стены, и по цеху гулял ветер. Верхний свет был выключен, а лампы над рабочими местами завешены плотной бумагой.

— Все к Солодухину! — обиженным голосом приветствовал Пегова расстроенный Солодухин. — Сегодня все к Солодухину, раз его затерло! Я что, не понимаю? Свести во мне нет? Я весь в мыле!..

— Когда все ладно, так чего же ходить, — сказал Пегов. — Запоролся, так уж не обижайся. Что у тебя стряслось?

— Ничего не струсилось, только стенка,— сердито огрызнулся Солодухин и тотчас стал толково и огорченно объяснять, почему затерло с деталью 11-71.

Зазвонил телефон. Солодухин зачертыхался и закричал рыдающим голосом:

— Вот! Слышите?! Кто звонит? Все этот сумасшедший! Я могу не подходить, я знаю все наперед! Через него я скоро сам сойду с ума, вот увидите!

Спотыкаясь в темных переходах, он побежал к телефону, и Пегов услышал его неожиданно веселый, лицемерно-наивный голосок:

— Что же ты, птичка, не забираешь свою одиннадцать — семьдесят один? Или тебе больше не нужно? Целый десяток зря лежит. Мне, знаешь, держать негде... Начнут портиться, я не отвечаю. Стоячая вода тухнет, птичка!

Он выбежал из конторки, восхищенный собственным остроумием.

— Слыхали, как я его подкусил? Птичка, птичка, золотко, голубочек! Меня от его голоса трясоти начинается! Птичка!..

Пегов пошел в сборочный. Курбатов сидел на своем командном пункте, откуда хорошо виден весь цех, и казался удивительно спокойным и даже неподвижным человеком. Но когда он поднял взгляд на вошедших, Пегов невольно загляделся на его большие, лихорадочно оживленные, азартные глаза,— такими Пегов представлял себе глаза какого-нибудь отчаянного кавалерийского командира, несущегося во главе своих людей в сокрушительную атаку.

— Наладилось с одиннадцать — семьдесят один? — спросил Пегов, присаживаясь и закуривая.

— Пока радоваться рано,— уклончиво сказал Курбатов. — По-моему, Солодухина еще дня три лихорадить будет...

Он стал спокойно пояснять свою мысль.

— Вы бы с Солодухиным вот так и говорили,— посоветовал Пегов,— а то старик психовать начал от ваших звонков.

— Во-во-во! Это мне и нужно! — воскликнул Курбатов. — Старик спокойствие любит, по стариночке привык, а когда его на психику возьмешь, он от злости горы ворочает.

Курбатов вдруг приподнялся, вглядываясь в ему одному заметное происшествие на другом конце сборочного цеха, взял трубку цехового телефона, спросил:

— Что у вас? Что предприняли?.. Хорошо, только не спутайте! — Положил трубку, шутливо сказал: — Золотое правило: в своем цехе выдержка, с другими — первы! — И встал, учтиво извинившись: — Простите, мне надо пройти по цеху.

— Красавец в работе! — сказал Владимир Иванович. — Уйди я с завода, директором сажать можно. — И предложил, зная повадки секретаря райкома: — Пойдем танк поглядим, сегодня притащили, музейный танк...

Пегов увидел тяжелую машину с бесчисленными ссадинами, вмятинами и рваными ранами. Краска вся облупилась, спеклась, обгорела.

— Сто восемьдесят ран, — с уважением сообщил директор.

Из-за машины вынырнул танкист и сказал, касаясь плоскости танка ладонью:

— Герой Советского Союза! Даже жалко в починку сдавать.

Танк оказался тем самым, на котором экипаж лейтенанта Кривокуба разгромил танковую колонну. А танкист был его водителем.

Взволнованный и видом танка-ветерана, и рассказом водителя, Пегов робко спросил танкиста, не встречал ли он Сергея Пегова, башенного стрелка. Спрашивая, он побледнел и потянулся за портсигаром, чтобы папиросой унять волнение, — он всегда ждал, что ему скажут: «Сергея Пегов? Убит, бедняга, прямое попадание в башню...»

— Сережа Пегов?! — вскричал танкист. — Ну как же! Приятель! Только вчера видел. Ого, Сережка Пегов, знаете, какую психическую атаку отмочил!

И он рассказал о засаде в березовой роще и о неравном бое, когда Сережа в пустом окопе изображал отсутствующую пехоту. Дружеское преувеличение украсило рассказ героическими подробностями: Сережа не только стрелял из автомата, но и одновременно бросал другой рукой гранаты... Танкист чувствовал, что привирает, и Пегов чувствовал, что на самом деле было немного не так, но подробности и не имели значения, а преувеличение было понятно, так как нет ничего труднее точного воспроизведения подвига, совершенного другом.

— А вы, случаем, не отец его? — спросил танкист. — А то у меня письмоцо лежит, в райком снести надо.

Пегов с жадностью схватил засаленный конверт, но прочитать письмо не успел, так как Левитин позвал его на митинг рабочих вечерней смены.

В проходе между двумя цехами рабочие стояли густой толпой. Те, кто мог примоститься где-либо, сидели в установленных позах. Левитин поставил столик с листом бумаги в центре прохода и коротко рассказал о том, что немцы на подступах к Ленинграду, сил на фронте не хватает, все рабочие, кого можно отпустить без особого ущерба для производства танков, должны взяться за оружие.

Пегову показалось, что Левитин говорит слишком сухо и коротко, но после его речи один рабочий, уже седой, хотя все еще крепкий и статный, молча подошел к столу, снял кепку и четко написал на листе свою фамилию. За ним потянулись другие. Молодежь шутила и держалась молодцевато, пожилые рабочие записывались деловито, без слов и многие тотчас уходили, спеша отдохнуть. Уходя, спрашивали:

— Когда являться?

Пегов подошел к седому рабочему, открывшему список добровольцев:

— Куда ж ты, отец, воевать собрался? Тяжело будет, сердце, наверно, да и ноги... Тебя, пожалуй, на заводе оставить полезнее будет.

— Сердце мое, товарищ Пегов, здоровое, только злое сейчас. А старости для коммуниста не бывает. Старость будет, если фашистская сволочь на шею мне сядет и погонять начнет.

— Оно верно. Комиссаром тебя поставим.

— А чего ставить? Для должности у меня грамоты не хватит, а без должности я с народом говорить не стесняюсь, если нужда есть. Помогу.

Высокий рабочий подошел к ним и стоял, ожидая конца разговора. Пегов взгляделся и узнал младшего Кораблева.

— Григорий Васильевич, верно? — сказал он, радуясь точности своей памяти.

— Что же это происходит? — воскликнул Григорий Кораблев, обращаясь и к Пегову, и к директору. — Всех пускают в отряд, а я что же? Не коммунист? Не рабочий? И потом, вы помните, Владимир Иванович, какое у вас условие с отцом было... Как же вы?

Пегов заинтересовался: какое условие?

— Не хотел уезжать старик,— сердито объяснил Владимир Иванович,— условие поставил — чтобы вот его оставить. Так ведь оставили!

— Не так было,— мрачно сказал Григорий Кораблев. — Сами знаете,— не только оставить. Нехорошо вы поступаете.

Пегов дотронулся до плеча директора:

— В самом деле нехорошо. Условия выполнять надо, а?

Директор покосился на Григория и вдруг махнул рукой:

— Ведь знаешь, что пойдешь, раз задумал. Упрямство кораблевское! И чего ж ты на меня жалуешься?

Кораблев сдержанно улыбнулся:

— Знать-то знаю, так ведь не удирать же мне потихоньку. Не мальчишка.

Проходя к выходу мимо заслуженного танка, который уже начали разбирать, Пегов невольно задержался:

— Эх, бедность наша! Не будь они нам так нужны, эти танки, взять бы его в надежное место, поставить на виду и водить экскурсии: глядите, один из ветеранов Великой Отечественной войны... А придется ему подправиться — и в бой!

Прощаясь с директором, он вернулся к своей мысли:

— Будем кончать войну, ты, Владимир Иванович, не прозевай, отхвати парочку таких штук. Заводской музей откроем, на самое почетное место поставим.

— Отвоеваться бы! — устало откликнулся директор.

В райкоме Пегова ждали и люди, и телефонограммы, требующие немедленных распоряжений. Уже забрезжил рассвет, когда он остался один, прилег на койку, стоявшую за ширмой в углу кабинета, и распечатал письмо сына.

Томящая отцовская нежность охватила его при виде знакомого, все еще ученического почерка сына и наивного, детского начала письма: «Дорогой папочка...» Сын ничего не писал о своем подвиге, но подробно описывал уже известный Пегову разгром танковой колонны, а затем на целой странице убеждал отца, что советские войны грудью своей закроют гитлеровцам путь в Ленинград, и так далее, и так далее.

Пегов рассмеялся. Попал мальчишка на фронт, и ему уже кажется, что прежде недосягаемо умный папа теперь

просто незнающий тылови́к, которого надо успокаивать и агитировать, и он добросовестно, со всей комсомольской искренностью, переписывает то, что ему говорил на митинге политрук... «Как стандартны бывают слова,— подумал Пегов с досадой.— Вот ведь умный, развитой мальчишка, а собственных слов не нашел!.. Чья тут вина? Не мы ли сами приучаем людей к казенным оборотам речи, к стандартным формам выражения больших чувств? Агитаторы и активисты часто недостаточно культурны, чтобы высказывать свои мысли собственными словами... А ведь для Сережи Ленинград — родина, семья, вся жизнь, он на самом деле умрет, но не пустит немцев в Ленинград, и когда он думает про себя о боях под Ленинградом, он, наверное, вместо «грудью закроем» рисует себе очень реальные и смелые действия своего танка... А сел писать — и не нашел своих слов, своих мыслей...»

Пегов приподнялся, записал в блокноте: «О формах и языке агитации». Вытянув опухшие от усталости ноги и закрыв глаза, он стал обдумывать, как лучше разъяснить завтра — нет, сегодня утром! — работникам отдела агитации и пропаганды свои требования.

На столике упорно звонил телефон. Пегов вскочил, привычным усилием воли отогнав тяжелую дремоту. По мягкому звону он угадал смольнинскую вертушку и поспешно взял трубку.

Негромкий, хорошо знакомый голос члена Военного совета начал прямо с дела:

— Как у тебя с новым призывом ополченцев?

У Пегова были только первые данные по ночным сменам: он коротко назвал заводы и число записавшихся добровольцев.

— К вечеру будет более полная картина, я вам сразу позвоню.

— Нужно вот что,— медленно, как бы раздумывая, сказал член Военного совета: — сегодня к концу дня нужно сколотить отряд... Ну, скажем, роту, но роту отборную, из рабочих, коммунистов... Роту, которую можно в случае острой надобности сразу бросить в бой. Сделаешь?

Пегов не торопился с ответом. Надо было ответить точно.

— Сегодня к концу дня? — переспросил он, прикидывая в уме, откуда можно снять людей.

Все партийные организации уже дважды выделяли людей на фронт, коммунистов в районе осталось мало, а оставшиеся были заняты на таких постах и на таких производствах, где заменить их в один день не легко.

— Это очень нужно,— сказал член Военного совета и, не настаивая на ответе, заговорил о других делах.

Но Пегов знал, что он еще вернется к первому вопросу, и продолжал обдумывать, что надо сделать.

— А кого ты думаешь командиром этого отряда выдвинуть?

Об этом Пегов совсем еще не думал.

— Подумай, взвесь. Человек нужен самоотверженный и спокойный, чтобы не потерялся, если трудно. И еще подумай о том, чтобы взводы и отделения состояли из товарищей с одного завода, из одного цеха. В нынешних условиях важно, чтобы люди хорошо знали друг друга. И традиция завода вступает в силу.

Пегов вспомнил седого рабочего с танкового завода и рассказал о нем.

— И не надо его комиссаром,— сказал член Военного совета,— а в отряд... — Он коротко вздохнул. — В отряд возьми его. Такой не отступит.

Он стал расспрашивать о положении на танковом заводе, о здоровье Левитина, о том, как справляется со сборной Курбатов.

— К восьми часам вечера отряд надо сформировать и подготовить к отправке. Ты мне позвони днем, как идет дело...

Во время разговора Пегов уже наметил план действий и поверил в то, что, как ни трудно, собрать нужное число рабочих-коммунистов удастся.

— Будет сделано!

Он вышел в соседнюю комнату. Секретарша спала за столом, положив голову на руки. В утреннем жестком свете в ее темных волосах поблескивали седые пряди. Пегов вспомнил, что три недели назад она получила известие о гибели сына, но ни на один час не прекращала работы. Сын... Отцовская щемящая жалость на миг захватила его, но он подавил ее и осторожно коснулся плеча секретарши:

— Анна Петровна! Аня!

Она встрепенулась, виновато улыбаясь. Кожа под глазами у нее припухла,— очевидно, она плакала перед сном.

— Анна Петровна, побыстрее разбуди всех инструкторов — и ко мне. Да вызови через часок машину — поеду по заводам.

Кончилась еще одна ленинградская ночь. Улетели бомбардировщики последней волны. Замолкли зенитные пушки. Сменились на постах дежурные. Раненых доставили в больницы, убитых — в мертвецкие. К местам разрушений шли бригады домашних хозяек продолжать раскопки. Техники и рабочие спешно исправляли трамвайные пути и заменяли оборванные провода. В опустевших бомбоубежищах на складных койках и на скамейках спали те, кому надоело спускаться и подниматься при звуках тревоги и отбоя. В домовых конторах сонные дежурные привычно отвечали на телефонные звонки: «Все в порядке», даже не спрашивая, кто звонит, потому что тысячи людей, оторванных в этот час от своих семей, торопились узнать, все ли в эту ночь обошлось благополучно.

Мария подняла черную штору и распахнула окно. Утренний холод освежил кожу. Светало. Лучи поднимающегося солнца еще не коснулись земли, но добрались до серебристых аэростатов, паривших над городом, и небо казалось огромным прозрачным аквариумом, где плавали сотни розовых рыб.

— Иван Иванович, утро уже! — позвала Мария.

Ей хотелось показать Сизову, как красив в этот час Ленинград, но Сизов спал, свернувшись на диване, закрыв лицо неизменным красным шарфом.

Мария с сожалением закрыла окно, чтобы холодный воздух не разбудил Ивана Ивановича, и присела к столу. Спать ей не хотелось и работать тоже не хотелось, — ее мысль, отчетливая и спокойная, возвращалась к полученному вчера письму.

Глаза ее пробежали строки письма: «...ради нашего прошлого, ради нашей любви умоляю тебя выслушать меня и понять... Ты бессмысленно подвергаешь опасности себя и Андриюшу... Ты не понимаешь, что вам предстоит пережить... Вспомни судьбу некоторых городов, о которых мы читали... Если бы я мог приехать! Но я не имею права бросить дело... Заклинаю тебя нашим счастьем, не упрямясь и уезжай, пока не поздно, потому что может быть поздно...»

Она скомкала письмо. «Ты правильно предвидел, Борис Трубников, все вышло именно так: нас бомбят и обстреливают, и последняя, Северная железная дорога уже перерезана... Все так! Но почему ты думаешь, что я должна и могу отделить себя от судьбы своего города, своего народа? Почему ты думаешь, что я отдам кому-то другому честь защищать свой город? Передоверю кому-то другому свой маленький боевой пост?.. Ты назвал меня фанатиком. Что ж, тогда мы все фанатики, мы все одержимы одной страстью — сопротивляться. Но без этой одержимости мы, быть может, уже потеряли бы Ленинград... Да, я многое испытала. Если бы твое письмо не задержалось в пути, мне, быть может, стало бы жутко от твоих мрачных предсказаний... Я, быть может, содрогнулась бы над твоим письмом... И все-таки даже тогда я тебе ответила бы сквозь слезы, что не могу уехать, хотя все понимаю, и боюсь, и колеблюсь порою... И предчувствую то, о чем ты не подумал, — голод... Вчера, сегодня, завтра — я была, есть и буду в бою, в медленном бою за свой город, за свою честь. И цену человеческой воли я узнала, и цену жизни и счастья... И цену гордости я тоже знаю».

Она взяла листок бумаги и небрежно, карандашом, написала Борису Трубникову короткий ответ, презрительный и резкий, — гораздо более резкий, чем она написала бы месяц тому назад, если бы письмо не опоздало.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В РЕШАЮЩИЕ ДНИ

1

В рассветных сумерках пулеметный взвод вышел на позицию полевой батареи возле совхоза. Три года назад Митя гостил здесь на даче у Марии Смолиной. Ему стало бесконечно грустно, когда возле самой батареи он наткнулся на обгорелые стволы и пеньки и догадался, что это остатки тенистой рощи, которую особенно любила Мария.

— Я здесь каждый бугорок знаю... — сказал он Левону Кочаряну, своему второму номеру.

— А мне вся земля теперь — как укор, — сказал Кочарян. — Смерти искать буду, Митя...

Левон получил вчера письмо о гибели жены, о том, что Стасику придавило ножки и он отправлен в Дом малюток. Он не проронил ни одной слезы, только осунулся, потемнел лицом и все прислушивался к разговорам о предстоящих боевых делах, — в бою он хотел найти исход страшному ожесточению, сдавившему сердце.

— У тебя сын, — сказал Митя.

— Что мужчина один с ребенком! — мрачно ответил Кочарян. — Ребенок крошечный, вот такой, женские руки надо, а чужую женщину я не дам ему вместо матери... Государство растить будет, справедливые руки. А ласку материнскую... может, и не надо ласки, пусть память в нем гореть будет, как огонь, чтоб никогда не простил бандитам эту подлую бомбу.

Они уже подходили к совхозу, когда немцы начали бить по нему тяжелыми снарядами. Бойцы перебежками, бросаясь от близких разрывов в дымящиеся воронки, добрались до батареи и укрылись в окопе. Артиллеристы рассказали, что это уже третий огневой налет — два было ночью.

Как только замолчали немцы, заговорила батарея. Митя впервые находился под боком у орудия, ведущего огонь, и такое соседство показалось ему не очень приятным, но ладная и быстрая работа артиллеристов ему по-

правилась. Понравилось соединение тонкого расчета, который одухотворяет действия сложного механизма, с домашностью движений подносчика снарядов и заряжающего, с крайней простотой самого выстрела: дернул шнур — и снаряд летит многие километры, поднимает в воздух блиндажи, орудия, танки...

Митя залюбовался командиром орудия, его точными движениями, слаженностью общей работы, исключавшей необходимость каких-либо объяснений, — люди понимали командира с полуслова.

Когда стрельба кончилась, Митя пошел к артиллеристам знакомиться. Командир приветливо обернулся к нему, его родное, на всю жизнь запомнившееся Мите лицо улыбнулось, и Митя восторженно вскрикнул:

— Товарищ Бобрышев!

Бобрышев обнял его и повел к своим товарищам:

— Глядите, ребята, вот с этим молодцом мы у немцев в гостях двенадцать суток гуляли... Вспоминаешь? А ты потолстел, брат, красноармейские харчи сытнее, верно?

Бобрышев говорил о выходе из окружения так, будто это была забавная, нестрашная история. У Мити стало легко на сердце, с Бобрышевым он ничего не боялся, и приятно было, что Бобрышев искренне обрадовался ему.

— Значит, снова вместе воюем? Вот и ладненько, я за тебя трех необстрелянных отдам. Как ты тогда из пулемета по их психической шпарил, а?

Бобрышев вспоминал только то, что поднимало дух и уверенность бойцов, и в этом была прямолинейная мудрость.

Немецкие снаряды снова ложились вокруг батареи, когда Митя увидел легковую машину, остановившуюся у парников. Невысокий плотный военный в макинтоше с большими звездами на красных отворотах уверенно направился к орудию по тропинке между парниковых рам. За ним следовали адъютант, тревожно оглядываясь на разрывы снарядов, и побледневший от волнения командир батареи.

Митя понял, что это очень высокое начальство, и вытянулся у своего пулемета, теряясь при мысли, что начальство может обратиться к нему и надо будет ответить по уставу, а как отвечать, он не помнил.

Бобрышев, сидевший на земле у орудия, вскинулся одним движением и вытянулся в позе безукоризненно подтянутой, почтительной и одновременно свободной, потому

что военная молодцеватость была для него естественна. Он начал рапортовать уверенно и радостно:

— Товарищ командующий фронтом...

Так вот это кто! Митя взгляделся в простое, округлое лицо с добрыми и внимательно прищуренными голубыми глазами, окруженными мелкой сеткой морщин. Когда Бобрышев обеспокоенно предупредил, что немцы ведут по батарее огонь, эти глаза сверкнули усмешкой.

— В трех войнах был, товарищ сержант, и всегда замечал, что противник стреляет, на то он и противник. Ну, где у вас немцы?

Бобрышев толково объяснил, показывая рукой, где расположен наш передний край, где обнаружены немецкие батареи. Командующий подошел к орудию, открыл замок, проверил прицел и угломер. От его оценивающего взгляда не ускользнула бы ни неисправность, ни грязь. Но орудие было в образцовом порядке. И командующий сказал:

— Правильно. Берегите свое орудие, товарищи... Берегите! Народ вам доверил...

Слова его прозвучали просто и искренне, а в лице, как тень, прошла такая грусть, что Митя с мучительным стыдом вспомнил пулемет, брошенный им при отступлении.

— Будем беречь, товарищ командующий,— взволнованно сказал Бобрышев. — Жизнью своей сбережем!

Снаряд разорвался неподалеку от орудия. Командующий приказал людям укрыться, а сам неторопливо пошел к другим орудиям, как будто его не могли тронуть ни снаряды, ни осколки.

Митя провожал его влюбленным взглядом.

Командующий пробыл на батарее минут десять, и все облегченно вздохнули, когда он уехал,— не так, как иногда облегченно вздыхают при отъезде начальства, радуясь, что все сошло благополучно и никто не получил «фитиля», а от полноты любви и уважения, потому что командующий совсем не берегся, и в тревоге за его жизнь люди на батарее забывали о себе.

Около десяти часов утра немцы открыли ураганный огонь по всему фронту. В расположении батареи снаряды рвались так густо, что Митю, лежавшего в окопчике у пулемета, то и дело осыпало землей и осколками стекла от взлетающих в воздух парников. Острыми осколками стекла будто обрызгало лицо не вовремя оглянувшемуся Левону. Он застонал и, стиснув зубы, стал погтями выди-

рать осколки из кожи. Кровь сочилась у него из-под пальцев. Митя послал его на командный пункт, и Кочарян пошел, но очень скоро вернулся, обмотанный бинтами, так что видны были только глаза, еще более мрачные под белой бинтов.

— Командного пункта нет, — тихо сказал он Мите. — Командир убит, рук, ног не осталось, помощник при смерти. Политрук командует, тоже ранен. Одно орудия нет, разнесло.

По вспышкам огня и звукам боя Митя понял, что немцы ведут наступление в двух направлениях: справа, от совхоза к разъезду, чтобы перерезать железную дорогу, и далеко влево, к высоте, которая господствовала над местностью и в этом секторе фронта была последней высотой на пути к Ленинграду. Он понял, что немцам удалось прорваться, а затем увидел танки и грузовики с войсками, мчавшиеся по шоссе, — это были немецкие танки и немецкие войска.

Израненная батарея продолжала вести огонь. Окровавленный политрук руководил огнем, переноса его по указанию КП батальона, а потом связь прервалась, и тогда политрук стал вести огонь так, как ему казалось правильнее.

Орудие Бобрышева било прямой наводкой по шоссе. Митя напряженно всматривался в пространство, простреливаемое его пулеметом, готовый в любую секунду открыть огонь. Но в сторону совхоза немцы не пошли. И это было мучительно — лежать под огнем, ничего не делая, находиться в пекле — и не участвовать в сражении. Что там произошло, в родном втором батальоне? Живы ли товарищи, командир роты, пославший их сегодня утром на батарею, пулеметчики второго взвода, занимавшие оборону вон там, у шоссе и моста через речку?..

Во рту пересохло, губы запеклись. Когда Митя облизывал их, на языке оставался вкус земли. И после каждого близкого разрыва он глядел сквозь оседающую пыль — на месте ли Бобрышев. Бобрышев был на месте, и его орудие стреляло. Мите почудилось, что оно изменило голос и хрипело, как человек. Осколком убило заряжающего, движениями которого Митя любовался час назад, и одновременно ранило поднощика снарядов. Но их заменили другие, орудие продолжало стрелять. Как живое существо, признательное за постоянный любовный

уход, орудие напрягало все силы и не подводило людей, вдохнувших в него жизнь.

А потом стало тихо. Бой ушел назад, вправо и влево от совхоза, обогнув и словно забыв одинокую батарею. Тогда Бобрышев прошел к другим орудиям и болезненно поморщился, встретив на пути кусок оружейного ствола с рваным краем. Потом он увидел воронку на месте блиндажа командного пункта, раненых, лежащих на носилках и на соломе, убитых, сложенных рядышком у парников.

Раненый в голову, в ногу и в живот, политрук подзвал Бобрышева. Он умирал, это было ясно и ему, и Бобрышеву. Смертный холод уже леденил его лоб и неспокойные пальцы. Политрук протянул к Бобрышеву эти неспокойные пальцы и сжал ими его руку.

— Умираю, — проговорил он.

Бобрышев хотел утешить его, но не мог лгать: слишком просто и честно говорил политрук.

— Мы окружены, Бобрышев. Связи нет. Людей меньше половины. Орудий только два. Что делать — решай. Ты старший и Комов. Тебе надо браться. Ты коммунист. Решай сам. Если жив будешь, скажешь...

Он не закончил.

— Хорошо, — сказал Бобрышев. — Жив буду — скажу, как ты боролся... и как умер, друг... Всем скажу...

— Скажи... — прошептал политрук.

Митя, потрясенный гибелью стольких людей, приободрился, узнав, что командует Бобрышев. Что он будет делать, когда батарея отрезана от своих, а немцы прорвались вперед, Митя не знал, но говорил товарищам, что очень рад оказаться в такую минуту с Бобрышевым: с ним не пропадешь!

А Бобрышев осмотрел свое полуразрушенное хозяйство, по-новому расставил оставшихся людей, разослал разведчиков и сел над картой с сержантом Ковым. Уже перед вечером, после возвращения разведчиков, он позвал Митю.

— Ты знаешь эти места?

— Знаю.

— Жизни не пожалеешь? Не дрогнешь?

Стараясь говорить совсем спокойно, Митя ответил, что не дрогнет. Он мельком вспомнил лицо командующего, когда тот попросил беречь орудие, и его неторопливую поступь среди разрывов и свиста снарядов, и обещание Бобрышева: «Жизнью своей сбережем!..»

— Смотри,— сказал Бобрышев, разворачивая карту.— Вот мы. Вот наш бывший передний край — теперь его нет. Вот железная дорога и разъезд, где сейчас до десятка автоматчиков и больше никого. Немцы прошли вперед, ударяя во фланг высоте и батальону капитана Каменского. Слева от высоты — немцы, и сзади нас за болотом тоже немцы. Они, видимо, концентрируются для удара по Каменскому и для захвата высоты. Понимаешь обстановку?

Все было понятно, но Митя впервые за войну следил за обстановкой по карте, и впервые ему должны были дать задание, ради выполнения которого он обещал не пожалеть жизни. Он волновался и не знал, что именно в обстановке важно понять.

— Теперь смотри. Если мы потащим орудия назад, или вправо, или влево — мы угодим прямо к немцам. Поэтому с наступлением темноты я вывожу орудия вперед, через бывший наш передний край к речке — там никому в голову не придет нас искать,— а затем по речке до железной дороги и прямо по шпалам мимо разъезда — в этот лес. А там уж и до капитана Каменского рукой подать. Иного пути нет, кроме как по шпалам; с боков болото, завязнем. Понимаешь план?

— Понимаю,— с уважением сказал Митя. План казался ему невыполнимым, но он не решился сказать об этом.

Бобрышев усмехнулся:

— Думаешь, нельзя выполнить? А у меня весь расчет на то, что никому в голову такое не придет. Притом делать нам больше нечего. Ну, сегодня им не до нас было, так завтра хлопнут. Сил у нас принять бой маловато. Да и орудия сейчас слишком нужны.

Бобрышев на минуту задумался. Может, тоже вспомнил свое обещание командующему?..

— Так вот, Митюша,— тряхнув головой, сказал он. — Пойдем мы мимо разъезда, а там немцы с автоматами. И нам со всей нашей техникой принимать бой несподручно. Разъезд нужно очистить до нашего подхода. Ты... — он зорко поглядел на Митю,— ты берешь людей, пробираешься болотом и ударяешь по разъезду отсюда, с болота, где никто тебя не ждет. Автоматчиков перебеешь, разъезд займешь и будешь нас ждать. С тобой пойдет Пахомов, разведчик, он уже был там и знает, где перерезать

ихнюю связь. Сам и перережет, он на это мастер. Все понятно?

Митя коротко сказал:

— Да.

— Думаешь, никогда разъездов не брал? — спросил Бобрышев и обнял Митю. — Надеюсь на тебя, как на старого друга. Ты тогда неплохо держался. И поручить больше некому. А что не брал — так и я, друг, такого никогда не делал и не думал, что придется...

Неожиданно поверив в себя и ощутив охоту испытать свои силы, Митя коротко спросил:

— Когда выступать?

2

После ночной беседы с танкистом Смолиным капитану Каменскому с новой остротой захотелось действовать. Быжидать казалось ему преступным. До Ленинграда оставались километры. Измотанные, подавленные, отступали по этим последним километрам остатки разбитых частей и одиночные бойцы, отбившиеся от своих. Навстречу им шли другие части, чуть оправившиеся от недавних боев, паспех сколоченные и пестро вооруженные, — шли занимать последний рубеж. На этот последний рубеж на всем его протяжении наседали враги, постепенно сжимая кольцо вокруг города. Враги тоже были измотаны трехмесячными боями на путях к Ленинграду, но они не верили в серьезность сопротивления. Еще день, может быть два или три дня — и они вступят в Ленинград церемониальным маршем и получают все, что так щедро обещано командованием: железные кресты, банкеты в отеле «Астория», богатую поживу и длительные отпуска...

Батальон Каменского должен был задержать их в районе высоты. Справа и слева от Каменского держали оборону два других батальона того же полка. Каменский не ждал прямого удара по своему батальону. Было вероятнее, что немцы попытаются прорваться с флангов в расположение третьего и особенно второго батальона, с тем чтобы потом обрушиться на него и коротким ударом овладеть высотой. Вот уже двое суток передовые немецкие части топтались перед позициями полка, не предпринимая ничего, кроме разведки и огневых налетов. По всем данным, срок передышки подходил к концу...

Предстоящее немецкое наступление страшило Каменского. Боеспособность второго батальона вызывала у него большие сомнения: второй батальон еще не переварил своего пополнения, не спаял людей в боевой обстановке, а командир его, по мнению Каменского, не обладал ни достаточной инициативой, ни достаточным пониманием современной войны. Да и вся оборона полка казалась Каменскому непрочной, вытянутой в длину и не обеспеченной в глубину.

Мысленно ставя себя на место командира полка, Каменский производил коренную реорганизацию всей системы обороны на этом участке и предпринимал решительные, неожиданные для врага боевые действия. Но в качестве командира одного из трех батальонов, защищавших этот ответственный сектор фронта, Каменский мог только ругаться со штабом полка, давать дружеские советы соседним командирам и принимать зависящие от него меры для укрепления своего участка обороны. Он усилил правый фланг на стыке со вторым батальоном, расположив там роту во главе со своим лучшим ротным командиром Самохиным и придав ему взвод пулеметчиков. Обдумал и улучшил расстановку своих огневых средств. Придирчиво улучшал связь... Но, делая всю эту работу, он томился ощущением неполноценности ее.

«Мы сидим и ждем нападения врага, — думал он. — Мы теряем шанс... может быть, последний шанс! Ведь за нами уже городские окраины, баррикадные бои на улицах... У нас мало сил? Но и враг не тот, каким он равнулся через наши границы в июне. Он наносит удары мельче и трусливей. Каждую новую рану он залечивает все медленнее. Он далек от своих баз. У него в тылу партизаны. Он, конечно, еще силен, но и мы, черт возьми, не так уж слабы! И наконец: мы прощупываем его и знаем, что на этом участке он накапливает силы. Так почему не ударить первыми, пока он не собрал кулак для удара? Как можно допустить, чтобы враг начал бой по своему плану и в то время, когда ему выгодно!

Сейчас нельзя думать о большом контрнаступлении, о крупных операциях. Но даже малыми силами, при четкой организации и при поддержке тяжелой артиллерии, можно если не отбросить немцев от предместий Ленинграда, то хотя бы нарушить их планы движения к Ленинграду, растрепать их силы так же, как это было сделано на Лужском плацдарме, заставить их остановиться и

ждать подкреплений... А теперь, как никогда, Ленинграду надо выиграть время!»

Каменский на свой риск провел несколько боевых разведок, и разведки подтвердили точность и выполнимость его замысла, если... если командование согласится с ним. Однако командир полка, человек безупречной храбрости, но неумелый и безынициативный, слепо слушался своего начальника штаба. А начальник штаба не доверял командирам, боялся их инициативы, был безгранично самоуверен и проявлял педантичную медлительность во всех вопросах.

— Допустим, что мы принимаем ваш план (это еще нужно санкционировать свыше!), — скучным голосом отвечал он Каменскому, — допустим, мы идем на такой риск и теряем один батальон — скажем, ваш — целиком или почти целиком. Допустим, мы наносим противнику такое же поражение, то есть и он теряет на этом один батальон, хотя наступающий всегда теряет больше обороняющегося. Но допустим! А что будет с соотношением сил? Из десяти батальонов противник потеряет один — я к примеру говорю, — а мы из трех один. Кто внакладе?

— Во-первых, при неожиданном нападении мы можем нанести немцам гораздо больший урон. А затем — при чем здесь арифметика? Разве этим определяется успех?

Начальник штаба раздраженно морщился:

— Послушайте, капитан, мы же с вами не в индейцев играем. Еще нужно, чтобы вы добились успеха! Это труднее в бою, чем в праздных измышлениях. А если вы загубите батальон, кем я заменю его?

Каменский зло рассмеялся:

— Вы? А кем вы замените мой батальон и другие батальоны, когда их уложат по очереди вокруг высоты?

Но поколебать начальника штаба Каменскому не удалось, и он с ненавистью смотрел на сухое, властное и неумное лицо, раздражаясь от звуков холодного, иронического голоса.

— Сейчас не время для авантюры... Я еще поверю, что мы можем отбить противника, но вести наступление... какими силами?.. Вот этими деморализованными, пережившими все отступление людьми?.. Новичками, вчера получившими винтовки?

— Да! — воскликнул Каменский. — Да! Потому что это ленинградцы! Новички, говорите вы... А вы учиты-

ваете, что эти люди пошли добровольцами под лозунгом: «Враг у ворот! Все на защиту Ленинграда!»? Вы человек военный и знаете, что отступление деморализует людей... Правильно! Но вы не понимаете, что есть такие моральные факторы, как Ленинград, как национальная, советская гордость! Наконец, у половины бойцов в Ленинграде семьи, дома, дети. Да, вчера они были подавлены отступлением, неудачами, потерями... Сегодня вступил в действие более мощный моральный фактор — Ленинград!

— Вам надо выступать на митингах, Леонид Иванович, — вялым голосом отвечал начальник штаба. — Я же привык говорить о военных операциях военным языком. А разговор о моральных факторах...

— У нас Отечественная война!

— Я не думаю, чтобы это слово заменяло самолеты и танки. — Он иронически сморщил губы. — Э, да что с вас взять... До войны вы, кажется, учителем были?

«Старый, трухлявый чиновник! — думал Каменский, вспоминая этот разговор и тревожно прислушиваясь к начавшейся канонаде. — Это же гибель — такие люди в нашей ожесточенной и именно Отечественной войне!.. Его снимут, конечно, но снимут тогда, когда он провалится... А его провал — это поражение полка, удар по фронту, по Ленинграду, это потеря высоты... Нет, высоту я не отдам! Но что толку в этом, если они обойдут ее, если они прорвутся прямо на окраины города?.. Я сам, сам виноват, я должен был обратиться выше, в дивизию, в армию... Черт с ним, что не по инстанции! Дело-то важнее!.. Эге, такой огонь зря не открывают... Опоздали! Инициатива еще раз у них...»

Немецкое наступление началось.

В первой половине дня Каменскому удавалось без особого труда отражать атаки, предпринятые немцами, видимо, лишь для того, чтобы сковать силы его батальона, — главный удар немцев приходился правее, на позиции соседа. Но к середине дня положение в районе высоты создавалось угрожающее. Прорыв немцев на участке второго батальона создал необходимость бросить на правый фланг все возможные силы и огневые средства даже за счет ослабления центра и левого фланга. А немцы уже начали нажимать и на центр, и на левый фланг.

В течение этого долготого, тяжелого дня капитан Каменский испытал все напряжение командира, чувствующего, что у него не хватает сил для выполнения своей задачи —

отстоять высоту, и глубокое удовлетворение командира, убеждающегося на деле, что подготовленные им к бою люди воюют умело и стойко, тем самым умножая силы батальона.

К исходу дня немцы затихли. Батальон Каменского удержался на рубеже. Только справа, на стыке с прежними позициями второго батальона, Самохину пришлось немного оттянуть назад свою подкову, чтобы враг не ударил с фланга. Но Каменский понимал, что силы слишком неравны, что выдерживать атаку за атакой он сможет еще сутки, может быть двое суток, а потом... потом никому будет драться за высоту!

В конце дня командир полка побывал в батальоне и, уезжая, обещал завтра прислать Каменскому роту добровольцев и несколько минометов. Но Каменский боялся проволочек, да небольшое подкрепление и не решало основного вопроса о судьбе высоты. И когда ночная темнота приглушила бой, капитан уединился в своем блиндаже и задумался все о том же, все о том же...

Карта лежала перед ним, испещренная новыми значками. Справа от высоты, где еще утром располагались позиции второго батальона, немцы врезались неприятным, нацеленным в обход высоты клином. Каменский смотрел на этот опасный клин, и чем больше он смотрел, тем яснее ему становилось, что сегодня этот клин увеличивает не только силу немцев, но и слабость их. Конечно, завтра они могут развить успех и превратить свой клин в разящее оружие против обороняющего высоту батальона. Но сегодня этот клин очень непрочен и очень уязвим с флангов, в частности со стороны высоты, если... если полк будет действовать, а не выжидать.

Он взволнованно обдумывал возможный контрудар по немецкому клину, когда ему доложили о том, что сержант и два бойца из второго батальона прорвались на дрезине из окружения и сержант просит доложить о них капитану Каменскому.

— Окружение! Окружение! — буркнул Каменский. Само слово было ненавистно ему, и вся история разгрома второго батальона раздражала и возмущала его. — Давайте их сюда, — добавил он неохотно.

Когда Бобрышев, Митя и Кочарян вошли в блиндаж, они увидели в скудном свете керосиновой лампы умное и усталое лицо с покрасневшими глазами и недоброжелательной усмешкой.

— Еще из окружения? — спросил капитан, морщась.

— Так точно, товарищ капитан, прорвались через немецкое расположение на трофейной дрезине с десятью трофейными автоматами! — отрапортовал Бобрышев, несколько не смущаясь недоброжелательством капитана. — Заняли с боем разъезд и вывели в безопасное место два орудия. Прошу приказаний, как поступить с орудиями и бойцами.

Каменский встал, подошел к Бобрышеву, взял его за плечи и заглянул в его молодые, счастливые, смелые глаза. Потом он так же изучающе оглядел Кочаряна и Митю.

— А говорят — деморализованы! — со злостью сказал он. — Да с такими людьми...

Оборвав себя на полуслове, Каменский подвел Бобрышева к карте:

— Показывай, как и откуда шли, где орудия.

Бобрышев показал путь, пройденный им, и сдержанно рассказал о том, как ему удалось вывести орудия, а Каменский сначала внимательно слушал и отмечал на карте путь Бобрышева, а потом откинулся назад и задумался. В его лице отражалась смена противоречивых мыслей и чувств. Бобрышев замолчал.

— Ясно! — сказал капитан и весело потрянул головой. — Ну, спасибо, товарищи. Петров, дай-ка мне штаб! — крикнул он телефонисту. — Так вот, товарищ Бобрышев, идите поесть и отдохнуть. Скоро вы мне понадобятся.

Выходя, Бобрышев обнял Митю и шепнул:

— Митюша, друг... сделали, а?

Митя детским движением на миг прикоснулся щекой к щеке Бобрышева и высказал то, что переполняло всех троих:

— Главное, не зря делали...

Затем они повалились спать. В те несколько минут, что отделяли Митю от глухого блаженного сна, он еще раз с удивлением перебрал все события минувшего дня. Вот он ползет по болоту с Пахомовым и Кочаряном, цепляясь за кочки и то и дело проваливаясь в хлюпающую черную жижу... Вот Кочарян метким выстрелом снимает часового на платформе, а Митя бросает связку гранат в освещенное окно створжки, где преспокойно ужинают и пьют шнапс немцы... Вот он ходит по завоеванному разъезду, сам себе не веря, что захватил его так быстро,

подсчитывает трофейные автоматы, вместе с Кочаряном проверяет исправность дрезины и страшно волнуется, потому что Бобрышев с орудиями запаздывает... А потом происходит встреча, и все, конечно, довольны, но Бобрышев и его бойцы так измучены и озабочены, что ни одного радостного слова не сказано... Митя помогает задыхающимся от усталости бойцам тащить орудия, спускать их с насыпи, укрывать в лесу...

Будничность встречи взволновала Митю, отсутствие похвал как бы ставило его в один ряд с Бобрышевым и другими подлинно военными людьми: ведь и Бобрышев ни от кого не ждал похвал и не думал ни о чем, кроме дела, добровольно взятого им на себя... А потом Бобрышев сказал, что надо прорываться к Каменскому, иначе спасение орудий бессмысленно, и, подойдя к немецкой дрезине, подумал вслух: «Пожалуй, на дрезине быстрее всего...» Одна дерзость влекла за собой другую. Митя уже не удивлялся плану Бобрышева, так как впервые полностью верил в свои силы. И они на полной скорости прорвались через две линии — немецкую и свою, припав к трясущейся платформе дрезины, которая неслась в темноте сквозь перекрещивающиеся трассы пуль...

Митя не мог сообразить, успел ли он поспать или только задремал, когда связной Каменского растолкал его, повторяя:

— Капитан срочно требует. Капитан срочно требует.

Когда все трое вскочили, связной добавил шепотом:

— Приведитесь в порядок. Там командующий фронтом... — И совсем тихо: — Климент Ефремович...

Появление Бобрышева новым, наглядным образом подтвердило уверенность Каменского в том, что сейчас нужны дерзость и выдумка, дерзость и настойчивость. Он обрадовался Бобрышеву прежде всего потому, что это был человек, действовавший так, как хотелось действовать самому Каменскому. Уже потом он обрадовался реальной поддержке, которую могли оказать батальону два орудия и пулеметный взвод — обстрелянные, энергичные, вдохновленные удачей люди. Но как использовать эту поддержку?.. Орудия укрыты в лесу в центре неприятельского клина. Если они начнут бить оттуда, это, конечно, вызовет у немцев переполох... но надолго ли? И боезапас при орудиях на исходе... Тащить орудия из лесу в расположение батальона можно только под самым носом у немцев, да и то обходом, что займет хорошие сутки... А что,

если не делать ни первого, ни второго, а сделать самое лучшее — третье?..

Когда он отпустил Бобрышева отдыхать и сообщил начальнику штаба полка свой план в тех общих чертах, в каких это можно было сделать по телефону, начальник штаба с раздражением ответил:

— Экое ослиное упрямство! Мне дыры затыкать нечем, а вы...

Каменский даже не рассердился. Он опустил голову на руки и сразу полно ощутил собственную усталость, и боль в сердце, и тупое равнодушие к смерти. А ничего другого, кроме смерти, не сулила пассивность в часы, когда спасти положение могла только смелая, до мелочей продуманная, но отчаянно смелая вылазка... Смерть? Ну что ж, значит умрем, как умирают солдаты, дорого продавая свою жизнь... Но зачем? Зачем умирать, когда можно действовать, бороться, побеждать?

Он вдруг так ясно представил себе эту запрещенную, желанную операцию, — представил не в общих чертах, а во всех подробностях, в движении и действии людей, техники...

Если бы сейчас появился командир понимающий и решительный, Каменский мог бы доложить свой план убедительно и точно. Он мысленно вычертил на карте этот план и подсчитал все силы, которые нужны для его проведения. Конечно, Самохин получит задание, требующее выдержки и смекалки... и этот Бобрышев тоже... Вот какие воины у нас уже выросли за неполных три месяца войны!..

Каменский любил своих людей и берег их. Он не колеблясь бросил бы их в задуманное им рискованное дело, — на то и война, чтобы драться и жертвовать собой, когда нужно. Он знал, что из операции не вернуться многие. Но это будут жертвы, оправданные победой. А сейчас томительно больно думать о командирах, о бойцах своего батальона, обреченных пассивной тактикой штаба на бесперспективное, постепенное уничтожение... «Нет, так нельзя. Я командир. Я обязан сделать все, что зависит от меня!»

Он набросал сжатое, в энергичных выражениях, письмо и отправил его с ординарцем командиру дивизии полковнику Калганову. Он не знал его, но верил, что Калганов должен понять и заинтересоваться. Ведь речь

идет о самом важном, о самом дорогом,— о Ленинграде идет речь!

Через час позвонил командир полка, и Каменский ответил ему дрогнувшим от волнения голосом, вдруг предположив, что письмо уже одобрено Калгановым и командир получил приказ. Но у командира полка были свои вопросы и заботы. На попытку капитана заговорить о своем плане командир полка ответил с досадой:

— Брось, Леонид Иванович, не до того сейчас...

— Не до того?! — Вдруг заорал Каменский и стукнул кулаком по столу так, что стол затрепал. — А что люди помереть должны бессмысленно из-за пассивности твоего начальника штаба, этого самодовольного тупицы...

Командир полка ответил примирительно:

— Психуешь, Леонид Иванович, и зря, не время сейчас счета сводить...

Но Каменский закричал, не дослушав:

— Время такое, что высоту защищать нужно, Ленинград защищать! И когда я знаю, что я прав, наплевать мне на всех, кто мне палки в колеса ставит!

Он расправил ушибленный при ударе кулак и хотел помахать им в воздухе, чтобы унять боль, но в ту же секунду, весь подтянувшись, распрямил вдоль тела привычно напряженившуюся руку. Вторая рука, бросив телефонную трубку, вытянулась тоже. И лицо его напряглось и застыло: в дверях блиндажа стоял командующий фронтом.

— Горяч! — одобрительно сказал командующий, мягким движением отвел официальный рапорт и сел к столу, повернув к себе карту. — Так! — проговорил он, взглядом охватив обстановку. — Сосед подвел? Неприятный клин получился... А кто это вам палки в колеса ставит?

Решимость, радость и жаркая надежда преобразили лицо Каменского.

— Товарищ командующий, я не боюсь смерти, но умирать бесславно и бессмысленно не хочу! — страстно сказал он. — Я хочу дела и вижу возможность такого дела...

— Что вы предлагаете?

Каменский взял красный карандаш и пунктиром обозначил путь, проделанный два часа назад Бобрышевым.

— Сегодня вечером группа бойцов с двумя орудиями прошла вот так, уничтожив на разъезде десяток автоматчиков и временно овладев разъездом для обеспечения

прохода орудий. Орудия спрятаны вот здесь. Доставить их ко мне, пожалуй, невозможно, да и нецелесообразно, если принять мой план. При условии артиллерийской поддержки и небольшого подкрепления людьми и танками, хотя бы двумя-тремя, — умоляюще добавил он, — я посылаю ударную группу с автоматами и пулеметами в тыл противнику вот этим путем. — И он провел жирную красную черту рядом с пунктиром, но в обратном направлении, завернув ее дугой вдоль речки и стрелами определив места ударов. — Если к моменту проникновения ударной группы в эту точку наша артиллерия откроет огонь по этим квадратам, а отсюда... — его карандаш уткнулся в позиции третьего батальона и провел изогнутую стрелу, — а отсюда рванутся танки с десантом автоматчиков...

Командующий поглядел на часы и в тон Каменскому добавил:

— И это должно произойти сегодня на рассвете.

Искоса оглядев капитана, потрясенного оборотом дела, командующий приказал вызвать к проводу командира дивизии. Лицо его приняло жесткое и недоброе выражение.

— Командир дивизии, кому вы докладывали план, предлагаемый капитаном Каменским?.. Вот и плохо, что не успели... Что же, мне за вас поспевать нужно?.. Только что получили? — Его лицо подобрело. — Так вот, товарищ полковник, совершенно с вами согласен: хороший, своевременный план. Командовать прикажите Каменскому. Сообразите, какие силы вы можете ему подбросить... Ничего, захотите — наскребете... И не к утру, а в два часа они должны быть здесь. Приказ получите.

Он улыбнулся Каменскому, но улыбка не сгладила, а подчеркнула и возраст его, и непосильную озабоченность, и непреходящую тревогу, и бремя ответственности. Каменский мельком вспомнил ходившие по фронту слухи о том, что командующий, вопреки всем правилам, сам появлялся на переднем крае там, где особенно плохо, а в отчаянные минуты даже водил людей в контратаки. Было так или не было?.. Пожалуй, могло быть; его военный и человеческий опыт таков, что могло и быть. Тем более когда под ударом все, чем он жил и ради чего жил. Отстоять — или погибнуть в бою... Может, и сейчас он ухватился за дерзкий замысел неизвестного комбата, как за соломинку? И его появление здесь, без сопровождающих

старших командиров данного участка фронта, свидетельствует о том, что положение еще отчаянней, чем представляется Каменскому?..

Но командующий заговорил живо и напористо:

— Ваш план пришелся кстати, капитан. На рассвете мы начинаем контрудар вот здесь. — Он ткнул карандашом в соседний участок фронта. — Ваша операция собьет немцев с толку и поддержит соседей. Инициатива и дерзость — вот что сейчас нужно! Если вы... — Он оборвал мысль, с удовольствием спросил: — А где эти ваши молодцы, которые спасли орудия? Вызовите-ка их сюда.

И начал диктовать адъютанту распоряжения. Иногда он замолкал и щурил глаза, как бы прикидывая, насколько рискованна переброска с другого участка фронта тех небольших сил, что он хотел выделить Каменскому, и тогда в его лице еще яснее проступали озабоченность и усталость.

— Три танка, — грустно сказал он. — Но зато к ним — отряд балтийцев. Только что прибыли. Золотой, бесстрашный народ... Матросы! — Он помолчал, как бы колеблясь и жалея пустить в бой тех, о ком думал. — И еще подкинем вам рабочую коммунистическую роту. Питерских рабочих-большевиков... Поберегите их, — сказал он совсем тихо, и это был не приказ, а просьба сжатого горем сердца.

Сержант Бобрышев с бойцами Кудрявцевым и Кочаряном вошли в блиндаж и вытянулись у порога. Взгляд командующего задержался на Бобрышеве.

— А я вас знаю, сержант. — Безошибочная зрительная память без усилий подсказала ему время и место, и отеческая ласка осветила его лицо. — Вы быстро сдержали свое обещание, товарищ. Хорошо сдержали.

3

Второй день по железной дороге шли эшелоны к Ленинграду. Немцы подтягивали резервы для штурма. Перед воинскими составами проходили поезда с порожняком. Охрана была удвоена, и вечером лучи прожекторов то и дело ощупывали все подступы к мостам, задерживаясь на каждой подозрительной кочке.

Ольга, Гудимов и Иван Коротков лежали в болотистой низине неподалеку от железнодорожного полотна.

Сперва Ольге казалось, что она выбрала сухое местечко, но как только тело вдавилось в мох, холодная влага подступила к нему, пропитала одежду, затекла в сапоги.

Подползли подрывник Трошин и комсомолец Женя Орлов, один из верных помощников и давних приятелей Ольги.

— Все готово,— сказал Трошин. — Товарищ Гудимов, мы будем подтягиваться к мосту. Пока вашего взрыва не услышим — не сунемся.

— Все будет чудненько! — добавил Женя, и глаза его блеснули. — Им на несколько дней хлопот хватит.

— Ленинграду, может, несколько дней и надо,— сказал Гудимов задумчиво. — Идите, друзья, только осторожно!

Задача Жени Орлова и Трошина состояла в том, чтобы воспользоваться суматохой, вызванной крушением, по воде подобраться под мост и взорвать его.

— Идите,— повторил Гудимов и пожал обоим руки. — Ну что ж... — Он не закончил, поцеловал Женю, потом Трошина.

Ольга тоже поцеловала обоих. Женя засмеялся:

— Ишь как у тебя нос посинел...

Он был растроган и не хотел показать этого.

Ольга смотрела, как Трошин и Женя ползли по болоту, пока сумерки не поглотили их неясные силуэты.

— Слышу поезд,— шепотом сообщил Коротков.

Все молча разобрали свой груз и приготовились. «Может быть, это мой последний день»,— подумала Ольга, продевая руки в лямки мешка.

Издали по рельсам неслось тонкое гудение — как гудение комара. Потом оно стало отчетливее, далекий гудок прорезал тишину. Уже слышно было пыхтение паровоза.

— Приготовиться! — шепнул Гудимов.

Поезд пронесся мимо, громяхая порожними вагонами. Гудимов пополз к насыпи. Коротков и Ольга поползли за ним. Теперь Ольге не было ни страшно, ни холодно, только трудно всползать по насыпи. Гудимов был уже наверху, торопливо закладывая мину. Вот к нему присоединился Коротков. «Что же я? — с ужасом подумала Ольга, борясь с оползающим гравием и тяжестью мешка. — Подвожу?» Но Гудимов уже протягивал руки.

— Давай,— услышала она его шепот,— копуха!

Он сам заложил мины. Ольга лежала рядом, тяжело дыша.

— Назад! — отчаянным шепотом крикнул Гудимов и столкнул ее с насыпи.

Она покатила вниз и услышала басистый гул приближающегося состава, похожий на тяжелое гудение шмеля.

— Бегом!

Они побежали в полумраке, спотыкаясь о корни, проваливаясь в ямы. Ольга упала. Гудимов подхватил ее и грубо подтолкнул вперед, уже не отпуская ее плеча. Потом Гудимов швырнул ее на землю и крикнул:

— Лежи!

Разбрасывая красные искры из топок двух паровозов, мчался длинный темный состав. На платформах смутно виднелись контуры больших предметов под чехлами. Орудия? Танки? Она не успела понять, потому что страшный грохот потряс воздух и толчком отдался по земле. Затем — еще грохот, скрежет, красное пламя, протяжный крик, взрывы, тяжелые удары падающих под откос платформ...

— Славно! — сказал Иван Коротков.

— Поползли! — приказал Гудимов.

Позади продолжались взрывы и беспорядочная стрельба наугад.

Прожектор у моста шарил по земле, по кустам, по краям откоса.

— А наши... наши... — шепнула Ольга так тихо, что ее никто не услышал.

Они доползли до леса и побежали, оглядываясь на вспыхивающие пламени в стороне железной дороги. До реки было уже недалеко, когда новый грохот раскатился по лесу, гулко повторенный эхом. Ольга первой выбежала к реке и увидела в отсветах пламени медленно, как будто задумчиво падающие в воду черные переплеты взорванного моста.

— Пошли, — через некоторое время сказал Гудимов, — тут где-то недалеко ручей. Возле него встреча.

У ручья они вымылись, напились, поели сухарей.

— Пора бы им, — сказала Ольга. Но никто не ответил ей.

Они ждали до рассвета.

— Доблестная, славная смерть, — вдруг сказал Гудимов и снял шапку.

Они постояли немного, глядя на колючие контуры разбитого моста, все яснее выступавшие в блеклых лучах рассвета.

— Надо идти, товарищи, — напомнил Гудимов.

И они пошли, не глядя друг на друга.

А на узловой станции скапливались немецкие эшелоны, для которых не было пути.

4

Алексей крепко спал, когда его растолкали и позвали «сроченько» к комбату. Яковенко молча протянул приказ: по приказу командующего фронтом... три КВ с лучшими боевыми экипажами, имеющими опыт наступательных операций... немедленно в распоряжение комбата капитана Каменского...

— Как во сне, — пробормотал Алексей. — Это ж тот самый капитан...

— Видать, стоящий капитан! По приказу командующего фронтом...

— Ей-богу, как во сне, — повторил Алексей и бросился будить экипаж.

Три мощных танка прибыли в распоряжение первого батальона на пять минут раньше назначенного срока. В темноте они обогнали быстро шагавшую пехоту. Алексей высунулся из люка и спросил:

— Кто такие?

— Рабочая коммунистическая рота, — с гордостью ответил тихий голос.

Боец с флажком вынырнул из мрака:

— Товарищ командир, заворачивайте за мной под деревья. Капитан приказал замаскировать машины, а вам явиться к нему.

На командном пункте царил особая атмосфера сдержанности, строгости и нервного подъема. Перебрасывались короткими репликами, курили одну папиросу за другой. Но не было ни бестолочи, ни ругани. Прибывших командиров встретил комиссар:

— Садитесь, товарищи, я вас познакомлю с обстановкой.

Каменский вошел в середине сообщения комиссара, просиял, увидав знакомое лицо танкиста, и, подойдя к Алексею, сжал его руку, но ничего не сказал, а сразу

подхватил заключительные слова комиссара — «такова обстановка»:

— А теперь задача...

И стал сжато рассказывать общий план операции.

В это время прибыл командир отряда морской пехоты Стеценко. Он был в армейской форме, но что-то неуловимое — в манере держаться, в походке — выдавало иную, неармейскую выправку.

— Очень хорошо, — сказал, увидав его, Каменский. — Сейчас ваши бойцы получают ужин, а затем пойдете на исходную позицию, вот сюда, — он показал на карте отмеченную точку левее высоты. — С вами будут три танка КВ. В четыре сорок пять артиллерия с линкора должна дать вот по этому квадрату свой балтийский огонек, и одновременно начнет работать наша артиллерия. Вы подтягиваетесь вперед и в пять ноль-ноль, сразу за огневым валом идете в стремительную, — он подчеркнул это слово, — атаку. Танки вырываются вот здесь и расчищают вам путь. Как надо сегодня драться, товарищи, учить вас не буду. Операция должна быть блестящей и быстрой. О начале атаки я оповещу двумя красными ракетами вот отсюда, — его карандаш уверенно ткнулся в тыл немецких войск, — следите за ними. Но даже если ракет не будет, все равно действуйте. Но тогда помните, что от вас зависит все целиком. Предупреждаю на всякий случай. Потому что ракеты будут.

Он с удовольствием встретился глазами со Смолиным и Стеценко, потом внимательно поглядел на командира коммунистической роты Васильева. Вид у него был штатский. Васильев, видимо, совсем забыл, что ему не полагается сидеть ссутулившись и подперев щеку рукой. Но внимательный и задумчивый взгляд Каменского заставил его встрепенуться.

— Мы вас не подведем, — сказал Васильев.

— Подводить вам нельзя, — сказал Каменский. — Перепечко, приведи сюда бойцов, что прибыли с Бобрышевым! — крикнул он и снова вернулся к мыслям о роли коммунистической роты в эту боевую ночь. — Мы до утра значительно ослабляем наш передний край. Основные силы я посылаю для удара с тыла и для атаки слева, где действуют моряки и танки. Оборону высоты держит коммунистическая рота вплоть до успеха операции. Если немцы вздумают что-либо предпринять раньше нас, при-

дется трудненько. Рота еще в боях не была, зато — ленинградцы, рабочие, коммунисты...

— Удержимся,— сказал Васильев. — А в самой операции разве мы не будем участвовать?

Он спросил это с оттенком обиды, а Каменский вспомнил тихую просьбу командующего и ответил уклончиво, стараясь не обидеть командира роты:

— Вам, ленинградцам, доверена высота, ключ к Ленинграду. А где горячее будет, сказать пока нельзя. Тут, на КП, мой комиссар командовать остается. По обстановке решите.

— Ты окончательно решил идти сам? — быстро и зло спросил комиссар.

— Да,— отрезал Каменский и обернулся к входящим бойцам.

Среди чудес этой ночи Алексей не особенно удивился встрече с Митей. А Митя в порыве радости чуть было не бросился обнимать родного человека, но сдержался.

— Вы будете нашим проводником, товарищ Кудрявцев,— сказал ему Каменский и улыбнулся: — Вы же здесь на даче жили, верно?

— Так точно, товарищ капитан! — с лихостью, какой никогда не знал за собой раньше, ответил Митя.

— А вы, товарищ Кочарян... — Каменский запнулся, мимолетным движением коснулся плеча бойца. — Я слышал, у вас особые счеты с фашистами. Я вам поручаю очень ответственное и тяжелое задание. Вы пойдете сейчас по тому самому пути, по которому пришли сюда. Возьмите с собой зажигательные пули. Пробраться ночью одному человеку до совхоза не составит особого труда. Ваша задача... Стреляете вы хорошо?

— Охотник.

— Так вот, вы подберетесь к совхозу. По данным воздушной разведки туда, на тракторный двор, немцы перекинули свою передовую базу с горючим. Ясна вам задача?

— Ясна, товарищ капитан. Уничтожить.

— Уничтожить,— повторил Каменский. — Очень большое дело сделаете, товарищ Кочарян. Если вам удастся, скроетесь где-нибудь и дождетесь своих. Не удастся — даром жизнь не отдавайте.

— Дорого отдам,— сказал Кочарян, блеснув глазами. — Разрешите исполнять?

Каменский пожал ему руку и на миг задержал ее,— он любил хороших солдат, и ему было томительно тяжело рисковать ими.

Кочарян козырнул, потом поклонился всем по-народному низко и неторопливо вышел.

— Через пять минут тронемся,— сказал Каменский Мите, подавляя вздох. — Может, мы и отобьем его...

Митя протиснулся к Алексею и сжал его локоть.

— Алеша,— зашептал он,— я не успел написать Марине... Марии Николаевне... Сегодня мы с этим армянским разезд захватили. А сейчас я пойду проводником туда, в тыл. Если что, Алеша, ты расскажи ей. Я не хвастать, а ей очень важно знать. Она поймет, почему...

— Знакомцы? — воскликнул Каменский, подходя. — Ну, прощайтесь, если так, нам пора. Большой тебе удачи, танкист! — Он отошел, притянул к себе комиссара. — Не сердись, друг... Честное слово, мне надо идти самому. И ты это знаешь не хуже меня.

5

Около часу ночи, в разгар воздушного палета на Ленинград, старший лейтенант Гладышев получил приказ приготовиться к стрельбе всеми тремя орудиями. Он привычно ответил:

— Есть приготовиться к стрельбе!

Башня была в полной готовности, а люди в башне только и ждали приказа открыть огонь.

В последние дни немецкие бомбардировщики много раз налетали на линкор и пикировали на него один за другим с интервалами в несколько секунд, так что зенитчики не имели времени встречать самолеты на подходе и окружали корабль сплошной завесой огня. От близких разрывов бомб корабль содрогался, а вода вокруг него кипела. В короткие перерывы между налетами краснофлотцы бежали покурить на полубак, но обычного оживления там не было,— воспаленные от бессонной и напряженной работы глаза устремлялись к Ленинграду. С полубака открывался вид на город, и было томительно горько глядеть на потревоженное ленинградское небо, усеянное дымками зенитных разрывов, и на неравные воздушные бси, и на взлетающие над домами черные столбы взрывов, и на дымы пожаров. Особенно тяжело

было смотреть на Ленинград почью, когда над ним колебалось оранжево-красное зарево, а временами, как огненный дождь, рассыпались огоньки зажигалок. Ночью зенитчикам линкора не разрешалось вести огонь по самолетам, чтобы не выдавать позицию корабля, и вынужденное бездействие томило людей, усиливало их ярость, и боль, и жажду боя. Когда главный калибр готовился к стрельбе и по всему кораблю снимали плафоны и вывинчивали лампочки, возбуждение охватывало всех, и тяжелые залпы сопровождались гневными напутствиями: «Так их... еще! По-балтийски!..»

Леня Гладышев любил свою точную артиллерийскую специальность и еще на учебных стрельбах до войны испытывал острое наслаждение от удачного залпа, от безукоризненного расчета. Но никогда он не ценил и не любил свое дело так, как в последние дни, когда, выполняя задания фронта, бил по наступающим немцам. Совсем недавно он просился у начальства на сухопутный фронт и завидовал своему приятелю Стеценко, посланному командиром отряда морской пехоты: воюет парень, по-настоящему воюет, бьет врага!.. Теперь он сам бил врага всей мощью своих тяжелых орудий, бил его на самых решающих направлениях, огневой стеной преграждал путь к Ленинграду. Иногда он вел огонь по невидимой цели, и только короткое красноармейское «спасибо» да лаконичные сообщения корректировщиков подтверждали меткость его огня. Но случалось стрелять и на близкую дистанцию прямой наводкой, и в стекла стереотрубы он мог наблюдать движение немецких колонн и черные смерчи разрывов своих снарядов, смерчи, подбрасывавшие в воздух, как невесомые игрушки, тяжелые немецкие танки и стволы разбитых пушек... И к радости успеха примешивалась тоскливая тревога, потому что все это происходило вот тут, рядом с Ленинградом, почти в черте города, и с борта корабля было страшно и невероятно смотреть на знакомый берег, затянутый дымом сражения...

Сегодня на рассвете предстояла стрельба по невидимой цели — по узкому немецкому клину, врезавшемуся в расположение советских войск на подступах к Ленинграду. Леня радовался, что линкор стоит носом к цели и поэтому именно его башне выпала задача помочь контрудару защитников Ленинграда балтийским

«огоньком». И так как все было готово, он решил побеседовать со своими людьми о предстоящей задаче.

— В Ленинграде два пожара, — сказал командир левой пушки Ларионов и стиснул челюсти, как от сильной боли.

— Зенитчики говорят: правее порта большой взрыв был, тонну сбросили, — добавил горизонтальный наводчик Смирнов.

«Кого тут агитировать? — подумал Гладышев. — Злость у всех, душа просит мести... только и успокаиваются немного, когда ведем огонь...» Он с тревогой вспомнил Лизу. Как-то она там, бедняжка? Одна, в маленькой клетушке заводского коммутатора... Или сегодня не ее дежурство и она где-нибудь в полутемном подвале прислушивается к шумам боя, бледненькая, сжавшись в комочек? Ее завод как раз правее порта... Неужели именно там упала тонна?.. Соня шутила: «Немцы всегда мажут. Самое безопасное во время налета — находиться на военном объекте!» А Лиза тихо сказала: «Главное — это быть не одной, на людях...» Ей-то, бедняжке, чаще всего приходится быть одной...

Он вышел на палубу и увидел над городом бледное зарево, придавленное тусклым светом занимающейся зари. И еще он увидел, что по небу плывут низкие рваные облака и по воде предутренний ветерок гонит легкую рябь.

Он поднял голову к планшетному мостику, чтобы перекинуться приветствием со своим другом Леной Шевяковым, если тот не спит. Но в это время колокола громкого боя возвестили о новом налете на линкор, и Гладышев кинулся на свой пост, ловко лавируя среди разбегающихся по местам краснофлотцев. Задраивая дверь башни, он услышал голос Лени Шевякова, усиленный мегафоном:

— Правый борт тридцать, пикировщик пятьдесят, четвертая завеса, залп!

И тотчас над головой дали залп зенитки.

До назначенного срока стрельбы оставалось пятьдесят пять минут. Что бы там ни было, через пятьдесят пять минут башня откроет огонь. Только бы зенитчики отбили... Только бы ничто не помешало... И, стараясь представить себе, что сейчас творится наверху, он с особой надеждой пожелал успеха своему названному брату и его товарищам.

Леню Шевякова тревога застала на мостике, потому что уже несколько дней он не спускался ни в свою каюту, ни в кают-компанию и успел забыть, как спят в койке

и обедают за столом. Даже во сне, в перерыве между налетами, ему мерещились «юнкерсы», с воем несущиеся на него сквозь огонь, чаще всего ненавистные Ю-87 — «горбыли», исключительно противные по внешнему виду самолеты, горбатые, с хищно выгнутыми крыльями и с гнусными повадками: они на большой высоте выходили прямо в цель, так что зениткам приходилось работать на предельном угле возвышения, и камнем шли вниз. Леня просыпался оттого, что во сне огневая завеса казалась призрачной, бесполезной. Злился, что проснулся до времени, и, снова засыпая, прикидывал, как чередовать огневые завесы, когда пикирует много самолетов, как бить вернее. При встречах он посмеивался над Ленией Гладышевым: «Тебе что! Тебе думать не надо. Дали координаты — и пали!»

Зенитное военное искусство было молодо, оно не поспевало за ростом скоростей в авиации и, главное, требовало молниеносной быстроты в принятии решений, мгновенных расчетов, превосходной отработанности каждого движения у каждого бойца и совершенного взаимопонимания, потому что ни раздумывать, ни объяснять, ни повторять приказание было некогда. Несколько минут, а иногда и несколько секунд длилось отражение пикировщиков, и в эти несколько насыщенных минут или секунд полностью проявлялись все качества и недостатки людей и техники, все способности и слабости командиров, все результаты длительной учебной подготовки к этим мгновениям боевого действия. Леня Шевяков считался на линкоре хорошим командиром батареи; его батарея неплохо отражала налеты и сбила три «юнкерса». Но сам Шевяков был недоволен и батареей, и самим собой: ему казалось, что стрелять можно гораздо эффективнее, если додуматься до каких-то новых решений. Он ждал налетов, как проверки своих мыслей, не помня ни об опасности, ни об усталости, одержимый одной командирской страстью — научиться бить точно, усовершенствовать свое искусство. Во время ночных налетов на город он стоял на мостике без видимого дела, стиснув пальцами поручни, и следил, следил, не отрываясь следил за стрельбой зенитчиков в городе и на подступах к нему, ловил их мельчайшие промахи, старался понять все уловки вражеских самолетов и сопоставлял их с теми приемами, какие ему самому удалось подметить в бою. И думал, думал, неотступно думал все о том же: чего я еще не понимаю, что я делаю не

так? После первых же боев и Шевякову, и другим зенитчикам стало ясно, что при звездных налетах на корабль командиру батареи не управиться с централизованным управлением огнем, так как каждая пушка и пулемет имеют свою задачу в своем секторе. Командир дивизиона приказал переходить в таких случаях к самостоятельному отражению поорудийно. Шевяков на ходу научил командиров орудий действовать с полной самостоятельностью. И вот они действовали сами, действовали хорошо, отразили все атаки на корабль, но Шевякову этого было мало, ему хотелось сбивать, уничтожать, загонять в воду проклятые «юнкеры»; а это удавалось редко, потому что рассеянный во все стороны огонь создавал заградительную завесу, но не мог преследовать и добивать врага, — не хватало ни времени, ни огня... Что же тут недодуманно? Что можно и нужно делать?

И вдруг он встрепнулся и поднял глаза к небу, где столько раз видел врагов. Проведенные им и, казалось, проанализированные со всей тщательностью бои представились ему по-новому. Он снова увидел в пустом, медленно светлеющем небе те группы самолетов, с которыми он сражался вчера, и позавчера, и три дня назад, восстановил в памяти их маневры, их боевые порядки и темпы их атак — и как-то вдруг понял ускользавшую раньше суть их тактики.

Словно для того, чтобы дать ему возможность проверить свою догадку и испытать вытекающие из нее боевые решения, немецкие бомбардировщики снова появились в воздухе. Они шли двумя большими группами. Одни заходили с носа, другие — с кормы. Их контуры были еще смутны, но на серой зарябившейся воде неподвижная громада линкора должна была вырисовываться достаточно четко. На группу, заходившую с кормы, Шевяков не глядел, — ее было кому принять. Ему предстояло отразить нападение в районе носовой части корабля, и он дал орудиям первые данные для стрельбы, продолжая наблюдать движение самолетов и пытаясь угадать замысел атаки. Самолетов было около сорока, и они шли все вместе, но потом стали разделяться на две неравные группы. Меньшая группа стремительно понеслась на линкор справа по носу, а ббльшая группа взяла влево.

Так и есть!

Он скомандовал переход на самостоятельное отражение, и командиры орудий открыли огонь по своим секто-

рам. Первые пикировщики уже провыли мимо корабля, поспешно сбросив бомбы в воду, и тут Шевяков решился на дерзкое новшество. Он закричал в мегафон, перегнувшись через борт мостика:

— Средняя и левая, сектор два!

Пушки мгновенно, но как-то удивленно развернулись направо, огонь всей батареи встретил пикирующих по правому борту «юнкерсов», и Шевяков увидел, как один из самолетов будто столкнулся со снарядом... Противный «горбыль» так и не вышел из пике, а пронесся со свистом над кораблем и врезался в воду. Этого Шевяков уже не видел. Он следил за группой самолетов, заходивших справа. Они прятались за облаками, стараясь подойти скрытно, и Шевяков обрадовался, что его догадка верна: правая, меньшая, группа имела задачу отвлечь внимание и принять на себя часть огня, а основная задача — нанести мощный бомбовый удар — возложена на левую, большую группу. И поэтому нужно было как можно скорее отогнать, деморализовать группу отвлечения.

Пушки дружно встречали пикировщиков, пулеметы подхватывали очередную мишень и провожали ее, когда самолет выходил из пике. Шевяков с торжеством отметил, что некоторые самолеты не сбрасывают бомб, а делают ложное пикирование «для испуга» и группа рассеивается, торопясь уйти от сильного огня... А левая группа уже подходила, и Шевяков довольным голосом приказал средней и левой пушке повернуть к своим секторам, а затем, когда первый самолет пошел в пике, азартно закричал:

— Правая, перейти на левый борт!

И сосредоточенный огонь заслонил корабль от основной группы атакующих.

— Что, не вышло! — прохрипел Шевяков. — Разгадали вас?

Эта радость мелькнула и забылась, потому что только часть бомбардировщиков отворачивала, не выдержав огня, остальные пытались дотянуть до корабля. Бомбы падали так близко, что даже на мостике обдавало водяными брызгами, а по палубе плясали осколки.

Осколком ранило командира орудия старшину Дубровского. Он упал, к нему кинулись было на помощь, но он закричал так злобно, что его бойцы отскочили и продолжали делать свое дело, а Дубровский лежал в луже крови и командовал... Потом одновременно ранило на

правом орудий' наводчика и двух трубочных. Старшина Евграфов мигом переставил людей, взял со среднего орудия одного трубочного, так что орудие почти без запинки продолжало стрелять, и Шевяков самому себе крикнул: «Какие люди!»— и по темпу атаки отметил, что нападение второй, основной группы начинает выдыхаться... Но за его спиной, на корме, шла ожесточенная борьба с другой группой самолетов. Он оглянулся, чтобы понять, как там идут дела, и увидел пренеприятное окно в облаках прямо над кормой,— в это окно как раз вывалился горбоносый «юнкерс», окруженный вспышками разрывов. Черная точка оторвалась от «юнкерса», пошла вниз со страшной скоростью, с воем разрезая воздух... Потом выяснилось, что «юнкерс» так и не вышел из пике, а пылающим костром рухнул в воду. Но Шевяков ничего этого не видел, и даже стрельба куда-то отдалилась, и стало как будто тихо, только с воем летела прямо на него бомба...

Его обожгло горячим ветром, швырнуло назад и стукнуло головой о дальномер.

Очнувшись, он увидел корабль, окутанный дымом и вспышками, и самолеты, и свою батарею, и чутьем уловил, что его пушки не дали очередного залпа... Преодолевая боль в голове, он перегнулся через поручень и заорал сильным, не своим голосом:

— Продолжать огонь!

И отшатнулся, потому что орудия дали залп на предельном угле возвышения.

— Возле башни пожар,— сказал рядом дальномерщик. — Никак в башню попало...

Шевяков снова перегнулся, всем сердцем ощутив: «Леня Гладышев!»— и разглядел сквозь густой черный дым, вспоротый острыми ножиками пламени, развороченную броню, вдавленную внутрь башни толстыми рваными краями.

— Бомбардировщики по носу двадцать! — крикнул сзади наблюдатель.

И Шевяков сразу забыл и о несчастье с башней друга, и о боли в голове. Новая волна «юнкерсов» шла на корабль...

В носовой башне все орудия и все хозяйство башни были только что заново осмотрены, проверены в действии, подготовлены к стрельбе. Гладышев сидел на своей «го-

лубятне», посматривая на часы и прислушиваясь к звукам боя, когда раздался оглушительный грохот. Гладышеву показалось, что он убит или ранен, потому что его окружил беспросветный мрак, полный звонкого гула. Потом сквозь этот гул пробились стоны и другие звуки, и он понял, что не с ним, а с башней произошло несчастье. Он заставил себя подвять свое онемевшее, будто чужое, тело.

— Товарищ командир,— донесся до него тревожный, но сдержанный голос главного старшины,— в левой пушке что-то случилось. Ларионов стонет.

И одновременно снизу, из погребов, доложили, что все в порядке, а затем очень спокойный голос Захарова, видавшего виды старшины, сообщил, что в верхнезарядный погреб поступает вода.

Гладышев сразу пришел в себя.

Черный едкий дым мешал пробиться свету, поднимаемому из нижних отделений башни... Дым ел глаза, душил, сдавливая горло. Но страшнее всего было то, что он мог быть дымом пожара.

— Пожара нету?

— Нет, товарищ командир.

— Шувалов! — крикнул он командиру отделения электриков. — Вооружить свет!

— Есть! — возник голос Шувалова где-то рядом, и сам Шувалов появился в боевом отделении с аккумуляторным фонарем.

Они бросились вместе с главным старшиной к левой пушке, но тут дым был так густ и удушлив, что Гладышев приказал надеть противогазы и сам натянул на голову липкий резиновый мешок. Сквозь стекла противогаза в жидком свете, затуманенном дымом, он увидел большую пробоину в жестком барабане, пробоину, вдавившую внутрь башни грузные глыбы разорванного металла. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять: эти глыбы разорванной брони вклинились в стол башни и помешают ей разворачиваться. Но об этом пока и думать было некогда,— в густом дыму мелькали струйки огня, огонь мог просочиться вниз, в пороховые погреба. Где-то поблизости тихо стонал раненый, но сейчас и об этом нельзя было думать. Гладышев вылез в пробоину, притаптывая струйки огня, и увидел в дыру батарейную палубу, где уже суетились бойцы. Он приказал им подать шланги. Не успел он выкрикнуть приказание, как навстречу уда-

рила струя воды, поднялась и дождем полилась обратно, прибывая огонь. Горела парусина, укрывавшая орудия. Пламя уже перекинулось на краску, с шипением пробиралось внутрь башни через амбразуру левой пушки.

Из темноты и дыма по-прежнему спокойно доложил Захаров:

— Товарищ командир, была лопнувши пожарная магистраль. Перекрыли. Вода поступать перестала.

— Хорошо. Вооружить шланг, тянуть наверх.

Струя била снизу и опадала на горящую краску крупным дождем. Люди помогали воде, сбивая огонь ногами, бушлатами, а тут Захаров протянул второй шланг из верхнезарядного погреба, и Гладышев, подхватив шланг, направил сильную струю к амбразуре левой пушки.

Еще шипела вода на разгоревшемся металле, дымилась обгоревшая краска, но опасность пожара миновала. И теперь мысль Гладышева заработала в новом направлении: что и как сделать, чтобы в назначенное время башня могла вести огонь. В четыре сорок пять армия ждет балтийского «огонька». Ждет Ленинград... Надо сделать все возможное и невозможное...

Он еще не знал, каковы повреждения левой пушки (остальные, очевидно, целы), но ему было ясно, что вся башня не может разворачиваться, а следовательно и вести огонь по цели, пока не убраны вклинившиеся части брони. А как их уберешь за сорок минут? Дорезать автогеном? Тянуть тросами?..

Наверху еще продолжалась битва с пикировщиками, но и стрельба, и завывание пикирующих самолетов проходили мимо сознания Гладышева. Открыть огонь в четыре сорок пять — больше он ни о чем не думал и не мог думать. Он любил свою башню, но сейчас он осматривал ее сухим, изучающим взглядом, как врач осматривает и выслушивает больного: поднимется ли, будет ли жить?

Шувалов подтянул снизу переносную лампу, и в медленно рассеивающемся дыму выступило огромное неповрежденное туловище левой пушки, разорванная и свернутая жгутом палуба возле поста наведения башни и груды бесформенного металла на месте самого поста. Наводчик Смирнов сидел в седле, неподвижно склонившись к уже не существующему штурвалу.

— Убит Смирнов, — тихо сказал главный старшина.

Ларионов лежал у замка орудия, ухватившись рукой за поручень ограждения. Он уже не стонал, он тоже смот-

рел на пушку, и на пост наведения, и на неподвижную фигуру Смирнова. Лицо его было серо, и глаза туманились.

— Не трогай ноги! — невнятно сказал он санитарам. — Не тронь!

Он зарычал от боли, когда его переключивали на носилки, но все же поманил к себе командира и пробормотал:

— Правым... можно... правым...

Гладышев не понял, о чем это он, и только много позднее сообразил, что Ларионов тоже думал о предстоящей стрельбе и радовался тому, что вместо разбитого левого поста можно наводить башню правым запасным.

Оставалось тридцать восемь минут. Нужно было делать все сразу, одновременно, молниеносно, и Гладышев отдал приказания, расставив всех своих людей. Одни проверяли механизмы и кропотливо выбирали руками осколки, обрызгавшие их, другие подносили баллоны с ацетиленом и кислородом, третьи заводили тросы, четвертые убирали башню. Командир дивизиона подкинул бойцов из другой башни, и Гладышев поставил всех, кого можно было, к пробоеине — вытаскивать части брони. Это была тяжелая, грязная, мучительная работа. Автоген дорезал броню по местам разрыва, но неровные многопудовые куски металла было трудно основать тросами так, чтобы тросы не соскакивали; иные куски так крепко вклинились в стол башни, что их не вытащить было. Гладышев сам возился с тросами, кричал: «Раз, два — взяли!», тянул, напружинившись, неподдающиеся части брони, бегал к шпилькам проверять, всё ли в порядке: ему казалось, что шпильки плохо тянут. Пробегая по верхней палубе, он заметил, что воздушный налет кончился, но гораздо большее впечатление на него произвело то, что уже рассвело. Он позволил себе на миг задержаться, чтобы вынуть часы. Минутная стрелка подползла к семерке, оставалось десять минут.

Он помчался назад, мимо натянутых, медленно ползущих тросов, и навалился на вклинившийся кусок брони, подталкивая его руками. Мимо него с мостика провели под руки раненого, и он случайно увидел его лицо — мертвенно-бледное лицо Лени Шевякова. Позднее он с дружеским состраданием вспомнил его, но сейчас даже не понял, почему так странно идет Леня, зачем он здесь, —

все силы души и тела были прикованы к тяжелым колебаниям застрявшей брони.

Вряд ли помогла его сила, — наверное, раскачавшаяся броня вдруг выскочила из щели. Тросы поползли назад быстрее, и за ними потянулась кривая металлическая громадина, царапая палубу колючими краями.

Теперь на месте работ присутствовали и командир корабля, и старший артиллерист, и командир дивизиона. Гладышев даже докладывал им о принятых мерах и выполнял их приказания, но не чувствовал при этом ни робости, ни нервной подтянутости, испытываемой им обычно при старших начальниках. Сознание отбирало только суть происходящего и суть приказаний, помогающих делу. Оставалось семь минут... четыре... три минуты... одна... полминуты...

Именно полминуты оставалось, когда он кинулся в освобожденную для движения башню и сам ухватился за штурвал правого поста наведения, а затем осторожно повернул штурвал. Башня послушно пошла влево, беззвучно и плавно, как всегда. Гладышеву захотелось тотчас открыть огонь, но надо было проверить основательно, и он не спеша развернул башню и влево, и вправо, и снова влево...

Главный старшина стоял рядом, сияя какой-то внутренней улыбкой. Его голос был привычно сдержан:

— В порядке, товарищ командир. Разрешите прогнать зарядники?

Минут уже не оставалось, истекала уже половина новой минуты сверх срока, но нельзя было не проверить после аварии всю материальную часть: один застрявший осколок мог привести к взрыву, к гибели корабля. И Гладышев кивнул:

— Давай!

Он внимательно следил за тем, как сперва медленно, а потом быстро и без заторов проворачивались механизмы. Истекала четвертая минута сверх срока, когда он доложил на центральный пост:

— Товарищ командир дивизиона, к стрельбе двумя орудиями готовы!

Боевая тревога прозвучала для него как гимн победы, и он дал выход своей радости, закричав ненужно громко, торжественно, на всю башню:

— Подать боезапас! Орудия зарядить!

Митя лежал рядом с капитаном Каменским на влажном от росы бугорке в той самой снесенной снарядами роще, которую когда-то любила Мария за прохладную тень и прекрасный вид, открывающийся на поля и перелески.

Тяжелый безмолвный переход по лесу и по болоту остался позади, только ноющие от усталости, облепленные грязью мокрые ноги напоминали о нем. И еще вспоминалась тишина, плотная, насыщенная еле уловимыми звуками: шелестели осторожные шаги, сдерживаемое дыхание прорывалось у кого-нибудь коротким хриплым вздохом, поскрипывали ремни винтовок — и все. А шло несколько сот человек с пулеметами и легкими минометами.

Подле разъезда Бобрышев с группой бойцов отстал, чтобы выкатить из лесу орудия и в нужный момент ударить по разъезду, где уже снова копошились встревоженные немцы. Бобрышеву была поставлена задача — взять разъезд, оставить на нем пулеметчиков и стрелков для контролирования железной дороги, а остальными силами при поддержке орудий обрушиться на совхоз.

Мите очень хотелось попрощаться с Бобрышевым, но Бобрышев подошел в последнюю минуту, коротко условился с капитаном о плане действий и, не прощаясь, исчез в темноте.

Митя повел основной отряд в обход совхоза, полями. Начинало светать, и они шли согнувшись, а потом поползли.

— Стой, — тихо скомандовал Каменский. — Ложись.

Каменский выслал разведчиков. Они вернулись очень скоро.

Две немецкие батареи находились перед ними в нескольких сотнях метров. Орудия были повернуты в противоположную сторону, к фронту.

Каменский вызвал Самохина.

— Тебе — левую батарею. Главное — быстрота. Да проверь ноги у бойцов. Пусть хоть грязь обчистят, тяжело бежать будет.

— Уже приказал, — тихо ответил Самохин. И вздохнул: — Скорее бы!..

— Полчаса осталось. На отдых.

Самохин пополз назад к своей роте.

Каменский лежал, пристально вглядываясь в темное поле, которое предстояло пробежать в атаке.

— Кудрявцев, — позвал он, — ползи к Самохину, скажи: пусть возьмет левее того бугорка.

Когда Митя вернулся, Каменский по-прежнему пристально смотрел вперед. В блеклом свете лицо Каменского было красиво и строго. Митя доложил об исполнении и тихо лег рядом.

— Студент? — шепотом спросил Каменский.

Митя кивнул головой. Он подумал, что сейчас от студента в нем не осталось ничего, и ему было бы странно вернуться в аудитории, к учебникам, к прежним беспечным друзьям. Да и нет уже прежних друзей! Кто убит, кто ранен, кто затерялся на дорогах войны. Коля Григорчук, лучший друг... Кровь его стекала под локоть, и некогда было отодвинуть труп, и от запаха крови тошнило... Коля, самый способный студент со всего курса, мечтавший остаться при институте и работать над проблемами аккумуляции энергии, создать самозаряжающийся аккумулятор для подводных лодок...

Рассветный ветерок доносил с вражеских батарей голоса. Голоса были обыденные, уверенные... Убийцы и громилы, расположившиеся, как дома, на чужой, на нашей земле!.. С горькой злобой думал Митя о том, как он бросится на них и будет убивать без пощады.

— Лейтенант Смолин — приятель ваш? — снова тихо спросил Каменский.

Митя не знал, как ответить. Они никогда не были приятелями и встречались совсем мало. Но Алеша Смолин показался сегодня таким родным, близким человеком, и фамилию его было так приятно произносить и слышать!

— Он двоюродный брат Марины Смолиной... она архитектор... строитель... я с нею на квартире живу... Она чудесный человек... и ее мать... — Он шептал торопливо, боясь, что капитан спросит что-нибудь такое, на что трудно будет ответить. — У нее ребенок маленький... она смелая...

Каменский не продолжил разговора, может быть даже не слушал. Ночной мрак рассеивался, сползал в лощины.

— Передайте на правый фланг сержанту Амосову: вон за тем кустом, по-моему, пулемет. Пусть нацелит на него человек трех.

Митя снова пополз с поручением.

Вернувшись, он застал Каменского под бугорком. Капитан раскуривал трубку, прикрывая ее полой шинели.

— А что она делает теперь, архитектор?

Митя понял, что капитан слушал его рассказ. Он радостно откликнулся:

— Строит баррикады. На окраинах.

Капитан лег на живот, опустил голову на кулак, жадно затачивался. Вокруг было тихо. До начала артиллерийской подготовки оставалось двенадцать минут.

Митя помолчал. Столько сразу вспомнилось, и так хотелось передать капитану очарование и силу женщины, незримо присутствовавшей здесь, но Митя знал, что слова будут неуклюжи, и боялся, что капитан не поймет его. Когда он заговорил, он сказал адрес — название улицы, номер дома, номер квартиры.

— Там она живет. Мария Николаевна Смолина... это я называю ее Мариной... Если со мной что-нибудь случится, там она живет... И тогда вы сообщите ей, как я вел себя в бою... Ей это важно знать...

Капитан коротко сказал:

— Хорошо.

Он повторил адрес и дважды повторил имя: Мария Смолина... Мария Смолина. Голос его звучал почтительно и нежно, как будто он знал все, что может рассказать Митя. И Митя, уже не боясь, стал рассказывать о том, как он пришел из окружения, измученный, обозленный, потерявший веру в себя.

— Она взяла мои грязные, вшивые тряпки, принесла таз воды, чтобы я попарил ноги, устроила мне ванну и ужин... и тогда спросила, когда я должен являться. Я ей что-то наговорил... мне было противно думать об этом, понимаете?.. Я был как в бреду... в злом бреду... Она побледнела, а в глаза ее смотреть было страшно. Я спросил, что она делает, и она бросила с таким презрением, с таким гневом: «Строю баррикады!» — как плетью обожгла... Я на рассвете проснулся, и все этот голос в ушах... Пошел являться. Она меня проводила до комендатуры. Нехорошо это было... А потом я ее встретил, когда на фронт уходили. На улице, возле баррикады... Лицо у нее стало такое хорошее, а руки были в земле. Она подняла руку и долго так стояла, провожая нас.

Капитан молчал и неотрывно смотрел вперед, туда, откуда через несколько минут должны вырваться в клубы дыма и огня снаряды, начиная бой.

— Ну что ж,— медленно сказал он, скосив глаза на часы,— значит, за нее и пойдем сегодня в бой. За ленинградскую женщину, строящую баррикады, за руки, выпачканные в земле...

Капитан резко приподнялся, подтянул к себе ракетницу. Зарядил пистолет. Мите показалось, что у капитана слезы на глазах. Он не удивился, он уже знал состояние обостренной чувствительности и душевной полноты перед боем, когда уже не скрываешь и не стыдишься того, что обычно загоняешь вглубь.

— Если бы она знала! — прошептал Митя.

— А мы ей расскажем,— неожиданно весело отозвался капитан. — Кто раньше доберется, тот и расскажет. Разве ж мы умирать собираемся? Жить будем, фашистов бить будем! — И, взглянув на часы, другим, тревожным голосом сказал: — Опаздывают балтийцы.

Секундная стрелка медленно обошла по циферблату один круг... второй... третий... Все безотраднее казалась тишина. А стрелка обошла еще круг и начала следующий... Пятая минута опоздания...

— Опаздывают,— повторил Каменский, но тут же воскликнул: — Есть!

Многоголосый гром орудий рванул воздух. Каменский и Митя сползли назад и прижались к земле. Холодная роса освежила Митины щеки. Митя прикрыл глаза и открыл рот, чтобы не оглохнуть.

Ослепляющий столб пламени вознес к небу обломки орудия, пласты вырванной земли и целое дерево.

— Лежи, дурень, убьет! — крикнул Каменский приподнявшемуся Мите и рукой пригнул его голову к земле. — Красота! — кричал он ему в ухо счастливым голосом. — Ничего огонек?! Своих не узнаешь! Какова точность, а?!

Митя не сразу понял, какая точность восхищает капитана, а когда понял, его бросило в жар при мысли, что откуда-то издалека, с невидимого линкора, вслепую несутся сюда снаряды весом в несколько сотен килограммов, посылаемые в невидимую артиллеристам цель на основании математического расчета. Митя знал, что этот расчет сложен и многообразен, что учитывается все — от веса снаряда и температуры погреба, где он хранился, вплоть до поправки на вращение Земли и вращение самого снаряда... И ничтожная ошибка, маленькая неточность достаточны для того, чтобы снаряд отклонился в

пути и чтобы эти сотни килограммов упали немного левее или правее, не в узкую полосу земли, где сгруппировались враги, а вот сюда, в эту рощу, на влажный от росы бугорок, где лежат Митя и капитан Каменский...

Но балтийцы без ошибки посылали смерть врагам. Где-то в спокойной глубине корабля, в центральном посту управления артиллерийским огнем, похожем на научную лабораторию, математики в морской форме с выработанной годами тренировки быстротой производили сложные расчеты. Где-то на линии фронта, на укрытых от врага наблюдательных пунктах, моряки-корректировщики ждали падения первого снаряда, который мог убить и их самих, если бы математический расчет был неточен, и передвижные радиопередатчики посылали на корабль указания, как вести огонь дальше. Эти указания молниеносно учитывались в центральном посту управления, молниеносно передавались умными аппаратами на орудия, и новые снаряды, как наделенные зрением существа, находили фашистскую батарею, зарывшийся в землю штаб, притаившиеся немецкие танки...

Митя лежал в нескольких сотнях метров от полосы земли, где вздымал огненные смерчи невидимый балтийский друг. Еще десять минут балтийского шквала, а потом настанет очередь его, Мити, и он со своими товарищами ринется в атаку, гоня прочь от Ленинграда проклятых захватчиков, и ринутся в атаку Алеша Смолин и его товарищи на мощных танках, опрокидывающих все на своем пути... за Марию Смолину, за ленинградскую женщину, строящую баррикады на улицах родного города.

Внезапная тишина поразила слух больше, чем артиллерийский гром. В этой тишине щелкнули два выстрела, и две красные ракеты взлетели над рощей. В ту же секунду Митя поднялся и, пригнувшись, побежал вперед. И вся, не видная за секунду до того, цепь бойцов тоже поднялась и побежала, пригнувшись, и капитан Каменский закричал звонким от напряжения голосом: «За Ленинград, вперед!», и Митя закричал: «А-а-а!» — и вся цепь кричала и бежала навстречу беспорядочным выстрелам.

Голова Мити была в каком-то тумане, но глаза отчетливо видели все, а недавно пылавшие от усталости ноги стали легкими и гибкими. Митя вместе с товарищами добежал до немецкой батареи, торопливо разворачивавшей пушки в сторону неожиданно появившихся красноармей-

цев, и немцам не дали развернуть пушки. Что-то крича, Митя увидел, как немцы побежали, и бросился за ними в погоню. И вдруг до его сознания дошло, что вот это и есть немцы, немцы, от которых он бежал месяц назад, немцы, которые сейчас убегают от него...

— Ура!.. — закричал Митя, и ему казалось, что все слышат его голос, хотя, сдавленный усиленным дыханием, крик был беззвучен.

Сильный толчок в грудь подкинул его, но такова была стремительная сила, увлекавшая его, что он пробежал еще несколько шагов, а когда упал, руки его привычно выдвинули перед собой автомат...

7

На командный пункт батальона капитан Каменский вернулся в восьмом часу утра. В мягком осеннем блеске земля еще дымилась после недавнего боя. Из каретки мотоцикла капитан придиричиво смотрел, как окапываются бойцы на новом рубеже, грустным взглядом проводил носилки, на которых несли раненых...

На командном пункте его ждали донесения командиров. Он знал, как удачно прошла атака балтийцев, знал, что танки Смолина прорвались в глубокий тыл противника и рассеяли немецкую мотопехоту, спешившую на подмогу. Он знал, что орудия Бобрышева открыли огонь, слышал их залпы, а теперь с радостью прочел, что разезд снесен несколькими снарядами, а затем занят, что рота немцев, засевшая в совхозе, оттуда выбита... Бобрышев сообщил еще, что потери в отряде велики, тяжело ранен сержант Комов, убит разведчик Пахомов, но настроение бойцов превосходное, так как потери противника гораздо больше и победа всех окрылила. Это слово — «окрылила» — в сухой военной сводке было особенно мило Каменскому. Командир рабочей коммунистической роты Кораблев (почему Кораблев?) сдержанно сообщил, что в пять сорок для поддержки наступающих и развития успеха рота пошла в атаку и выбила немцев из первой и второй линии окопов, после чего стала закрепляться на новом месте.

— Ишь как он написал бездарно! — воскликнул комиссар, заглянув в донесение. — Ты знаешь, как они дрались?! Как они дрались?! Это ж герои все до одного, о них стихи писать!

— Как? — спросил Каменский, борясь с неожиданной слабостью. Он двумя руками с силой стиснул спинку стула, чтобы справиться с собой.

— Когда они заняли первую линию окопов, их осталось сорок человек. Командир, смертельно раненный, кричит: «Добивай фашиста! Ленинградцы, коммунары, вперед!» И старик один... ну, не старик, а седой уже, знаешь, такой типичный питерский кадровик, тоже кричит: «Ленинградцы, ленинградцы!» Упал он, когда уже во вторые окопы ворвались и врукопашную схватились... Упал старик, и тут командование принял Кораблев. Не знаю, воевал он когда-нибудь или нет, а только талант в нем командирский... Ведь горсточка их осталась, а Кораблев эту горсточку так направил, что их будто вдвое больше стало, а сам с гранатами... и кричит: «Вот вам за Питер, гады!»

— А ты что там кричал, комиссар? — хмурясь и прикрывая веками смеющиеся глаза, резко спросил Каменский.

У комиссара лицо стало мальчишески виноватым.

— Я? — Он уткнулся в карту и буркнул: — Что надо, то и кричал.

Перепечко выглянул из-за перегородки, где готовил завтрак, и умоляющим голосом сказал:

— Товарищ капитан... поели бы... яичница перепреет!

В блиндаж ввалился Алексей Смолин. Вскинув черную руку к шлему, он отрапортовал ликующим голосом:

— Ну и здорово, товарищ капитан! — и засмеялся от избытка чувств.

Каменский был рад ему, но подойти и обнять лейтенанта мешала все растущая слабость. Он рассеянно потер лоб, стараясь что-то вспомнить, но вспомнить не мог. Комиссар заметил необычное состояние капитана, спросил встревоженно:

— Ты что, Леонид?

— Сердце чего-то... Знаешь, как говорят, не только здоровое, но еще на два вершка ширше обнаковенного, — пробовал пошутить Каменский, но сам не смог улыбнуться и, решившись, позвал танкиста: — Товарищ Смолин, пройдем ко мне, поручение одно есть...

Выставив за дверь Перепечко, он вытащил из-под подушки индивидуальный пакет и сказал, криво усмехаясь:

— Разрежь-ка мне гимнастерку и перевяжи плечо. Только смотри, без болтовни. Царапина. А комиссар начнет, и Перепечко душу выест... не люблю...

Перепечко из-за двери стонал:

— Товарищ командир, яичница... ей-богу, сторит!..

Каменский морщился, сдерживая стон. Алексей, путаясь неумелыми пальцами в размотанном бинте, слишком осторожно стягивал раненое плечо.

— Товарищ капитан! — торжествующим голосом крикнул Перепечко. — Вас до телефона требуют со штаба дивизии...

— Пусть комиссар подойдет, Смолин, друг, да не копайся ты, право!

Перепечко настаивал:

— Комиссар вышел до раненых, товарищ капитан! Со штабу дивизии срочно!..

Перевязка была не закончена, и от боли тошнота подступала к горлу.

— Скажи, вышел командир, через пять минут будет.

Когда Алексей кончил бинтовать, Каменский захихнул разрезанную гимнастерку под койку, с помощью Смолина натянул домашний мягкий свитер. Широкий синий ворот, прильнув к щекам, подчеркнул их бледность.

— Перепечко, водки!

Перепечко налил два стаканчика. Каменский с Алексеем чокнулись, выпили и поцеловались. Перепечко торпливо накладывал яичницу.

— Нет, нет, только не мне, — отмахнулся Алексей, — я пошел.

Он был уже далеко, когда Каменский вспомнил то, что тщетно силился припомнить при нем. Он потребовал бумагу и карандаш, записал левой рукой, каракулями, адрес. Но буквы сливались у него перед глазами, и ему пришлось лечь, чтобы не потерять сознание.

— Пиши, Перепечко: «Марии Смолиной. Капитан Каменский просит вас навестить раненого бойца Дмитрия Кудрявцева, отличившегося в бою...» Написал? Ступай быстренько в медсанбат, разыщи там раненого Кудрявцева, его должны в госпиталь отправлять. Скажешь, чтоб приложили к его документам и в Ленинграде сразу послали по адресу, понятно? Только чтобы в тот же день. Беги!

Перепечко со вздохом пошел, но тут же вернулся:

— Товарищ капитан, с дивизии звонят... Сказать, нету вас?

— То есть как так нету?!

Каменский вскочил. Минутный отдых и водка подкрепили его, а день был слишком удачен, чтобы не победить боль. И столько еще дела осталось! Закрепиться, обезопасить себя от контратаки, проверить расстановку огневых средств...

Он подошел к аппарату, с удовольствием четко сказал: — Капитан Каменский слушает.

Говорил полковник Калганов:

— Поздравляю, капитан, поздравляю и благодарю. — И сразу: — Можете выехать сейчас? Командующий фронтом приказал вам срочно принять полк.

Каменский вытянулся, как будто командир дивизии стоял перед ним:

— Есть принять полк! Мне необходимо отдать приказания, товарищ полковник, прошу разрешения выехать через полчаса.

Ему пришлось привлечь на помощь Перепечко, чтобы помыться, побриться, стянуть с себя свитер и надеть чужую просторную гимнастерку. Через полчаса он вышел подтянутый, свежий, и все казалось ему каким-то обновленным — и собственное легкое, живучее тело, и солнечный, прохладный день, и необычная, нефронтовая тишина, нарушаемая лишь звяканьем котелков у кухонь, где получали обед красноармейцы.

Мотоцикл понесся по шоссе, ловко объезжая воронки. Сидя боком, чтобы не тревожить ноющее плечо, капитан Каменский всматривался в очертания города, ясно обозначившиеся на горизонте. Сколько охватывал глаз, в стройном порядке тянулись строгие кварталы домов, величественные массивы заводов, кое-где оживленные изогнутой линией подъемного крана или сквозным узором железнодорожного виадука. И сколько охватывал глаз, из заводских труб поднимались к суровому ленинградскому небу сизые дымы, поднимались прямыми неколебимыми столбами, спокойно и грозно.

8

Григорьева стала каменщиком. Окна, заложенные ею, были надежными укрытиями, с узкими и удобными щелями бойниц.

Вся окраина, где работал отряд Сизова, была теперь подготовлена к сопротивлению. Каждая улица, каждый

перекресток, каждый переулок простреливались насквозь и в разных направлениях.

Баррикады и надолбы задержат танки и автомашины, а огонь из домов уничтожит живую силу. Из-за баррикад полетят под гусеницы танков связки гранат и бутылки с горючей смесью. Если враг захватит один рубеж, он наткнется в нескольких шагах от него на следующий, не менее упорный. Если враг ворвется в дом, его будет ждать борьба на каждой площадке лестницы, в каждой квартире, в каждой комнате, а если ему все-таки удастся овладеть этим домом — оскалится, оцетинится следующий...

Работницы радовались, вникая в суть плана обороны. Они примеривались к бойницам и с удовлетворением хорошо поработавших людей рассказывали друг другу, что вот этот переулок неприступен, а через тот перекресток ни за что не пройти.

Григорьева бывала дома только ночами, и в опустевшей комнате ей было не по себе. Она подолгу сидела, устремив глаза на фотографии, висящие над столом. На одной она была снята с мужем и тремя мальчиками, на другой старшие сыновья были уже взрослые, в красноармейской форме, а на третьей был снят младший, Мишенька, с товарищами по школе. Двое старших, Иван и Григорий, служили в пехоте. Мать очень хотела, чтобы младший пошел в танкисты или в артиллеристы, там ей казалось безопаснее, но Миша тоже попал в пехоту и был на фронте в одной дивизии с братьями. С июля не имела она писем от сыновей, знала только, что дрались они под Кингисеппом и из этих боев вышли невредимыми. Но с тех пор прошло много недель, каждый метр ленинградской земли был уже полит кровью. Кто знает, живы ли, здоровы ли трое ее сыновей? И какие они теперь? Она старалась представить их себе выросшими, обросшими, закопченными в боях мужчинами... Но вспоминала их прежними мальчиками.

Иногда она садилась писать им письмо, — адресовала старшему, а писала всем троим и называла их Ванятка, Гришутка и Мишенька, как будто они были маленькими. Но когда первые слова приветя и любви ложились на страничку письма, она не писала того, что тревожило и томило ее в часы одиночества, а вставали перед нею бойницы и баррикады, пулеметы и снайперские точки, кото-

рые она строила. И другие слова выводила рука: «Великая гроза разразилась над нами, сынки, вам дали винтовки и пулеметы от всего народа, чтобы били фашистов проклятых. Бейте их, сынки, как можете больше, не жалейте ни одного, не пропускайте их к нашему Ленинграду, а мы здесь строим такие укрепления, что не пройти никому. Не осрамите свою мать, сынки».

Написав письмо, она перечитывала его много раз и задумывалась, нахмурив седые брови. Ей хотелось приписать: «Берегите себя, сыночки мои родные», но она никогда не делала этого. И виделось ей, как, стреляя, бегут в атаку ее сыновья, как падают, распахнув руки, и другие бойцы всё бегут и бегут мимо них... Ей хотелось бы плакать, но слез не было, и она старательно запечатывала письмо, придавливая тяжелым кулаком, как печатью, и шла опустить письмо в ящик, чтобы скорее дошло.

И вдруг прибежала девчонка с запиской: «Мама, приходи сейчас на станцию, может, успеем повидаться, и принеси, если есть, табаку. *Ваня*».

Девчонка говорила:

— Скорее, бабушка, меня дома ругать будут...

Григорьева схватила пачку запасенного для сыновей табаку, побежала за девчонкой.

— Да где они, милая?

— На запасных путях, бабушка. Скоро поедут. В теплушках стоят. Туда и ходить-то нельзя.

— Да куда ж они едут через Ленинград?

— Не знаю, бабушка. Отступают, видно, раз в ту сторону едут...

— Отступают?!

Хотелось ей спросить, один ли был боец, что писал записку, не трое ли их было, молодых и сероглазых. Но страшно было спросить.

Они долго блуждали по запасным путям. Девчонка привычно пробиралась между составами, ныряла под буфера и уже с той стороны кричала:

— Сюда, сюда, не отставайте!

Григорьева спешила за девчонкой, и в спешке утихла сосущая тревога. И как бы неожиданно возникли перед нею теплушки, в которых теснились бойцы, и за спиной ее раздался голос:

— Мама!

Боец стоял перед нею, высокий, обросший бородой, со впалыми глазами, с морщинами усталости на серых щеках. И надо было материнским глазом взглянуться в него, чтобы воскликнуть обрадованно и горестно:

— Мишенька!

Она обняла его и три раза поцеловала, а потом еще раз обняла и поцеловала глаза, и в глазах загорелись детские нежные огоньки. Подошел Иван, и его мать обняла тоже, но такой радости уже не было, потому что о нем она знала, что жив. А третьего не было... Где был третий?..

— Куда же вы едете, сынки? — спросила она, задыхаясь, замирая от предчувствия. — Почему от Ленинграда прочь, когда немец под Ленинградом?

Их окружили бойцы. Спрашивали:

— Как в Ленинграде? Держитесь?

— Не сдаваться же! — ответила она сердито. — А вы вот куда уезжаете от Ленинграда прочь?

— Мы не по своей же воле, мама! — сказал Иван. — Приказано, ну и едем. Что ты с нас спрашиваешь?

— Мы себя не жалели, мама, — сказал Мишенька. — Спроси кого хочешь. Наша дивизия в самых жарких местах билась.

— Верно, — сказали бойцы, — верно, мать, так оно и было. Про нас худого не скажешь. А потери у нас большие, пополняться надо, переформирование...

Потери большие. Потери... На их военном языке это значит — убитые... А сыновья молчат и отводят глаза под ее вопрошающим взглядом. И всего труднее спросить, произнести коротких два слова. Тогда и надежды не останется, и никак не сдержаться будет перед всеми этими бойцами, которые зачем-то уезжают прочь от войны...

— Не знаю, — сказала Григорьева, мрачней, — это я не понимаю, переформирование или что, а как же от Ленинграда уезжать, когда мы на улицах баррикады строим? Вот девчонка, что с запиской прибежала, говорит — отступают ваши сыновья. А я — слушай? От родного города прочь, когда враг возле Пулкова сидит?..

Иван обнял ее за плечи и показал ей на товарищей:

— Посмотри, мама, измучены бойцы, с ног падают. Три месяца в боях без отдыха. А потом мы снова на фронт. Сидеть не будем.

— А народ не измучен? — сказала мать, распаяясь и стараясь подавить все растущую тревогу. — Под бомбами

работают, детишки под снарядами играют, подростки раскапывают задавленных людей... Со мной на баррикадах Сашок работает — пятнадцать лет ему... Придет Гитлер, всех передушит, перевешает... Кто сейчас об отдыхе думает!..

Сыновья стояли смущенные, другие бойцы тоже глаза отводили.

— Мама, табачку принесла? — спросил Миша, улыбаясь и поглядывая исподлобья, совсем как в детстве, когда просил о чем-либо или хотел успокоить рассердившуюся мать.

Она суетливо расстегнула пальто, достала из кармана халата пачку табаку. Знакомая повадка Миши растревожила ее сердце, непрошеные слезы набегали на глаза, и вопрос рвался с губ: где третий?

— Спасибо, мама, второй день без курева сидим, — сказал Миша, бережно принимая табак и стесняясь при матери закурить.

— Да уж кури, что там, — сказала мать. И вдруг заплакала, всхлинула: — Вот и борода у тебя, как у большого... вырос...

Какая-то команда зазвучала вдоль теплушек, бойцы стали расходиться. Сыновья еще стояли с матерью, но уже оглядывались озабоченно, — вот-вот уйдут.

— Не беспокойся, мама, — сказал Иван, — отдыхать мы не будем, пока немец здесь стоит. Можешь надеяться.

Она посмотрела на старшего сына — совсем он взрослый и даже старый стал, и голос грубый, хриплый. Растерявшись перед этим незаметно состарившимся сыном, она пробормотала:

— Вы, конечно, больше меня понимаете, и раз вам приказано...

Новая команда прозвучала вдоль теплушек.

— Прощайте, мама! Теперь когда свидимся, неизвестно...

Они обнялись, поцеловались строго, без слова. И только когда пошли они к своей теплушке, вцепилась она в рукав старшего и отчаянным шепотом выговорила, не глядя в лицо его:

— Не говорите вы... Гриша-то что же?.. Гриша... где?

Сыновья оглянулись, остановились. Старший сказал робко:

— Под Гостилицами, мама...

— Насмерть? — таким же шепотом спросила она.

Он кивнул головой.

— Похоронили его сами.. всей ротой... — сказал Миша.

Она смотрела, как два ее сына скрылись в темной теплушке. Железнодорожник с флажком пробежал, крикнул ей:

— Идите, мать, нельзя здесь посторонним находиться!

Она пошла. За спиной, лязгая, покатались теплушки.

Уезжали два сына от Ленинграда. Постаревшие, серые, на себя не похожие. А средненького, Гришу, схоронили под какими-то Гостилицами... и по земле, где он схоронен, прошли немцы...

Командир попался ей навстречу, остановил ее:

— Чего ходишь здесь, бабка? Не знаешь — запрещено?

Она вдруг с гневом закричала на него:

— А вам отступить кто разрешил? Сына моего схоронили, землю эту немец топчет... Совесть у вас где? Куда остальных погнали от Ленинграда прочь?..

Командир молчал. Григорьева с ненавистью посмотрела на него и в тусклом свете вечера увидела молодое лицо, такое же, как у Миши, и на лице этом проступили боль, стыд и растерянность.

— Не обижайся, — сказала она, смахнув слезу. — Тебе, видно, не легче...

И пошла, выпрямившись, не давая себе воли горевать.

9

Маленькая комнатуха коммутатора была привычна, как родной дом. Телефонистки давно оборудовали ее всем, что могло придать ей уют. Лиза любила свою рабочую комнату и мечтала, что когда-нибудь Леня Гладышев придет на завод и увидит ее здесь колдующей шнурами и лампочками. Она любила и самую работу, сосредоточенную, одинокую и в то же время полную незримого общения со всеми участками большого завода. Но с некоторых пор ей стало не хватать зримого присутствия людей. И она завидовала подругам, работающим в цехах, хотя их работа была тяжелее. Боялись ли они так, как Лиза? Нет, наверное, а если боялись, то на людях было легче преодолеть страх. Обжитая, уютная комнатуха стала похожа на западню. Каждая бомба каза-

лась нацеленной прямо сюда, а когда над заводом свистели снаряды, Лиза боялась прикоснуться к штепселям, как будто каждый штепсель мог ударить смертельным током.

В один из таких страшных дней Лиза откликнулась на вызов парткома и услышала ласковый голос Левитина:

— Это кто? Кружкова?

Левитин спросил, может ли она смениться и зайти в партком, где ее ждет лейтенант с линкора. Вспыхнув от радости, Лиза сказала, что бросить коммутатор никак не может, пусть лейтенант придет к ней.

— Умоляю вас, если только можно,— добавила она.— Мне очень, очень нужно повидать его... Вы ничего не подумайте...

— Сейчас он придет.

Отвечая на вызовы, Лиза напудрилась, поправила локонь, окинула комнатку зорким взглядом — всё ли опрятно и уютно. Комнатка снова понравилась ей, страшно уже не было.

Она улыбнулась навстречу входящему — и отшатнулась. Вместо Гладышева вошел Шевяков, тот, что приходил однажды с Леней под видом «брата», но теперь голову его стягивали бинты и глядел он как-то невесело. За ним со странным выражением лица шел Левитин. Шевяков отдал ей честь, а Левитин слегка обнял ее и тихо сказал:

— Поговорите, я пока за вас поработаю.

В молчаливом почтении Шевякова и в необычном предложении Левитина было такое пугающее внимание к ней, что она покорно отошла с Шевяковым в сторону.

— Вы были дружны с Гладышевым,— сказал Шевяков, опустив глаза.— Он был очень... очень привязан к вам...

— Был?.. — мертвея, переспросила Лиза.

— Во время звездного налета... — пробормотал Шевяков, и губы его дрогнули.— Я не должен рассказывать вам подробности... Но смерть его была мгновенной. Он вряд ли даже успел осознать смерть.

Когда Лиза пришла в себя, она сидела на диванчике, и Шевяков неумело подавал ей воду. Она отстранила чашку и встала. Нервно вспыхивали лампочки коммутатора, Левитин путался и не поспевал. Лиза подошла и

навела порядок, потом Левитин снова отстранил ее, и она вернулась к Шевякову.

— Я любила его, — сказала она и сама удивилась тому, что это правда и что эту правду она не понимала раньше. — Я очень любила его, — повторила она. И громко спросила самое себя: — Как же так?..

— Наши потери только начинаются, — виновато сказал Шевяков. — Я долго думал, говорить ли вам... Да ведь что ж оттягивать! После Лени осталось несколько вещей... Мы с товарищами рассудили, что надо отвезти их вам.

Он вытащил из кармана знакомые Лизе ручные часы. Она знала, что под крышкой часов вделана ее фотография. Потом он передал Лизе еще две ее фотографии. Одну из них она увидела впервые. В прошлом году они были компанией на катке, приятель Гладышева фотографировал их, но снимок не получился, так как все двигались. Очевидно, лейтенант потихоньку снял ее снова, когда Леня, став на колени, зашнуровывал ее ботинок. Почему Леня никогда не показывал ей этого снимка? Должно быть, боялся, что она отнимет... Их знакомство еще только начиналось, и она упорно отказывалась подарить ему свою карточку. С невыразимой грустью, как на чужую, смотрела она сейчас на веселую, капризную девушку, не понимавшую своего счастья.

— И еще тут его записная книжка, — сказал Шевяков, — вроде дневника. Хорошая очень... Мы даже не знали.

— Что мы знаем, пока человек жив! — оскорбленно воскликнула Лиза. — Ничего! Ни-че-го!

Когда Шевяков с Левитиным ушли, Лиза вернулась к коммутатору. Начался и кончился обстрел, а вслед за тем сразу начался воздушный налет. Самолеты налетали волнами, через правильные промежутки, бомбы падали в районе завода и где-то далеко. Через десять минут после отбоя возобновился артиллерийский обстрел.

К концу смены Лиза торопливо убрала фотографии, часы, пухлую записную книжку. Не хотелось распродов сменщицы. Она почти бегом пересекла заводской двор, боясь встретить знакомых. В трамвае пристроилась на передней площадке, лицом к стеклу. Дома сказала Миросе, что хочет спать, заперлась на ключ и вынула из сумочки все, что осталось от Лени Гладышева. Вслух проговорила: «И больше ничего нет!..»

Неудержимо хлынули слезы. Она позволила себе плакать и открыла записную книжку.

Между непонятными формулами и вычислениями были разбросаны короткие записи. Это не был дневник, записи были случайны, — названия книг, которые надо прочитать, изречения, выписки, расписания занятий, отрывочные наблюдения и размышления. «Каждый должен установить себе правила жизни, — прочитала Лиза, — сообразно своей высокой жизненной цели и своим убеждениям и раз навсегда подчинить свою волю этим правилам». Дальше запись: «У К. заговорили о писателе Бунине, а я его не читал. Играли в знаменитых людей, Лиза написала: «Фет», а Жорка стал спорить, что такого не было. Чуть не сгорел от стыда. А ведь сам знаю Фета только понаслышке». Дальше: «Толстой выработал круг чтения. Надо составить список и читать по плану». Потом шли несколько страниц каких-то формул и непонятный Лизе чертеж с подписью: «А ведь это, пожалуй, ценная мысль? Попробовать». На одной из страниц среди формул несколько раз написано «Лиза». Дальше запись: «Всегда говорить правду, особенно тогда, когда это тебе невыгодно». Список книг — артиллерия, навигация, романы. Приписка: «Прочитать до 1 июня», и вторая приписка: «Выполнено». И вдруг: «Пора все кончить с Л. Она просто развлекается и смеется над тем, что мне дорого и свято. Может ли жена моряка не любить море!»

Лиза по соседним записям определила примерную дату этой горькой записи. Она вспомнила ту весну, редкие встречи с Ленией, ее досаду на то, что Ленья с охотой говорил о разлучавшем их плаваньи, тяжелую ссору... Она вспомнила, как Ленья неожиданно перестал ссориться с нею, загрустил и нахмурился, и ушел в какой-то не понятой ею угрюмой решимости... Она поспешно перелистала несколько страниц, разыскивая след их примирения, но нашла только крупно написанную дату: 17 июня. Был ли то день их новой, счастливой встречи? Она не помнила. Сразу за этой датой шел расчет стрельб, а затем четко выписанные правила жизни:

«1. Цель жизни — служение флоту, укрепление морского могущества родины.

2. В трудную минуту требовать от себя, как от коммуниста, больше, чем от других, в минуты успеха отказываться от славы и почета для себя и выдвигать тех, кто помогал и содействовал.

3. Не подчиняться женщине, но быть рыцарем в отношении любимой женщины и всех женщин.

4. Неустанно совершенствоваться, прежде всего в морском деле, затем — культурный уровень. Философия и искусство в первую очередь.

5. Ставить службу выше дружбы, но дружбу — выше всех других отношений. Ничего не жалеть для друга.

6. Заставлять себя поступаться своими желаниями в мелочах и никогда не отступать в крупном, принципиальном, даже если это очень трудно.

7. Быть всегда до конца честным и говорить правду, особенно когда это тебе невыгодно.

8. Выпивать только для компании и вовремя останавливаться. Без свинства.

9. Всегда владеть собой, не проявлять своих чувств и настроений, воспитывать волю и железный характер. Научиться подавлять свои желания».

Лиза несколько раз перечитала эти правила. Они, как внутренний свет, прояснили для нее образ Гладышева. Вот почему он порой так странно отказывался от удовольствий и сдерживал свою радость! Вот почему на Новый год он уступил своему товарищу, молодожену, право сойти на берег и остался дежурить, хотя Лиза звала его на новогодний бал! Она сердилась тогда... Как стыдно, что она тогда сердилась!..

Она вернулась к началу дневника и стала вчитываться в те записи, которые сперва пропускала как служебные. И теперь поняла, что этот круг его мыслей и интересов был основным, главным. «По вчерашнему учению в нашей башне катастрофа. Мы изолировались от корабля, мы должны были погибнуть, чтобы корабль уцелел и мог вести огонь. Мне было страшно представить себе, что так может случиться. Надо воспитывать волю. Адмирал Бутаков учил: когда идешь на таран — надо думать о гибели неприятельского корабля, и только». Немного дальше: «Вторая звезда на башню утверждена командующим. Собрал личный состав, чтобы нам не зазнаваться. Во-первых, время между залпами можно еще сократить; во-вторых, надо помнить, что в действительной встрече с врагом вести прицельный огонь будет гораздо труднее». По краям страниц, испещренных формулами и расчетами, Лиза находила приписки: «попытаться», «оправдалось на стрельбах», «поискать еще»... Да, это была его жизнь, смысл и радость его службы... Как он был бы счастлив,

если бы она тогда поняла и поддержала его, вместо того чтобы расстраивать его пустыми придирками, капризами и мелкими, глухими обидами, омрачавшими любовь.

Она разыскала первые военные записи, но там не было ничего, кроме скупой хроники: «Покинули Таллин», «Пришли в Кр.», «Пока не воюем», «Был в городе, Л. не эвакуируется», «Первая бомбежка города и налет на нас», «Враг у ворот, город под бомбами, в огне, мои ребята рвутся стрелять», «Стреляли!»

И вдруг размашистая запись на целую страницу в не свойственном ему стиле: «Да! Если умереть, то именно так и за это. В бою, в смертной схватке с врагом, ради своей родины, ради коммунизма, который будет, обязательно будет! За жизнь близких, за любимую, за свет в дорогих окнах. «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...» Только не надо гроба. Море примет меня в последний раз». Дальше было еще больше деловых записей и расчетов, и среди них Лиза не сразу заметила короткую заметку: «Проверил свою силу воли. Авария от бомбы, звездный налет, мы вели огонь. Ни разу не проявил страха и владел собой. Жалко Ларионова и Смирнова. Приготовиться душевно к новым жертвам».

Она живо представила себе его душевную борьбу, старание подавить чувствительность и страх. С этим он вступил в свой последний бой. И когда смерть пришла — успел ли он осознать ее и был ли он в этот смертный миг так же горд и непокорен страху?.. Да, наверное. И только острое сожаление обо всем, что составляет жизнь, а значит, и о ней, любимой, мелькнуло и... и оборвалось. Навсегда.

Лиза выпрямилась, закрыла дневник. Никогда еще не видела, не чувствовала она Леню так ярко, и полно, и верно. Сейчас она сумела бы быть достойной его любви и дружбы, его откровенности. Но это уже не нужно. Навсегда, совсем не нужно. Любила ли она Леню год назад — и тогда, когда ссорилась с ним из-за его службы, и в последние недели, когда волновалась за него, и сегодня, когда пудрилась в ожидании, что он войдет в ее комнатку?

Она стала вспоминать одну за другой все встречи с ним, по-новому понимая каждое его слово, каждый поступок и с горечью открывая, что была с ним капризна и педобра, и думала только о себе, и так мало — так страшно мало! — отдавала ему. И вдруг ей вспомнилось, как

они прощались летом, в первые дни войны: он уходил от нее по набережной, высокий, прямой, заставляя себя не оглядываться, а ей вдруг показалось, что вся жизнь уходит вместе с ним, и она даже метнулась было за ним и хотела окликнуть его, и обнять, и сказать слова, которые никогда еще не говорила ему... Как он обрадовался бы этим словам!.. Почему, почему она тогда удержалась?!

Она долго плакала, потом ходила по комнате, стараясь успокоиться и собраться с силами, но ей не удалось это. Для чего, для кого? Ведь никого нет, ничего нет. Пустота...

10

Мария думала: так, наверное, идут в атаку, припадая к земле, вскакивая, перебегая открытые пространства и снова припадая к земле, чтобы переждать шквал огня. Продолжалась обычная городская жизнь — с работой на заводах и в учреждениях, с булочными и почтальонами, с детскими играми и сном в постелях. Но эта обычная городская жизнь стала теперь полем жестокого боя, с перебежками и замираниями под свист снарядов и бомб.

Двадцатиминутный путь от стройконторы до дому порой отнимал у Марии несколько часов — сирены загоняли в бомбоубежища или в парадные. Очень редко удавалось спокойно пообедать, — примешься после отбоя за суп, а доедаешь уже под грохот зениток. И спать приходилось урывками, не раздеваясь. Сон был тяжелым, а пробуждение мгновенным: что, тревога?

Сутки за сутками пролетали в суете, в хлопотах о дежурствах пожарных, об огнетушителях и запасе воды, о сыне и его кормлении, и снова об огнетушителях и лопатах и десятках других вещей, неожиданно ставших самыми главными и необходимыми.

Мария не заметила, когда закрылись коммерческие магазины и опустели рынки, но Мироша показала ей небольшой кусок хлеба и сказала: «Вот теперь дневная норма». У магазинов выстраивались очереди; надо было становиться затемно, чтобы «отоварить» карточки. Молочница, много лет носившая в дом молоко, оказалась «на той стороне», у немцев. В дни дежурств в Доме малюток Анна Константиновна получала стакан молока, сливала его в бутылочку и приносила внуку. В столовой обеды ухудшались с каждым днем, и порции стали крохотными.

Мария съедала водянистую похлебку, а кашу целиком отнесла Андрюше. И не в судках, а в маленькой баночке — несколько ложек жидкой каши без масла. Надвигалась новая беда — голод.

Мария вглядывалась в лица своих товарищей: понимают ли они, готовы ли они к новой беде? Лица были будничны. На них не отражалось ничего, кроме переутомления. Женщины в группе самозащиты стали по пустякам ссориться и раздражаться. Мария тихо просила их:

— Не надо, дорогие, не надо.

Они виновато усмехались:

— Да ведь мы так, Марья Николаевна... от нервов.

Андрюша жил в бомбоубежище, в отгороженном дальнем углу, прозванном «детской комнатой». Около Андрюши по очереди спали то Анна Константиновна, то Мироша. Мария бывала счастлива, если удавалось отпроситься у Сизова на ночь к сынишке. Сонное дыхание Андрюши было безмятежно, приоткрытый ротик румян, раскинутые, в складочках, ручонки покойны, — посмотришь, и уже отрада.

Подниматься домой не хотелось. Комнаты стояли покинутые, запущенные, счастье ушло из них. Там торжливо и скудно ели, иногда спали. От снаряда, разорвавшегося напротив, несколько стекол вылетело из окон, их заменили листами фанеры. Дни были солнечные, квадраты фанеры выделялись унылыми пятнами. Радио передавало последние известия и гулкое тиканье метронома. Почтовый ящик пугал, — Марию подстерегали конверты с красивым, ровным почерком, ненужный, раздражающий голос из откинутого прошлого, мольбы и заверения, и упреки — даже упреки!

Больше никто не писал, как будто во всем мире не было ни друзей, ни родных. Замолчал Алексей... жив ли? Молчал Митя... жив ли?? Где-то скитаются подруги... куда забросила их эвакуация? Безнадёжно молчит Оля Трубникова, — она там, по ту сторону фронта... жива ли? И Гудимов, милый человек, тоже там... жив ли?

И вот пришло письмо, непонятная, неразборчивая записка: «Капит. Каменский просит навест. ранен. бойца Дмитр. Кудрявцева отчившего бою». Что это значит? Что такое «капит.»? Капитан? Но тогда почему он так плохо пишет? Или за капитана писал кто-либо другой? И что значит «отчившего»? Почившего? Нет, нет, тут же ясно написано: «ранен.».

Мария не сразу заметила на конверте приписанный другим почерком адрес... Очевидно, адрес госпиталя? По штемпелям она установила, что письмо послано восемь дней назад. Господи, мало ли что могло случиться за восемь дней!..

Уже смеркалось, когда Мария добралась до госпиталя. У входа продавали цветы — огненно-красные гвоздики, желтые астры с вялыми, свисающими лепестками, резеду, издали привлекающую дурманящим запахом, лиловато-белый львиный зев. В этом году было много цветов, их продавали с лотков и прямо из ведер на всех углах. И было удивительно видеть их пышную, яркую красоту на потревоженных улицах, среди мешков с песком, заколоченных витрин и развалин. Мария купила большую охапку гвоздик. Митя любит их... любил?..

Ей показали маленькую, не общую палату. Значит, с ним очень, очень плохо?.. Она вдруг представила себе Митю по-новому, страшно иным. Не таким, каким встретила на берегу оставленной реки, и не таким, каким он ввалился к ней после выхода из окружения, и уж, конечно, не таким, каким видела его в последний раз у баррикады, а серым, равнодушным, с мертвенными губами, с тупым, устремленным в пустоту взглядом...

Она собрала все силы, чтобы спокойно принять его таким, какой он есть, и вошла.

— Мариночка! — окликнул ее счастливый, чуть задышающийся голос.

И она увидела прежнего Митю, каким он был до войны, с блестящими глазами и мальчишеской улыбкой.

— Митенька! — вскрикнула она, поцеловала его, а потом прикрыла его глаза гвоздиками — уж очень влюбленно сияли эти прежние глаза. — Что с вами, Митя?

— Пустяки, Мариночка... Мария Николаевна... Замечательно удачная рана! В грудь навyleт — и, понимаете, пуля выбрала такой путь, чтобы не задеть ничего! Даже доктора говорят, что умная пуля была. И что мне теперь долго жить, раз у меня такое военное счастье.

— Вы и на самом деле выглядите счастливым, Митя!

— Да, — серьезно сказал он. — И вы так удачно пришли... Мне было очень важно сказать вам... Но подождите, я сразу не могу... Какие гвоздики чудесные! Цветы в Ленинграде!.. А вы похудели, у вас лицо такое тоненькое

стало... — Он взял и крепко сжал ее руку. — Рана в грудь, Мариночка! В грудь, а не в спину!

— В этом я не сомневалась, Митя.

— Но вы ничего не знаете еще. Вы все-таки совсем ничего не знаете!

— Не знает, не знает, не знает! — раздался рядом отчетливый, раздраженный голос. — Никто ничего не знает! На кой дьявол вы торчите здесь на виду?

Мария испуганно оглянулась. Человек на второй койке лежал с закрытыми глазами. Он потряс кулаком в воздухе и повторил со злобой:

— На кой дьявол вы торчите здесь на виду? Уйдите, вам говорят!

— Это он не вам, — зашептал Митя. — Это он бредит. Он все время бредит.

Со страхом смотрела Мария на чужое, недоброе лицо. Сквозь щетину отросшей бороды просвечивали синевато-белые щеки. Темные веки были красивы, энергичный и ярко очерченный рот тоже был бы красив, если бы его не искажала судорога боли и раздражения. Марии показалось, что раненый умирает.

— Это капитан Каменский, — шепотом сказал Митя. — Мы с ним в одном бою ранены. Он в плечо, а я в грудь. Меня подобрали, а он еще двое суток не признавался. Потом его привезли, он сразу разузнал, кто из его людей лежит. И меня просил к нему положить. Рана была не страшная, но получилось нагноение, температура высокая, третий день бредит... Врач боится осложнений, а он говорит — ни черта! Мне так хотелось рассказать вам о нем...

— О нем?

— Когда он не бредит, он тоже вас ждет. Мы за вас в бой шли. Я ему рассказывал, как вы меня провожали, а руки у вас были в земле...

— Ну зачем вы это?

— Ему можно, — горячо ответил Митя. — Тут его бойцы со мной лежали, столько рассказывали! Отступали все, и не потому, что тусы, а уж очень плохо было, минометы, пушки, самолеты, танки — ну, вы знаете. А он вскочил с автоматом в руке, кричит: «Стой, застрелю на месте!» А потом первым поавшимся: «Стойте, ребята, вы же сознательные, храбрые парни, как вам не стыдно заодно с трусами драпать!» — и давай вместе с ними остальных заворачивать. И рубеж заняли, залегли. Он

сам у пулемета, и, как очередь пустит, обязательно лозунг кричит: «За Ленинград! За советских людей! За Россию!»

— А он кто такой?

— Не знаю. Мы с ним только одну почь воевали вместе. Говорить почти не пришлось.

— Митя, вы просто болтун! Вы все о себе говорили, даже обо мне успели!

— Даже? Вы у нас главная тема.

— Но почему же? И что это такое, право! Зачем?

— Вы только послушайте... Лежали мы у бугорка. Немецкая батарея — рукой подать. Слышно, как немцы говорят. А мы ждем. В атаку идти. И он мне сказал: пойдем в бой за ленинградскую женщину, за ее руки, выпачканные в земле...

Скрывая волнение, Мария засмеялась и показала руки:

— А они у меня чистые. Даже маникюр сделала.

— Вы не смейтесь, — обиженно сказал Митя, снова притянул к себе руку Марии и погладил. — Вы этого не поймете. Я себе поверил, что могу. И что другие могут. Сперва в Бобрышева поверил, потом вот в него, а с ним — во всю силу нашу...

Мария оглянулась на раненого и смутилась: раненый смотрел на нее заинтересованно и вопросительно, взгляд его был ясен.

— Товарищ капитан, познакомьтесь, — радостно сказал Митя, — это она.

— Здрав-стуй-те, — медленно произнес капитан, не меняя ни позы, ни взгляда. — Очень рад.

Его неотрывный взгляд смущал. Мария покраснела и пробормотала:

— Как вы себя чувствуете, капитан?

— Гвоз-ди-ки, — сказал капитан.

Глаза его замутились.

— Гвоз-ди-ки, — проговорил он. — Гвѳз-ди-ки, — меняя ударение, сказал он и улыбнулся. — Кому гвоз-дѳ-ки, а кому гвѳз-ди-ки. Вот так всегда... Стучат, стучат, стучат...

Не задумываясь, то ли она делает, что нужно, Мария подседа к Каменскому, положила ему на лоб холодную ладонь и заговорила тихонько, протяжно, как говаривала с сыном, усыпляя его:

— А вот сейчас уже не стучат... Сейчас будет легче... Вы почувствуете, уже легче... и вы подремлите немного... а я посижу и подержу так руку, она холодная...

Капитан заснул.

— Это чудесно,— шептал Митя. — Он очень мало спит. Ему снотворное выписали, а он все равно не спит. Я знал, что вы ему покой принесете...

— Митя, тут какая-то мистика, честное слово!

Мария хотела отнять занемевшую руку, но капитан зашевелился и заворчал так сердито, что Мария поспешно положила ладонь на его лоб, и Каменский затих.

— Я так и представлял себе,— шепнул Митя. — Я так хотел, чтобы вы узнали его. Он самый храбрый и настоящий человек из всех, кого я знаю, хотя нас было несколько сотен, когда мы шли в тыл немцам, и все были храбрые... Это так хорошо, Марина! И знаете, я все время думал о вас.

Капитан вдруг открыл глаза и сказал:

— Ну зачем же врать, Митя! Если б ты все время о ней думал, тебя бы убили. В атаке человек думает, как самому убить и не быть убитым. Ей красивых слов не нужно. Верно, Марина? — Помолчав, он сказал: — Вы извините, что я попросту. Я о вас слышал так — Марина. Положите мне руку на лоб, если не устали.

Митя не был ни обижен, ни рассержен замечанием капитана. Он с грустным восхищением смотрел на Каменского, на Марию, на ее осторожную руку, прикрывшую влажный лоб раненого. Со щедростью юношеского обожания он ничего не жалел и ничего не желал для себя.

Когда сестра пришла сказать, что Марии пора уходить, Митя попросил ее поставить цветы в воду и виновато подвинул банку с гвоздиками к постели капитана.

Каменский снова открыл глаза и требовательно спросил:

— Когда вы придете?

— Завтра,— ответила Мария.

Она шла по затемненному городу, уже насторожившемуся в ожидании обычных вечерних налетов, и ей совсем не было страшно, что вот-вот снова загрохочут зенитки. Она сжимала в пальцах одну маленькую гвоздику. Гвоздика выпала из банки,— у нее был короткий стебелек. Каменский подхватил ее и без слов протянул Марии. Он вел бойцов в атаку и пролил кровь за нее? Не зная, не выдав, за нее... Она придет к нему завтра. Он должен

поправиться. Что это рассказывал Митя о его ранении? Она не очень вслушивалась, она еще не знала, как это важно. Рана загноилась, врач боится... кажется, так сказал Митя? Я пойду завтра, Сизов поймет, я же не могу бросить их без всякой заботы. Я буду приходить так часто, как только смогу. К нему и к Мите.

Захлопали зенитки — сперва дальние, потом ближние.

Она продолжала шагать, не обращая внимания на выстрелы. И ее никто не останавливал, будто шла она в ином, никому не ведомом мире. «Как странно, что еще два часа назад ничего не было, — думала она, — Разве это бывает, чтобы человек сразу стал близок?»

11

Люба-Соловушка называла Сашку «краснощекий брат мой». Сашок охотно заходил к ней в гости. Люба знала и хорошо рассказывала множество удивительных историй, у нее всегда находилось что-нибудь сладкое, и, наконец, знакомство с Любой льстило его мальчишескому самолюбию. Про себя он знал, что Люба просто девчонка и недавно кончила техникум. Но для всех она была директорша. Отец говорил о директоре с почтением и удивлялся, как это Сашка пускают в дом, а мать пугалась, не натворит ли там Сашок чего-нибудь такого, что потом стыда не оберешься.

Среди бедствий и страхов войны Сашок жил увлекательной, необычайной жизнью. Война не пугала его, а веселила. И он сам, и его сверстники вдруг вырвались из-под опеки и жили на равных правах со взрослыми. На оборонительных работах никому не приходило в голову обращаться с ними как с детьми. С началом учебного года они вернулись в школу, но занятий почти не было, — школьники дежурили на пожарных постах. За посты на крыше дрались, настолько там было интересно. Удавалось увидеть и взрыв бомбы, и воздушный бой, и гибель самолета. Уже на самой крыше дрались за осколки зенитных снарядов, так как зенитный осколок был «валютой», — на десяток зенитных можно было выменять осколок немецкого снаряда и даже, при случае, осколок бомбы.

После редкостной удачи с парашютистом, превратившей его в героя всей школы и даже всего района, ника-

кле милиционеры и никакие бомбы не могли загнать Сашка в бомбоубежище. Он вечно задира голову, под-карауливая парашютистов.

Дома тоже все переменялось. Никто не спрашивал, куда и зачем он уходит, и никто не ругал, если приходил он поздно. С отцом, которого Сашок до войны боялся, установились новые отношения. Отец работал в одном из самых засекреченных цехов и делал что-то такое секретное, что все расспросы Сашка ни к чему не привели.

— Я ж тебя не спрашиваю, где вы баррикады построили и где огневые точки,— сказал отец. — Так что давай, товарищ, условимся: полное невмешательство в чужие дела.

Это было ново и выгодно. Когда отец попробовал отругать его за сторванный рукав куртки, Сашок торжественно провозгласил:

— А невмешательство где?

— Ишь ты! — удивился отец. — Так ведь то насчет военных дел.

— А кто тебе сказал, что рукав — не военное дело? При выполнении энского задания. Вот!

— Боек стал,— одобрил отец. — Растешь!

Мать еще в самом начале войны уехала на строительство оборонительного рубежа под Кингисепп. Там она попала в «переплет» (что за переплет, она так и не рассказала), потом отступала с войсками, работала на новых, все более близких рубежах и стала специалистом по сооружению дзотов (что такое дзот, она объяснила Сашку во всех подробностях). Она приезжала домой раз в две недели на двое суток, усталая, оживленная и грязная. Сразу бежала в баню, потом стирала все свое и все, что накопили муж и сын, в любую бомбежку безмятежно и с аппетитом пила чай, после чего «заваливалась» спать. Наутро она вставала чистая, румяная, надевала пестрое ситцевое платье с короткими рукавами, и Сашку нравилось, что руки у нее «двухцветные» — до локтей коричневые от загара, а выше молочно-белые. Мать изменилась: движения размашистые, походка напористая, голос всегда повышенный, — на воздухе он был, наверное, как раз в пору, а в маленькой комнатке излишне громок.

Сашок вспоминал прежнюю маму. Прежняя постоянно беззвучно двигалась от плиты к буфету, от швейной машины к гладильной доске, всегда что-то стряпала, шила, штопала, перекладывала, мыла, незаметно делая все, что

нужно было мужу и сыну. Ей случалось ругать Сашка за опоздание, за продранные штаны или залитую чернилами рубаху, но ругалась она беззлобно, не отрываясь от работы, и ничего не стоило ускользнуть от нее на улицу. И́ была она прежде ласковая. Теперь она рассуждала о работе и о войне, как мужчина, знала о военных делах много такого, чего не знал не только Сашок, но и отец. А когда соседка, уклонившаяся от трудовой повинности, попробовала посочувствовать ей, мать только усмехнулась:

— А теперь я дома, пожалуй, от скуки помру...

Заметив изумленный взгляд сына, она растерянно оглянулась, застыдившись, что кто-нибудь еще мог услышать ее слова, притянула к себе Сашка, неловко приласкала и шлепнула по затылку:

— Ну беги, вояка!

Когда она уезжала, Сашок хмурился и отворачивался. Тоска по бывшей материнской заботе и ласке щемила душу.

Однажды вечером, приглядевшись к сыну, отец сказал:

— Товарищ дорогой, долго ли ты еще собираешься в коротких штанишках бегать?

Сашок не понял и удивился,— он давно носил длинные брюки навыпуск.

— Да я не о том. В школе небось собак гоняете?

— Отчего! Когда можно — учимся. А то дежури́м. В пожарных.

— И много ты пожаров потушил, пожарный?

Сашок обиделся:

— Что ж, мне нарочно поджигать? А парашютиста я поймал.

— Еще одного?

— Да нет... откуда же их возьмешь столько!

— Знаешь, дружок, были у нас такие граждане, что хотели на былых заслугах всю жизнь прожить. Так их попросили заняться делом. А ты одного поганого фашиста забить не можешь.

— Да ведь я к слову. Я разве виноват!..

— Вот я и говорю. Пора делом заняться. Устрою тебя на завод. Как смотришь?

— Ясно, устраивай.

Сашку было жалко вольготной жизни неучащегося школьника. Но работать на военном заводе, делающем

танки и всякие засекреченные вещи, было чертовски интересно и почетно. Наутро он встретился с Любой на оборонительных работах и похвастался:

— Надоело кирпичи таскать. Решил поступить на завод.

Люба вздохнула:

— А я прошусь, прошусь...

— Не пускает?

— Не пускает.

Домашние споры о поступлении на завод шли у Любы давно. Владимир Иванович отмахивался: «Ты же оборонительные строишь? Ну и строй. Чего тебе еще надо?» Месяц назад Люба с увлечением строила баррикады, но теперь она непоколебимо верила, что до баррикадных боев в городе дело не дойдет. И то, что мальчишка Сашок, «краснощекый брат мой», поступает на завод раньше нее, показалось Любе невыносимым.

— Я тоже пойду,— сказала она. — Даже спрашивать не буду. Я как-никак техникум кончила.

Вечером, придя домой, Сашок застал в квартире старинного отцовского друга и сослуживца Ерофеева.

— А мама где? — спросил Ерофеев.

Сашок объяснил, смутно догадываясь, что произошло какое-то несчастье.

— Так один и живешь? — раздумывая, повторил Ерофеев.

Наконец он решил и посадил перед собой Сашка.

— Ну, ты парень взрослый. Возьми себя в руки. Война без горя не обходится... — Он помолчал. — Сегодня снаряд попал в цех. Отца твоего поранило... Сильно поранило. Часа два мучился... И умер.

Он снова довольно долго молчал, глядя мимо Сашка, потом сказал строго:

• — Хоронить надо. Мать вызвать надо... Знаешь ты, где она работает?

Сашок не знал, не мог вспомнить. Горя еще не было, только ошеломление. Никак не собрать было мыслей.

— Кто ее посылал-то? Райсовет? — допрашивал Ерофеев. — Как же ты не знаешь, милоч? Ну, живо, слетай в райсовет да разузнай толком. Торопиться с этим надо. Время-то какое!

В райсовете Сашка направили к женщине, возле которой непрерывно трещал телефон, так что она каждому

посетителю отвечала в несколько приемов, между телефонными разговорами.

— А зачем тебе адрес Аверьяновой? — подозрительно спросила она.

— Отца у нас убили, — тихо сказал Сашок.

И вдруг эти вслух произнесенные слова раскрыли ему самому всю страшную, неотвратимую правду: отца убили, отца нет и никогда больше не будет.

— Сколько горя теперь на свете! — вздохнула женщина и стала рыться в списках. — Алло! Триста человек по наряду завтра посылаю! — крикнула она в трубку. И стала водить пальцем по страницам, приговаривая: — Сколько горя, боже ж мой, сколько горя!..

Сашку хотелось заплакать навзрыд, чтобы женщина обняла его, пожалела, повздыхала над ним. Но женщину осаждали посетители, и опять трещал телефон...

Получив бумагу с печатью и расспросив, как и куда пробираться, Сашок поехал трамваем до конца маршрута, потом пошел пешком. Мысль о том, что он идет на фронт, отвлекла его. Было интересно предъявить на фронтowej заставе бумагу с печатью и беспрепятственно пройти по ту сторону шлагбаума, где была уже не просто улица, а фронтowej территория.

— погоди, парець, — окликнул его начальник заставы.

И Сашок испугался было, но начальник сказал:

— Пешком идти — ноги сотрешь. Да и что плутать в потемках! Переспи у нас, на рассвете отправим попутной.

В тепло натопленной землянке отдыхали бойцы.

— Вот вам, ребята, сынок, — сказал начальник. — К матери добирается за Большое Кузьмино. Отца у него в городе убило. покормите его, и пусть поспит.

Усадив его на единственный табурет, бойцы наперебой протягивали ему ломтики найкового хлеба. От этого непривычного сочувственного внимания несчастье снова встало перед Сашком во всей своей неотвратимости, отчаяние сдавило горло, и внутри что-то засосало до тошноты — не то горе, не то голод. Но есть он не мог. Перед ним лежало столько хлеба, сколько он давно уже не видел, а есть не хотелось. Сашок всхлипнул.

— Что ж поделаешь, милый, — сказал самый старший из бойцов и погладил Сашка по голове. — Война!

Сашок сердито отодвинулся, по-детски, со всхлипами перевел дыхание, взял кусок хлеба и начал медленно же-

вать его. С жадностью, преодолевая тошноту, Сашок съел все, что ему дали бойцы, а потом лег рядом с самым старшим, усатым бойцом.

— Сирот-то сколько остается... — сказал усатый, прикрывая Сашка шинелью.

И Сашок заплакал, уткнувшись лицом в шинель, потому что понял, что печальное слово «сирота» отныне относится к нему.

Усатый стал гладить Сашка по голове и ерошить его волосы, и от этой ласки Сашок притих и заснул.

На рассвете его посадили на попутную машину.

Когда Сашок добрался до матери, она только взглянула на него; побелев, вытерла грязные руки о передник и взяла бумагу с печатью. Сашок думал, что она сейчас заплачет, закричит, но мать закусил губу, постояла перед Сашком, глядя в землю, а затем велела ему подождать, пока она сходит за «увольнительной».

Сашок сидел на мокрых коротких бревнах и старался вообразить, что делают с этими бревнами работающие тут женщины. О несчастье с отцом он не думал, но под горло все время что-то подкатывало — не то боль, не то тошнота.

— Пойдем, — тихо сказала мать, появившись снова, уже в пальто и с вещевым мешком за плечами.

Они пошли к дороге, не разговаривая. У дороги мать сказала: «Садись», а сама продолжала стоять, прямая, безмолвная. Первый же попутный грузовик взял их, — мать даже не просила, шофер сам затормозил, увидав ее лицо. В городе Сашок хотел вести ее в заводской клуб, но мать сказала: «Домой». Дома вымылась, переделалась, накинула на голову черный платок.

В клубе Сашок увидел отца. Он лежал под красным флагом на высоком столе, окна были открыты, и ветер шевелил его волосы и свисающие края флага. Люба и еще две женщины устанавливали в изголовье горшки с цветами. Увидев Сашка, Люба не поздоровалась с ним, а виновато вздохнула и на цыпочках вышла.

Мать опустила на колени, прижалась лицом к флагу. Плечи ее мелко дрожали, как будто она озябла. Женщины заплакали. Сашок забился в угол и заревел, стараясь не смотреть на мертвого отца с шевелящимися на ветру волосами. Хотелось приласкаться к матери, услышать ее громкий голос, но мать все стояла на коленях и беззвучно содрогалась плечами.

На кладбище рвались снаряды. В небе, чуть в стороне от кладбища, шел воздушный бой, громко стреляли за деревьями зенитки, было похоже на военный салют. Гроб опустили в яму, и старики — сослуживцы отца — начали бросать лопатами землю. Мать стояла, не плача, на краю могилы и вздрагивала при каждом глухом ударе земли, падающей на гроб. Владимир Иванович положил на могильный холм большой венок и сказал:

— Прощай, Николай Егорович!

Незнакомый Сашку старик сказал, что Николай Егорович Аверьянов был хорошим рабочим, настоящим питерским большевиком и душевным человеком и что любили его все решительно. Сашок слушал и с отчаянием сознавал, что никогда не ценил отца так, как его ценили другие.

После похорон мать была дома еще два дня. Она непрерывно что-то делала по хозяйству, старалась посытнее накормить Сашку, но разговоров избегала. Только раз тихо сказала:

— Как же ты теперь один жить будешь?

Сашок подошел к ней и уткнулся лицом в ее плечо:

— Не уезжай, мама...

Она крепко обняла его и пробормотала:

— А как же, милый? Ведь надо.

Вечером пришла Люба. Она попросила Сашку отнести записку Владимиру Ивановичу, и Сашок отлично понял, что его нарочно отправляют из дому. Когда он вернулся, Люба сидела вся заплаканная, и мать тоже, но обе улыбались.

— Пока я на работах, — сказала мать, — будешь жить у Любови Владимировны. Смотри только, не балуй!

Ему было странно, что Любу называют по имени-отчеству, что он будет жить у нее и что другие считают ее взрослой.

Рано утром мать уехала, а Сашок с корзинкой на плече отправился к Любе. Они вместе пили чай, и Люба вела себя как взрослая:

— Тебе когда в школу? А уроки вам теперь задают?

Сашок понял, что взрослые бывают настоящими товарищами только до тех пор, пока от них не зависишь. Интерес Любы к его школьным отметкам оскорбил его. Он хотел наругать ей, но Люба высунула язык и сказала:

— Насчет алгебры я тебе сочувствую. Ужасная гадость!

— Алгебра — вещь нужная, — отрезал Сашок, чтобы окончательно сбить с нее спесь. — Я ведь собираюсь после войны в инженеры-металлурги. Но сейчас работать надо. И в школу я больше не пойду.

— Правильно, — охотно согласилась Люба. — И знаешь что, Сашок? Пойдем-ка мы сегодня же на завод. Не к Владимиру Ивановичу, а прямо в отдел кадров. Оформимся — и все.

Робко переступив порог отдела кадров, они готовились спорить и доказывать свое право. Но их никто ни о чем не спросил, только просмотрели документы и сказали утвердительно: «Конечно, необученные». Через десять минут Люба и Сашок вышли за ворота людьми самого ответственного военного труда — сборщиками танков.

12

Они собрались в запущенной квартире с дружным решением — по-мирному провести сегодняшний вечер. Шквалистый ветер бросал в окна колкие струи дождя, крыша гудела и звенела. И все-таки это была тишина, блаженная тишина, отдых.

Зачинщицей вечеринки была Соня, ее отпустили до утра домой. Она забежала к Любе Вихровой, надеясь узнать что-либо о Мике, а затем притащила Любу к Марии Смолиной. По телефону вызвали с завода Лизу. Прибрали квартиру, соорудили бедный, но изящно сервированный Анной Константиновной ужин.

И вот теперь, когда все собрались за столом, Соня сама сидела притихшая, раскачивалась на стуле и слушала, слушала... Гудение ветра и дождя только подчеркивало глубокую тишину города-фронта. И тишине не верилось, как не поверилось бы сейчас, если бы вошел Мика и сказал: «Больше не расстанемся...»

Только Марии было весело. Андрюша ошалел от просторов квартиры, от забытых игрушек и яркого света, не похожего на тусклый свет в бомбоубежище. Он бегал из комнаты в комнату, прижимая к себе столько игрушек, сколько мог захватить, ронял их, деловито собирал и снова пускался в путь, визжа от восторга. И Мария не уставала ходить за ним и смеяться вместе с ним. Андрюша

ни за что не хотел ложиться спать и заснул стоя, прижав к плечу бабушки. Уложив его и постояв над ним, Мария усмехнулась своей мысли: «Нормальная жизнь стала праздником. И мы все так привыкли к другому, что не знаем, как и вести себя, о чем говорить».

— Спой, Соловушка, — попросила она, вернувшись к столу.

Люба послушно запела, но, не докончив песню, смолкла.

— Не могу. Помолчать хочется.

— Как странно, — сказала Анна Константиновна. — Еще недавно я никого из вас не знала. А кажется — моя семья. Полгода назад за этим столом собирались совсем другие люди, и все они оказались не такими, как думалось... Одни лучше, другие хуже, но не такие...

Мария удивлялась внутренней жестокости ее слов. Зачем напоминать о том, что лучше забыть, вычеркнуть? Она знала у матери наряду с душевной деликатностью и тактом беспощадность суждений в тех случаях, когда Анна Константиновна считала нужным высказаться. Но зачем ей это сегодня?

— Мерйла другие, — сказала Мария примирительно. — И другое мы в людях ценим.

— Нет, — решительно отвергла Анна Константиновна. — Ценим мы всё то же. А вот видеть стали зорче. И что касается меня, так я благодарна своей судьбе — хотите верьте, хотите нет! — что научилась вот так видеть и оценивать людей. А у меня жизнь к концу. — Она помолчала и многозначительно добавила: — Вам, молодые, это еще нужней. Вам с людьми всю жизнь жить.

Мария легонько обняла мать. Вчера Анна Константиновна, что-то почуввав материнским чутьем, заставила Марию рассказать про Каменского. Мария рассказала только про бой «за руки, выпачканные в земле», про встречи в госпитале и то чувство давнишней дружбы, которое внушал ей странный человек. Большого она не рассказала, да и было ли что рассказать! Было ли место зарождению новой любви в ее душе, потрясенной недавним ударом, и могла ли сейчас, среди бомб и смертей, зародиться любовь? Разве время теперь для любви, для личной жизни! Нет, теперь нелепо и даже стыдно об этом думать... Но мать по-своему истолковала рассказ дочери и «расчищала почву» для нового чувства, обесценивая старое.

— Надо сперва победить,— отвечая на эту попытку матери, сказала Мария.

Соня поняла ее иначе и возмутилась:

— Никаких «сперва»! Мы потому и победим, что проверяем и подтягиваем друг друга. И есть сейчас только одни стоящие люди: с которыми вместе воевать хорошо. А тех, кто себя спасает, тех я и за людей не считаю. А выживу до конца войны — руки не подам!

— Ишь ты! — мягко упрекнула Люба. — Да как ты судить можешь, кто спасается, а кто честно в тылу работает? Ты так половину народа со счетов сбросишь...

— А что ты сама говорила про инженера какого-то, который трясся, лишь бы скорее уехать?

Люба рассмеялась:

— Так он трясся!

— А я их по глазам отличу, кто человек, а кто — тѣфу! — вдруг азартно заявила незлобивая Мироша.

Упорно молчавшая Лиза вскинула глаза и с отчаянием сказала:

— Ничего мы не понимаем в людях толком, пока они живы. Ни-че-го! Почитайте, как об умерших пишут. Вы думаете, неправду пишут? Нет. Просто умрет человек — и начинают понимать, какой он был. И ценить. А при жизни мы считаем людей хуже, чем они есть.

— Наоборот! — вскричала Мария, продолжая думать о своем.

— Да нет, Лиза умно сказала,— удивилась Соня. И спросила с усмешкой: — Что ты читаешь сейчас, Лиза?

— Каждую ночь одно и то же,— ответила Лиза, вскочила и быстро вышла из комнаты.

— Ого, как у нее нервы сдают,— снисходительно сказала Соня.

Мироша застучалась:

— А ты не смейся. Очень изменилась Лизонька.

— Еще бы,— легкомысленно подхватила Соня. — Телефонную барышню с локонами и вдруг — под бомбы! Изменишься...

Марию задела насмешка Сони. Ей казалось, что требовательность к людям, необходимая в такой войне, невозможна без доброты к ним. Чем менее был подготовлен человек к испытанию, тем ему труднее. И тем больше чести ему, если он держится. А молодечество было хорошо в первые дни. Сейчас оно наивно... и глуповато.

— По-моему, все изменились, — сказала она, — а может быть, стали более настоящими, самими собою. Кроме Сони, — добавила она добродушно.

— Это я не сама собою? — взметнулась Соня.

— А и правда, — мягко сказала Мироша. — Ты все еще играешь, Сонечка. В куклы.

— Я?!

— И дай тебе бог до конца войны остаться такою... Легче.

Люба вдруг снова рассмеялась про себя.

— Ты что? — спросила Мария.

— Я сейчас подумала, что мы завидуем уехавшим...

— Мы?! — возмутились все.

— Вот честное слово! — с озорством настаивала Люба. — Заставь нас уехать — не поедем. Из гордости, из патриотизма, из самолюбия — не поедем! И все-таки нам страшно, и хочется, чтобы всем было страшно вместе с нами. И все-таки мы завидуем, что вот уехали люди и над ними не свистят бомбы. И никакая пушка до них не достанет. Владимир Иванович всегда внушает мне, что эвакуация — государственная необходимость, и наша беда в том, что мы мало эвакуировали. А покопайся у него в душе — он уважает именно тех, кто не хотел ехать.

— Это разные вещи! — возразила Соня.

— Может быть, Люба и права, — в раздумье сказала Мария, — но ты говоришь — государственная необходимость. А мы ведь презираем не тех, кто о государстве думал, а кто шкуру свою спасал. Впрочем, ты права, у нас есть личное раздражение оттого, что нам страшно, оттого, что нам плохо...

— А разве мы могли бы держаться, если бы думали что правильной уехать? — спросила Анна Константиновна. — Вот Мусе, конечно, нужно было уехать с Андриюшей. Но когда Андриюша вырастет, ей было бы стыдно рассказать ему об этом. А так она расскажет с гордостью, и Андриюша будет гордиться.

От двери раздался мрачный голос:

— Надо еще дожить до рассказов.

Лиза стояла у самой двери, припав спиной к стене, в полумраке поблескивали ее глаза.

— Фу ты, панихида какая! — рассердилась Соня. — Лучше уж в куклы играть, чем такую скуку разводить.

— А я не вижу, чему радоваться, — сказала Лиза.

Мария подошла к ней и обняла ее неподатливые плечи.

— Самим себе и друг другу,— тихо сказала она. — Что с тобой, Лиза?

Лиза перестала упираться, беспомощно приникла к Марии.

— Случилось что-нибудь, Лизуша?

— Да,— шепотом ответила Лиза,— только не надо... никогда не спрашивайте... прошу вас...

— Хорошо,— шепотом пообещала Мария, поцеловала ее и, обняв, подвела к столу.

— Вы послушайте, как непогода поет,— сказала Мироша.

И все прислушались к гулу непогоды, радуясь, что непогода не ослабевает.

Ревела буря, дождь шумел... —

неожиданно звучно запела Люба. И так же неожиданно сильным и свободным голосом подхватила песню Анна Константиновна. Старательно и неверно поддержала Соня, за нею вполголоса Мария. Только Лиза молчала, да Мироша, с умилением оглядывая всех, покачивалась в такт песне.

— Боец Кружкова, шагом марш — спать! — сама себе скомандовала Соня, когда песня смолкла. И с привычной требовательностью обратилась к тетке: — Мироша, в пять с половиной буди!

— А я-то! Ведь трамвай пропущу! — всполошилась Люба. — Муся, проводи меня, золотко.

В передней Мария тихо попросила:

— Соловушка, ты теперь на заводе. Посмотри за Лизой. Что у нее случилось, не знаю. Но ей плохо.

— Ладно, все будет в порядке.

Люба была непоколебимо уверена, что стоит взяться — и все можно исправить и всякой беде помочь.

Целуя мать перед сном, Мария сказала ей обычные два слова:

— Спокойной ночи.

Но каким смыслом наполнились сейчас эти обычные слова!

И Анна Константиновна ответила, блаженно зевая:

— Выспимся за все дни...

Но странно, сон не шел к Марии, когда она с наслаждением вытянулась в постели. Давешний разговор

растревожил ее. И тревожила тишина, подчеркиваемая гулом ветра и дождя. Она уже давно научилась моментально засыпать и во время воздушной тревоги, и во время обстрела, если только не надо было дежурить. Она научилась успокаивать себя: «Это не у нас», и не прислушиваться к стрельбе и грохоту, если они не затрагивали ее «квадрата». Она научилась отстранять свое горе, как если бы его не было. Порой ей удавалось убедить себя, что не было ни любви, ни горького разочарования, ни страшной опустошенности сердца. Порой она забывала о письмах, написанных красивым, ровным почерком... А сейчас, в невоенной тишине ночи, в мягкой и чистой постели, оставшись наедине с самой собой, она не могла уйти ни от войны, ни от прошлого, и все горькое, не до конца решенное, нахлынуло на нее. И она металась в бессонной тоске, и затихающий шум непогоды нашептывал ей: скоро рассвет, скоро прояснится, отдыха не будет.

Она не помнила, как наконец заснула, и утром не могла вспомнить, что томило ее. Осталось только ощущение, что мать наивно, по-женски восприняла ее рассказ о Каменском. Так, как будто нет ни войны, ни блокады, ни долга, поглощающего все остальное. Но боль и смятение, питавшие бессонницу, не касались Каменского.

Унылые пятна фанеры раздражали глаза и, казалось, усиливали духоту в комнате. Мария распахнула окно, и навстречу ей рванулась ветреная свежесть осеннего утра. И, как будто впущенная Марией вместе с ветром, где-то за парящими на солнце крышами возникла и стала шириться заунывная разноголосица сирен.

— Ну вот, — без досады сказала Марья.

Военная реальность вступала в свои права.

— Облачность разогнало, они скоро не прорвутся, — убежденно, как знаток, заявила за спиной дочери Анна Константиновна. — Идем пить чай,

Чувство неловкости сковывало Марию, когда она снова переступила порог маленькой палаты. Митя сидел на койке, свесив босые ноги, и при входе Марии торопливо подобрал их под одеяло. Она старалась не смотреть в сторону Каменского, но именно его настойчивый голос встретил ее:

— Наконец-то!

И затем:

— Почему вы нас забыли? Вы обещали прийти в пятницу!

Она улыбнулась и пожала плечами:

— Я вижу, вам лучше. Как ваше плечо?

— Отвратительно, — желчно сказал Каменский и смолк.

Митя покосился на него и стал виновато объяснять:

— Мы очень волновались, что вы не пришли, как обещали. Такие бомбежки были! Мы всё прислушивались и определяли, где бомбы падают. И казалось — всё в вашем районе.

Подобрев и утратив чувство неловкости, Мария села на табурет между двумя койками и стала рассказывать, что делала эти дни и как живут горожане. Избегая всего печального, она старалась отыскать в этом странном, полуфронтном, полугородском быту забавные черточки.

— Иду я мимо очереди, — рассказывала Мария, — две женщины ругаются: «Не б-б-было здесь эт-той в с-синем п-п-платке», — заикается одна. «Была, и будет, и перед вами пойдет!» — настаивает другая. Вдруг свист, снаряд рвется в нескольких шагах, вся очередь повалилась на тротуар. Пыль, дым. И вот все встают, соблюдая очередь, отряхиваются, и та, что ругалась, головой трясет, чтобы известку стряхнуть, и кричит: «П-п-после меня х-хоть д-десять с-с-синих п-п-платков, а я н-н-не п-п-пушу, и в-в-всё тут!»

Мария смеялась, и Митя тоже смеялся. Но, посмотрев на Каменского, оба смолкли.

— Что вы, Леонид Иванович? — тихо спросила Мария.

— А я тут лежи... лежи, как колода... — сквозь зубы простонал он.

Мария придвинулась к нему и тайком заглянула в температурный листок. Кривая температуры колебалась между тридцатью семью и тридцатью девятью. Лихорадка упорно держалась, рана заживала медленно. Мария знала, как раздражало Каменского, что ранение помешало ему принять полк, и как страстно хотелось ему скорее подняться и участвовать в войне.

Она стала тихонько говорить с ним, уверяя, что лихорадка уже проходит, а потом его очень быстро выпустят из госпиталя; перевязки можно делать и в полку, а под

расписку выпустят, она знает случаи... Веря и не веря, он спрашивал, какие случаи она знает, и она тут же придумывала их со всеми подробностями.

Он взял ее руку, осторожно поцеловал и сказал:

— Вас судьба послала ко мне, Марина.

— А раз судьба — значит, слушайте меня, и все будет хорошо, — ответила Мария.

Каменский поморщился. Он не хотел шутить.

— Ну расскажите, что в сводках. Под Москвой?

Зная, что Каменскому не дают газет, она отвечала коротко, стараясь рассказывать только о том, о чем он уже знал или догадывался.

— Это глупо — скрывать правду от взрослого человека, — резко сказал Каменский. — Вы думаете, я не знаю, что мы еще будем отступать, что нам еще долго будет трудно?

— Но под Ленинградом-то их остановили? Ростов держится... И наше наступление под Ельней...

— Дорогая! Кто был на фронте и видел, сколько у них самолетов и сколько у нас, сколько у них танков и сколько у нас... Нам надо создать перевес в технике. На это нужно время. Вот Митя вам расскажет, сколько он прошел, пока силу почувал. И если он сейчас выйдет настоящим солдатом, так потому, что ему посчастливилось видеть, как фашисты перед ним пятками засверкали. Превратить миллионы штатских людей в воинов — на это тоже время нужно.

— Значит, война будет долго, и нечего вам нервничать из-за двух-трех недель, — встала Мария.

— А если я знаю, что я могу лучше, чем многие, воспитать солдат из людей, что мне доверены? Я умею это делать и должен делать. А первую задачу решает тыл и, в частности, ваш муж, которого вы зря осуждаете.

— Вас неверно информировали, — бледнея, отрезала Мария. — У меня нет мужа.

Она возмущенно оглянулась на Митю. Но Мити не было. Когда и зачем он выскользнул из палаты? Эта непрошенная услуга разозлила Марию. Чувство неловкости вернулось, усиленное последними словами Каменского. Но Каменский, видимо, не собирался переходить на личные темы и продолжал, все более возбуждаясь:

— А потом, почему вы думаете, что победа предрешена и дело только в сроках? Мы можем и должны победить, если мы решим эти задачи и многие другие. Но ведь

мы должны успеть. А что, если мы не успеем и немцы сумеют раздавить нас раньше?

— Нет! — воскликнула Мария. — Этого не будет!

— Не будет, — согласился Каменский. — Но почему? Потому что мы *должны* успеть и успеем, если не только неделя — *день, час, минута* будут на счету.

— Потому, что весь народ поднялся, — сказала Мария и вспомнила новое чувство, возникшее у нее на строительстве баррикад, что и она, и Лиза, и Мироша, и Сашок, и Соловушка, и Соня, и Сизов, и Григорьева — это и есть народ, способный на все и за все отвечающий. Но вслух она выразила то же проще: — Знаете, у меня даже мама теперь начальник пожарного звена. И страшный педант в отношении пожарных правил. Так смешно...

— Совсем не смешно! — воскликнул Каменский, и лицо его стало счастливым и добрым. — Это и есть Отечественная война. О-те-чест-вен-на-я! — повторил он с удовольствием, вспоминая бывшего начальника штаба полка и его крушение (то, что начштаба так быстро слетел, показалось ему теперь еще одним чудесным, победным признаком). — Но ведь отечество-то у нас особое, социалистическое. Значит, мы воюем не только с немцами, а и со всеми, кто ненавидит социализм. И нам нужно победить, хотя бы обезвредить, своих врагов во всем мире. А то они нас задавят... попытаются задавить, во всяком случае.

— Вы считаете это возможным — повторение восемнадцатого года? — усомнилась Мария. — Крестовый поход четырнадцати государств против Советского Союза?

— А Мюнхен? — вопросом на вопрос ответил Каменский. — Разве Мюнхен не был подготовкой к нему? Гитлер хотел нового сговора. Это ему не удалось. Уже не удалось. Вот громадная победа! Неприятным субъективно договором с Германией в тридцать девятом году мы выбили карты из рук мюнхенцев, расштатили блок против нас. И сказали всяким чемберленам: «В вашей подлой игре мы не участвуем». А Гитлер не понял, что, кроме чемберленов, есть народы. И есть социалистическая держава. Так за это он и поплатится.

Мария знала, что Каменскому вредно много говорить, но разговор интересовал ее, собственные разрозненные мысли приходили в порядок и прояснялись.

— Говорите тише и спокойнее, вам нельзя,— нежно попросила она. — Я все время думала, что это наша война — и Отечественная, и классовая... верно?

— А как же! — не обращая внимания на ее просьбу, вскричал Каменский. — Фашизм-то что такое? Квинт-эссенция воинствующего империализма! Так разве капиталистическим тузам немецкий фашист не ближе, чем русский большевик! И разве они не понимают, что после этой войны революционная демократия будет во всем мире сильнее, чем когда-либо! Так что им интересы нашей страны перед перспективой потерять власть и доходы!

Он откинулся, утомленный, глаза закрылись. Мария не шевелилась, боясь вспугнуть его мгновенную дремоту. Но Каменский улыбнулся и проговорил, не открывая глаз:

— Очень хочется дожить до «после войны», Мари-на... — И, вдруг смутившись, заметил: — Куда ж это Митя исчез?

— Я позову его,— торопливо сказала Мария.

Митя со страдающим лицом болтался по коридору. Он выскользнул из палаты по доброму и самоотверженному побуждению, потому что видел, как нетерпеливо ждал Марию Каменский все эти дни и как он преобразился, услышав издалека ее шаги. Но, оставив его вдвоем с Марией, Митя ощутил себя забытым, никому не нужным.

— Митюша, куда же вы сбежали?

— Я думал, он заснет,— мужественно солгал Митя и вместе с Марией вернулся в палату.

— Что ж ты свою гостью покинул? — встретил его Каменский. — А мы тут все международное и военное положение обсудили.

По успокоенно-радостному лицу Каменского и по смущению Марии Митя догадался, что им было хорошо вдвоем и позвали его просто из вежливости.

— А у нас в коридоре тоже дискуссия была,— грубоватым голосом сказал он. — Когда ни выйдешь, бойцы войну обсуждают.

— Ну и что говорят? — быстро спросил Каменский.

«Нет, мне просто показалось», — с облегчением решил Митя, так как думал, что любовь заслоняет все другие интересы.

— Верят бойцы,— начал он, вступая в разговор, в котором уже не чувствовал себя лишним. — Только один есть дядька, тот мрачно на все смотрит: «Нет, не одолеть немца, где уж против такой силищи!» А потом и говорит: «Ох, не нравится мне война! После войны попрошусь на колхозную пасеку, буду пчелок разводить, солнышку радоваться, чай с медком пить... Вот это жизнь!» Ему и говорят бойцы: «Да какая же колхозная пасека, когда ты говоришь — не одолеть! После войны ты, выходит, под немцем будешь». Он так и подскочил: «То есть как это под немцем? Что вы, братцы! Я ж говорю в том смысле, что трудно. А в конце концов, понятно, справимся!»

— Вот оно, вот оно! — восторженно воскликнул Каменский. — Чувствуете, Марина?

«Нет, не показалось,— сказал себе Митя и, покоряясь грустной неизбежности, со стороны оглядел двух самых милых ему людей. — Да, они хороши вместе... да, так и должно быть...»

Он потерял дар слова, когда Мария спросила, прощаясь в коридоре:

— Может быть, не приходите больше, Митя? А то вы меня бросили сегодня с вашим соседом, как будто я не к вам пришла.

Слова, смутившие Митю, она сказала не шутя, от всей души. С нее хватит! Она не хочет никаких новых отношений,— это все лишь новые тяготы и беспокойство. Неожиданное вторжение Каменского в ее жизнь показалось помехой, отвлечением от сурового и делового строя жизни. И с какой стати этот человек так уверенно навязывает ей свою близость? «Судьба послала...» Ей это не нужно. Ей ничего не нужно, кроме того, чтобы жив был и здоров Андриуша, чтобы на объекте все было в порядке, чтобы враг не вошел в Ленинград...

Она шагала быстро, размашисто. Хотелось до начала вечернего налета поспеть на объект и проверить расселение нескольких семейств, переехавших из разбомбленных домов. Это была ее идея — создать в клубе общежитие для пострадавших рабочих. Но сколько прибавилось хлопот с появлением новых людей! Им нужно стирать, стирать, укрываться во время тревог. Надо найти среди

них пополнение для группы самозащиты. А как они будут вести себя, эти незнакомые люди, после того как их уже однажды разбомбило?

Воздушная тревога захватила Марию в пути, и хотя она старалась не попадаться на глаза милиционерам и дежурным, ее все-таки перехватили и загнали в убежище большого благоустроенного дома. В убежище было очень светло и чисто, рядами стояли скамейки и стулья, на столах были разложены газеты и журналы, две сандружинницы в белых халатах следили за порядком. Мария с интересом осматривалась, прикидывая, что и как улучшить у себя.

Шум спора отвлек ее. Пожилая дама в старых лайковых перчатках пристроилась рядом с ней и, стараясь загородить нарушение порядка своей широкой спиной, что-то варила на маленькой спиртовке. Женщины заметили ее хитрость и подняли шум, уверяя, что спиртовка отравляет воздух и обязательно вызовет пожар.

— Но это же спиртовка! Для щипцов! — уверяла дама, отбивая словесные атаки и упрямо продолжая держать кастрюльку над синим пламенем. — Это же спиртовка, дорожная! Ее в международном вагоне зажигать разрешают!

— А вот вы в международном и жгите! — кричали женщины.

Полная сандружинница с очень ясным худощавым лицом подошла на шум и негромко спросила, в чем дело. Ее мягкая и властная манера разговаривать понравилась Марии. Выяснилось, что дама греет кашу для годовалого внука. Сандружинница принесла железный лист и предложила поставить на него спиртовку во избежание пожара.

— Вера Даниловна, вапа власть, а только несправедливо, — сказала одна из женщин. — У меня дочке тоже второй год, а я наверх бегаю кашу греть! Значит, и я могу со своим примусом сюда? У меня-то международных спиртовок нету!

— Тащите сюда кашу, гражданка даст вам согреть на своей спиртовке, — сказала сандружинница.

Тут возмутилась дама в лайковых перчатках:

— Да что вы, Вера Даниловна! Теперь спирт — такая редкость, разве на всех напасешься!

— А вы хотите только для себя? Тогда надо и греть у себя в квартире, — не повышая голоса, сказала Вера

Подгорная. — Ведь мы убежище создавали и для вас, и для вашей семьи? А воздух вы сейчас ухудшаете для всех. Надо и о других думать.

Вера Подгорная устало опустилась на скамейку рядом с Марией и с еле заметной лукавой усмешкой наблюдала, как дама торопливо тушит спиртовку. Мария с растущей симпатией разглядывала худощавое, тонкое лицо сандружинницы и ее непропорционально полную фигуру. И вдруг поняла, что полнота — от беременности.

Дама, держа руками в перчатках кастрюльку с кашей, поплыла через убежище в детскую комнату. «Международная» спиртовка в кожаном мешочке болталась у ее локтя.

— Такую не скоро научишь о других думать, — сказала Мария. — Правда?

— Она неплохая, — задумчиво ответила Вера Подгорная. — Ее муж — крупный ученый. Она очень нежно заботится о нем и все тяготы нынешней жизни берет на себя, чтобы он продолжал свою работу. Сын ее в армии, невестка тоже работает, внученок у нее на руках. Но это все... свои, что ли. А в чужих людях видеть своих... этому мы все только учимся.

— А все же никогда не чувствовалось так, как теперь, что все едины, — сказала Мария. И спросила, показав взглядом на располневшую талию собеседницы: — Очень трудно вам?

— И трудно, и легче, — коротко ответила Вера Подгорная и встала. — Дороже этого ведь ничего нет.

Она пошла по убежищу, останавливаясь то тут, то там, чтобы успокоить взволнованных или приласкать ребенка. Мария проводила ее глазами, охваченная неясным сожалением, что уходит навсегда женщина, которая могла бы быть другом. И что эту женщину ждет страшное испытание — материнство среди смерти, в осажденном городе. «Но к тому времени все уже кончится, — сказала себе Мария, — не может это тянуться так долго...» — «А если долго — не выдержишь?» — тотчас раздраженно спросила она себя. «Я выдержу. Но все ли смогут выдержать?» — «А чем ты лучше других? Полгода назад и ты никогда не поверила бы, что выдержишь...» — «Но вот эта молодая мать... эта барыня в лайковых перчатках и ее ученый муж... и годовалый внук... А Андрюша? Он уже теперь без молока, без прогулок,

без нормального ухода и питания, в спертom воздухе убежища...»

Это был давнишний разговор с самой собой, конца у него не было. Мария тряхнула головой и огляделась, чтобы развлечься. Но зрелище переполненного людьми подвала было надоедливо знакомо. Она откинулась к стене и решила отдохнуть, ни на что не обращая внимания. Может быть, удастся и задремать...

Не стрельба, не близкий удар бомбы, а внутренний толчок — нельзя! — заставил ее очнуться. Мир, в который она погрузилась сонной мыслью, был мир запретный. Она ведь не хотела заглядывать в него, не позволяла себе даже касаться его воспоминанием. Дремота ослабила контроль разума. В спертый воздух убежища вдруг просочилось свежее дуновение речного воздуха. Белые цветы табака раскрылись и впитали в запахи речных трав, нагретого сена и сосен свой острый, томящий запах.

Она закрывает глаза и чуть покачивается, поддерживаемая сильной, нежной рукой, и так хорошо, так спокойно, так без слов понятна и желанна любовь... «Становится свежо. Ты не озябнешь?» — «Нет, милый, что ты!» И опять тишина, тишина, — только тихий стрекот воды, перебегающей через корягу, да кузнечики в траве... В этой благостной тишине качаются воспоминания, они поднимаются легкими пластами, как туман над рекой, и мысль жадно встречает их и перебирает, и уже не туман, а яркие видения, похожие на явь, встают перед широко раскрытыми глазами.

Первая встреча в райисполкоме на совещании... Мария выступает сердито, запальчиво, она возмущена волокитой со строительством школы по ее проекту — по ее первому проекту! Она заранее ненавидит этого Трубникова, который якобы сказал, что у него есть заботы поважнее. А он слушал ее без досады и, когда она кончила, улыбнулся своей обаятельной улыбкой: «Что верно, то верно! Вы еще мало ругали меня. Ничего, товарищ архитектор, исправим!» Она подумала тогда, что он знает обаяние своей улыбки и умело пользуется им. Но все же он ей понравился. А главное, он сразу так безусловно поддержал ее требования, так быстро помог!

Осмотр площадки, деловые споры, в которых она не проявляла ни уступчивости, ни мягкости... И внимательные глаза Трубникова, следовавшие за нею, куда бы она

ни пошла. Он отвез ее в город на своей машине и вдруг предложил: «Хотите, покатаемся немного на недозволенной скорости?» От смущения она сердито буркнула: «Хочу». Была уже ночь, когда они возвращались из этой сумасшедшей поездки. Машина шла совсем тихо, а Борис, держа руль одной рукой, другой изредка касался ее руки и вполголоса рассказывал ей, сколько у него разнообразных забот и дел, как трудно со всем управиться и как он любит свой район, где каждый камень и каждое дерево о чем-то напоминают. У Дома колхозника он сказал, помогая ей выйти: «А теперь все дороги района будут напоминать мне о вас». Как ей не хотелось тогда расставаться! И ему тоже... Он воскликнул с негодованием: «И зачем это люди спят?» Через два дня он вызвал ее в райисполком. После короткого делового разговора предложил, чуть улыбнувшись: «Проедемте сегодня к вечеру на стройку, я сам договорюсь о материале и рабочих. И, если позволите, опять нарушу постановление о скорости». Она ответила, очень довольная: «Вы местная власть, вам виднее, какие постановления обязательны!» Они поехали и остались ночевать в селе — Мария у учительницы, Трубников у председателя. Борис разбудил ее на рассвете и увез опять в головокружительную поездку «навстречу солнцу». Автомобиль неся через поля, обрызганные росой, через леса, еще темные и пахнущие ночной сыростью, пронесился над реками, розовыми от зари. А потом они гуляли по мокрой траве в лучах встающего солнца, и первый поцелуй был неожидан, радостен и чист, как утро. И Марии казалось, что вся простая, раскрытая солнцу природа благословляет ее любовь...

Очнувшись и с изумлением оглядывая незнакомый подвал с незнакомыми людьми, Мария еще слышала свою мысль, звучавшую как бы со стороны: «Вот так начинается любовь». Это было продолжение внутреннего спора, ответ кому-то...

«О ком ты вспоминаешь? Зачем?» — спросила себя Мария с презрением. Теперь она точно знала, что воспоминания пришли к ней не впервые. Это они в недавнюю, не по-военному тихую ночь томили ее бессонницей. Они жили в ней все время, тлея, как горячие угли под пеплом, и при каждом движении, при каждом дуновении, шевелившем пепел, вспыхивали и обжигали... Да, можно расстаться с человеком, если нет другого решения в

душе. Можно научиться не любить его. Можно презирать его. Даже презирать!.. Но солнечное утро остается солнечным утром, и упоение сумасшедшей скорости, веселости и разом вспыхнувшей страсти будет вспоминаться по-прежнему прекрасным. Разве вычеркнешь из памяти самые лучшие годы только потому, что они прожиты с человеком, который изменил в тяжелый час! Разве скажешь самой себе уничтожающие слова: «Ты любила зря. Твое волнение было глупо. Твоя радость — нелепа. Твои лучшие переживания — самообман, ошибка. Ничего не было. Ты видела человека не таким, каков он есть, ты сама выдумала свое счастье!»

Она искала другого выхода, чтобы оставить нетронутыми эти драгоценные воспоминания. «Он сам не знал, что сдрейфит», — сказал Сизов. Да, он сам не знал этого, он был хорошим, умным, веселым, он никогда не думал, что способен струсить в тяжелый час... Да и думал ли он о том, что может настать тяжелый час? И вот жизнь поставила его перед выбором: остаться для смертельной борьбы или уехать. Если бы ему приказали остаться, он, конечно, остался бы. Но жизнь позволила ему решать. Он мог выполнить свой долг руководителя до конца, как это сделал Гудимов, или поступить вопреки своему долгу, но так, что формально его не обвинишь... Преступление, совершенное в глубине души, не подсудно, не доказано...

А письма?

Не слушая то затихающего, то нарастающего гула войны, Мария требовала от самой себя беспощадной откровенности. А письма? Его гладкие письма, где те же заученно правильные слова, где ни разу не прорвалось искреннее чувство стыда, где в порыве самооправдания он смеет упрекать ее в фанатизме и равнодушии к сыну! Он ничего не хочет признавать, ни в чем не раскаивается, он только старается оправдать себя... Как бельмо на глазу, мешает ему и раздражает его сейчас образ когда-то любимой женщины. А Гудимов? Вспоминает ли он Гудимова и тот жестокий разговор, который, очевидно, произошел между ними? А Оля? Как он при встрече посмотрит в глаза своей сестре?

Мария побледнела, сообразив, что он просто не верит в то, что они останутся живы.

«Ты человек или ты баба? — со злостью сказала она себе. — Ты не побежала вместе с ним, ты не захотела прикрыться формальной правотой... Так что же ты те-

перь тешишься воспоминаниями, когда ты знаешь, что он предал тебя, и сына, и свою родину, что он мелкий, себялюбивый трус?.. Пусть все оправдают его и простят, но я-то знаю, что он просто струсил. Я-то никогда, никогда не смогу броситься к нему навстречу, как раньше, никогда не смогу сказать Андрюше: „Вот твой отец, люби его и уважай!“»

Андрюша... Все мысли в конце концов сходились к нему. Он вырастет и спросит: «Кто мой папа? Почему у меня нет папы?» И будет так трудно в дни далекого мира рассказать и объяснить ему. Поймет ли он неумолимую требовательность наших дней, этот суровый и беспощадный свет, обнажающий самую суть человека?.. Должен понять. Если она сумеет воспитать сына честным, смелым, неспособным на сделки с совестью... Воспитать бы только, вырастить бы только!.. А что, если он погибнет сегодня или завтра?.. Она ни в чем не поступилась перед судом своей совести, но она не имела силы оторвать сына от себя и отправить в безопасный тыл. Если он выживет, он будет уважать ее и гордиться ею... Но если он не выживет, а она по злой случайности останется жива — как она оправдается... не перед Трубниковым, а перед самой собой?..

В убежище началось шумное движение к выходу. В открытую дверь влетела мелодия отбоя, и Мария обрадовалась ей, как спасению от гнетущих мыслей.

У двери она снова увидела приглянувшуюся ей сандружинницу. Вера Подгорная выпускала людей из убежища, стараясь предотвратить давку. В ее истомленном лице и негромком голосе сквозила огромная, давняя усталость. И все-таки она тоже никуда не уехала. И она тоже связала свою судьбу и судьбу своего ребенка с судьбой города.

Мария добежала до строительной конторы и чуть не расцеловала дежурную Тимошкину, когда та, поднявшись, рапортовала ей, что никаких происшествий на объекте не произошло. Все показалось Марии многообещающе хорошим и простым, как только она увидела знакомые лица и почувствовала себя включенной в привычный круг военных хлопот.

— Тимошкина! — сказала она весело. — Сходи в общежитие и вызови ко мне старших, от каждой семьи, начнем наводить порядок!

Когда Люба Вихрова выбрала себе профессию монтера, она была уверена, что выбрала лучшую профессию на свете. В самой силе электричества уже была чудодейственность. А человек, управляющий чудесной силой, был безусловно сродни доброму волшебнику.

Дочь заводского ветерана, вышедшего на пенсию, Люба по традиции готовилась поступить на завод, с которым была связана вся семья. У нее был прекрасный голос, и одно время она мечтала об оперной сцене, но отец и слышать не хотел об этом: «Пой себе на здоровье, когда хочется, а на работе надо заниматься делом». Люба легко согласилась, как вообще легко соглашалась на все. Про себя она знала, что ее ждет необычайная судьба, какую встретишь только в романах. Пока жизнь шла обыденно, Люба училась, сдавала экзамены, пела для своего удовольствия, а все свободное время зачитывалась приключениями.

Однажды в библиотеке заводского Дома культуры Люба увидела хорошо одетого немолодого человека с энергичным лицом. Он вошел быстрыми, деловыми шагами и сказал, не обращая внимания на то, что библиотекарьша занята с Любой:

— Дайте мне какую-нибудь книжку на ночь. Поинтересней, чтоб не заснуть.

Люба охотно посторонилась, пропуская вне очереди странного человека, не желающего спать. А библиотекарьша стала предлагать разные книги и, по мнению Любы, вела себя страшно глупо. Она вытаскивала толстенные романы современных авторов только потому, что это были новинки. «А этого вы еще не читали?» Странный человек перелистывал книги и не соблазнялся ни Фейхтвангером, ни Томасом Манном, ни Генрихом.

— Господи боже мой! — потеряв терпение, вскричала Люба. — Если вы хотите не заснуть, возьмите вот это. Я до шести утра прыгала на кровати от нетерпения: что будет дальше?

Библиотекарьша неодобрительно покачала головой, по человек, не желающий спать, с веселой готовностью взял протянутую Любой книгу.

— Такой читательнице грех не поверить, — сказал он. — Вот только книга толстая. А мне надо дожидаться

разговора с Москвой в три часа ночи, до шести мне прыгать ни к чему. Как же быть?

— Читайте с середины,— посоветовала Люба. — Будет еще интересней.

Он засмеялся и ушел, не дожидаясь, чтобы библиотекарьша оформила выдачу книги.

— Какой чудак! — фыркнула Люба.

Библиотекарша укоризненно поджала губы:

— Это Владимир Иванович Снегирев, директор.

Через два дня, когда Люба меняла книги, в библиотеке снова появился Владимир Иванович. Гордясь своей ролью консультанта, Люба спросила его:

— Ну как, интересно?

Он узнал ее и обрадовался.

— Здрóрово! — воскликнул он. — Я очень рад, что вы здесь. Ну-ка, что вы сдаете на этот раз?

Посмотрев книги, сдаваемые Любой, он попросил переписать их на его карточку.

— Я даже забыл, что на свете бывают такие приключения,— сказал он библиотекарше. — Без промфинплана и без себестоимости продукции. Это освежает, как душ. Кто вы такая, девушка, что так здóрово выбираете книги?

— Вихрова Люба,— независимо подняв голову, представилась она.

— Снегирев Владимир,— подражая ей, представился он.

— Я знаю, вы были учеником моего отца,— сказала Люба, чтобы он не задавался.

— Ого! Владимира Никитича дочка? То-то я вижу — умная. Ну, как старик? Я к нему давно собираюсь. По-едемте сейчас, а?

Люба впервые ехала в легковой машине,— правда, всего четыре квартала. Отец с большим достоинством встретил гостя, давал ему советы насчет производства и угощал солеными огурчиками, грибочками и настойкой собственного изготовления. Владимиру Ивановичу все очень нравилось.

— Вы не поверите,— восклицал он,— живу как зачумленный! Кроме завода, ничего не вижу.

— Больно рано вас директором сделали,— сказал отец. — Конечно, молодому человеку такая ответственность! Ночи не поспишь,

Люба с удивлением посмотрела на Владимира Ивановича. Какой же он молодой человек? На вид ему было лет тридцать пять.

— А ему как раз спится,— смеясь сказала она. — Даже лекарство требуется, чтобы не заснуть.

— Помолчи, Любовь, когда взрослые говорят,— прикрикнул на нее старик.

Но замечание Любы рассмешило Владимира Ивановича, он рассказал, как Люба помогает ему выбирать книги. Под конец вечера Люба пела песни по заказу отца, а потом и по заказу Владимира Ивановича. Когда он уезжал, Люба уже знала, что Владимир Иванович влюблен в нее, и это смешило ее и смущало. Она с любопытством ждала, что будет дальше, но дальше ничего не было. Владимир Иванович не встречался ей больше и к ним не приезжал. Иногда она видела, как утром проносится к заводу его машина. Однажды, подкараулив ее, Люба сделала вид, что поскользнулась, и упала на мостовую. Машина и в самом деле чуть не переехала ее. Владимир Иванович выскочил из машины, помог ей встать и побледнел, узнав Любу.

— Вы?.. — пробормотал он.

— А вы меня узнали? — пролепетала Люба, испуганная своей неудачной шуткой.

— Садитесь живо,— сказал он. — Я вас отвезу домой.

Она села рядом с ним и откинулась на подушку, раздумывая, что теперь делать. Пугать отца не следовало. Расставаться с Владимиром Ивановичем не хотелось.

— Отвезите меня к подруге,— попросила она и назвала адрес на Васильевском острове, который тут же выдумала.

Владимир Иванович взглянул на часы, тряхнул головой и повторил шоферу адрес. В дороге они болтали самым милым образом.

— Дома сорок здесь нет,— вдруг мрачно сказал шофер.

Оба высунулись в окно — действительно, последний дом был № 38.

Люба невинно пожимала плечами, уверяя, что прекрасно помнит...

— Точно,— вдруг сказал Владимир Иванович. — Дом перенесли вчера со всеми жильцами на другую линию. Об этом было в газетах. Разве вы не читали?

— Конечно, читала! — подхватила Люба. — Со скоростью один метр в час. Жильцы продолжали топить печи и пользоваться электроприборами...

— А девчонки вроде вас торчали в окнах и кокетничали со зрителями...

Шофер развернул машину, закурил и высунулся в окно. Владимир Иванович виновато покосился на шофера и тихо спросил:

— Ну, как же вы жили это время, Соловушка?

— А почему вы не приехали к нам снова? — так же тихо спросила Люба.

Он помолчал и строго ответил:

— Потому что вам восемнадцать лет, а мне тридцать шесть. — И тронул шофера за плечо: — Поехали обратно, Миша.

Они долго молчали. Машина уже неслась по знакомому району, когда Люба сказала:

— Это вы зря... Я бы вам книжки помогала выбирать.

Он вздохнул и не ответил.

Вечером он приехал к ней домой, советовался с ее отцом по каким-то скучным производственным делам, а перед уходом потихоньку сунул Любе конверт. В конверте были театральные билеты и записка с просьбой пойти в театр с кем она хочет, а если у нее нет лучшего спутника, позвонить ему по телефону. Она позвонила. И попросила его пойти с нею, только не в машине, а пешком, «как все люди». Они вели себя весь вечер как двое мальчишек. Висели на подножках трамваев, в театре прятались от его знакомых, ели пирожные в каждом антракте, заедая огромными порциями мороженого, смеялись так громко, что на них оглядывались. Возвращаясь домой пешком через весь город, оба смолкли. А у ее дома он спросил, задержав ее руку:

— Соловушка... Если я приду к вашему отцу и попрошу у него вас, вы согласитесь?

— Не знаю, — чуть не плача от волнения и страха, ответила она. — Подождите немного... Я не знаю...

— Вы сами виноваты, — сказал он. — Я ведь не хотел. Я понимал разницу лет. Если бы вы тогда не попали под машину, я бы ни за что не пришел...

— Только вы с папой не говорите. Я сама... вы не торопитесь...

Она убежала в дом, перепуганная и обрадованная. Они встречались в каждый свободный час, и оттого, что

свободных часов у Владимира Ивановича было мало, встречи были особенно желанны. Вечно что-нибудь мешало, любовь походила на скачку с препятствиями. Через две недели он все-таки пришел к ее отцу и сделал предложение, как в старых романах. Отец от удивления не знал, что сказать.

— Ну и коза-егоза! — наконец пробормотал он. — Владимир Иванович, дорогой, ну, какое может быть возражение! Женись. Да только подумай сам, будет ли она тебе пара? Ведь дуреха еще, вертунья! Какая из нее жена такому человеку!

— А без нее я сам не человек уже, — сказал Владимир Иванович.

Казалось бы, все решено. Но тут, как в старых романах, отец выдумал требование — пусть Люба сначала кончит техникум. Пришлось подчиниться. Люба пыхтела, готовясь к испытаниям, а Владимир Иванович ремонтировал квартиру, волновался в те дни, когда Люба сдавала испытания, и водил ее выбирать обои и мебель. Перед самой свадьбой он показал ей завод и всем инженерам и мастерам, с которыми они встречались, представлял ее как свою невесту. Люба была наблюдательна и заметила: старикам льстило, что директор женится на дочке заводского человека, но ее вид не внушал им почтения. Несколько минут она пыталась разыгрывать из себя серьезную, умную девушку, достойную жениха-директора, но ей самой стало так смешно притворяться, что она поняла — никто не поверит. И стала сама собой, что и было лучше всего.

— Я скоро приду на завод уже не гостьей, а электротехником, — сообщала она, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность.

Но никто не принимал ее сообщения всерьез.

С детства Люба росла в окружении заводских людей и слышала о заводе много всяких рассказов. Но только с Владимиром Ивановичем она впервые переступила порог завода и своими глазами увидела литье и прокат, угрюмую старую котельную и просторную новую, высооченные цехи, уютную заводскую электроподстанцию, веселую модельную и гордость завода — новый цех сборки танков. Ей показалось, что она вступила в мир давно прочитанной, хорошо знакомой книги, где все узнается сразу, хотя и выглядит немного не так, как представлялось.

Может быть, оттого, что прогулка по заводу в сопровождении жениха воспринималась как развлечение, Люба запомнила завод светлым, огромным домом, где происходят увлекательные превращения одних вещей в другие, например искрящейся раскаленной болванки — в холодную, отполированную, хитро обточенную деталь загадочного назначения, составляющую вместе со многими другими большими и малыми деталями страшную машину — танк. И тогда же она решила по окончании техникума заняться электросваркой, потому что, в конце концов, на подстанции скучно, а электросварщик похож на человека, похитившего с неба молнию.

Владимир Иванович решил иначе: лето надо отдыхать, читать книжки в садике своего «дворца», а по вечерам вместе гулять и развлекаться так, как захочется. В августе будет у Владимира Ивановича отпуск, и они поедут в Гагры — даже не поедут, а полетят на самолете, — а обратно вернутся на теплоходе через Севастополь. Осенью Люба поступит на завод, а еще лучше — в институт.

Заманчивое будущее было перечеркнуто вторжением немцев. В садике «дворца» падали зенитные осколки, в Гаграх лечились раненые, в Севастополе шли бои, пассажирские самолеты обслуживали фронт, студенты рыли противотанковые рвы, Владимир Иванович дни и ночи проводил на заводе... А завод стал полем сражения, хорошо пристрелянной мишенью для немецких артиллеристов и летчиков.

И все-таки, собираясь на завод, Люба представляла его себе таким, каким он ей запомнился во время весенней прогулки по цехам. Она ликовала при мысли, что Владимир Иванович пройдет по цехам и вдруг увидит ее работающей, в засаленном комбинезоне, и скажет, рассмеявшись: «Ну и ну! Перехитрила!»

Но все вышло иначе.

Подходя к заводу в толпе рабочих, Люба и Сашок попали под обстрел. Толпа рассеялась. Кое-кто ложился на землю, но большинство бежало к воротам. Люба и Сашок тоже побежали, в проходной, отдышавшись, предьявили пропуска и хотели идти к цеху Курбатова, но в это время во дворе что-то лопнуло, грохнуло, ударило в лицо горячим воздухом — и в клубах дыма и пыли Люба увидела, как шатается и постепенно, словно нехотя, обваливается стена одного из цехов. В следующую

минуту, подчиняясь властным приказаниям незнакомого человека, Люба и Сашок в числе других рабочих расчищали проезд и уносили на носилках битый кирпич и стекло. Люба услышала голос мужа за спиной и радостно оглянулась, но Владимир Иванович, не замечая ее, прошел мимо, и Любу удивило его постаревшее, хмурое лицо.

Через час Любу и Сашка отпустили, и они пошли к Курбатову.

Вопреки логике, Люба ожидала, что сборочный цех будет таким же, каким она его увидела весной: опрятным, подтянутым, щеголеватым.

При входе на нее пахло холодом и сыростью. В разбитые окна, затянутые фанерой и парусиной, проникал ветер, но почти не проникал свет. Низко опущенные лампы были тщательно окутаны синей бумагой. В темном зале тут и там громоздились изуродованные, помятые танки. Люба видела мощные башни, сплюснутые, как игрушки из папье-маше, толстую броню, разорванную и закрученную, как картон, обнаженные колеса, повисшие в воздухе, и валяющиеся на полу цепи гусениц с разбитыми звеньями. Некоторые танки стояли покинутыми, как мертвые, у других возились рабочие, грохотали молоты, визжал металл, жужжали и искрили сварочные аппараты.

Стеклянная будка Курбатова висела в глубине цеха, как скелет. Лесенка, по которой Люба взбегала весной, обвалилась и лежала тут же, скрученная винтом.

Растерянно озираясь, Люба подошла к ближайшим рабочим и спросила, где найти начальника цеха. Она не произнесла фамилии Курбатова, боясь, что ей скажут «убит». Но рабочие ответили, что Курбатов только что был здесь.

— Да вон он,— и они кивнули куда-то в темноту.

Люба давно знала Курбатова по рассказам мужа и подошла к нему как к человеку, хорошо знакомому, хотя видела его только раз в жизни. Курбатов не узнал ее, поморщился, соображая, где ему всего нужнее люди, и послал Любу и Сашка к мастеру Кораблеву.

Люба встречала у отца старшего Кораблева, Василия Васильевича, и по сходству легко узнала сына. Сын был высок, худ. Озабоченное, перепачканное сажей лицо его обрамляла повязка, закрывавшая лоб; как и лицо, бинт был черен от сажи,— Григорий Кораблев только что вылез из обгорелого танка.

— Всего двое? — сказал он разочарованно, переводя взгляд с Любы на Сашку. — Видали? — крикнул он кому-то, возившемуся на танке: — Рабочий класс пошел — девочки да мальчишки!

— Я кончила техникум, — обиженно сказала Люба. — И я бы хотела учиться на сварщика.

— Дело! — сказал Кораблев. — А ты, парень, что?

Сашок, робея, объявил, что тоже хочет быть сварщиком.

— Это сынишка вашего Аверьянова, Николая Егорыча, — добавила Люба.

— Вот как! — с уважением протянул Кораблев и покрутил головой, мучительно скривив губы — видно, раненая голова болела. Превозмогая боль, он сказал неожиданно слабым голосом: — Ну, вот что. Учение теперь на ходу, между делом. Сегодня я вас поставлю подсоблять на очистке вот этого погорельца. А к сварщикам прикреплю. Постепенно подучат.

Сашок принялся работать так, как будто век провел в цехе. Люба старалась подражать ему и работать весело, но когда среди обглоданного огнем металла ей попался кусок обгорелого планшета и шлем танкиста с приставшими к нему слипшимися от крови волосами, ей стало дурно.

В течение бесконечно длинного дня несколько раз начинались и кончались обстрелы, дежурные разбегались на посты, остальные рабочие продолжали работать. Два раза налетали немецкие самолеты, часть бомб упала где-то близко, так что танк глухо вздрогнул.

Кто-то сообщил рядом привычно-равнодушным голосом:

— К Солодухину опять два снаряда. И в заводоуправление шмякнулся.

Люба выскочила из танка и побежала к Курбатову:

— Товарищ Курбатов... что в заводоуправлении?.. Владимир Иванович?..

Курбатов удивленно взгляделся в нее и узнал.

— Что же вы не сказали? — устало упрекнул он. — Не беспокойтесь, Владимир Иванович только что был здесь.

Часа через два, оповещенный о ее поступлении на завод, Владимир Иванович разыскал ее в цехе. И снова он показался ей постаревшим, недобрым.

— Почему же ты не посоветовалась, Соловушка?

Обращение было ласковым, а голос неласков.

— Неудачное время выбрала, — добавил он.

К концу рабочего дня на всей территории завода начали рваться снаряды, и Люба узнала, что немцы всегда бьют по заводу в часы смен. Курбатов подошел к Любе и сказал недовольным голосом:

— Владимир Иванович звонил, чтобы вас проводить к нему.

Люба поняла, что Курбатова стесняет присутствие в цехе директорской жены и что именно этого опасался Владимир Иванович. Она вошла к мужу с виноватым лицом и сказала, что хочет быть на заводе сама по себе, что не будет даже заходить в заводоуправление.

— А вот это невозможно, Любушка,— грустно сказал Владимир Иванович и обнял ее. — Я сегодня переволновался, зная, что ты здесь. Наглупила — теперь уж ничего не поделаешь. Но ты мне так дорога, девочка, что...

Он сам себя оборвал и строго велел ей помыться и прилечь за ширмами, пока он не освободится.

Люба легла, с интересом готовясь слушать все то, что составляет мало известную ей умную, ответственную работу ее мужа. Она упрекнула себя в том, что не подумала, как устает ее муж, не сумела позаботиться о том, чтобы и на заводе ему было где отдохнуть. Экая жалкая койка с грубой подушкой! Но, растянувшись на жалкой койке и положив голову на грубую подушку, Люба тотчас же сладко заснула.

Когда она проснулась, было тихо и темно. За ширмой горела настольная лампа, прикрытая газетой, и шуршала бумага, как будто в столе возились мыши. Откуда-то тянуло запахом крепкого табака.

— Правильно,— вдруг сказал за ширмой незнакомый голос.

— Другого выхода нет,— тихо ответил Владимир Иванович и чиркнул спичкой, закуривая.

Снова зашуршала бумага, потом Владимир Иванович и кто-то второй, кого Люба начала смутно узнавать, заговорили вполголоса. Качаясь между сном и явью, Люба то слушала, то проваливалась куда-то и по обрывкам услышанного не могла уловить нить разговора. Но вдруг ей почудилось что-то такое тревожное и пугающее, что она приподнялась на локте, стараясь не проронить ни слова.

Секретарь райкома Пегов (теперь Люба узнала его) и Владимир Иванович говорили о заводских делах, перс-

числя номера цехов и названия станков и машин. Но перечисление было вызвано тем страшным, что не сразу поняла Люба.

Пегов сообщил, что в ближайшие дни ожидается новый штурм, что этот штурм будет весьма ожесточенным и надо быть готовыми к тому, что враг прорвет оборону и, следовательно, может ворваться, хотя бы временно, на территорию завода. Это сообщение было передано и воспринято спокойно, как подробность уже известной обстановки, и теперь два человека, знающие свою ответственность, обсуждали будничным языком, что надо сделать сегодня ночью, завтра и послезавтра для того, чтобы враги ничем не поживились.

Люба не все понимала, но смысл сводился к тому, что некоторые цехи и некоторые группы рабочих переводились на Выборгскую сторону, а здесь оставались только те, кто занят ремонтом танков. Увеличение числа подбитых танков планировалось как поступление любого промышленного сырья, и не верилось, что у этого самого Пегова единственный сын — танкист, сражающийся под Ленинградом... Люба вспомнила кусок планшета и шлем с присохшими волосами, и ей захотелось плакать. Но Пегов и Владимир Иванович говорили по-прежнему буднично о том, что надо немедленно приналечь на ремонт легко поврежденных танков и подготовить к уничтожению другие. Затем они стали обсуждать, кто и как будет «в случае чего» взрывать завод. И опять пошло сухое перечисление названий и фамилий, как будто речь шла не о том, что взлетит на воздух любимейшее детище вот этих двух деловито разговаривающих людей.

«Это и есть война», — сказала себе Люба, со стыдом вспоминая, как она хвастала своей храбростью («вот еще, прятаться в щель!»), как она гордилась и зазнавалась оттого, что ей посчастливилось задержать парашютиста. Владимир Иванович никогда ничем не хвастался и говорил без рисовки: «Я человек штатский», но готовился выполнить страшное воинское дело, одновременно сохранив все, что возможно, для продолжения производства. И его не пугало то, от чего у Любы толчками билось сердце.

— А в общем, мы еще повоюем, — сказал Пегов. — Главное на сегодняшней день — скорее вернуть в строй все танки, какие можно. На это и налегайте.

Люба услышала «на сегодняшний день» — слова, над которыми она не раз издевалась, уверяя мужа, что они должны войти в словарь бюрократического языка. От этих нелепых привычных слов ей вдруг стало спокойно. Ничего страшного не случится! Эти буднично рассуждающие люди действительно подготовят к взрыву цехи, и котлы, и машины, но на каждый «сегодняшний день» будут выпускать танки, снаряды, мины и те секретные штуки, о которых Любе ничего не рассказывается. И другие такие же люди подготовятся отразить еще один фашистский штурм и отразят его с помощью танков, снарядов, мин и тех секретных штук. И никогда фашистам не прорваться туда, где хозяйничают эти люди...

Успокоясь, Люба задремала. Ее разбудил голос Солодухина.

— Да, Владимир Иванович, — плачущим голосом говорил Солодухин, — и куда же мы двинемся с насиженного места? Опять же производство задержим минимум на неделю... И рабочие, как хотите, от своего завода и от своих домов...

— Экой ты, Солодухин, упрямец! — с досадой сказал Владимир Иванович, и по его голосу Люба поняла, что Владимиру Ивановичу самому очень не хочется отпустить Солодухина на Выборгскую сторону.

— А что снаряды, так ведь к ним привыкли — раз, и на Выборгской тоже не бог весть какая малина — два, — сказал Солодухин.

«Как хорошо, что сборочный не переводят на Выборгскую!» — подумала Люба. То, что «на сегодняшний день» ожидается штурм с возможным прорывом обороны, перестало пугать ее. Под звуки плачущего голоса Солодухина Люба зажмурилась, улыбнулась и окончательно заснула. И шумы очередного воздушного налета прошли мимо ее сознания, хотя в эту ночь на территории завода упала бомба, снова повредив цех Солодухина.

16

— Соловушка, подсоби!

— Любушка, ноги-ка сюда!

— Любовь Владимировна, организуйте!

Она быстро и прочно вошла в заводскую жизнь. Ее веселость, ее доброта, ее азартная готовность все делать

и всем помогать привлекли к ней людей и непрерывно подбавляли ей работы, но работа не тяготила ее, а вдохновляла. Все ее романтические мечты о необыкновенном, порожденные книгами и воображением, влекли ее к испытаниям, к подвигам, к проявлению своей энергии. Непрерывная опасность выдвигала перед ней новые, каждый раз неожиданные испытания. И все они были малы перед тем главным испытанием, к которому готовились ночью Владимир Иванович и Пегов и которое могло принести с собой и баррикадные бои, и рукопашные схватки в цехе.

Конечно, все быстро узнали, что в цех поступила работницей директорская жена. Но опасения Владимира Ивановича не оправдались. Никому и в голову не приходило делать поблажки директорской жене, — не такое было время. Присутствие Любы в цехе согревало и поднимало людей. Доверие к требовательному директору возрастало оттого, что он не поберег молоденькую жену. А если Владимир Иванович, не сдержав чувств, проявлял беспокойство о Любе, это сближало его с рабочими, как всякое проявление живого человеческого чувства. Может быть, все сложилось бы иначе, будь иной Люба. Но в Любе чувствовали не «барыню», не директоршу, а свою заводскую девчонку, дочку старика Вихрова, сестру Мики, ушедшего с завода в летчики.

С детства Люба усвоила от отца глубокое почтение к тому, что объединялось словом «производство». Когда Мика с мальчишеским озорством подшутил над мастером, отец ударил его и потом неделю не разговаривал с ним. Для старика была священна иерархия, создаваемая в заводских отношениях не официальным положением того или иного работника, а опытом, стажем и умелостью. Сам он говорил «ты» всем ученикам и молодым рабочим, но такое обращение к себе разрешал только нескольким старикам, вместе с ним начавшим работу на заводе в давние, легендарные для молодежи, времена.

Окунувшись в заводскую жизнь, Люба увидела кругом гораздо более простые отношения между людьми. Люди вместе переживали опасность, вместе после работы обучались стрелять, метать гранаты и бутылки с горючей смесью. По тревоге все вместе бежали на посты — старые с молодыми, и если в цех попадал снаряд, вместе копошились в дымящихся обломках, спасая все, что можно спасти. «Тяни!» — кричал один другому. «Вправо

давай!» — кричал этот другой, не разбирая, кто с ним на пару — старый или молодой, мужчина или женщина.

Рабочих в цехе не хватало, фронт и эвакуация обескровили завод. Новички, вроде Сашка и Любы, заняли положение, какое и не снилось им раньше, — с ними считались, как с полноценными рабочими, им поручали дела, к которым раньше и не подпустили бы.

Наблюдая жизнь цеха, Люба вспомнила одну большую домашнюю работу, выполненную всей семьей. Несколько лет назад, выйдя на пенсию, отец задумал пристроить к своему деревянному домику застекленную веранду и капитально отремонтировать домик внутри. Сперва всей семьей носили кирпичи, известь, алебастр, покупали и тащили на себе рулоны обоев, на тележке подвозили доски и стекла. Потом всей семьей работали каждую свободную минуту, иной раз до утра, и каждый делал все, что мог, не считаясь, кто сколько сработал. Теперь в угрюмом, холодном, простреленном цехе работа маленького коллектива рабочих и руководителей носила вот такой же, почти семейный, характер. Все работали сколько могли, помогая друг другу и не считаясь ни со временем, ни со своими официальными обязанностями. Это создавало у людей, окруженных смертью, разрушениями и бедствиями, состояние подъема и душевной близости. А Люба, добровольно принявшая на себя тяжесть этого круглосуточного опасного труда, наслаждалась еще и тем, что чувствовала себя очень хорошей, ко всем внимательной и доброй, всеми любимой.

Со дня ее поступления на завод прошло уже недели две, когда она подслушала разговор по телефону. Секретарь парткома Левитин, сняв трубку, не назвал номер, а спросил:

— Кто дежурит? Кружкова? — И лицо его стало сочувственно-ласковым. — Ну, как дела, Лиза? Страшно? Я к вам скоро зайду.

Люба стояла рядом, красная от стыда. Как это вышло, что она легкомысленно забыла просьбу Марии Смолиной и свое обещание? А ведь это был единственный случай, когда от нее требовалось действительно и, наверно, безответное внимание к другому человеку.

Лиза по-прежнему проводила долгие напряженные часы дежурств в маленькой клетушке коммутатора. Но теперь она уже не боялась ни одиночества, ни бомб, ни снарядов. Она даже предпочитала часы дежурств всем

другим часам суток, потому что коммутатор отвлекал ее от безрадостных мыслей. Дома под подушкой лежал дневник, испещренный формулами и чертежами, и в рассыпанных среди них записях Лиза с каждым днем глубже и полнее постигала другой, внутренний мир, который мог принадлежать ей, но не был понят ею, а теперь навсегда утрачен. Воспоминание о Лёне Гладышеве и о своем отношении к нему жгло ее день и ночь. Прошло немногим больше года со дня их первой встречи, но Лизе казалось, что то была совсем другая, ветреная и злая девушка. Та девушка считала, что лейтенант Гладышев должен думать только о ней и жить только для нее, «если он любит по-настоящему». Она ненавидела его походы и учения, мешавшие встречам, мечтала о том, чтобы он перешел служить в береговые учреждения флота, и устраивала ему сцены из-за того, что у него есть интересы и пристрастия, не связанные с нею. Теперь она понимала, что Леня очень сильно любил ее, если все терпел... И вот она осудила ту, прежнюю девушку... Но что толку в ее запоздалом знании, в ее никому не нужной любви! Леня погиб, так и не зная, что любим, и с ним вместе, в черной холодной глубине моря, погибла радость жизни, возможность счастья.

Она не сразу узнала Любу-Соловушку в худенькой женщине, облаченной в замасленный комбинезон с чрезмерно большими, подвернутыми у щиколоток штанами. А когда узнала, не обрадовалась, а только из вежливости изобразила на лице что-то вроде приветливой улыбки.

— Лизонька, я к тебе, — сказала Люба, усаживаясь на подоконник. — Ты ведь комсомолка?

Лиза подняла брови. Да, она комсомолка, она вступила в комсомол и посещала собрания, если они не совпадали с ее дежурствами. Комсомол записал ее в группу самозащиты и посылал ее на строительство баррикад. Но какое отношение имело это к тому, что она пережила потом, что она узнала в эти дни горя и отчаяния... и что еще можно потребовать от нее?

— У нас в цехе аврал, — сказала Люба, тайком разглядывая Лизу и огорчаясь ее угрюмым видом. — И рабочих рук страшно не хватает. А танки надо вернуть на фронт как можно скорее. Ты не придешь после дежурства подсобить?

— Если надо, приду, — безучастно ответила Лиза.

— Скучно здесь работать,— заметила Люба. — Я бы пропала от тоски. Ты приходи, у нас весело.

Лиза сказала, не оборачиваясь:

— Веселья я не ищу. А прийти я обещала — значит, приду.

Люба вдруг обняла ее:

— Не тоскуй, Лиза. Нельзя теперь... Ну, до вечера! И убежала.

Лиза раздраженно усмехнулась ей вслед. Что они понимают все? «Не тоскуй. Нельзя». А бессцельно, безнадежно тянуть день за днем без радости и без будущего — можно? Вот и Мария Смолина, самый чуткий человек из всех, сказала эти нелепые слова: «Радоваться себе и друг другу». А у самой муж сбежал, бросив ее с ребенком; ребенок живет под вечной угрозой, есть нечего. Зачем они все притворяются? Зачем эта круговая фальшь, этот глупый самообман? И Левитин «проявляет чуткость» — заходит почти каждый день, пытается расспрашивать о ее жизни, о Соне, однажды даже спросил, что она думает делать после войны. Она отвечала коротко, стараясь быть вежливой, а на последний вопрос ответила: «Ничего не собираюсь делать». Ее злило, что он, зная о ее несчастье, старается «обработать» ее по-своему и отвлечь от горя глупыми мечтаниями о послевоенной жизни. Как будто ей нужна жизнь! Да и доживет ли она, доживут ли они все до «после войны»?

Она впервые вступила в цех Курбатова, о котором столько знала за четыре года работы телефонисткой. И цех, поразивший Любу своим мрачным видом, казался Лизе менее разрушенным, чем она предполагала, изо дня в день отмечая в памяти попадания снарядов и бомб. Ей пришлось таскать ящики с деталями из цеха Солодухина на сборку, и цех Солодухина удивил ее еще больше: разрушенная бомбой стена была восстановлена, в скудном свете, похожем на туман, у станков трудились рабочие, а сам Солодухин носился из конца в конец с неестественной при его полноте живостью.

Курбатов и Солодухин при встречах так же ругались и поносили друг друга, как и по телефону. Но, глядя на них, Лиза увидела то, что не могла уловить слухом: Курбатов и Солодухин любили друг друга и были необходимы друг другу, как воздух. Ругаясь, они обменивались взглядами, полными веселой симпатии. Шумная суматошливость Солодухина выгодно подчеркивала стро-

гий, четкий стиль работы Курбатова, и Курбатову это нравилось. Язвительность Курбатова подхлестывала гордость Солодухина, и без этого Солодухину было бы труднее и скучней. К тому же они в итоге много и дружно работали, выполняя общее дело.

Работа Лизы была груба и утомительна. Лиза приносила в цех Солодухина маленькие, но тяжелые отливки причудливой формы. Детали обтачивались и просверливались на больших шипящих станках и затем, снова сложенные в ящики, отправлялись на сборку. Лиза часа два таскала эти детали, когда вдруг услышала, что эти детали существуют под номером 11-71. С удивлением и какой-то нежностью посмотрела Лиза на маленькие причудливые изделия.

Как только стемнело, налетела немецкая авиация. В цехах, полных звона металла и жужжания сварочных аппаратов, звуки извне были не так слышны, как в комнате коммутатора. Лиза порой даже забывала о том, что налет продолжается. Но когда она случайно поглядела вверх, на легкий свод, за которым не было ничего, кроме воздуха, ей стало жутко.

Никто не говорил Лизе, сколько времени ей нужно работать. Ее просто включили в коллектив людей, занятых ремонтом танков, и стали обращаться с нею без стеснения, как со своей. К ночи Люба повела ее в бомбоубежище, где на печурке кипел огромный чайник, и все пили чай, а потом улеглись спать — кто на раскладушках и скамьях, кто на полу.

— А ты куда? — спросила Лиза, увидав, что Люба не ложится.

— Я только сбегаю проводить танки, — шепнула Люба.

На следующий вечер Лиза снова пришла в цех, не ожидая приглашения. Жизнь цеха не привлекала ее, но здесь было легче забыться и время проходило быстрее. На вторую ночь она вместе с Любой пошла провожать танки.

Каждую ночь распахивались большие ворота цеха, выпуская в темноту боевые машины. Днем это было невозможно, — немецкие наблюдатели не спускали глаз с непреклонного завода. Ночью танки гремели по заводской окраине обновленными гусеницами и затихали где-то между последними домами, уже на фронте. Рабочие любили напугать танкистов и стоять за воротами,

прислушиваясь к тому, как затихает шум машин. Тап-кистам вручали записочки с адресами, не было танка, отремонтированного на заводе, за которым не следили бы потом со всем пристрастием. Лиза знала, что фронт близок, но только в цехе она ощутила фронт непосредственно прилегающим к заводу.

Должно быть, Люба и Левитин были в заговоре, но Лиза поняла это много позднее, когда увидела себя постоянной работницей цеха. Они хотели «втянуть» ее в ту самую жизнь, которая ее томила. Она дала себя втянуть, потому что сопротивляться было незачем.

Снаряд разорвался посреди цеха, разворотил станок, убил одного рабочего и тяжело ранил шестерых. Левитин прибежал почти сразу же, помог унести убитого и раненых, а затем собрал митинг. Лизе казалось, что митинговать в такое время нелепо. Но Левитин объяснил, что заменить семерых рабочих некем, а план выпуска танков не может быть сорван ни на один час, так что надо искать выход.

— Что предлагаете, товарищи? — спросил он.

И, хотя все и так работали много, решили сработать за выбывших товарищей и план выпуска не срывать. И обязались обучить подсобников, чтобы поставить их к пустующим станкам.

После этого Левитин разыскал Лизу, подвел ее к большому пилящему станку и сказал рабочему, обслуживавшему станок:

— Поучи-ка ее.

Лиза без любопытства, но старательно следила за станком и выполняла указания своего учителя. Она скоро установила, что вся сложность работы на станке складывается из простых, но очень точных движений, — стоит овладеть этой точностью, и работа будет проста. У Лизы были тонкие, натренированные пальцы телефонистки, они усваивали новые движения без труда. Она не знала, что на этом станке можно обрабатывать различные детали, разными способами и скоростями, и каждое изменение потребует новых приемов и движений. С гордостью невежды она решила, что уже владеет новой специальностью, и увлеклась работой, раскраснелась, так что Люба, пробежав мимо, крикнула ей:

— Что, нравится?

Очень поздно, должно быть около полуночи, Люба позвала ее послушать письмо Василия Васильевича Ко-

раблева. Как и все заводские люди, Лиза знала старого мастера и, хотя письмо не интересовало ее, постеснялась сказать об этом, пошла за Любой.

В синем тумане смутно вырисовывались фигуры рабочих. На башне танка, поближе к тусклой лампочке, сидел Григорий Кораблев с письмом в руке и не спеша закуривал, поджидая, чтобы собралось побольше народу.

Докурив и оглядевшись, Кораблев снял кепку со своей забинтованной головы и начал читать письмо. Василий Васильевич писал о том, как шел заводский эшелон, сперва под немецкими бомбами, потом пробиваясь через перегруженные всякими эшелонами станции — «и только тогда мы воочию увидели громадное всенародное бедствие». Он писал о том, как они высадились прямо в степи и вырыли себе землянки, в которых с тех пор и живут, но что в степи их ожидали стены заводских корпусов, «и эти стены вырастали прямо на глазах, так много народу там работало и так все спешили». Приезжие занялись перевозкой и установкой станков, причем случалось — станки ставили в недостроенных корпусах, над ними делали навесы из брезента, и как только станок был налажен, на нем начиналась работа, а в это время кругом возводились стены и над головой настилали крышу. «И среди всего этого беспорядка и толчеи есть самый удивительный порядок в основном, а именно — через месяц с завода выйдет первая машина, а потом мы будем выпускать их тысячами».

Перейдя ко второй части письма, Григорий Кораблев повысил голос, подчеркивая его особую важность. Но Лизе вторая часть письма показалась совсем неинтересной и похожей на резолюцию, пусть и хорошо, с чувством написанную, но все-таки заменяющую личные переживания и мысли человека общими формулами. Понятно, что старый Василий Васильевич как бы совестится, что уехал от своих и живет в безопасности. И естественно, что они там, в тылу, считают своим долгом не уходить с завода, не спать и не жаловаться на жизнь в землянках, а даже радоваться трудностям, так как именно эти трудности являются их оправданием. И естественно, что они там, в тылу, будут выпускать тысячи танков для фронта. Но вот старик пишет: «Мы знаем, что вы живете одной мыслью — победить, что нет в вашей жизни иного смысла, как отстоять Ленинград». И слушатели удовлетворенно кивают головами, как будто

и в самом деле нет у них другой мысли и другого смысла в жизни. «А взять хотя бы Григория Кораблева. Куда же он денется, кроме завода, раз его демобилизовали по ранению и не эвакуировали? Или Люба. Пришла на завод, чтобы быть поближе к мужу, играет в рабочий класс и наслаждается общей любовью, потому что она хорошенькая, веселая и умеет петь песни. Много ли она думает о смысле жизни? Или я сама,— подумала Лиза. — Со стороны может показаться, что я самая сознательная — с чистой работы перешла в цех, работаю сколько сил хватает, даже домой не уйду. А мне просто некуда деваться, мне все безразлично, я жду естественного конца и ничего не хочу, ни на что не надеюсь...»

Чтение прервал грохот взрыва, поколебавшего стены. Рабочие соскакивали с мест и устремлялись на посты. В поднявшейся пыли было трудно что-либо рассмотреть. И слышать что-либо — тоже, потому что все звуки покрыл неистовый вой заводской сирены.

Когда сирена смолкла, стали явственны звуки зенитной стрельбы и трезвон пожарных машин, мчавшихся мимо цеха.

Владимир Иванович появился в пролете, вскочил на броневую плиту и закричал перетруженным, хриплым голосом:

— Добровольцы, в четырнадцатый цех!

Так как добровольцами вызвались все, он снова закричал:

— Пожарные и санитарные посты остаются на местах! Остальные — за мной.

Лиза ожидала, что увидит страшную, захватывающую картину пожара, но не увидела ничего, кроме густого дыма, поглощавшего контуры четырнадцатого цеха. Иногда багровый проблеск прорезывал пелену дыма, и снова дым застилал все, и слышны были только свист водяных струй, шипение испаряющейся воды, стук топоров и зычный голос командира, несущийся откуда-то из черной пелены. Владимир Иванович увел мужчин, а Лизу и Любу поставили к запасному насосу, подающему воду из водохранилища.

Так и прошел остаток этой ночи — в размеренно-однообразных движениях вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад... Иногда кто-то кричал: «Нажимайте, деvушки!» Один раз кто-то подбежал, спросил: «Вас смеяли, нет? Черт знает что!» — и растворился в дыму,

так и не прислав смены. По тому, как редел дым, Лиза поняла, что пожар затихает. И все-таки команда прекратить подачу воды была неожиданна. Лиза со стоном разогнула спину и удивленно поглядела в совсем светлое утреннее небо. Четырнадцатый цех высился неподалеку черной, будто облизанной огнем коробкой.

Они добрели до своего цеха и опустились на первую попавшуюся скамью. И все рабочие садились и ложились где придется, закуривали и нехотя перебрасывались короткими замечаниями: «Вот черт!», «Повозились!», «Ну и ночка!», «Что ты скажешь, пиджак спалил!»

Прошел Кораблев, весь дергаясь от боли в голове. Кто-то из рабочих посоветовал ему:

— Сходи в медпункт, порошок возьми. — И затем таким же будничным голосом добавил: — А Василь Василичу так и отпиши: отстояли и отстоим.

— Да он и сам понимает, — ответил Кораблев, — не мастер я писать.

Лизе было жаль Кораблева. Но когда она услышала этот коротенький разговор и увидела, что он вызвал общее сочувствие, ей стало остро жаль всех этих хороших и смелых людей. Неужели они не понимают, что город окружен и дни его сочтены, что лишний танк может задержать неизбежное, но не предотвратить, что они могут потушить пять пожаров и еще пять, но не могут помешать бомбе завтра или послезавтра упасть прямо на их головы, так что и костей не соберешь!

Ей, Лизе, город представлялся гигантской машиной, захваченной песчаной бурей. Машина еще в ходу, вертятся шестерни, скользят поршни, но песок облепляет машину, забивается во все щели, мешая вращению механизмов, еще несколько минут — и все полетит к черту. Она-то знала, что подача электроэнергии идет с большими перебоями, а скоро может прекратиться совсем. Топливо на исходе, и подвоза не будет. Металл собирают по дворам, по складам утиля, по углам цехов. Хлебная норма снижается, и хлеб подвезти нельзя. Даже оружия нет, и комсомольскому активу выдают финские ножи для рукопашного боя... На что можно рассчитывать?

Но эти люди, считающие смыслом жизни защиту Ленинграда (а они так и считают, Лиза сейчас почувствовала это), — эти люди не видят своей обреченности и надеются на все, даже на победу. И надежда заставляет их

работать круглые сутки, тушить пожары и презирать свист снарядов... Что ж, может быть, им и удастся оттянуть конец. Это тоже важно, отсрочка падения Ленинграда выгодна для всего фронта, для всей страны, для Василия Васильевича, выпускающего танки. Слава богу, я достаточно сознательна для того, чтобы подумать и об этом. Но как можно не понимать, что нам-то уже нечего ждать, что победа придет без нас? Мы — смертники...

Ровно в семь часов Лиза встала, пересиливая себя, и начала работать. Устала? Не спала? Но какое это имеет значение *теперь!* Она горько и презрительно усмехнулась похвале своего учителя. Слепец! Он тоже ничего не знает.

17

В лесу было холодно и сыро. Днем еще пригревало солнце, но к вечеру испарения сгущались в тяжелый туман, от которого лица и руки становились влажными. В землянках по стенам текли струйки воды, а когда партизаны жарко натапливали печурки, от влажной духоты кружилась голова.

Оля Трубникова любила осень и всегда считала, что нет времени года прекраснее и нежнее. Выполняя свои комсомольские дела, она любила отправиться пешком одна в какую-нибудь дальнюю деревню и в лесу без конца любовалась неповторяющимся разнообразием цветовых сочетаний увядающей и облетевшей листвы, яркими пятнами рябины и волчьих ягод, неуловимой серовато-голубой пленкой, затянувшей небо, прислушивалась к тихому говорку не блестящей, будто задумавшейся воды. Если в пути ее настигал дождь, она весело подставляла голову и негромко пела, шагая по мокрой тропинке или прямо по мшистой земле, под деревьями, отряхивающими крупные капли. После такой прогулки было особенно приятно войти в теплый дом к приветливым хозяевам, залезть босиком на печку, пока сушится обувь, напиться топленого молока и уснуть крепким сном...

Она и теперь, выйдя поутру из землянки, умела подметить красоту листьев, словно укутавших землю к зиме, или серенького неба, спокойно распростертого над оголенными ветвями деревьев. Но теперь не было ни теплого дома, ни сухой обуви, ни топленого молока, жизнь была изнуряюще трудной и опасной.

Часто Гудимов отправлял ее в село к тете Саше, и от туда она ходила продавать грибы, яйца и молоко в районный центр или в соседние села, где стояли немецкие гарнизоны. Во время этих отлучек из отряда Ольга жила в тепле и спала в постели, а главное — долго и тщательно парилась в бане, но нервное напряжение мешало ей полностью насладиться простыми житейскими благами, и возвращение в лес было для нее праздником.

Ей, городской девушке, выросшей в довольстве и холе, было трудно и страшно. И все-таки, если бы ее спросили, что ее мучает больше всего, она не сказала бы никому, но подумала бы, что для нее мучительнее всего ее отношения с Гудимовым. Первый разговор в лесу, когда Ольга спросила о брате и Гудимов ответил, что у него нет больше друга, звучал в ее ушах. Перед войной Гудимов был особенно нежен с Ольгой, любил поговорить с нею и послушать, как она читает стихи. От былой нежности ничего не осталось. Борис Трубников стоял между ними. Только время могло помочь, — время и храбрость, которая завоюет ей полное доверие и уважение.

Так думала Ольга, стараясь отличиться и доказать Гудимову, что она совсем не похожа на брата. И порой ей верилось, что это удастся, — ведь были же минуты радостного взаимопонимания, как во время партизанского суда над старостой, как в первые минуты после ее возвращения из разведки, когда он брал ее за руку, как будто хотел убедиться, что это она, живая, настоящая... За эти короткие минуты она готова была платить любыми лишениями, опасностями, ради них она сама торопила Гудимова дать ей новое трудное задание. Уходя на пять, десять, пятнадцать дней, она помнила только дружеское напутствие Гудимова и тихую просьбу: «Будь осторожна». Вдали от Гудимова она испытывала восторженную гордость оттого, что он доверяет ей ответственные дела и что она справляется с ними. Но стоило ей вернуться в отряд, как после первых радостных минут начиналось мучительное отчуждение. Гудимов избегал ее и так явно отдалял от себя, что даже Коля Прохоров заметил и спросил

— За что на тебя сердится *наш*?

— Что ты! — притворяясь удивленной, сказала Ольга, так как считала, что ее отношения с Гудимовым касаются только их двоих. — Неужели ты не понимаешь, что он просто очень озабочен?

Коля Прохоров подумал и сказал:

— Пожалуй...

Положение отряда было тяжелым. Фронт придвинулся к самому Ленинграду и стал таким плотным и неподвижным, что связь через фронт была невозможна. Гудимов действовал по своему усмотрению и ничего не знал о положении на фронте, если не считать хвастливой и лживой информации, наполнявшей немецкие газеты и немецкие радиопередачи. Отряд вырос, многому научился, но тем важнее было установить связь с командованием Красной Армии.

В голове Гудимова созрел план установления связи через южные участки фронта, — путь был гораздо длиннее, но зато легче. Там фронт проходил через леса и болота, а немцы держались только дорог и населенных пунктов. Гудимов поручил Ольге выяснить, как и с какими документами, в каком обличье можно безопаснее пройти к фронту и через фронт.

Сообщив ему все, что узнала, Ольга хотела уйти, но Гудимов задержал ее:

— Как ты думаешь, Оля... кого послать?

— Давайте пойду я, — бледнея, предложила она.

Гудимов покачал головой.

— Тут нужен парень. Сильный, выносливый, спортивного склада... Находчивый и немножко актер... Что ты думаешь о Коле Прохорове?

Он смотрел на нее выжидательно, с мукой, которой она не поняла.

— Очень хорошо! — сказала она. — И не сомневайтесь! Он пройдет и обратно вернется. И если только можно не попасться, он не попадетсЯ. Вы же знаете его.

Он долго молчал, раздумывая и по-прежнему вглядываясь в ее лицо.

— Слушай, Оленька, — вдруг сказал он, отводя глаза. — Ты, может быть, не понимаешь. Это опасней, чем здесь, чем в наших операциях. Его могут схватить, как шпиона, замучить, убить... Если ты не хочешь, я не пошлю его.

Она растерялась. Он, видимо, как-то иначе понимал ее приятельские отношения с Колей.

— Алексей Григорьевич, — тихо сказала она, — я уже говорила вам — давайте пойду я. А если вы думаете послать Колю — пусть он сам решит. Как же мне решать за него?

Колю Прохорова собирали в дорогу быстро и тщательно. Для него достали превосходные документы с немецким штампом. Он должен был выдавать себя за крестьянского парня, мобилизованного немцами на окопные работы и возвращающегося в прифронтовую деревню по болезни. Вся его биография, все его приключения в дни войны были придуманы подробно и убедительно. Недоставало одного — болезни. Коля был явно, несомненно здоров и за время партизанской жизни, измотавшей многих, даже поправился, окреп. Не заподозрят ли немцы обмана?

— С немцами я встречаться не собираюсь, — сказал Коля. — Ну их! Я пойду сам по себе, и они пусть сами по себе. Но на всякий случай...

Подумав не больше минуты, он взял пилу и что есть силы полоснул себе по руке. Ольга вскрикнула. Но Коля даже не поморщился, только бледность разлилась по его цветущему лицу.

— Перевязывайте, что ли, — выговорил он и присел на пенек, зажав ладонью рану.

Ольга подбежала к нему, подчиняясь первому побуждению и расцеловала его.

— Ты дойдешь и вернешься, — убежденно сказала она.

— Если ты меня так целовать будешь, бегом прибегу, — пошутил Коля, скрывая смущение.

Проводить Колю пошли Гудимов и Ольга. Прощались весело, так, будто Коля уходил в приятное путешествие и ничего не могло случиться ни с ним, ни с остающимися. Поглядев ему вслед, медленно пошли назад. Ольге было грустно и очень хотелось услышать от Гудимова доброе слово. Но когда она заговорила с ним, он поморщился и не ответил.

Тогда она спросила с отчаянием:

— Вы на меня сердитесь, Алексей Григорьевич?

— На тебя? — со странным выражением боли и насмешки воскликнул Гудимов. После долгого молчания он сказал веско, строго: — Если ты провинишься — сделаю замечание. А сердиться на бойцов не имею привычки.

Назавтра Ольга снова ушла к тете Саше, и, прощаясь с нею, Гудимов сжал ее руку и шепнул:

— Ну, смотри, будь осторожна.

Она ушла прибодренная, веселая, а он покрутил головой, как если бы у него болел зуб, и заставил себя не

думать о девушке, шагающей по лесу в деревню, занятую врагами.

Она должна была пробыть в отлучке неделю, но прибежала назад вечером того же дня, запылавшаяся от бега, мертвенно-бледная, с померкшими глазами. Скользя без спросу в землянку Гудимова и убедившись, что он один, она выговорила, бессильно опустив руки:

— Алексей Григорьевич... Ленинград...

Ему не надо было объяснять — что. Уже не раз Ольга присылала ему коротенькие записки: «Немцы сообщают — Ростов... Тула... Севастополь...» Иногда она или другие разведчики доставляли ему немецкую газету на русском языке под диким названием «Русская правда». Немцы не жалели слов, расписывая свои победы над большевиками. Они заверяли читателей, что на днях Ленинград падет. Ни Гудимов, ни партизаны не верили этому и издевались над немецким хвастовством. «Не будет немцев в Ленинграде!» — говорили они. Значит, немцам удалось?..

Гудимов так сильно сжал кулаки, что заныли пальцы, и, овладев собой, резко спросил:

— Разве ваше задание отменяется? Хотя бы и три Ленинграда...

Оля хотела ответить, но смолчала. Он заметил, каким маленьким — с кулачок — стало ее лицо, как сильно похудели, словно сузились, ее плечи. Но жалость только мелькнула, оттесненная страшной новостью, которая требовала от него немедленного очень твердого решения.

— Откуда это известно? — спросил он мягче.

— Они по радио сообщали. Я сама слышала. И салютовали залпами. Пьют, горланят. Приглашают вечером на танцы.

— Наверно, врут, — сказал Гудимов. — Разве они мало врали!

— Кажется, нет, — прошептала Ольга. — Они сообщают: после длительных уличных боев ворвались... Часть большевистских войск героически обороняется на Васильевском острове...

Это признание — «героически обороняется» — было той подробностью немецкого сообщения, которая заставляла поверить. Можно было отчетливо представить себе отчаянные баррикадные бои на Лиговке, на Садовой, на Фонтанке, на Невском и то, как, теснимые немцами, защитники города взорвали прекрасные невские мосты и

всеми силами уцепились за последний клочок ленинградской земли — за Васильевский остров, и как сейчас обрушивается на них лавина огня с того берега Невы и с неба...

— Ты уже сказала кому-нибудь?

Ольга оскорбленно вскинула голову.

— Вы меня считаете болтливой? — задыхаясь, проговорила она. — Или вы мне доверяете, или...

Он движением остановил ее, притянул к себе и на миг прижал ее голову к своей груди.

— Не сердись, Оленька, — сказал он. — Мы просто очень сейчас несчастны...

Из ее глаз хлынули слезы.

— Что же это... Алексей Григорьевич... что же теперь будет?..

— Будет все то же, — с усилием сказал он.

Он отправил ее, приказав никому ничего не рассказывать. Он давал себе одну ночь на то, чтобы пережить страшную новость и принять решение — как и на что направить силы и гнев своих бойцов.

И вот настала эта ночь. Перед тем как лечь, он по привычке обошел уже разросшийся партизанский лагерь, придирчиво проверил караулы, постоял у входа в землянку. Небо расчистилось, и сквозь путаницу сплетенных ветвей сияли редкие звезды. Где-то далеко над лесом взлетали цветные ракеты, озаряя веселым светом верхушки деревьев, — фашисты праздновали падение Ленинграда.

Гудимов вошел в землянку, перешагнул через спящих товарищей и подкинул в печурку несколько полешек. Пламя вяло облизывало сырые шипящие полешки и, не охватив их, уползало в дымоход. Алексей Григорьевич тяжело опустился на скамеечку перед печкой, положил голову на руки и задумался.

В его сознании возникало множество коротких, ярких картин, и каждая из них была горше предыдущей. Вот знакомая парадная с цветными стеклами, и по лестнице бегут, гогоча, фашисты в зеленых шинелях, грубо стучат в двери и врываются в квартиры... Вот они окружили на углу возле Гостиного двора группу женщин и мальчишек, захваченных на баррикаде, и глумятся над ними: «Что, отстояли Ленинград?» Вот они бродят по набережной Невы и радостно хихикают, пяля глаза на гордость России...

Он отогнал навязчивые образы и вспомнил Колю Прохорова, пробирающегося сейчас к линии фронта... А где она, эта линия? Сломив сопротивление Ленинграда, немцы должны были стремительно рвануться к Вологде, к Ярославлю, отрезая весь север с незамерзающим Мурманским портом... Высвободив свою многотысячную армию, осаждавшую Ленинград, они рвутся вперед, в обход Москвы, с севера и с юга... Если невозможное оказалось возможным и Ленинград сломен, значит обескровлена, разгромлена Красная Армия?..

«А мы?» — спросил он себя, потому что ход войны был связан для него с группой руководимых им людей и с его собственным участием в войне. И трезво сказал себе, что положение отряда резко ухудшается. Трудно рассчитывать на удачу Коли Прохорова. Ни связи, ни помощи снабжением наладить не удастся. Отряд окажется затерянным в глубоком тылу врага, среди запуганного и потрясенного поражением населения.

Он рисовал себе эти как будто неизбежные следствия несчастья и не верил им.

«На что же я рассчитываю? Слеп я, что ли?»

Он курил, глядя на жидкое пламя, мигающее сквозь дырочки в заслонке. «Да, будет не так, — четко определил он. — Если Ленинград не удержали — значит его нельзя было удержать и нужны еще месяцы, а может быть, и годы, еще усилия и жертвы для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Это больно, это позорно, что Гитлер взял Ленинград. Этого нельзя было допускать. Но что я знаю о том, как это произошло и какова реальная наша сила, каково реальное положение на фронтах и в стране? Тогда на чем же зиждется моя слепая уверенность?»

Когда он разобрался в своих мыслях и ощущениях, он понял, что уверенность его не слепа и зиждется на очень простом и очень убедительном основании — на опыте последних месяцев партизанской жизни. Вот этот район, его люди — партийно-советский актив — и самые рядовые жители, вроде тети Саши, девчонки Тани и других; пожилой Трошин и юный Женья Орлов, ценой жизни взорвавшие мост; городская девушка Ольга, сумевшая стать ловкой разведчицей; скромная работница страхкассы, безотказная и незаметная Белякова, не склонившая головы перед фашистами и без слов, без вскрика принявшая смерть; толстяк Трофимов, штатский из

штатских, привыкший к секретарше и телефонам, в первый же партизанский вечер тяжело провинившийся снисходительностью к трусу, а потом смелостью в боях, непримиримостью к предателям и самой смертью своей заслуживший грозное звание народного судии; жизнерадостный, будто играющий в войну, Коля Прохоров, без раздумья искалечивший свою руку,— это же часть страны, часть народа! И вся страна, весь народ — такие же, как часть, известная ему, Гудимову. Их было семнадцать в этом лесу, и только один струсил. Потом их стало двадцать, потом тридцать, потом сорок пять, потом шестьдесят... Разве можно сомневаться в том, что и в других районах вот так же собираются для борьбы люди, не желающие жить в кабале!

«Мне неизвестно, есть ли еще партизаны, кроме нас. Но я *знаю*, что они есть, потому что иначе не может быть. Или неверно все, что мы делали за двадцать четыре года Советской власти, или пламя борьбы разгорится и поглотит фашизм. Или наша Советская власть — родная народу власть, и тогда народ поддержит ее в тяжелой беде, поднимется, отстоит ее, как самого себя, или... но другого *или* не может быть».

Он вспоминал довоенную жизнь и все, что он сам делал в этой довоенной жизни. И не школы вспоминал он, не праздничные парады, не Дом культуры и стадион, не все те достижения райисполкома и райкома, которыми он раньше гордился, хотя и они мелькнули в памяти. Он вспоминал дух доверия и требовательности, с каким относились к партии и Советской власти самые рядовые, самые незаметные люди. У этих людей еще многого не хватало. Мы еще мало успели сделать для благосостояния народа, у нас было множество прорех, и люди замечали их, порой ворчали, порой жаловались, но каждый знал, что имеет право на хорошую жизнь и на все блага жизни, и сознание своего права рождало требовательность и самостоятельность, настойчивость и активность. Он перебирал в памяти сотни людей, фамилии которых уже не помнил, — добровольный, увлеченный делом, энергичный актив. Да разве они когда-нибудь покорятся угнетателю, как бы силен он ни был!..

Успокоенный, он вышел на воздух, даже не пытаясь уснуть, так как эта ночь была предназначена им для больших решений, и он не хотел ни комкать свои мысли, ни ограничиваться полуправдой.

Ночь была черна и тиха. Ракет уже не было. Предутренний ветер пролетал над лесом, шурша ветвями. Гудимов думал теперь о самом себе. Утром он соберет свой отряд и скажет людям, учившимся стойкости на примере Ленинграда, что Ленинград сломлен. Он должен повести дальше этих людей, не позволяя им отчаиваться и колебаться. Он впервые работает один, опираясь на других и руководя другими, но сам не получая руководства. Он — вожак — отвечает за все: за жизни людей, за успех операций и выбор целей, за настроение всех жителей района и — в конечном итоге — за исход войны.

«Не слишком ли велика и тяжела ответственность?» — со вздохом подумал он, ощутив на миг и немолодые свои годы, и усталость, и ограниченность своих сил. Нет... Он принадлежал к поколению государственных работников, которые были наиболее близки к массам народа, — первое звено руководства. Как же им было не стать боевыми вожаками в самый трудный час!.. Хорошая гордость собой, своей душевной силой и своей трудной судьбой поднялась в Гудимове, вытесняя усталость и горе.

Перед тем как пойти вздремнуть до рассвета, он принял самое последнее решение, не оставлявшее ни одного неясного уголка, ни одного неразрешенного сомнения. «Даже если поражение будет страшнее, чем самые горькие предположения, — все равно это не конец. И как бы нас мало ни осталось, мы начнем все сначала...»

На рассвете он собрал отряд.

Ольга впервые за два месяца присутствовала на общем сборе и теперь оглядывалась с радостным изумлением. Он очень вырос, их отряд, походивший в первые дни на группу дачников. Она попробовала сосчитать и сбилась, — не то семьдесят три, не то семьдесят пять, а с дозорными наберется под сотню. Возмужали, обветрились, похудели, но все чисто выбриты и одеты ладно, с воинским щегольством, какого так добивался Гудимов. Правда, одеты по-разному — кто в кожанке, кто в ватнике, кто в шинели или полушубке. Но за плечами у всех винтовки или автоматы, у пояса — гранаты, выправка у всех молодцеватая, даже у долговязого ботаника Музыканта. И если поглядеть как бы со стороны — это уже сила, воинская часть.

Гришин скомандовал: «Смирно!» Из землянки неторопливо вышел Гудимов. И Ольга, одна из всех знавшая о тягостной причине сбора, удивилась спокойному и про-

светленному выражению его лица. Может быть, у него есть какие-нибудь новые, опровергающие сведения?

Гудимов начал говорить. Начал с того, о чем только что думала Ольга: как вырос отряд, какими стойкими и надежными проявили себя советские люди. И по тому, как он взволнованно говорил об этом, Ольга поняла, что никаких опровергающих сведений у Гудимова нет и что сейчас он произнесет страшные слова: Ленинград взят.

И он произнес эти слова громким, отчетливым голосом:

— Немцы сообщают, что ими взят Ленинград.

Ольге казалось, что после этих слов надо молчать, долго молчать, что всякие речи после этих слов будут фальшивы. Но Гудимов продолжал говорить, спокойно обсуждая, насколько правдоподобно это сообщение,— ведь гитлеровцы любят преждевременно хвастать победами! Он даже пошутил, что они плохо знают географию и, быть может, спутали весь Ленинград с Васильевским островом, а на самом деле они не добрались еще и до Канонерского?

Многие улыбнулись. В неуклюжей шутке Гудимова была душевная сила, приятная людям.

А Гудимов продолжал говорить, пересказывая соратникам все, что продумал ночью. Готовясь к митингу, он колебался, надо ли сообщать непроверенную новость и надо ли готовить людей к резкому ухудшению обстановки, в которой им придется воевать. Но всякая неискренность претила ему, и Гудимов высказал все, что думал. И сказал о том, что покорить Ленинград нельзя потому, что Ленинград — это больше чем город, это люди, это знамя, это символ ленинской непримиримости, и этот Ленинград никогда и никем не будет сломлен.

Потом он предложил высказаться партизанам. Как всегда, первым никто не решался говорить. И вдруг один из новых бойцов, пожилой колхозник, ушедший в лес после того, как гестаповцы выпороли его за дерзкое слово, — новый боец швырнул шапку на землю и убежденно сказал:

— Порази меня гром на этом самом месте — по-моему, брехня! Брешут немцы!

И люди закивали головами. Юрий Музыкант просил слова, подняв руку и заслоняя ею побелевшее, с прыгающими губами, лицо.

— Товарищи! — выкрикнул он с неожиданной страстной силой. — В Ленинграде у меня беременная жена и работа всей моей жизни. Мы не знаем, правда или неправда немецкое сообщение. Но я клянусь: пусть я истеку кровью, пусть мои волосы поседеют, но я не сложу оружия и буду мстить, мстить, мстить!.. — Он вскинул руку, уже не заслоняясь ею, а угрожая.

Вслед за ним выступил Иван Коротков, ленинградский токарь.

— Сердце переворачивается, когда подумаешь, что фашист идет по Ленинграду, — сказал он. — И быть того не может. Что, товарищи, не знаем мы разве ленинградских людей? Что, товарищи, а сами-то мы — не ленинградцы? Не могли они сдать Ленинград, как мы сами не сдали бы его! Я предлагаю вести себя так, будто мы не слышали этой новости. Воевать так, как будто по-прежнему недалеко от нас несокрушимый наш город Ленина. И верить в его несокрушимость, как верили до сих пор. — Он подумал и сам себе ответил на свое сомнение: — Да, товарищи, такую резолюцию и надо принять: считать Ленинград не сданным!

Эхо рукоплесканий перекатывалось по лесу. Прокурор Гришин аккуратно записал резолюцию митинга в дневник отряда, а Гудимов приказал готовиться к новой, очень рискованной операции, в которой будет участвовать весь отряд.

Мария проводила дни и ночи на своем объекте, занимаясь десятками неотложных дел. Из-за перебоев в работе водопровода на верхние этажи вода не поднималась; надо было увеличить запасы воды на крыше и на чердаках, но запастись ей было не во что, и Мария несколько дней хлопотала, пока достала обыкновенные бочки. Она вместе с дружинницами таскала воду наверх, но тяжелая работа показалась ей пустячной по сравнению с утомительной беготней в поисках бочек. Затем ей посоветовали обзавестись шлангами, чтобы в случае нужды подавать воду снизу, и она несколько дней бегала по учреждениям, раздобывая шланги. Созданное ею общество было источником постоянных хлопот. Чтобы устроить детскую комнату, пришлось перегораживать убе-

жище, а материалов не было, достать их стоило многих трудов и перевозить пришлось вручную, на тележке. Как только ребят водворили в детскую комнату, у одной девочки обнаружили коклюш. Во время сильной бомбежки женщины подняли крик, требуя удаления больного ребенка из убежища, а мать девочки с плачем жаловалась, что «девочку выгоняют под бомбы». И Марии пришлось срочно устраивать в убежище специальный закут для коклюшной.

Хлебную норму снова снизили; теперь рабочие получали четыреста граммов хлеба на день, а все остальные горожане — двести граммов. Простояв длиннейшую очередь, хозяйки приходили домой с маленьким пакетиком пшена или чечевицы и варили жидкую похлебку, которой не хватало и на один раз. В столовые отпускалось очень мало продуктов, но все-таки в столовой прокормиться было легче, и Марии пришлось ежедневно заниматься рабочей столовой, следить, чтобы не было воровства. Но голодные люди все равно ворчали и подозревали воровство, и Марии приходилось разбирать нарекания и жалобы, проверять порции на весах, успокаивать недовольных. Дома Анна Константиновна и Мироша бились с нуждой, пытаясь кормить досыта хотя бы Андрюшу, и Мария, придя домой, сразу попадала в тот же круг забот о еде.

Чувство ответственности так заполняло ее, что сама она уже не замечала ни голода, ни усталости, — она знала, что ей нельзя устать или отчаяться. Она очень следила за собой, говорила с людьми ровным голосом, заставляла себя улыбаться на людях. Притворяясь спокойной, она и внутренне успокаивалась. В эти тяжкие дни она все делала удачно, и любая задача казалась ей посильной.

— Знаешь, Иван Иванович, — сказала она однажды Сизову, — в такой самоотрешенности очень легко жить.

— Какая ж у нас самоотрешенность? — возразил Сизов. — Мы сейчас самые что ни на есть эгоисты. За жизнь свою уцепились, в рабство не хотим да еще о хорошем будущем мечтаем.

Она рассмеялась, так неожиданна была мысль Сизова.

В ту ночь, проверяя посты, она не нашла на месте одну из лучших активисток группы — библиотекаря Зою Плетневу. Зоя должна была дежурить на лестничной

клетке третьего этажа. Мария стала подниматься выше, не желая верить, что Зоя струсила и убежала с поста. И тотчас увидела Зою в окне четвертого этажа. Она узнала остренький профиль Зои и пушистые волосы, уложенные на голове валиком, но ее поразило незнакомое выражение безоглядного счастья на лице Зои, озаряемом трепещущими отблесками выстрелов и обращенном к мужчине, который держал ее за руку. Всем своим существом тянулась девушка к этому высокому военному, какими-то быстрыми, короткими словами отвечая на то, что он говорил ей. И, видимо, так значителен и прекрасен был их разговор, что оба совершенно не замечали того, что творилось за окном.

Откинувшись к темной стене, Мария несколько минут смотрела на них с изумлением и любопытством, с какими смотрят на экране чужую, непонятную жизнь. Потом тихо пошла вниз.

В комнате штаба, устроенной в темном полуподвале, бывшей дворницкой, никого не было. Мария легла на диван и закурила. Она думала о Зое Плетневой и о том, какой значительный и прекрасный разговор произошел в окне, озаряемом отсветами выстрелов. Смерть витала над ними, но они были счастливы. Жизнь продолжалась, полнокровная и дерзкая в своем неуклонном развитии, даже в кольце осады.

Так ли это?..

Еще недавно Мария находила утешение в полном отказе от личной жизни. Но тогда ей казалось, что личная жизнь оборвалась у всех, что таков закон войны. Теперь она видела, что даже под огнем каждый человек живет всем, что ему дорого и близко. Вот и мама, как ей ни трудно приспособиться к военной обстановке, мечтает провести настоящий детский праздник в своем Доме малюток, вечерами клеит цветные фонарики и вырезывает флажки, которыми украсит убежище! И на днях она пришла домой счастливая: «Стасик улыбнулся! Я взяла бубен и стала танцевать с бубном, он смотрел и вдруг улыбнулся и потянулся к бубну!»

А Мироша? Она бьется, чтобы прокормить всю семью, стоит в очередях, сушит на зиму коренья, бережет каждую крошку хлеба, каждую крупинку, каждую щепку. Но вот ей полюбился маленький мальчик Андрюша, и с ним жизнь кажется ей полнее и радостней, чем до войны, когда жила с племянницами, «смотревшими не

в дом, а из дому». И если Мироша с Анной Константиновной сходятся вместе, для обеих нет ничего важнее того, к кому побежит, кому улыбнется Андрияша...

В конце концов и забота Тимошкиной о тапочках, без которых ее дочери будет неуютно в казарме ПВО,— это тоже продолжение жизни. В большом и малом старается человек жить так, как жил всегда, сохранить все, что ему дорого и нужно. Не все строят баррикады и бойницы, не все делают снаряды и танки, не все стреляют во врага и обороняют город на пожарных постах. Но все сопротивляются смерти, разрушению и рабской покорности, ничего не уступая врагу...

«А я сама? — сказала себе Мария, удивляясь, что не понимала этого раньше. — Я ни от чего не отрешилась, даже от своего прошлого. Я ни на один день не забывала ни о чем и не удивилась, а позавидовала... да, да, позавидовала Зоиной любви... И когда я вхожу к Каменскому — уже не к Мите, а к Каменскому, — я чувствую себя любимой, и мне становится и хорошо, и жутко. Он любит меня. В этом нельзя ошибиться, это передается без слов. Нужно мне это? Нет. Но и отказаться от его любви, от встреч с ним я тоже не хочу. Они думают, что они нас задушили, прижали к земле, повергли в ужас своими бомбами. Так вот нет же! Не откажусь ни от чего, буду жить так, как будто их нет, не отдам ничего, что составляет жизнь».

Она встала и снова пошла наверх.

Зоя стояла одна на третьем этаже; рассеянная улыбка блуждала по ее лицу вместе с отблесками дальнего пожара.

— Затихает, — сказала Мария, выглядывая в окно.

Зоя поглядела на дальний пожар, видимо сейчас впервые осознав, откуда доходит к ней мерцающий розовый свет, зябко поежилась и сказала:

— Как это все... противоестественно.

Мария спросила:

— Переживем мы... как вы думаете?

— Не знаю, — ответила Зоя. И после раздумья добавила: — Мы — как Ленинград? Обязательно. А мы в частности... знаете, я почему-то думаю, и мы переживем.

На крыше дежурные сидели парами и устало переговаривались. Было холодно и почти тихо. Отбоя еще не давали, но самолетов над городом не было. Дальний пожар замирал, расстилая над крышей вялый дым,

— Кажется, на сегодня отвоевались! — крикнула Мария дежурным.

— Похоже.

Ветра не было, но холод осенней ночи пронизывал насквозь. «Надо достать валенки и ватники для дежурных,— подумала Мария,— иначе не выдержать». Уходить вниз не хотелось, так широк был отсюда обзор затихающего боя и так вольно здесь дышалось. Присев на покачую кровлю слухового окна, Мария некоторое время обдумывала, куда она завтра пойдет добывать валенки и ватники. Она знала, что сперва ей откажут, но верила, что в конце концов добьется своего.

Вчера Каменский сказал: «Никто кроме нас, не может стать руководителем войны против фашизма. Только наше государство заинтересовано в полном разгроме фашизма, и только оно будет последовательно драться и добывать его. В буржуазных государствах всегда найдутся любители полумер и сделок».

Вчера Мария просто согласилась с ним. Сейчас она подумала, что так или иначе это понимает, чувствует каждая из женщин вот на этих бесконечных опаленных крышах. Наверное, нет в мире людей, истомленных неравной борьбой так, как они, и все-таки именно они будут бороться до конца, не согласятся ни на какие сделки с врагом... Потом она подумала о себе. Раньше ей никогда не приходило в голову, что у нее окажется столько силы, что она возьмет на себя частицу государственного дела, государственной ответственности. Но вот пришлось, и она организует, хлопочет, приказывает, увлекает людей, как заправский администратор. Как это вышло? Или сама советская жизнь готовит к тому, чтобы в трудный час почувствовать себя ответчиком за все и за всех?.. А Трубников? Как же так?..

Назойливое воспоминание было нестерпимо. Но все вызывало его, все требовало решения, выяснения, ответа.

Совсем рядом оглушительно хлопнул выстрел. И сразу кругом поднялась торопливая стрельба. Как всегда в первую минуту новой опасности, сердце Марии будто оборвалось... Припав к холодной кровле, она овладела собой и постаралась разобраться, что происходит. Были видны яркие выхлопы огня, взлетающие над крышами. Очень высоко в небе загорались и гасли звездочки разрывов. Иногда трассирующий снаряд плыл вверх, вспарывая темноту сверкающей иглой, и его движение в высоту ка-

затось медленным. Разрывы были беспорядочны, зенитчикам не удавалось нащупать путь вражеского самолета, хотя его тонкое прерывистое гудение было слышно. Потом она услышала хорошо знакомое завывание несущейся вниз бомбы, закрыла глаза и вдавилась в крышу. «Вот и все», — пронеслось в голове, и вместе с этой мыслью мгновенно и как бы все вместе встало в памяти: летний вечер на даче; Андришка, прыгающий в кроватке; синяя калька незаконченного чертежа; сдержанный голос Каменского: «Вы все-таки... берегите себя» — и еще многое, что было для нее жизнью. Крыша вздрогнула и закачалась под ее скорченным телом, грохот тяжелого взрыва ударил в уши. «Мимо!» — поняла Мария, приподнимаясь.

— Мимо! — крикнула она, чтобы подбодрить дежурных.

— В дом номер семь, — ответили ей.

Закинув лицо к небу, где еще расходились дымки разрывов, Мария глубоко вдохнула холодный воздух, физически ощущая, что вот это и есть жизнь и нет ничего важнее и значительнее этой простой жизни. Дышать, смотреть, чувствовать, двигаться... С проникновенной ясностью увидев как бы со стороны свою собственную простую жизнь, она сказала себе: только это и важно. Когда-то я обманулась — ну и бог с ним. Теперь обман раскрылся, и очень хорошо, что он раскрылся! «Если я стою счастья, я его завоюю сама, все измеряя единственной точной мерой... А Трубникова больше нет для меня ни в настоящем, ни в прошлом, потому что теперь я знаю — он был мелким, себялюбивым, избалованным и легковесным человеком, и любовь его была мелкой, эгоистичной, ненастоящей».

Она отшатнулась от своего безжалостного вывода, но со злостью заставила себя сейчас, немедленно, все вспомнить и понять до конца.

Да, это было упоительно — сумасшедшие поездки по полям, блаженное забытие первой страсти, тайные встречи, его короткие наезды в Ленинград, когда он врывается в квартиру, шумный, веселый, нагруженный пакетами, и они устраивали два дня сплошного праздника, забывая все на свете. Но, по существу, ведь он просто убегал от ответственности, от обязанностей! Даже после рождения Андришки они продолжали жить врозь. Она закрывала глаза на все, что смущало ее, но как часто ей приходилось закрывать глаза и терпеть обманом! Он не хотел

ребенка, очень не хотел. И они тогда чуть не поссорились, а потом вышло так, что Мария, поступив по-своему, как бы взяла на себя все заботы об этом будущем ребенке. И так повелось, что «быт» не касался Бориса,—недаром он внушал ей, что «быт губит любовь». Они редко встречались в зиму перед рождением ребенка, но он так убедительно рассказывал о своей занятости и так заманчиво говорил о лете, которое они проведут вместе! Ей было очень трудно в ту зиму, сотни забот навалились на нее. А денег было мало, и она взяла на дом скучную техническую работу. Как у нее болела поясница от ночных сидений над сложными и скучными чертежами! Она ни разу не сказала об этом ни слова, встречала Бориса веселой и подвижной, ласковой и беззаботной...

В июне, после ее родов, Борис устроил ей сюрприз. Мама приехала за ней в больницу в автомобиле Бориса, автомобиль повез их за город, на дачу, и Мария ахнула от восторга, открыв калитку и ступив на тенистую аллею, в глубине которой виднелся увитый зеленью дом... Да, все это было хорошо, очень хорошо. Но Борис не приехал за нею и за ребенком в больницу, и не приехал на дачу ни в этот день, ни в следующий, а только через неделю, когда Мария уже вполне оправилась. Ее покорило, что Борис без понимания и без нежности отнесся к ребенку, но она и на это закрыла глаза, она захотела поверить, что любовь к ней захватила его целиком... Борис привез на дачу Гудимова, Олю, Акимова и других товарищей по работе. Предварительно шофер выгружал на кухне корзины продуктов. Анна Константиновна хлопотала, устраивая ужин, всем было очень весело... Приезжал и помощник Бориса — Горев, человек неприятный и неискренний, подхалим. Мария не понимала, зачем Борис приглашает его. Но однажды выяснилось, что это Горев оборудовал дачу. И действительно, Борис, приезжая, весело обнаруживал то лодку, то вазу с цветами, то превосходный погребок за домом, то есть те милые мелочи, которые Мария сочла проявлением его собственной трогательной заботы...

Да, эта летняя сказка, устроенная им, не стоила ему ни усилий, ни хлопот. А когда у Андрюши было воспаление среднего уха и Борис застал его на руках у измученной Марии, он сразу уехал под предлогом срочного вызова в Смольный. И не приезжал до тех пор, пока Андрюша не поправился.

Марию он любил, конечно, но любил для себя, ничем не поступаясь ради нее. Недаром, ворвавшись в квартиру после своего бегства из района, он сказал с облегчением: «Слава богу, вы еще здесь...» А ведь он считал, что надо уезжать как можно скорее!

«Почему я тогда удивилась и возмутилась? — спросила себя Мария. — Ведь он всегда был таким, думающим только о себе, избалованным властью и благополучием. Его любили, потому, что он был жизнерадостен и умел нравиться. Если в районе что-нибудь шло плохо — винили его помощников, и он их винил, добавляя: «Доверился, не проследил. Все надо самому!» И его жалели и щадили все, даже Гудимов... Не будь войны, он бы так и прожил жизнь, окруженный почетом. И Мария закрывала бы глаза на его эгоизм, на его легковесное самодовольство... И только тогда, когда она стала бы стара и больна, она вдруг обнаружила бы, что друга у нее нет...

Стрельба ушла в сторону и постепенно стихла. Восток начинал светлеть. На развалинах дома № 7 копошились маленькие фигурки, бродили мутные лучи фонариков. Проехала, завывая, карета скорой помощи. На соседних крышах возились люди, сметая щебень и пыль. И в окнах домов, сколько могла видеть Мария, жильцы убирали осколки стекла, вставляя выбитые рамы, прилаживали фанеру.

Подведя печальный итог своему прошлому, Мария не чувствовала ни боли, ни смятения, ни горечи. Ее глаза осматривались внимательно и бесстрастно. Если завтра настанет ее черед, она вот так же выйдет убирать, латать, бороться. Это человеческое упорство было сродни ей и внушало спокойствие, и холодная, медленно светлеющая высота неба внушала спокойствие, а может быть, спокойствие выработалось в ней самой, как самозащита души, потому что иначе сейчас нельзя было жить.

Тихой звездной ночью танки Алексея Смолина шли на новую позицию. Изредка взлетавшие над фронтом ракеты освещали пустынную, вздыбленную снарядами изменность, пересеченную железнодорожными насыпями. Иногда из мрака выступали разрушенные строения,

такие мертвенно тихие, что казалось, никогда не звучали в них человеческие шаги, человеческая речь. Но Алексей знал: жизнь не ушла отсюда. Отряд заводских рабочих сумел задержать немцев на подступах к этому пригороду и теперь держит оборону вон там, впереди, где черная мгла наглухо укрыла и заводские корпуса, и низкие домики с палисадниками, и наспех открытые окопы.

— Лучше помереть, чем плохо помочь им,— сказал Яковенко, отправляя Смолина.— Вот тебе и весь приказ.

Иных приказов Алексей не слышал уже давно. Танки мотались с одного участка сузившегося под Ленинградом фронта на другой, отражая натиск врага, и всегда задание требовало: умереть, но сделать. В непрерывных боях Алексей утратил представление о том, что бывает на свете уют дома, сон в постели. И только порой удивлялся, что все еще жив и невредим.

Из темноты вынырнула черная тень. Алексей разглядел человека в штатском пальто, перетянутом пулеметными лентами, и в меховой шапке.

— А мы вас ждем,— сказал человек.

Голос его был старчески приветлив и гостеприимен, как будто никакой войны не было.

Вторая черная тень, поменьше, появилась рядом. Свет звезд отблескивал на стволе винтовки.

— Шура,— сказал старик,— проведи на позицию. Не знаю, так ли мы сделали.

— Топайте за мной,— задорно сказал паренек.— Только потише, немцев разбудите.

Позицию выбрали за крайним домом поселка, в небольшом овражке. Укрытия были расположены умно, на хорошей дистанции одно от другого, но стенки были срезаны неправильно. Алексей указал командирам танков их места и вернулся к своей машине. Его товарищи уже взялись за лопаты, и Шура вместе с ними.

— Мы ведь не знали, как полагается. Мы всё ждали, ждали вас. Нам третий день обещают. Когда они прорвались к кладбищу и мы их оттуда выгнали, нам сказали, что танки уже идут, и мы заняли здесь оборону. Стали вам укрытия делать, а как — объяснить некому. У нас и гранат не было. Теперь завод выпускает. Теперь-то мы спокойны.

Збонкий голос Шуры был очень серьезен. Ясно было, что паренек преисполнен чувства ответственности.

— Сколько тебе лет, Шура? — спросил Алексей.

— А что?

— В каком ты классе?

— Ни в каком.

— Ты не в школе?

— Здравствуйте пожалуйста! — прозвучал сердитый ответ. — За кого вы меня принимаете, товарищ командир?

Алексей смутился и промолчал, стараясь рассмотреть в темноте собеседника с мальчишеским голосом, но лица не было видно. Фигурка была маленькая, быстрая.

— Вы тоже в ополчении? — спросил Сережа Пегов тем изысканно вежливым голосом, каким всегда обращался к девушкам.

— Боец заводского рабочего отряда!

Теперь уже было несомненно, что перед ними девушка, и Алексей не понимал, как он мог ошибиться. Присутствие девушки волновало, продолжать разговор после нелепого его начала было неловко. Но Шура отложила лопату, вскинула на плечо винтовку и рассмеялась без кокетства.

— А вы и растерялись! — сказала она. — Как сможете, приходите в тот домишко чайку попить. Я пока самовар поставлю.

— Это ваш дом?

— Наш.

— Тут и воюете, возле своего дома?

Она усмехнулась:

— Это немцы возле нашего дома воюют. Мы бы рады подальше.

— Так вы что же... и в бою уже побывали? — спросил Алексей торопливо, желая задержать девушку.

— А я не знаю, бой это был или не бой, — ответила Шура. — Они как стали приближаться, во весь рост, и даже кричали что-то... мы залегли в окоп и начали стрелять. Они тоже стреляли, а потом побежали назад. А потом снова всё сначала, и опять их прогнали. Тогда они начали бить из пушек. Вот сейчас тихо, а все время снаряды рвались. Это что, по-вашему, бой?

— И удачный бой! — сказал Алексей. — Вы тоже стреляли?

— Стреляла. — Она подумала. — Я не хвастаю, много стреляла. Но мне совсем не нравится. Зачем все это выдумали только!

— А что же делать, если они напали?

— Это я понимаю. Я не о том... Может быть, после этой войны не будет больше войн, как вы думаете?

В ее голосе звучала такая страстная надежда, что Алексей коротко ответил:

— Будем надеяться.

Но Сережа Пегов воспользовался случаем, чтобы показать себя умным, и начал рассуждать о противоречиях империализма и о том, что война есть продолжение политики другими средствами.

— Надо же! Как вы все знаете,— со смешком преврала его девушка. — Но, я пойду самовар ставить.

Она ушла, сразу растаяв в темноте, а Носов сказал:

— Лекция не удалась.

— Нельзя упрощать понятия,— буркнул Сережа.

Алексей смотрел, улыбаясь, в ту сторону, где исчезла девушка. Он увидел, как приоткрылась дверь и в мутной полосе синего света мелькнула фигурка с винтовкой за плечом. Он не видел ее лица и не знал, какая она, эта девушка, отразившая две немецкие атаки. Но хотел видеть ее прекрасной.

Танкисты обосновались на позиции. Алексей отправил Кривокуба связаться с командиром отряда. По-прежнему было совершенно тихо. Изредка взлетали над фронтом немецкие ракеты, и в неестественно ярком, неживом свете блестели мокрые листья на березках, укрывших танки. И в этом же злом свете Алексей увидел, как вышла из дому Шура и припала к стене, прижимаясь к ней ладонями, втянув голову в плечи. Через минуту в темноте раздался ее голос:

— Товарищи танкисты... чай пить...

— Так я схожу, ребята, пока тихо, а потом вас по очереди отпущу,— виноватым голосом сказал Алексей и пошел вслед за девушкой, с волнением ожидая, что она обернется к нему на свету и окажется той самой, какой представилась, с белокурой косой у нежного плеча.

Отца не было дома, мать приветливо шагнула навстречу:

— Добро пожаловать. Самые дорогие гости!

Мать была высока и пригожа той особой пригожестью старости, когда черты былой красоты и щедрая, испытанная во многих жизненных обстоятельствах доброта души явственно проступают сквозь морщины и как бы осеняются мягким сиянием седины.

Шура прошла в глубину комнаты, поставила в угол винтовку, скинула пальто и шапку. Косы не было, прямые русые волосы, примятые шапкой, были коротко острижены и открывали сильную, с полоской летнего загара, шею. Шура провела гребенкой по волосам, взлетевшим, как пух, привычным движением уложила их и обернулась к Алексею. Ее небольшие карие глаза сверкали, раскрасневшееся на холоде лицо дышало свежестью, — оно было проще и грубей, чем представлялось Алексею, и вся ее фигура, обтянутая узкой черной юбкой и белым свитером, была крупнее и полнее, чем показалось на улице. Но Шура, словно поняв, что Алексею очень хочется быть очарованным, улыбнулась ему с добродушной и лукавой доверчивостью. В ее улыбке и обращении было обаяние, которого он искал, ее крепкие руки, легко поднявшие большой самовар, показались ему прекрасными, и через минуту ему уже нравилось в ней все: и сильная загорелая шея, и деревенский румянец, пылавший на круглых щеках, и глаза — небольшие, но горячие, быстрые, с золотыми искорками.

Товарищи ждали его, надо было торопиться. Терзаясь угрызениями совести, Алексей все-таки затягивал чаепитие и вел неторопливый разговор с хозяйкой, не решаясь заговорить с Шурой. Ему страшно было, что она скажет что-нибудь не так и обаяние нарушится.

— Как же вы дочку в бойцы отпустили? — спросил он мать.

Она повела плечами:

— Разве лучше будет, если они в дом ворвутся и что-нибудь над нею сделают?

— Я же только помогаю, — вспыхнув, объяснила Шура. — И папу разве оставишь одного? Он ведь старенький уже, папа... за ним не доглядишь — простудится или к немцам попадет.

И ему пришлось по сердцу, что она не рисуется и не скрывает своей дочерней нежности. Он старался поймать ее взгляд. Она заметила это и все чаще быстро поглядывала на него, так что золотые искорки в ее глазах прыгали. Но когда он волей-неволей допил свой третий стакан и отказался от четвертого, она вскочила с места:

— Самовар-то остынет, а товарищи ваши не напоены.

И он вынужден был уйти, со стыдом признаваясь себе, что впервые забыл о товарищах и что Шура выставила его за дверь.

Ночью спать не пришлось. Вернулся из штаба отряда Кривоzub и доложил, что, по данным разведчиков, немцы готовятся к новой атаке на поселок, так что в штабе особенно радуются прибытию танков. После участия в операции Каменского Алексей увлекался планами неожиданных ударов и считал, что чем больше проявлено дерзости, тем несомненнее успех. Но сможет ли неопытный отряд самообороны поддержать дерзкие действия танков? Алексей сам отправился в штаб, и все ему там понравилось: деловые люди, спокойная уверенность, восторженное уважение к танкам и готовность поддержать их всеми силами. Командир и начальник штаба хорошо поняли, какие выгоды можно извлечь из внезапного появления танков, и с увлечением обсудили с Алексеем все возможные варианты боя. Алексей изучил карту и данные разведки, договорился о связи и взаимодействии. Когда он вернулся к себе, он не хотел спать и с нетерпением ждал утра.

Светало. Над мокрой землей стлался тяжелый сизый туман. Как корабль, выплывал из тумана домик, где жила Шура. Окна его уже ловили первые проблески света. За одним из этих окон спала она, дыша безмятежной молодой силой. Глаза закрыты — спят. И золотые искорки тоже.

Переведя стесненное дыхание и заставив себя отвернуться от ее окон, Алексей окинул рассеянным взглядом подернутое туманом пространство, отделявшее его от немцев. Там, над туманом, как над разлившейся в половодье рекой, чернели верхушки деревьев, и в том лесу были сейчас немцы. А Шура, наверно, с детства бегала туда по грибы...

Туман из сизого стал розоватым. Алексей увидел, как эту качающуюся розоватую пелену прорезали багряные вспышки. Режущий свист пронесся над головой, и в уши ударил гул многоорудийного залпа.

В этот день Алексей долго, томительно выжидал, бездействуя, чтобы до времени не обнаружить себя. Потом его танки рванулись в контратаку, внезапную для немцев, и немцы побежали, бросая оружие. Это был момент радости и азарта; танки преследовали бегущих, расстреливали их и давили гусеницами, с ходу ворвались в не-

мецкое расположение и нанесли немцам порядочный урон. Но уже на отходе, посреди «ничьей» земли, танк Смолина тяжело вздрогнул, повернулся и осел набок. Пока все пушки, имевшиеся в распоряжении заводского отряда, старались прикрыть своих и заставить замолчать немецкие батареи, Носов осмотрелся и доложил, что застряли прочно. И в эту минуту его ранило в шею. Немцы усилили огонь, а потом пошли в атаку, надеясь захватить танкистов живыми. Алексей был слишком поглощен боем, чтобы заметить, как и когда появился рядом танк Гаврюшки Кривокуба.

— Давай ко мне, живо! — крикнул Кривокуба.

Носова положили на крыло кривокубовского танка. Алексей лег рядом, остальные прицепились кто как мог. Кривокубовский танк рванулся к поселку, петляя по пустырю среди рвущихся снарядов.

«Такую машину загубили! Такую машину!» — прикрывая собой Носова, со злостью и отчаянием думал Алексей.

Танк трясло и подкидывало. Алексея больно било о броню.

Когда машина остановилась, Алексей хотел соскочить на землю, но почему-то не смог, как будто тело его срослось с броней.

— Алеша, друг... — сказал над его ухом Гаврюшка.

Он поднял голову и увидел бегущую по овражку Шуру. Снаряд разорвался между ним и Шурой, взметнув фонтан земли и увядшей ботвы. Когда дым рассеялся, он снова увидел бегущую к нему Шуру.

— Как я волновалась! — сказала она. — Вы ранены?

— Пустяки, — ответил он и сам сполз с крыла, но стоять не мог.

Гаврюшка и Пегов подхватили его.

Он понимал, что ранен, но — странно — не чувствовал куда, только никогда еще не испытанная слабость клонила к земле.

— К нам! — сказала Шура решительно.

— Нет, — так же решительно отказался Алексей. И из последних сил крикнул ей: — И нечего бегать под снарядами! Глупо!

Алексея перевязали. Раны были легкие — осколок скользнул по боку и по руке выше локтя. Алексею стало стыдно, что он раскис из-за такого пустячного ранения, но его и сейчас мutilo при виде окровавленной марли,

брошенной санитаром. Его здоровое тело не мирилось с болью.

Весь день вокруг танка шла борьба. Подбитый, но не потерявший боевого значения, мощный КВ был приманкой для врага, а ползущие к нему немцы были хорошей мишенью, — более десятка их полегло, не добравшись до танка. Открыв шквальный огонь, немцы выпустили танкетку и пытались увести танк на буксире, но и это не удалось им. Тогда вокруг танка образовалась смертельная полоса, простреливаемая насквозь с двух сторон.

К вечеру Алексея позвала Шура. В ее доме отлеживался Носов, ожидая отправки в госпиталь.

Алексей вошел в маленькую комнатку, где все — от нарядной кровати до безделушек на комодке — говорило о том, что здесь живет девушка. На кровати лежал осунувшийся за день, лихорадочно возбужденный Носов. Ему было трудно говорить. Алексей наклонился и выслушал его прерывистый шепот. Носов считал, что танк надо отремонтировать на месте и увести своим ходом; и старался обстоятельно объяснить, что и как нужно для этого сделать.

Уверив раненого, что все будет сделано, Алексей вышел в общую комнату, где его ждали с ужином. И бок, и рука снова занули, есть не хотелось. Но он с благодарностью выслушал рассказ Шуриной матери о том, как они беспокоились за него и как Шура побежала со всех ног встречать танк Кривокуба.

— Зато меня встретили бранью, — сказала Шура.

Приглядевшись, он понял, что она совсем не сердится за давешнюю грубость.

Она стала расспрашивать, что можно сделать для спасения танка, и Алексей пересказал предложение Носова.

Шура накинула пальто и спокойно сказала:

— Посидите, я сбегаю за папой.

Отец Шуры совсем не был стареньким папой, за которым надо приглядывать, чтоб не простудился и к немцам не попал.

Это был старик высокого роста и крепкого телосложения, подчеркнутого осанкой, полной достоинства. Лицо его, несмотря на глубокие морщины, дышало здоровьем и силой, а в живых карих, как у Шуры, глазах горели такие же золотые искорки.

— Марков, — представился он, энергично пожав протянутую Алексеем руку. — Я уж думал! — сразу загово-

рил он, отводя лишние объяснения. — Мы с утра прикидываем. И — прикидывай не прикидывай — выход один: починить на месте. Смотраться туда ночью, осмотреть, поработать, если что нужно в заводе делать — сделать, потом ползти снова и кончать.

— Весь путь под огнем, — предупредил Алексей.

— Путь паршивый, да и там будет не слаще, — согласился Марков. — Но другого выхода ведь нету?

Жена тихо спросила:

— Кто пойдет?

— Самому придется. Кого же тут пошлешь!

Она спросила так же тихо:

— Что приготовить тебе?

— Да вроде ничего. Рукавицы дай, удобнее ползти будет. Фонарь возьму. Да найди мне кусок брезента, чтобы затемниться.

Шура громко вздохнула, будто всхлипнула. Даже следа недавнего румянца не осталось на ее побледневших щеках.

— Папа, — сказала она, — я пойду с тобой, а?

— Только тебя мне не хватало там, — ответил отец и мимоходом погладил ее по волосам. — Солдатик!..

В полной темноте Марков, Шура, Алексей и Сережа Пегов миновали окопы первой линии и поползли вперед.

— Здесь, — сказал Марков и подтолкнул Алексея в канавку.

Они лежали, пользуясь вспышками ракет, чтобы рассмотреть пространство, отделяющее их от танка. Потом Марков и Сергей вскинули на спины тяжелые мешки и молча поползли в темноту. Прошло больше часу. Немцы вдруг открыли шквальный огонь. Снаряды падали возле танка и по всему пустырю, у окопов и за ними. Алексей и Шура скатились на дно канавы, но Алексею пришлось прикрикнуть на нее, чтобы она не выглядывала. Затем огонь стал затихать, и снова взлетела ракета, озарив обнажающим светом каждую травинку.

— Он не поползет обратно, пока огонь, — сказала Шура. И попросила: — Дайте мне гранату, товарищ Смолен!

— Зачем?

— Если что случится... я поползу к нему.

— Ну, знаете, девушка! — возмущенно воскликнул Алексей. — Вы что ж, за подлеца меня считаете?

— Вы ранены,— просто сказала Шура,— и вы командир. А я тут каждую кочку знаю, это же наш огород, а дальше черника растёт, я тут все облазила.

Снаряд упал за ними, возле самого дома Марковых. Слышно было, как посыпались стекла.

— Ну вот,— сказала Шура,— теперь мерзнуть придется.

— Вам бы уехать,— сказал Алексей.— Черт знает что! Пожилая женщина и девушка живут на переднем крае!

— А папа? — возразила она.— Да и куда же мы поедём?

Она вдруг приподнялась и схватила Алексея за руку. Он чувствовал на ладони ее острые ноготки. Ноготки то вонзались до боли в кожу, то отрывались, то снова вонзались...

— Возвращается!

Сколько ни вглядывался Алексей, он не видел ничего, кроме черной бугристой земли.

— Да нет же... Вам показалось.

Острые ноготки снова вонзились в его ладонь. Два снаряда разорвались между ними и танком. Канавку запылило землей. Шура приподнялась еще выше, облегченно вздохнула и отняла руку.

— Ползет,— сказала она.— Огородом ползет...

Новый взрыв осыпал их землей.

— Папа! — крикнула Шура, стяхивая землю с шапки.— Папа, сюда!

Теперь Алексей тоже видел быстро, не по-стариковски ползущую фигуру. Марков дополз до канавки и скатился в нее, хрипло дыша. Он не мог говорить и только погладил дочь по спине. Шура всхлипнула и прижалась щекой к его грязной руке.

— Сделаем,— сказал он, отдышавшись.— Беги-ка в завод к Егорычу, снеси вот это, пусть сварит. Он поймет. И летом — обратно. Я пока отдохну.

Уже перед рассветом Марков вторично пополз к танку, и на этот раз с ним пополз Алексей. Шура с тревогой вскрикнула: «И вы?..» А потом дала на прощание руку и шепнула: «У меня рука легкая...»

Пока Марков с помощью Алексея и Пегова закончил ремонт, стало совсем светло. Алексей уже успел закрыть люк и пробраться на место водителя, когда немцы открыли огонь. Но мотор послушно заурчал, танк сразу

рванулся на предельной скорости и помчался по пустырю замысловатыми зигзагами, мешая прицельному обстрелу.

А затем, увидев смело подымающуюся навстречу дебричью фигурку, Алексей испытал короткую минутку гордости и торжества. Короткую потому, что яркая вспышка огня сверкнула перед ним, а когда дым и пыль осели, Шура лежала лицом вниз, безжизненно раскинув руки...

Алексей заставил себя вспомнить, что он — командир и должен продолжать свое воинское дело, то есть в данном случае укрыть машину, посадить на связь радиста и затребовать от Яковенко нового водителя вместо Носова, а затем связаться со штабом отряда и подготовиться к совместным действиям, так как немцы, конечно, возобновят атаки. Он стал делать все, что следовало, и это было для него самым трудным испытанием за всю войну.

Глубокой ночью он пришел к могильному холмику за домом Марковых. Дотронулся до него и поспешно отдернул руку — так холодна и влажна была рыхлая, еще не осевшая земля. И там, под грузом холодной земли, девушка с золотыми искорками в глазах... Может быть, это и было его жданное счастье? Теперь уже не узнать... и одно осталось сердцу — война, война, война.

Сквозь звон в ушах, не проходивший после ранения, он слышал мощный гул канонады в районе Пулковской высоты. От множества вспышек небо в той стороне было желтое и мерцало, как северное сияние. А в темной вышине горели звезды, и запрокинутый ковш Большой Медведицы висел над самой головой.

Как смутное воспоминание о ком-то другом, всплыло в памяти его собственное предвоенное увлечение Циолковским, идеей ракетного двигателя и проектами межпланетного сообщения... Эх, чудило! Сперва надо привести в порядок и очистить от погани вот эту суматошную планету под названием Земля. И, пожалуй, ни на что другое жизни Алексея Смолина не хватит. Сколько может продлиться такая заваруха? Год? Два? Пять? Во всяком случае, вряд ли удастся выскочить из нее живым...

Старики Марковы поставили на могилу столбик с красной звездочкой наверху и вырезали ножом надпись: *«Шура Маркова. 1923—1941. Погибла от фашистского снаряда».*

Здесь, перед этой ранней могилой, Алексей равнодушно и даже с каким-то облегчением сказал себе, что настанет и его черед. Неизбежность смерти в бою — рано или поздно — казалась закономерной. Не может же без конца вести человеку!

Перед войной, как большинство очень здоровых людей, он холодел при одной мысли, что когда-нибудь оборвется и его, такая хорошая, жизнь. Теперь он не удивлялся ни своей выносливости и готовности погибнуть, если придется, ни подвигам бойцов, шедших на явную смерть ради успеха — порой совсем малого — боя, ни той простоте, с какой старый Марков пополз под огнем спасти танк и с какой восемнадцатилетняя Шура взяла винтовку и стала стрелять в немцев.. Естественными показались теперь и поразившие его недавно слова из письма Марии: «Если фашисты возьмут Ленинград, я не хочу жить». Фашисты подошли к этому пригороду, и люди бились насмерть, чтобы задержать их, не пропустить через вот этот обгаренный кровью километр, потому что за этим километром — путь на Ленинград. Ради этого погибла Шура Маркова. А если враги все-таки прорвутся куда-нибудь на Международный проспект или на улицу Стачек, сестренка Мария так же просто возьмет винтовку и будет стрелять из-за построенной ею баррикады. И когда упадет она, другая подхватит винтовку. «Так же будет и со мной. В один скверный день товарищи скажут: убит, бедняга! И Яковенко назначит другого, и все будет продолжаться, как будто и не было на свете Алексея Смолина...

Пусть так. Но хочется знать, что не зря. Хочется знать, чем все это кончится. Выстоит ли, уцелеет ли Ленинград? Кто выживет, и какой будет жизнь после победы?..»

Так размышлял Алексей, сидя на садовой скамейке у могилы Шуры и поглядывая то на звезды в темном небе, то на полыхающее в стороне пламя войны. Ему хотелось думать только об этой девушке, светло мелькнувшей в его жизни, но оставленные дела и назойливые мысли о войне лезли в голову. Экипажи пополнились шестью новыми бойцами взамен раненых. Как они покажут себя в боях? А разведка сообщает, что немцы усиленно гонят к Ленинграду эшелоны с техникой. Чего ждать? Нового, сильнейшего удара? Последнего, сокрушительного штурма?..

Он не знал и еще не мог знать того, что уже почувствовали гитлеровцы и о чем немного позднее заговорил весь мир: в эти осенние дни и ночи, когда он вел по несколько неравных боев в сутки, чтобы уничтожить еще десяток немцев, пушку или пулемет, — в эти осенние дни и ночи он и его товарищи по фронту совершили подвиг, равный чуду, остановив врага под Ленинградом. Упоенная победами, кичливая и превосходно вооруженная фашистская армия неожиданно споткнулась, замедлила движение, затопталась на месте... и стала. Фашистские агитаторы еще кричали на весь мир о падении Ленинграда, фашистские офицеры еще хранили в карманах приглашения на банкет победителей в отеле «Астория», еще — по инерции — продолжались атаки и разрабатывались планы решающего штурма ленинградской обороны, но уже командование немецких войск, злобно подсчитывая потери, приказало строить долговременные укрепления и глубокие блиндажи, рассчитанные на условия русской зимы.

Алексей не мог знать этого и с хладнокровием готовился принять и отразить новые, сильнейшие удары, отразить во что бы то ни стало, хотя бы ценой жизни.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ИСПЫТАНИЕ ДУШ

1

Они стояли рядом у слухового окошка. Их глазам открывалась причудливая красота ночи, взбудораженной выстрелами, взрывами и россыпью быстро опадающих костров от зажигательных бомб.

Сизов молча попыхивал трубочкой, прикрывая ладонью ее красный огонек. В эти напряженные вечера он часто заходил к Марии, не проверяя ее, но давая ей высказать свои тревоги и спросить совета.

Само присутствие Сизова внушало Марии уверенность, а его немногословие было приятно. Предположения, догадки, обсуждение расползающихся по городу слухов — и хороших, и страшных — лишь усиливали душевную смуту.

И вдруг Сизов, откашлявшись, сказал:

— А что, если тебе уехать? А, Маша?

Мария с досадой дернула плечом и промолчала.

— Я серьезно говорю. Повоевала — и хватит. У тебя ребенок, мать. Как установится на Ладоге лед, начнется эвакуация.

Мария отмалчивалась, и он продолжал уже сердито:

— В сентябре я тебя не уговаривал. Тогда такое дело было — баррикадное. То ли всем помирать, то ли врага задержать. Ну, и задержали. А теперь война на сроки пошла. Захлопнули нас с трех сторон, только и осталась нам одна ниточка — Ладога. И вот я тебе скажу, Маша: взять нас не возьмут, ни штурмом, ни блокадой, но горя мы хватанем.

Мария повела рукой в сторону вспыхнувших неподалеку мелких костров:

— Сегодня много зажигалок бросают. Хорошо, мы огнетушители достали.

— Потому и доставали... Ты что, Маша, не хочешь отвечать? Я тебе серьезно предлагаю. Я и в райкоме говорил уже.

— Зря.

— Жалко мне тебя стало,— утомленно сказал Сизов. — Вот и всё.

Помолчав, он пробурчал со своей обычной шутливой манерой:

— Ну, гляди в оба, а я поплетусь.

Он ушел, в потемках шаркая подошвами, а Мария облокотилась о подоконник и закрыла глаза. Уехать?.. Ни бомб, ни снарядов, ни воя сирен. Андрюшка заснет, и ничто не потревожит его сон. Пойдет гулять — и наверняка вернется... Можно поступить на завод или на большое строительство, там люди нужны. Я же строитель, а не пожарный... Мама может поступить в очаг и Андрюшку возьмет с собой... Тишина... безопасное небо... сон в постели... Я буду работать до упаду, я буду там полезнее...

Она раскрыла глаза и резко выпрямилась. Она уже знала этот предательский шепоток страха, подбирающего самые убедительные доводы. Стоит захотеть отступить — сколько доводов находится! Но если не хочешь отступать — как трудно верить в успех неравной борьбы вопреки всему, что нашептывает страх!

Привычные звуки пальбы стремительно прорезал дробный звук, похожий на стук гигантского града. Оранжевый свет метнулся перед окном, и почти одновременно сквозь треск и звон донесся женский вопль:

— Сюда-а-а-а-а!..

«Вот оно!» — мелькнуло в уме Марии, когда она выскочила на крышу. Тут и там прыгало желтое пламя, еще легкое, еще только зачинающееся. Было так светло, что выделялся каждый шов кровли. На этом свету, как большая ночная птица, моталась черная тень дежурной Тимошкиной. И звучал все тот же призывный вопль:

— Сюда-а-а-а-а!..

Совершенно забыв о высоте, Мария свободно побежала по скату крыши и подкинула ближайшую зажигательную бомбу ногой, как подкидывают футбольный мяч. Бомба сорвалась с крыши и полетела вниз, оставляя за собой огненный хвост. Женский голос со двора звонко крикнул:

— Хорош!

Вторую бомбу Мария схватила рукой в рукавице и сбросила вслед за первой. И сама удивилась, до чего просто у нее это вышло, совсем как на учебной тренировке.

Но по кровле уже растекалась горящая лава, и Мария стала забрасывать ее песком, для верности притаптывая ногой.

Еще несколько костров пылало в разных местах. Людей на крыше было уже много, человек шесть или восемь, и третью бомбу Марии не удалось сбросить, — ее перехватили. Мария только помогла тушить пламя и смутно угадала, что рядом с ней бухгалтер Клячкин, тот, что отказывался дежурить.

— Вот я тебя! Вот я тебя! — выкрикивал Клячкин, притаптывая песок и бешено вращая испуганными глазами.

Оранжевый слепящий свет сменился темнотой. Лишь на секунду вспыхивали и сразу погасали под песком последние струйки огня.

— Четырнадцать штук было, я сосчитала! — кричала Тимошкина. — Вот здорово справились!

— Я три штуки прикончила! — хвасталась Зоя Плетнева.

Взволнованные пережитым и обрадованные успехом, люди уже не обращали внимания на прерывистый гул чужих самолетов и продолжавшуюся стрельбу зениток.

И вдруг Зоя Плетнева узнала Клячкина.

— А вы чего приперлись, товарищ Клячкин? — с гневом закричала она, наступая на бухгалтера. — Как дежурить — нет его, а бомбы тушить — пожалуйста! Прибежал! Могли не беспокоиться, без вас справились бы!

— Ну, что там считаться, — примирительно сказала Мария, хотя и ей было досадно, что Клячкин разделил с ними славу успеха. «Однако четырнадцать штук было! — подумала она. — Не зря учились, готовились... Это Сизов порадуетя!..»

В это время со двора закричали:

— На крыше! Э-эй, на крыше! Огонь в четвертом!

Люди находились в таком возбужденном состоянии, что новая беда испугала их сильнее, чем незадолго перед тем бомбы. А Мария с отчаянием вспомнила, что она — начальник и ей следовало хорошенько осмотреться, вместо того чтобы легкомысленно радоваться. Она побежала вниз, на чердак. Услыхала за собой топот многих ног, сообразила, что всем бежать нельзя, остановилась и закричала не своим, грубым голосом:

— Куда? Постовые — назад! Порядка не знаете?! Тимошкина, на пост! Плетнева — вниз, подать шланги!

Пламя освещало угол чердака. Бомба пробила и крышу, и чердачное перекрытие, застряла в нем и разбрызгала струи огня, охватившие деревянные балки и пролихшие в комнату четвертого этажа.

— Огнетушители! Огнетушители давай! Песку, побольше песку! Лопатами кидай! Где лопаты?! Слушать команду!.. Не толпиться!.. Лопатами кидай!..

Мария распорядилась внешне почти спокойно, но в мозгу билась жалобная мысль: «Господи, хоть бы Сизов вернулся. Ведь это пожар, настоящий пожар...»

Когда она направила в основание пламени пенную струю из огнетушителя, ее ошеломило новое подозрение: а вдруг еще где-нибудь недосмотрели? Не поверив себе, что может обрушиться на нее такая напасть, она все-таки послала двух бойцов осмотреться на чердаке и на крыше. Одним из этих бойцов был Клячкин. Он неохотно оторвался от людей, но почти сразу же прибежал назад с трясущимися губами.

— В антресоли горит! — кричал он еще издали. — Товарищ Смолина, в антресоли горит!

Мария сначала не поняла, что он называет антресолями, а когда увидела, в чем дело, у нее перехватило дыхание.

Дом был старый, с запутанными и неудобными чердаками и лестницами, с различными хозяйственными достройками, сделанными как бог на душу положит. Часть чердака была издавна отведена под надстройку, где устроили несколько комнатушек. Между крышей и потолком этой надстройки позднее проложили трубы парового отопления. Зажигательная бомба, пробив крышу, застряла между трубами и подожгла стропила и настил. Задыхаясь в тесноте, огонь расплзался, высывая вперед клубы густого дыма.

— К телефону, вызывайте пожарную команду! — крикнула Мария Клячкину. — Да скажите Плетневой, пусть подает шланги сюда!

Она заставила себя приказывать ровным, неторопливым голосом. Размеры беды были настолько велики, что требовалось полное хладнокровие. «Одна! Одна! Хоть бы Сизов вернулся!» Мысль мелькнула, не задерживаясь. Мария негромко приказала:

— Подать все огнетушители.

Она с силой хлопнула огнетушитель головкой об пол и нацелила брызжущую струю в ползучее огненно-дымное

облако. Рядом взвилась вторая струя. Дым ел глаза и мешал видеть.

— Товарищ Смолина, дозвонился! — закричал над ухом Клячкин. — Все команды в разгоне. Пошлют, когда смогут, только надежды мало. Сказали: что угодно, но не пускать огонь наружу, сохранить маскировку! Просили самих стараться!

Голос Клячкина прыгал от возбуждения. Мария, не отрываясь от дела, громко сказала:

— Перестаньте трястись. Пойдите вниз и поторопите шланги.

Она отбросила израсходованный огнетушитель и взяла другой. Ей доложили, что пожар в четвертом потушен и что осталось всего два огнетушителя. А пламя над антресолями не уменьшалось, сквозь черное облако дыма прорывались его багровые длинные языки. Если пламя вырвется на волю — какой прекрасный ориентир для самолетов! Отсветы огня заиграют в стеклах конусообразной крыши вокзала, а мост отчетливо выступит на фоне заблестевшей реки... «Что угодно, только не выпускать огонь наружу!» А пожарная команда не придет. Приедет не скоро.

Кашляя и плача от дыма, Мария отбросила последний огнетушитель и побежала узнать, почему не подают воду. Зоя Плетнева с помощницами тянула ей навстречу пожарный шланг; на ее закопченном, с потеками пота лице отражалось удовлетворение, — она, видимо, хорошо и толково поработала.

— Давай воду! — азартно крикнула она в лестничное окно.

Струя победно рванулась навстречу огню и дыму. Слышно было, как истушленно шипит вода, сталкиваясь с огнем. Дым стал еще удушливее, но багровые языки укорачивались и извивались, как живые, ища выхода.

И вдруг мощная струя упала, иссякла. Шланг стал легким и повис в руках.

Где-то на лестнице громко забулькала вода.

— Шланг лопнул! — закричали снизу.

Мария приказала как можно спокойнее:

— Давайте ведрами по цепочке, с места обрыва!

Она поручила Зое организовать цепочку и послала одну из женщин в бомбоубежище, чтобы вызвать оттуда всех, кто способен работать.

— Товарищ Смолина! — окликнул ее рабочий, прибежавший из общежития. — Я топоры принес. Надо крышу ломать, оттуда сподручнее.

— А маскировка?

— Так ведь снизу не достанешь никак. Разгорится — можем еще пуще костер раздуть.

Мария покачала головой: нет, не дадим, не разгорится.

Боду начали подавать ведрами, но добраться до самого очага пожара было трудно. В узкое пространство под крышей можно было проникнуть только ползком, в удушливом, горячем дыму. Сама удивляясь своему спокойствию, Мария спросила рабочего:

— Твоя как фамилия? Никонов? Никонов, голубчик, дай мне топор и надевай противогаз. Надо доставать отсюда.

Она окликнула Зою, пытавшуюся снизу выплеснуть воду в огонь:

— Зоенька, облей-ка меня получше и погоди, подашь наверх.

С холодной ясностью оценив положение, она взяла брезентовые рукавицы и надела поверх противогаза каску. Глухим, через резиновую маску, голосом приказала посадить ее. Уцепилась руками за верхнюю балку, подтянулась и, невольно зажмурив глаза, поползла по узкому пространству, загроможденному трубами, прямо навстречу черному дыму. Дым окутал ее. Красная искра упала на рукавицу, Мария скинула искру и огляделась, соображая, что теперь делать в этом жарком и душном аду. Она увидела горящую балку, потребовала воды, чуть не выронила тяжелое ведро, но удержала его и с размаху выплеснула воду на балку, а потом стала отдиирать балку топором. Кто-то сзади снова облил ее водой. Вода освежила тело, но в дыму ничего не было видно и дышалось так трудно, что заломило в висках. Она продолжала работать топором, понимая, что ей не одолеть балку, и с надеждой поджидая Никонова — не оставит же он ее одну! И Никонов действительно появился с другой стороны, а может быть, это был и не Никонов, — в противогазе не разобрать. Неузнаваемый, какой-то трубный голос крикнул ей:

— Держись, шланг наращивают!

Задыхаясь и слабея с каждым взмахом топора, Мария продолжала отдиирать балку. С другой стороны ей

помогал Никонов или тот, кого она принимала за Никонова. Балка вдруг оторвалась и красной головней покати­лась к ним. Мария отшатнулась, крикнула: «Держи!», а потом, когда балка шлепнулась вниз: «Воды!» На нее выплеснули еще ведро воды, она перевела дух и, огля­дев­шись, поняла, что они сделали ничтожно мало и по­жар продолжается.

— Товарищ Смолина, держите шланг! — вдруг раз­дался снизу голос Никонова, и она отползла назад и схватила шланг, мельком подумав, что, значит, работает с нею кто-то другой.

Крутая струя воды ударила из шланга в самый очаг пожара. Направляя струю и радуясь ей, как спасению, и боясь, чтобы она снова не иссякла, Мария думала, что Никонов — большой молодец, сумел нарастить шланг, без воды все равно ничего тут не сделаешь. И было бы хорошо, если бы Никонов сейчас сменил ее, так как больше она не может...

— А ну, девушки, посторонитесь! — раздался рядом с нею голос Никонова, который она узнала даже через противогаз.

Никонов отнял у Марии топор и полез в самую гущу дыма. Мария продолжала направлять струю и время от времени, приподнимая ее, окатывала водой дымящуюся спину Никонова.

На взлетающем и опускающемся топоре прыгали красные отблески, но отблески становились все бледнее. И дым редел.

Когда все кончилось, они сползли вниз и сдернули противогазы. Никонов оказался действительно Никоновым, а в своем неузнаваемом товарище с трубным голо­сом Мария обнаружила Зою Плетневу.

— Зоенька... — только и сказала Мария.

— А говорят — от противогазов никакого толку! — прыгающим голосом заметила Зоя, запихивая в сумку опаленную резиновую маску.

Снизу сообщали:

— Пожарная команда приехала!

— Поворачивай обратно! — весело отозвалась Зоя.

Но Мария прикрикнула на нее и пошла навстречу по­жарным: пожарные все осмотрят и проверят, а глав­ное — скажут измученным добровольцам те самые слова, которые Мария от усталости не сумела сказать това­рищам и которые никто другой не мог сказать ей самой.

Поднимаясь по широкой лестнице госпиталя на третий этаж, Мария с удовольствием обдумывала, как она расскажет Каменскому и Мите про вчерашний пожар, и что они скажут, и как взволнуется Каменский. После отъезда пожарных ей удалось поспать всего два часа, но она чувствовала себя на редкость легкой и счастливой. Она с полным правом приняла короткую похвалу начальника команды. «Молодец!» — сказал он, осмотрев место пожара и выслушав ее отчет. «Молодец!» — повторяла она себе, вспоминая все подробности пережитого и особенно ту минуту, когда ей удалось овладеть собой и затем наладить работу в противогазах...

Готовая улыбнуться навстречу сдержанно-радостному возгласу Каменского: «Наконец-то!», — она уверенно распахнула дверь палаты — и от неожиданности остановилась на пороге.

Каменский сидел спиной к двери, в белой какидке, из-под которой выглядывала пестрая пижама. Парикмахер подстригал его волосы. Митя сидел на своей койке в обнимку с незнакомым Марии сержантом.

— Мариночка! — восторженно закричал Митя, и в его восторге была приподнятость духа, относившаяся, как поняла Мария, не к ее приходу, а к событиям, происшедшим в палате до ее прихода.

Каменский так стремительно повернул голову к Марии, что парикмахер охнул, отдергивая ножницы.

— Что бы вам прийти на десять минут позже! — вскричал Каменский.

— Вот первый случай, когда вам не кажется, что я опоздала! — весело отметила Мария, разглядывая помолодевшее лицо капитана.

— Во-первых, познакомьтесь: сержант Бобрышев, чудесный парень и храбрец, каких мало, — говорил Каменский. — Во-вторых, разрешите представиться: капитан Каменский в вертикальном положении и в человеческом виде... жаль, не успел достричься... В-третьих, на днях Митю выписывают из госпиталя с двухнедельным отпуском домой... В-четвертых, нашелся Кочарян, здесь же, в госпитале. Мы все время лежали в разных этажах, и если бы не Бобрышев, так бы и не узнали ничего... Я очень хочу, чтобы вы навестили его, Марина...

Мария совершенно не знала, кто такой Кочарян, и почему она должна навестить его, и чем славен Бобрышев.

— Дайте мне сесть и дайте парикмахеру докончить работу,— сказала она.— И объясните мне все толком.

Из возбужденных рассказов Каменского и Мити, изредка дополняемых точными справками Бобрышева, Мария выяснила, что Митя пошел в первый этаж на комиссию и по дороге встретил сержанта Бобрышева, с которым выбивался из окружения, а затем участвовал в спасении пушек и в операции Каменского. Бобрышев приехал с фронта навестить другого участника всех этих боевых дел — Левона Кочаряна, которого Каменский отправил в тыл к немцам с особым заданием. Никто не мог точно рассказать обо всех приключениях Кочаряна у немцев, потому что самого Кочаряна врачи запретили спрашивать,— он был в тяжелом состоянии. Но, судя по тому, что представитель командования приехал в госпиталь и вручил раненому орден Красного Знамени, Кочарян проявил большую изобретательность и смелость. Узнав, что Кочарян лежит этажом ниже, Каменский «взбунтовался» против врачей и спустился повидать бойца, а заодно потребовал туфли, брюки, пиджамную куртку и парикмахера, чтобы покончить с больничным видом.

— Товарищ капитан, не двигайтесь, так же невозможно стричь,— тщето умолял парикмахер.

— Я полтора месяца не двигался,— отвечал Каменский, покорно застывал, но почти сразу, забыв о парикмахере, оборачивался к Марии или к Бобрышеву.

С минуты, когда Мария услышала фамилию неизвестного ей бойца, неясное воспоминание мучило ее: где-то и в какой-то важной связи уже произносилась его фамилия. Рассказывал ли о своем товарище Митя? Вспоминал ли о сложном задании Каменский? Нет... Как всегда бывает в таких случаях, Мария упрямо и безуспешно старалась вспомнить то, что ускользало от нее. Кочарян... Кочарян... Где?.. Что?..

И вдруг, когда Каменский упомянул о жене бойца, погибшей от бомбы, разом возник в памяти взволнованный, отрывистый рассказ Анны Константиновны о Стасике Кочаряне, извлеченном из заочневших рук убитой матери, и потом, недавно, радостное сообщение о том, что Стасик наконец улыбнулся: «Я начала бить в бубен и плясать, он потянулся к бубну и улыбнулся!»

— Я могу рассказать Кочаряну про его сынишку Стасика,— сообщила Мария. — Как тесен мир!

— Совсем не тесен,— тихо возразил Каменский. — Просто вы посланы нам всем судьбой. Я вам говорил уже.

В этот день Мария так и не рассказала о событиях минувшей ночи. Каменский и Митя спрашивали Бобрышева о положении на фронте. Наблюдения сержанта были ограничены участком одного полка, но и по этим наблюдениям выходило, что враг оставил надежду взять Ленинград штурмом и закопался в землю. Из отрывочных бесед в палате Кочаряна со вновь поступившими ранеными Каменский извлек и другую новость: жестокие бои идут в районе Невы и, по-видимому, на Волхове; значит, немцы пытаются замкнуть кольцо блокады и взять город измором. Мария сообщила, что автобат, где служит Соня Кружкова, ожидает переброски на Ладугу и что готовится новая эвакуация. Сизов предлагал включить ее в списки...

— Ну и...

— Никуда я не поеду,— отрезала Мария.

Хотя Каменский и Митя убеждали ее уехать, Мария видела, что оба гордятся ее решением остаться, а ей самой почему-то казалось, что вчера ночью она уже прошла свое испытание и ничего более страшного с ней не случится.

Митя заранее радовался тому, что пробудет две недели дома. Дом представлялся ему тихим, уютным, блаженным местом, каким он вспоминался на фронте, а не таким, каким он был теперь — холодным, темным, с окнами, забитыми фанерой, находящимся под ежедневным обстрелом. Усмехнувшись, Мария пересказала содержание фашистской листовки, сброшенной на днях самолетами: сдавайтесь, или вас ждут такие бомбежки и обстрелы, каких еще не бывало. Мария уверяла, что подобные угрозы вызывают не страх, а презрение... Значит, мы сильны, если нас пытаются запугивать!.. Говоря так, Мария побеждала холодеющую душу страх так же, как это делали все окружающие ее люди, потому что иного выхода у них не было.

— Всех не перебьют,— небрежно сказала она, отстраняя мысль о том, что могут убить ее, Марию... — Усилим посты, вот и все.

В городе объявили воздушную тревогу. Стрельба доносилась изредка, и на просьбу дежурной сестры спуститься в убежище все хором ответили:

— Нам и здесь хорошо.

Потом стрельба приблизилась, во дворе госпиталя взвыла сирена местной тревоги, и в коридоре зашаркали туфлями раненые. В палату заглянул врач и приказал всем немедленно спускаться.

— Пойдем, поможем вынести Кочаряна,— предложил Митя Бобрышеву.

Каменский и Мария не спеша пошли к лестнице, пропуская носилки с ранеными. Каменский стал очень бледен, на ходу его покачивало.

— Может быть, потихоньку вернемся в палату? — предложила Мария. — Никто не будет проверять вторично, ушли мы или нет.

— Я давно не стоял на ногах,— объяснил Каменский и начал спускаться, придерживаясь рукой за стену. — Мы с вами посидим в вестибюле, и все пройдет.

Мария предложила свою руку, и он принял ее, но вместо того, чтобы опереться, поднес ее к губам. Мимо бежали, ковыляли, тащили друг друга раненые, и Мария с упреком повела глазами в их сторону.

— А разве это стыдно? — с улыбкой спросил Каменский. — И что мне делать, когда мне кажется, будто мы одни и сами по себе в целом мире!..

— Какое тут одни! — усмехнулась Мария.

Стреляли зенитки у самого госпиталя, от сотрясения дребезжали стекла и гудели металлические перила.

Теперь они остались вдвоем на лестнице, никто не перегонял их. На нижней площадке скучный голос одно-тонно покрикивал:

— Налево, налево! Не толпитесь у входа, проходите вперед. Налево, налево!

— А мы не пойдем «налево, налево», — сказал Каменский. — Посидим здесь.

И он стал расстилать на ступенях газету.

Что произошло в эту минуту, Мария не поняла.

У нее было ощущение, будто под нею, треснув, раскалывается земля, будто горячий вихрь рванулся из трещины, все сметая на пути.

Когда к Марии вернулась способность видеть и понимать, она с удивлением обнаружила, что сидит на той же лестнице, на ступени, заботливо прикрытой газетным

листом, а Каменский крепко прижимает ее к себе и прикрывает ладонями ее голову.

— Целы? — спросил он.

— Кажется, — пробормотала она, не отстраняясь, а пристраиваясь удобнее под надежно защищающей рукой. — Что это было?

— Бомба. По меньшей мере полтонны.

— Сюда?

— Похоже.

Удивительную тишину, царившую вокруг, прорезал низкий утробный голос. В нижнем этаже протяжно и безумно кричал человек.

Каменский вскочил, увлекая за собой Марию. Они побежали вниз по лестнице, усыпанной стеклом и битой штукатуркой. Во втором этаже путь им преградил поток мутной клокочущей воды. Вода с шумом вырывалась из лопнувшей трубы и устремлялась вниз, танцуя по ступеням.

Снизу несли уже не один голос, а многие стонущие и призывающие на помощь голоса.

Мария и Каменский пробирались по воде, цепляясь за перила. Миновав вестибюль, они свернули на звук голосов направо, в длинный коридор... и застыли на месте.

Длинный коридор был срезан беспорядочным нагромождением камней, расщепленного дерева и скрюченного металла. Сквозь туман оседающей пыли откуда-то лился яркий розовый свет, и Мария не сразу поняла, что это самый мирный предзакатный свет солнца.

По уцелевшей части коридора ползла женщина в белой косынке и халате, с противогазом на боку. Она передвигалась на руках, подтягивая за собою раздавленную ногу. Мария хотела помочь ей, но женщина только кивнула в сторону палат, откуда неслись крики, и, стиснув губы, поползла дальше.

— Бегите в крайнюю палату, — властно сказал Каменский Марии и крикнул: — Э-эй! Кто тут здоровый?

Выглянула санитарка, спросила:

— Носить в операционную?

Мария слышала — Каменский приказал носить в операционную и вызвать сюда еще людей: «Прячутся они, что ли?» Она вошла в крайнюю, полуразрушенную палату.

Перед ней на койках лежали люди — живые и мертвые. Куски стен смешались с кусками человеческих тел.

Стоны и мольбы сливались с бессвязной руганью. На встречу Марии глядели глаза, полные надежды, муки и молчаливой злости. Преодолевая чувство беспомощности, Мария начала откапывать полузасыпанного на койке человека, потому что он кричал отчаяннее всех. Он перестал кричать и терпеливо помогал ей отбрасывать тяжелые обломки, подбадривая ее, если ей не удавалось сразу осилить обломок. От боли и напряжения по его лицу капился пот. Сколько времени это длилось, пока наконец появились санитарки с носилками и еще какие-то люди? Женщина в военной гимнастерке помогла Марии высвободить и положить на носилки раненого, а затем крикнула: «Берите!» И Мария послушно подняла носилки и вдвоем с женщиной понесла их по коридору, через вестибюль и по другому коридору в операционную. Затем обе вернулись в ту же палату и взяли другого раненого. Со всем еще молодой боец вскрикивал от каждого прикосновения, плакал и сквозь слезы повторял, глядя на свою расплюсченную руку:

— На фронте уцелела, а тут... на фронте уцелела...

Ни Каменского, ни Мити Мария не встречала — да и не вспоминала о них. Она перекладывала на носилки раненых и носила их все по тому же пути в операционную. Какой-то седой врач приказывал ей поторапливаться, она бежала обратно и опять поднимала и перекладывала на носилки тяжелые окровавленные тела.

Много времени спустя до ее сознания дошло, что розовый закатный свет погас и в коридорах расставлены фонари «летучая мышь». И тогда новая забота вернула ее к обычной, собственной жизни: наступил вечер, налет продолжается, а на объекте ждут ее и волнуются; огнетушители не заряжены, а мастер придет только завтра; дежурные предоставлены самим себе и после вчерашнего пожара боятся...

С той же простотой, с какой недавно начала спасать раненых, Мария сказала врачу: «Я ухожу, мне пора», — обмыла руки у бачка с водой и пошла в раздевалку, на ходу снимая грязный халат. Номерок она обронила, но гардеробщица посмотрела в ее лицо и молча выдала пальто.

Не оглядываясь на покинутое здание, Мария шла размеренным, тяжелым шагом. Идти было далеко, покинутые трамваи стояли на путях. Редкие пешеходы шагали так же размеренно, тяжело, как в долгом походе. Иногда

постовые окликали Марию, требуя пропуск; она показывала паспорт и коротко объясняла:

— На дежурство.

Она ничего не вспоминала и думала только о тех неотложных делах, что заставили ее идти сейчас пешком, ночью, на свой пост. Позвонить насчет огнетушителей, проверить, возобновлен ли запас воды в бочках, а песку в ящиках, подбодрить веселым словом дежурных... «Нас ведь недаром назвали молодцами, верно?» — так она скажет своим женщинам... И только раз Мария до зримого ярко представила себе: завтра придет на сутки Сизов, а она уйдет домой и выспится, выспится...

3

Мария пожелала всем тихой ночи, раскрыла тугую дверь, шагнула через порог и словно провалилась в ночь. Не было видно ни тротуара под ногой, ни домов вдоль улицы, ни неба над головой. Совсем рядом прошлепали осторожные шаги, одиноко прозвучал короткий сухой кашель.

Глаза постепенно привыкали к темноте. Чуть наметилось небо в густых рваных тучах. Мария недоброжелательно поглядела на тучи и на предательские «окна» между ними. Плохое сегодня небо. Надо идти скорее. Проскочить до очередного налета...

На проспекте было светлее. Проползали, будто крадучись, тускло освещенные трамваи и автомобили с синими фарами. Иногда бледное сияние выбивалось на секунду из раскрытой двери. Вспыхивали огоньки папирос, вырывая из мрака незнакомое лицо, руку в перчатке, козырек фуражки. Мария почти побежала, лавируя между темными фигурами прохожих. Мысли ее были радостны и просты. «Андрюшка еще не спит, можно повозиться с ним полчаса, уложить спать и рассказать ему на ночь сказку... А за огнетушителями сейчас приедет мастер, добилась все-таки... Да и не бывает так, чтобы дважды кряду попадало в одно место... Вот уже полпути пройдено, успею, проскочу... Дойти бы до переулка, там и во время тревоги можно...»

Не успела!..

Протяжный, томящий вой сирен повис над городом. В который раз за день, в который раз за неделю, за месяц!..

Сразу вспыхнула стрельба, яркий луч прожектора вымахнул из-за домов и стал ощупывать края туч.

— Заходите, гражданка, заходите, не задерживайтесь. Самолетов не видали? Заходите, вам говорят!

Мария вошла в парадную, где в неясном свете синей лампочки густо толпились люди. Она выбрала эту парадную потому, что над нею поднималось семь этажей — самый высокий дом во всем квартале.

Кругом разговаривали:

— Семь перекрытий, надежная стойка!

— Семь перекрытий — это да! А насчет надежности, так самые надежные дома — восемнадцатого века. Потом уже строили полегче, потоньше.

— Мама, пойдем... Ма-ма! — скулил ребенок.

— А кто, как не женщины? — звонко спрашивала молодая девушка рядом с Марией. — Чуть тревога — все в убежище, а мы наверх — кто на чердак, кто на лестничные клетки. У нас вся команда женская!

— ...А потом я говорю: как же так? — уоенно рассказывал где-то в углу женский басистый голос. — Рядом три объекта, а у нас ни ведер, ни черта! И управхоз за голову хватается, паникует... Подняла шум, до райсовета дошла...

— А главное, пускали бы в тревогу трамваи... ну, чего они стоят? Разбомбить его — это еще суметь надо, а непроизводительная трата времени...

— Не прямое попадание страшно, а стекла...

— Ох-ох-ох, спать хо-чет-ся!

Притулившись у стенки, Мария прикрыла глаза. Случайные, отрывочные мысли возникали и исчезали, не задерживаясь. Как странно, всю жизнь говорили: этаж, потолок, дом, лестница, а теперь — перекрытие, лестничная клетка, объект... Вот уж не думали зодчие восемнадцатого века, кто будет благословлять их за прочность построек!.. А пальба усиливается... Грохнула бомба... «И когда-нибудь попадет и в меня. Вчера прошло рядом, позавчера чуть не спалило... не всегда же будет везти... Зоя говорит — протвоестественно... Да, жизнь стала неестественной и нереальной. А может быть, это только снится? Неужели это на самом деле — фашисты в Стрельне и на Невской Дубровке, ежечасные налеты, бомбы, смерть?.. И неужели это я — Мария Смолина, Марина, Муся, — это я начальник штаба объекта? И только по доброте Сизова отпущена на сутки домой?..»

Грохот. Ближние зенитные батареи.

Кто-то вбежал с улицы, сообщил:

— Все небо в прожекторах, и садят, садят!

Молодая соседка Марии вытащила из портфеля кусок сухаря и со смехом рассказывала, что всегда носит с собой «аварийный запас» на случай, если застрянет во время тревоги.

— Было бы что носить,— откликнулись ей.

— Жевать не надо,— добродушно посоветовала девушка. — Положить в рот корочку и сосать, так гораздо сытнее.

Мария обернулась на голос — голос был привлекательно звонок и жизнерадостен,— увидела курносое, симпатичное лицо и еще успела подумать, что у девушки легкий характер...

Ее подбросило и швырнуло об стену.

Лампочка погасла.

Что-то рушилось, свистело, гремело и лопалось в темноте.

Стоя на коленях там, куда ее швырнуло, Мария нашарила рядом чьи-те теплые двигающиеся тела и поняла, что осталась жива и невредима, что смерть еще раз пронесло мимо.

— Рядом жажнуло,— сказала басистая женщина.

— Четвертый раз попадаю вот так же,— раздался над ухом Марии звонкий, жизнерадостный голос. — Гоняются за мной фрицы, а все недолеты-перелеты!

Мария поднялась.

В парадной ругали Гитлера, деловито обчищались, размещались поудобнее, начинали шутить, как обычно шутят люди, ощутив наново свою жизнь. И вдруг алое пламя осветило окно, перечеркнутое полосами бумаги и зигзагами лопнувших стекол.

— Загорелось! — сказал кто-то.

И стало тихо.

Мария кинулась к двери — по выработавшейся за два месяца привычке бежать к «очагу поражения». Но дежурная преградила ей дорогу и наставительно сказала:

— Пожалуйста, без паники. Где стояли, там и стойте.

У входа грохот боя слышался явственнее, а может быть, снова усилилась стрельба. Потом Мария услышала дребезжащий свист бомбы и гулкий взрыв. Сотрясение почвы отдалось в ступнях. Через минуту — еще более отчетливый свист, взрыв, удар в ноги. Затем — третий.

— Три по двести пятьдесят, — объяснил кто-то голосом знатока. — Эти всегда подряд спускают.

— Близко... Все в нашем районе.

— К празднику стараются, гады!

— Сегодня дадут жару!

Окно висело в глубине парадной, как ослепительно алый плакат. Плакат шевелился.

— Засветили факел, теперь им вольготно — лети да сбрасывай.

— То-то и оно!

«Да, — сказала себе Мария, вспоминая просьбу пожарных: «только не выпускать огонь наружу», — да, дом пылает, как факел, лети да сбрасывай бомбы в район пожара, то есть вот сюда, сюда, где я стою...» И она испугалась. Испугалась вдруг со всей силой и неустойчивостью. Удобной мишенью для бомбометания показался ей непрочный закут, переполненный беспомощными людьми. А делать нечего, защищаться нечем, надо стоять в чужой парадной и ждать, убьет тебя или не убьет... Будешь ты жить, дышать, чувствовать, или твое изуродованное тело расплющится под глыбами обвалившихся стен и кто-то уцелевший, разбирая развалины, скажет безразличным от усталости голосом: «Эту спасти поздно...»

Видение было ярко и подробно, как вчерашняя явь, и уже на это видение наплывало другое: Андрюша!.. Андрюша в кровати, с запрокинутыми на подушку ручонками, розовый, теплый... В грохоте раскалывается свод, и она быстро наклоняется над сыном и принимает на себя — спиной, головой, плечами, руками — всю тяжесть удара и обвала. Обломки, балки, куски штукатурки ударяют ее, колют, засыпают, пригибают все ниже, ниже... Но Андрюша цел и даже не проснулся, и в маленьком защищенном пространстве под ее грудью его ровное дыхание чуть приподнимает синее одеяло...

Она увидела все очень ясно, как хорошо знакомое, и вспомнила все детали — от первого страшного удара по незащищенной спине до легкого колебания синего одеяла, и поняла, что тайком от самой себя видела это уже много раз и потому в часы бомбежек ее всегда так тянуло домой — *заслонить* собой. И все эти недели при каждом взрыве, при каждом сотрясении почвы где-то в глубине сердца отдавалась боль: если это случилось *там*, я не заслонила собой...

Зачем я здесь? Как я смею укрываться здесь, когда мое место там!.. Где там?.. Воображение услужливо подсунуло ей видение ее дома... нет, не ее дома, а пустоты неба над развалинами бывшего дома, но мысль уже гнала ее к другому дому, к дому, за который она отвечает и откуда она сегодня ушла... Кассета зажигательных бомб рассыпается над ним, с треском вгрызаются бомбы в крышу, огонь разливается по чердаку, лижет стропила, бушует в антресолях... *А огнетушителей нет!*.. Буйное пламя вырывается на крышу, как бумага сворачиваются в огне железные листы кровли, и вот уже мощный столб огня поднимается к небу, где гудят горбатые «юнкерсы», столб — как факел, озаряющий весь район: и военную клинику, и мост, и конусообразную крышу вокзала... *А огнетушители не заряжены!*.. Мастер, конечно, не успел приехать до начала тревоги. Сизов уже отвык, уже не знает, где что лежит и что от кого требовать, а она дала себя уговорить и ушла... *А я отвечаю за все...* и надо *заслонить* собой во что бы то ни стало...

Она услышала ликующую трель рожка. Отбой!.. Но кто знает, что произошло за этот час, что уже случилось?

Улица была темной, но по верхним этажам домов плясали отблески огня. Мария бежала, не выбирая дороги. За углом она споткнулась о шланг. Пожарный крикнул ей: «Полегче, гражданка!» Она увидела остов догорающего дома и черные переплеты пожарных лестниц на алом фоне, но не остановилась и побежала дальше — скорее увидеть, что там!

Наплывая одно на другое, возникали все те же два видения: придавленное обломками синее одеяло и запрокинутая на подушку детская рука, на которую наваливается, наваливается каменная глыба... и столб пламени, бросающий отсветы на черную воду Невы и на мост, и люди без огнетушителей, в дыму, голыми руками сбивающие огонь... И что еще будет сегодня, и завтра, и в любой из предстоящих дней? Что это за удары, «каких еще не бывало»? И как отвести эти удары, спасти, *заслонить?*..

Она бежала по темным, притаившимся улицам и знала, что вот тут, за уцелевшим фасадом, уже ничего нет — ни уюта, ни людей, ни самих квартир, — дома нет, есть только фасад и торчащая в небо полуразрушенная лестница, по которой некуда и незачем подниматься. А вот здесь у дома скошен взрывом весь фасад, и с улицы

можно видеть остатки чужого быта, повисший на краю пропасти красный диван и желтый венок в сохранившемся углу несуществующей комнаты...

Все эти развалины стояли на пути к ее дому, беда подходила все ближе. Кажется, враги подступают именно к ее дому, прицеливаются, бомбят и пока промахиваются, но вот-вот попадут...

Почему до этой ночи ей всегда так наивно, совсем по-детски казалось, что она — как заговоренная, что ее не тронет беда, что мимо нее и тех, кто рядом с ней, любую беду пронесет?.. Вчера и сегодня смерть будто охотилась за нею, именно за нею, — на крыше ее объекта, потом в госпитале, потом сегодня на всем пути... Отчетливо вспомнилась женщина в белой косынке и халате, с противогазом на боку, в разрушенном коридоре госпиталя: она ползла, закидывая вперед локти и подтягивая за собой раздавленную ногу, сзади ее освещал розовый свет такой ненужной, такой нелепой в эти минуты вечерней зари... Мария не разглядела тогда, а сейчас будто увидела лицо женщины — дико напряженное, искаженное болью и упорством... И вдруг поняла: и со мной вчера могло быть то же, и со мной в любую минуту может случиться вот такое!.. Она остановилась на миг, задохнувшись от ужаса перед тем, что могло случиться в любую минуту с нею, с ее телом, с ее здоровыми, легкими ногами, с ее нежными сильными руками, с ее милой жизнью... Да, да, это подстерегает ее ежечасно, ежеминутно — и ее, и Сизова, и Зою, и маму, и даже Андрюшу. Вот я иду здесь в темноте, а может быть, с Андрюшей уже произошло то... Я подбегу к дому и увижу, что дома уже нет, ничего нет, и чей-то усталый, равнодушный голос из темноты скажет: «Никого не спасли...» Нет, так нельзя жить! Два месяца напряжения, два месяца без передышки, без настоящего сна, под вечной угрозой гибели... А фронт все ближе, он уже здесь, в самом городе, больница Фореля — передний край его, у Эрмитажа — бойницы, а фашисты лезут все дальше, они в Шлиссельбурге и в Тихвине, они пьют невскую воду, они нацелились на последнюю дорогу из Ленинграда в мир — на Ладогу... они под Москвой... они под Воронежем... на Дону!.. Когда же все кончится? Что же это такое?.. Так же нельзя жить!

Мария бежала переулками, спотыкаясь в темноте, натываясь на встречных. И вдруг откуда-то издалека

ясный голос, очень спокойный и неторопливый, сказал себе и ей:

— ...наша армия терпит временные неудачи, вынуждена отступать, вынуждена сдавать врагу ряд областей нашей страны.

Она знала это, болела этим, но в звучащем над улицей голосе было такое спокойствие и *знание*, что Мария невольно прислушалась, еще не понимая — почему, а голос спросил себя и ее:

— Где причина временных военных неудач Красной Армии?

И по тому, как он тотчас уверенно и продуманно стал объяснять эти причины, и еще по тому живительному ощущению силы и душевной крепости, которое внушал каждый звук этого немолодого голоса, Мария поняла, что говорит Сталин.

Она остановилась — одна, в темноте, сдерживая дыхание. Она не видела репродуктора и не видела других людей, точно так же остановившихся там, где их застала речь Сталина, и ей казалось, что во мраке тревожной ночи он обращается именно к ней со словами, которые так остро нужны ей сейчас, — сейчас, когда после двух месяцев стойкости и сдержанности ею овладели смещение, усталость и страх.

Она слушала и про себя отвечала: да, да, именно так! И ей уже представлялось, что она и раньше думала так же, но не умела обобщить и высказать свои мысли.

Вой сирены воздушной тревоги оторвал ее от голоса Сталина. Она побежала, преследуемая воем сирен и звуками занимавшегося над городом боя.

Сирены смолкли быстрее, чем обычно, и Мария услышала:

— ...И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинка и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..

«Да, да, это мой народ! И как они смеют думать, что нас можно запугать бомбами?» — подумала Мария, и усилия жужжащих в небе «горбылей» представились ей жалкими и наглыми. Народ нельзя уничтожить, народ все равно будет жить. И чем страшнее будут удары, тем

горделивее и ожесточеннее будет сопротивляться, будет сражаться народ...

— Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получают.

Какой-то шум хлынул через рупоры, споря с шумами войны. Это был странно знакомый и позабытый шум. Мария не сразу поняла, что в далекой Москве громко и самозабвенно рукоплещут люди,— за себя, и за нее, и за всех, кто слушает в этот час голос Сталина.

— Отныне наша задача, задача народов СССР...

С этим голосом над собою Мария дошла до угла, откуда могла увидеть свой дом или пустоту неба над местом, где он стоял. Она увидела дом таким, как всегда, черной машиной без единого проблеска света, и уже знала, что через минуту увидит светлые волосенки сына, торчащие из-под синего одеяла, и послушает его ровное дыхание, и наклонится над ним, чтобы защитить его от всякой беды, если беда близка.

Но, уже не веря беде, она дослушала речь Сталина, а потом зашла в домовый штаб, к телефону, и спокойно вызвала нужный номер, зная, что ей ответит Сизов. И Сизов ответил ей:

— Маша?! Слушала?!

— Да, да! Как хорошо, правда?

— Замечательно, Маша!

— Тут падало — не в нашем квадрате?

— В соседнем. А пяток зажигалок у нас. Потушили.

— Ты в антресолях осмотришь, знаешь, где прошлый раз...

— Зоя с Тимошкиной три раза все облазили. А ты отдыхай, поняла? Отдыхай, раз отпущена.

— Я отдыхаю.

Она повесила трубку и вышла во двор. Из ближайшего сада частыми залпами били зенитки. В промежутки между залпами был слышен прерывистый гул чужого самолета. Кто это — разведчик, изучающий результаты недавней бомбежки, или тяжелый бомбардировщик, подбигающий в облаках, чтобы сбросить свои бомбы вот сюда — сюда?..

Мария стремительно вошла в убежище, поразилась было царившему там необычному оживлению, но тут же вспомнила: «В убежище есть радио!» Протискалась через толпу до двери детской комнаты и с порога увидела

светлый хохолок, торчащий из-под синего одеяла, но не подошла к сыну, а припала спиной к дверному косяку, стараясь преодолеть дрожь всего тела.

«Ты отдыхай, поняла? — сказал Сизов. — Отпущена на сутки — отдыхай». Голос у него спокойный и насмешливый, такой спокойный, что кажется — ничего не могло и не может случиться на их объекте, пока там находится Сизов. И Зоя, и Никонов, и даже Тимошкина — смешная, глуповатая Тимошкина, которая все-таки делает и будет делать все, что нужно для спасения дома и города... «А я? — тотчас подумала Мария. — Я тоже все делаю и буду делать. И не боюсь их угроз и бомб. Они нас пугают именно потому, что мы сильны. И я не боюсь! Не боюсь! Не боюсь!..»

Андрюша повернулся во сне и выпростал из-под одеяла полную, примятую подушкой, розовую руку. Примерившись рукой и так и этак, он закинул ее на подушку тем движением, какое недавно представлялось Марии. Все громы войны проносились над этим маленьким теплым существом, до поры не затрагивая его... А дальше? Что будет дальше? Я остаюсь здесь, потому что так нужно, потому что я не могу, не умею жить иначе... и этим обрекаю его? Жертвую им?..

Эта мысль отдалась острой болью в сердце, болью, перехватывающей дыхание. Но и боль не могла затемнить ясное знание, складывавшееся исподволь в эти страшные дни и ночи и сегодня впервые осознанное до конца: отдельной судьбы больше нет. Я и Андрюша, и Сизов, и Тимошкина, и мама, и Зоя, и та девушка в парадной, и женщина с противогазом, и Мироша, и Каменский, и Митя, и все эти люди в бомбоубежище — мы вместе, мы — *народ*. Наши судьбы слиты. Нам всем — гибель или всем — победа. И нужно все делать, чтобы не гибель, а победа!

4

В тот вечер Соня Кружкова приехала на танковый завод за снарядами для зенитных пушек. Подогнав машину прямо к снарядному цеху и выяснив, что ее очередь подойдет часа через полтора, Соня вприпрыжку побежала в сборочный цех проведать сестру.

Темно было на заводских дворах и переходах, темно было и в сборочном цехе, только в глубине цеха

выделялись пятна света, прикрытого колпаками, а по всему цеху синие маскировочные лампы создавали странный, мертвенный голубой туман, и в этом мертвенном тумане быстро и молчаливо двигалось множество людей, — они что-то подносили на носилках к стене, возле которой тоже что-то делали на подмостках другие люди.

Соня остановилась, удивленная. И вдруг увидела, как бы через стену, небо в рваных тучах, по которым медленно скользил ощупывающий луч далекого прожектора.

— Ух ты! — сказала Соня. — Когда же это вас?

— В последний налет, — ответил рядом голос. — А ты кто такая и чего здесь делаешь?

В голосе не было ни подозрительности, ни раздражения, — человек просто и деловито выяснял, что за посторонняя девушка в цехе.

Соня объяснила, тот же голос негромко позвал:

— Кружкова, Лиза, к тебе!

Лиза соскочила с подмостков и подошла, вытирая перемазанные руки. В голубом тумане ее лицо казалось особенно бледным и безжизненным.

— Бомба во дворе грохнулась, видишь, что натворила, — сказала она. — Весь цех демаскирует. Да и холодно.

Она поежилась и повела Соню в ту часть цеха, где продолжался ремонт танков. Танки стояли громадными черными чудовищами, рабочие копошились на них и внутри них. Голоса и лязг металла звучали гулко и таинственно.

— Ох и достается вам, хуже, чем нам, — вздохнув, сказала Соня. — Не знаешь, где и фронт.

— Не знаешь? — насмешливо повторила Лиза и села на чурбачок у железной печурки. В печурке тлели сырые полешки, почти не давая тепла, но в этом углу не так гулял ветер.

Соня пошевелила полешки, подула на них, оглянулась на сестру, — в отсветах пламени ее лицо было таким же бесстрастным, будто неживым, как и в голубом тумане. Да что это с нею?

— Ты устала, Лиза?

— Какое это имеет теперь значение, — вяло откликнулась Лиза.

— Случилось у тебя что-нибудь?

Лиза не ответила, прикрыла глаза. Может, она с Лейней поссорилась? Но, боже мой, разве теперь есть время ссориться?! Это до войны можно было — чем больше лю-

бишь, тем больше ссоришься, споришь, чего-то требуешь, на что-то обижаешься... И мы с Микой вечно цапались. Но что мы тогда понимали!

— Может, ты больна, Лиза?

Лиза открыла глаза, усмехнулась.

— Здорова. До противного здорова. Вот только спать хочу. К ночи домой уйду, завалюсь спать на все воскресенье.

— Ой, и я отпрошусь или... ну, в общем, постараюсь прийти домой. Вот здорово будет!

Лиза кивнула, но, похоже, это ей тоже безразлично — придет сестра или нет. Вот тоска-то!

Совя уже решила уйти, чтобы не впасть в уныние самой, но в это время завывла сирена воздушной тревоги — сперва в репродукторе, городская, потом совсем рядом — своя, заводская. Лиза вскочила, рукой привычно нащупала противогаз...

— Внимание, внимание, воздушная тревога! — звучал над цехом негромкий мужской голос. — Дежурным занять свои посты, остальным впредь до особого распоряжения продолжать работу! Продолжать работу!

И через минуту тот же голос торжественно провозгласил:

— Товарищи, слушайте радио! Слушайте радио! Будет говорить Москва! Дежурные, занимайте свои посты, остальные — слушайте Москву! Слушайте Москву!

При первых звуках московской радиопередачи все, кто был в цехе, устремились к репродуктору. И еще до того, как открылось торжественное заседание, Кораблев снял кепку и крикнул:

— Тихе, товарищи, будет говорить Сталин!

Все знали, что немцы прорвались к самой Москве и немецкие самолеты бомбят столицу так же, как они бомбят Ленинград, что жестокие бои день и ночь продолжаются на подступах к Москве, но здесь, на ленинградском заводе, расположенном недалеко от переднего края фронта, ни одному человеку не казалось странным, что лучшие люди столицы собрались на торжественное заседание по случаю двадцать четвертой годовщины социалистической революции и что на этом заседании, как всегда, будет говорить Сталин.

Лиза, чертыхнувшись, побежала к металлической лесенке, уходящей в темноту гигантского свода: ее пост

был наверху, на узком балкончике, окаймлявшем цех. Соня побежала за нею.

— Вот мерзавцы, не могли подождать! — кричала Соня, увертываясь от Лизиных каблуков, мелькавших перед самым ее носом.

— Это они нарочно, нарочно! — задыхаясь отвечала Лиза. — Нарочно, чтобы мы не слушали!

Ночь была черна. Ни одного огонька, ни одной полоски света не проблескивало во мраке, словно лежала кругом глухая степь. Только в стороне фронта полыхало сияние, да где-то в глубине невидимого города частые выхлопы огня отмечали начавшийся бой. И казалось невероятным, что там, где бьют зенитки, — не поле боя, а мирные дома, населенные горожанами.

— А ты уверяла меня, что не дежуришь, — упрекнула сестру Соня, — что я, нервная барышня?

— Я только на днях попросилась.

— И конечно, на крышу?

— Так скорее... — равнодушно сказала Лиза.

— Скорее — что?

Лиза не ответила на гневный вопрос сестры. Было бесполезно объяснять неунывающей девчонке, что все они погибнут здесь и что сама Лиза уже приготовилась к смерти, и все ее связи с жизнью ограничиваются пухлой записной книжкой, хранимой под тюфяком, но связь эта обращена только в прошлое. Было невозможно рассказать прямолинейной и наивной Соне, чем стал для нее Леня Гладышев, потому что Соня помнила другое — эгоистичные рассуждения Лизы о том, что выходить замуж за моряка не стоит, ее вечные придирки к Лене и то, как она терзала его капризами и невыполнимыми требованиями. Как объяснить, что все это было не настоящее, а настоящей оказалась любовь, слишком поздно понятая?..

Было бессмысленно говорить жизнерадостной сестренке о том, что одухотворяло теперь трудную и печальную жизнь Лизы, — о сознательном подвижничестве смертника, находящего в своем самоотрешении высшую красоту и уладу. Никому нельзя было сказать об этом, — осудят и не поймут...

— Слушай, Лиза! — вдруг закричала Соня, перегибаясь через перила. — Да слушай же! Ты слышишь?

Далекие выстрелы сливались в однообразный гул, и сквозь этот гул спокойно и веско звучал голос Сталина.

Было слышно, как Сталин кашлянул, как забулькала вода, переливаясь из графина в стакан, и снова зазвучал неторопливый, с сильным акцентом, голос.

Внезапно выстрелы захлопали совсем близко, заунывное урчание самолетов возникло над заводом. Лиза дернула Соню за рукав. Соня подумала, что сестра боится, но Лиза притянула ее к раме с выбитыми стеклами, и мощный репродуктор из цеха донес до них:

— Вороны, рядящиеся в павлиньи перья... — сказал Сталин. И, помолчав, добавил: — Но как бы вороны ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут быть воронами.

Самолет взвыл над головами, преследуемый лаем зениток, а затем ужасающий свист падающей бомбы оттеснил все другие звуки, нарастая и приближаясь прямо к тому месту, где застыли две маленькие девичьи фигурки. «Неужели именно сейчас?» — с отчаянием подумала Соня. «Вот и пришло... Но я не хочу, не хочу, не хочу!» — в смятении и ужасе беззвучно кричала Лиза, закрыв глаза.

От сильного взрыва здание цеха закачалось... но это была жизнь, это было спасение. Выпрямившись, сестры огляделись и в темноте не увидели даже места падения бомбы, только поняли, что упала она довольно далеко. Урчание самолета все еще доносилось к ним. Бешено стреляли зенитки. Голубой луч взметнулся в небо и, наискось пройдя над заводом, выхватил из темноты обрывки туч, черный провал между ними и маленькую светящуюся палочку, похожую на стрекозу.

— Смотри, смотри! — восклицала Соня, оправясь от пережитого страха.

— Ворон! — со злобой сказала Лиза, переводя дух.

Светящаяся палочка крутилась и увертывалась, окруженная дымками разрывов, но цепкий луч неотступно преследовал ее. Второй луч, прыгнув в вышину, скрестился с первым, взяв в перекрестье самолет. И вдруг зенитки смолкли, разом наступила тишина, и в этой грозовой тишине отчетливо прозвучали слова:

— ...неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и их армий определяется не только моральными факторами. Существуют еще три основных фактора, сила которых растет изо дня в день и которые должны привести в недалеком будущем к неизбежному разгрому гитлеровского разбойничьего империализма...

— Наш! Наш! — закричала Соня, теребя сестру.

Маленький истребитель знакомых очертаний прорезывал светлые полосы, отжимая немца от города, и голубые лучи помогали ему, цепко держа цель.

— Может быть, это Мика... — сказала Лиза.

— Загорелся! — вскрикнула Соня.

Маленький истребитель дымился, в голубом луче черными тенями мотался дым, ломая контуры самолета. Затем истребитель исчез из зоны света и вдруг стремительно вывалился из темноты прямо на немецкий бомбардировщик. Все это произошло мгновенно, и сестры восторженно ахнули, увидев, как тяжело и беспомощно падает бомбардировщик, разламываясь в воздухе. Луч света провожал его останки, прижав их где-то за пределами видимости к земле.

— А наш... господи, а наш?.. — пробормотала Соня.

В полосе света мелькнул истребитель, кувыркающийся через крыло, но прожектористы поспешно увели свет, чтобы не слепить глаза летчику, и в темноте было слышно только громкое завывание мотора. Летчик выделял замысловатые фигуры, стараясь сбить огонь. А над землей звучал голос:

— Ссылаются на Наполеона, уверяя, что Гитлер действует как Наполеон и что он во всем походит на Наполеона. Но, во-первых, не следовало бы забывать при этом о судьбе Наполеона. А во-вторых, Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котенок на льва...

Далеко, в Москве, шумно рукоплескали. Здесь, в черноте боевой ночи, в шум рукоплесканий влетался завывающий гул истребителя, выдерживающего в вышине лихорадочную битву с огнем. И казалось, что люди в Москве рукоплещут подвигу вот этого одинокого летчика.

— Слушай, Соня,— вдруг взволнованно позвала Лиза и обняла сестру,— вот мы слушаем Сталина... И я верю... понимаешь... верю во всем. Победа будет,— убежденно сказала она. И повторила: — Будет!

— Ну, конечно! — откликнулась Соня. — Я тебе всегда говорила!

Лиза печально усмехнулась:

— Ты не понимаешь, Соня. Ты не так понимаешь. У тебя все легко. А будет трудно. Но я вот слушала... и поверила... И подумала: наша смерть — это не так много в конечном большом счете.

— Фу ты! — отмахнулась Соня. — Вечно у тебя за упокой получается! Прямо уши вянут... Ой, да мне

пора! — спохватилась она и побежала к лесенке, на ходу крича: — До свиданья, сестренка! Если мой лейтенант не обманет, завтра домой прибегу... Обкрутила я его, шелковый стал!

Уже с лестницы она звонко крикнула:

— Мы еще доживем, Ли-за-а!

Радостно пропел рожок отбоя. Лиза присела на верхней ступеньке лестницы, чтобы дослушать речь Сталина, ежась от холода и все-таки наслаждаясь тем, что она тут, под спокойным небом, и ни выстрелов, ни противного прерывистого гула чужих моторов... Доживем? До чего? До победы? До мира? Мир...

Она заставила себя отогнать надежду, рожденную прощальным выкриком сестры. Что она знает, девчонка? Ей хочется верить — вот и все. Человек верит, строит жизненные планы, старается быть умным, честным, хорошим... А потом одна бомба — и ничего нет, только пухлая записная книжка... Кораблев говорит — мы на переднем крае. Кто-то выживет, а мы? Нет, самоотрешение правильно, нам не выжить... Мы знаем, что в конечном счете победа будет, значит, и умирать легче. Легче? Да разве я боюсь смерти! Разве я дорожу своей жизнью? На что мне она, когда Лени нет и не будет?..

Воспоминание о недавно пережитом ужасе шевельнулось в ее мозгу, но она постаралась объяснить его невыносимым свистом приближающейся бомбы. Нет, нет, она ничего не боится, она смотрит навстречу неизбежному открытыми равнодушными глазами.

— ...Только выполнив эту задачу и разгромив немецких захватчиков, мы можем добиться длительного и справедливого мира,— говорил Сталин.

Мир!.. Длительный и справедливый мир?.. Лиза встала и вернулась в темноту, на холод ветреной ночи, возбужденная противоречивыми желаниями и возмущенная непрошеной, прорвавшейся сквозь все запреты ума, настойчивой жаждой жизни: дожить, дожить до мира, пусть в одиночестве, пусть в горе, но дожить!..

После ночи, полной огня и грохота, день выдался удивительно, неправдоподобно тихий. В любой точке города в любую минуту мог разорваться дальнобойный

снаряд, но немецкие батареи сегодня молчали. В нескольких минутах полета от Ленинграда, на ближних аэродромах, базировались вражеские самолеты, но они не появлялись в воздухе. Тишина стояла в городе, настороженная тишина военной передышки, и ленинградцы спешили воспользоваться ею так, как только могли, — отсыпались, поровнили разом сделать все домашние дела, собирались дружескими компаниями. О близости врага не забывали, но и не говорили, разве что, глянув в окно на пустое небо, бросали коротко:

— Отдыхают.

— Чинятся...

Только дежурные ПВО — женщины и подростки в ватниках и касках — стояли на всех городских вышках, внимательно, как всегда, озирая горизонт воспаленными от ветра глазами. Они не доверяли тишине, но по-своему понимали ее: небо сегодня ясно, в облаках не укроешься, за облаками по-воровски не подкрадешься, а противовоздушная оборона теперь не та, что в первые дни, — каждый день сбивают на подступах к городу немало самолетов, вот и не решается враг... Тишину создала сила. Она в нашей авиации, в нашей зенитной обороне, она и в каждом из нас — эта упрямая, с каждым днем растущая сила сопротивления.

Впервые не было народных демонстраций, переклички оркестров и хоров, нарядной толпы на улицах и иллюминации на Неве.

И все-таки праздник был праздником — пожалуй, даже особо торжественным, потому что в лютой борьбе с немцами люди отвели от себя страшнейшую угрозу порабощения и смогли поднять над своими баррикадами и бойницами все те же славные красные флаги. И потому, что вчерашняя речь Сталина вошла в души, согревая и проясняя их. И еще потому, что не знающие блокады радиоволны принесли в Ленинград отзвуки самого желанного из парадов — парада советских войск на Красной площади, у стен Кремля, перед ленинским священным мавзолеем, и с гранитной трибуны мавзолея снова говорил Сталин.

«Не так страшен черт, как его малюют», — крылатое слово и впрямь летело из уст в уста.

В это утро в Доме малюток состоялся детский праздник, который Анна Константиновна со страстью готовила в течение последних недель. Постороннему человеку

могло показаться, что и готовить тут нечего: эка дело, спеть ребятам несколько песенок и показать им немудреное кукольное представление! Но для Анны Константиновны за непринужденной простотой, за сорокаминутной программой скрывался тяжелый труд, волнения и страхи. Надо было уговорить нянь и сестер разучивать песенки под бомбежками так же, как они это делали до войны. Надо было проводить с ними репетиции, научить их управлять из-за ширмы куклами и говорить за кукол на разные голоса, надо было самой мастерить и одевать кукол, вырезать и клеить, раскрашивать и устанавливать декорации. Столяр ушел в народное ополчение, так что и ширму пришлось сколачивать самой. У няни, которая лучше всех пела и водила хоры с ребятами, недавно погиб под Колпином муж, и стоило немалого труда уговорить ее все-таки петь и танцевать с детьми... Кое-кто убеждал Анну Константиновну бросить неуместную затею, — до того ли теперь, не то время! Но Анна Константиновна не отступала, — вот именно теперь и нужно! Дети тоже познали и горе, и смерть близких, они живут среди бомб, пожаров и страхов, радость им необходима как лекарство.

Еще засветло покинув Дом малюток, Анна Константиновна чувствовала себя и усталой, и счастливой оттого, что все удалось на славу, и опустошенной тем, что все заботы и хлопоты остались позади.

На трамвайной остановке она остановилась, неуверенно озираясь — ходят ли трамваи? В последнее время ей частенько приходилось добираться домой пешком, а до дому было шесть километров. Анна Константиновна уже знала, как одолевать эти километры — засунуть руки в карманы и шагать не очень быстро, но и не медленно, размеренным шагом, не останавливаясь и не глаза по сторонам, — шагать и шагать, ставя себе ближние цели: до Муринского, потом до железнодорожного моста, потом до здания пожарной команды, до Литейного моста, до Марсова поля... Анна Константиновна даже любила эти вынужденные прогулки, хотя и очень уставала от них. Но сегодня трамвай подкатил как по заказу, и в вагоне ей удалось сесть, что было уже совсем хорошо.

Виды города, превращенного в крепость, проплывали за окном. Витрины магазинов заложены ящиками с песком. На углах в окнах нижних этажей — бойницы.

Иногда трамвай проходит узким коридором, оставленным для него в баррикаде, перегораживающей улицу,— это один из внутригородских рубежей обороны. Анна Константиновна с гордостью глядела на баррикады, пока они не исчезали из виду,— вот оно как! Ворвись в город враг, он бы стучался лбом о каждый рубеж — от тех, первых, на южной и западной окраинах, что строила Мария, и вплоть до этих, последних... Да, да, если б и центр захватили, все равно здесь продолжались бы бои, и здесь дрались бы ленинградцы...

Трамвай всползал на мост. По темной Неве уже плыло ледяное сало. Зима скоро... Прижимаясь к набережным, стояли военные корабли с поднятыми к небу тонкими стволами зениток. Над их всегда щегольскими палубами уродливо громоздились маскировочные сети и бутафорские фанерные домики с намалеванными на них голубыми окнами. Мика Вихров уверяет, что сверху кораблей совсем не видно... Тут им и зимовать. А весной... Может ли быть, что и весной им некуда будет уйти отсюда? Может ли быть, что до весны продержится блокада? Нет, нет, невозможно... Говорят, большие силы уже накапливаются там, на Волховском фронте. Прорвутся. Освободят.

Так внушала себе Анна Константиновна, потому что иначе было бы слишком тяжело и страшно, потому что ей хотелось надеяться на лучшее, хотелось верить... Да и как могла она жить без надежды?

Легко, забыв об усталости, поднималась Анна Константиновна к себе домой, предвкушая удовольствие провести весь вечер с Марией, с Андрюшей, с Митей. Как и до войны — семья в сборе...

Дверь открыла Мироша. Стараясь не дребезжать цепочкой, она зашептала, многозначительно расширяя глаза: — Спят... С обеда спят, не шелохнутся...

Но тут выскочил из Митиной комнаты Андрюша и восторженно закричал:

— Бабуся! А у нас все спят! Мы на цыпочках ходим!

Вслед за ним на цыпочках выбежал Митя, наполнив квартиру громким шепотом:

— Слава богу, живая душа появилась! А то даже девушки как пришли, так и ткнулись в подушки!

— И пусть спят,— решила Анна Константиновна. — Пойдемте пока на кухню и сообразим, что делать на ужин.

Митя легкомысленно предложил пустить в ход весь сухой паек, полученный им на двенадцать дней. Мироша ужаснулась и посоветовала ограничиться овсяной похлебкой, но зато сварить полный котелок. Анна Константиновна признала правоту Мироши, но увлеклась предложением Мити, потому что скупость ей претила, а беспечность была сродни. Так как за нею осталось решающее слово, она избрала золотую середину: накрошила в овсяную похлебку Митину колбасу, не трогая всего остального.

В передней раздался резкий звонок.

— Я сама! — воскликнула Анна Константиновна и побежала открывать. Она любила неожиданных гостей.

— Соня дома? — спросил Мика, входя, и уже потом добавил: — Здравствуйте!

Внешне он выглядел все тем же задорным мальчишкой. Но по каким-то трудно уловимым приметам Анна Константиновна угадала, что Мика за это время сильно изменился или же с ним случилось что-то, изменившее его сегодня. Впрочем, все мужчины, приходившие в ее дом с войны, каждый раз приходили иными, изменившимися.

— А я вас вчера вспоминала, Мика, — сказала она, принимая от него фуражку. — Когда наш аэроплан над городом «юнкерса» сбил. Вдруг, думаю, это Мика!

— Может, и я, — сказал Мика, поглядывая на дверь комнаты, в которой жили сестры Кружковы, — мы их вчера шесть сбили.

— Милый вы мой! — вскричала Анна Константиновна и, не зная, как еще выразить свою нежность и восхищение, крепко обняла и расцеловала летчика. — А мы в окно глядели... И потом так испугались за вас!..

— Я и сам за себя пугаюсь, — сказал Мика, и в этом было то новое, что почувяла Анна Константиновна: два месяца назад Мика никогда не признался бы, что переживает страх, а стал бы по-мальчишески хвастать.

— Так что Соня... дома?

— Спит.

— Ну вот! А я чуть не подвел ее под «губу». Примчался к ней в автобат, требую, чтобы мне ее вызвали. А она, оказывается, в негласном увольнении. Хорошо, ребята там славные — шепнули, в чем дело.

Анна Константиновна нерешительно приоткрыла дверь и тихонько позвала:

— Соня!

Но Мика отстранил ее и шагнул в комнату. И это тоже было новым, — несмотря на все свое озорство, раньше он никогда не решился бы поступить так просто и естественно.

Соня сладко спала, свернувшись под теплым платком. Мика присел на край дивана и всем лицом прижался к ее плечу.

— Сонечка, — шепнул он в душную шерсть платка. — Женушка...

Недавно, давая сведения о своих родных в канцелярию полка, он назвал Соню своей женой. Эти сведения имели только одно назначение: в случае гибели летчика Вихрова траурное извещение было бы послано и в ее адрес. Мика понимал это и произнес слово *жена* торжественно, — не перед скучным писарем, а перед лицом жизни и смерти. И то, что Соня еще не была его женой, придавало его чувству особую, томительную нежность. Ежедневно барражируя над Ленинградом и сражаясь с «юнкерсами» и «мессершмиттами», он всегда ощущал под крылом самолета город, где в смертельной опасности жила она, его названная жена, и сестренка Люба, и строгий отец. И уже не веселые воспоминания ранней юности бередили его душу, а все желанное будущее, все чаяния его начавшейся зрелости вставали перед ним, вызывая к его мужеству и мастерству. Он сражался теперь без озорства, с жестокой расчетливостью, всячески оберегая себя и машину, но внутренне приготовившись ко всему. Он никогда не говорил об этом ни с Глазовым, ни с другими приятелями, но и без слов знал, что они думают так же. Один за другим гибли в боях друзья. Вчера только невероятным напряжением удалось ему, Мике, спасти себя и обгоревшую машину, спланировав на городской аэродром без горючего в баках. И вот, как награда, короткое свидание с девушкой, которая, быть может, так и не успеет стать его женой...

— Женушка! — позвал он, осторожно целуя ее в висок между прядками упавших на лоб волос.

Соня вздохнула, повернулась на спину и раскрыла еще непонимающие, немного подпухшие во сне глаза. И таким милым, домашним теплом пахнуло на него от всего ее сонного существа, что Мика снова припал лицом к ее плечу в порыве никогда не испытанного им трепетного умиления.

— Мика! — радостно воскликнула она, приподнимаясь и стараясь заглянуть ему в лицо. — Мика, откуда ты? Я не слыхала!..

— Женушка! — еще раз сказал он, целуя ее за грубые руки.

Взволнованная его новым и пока непонятным ей чувством, Соня притихла. Но Мика уже застыдился своего чувства, как слабости. Оглянувшись на кровать, где спала Лиза, он всплеснул руками и шутливо ахнул:

— Мужчина в комнате! Лиза проснется, с ума сойдет!

Соня фыркнула, с готовностью переходя на привычный веселый тон, но потом сказала:

— Нет. Она теперь какая-то шалая. Даже не пудрится.

— Да ну?!

Посмеиваясь, как всегда, над Лизой, он вернулся к обычному душевному состоянию и снова вел себя веселым сорванцом-мальчишкой, но для этого ему пришлось как бы спуститься с неведомой высоты. И сердце все еще трепетало от впервые постигнутой нежности.

Мария проснулась в густых сумерках и, не зажигая света, некоторое время лежала, свободно вытянувшись и наслаждаясь полным отдыхом. Потом она услышала приглушенные стеной голоса и смех в столовой, громкий шепот Мити за дверь: «Тише, она спит!» Вспомнила, что сегодня в сборе вся семья, и Митя, и девушки... И так же как за минуту до того она хотела только покоя, так же теперь она устремилась к людям и деятельности. Что бы ни ждало их завтра, а может быть, и сегодня ночью, — сейчас тихо, и она дома, и ее суточный отпуск продолжается, — так пусть же будет настоящий отдых, как бывало до войны, как будет потом!

Она проворно поднялась и в халате — как давно не надевала его! — проскользнула в ванную. Вода показалась ледяной, но она заставила себя вымыться с ног до головы, как делала прежде, а затем долго и тщательно растиралась мохнатым полотенцем. Вернувшись в комнату, приложила холодные пальцы к горящим щекам, погляделась в зеркало и сказала самой себе: «Ничего. Один день поживи для себя. Но что? Что? Чего я жду?»

Напевая и улыбаясь, она отстранила трезвые вопросы. Мало ли что может быть, ждать надо всего, самого хорошего, обязательно хорошего... Она натянула лучшие, тонкие чулки, надела лучшие туфли и остановилась перед

платяным шкафом, раздумывая, что надеть. У нее было немного платьев, и только одно, сшитое перед войной, было новым. Темно-вишневое, гладкое, без всякой отделки, оно на редкость шло ей и очень нравилось Борису Трубникову. «Пожалуйста, надевай, его только для меня», — просил он.

Расчесывая и укладывая на голове волосы, Мария испытующе поглядывала на свое отражение в зеркале, не совсем доверяя своему насмешливо-спокойному настроению. «Так, значит, наденешь?» И громко ответила: — А вот и надену. Почему бы не надеть?

Платье, недавно безукоризненно облегавшее фигуру, оказалось теперь широким. Задорно свистнув, Мария повертелась перед зеркалом, изучая себя, разыскала черный кушак и стянула им платье. Так ей показалось еще лучше.

— Смотри, мама, — сказала она, выбежав в коридор, — я опять тоненькая, какой была до Андрюшки.

Митя выскочил на звук ее голоса.

— Боже мой!.. — пробормотал он, — какая вы сегодня необыкновенная!

Девушки, увидав Марию, ахнули и побежали переодеваться.

В столовой горела одна лампа, прикрытая поверх абажура темным платком. Мария плотно завесила окно, зажгла верхний свет и постелила лучшую скатерть, радуясь тому, что Митин влюбленный взгляд неотступно следует за нею.

Мироша, устыдившись своей скупости, вытащила из каких-то тайников и мелко крошила на тарелку последнюю луковицу, поставила на стол бутылку пайкового красного вина.

— Прошу всех к столу! — провозгласила Мария и наполнила рюмки. — За то... — сказала она медленно, прикрыв блестящие глаза, — ...за то, чтобы победила жизнь!

Мика азартно поддержал ее тост, все чокались. А Мария смотрела перед собой блестящими глазами и видела то большое и прекрасное, ни с чем не сравнимое, что вечно манит своей неизбывной новизной, то, что коротко определяется словом *жизнь*. Куда поведет она? Чем подарит?..

Когда раздался звонок, она встала стремительно, как будто знала, одна из всех, кто стоит у порога. Сдержи-

вая шаг (не перед тем, кто пришел, а перед теми, кто смотрел ей вслед), она вышла из комнаты, а там побежала по коридору, стараясь убедить себя, что это невозможно, и все-таки веря предчувствию. Остановилась у двери и тихо спросила:

— Кто?

— Впустите, это я,— так же тихо ответил Каменский.

Она медлила, возясь с запорами. «Значит, это правда. И от этого никуда не уйдешь,— говорила она себе, сжимая в пальцах задвижку и медля отодвинуть ее. — Значит, я его ждала...»

— Вы не хотите впустить меня, Марина? Я убежал к вам, как мальчишка...

Она дернула задвижку и распахнула дверь. Губы ее пересохли, будто на теплом ветру.

— Я знала, что это вы.

Он схватил ее руки в свои, поднес их к щекам и стал тереться щеками о ее ладони, как большой ребенок, истомившийся без ласки.

— Спасибо, что вы мне сказали об этом...

— Это же так хорошо — ждать и дождаться.

— А мне вдруг пришло в голову: что, если вы больше не придете теперь, когда Митю выписали!

Она засмеялась:

— Ну, знаете, это даже Мите не пришло бы в голову!

— Ради бога, Марина, не будьте рассудительной и не смейтесь. Если бы вы знали, как ловко я сбежал из госпиталя и как я нашел вас, не зная ничего, кроме улицы и того, что дом пятиэтажный... Какая-то девица с противогоазом хотела задержать меня, приняв за ракетчика... А у меня документы капитана, шинель лейтенанта... Знаете, что я ей сказал?

— Нет.

— Я сказал, что спешу к женщине, в которую влюблен без памяти, и если она понимает, что такое любовь, она меня отпустит.

— Отпустила?

— Конечно.

— Она плохо выполняет свои обязанности.

— Марина, она их выполняет великолепно! Бдительность ужасна без чуткости. Так же как чуткость без бдительности.

Они стояли у входной двери и болтали, глядя друг на друга. Он все еще держал ее руки в своих.

Из столовой выглянула Анна Константиновна, за нею высунулся Митя, закричал:

— Леонид Иванович!

И устремился было к Каменскому, но остановился и отвел потускневший взгляд,— слишком явной была досада Каменского и Марии на то, что им помешали.

Каменский сам пошел навстречу Мите и крепко обнял его, подергав при этом за цветистый, роскошно повязанный галстук:

— Честное слово, друг, я чертовски рад видеть тебя таким штатским франтом!

И Митя расцвел, еще раз примирившись с неизбежным, потому что он тоже был рад капитану.

— Нет, нет, не знакомьте, я сам! — Каменский подошел к Анне Константиновне и поцеловал ее руки:

— За вашу дочь. И за Стасика Кочаряна.

Затем он шагнул в столовую навстречу любопытным взглядам. Он знал, чем вызвано общее любопытство, и не смущался, а радовался этому и старался понравиться всем,— всем, кто окружает Марию, всем, кто может потом сказать о нем доброе или худое слово. Он подошел к Мироше и ей тоже почтительно поцеловал руку, отчего Мироша вся зарделась.

— Вы — Мироша, я знаю,— сказал он. И весело обернулся к девушкам: — Вы — Лиза, а вы — Соня. А это, судя по роду оружия, Мика Вихров. Точно?

— Точно, товарищ капитан,— ответил Мика, очень довольный тем, что его заочно причислили к семье.

— А где самый младший и самый главный член семьи?

Андрюша спал. Каменский огорчился и попросил Марию показать ему мальчика.

Стоя поодаль, она смотрела, как склонился над кроваткой Каменский, как он долго и неподвижно вглядывался в спящего ребенка, затем, еще ниже склонившись, тихонько поцеловал его в лобик и снова, выпрямившись, застыл у кровати. Если бы Каменский просто полюбился ее Андрюшей, как обычно любят хорошие люди спящими детьми, Мария не стала бы задумываться над этой первой встречей сынишки с ее другом. Ее влекло к новым впечатлениям, к той игре слов и взглядов, какой всегда сопровождается начало любви. Еще минуту

назад, когда Каменский знакомился с ее друзьями, она беспечно говорила себе: «Ну что ж, если это любовь — почему бы и нет? Я свободна, я молода, кто может запретить мне! Я ничем не хочу себя связывать, но я, кажется, влюблена в него и рада, рада, что он — мой...» И где-то в глубине ее сознания мелькнула мстительная мысль о Борисе Трубникове.

Сейчас, глядя на взволнованное и строгое лицо Каменского, она внезапно поняла, что этот человек очень серьезен и прям, что он заранее, еще не объяснившись с нею, принял на себя ответственность, которую она не собиралась возлагать на него, и потребует от нее большого и полного решения, потому что ему нужно все или ничего. И ей стало трудно и страшно с ним.

— Пойдемте,— сказала она, открывая дверь в столовую. — Я потушу свет, а то он проснется.

Каменский перехватил ее руку и резко закрыл дверь.

— Марина! — позвал он так, как будто она находилась на другом конце комнаты.

Она подняла к нему побледневшее лицо.

— Я люблю вас,— сказал он медленно и громко. — Я не знаю, когда вы станете моею, но вы должны знать, что я ваш. Пусть все, что я буду делать на войне, я буду делать так, как будто это и ваш приказ.

Она молчала. На эти прямые слова можно было ответить только такими же прямыми, всякий иной ответ звучал бы недостойно.

— Не пугайтесь,— сказал он, усмехаясь. — Я отдаю вам себя. Но я ничего не требую от вас, пока вы сами не захотите.

6

В комнате тети Саши, у небольшого зеркала, украшенного бумажными цветами, три девушки щипцами завивали волосы. Ольге было немного смешно и уже непривычно участвовать в этих девичьих приготовлениях, но уклониться от них нельзя было, да и не хотелось. Со смешанным чувством веселого ожидания, стыда и восторга смотрела она в зеркало на свое лицо, измененное обрамлявшими его нехитрыми кудерьками. Исхудалое, обветренное, возбужденное предстоящим небывалым праздником, оно нравилось Ольге. И ей казалось естественным, что Гудимов если не скажет сегодня, то

подумает: «Молодец, девушка, хорошо справилась с заданием! Толковый организатор, смела, инициативна... да и хороша собой!»

«Хороша? — сама себя спросила Ольга, всмотрелась в свое отражение и сама же ответила: — Хороша».

— Ну и удался пирог! — воскликнула за ее спиной тетя Саша.

Ольга проворно встала и успела помочь тете Саше переложить огромный пирог с противня на влажную салфетку. Тетя Саша закутала пирог салфеткой, потом шерстяным платком и одеялом.

— Теплый принесем, — уверенно сказала она. И вздохнула: — Уж скорее бы!

Все три девушки, казалось, одинаково радовались и все три замирали от страха перед тем, что идти на хутора придется тайком, в темноте, под носом у немецкого гарнизона. Но Ольга была спокойнее всех: столько тревог, страхов и забот стоила ей подготовка к празднику, проведенная украдкой, через верных людей, так трудно было все сделать, не выдавая себя, что волнение ее уже перегорело.

Накинув платок, Ольга вышла на крыльцо. Деревенский душистый морозец наполнил ее острым предвкушением счастья.

Взгляд ее без интереса скользнул мимо школы, где топтался часовой, где вот уже вторую неделю помещался взвод немцев, вооруженных автоматами и двумя пулеметами. Непокойно жили здесь немцы, настороженно, угрюмо, в одиночку не ходили и придирчиво проверяли документы, хватая тех, у кого не было на паспорте штампа немецкой комендатуры. Но у Ольги был этот поганый штамп, и у всех, кому нужно, он тоже был: и в комендатуре, и среди старост у партизан имелись свои люди.

Оглянув безлюдную улицу, Ольга вперила жадный взгляд в зеленовато-серое вечернее небо. Так она стояла долго, закинув голову, зажимая у подбородка платок, и от мороза и нетерпения ее пробирала дрожь. В памяти всплыли строки: «Значит, это нужно, чтобы каждый вечер в небе загоралась хоть одна звезда?» Да, нужно, очень нужно... Сегодня, как никогда...

И вот в сгустившейся мгле возникла желтая, почти прозрачная, как отсвет, точка, от ее неясного сияния серые тона неба сгустились, а сама точка определилась,

вспыхнула зеленым золотом и выпустила во все стороны блестящие иглы-лучики.

— Пора,— сказала Ольга, возвращаясь в дом.

Они вышли огородом, через потайной лаз в заборе, и углубились в лес. Шли без дороги, нагруженные корзинами и свертками. Теперь звезд в небе было уже много. Их рассеянный свет таинственно озарял заснеженные деревья, вырывал из мрака белые стволы берез, стоявших островками среди других деревьев. Ольга вглядывалась в темноту леса, вслушивалась в его тишину и видела смутные тени, мелькающие среди деревьев, и слышала скрип шагов и голоса... Может быть, все это только казалось ей, но она ведь знала, что с первой звездой от всех окрестных селений украдкой вышли к заброшенным хуторам люди, для которых праздник Октября по-прежнему светлый праздник.

Она одна не вздрогнула, когда из кустов раздался голос:

— Куда ночью без дороги идете?

И весело ответила, стараясь, чтобы условный ответ звучал как можно естественнее:

— Для нас везде дорога есть.

Она узнала по голосу комсомольца Петю Малышева. Хотелось сказать ему что-нибудь дружеское, но не полагалось выдавать свое знакомство с партизанами. Она молча прошла мимо него, и не она, а одна из девушек, Ирина, задорно добавила:

— Мы ведь не чужие. Лес-то наш!

У темных и как будто совсем безлюдных хуторов их снова окликнул голос:

— Куда идете, добрые люди?

И снова Ольга торопливо ответила:

— К друзьям на праздник.

Но ее перебили девушки, уже уверенные в том, что здесь все свои.

— С праздником! — восклицали они. — Принимайте гостей, хозяева!

— Проходите в дом,— сказал невидимый часовой.

Они вошли в темные сени, и сразу распахнулась перед ними дверь в освещенную многими лампами большую комнату, где на столах, покрытых белоснежными скатертями, уже была расставлена посуда, графины и кувшины, и бутылки с золотистым пивом, квасом и

домашними настойками всех цветов: медной рябиновкой, густо-красной клюквенной, розовой брусничной...

Гости сбрасывали в углу тулупы, шубейки, платки, разворачивали свертки, открывали корзины — и с этой минуты сами превращались в хозяев, расставляя по столам всякую домашнюю снедь: пироги, ватрушки, миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, поблескивающей красными ягодками клюквы.

Все это долго пряталось от немцев, со страхом и оглядкой вынималось из тайников и готовилось украдкой, при занавешенных окнах, но с тем большей торжественностью выставлялось сейчас напоказ.

Старуха Сычева, прозванная в селе Сычихой, которой как огня боялись не только ребятишки, но и взрослые парни и девушки, — эта грозная старуха принесла целый окорок, разукрашенный узорчатой бумагой. Никто не знал, с какой хитростью и смелостью сохранила Сычиха поросенка, как выкармливала его в секретном подполье, как заколола ночью, одна, далеко в лесу, чтобы не услышали немцы. Никто не знал об этом, и никому не стала Сычиха хвастаться, только вошла в дом главной хозяйкой и, сразу осудив убранство столов, все переставила по-своему, покрикивая на девушек и указывая, что и как делать.

Была она в синем шелковом платье, в котором не видел ее никто, кроме таких же, как она, старух, подруг ее молодости, помнивших и ее короткое счастье, и то, как она голосила по молодому мужу, погибшему в Мазурских болотах в первую мировую войну, и как она потом, замкнувшись от всех, жила в своей одинокой избе, постепенно превращаясь в свирепую и желчную Сычиху. Сегодня ее темные, вчера еще старчески мутные глаза горели веселым огнем.

— Добро пожаловать, хозяева земли нашей! — провозгласила она, когда в уже наполнившуюся гостями комнату цепочкой потянулись партизаны во всем своем случайном, но основательном вооружении. И пошла к ним навстречу с хлебом-солью на вышитом полотенце, и низко поклонилась Гудимову и его товарищам.

Гудимов принял хлеб-соль, обнял старуху и троекратно поцеловался с нею. Партизаны скинули в стороне свои полушубки и шапки, но винтовки и автоматы ставили рядом с собой, у скамей.

Рассаживались кто где хотел. Женщины уже давно приберегли места для мужей, да и девушки в большинстве своем знали, кого посадить рядом. Ольге очень хотелось подойти к Гудимову, но он только издал улыбку и посадил рядом с собой Сычиху.

И вышло так, что именно Сычиха, раздумываясь, произнесла первую застольную речь.

— Будьте здоровы! — сказала она партизанам. — А мы за вами — хоть на плаху. Иного пути, чем с вами, у нас не будет.

Ольга сидела рядом с Юрием Музыкантом. Юрий только недавно поправился после ранения, еще не участвовал в действиях отряда и сегодня впервые вышел за пределы лагеря. Он восторженно осматривался и, видимо, никак не мог поверить, что этот богатый стол стоит в заброшенном доме, охраняемом партизанскими патрулями в глубоком вражеском тылу, что все эти принаряженные, оживленные люди могут поплатиться жизнью за участие в празднике.

Знают они, что им угрожает в случае, если немцы что-либо пронюхают? Конечно, знают. Так же как они знают, что фронт ушел далеко в глубь страны и Красная Армия придет на выручку не скоро... «И все же все они тут, — думал Юрий, — все же они пришли...»

— На плаху... — тихо повторил он Ольге. — Вы понимаете, какая всенародность стоит за этим старинным словом старой крестьянки?

— Она хорошая, — просто ответила Ольга, так как знала Сычиху и числила ее среди самых доверенных, надежных людей.

Теперь поднялся Гудимов, позволил налить себе самогону и шутливо погрозил пальцем хозяйке этого зелья:

— Ох, раньше я бы вас не миловал за такое дело!

Речь Гудимова незаметно перешла от шутки к серьезному. — к тому, что советские люди остались советскими и под немцем. Как бы отчитываясь перед высшей властью, он рассказал о том, что уже сделал партизанский отряд, и все рукоплескали его сообщениям. А Гудимов снова улыбнулся, сердечно поздравил всех с праздником:

— Выпьем за то, чтобы следующий праздник мы провели вместе со всей Советской страной, победившей фашистов!

И пошел вокруг стола чокаться, для каждого находя доброе слово или шутку. Около Ольги он остановился и сказал, обращаясь к Юрию Музыканту:

— Хороша девушка? Нашел, к кому подсесть.

Чувствуя себя по-новому свободной с Гудимовым оттого, что должна была притворяться незнакомой с ним, и оттого, что завитые кудерьками волосы придавали ей непартизанский, легкомысленно-девичий вид, Ольга потеснилась на скамье и сказала задорно и радостно:

— А вы тоже подсаживайтесь, чем завидовать!

— Подсел бы,— с такой же новой свободой в отношении к Ольге ответил Гудимов и шутливо повел рукой в сторону Сычихи,— да нельзя, свою даму бросил... Зато уж потанцуем обязательно!

Танцы начались еще во время праздничного пира,— самые ловкие плясуны и плясуньи выходили по очереди в узкий коридорчик между столами. А потом отставили столы к стенам, и, пока старухи убирали остатки пиршества, партизанский гармонист заиграл вальс. Ольга сама подбежала к Гудимову:

— Пойдем?

Они первыми заскользили по кругу, выкликая друзей, чтобы те последовали их примеру, и боясь взглянуть друг на друга, настолько неожиданно сильно и томительно-сладко ощутили они желанную прелесть своего первого объятия. Пара за парой вступали в круг танцующих, стало тесно. Гудимов строго, на отлете, вел Ольгу, увертываясь от столкновений с другими парами. И хотя он не был ни ловок, ни красив, ни молод, он чувствовал себя и красивым, и молодым, и ноги его скользили с ритмичной легкостью, и ему удавалось уберечь Ольгу от толчков. Довольный, он решился поглядеть в лицо Ольги и вдруг увидел совсем рядом ее испуганные счастьем, преданные глаза.

Все его существо дрогнуло и отозвалось на немое признание этих глаз. Задыхаясь, он проговорил:

— Я сейчас оставлю тебя. — И добавил в ответ на ее безотчетное движение: — Нам же *нельзя* танцевать все время вместе...

Она легко сжала его руку, прежде чем ускользнуть от него. А он подхватил сопротивляющуюся Сычиху.

— Не могу я,— кричала, отбиваясь, раскрасневшаяся Сычиха. — Уж если плясать, так давай кадрили с фи-

гурами, хоть с какими затейливыми, вот это я могу! Тут я не подкачаю!

Гармонист послушно ловким перебором перешел на кадрили, и тут вслед за Сычихой пошли в пляс и другие старухи да старики — старые с молодыми, не всегда в лад, зато с душой. Стало жарко и шумно, до предела тесно, но никогда еще, пожалуй, никто из присутствующих не испытывал такой веселой гордости собой и такого беззаветного дружелюбия ко всем своим людям, а своими были все, кто не с фашистами.

В одной из фигур кадрили Гудимов снова привлек к себе Ольгу и, смело приблизив губы к ее уху, прошептал:

— Послезавтра вечером не ложись. Слушай. Если все пройдет благополучно, буду ждать тебя на всегдашнем месте...

Она только кивнула, кадрили снова разлучила их. Кружась по очереди со всеми танцорами, Ольга улыбалась своим тревожным и все-таки счастливым мыслям. Она правильно поняла слова Гудимова: на основе наблюдений, ради которых она прожила в селе последнюю неделю, Гудимов решил провести послезавтра ночью налет на немецкий гарнизон. Она должна ждать налета дома, то есть у тети Саши, дожидаться благополучного конца и тогда выйти на ту лесную полянку, где обычно встречаются со связными... Все это она поняла правильно, и так же несомненно было, что явиться она должна для нового задания, так как после уничтожения гарнизона сидеть в селе незачем. Но сейчас ее взволновало то, что Гудимов встретит ее сам, и то, как он обнял ее и заглянул в ее лицо, и еще многие незначительные, почти необъяснимые, но отчетливые для сердца приметы... Они были той естественной наградой, без которой горько девичьему сердцу в двадцать лет.

Отдыхая в коротком перерыве между танцами, Ольга оказалась рядом со своей новой подружкой Ириной. Ирина обняла ее и лукаво зашептала ей в ухо жарким, возбужденным шепотом:

— Чудно-то как... И парни какие хорошие... Среди них городских много... вежливые... А я за тобою что-то заметила... А?..

— Что?

— Ты ихнего начальника хороводишь... А?.. Ничего дядя, интересный... И на тебя посматривает... Замечаетешь?..

— Ничего ты не понимаешь, — со счастливою усмешкой сказала Ольга. — Я его не первый год знаю... Я за него... хоть на плаху!.. А ты — «хороводишь»!

Ей не следовало признаваться в знакомстве с Гудимовым, но так неудержимо хотелось говорить о нем и признаться случайной подруге в том, в чем до этого дня она не признавалась и самой себе.

— Ой! — воскликнула Ирина, замирая. — То-то я замечала... Значит, ты ихняя, да?

— Конечно, — с гордостью шепнула Ольга. — Только ты молчи... молчи...

— Страшно-то как... страшно, а?

— Ничего не страшно, — отмахнулась Ольга. И снова шепнула: — Молчи.

«Хоть на плаху», — мысленно повторила она, гордая своим признанием и той полной освобожденностью от боязни и колебаний, которую она сейчас чувствовала.

Огромная любовь, подобно живительному ветру, захватила ее и как бы подняла над всем плохим и страшным, что может с ней случиться на ее опасном партизанском пути. Эта любовь сосредоточилась сейчас на одном человеке, но она вмещала в себе весь мир привязанностей, надежд и желаний Ольги. Ольга любила всех, кто окружал ее сегодня, но среди всех — только одного, потому что с ним для нее неразрывно связалось все, что было желанно и свято. Ей казалось, что ей не нужно ничего, лишь бы он был рядом, ласково взглянул на нее, снова сдержанно обнял ее в танце; и в то же время она ждала, требовала от него больше, чем от кого бы то ни было, потому что он был для нее лучше, отважней, ловчее всех... Если бы ее спросили сейчас, счастлива ли она, Ольга, не задумываясь, сказала бы: да! А потом, если бы задумалась, с удивлением добавила бы, что она теперь счастливее, чем до войны. Она не ждала от Гудимова ничего, кроме новых поручений, изредка — поощрительного слова, совсем изредка — сдержанной дружеской ласки, но было счастьем идти за ним и хорошо выполнять его задания, жить интенсивной, насыщенной событиями жизнью, *делать* в полную меру своих способностей и сил — и даже всегда немного сверх меры... И счастьем было знать, что делаешь самое основное, главное, ответственное и прекрасное дело для родины, для человечества, для своего любимого.

Ощущение счастья возбуждало жажду деятельности. Если бы вот сейчас Гудимов повел отряд на операцию, она бы сумела по-пластунски ловко и незаметно ползти, хотя раньше ей никогда не удавалось это как следует... Если бы сейчас гармонист снова ударил русскую, она решила бы одна выскочить в круг и, наверное, сплясала бы легко и уверенно, хотя до сих пор никогда не решалась на это... Ей казалось, что она в состоянии сделать теперь все, что угодно, таким легким и верным ощущалось ею собственное тело, так радостна и деятельна была ее душа.

Гудимов собрал на прощание всех вместе, в тесную группу, и первым зашел давно не слышанные грозные, торжественные слова революционного гимна. Одни подхватили уверенно, точно слова давно исповедуемой великой правды. Другие, на лету угадывая каждое слово, строку, образ песни, старательно и упоенно подтягивали, может быть, впервые раскрывая для себя победоносную силу учения, ради которого они уже боролись и подвергали свою жизнь смертельной опасности. Старая Сычиха никогда не знала слов «Интернационала», но она гордо вскинула голову и цела громко, неожиданно звонко, по-деревенски, заливаясь на верхах, иногда произвольно заменяя одно слово другим, еще более гневным. А распаленное лицо ее выражало страстное увлечение и удивление перед широтой и величием открывшейся ей истины.

И если гром великий грянет... —

самозабвенно выводила Ольга, в лад с Сычихой заливаясь на верхах и всем своим существом ощущая, что гром уже гремит, и последний, решительный бой начат, и она в бою за самое красивое и святое дело, свершаемое храбрыми ради всех.

Немецкий часовой топтался у здания школы, нервно позевывая и настороженно вслушиваясь в недобрую, немирную тишину. В этой загадочной, неистребимой стране он не верил ни в тишину, ни в покорность напуганных женщин, ни в игры присмиревших детей. Все двери были закрыты, все окна — черны, но часовому чудилось, что за дверьми кто-то таится, что в окна кто-то высматривает его, а в сторону близкого леса он и смотреть боялся — так зловеще качался мрак под деревьями.

И вдруг часовой, содрогнувшись, прижался спиной к двери. Звуки песни неслись из лесу, струились с неба, плыли над тихой деревней,— звуки торжественные и грозные, неуловимые и все же явственные. Часовой потряс головой, стараясь отогнать ночное наваждение, и снова прислушался. Все было тихо в спящем селе; ни одного огонька не мелькало в окнах, ни одна половица не скрипела за дверьми, ни одной тени не было на голубоватом чистом снегу. Он покосился в сторону леса,— ни одна ветка не шевелилась, ни один сучок не трещал под ногой, но весь сумрачный, грозный русский лес, казалось, тихо дышал мелодией «Интернационала».

Часовой вскрикнул, когда маленькая черная тень метнулась возле крыльца.

— Хальт! — крикнул он, хватаясь за автомат.

Это была только собака — обыкновенная лохматая дворняжка. Она остановилась и повела носом, принюхиваясь к запаху чужого человека. Солдат поднял автомат и выстрелил. Собака задергалась на снегу. Кровь растекалась черными струйками и дымилась на морозе.

Часовой опустил автомат, тяжело дыша. Никто не вышел на выстрел, все было по-прежнему тихо и пустынно. И по-прежнему, неуловимая и беспощадная, как дыхание самой земли, звучала мелодия, которую нельзя было ни застрелить, ни бросить в огонь, ни наколоть на штык, ни ударить заскорузлым солдатским сапогом...

7

Всю ночь Ольга ждала, не смея ни заснуть, ни выйти из дому. Она ночевала у Ирины, потому что дом Ирины помещался почти напротив школы и был удобен для наблюдения за немцами, а большой огород вплотную подступал к лесу, и через него Ольге было легко уйти незамеченной.

Лежа рядом с подругой, Ольга всматривалась в белеющие квадраты стекол, стараясь не пропустить начала. И все-таки она пропустила его. Багровое пламя уже залило кровавым светом всю комнату, когда она очнулась от короткого забытья.

Ольга подбежала к окну. Охваченная со всех сторон ровным высоким пламенем, школа горела, как гигантский факел. На розовом снегу чернела безжизненная фигура

часового, всё еще сжимавшего в руке автомат. Коротко простучала автоматная очередь. Рванулись две гранаты. С небольшими промежутками звучали одиночные выстрелы.

— Это ваши? — припадая к Ольге горячим плечом, спросила Ирина.

Не отвечая, Ольга смотрела на горящее здание и на офицера, появившегося в окне второго этажа. Ах, если бы сейчас винтовку!.. Офицер высадил раму и уже вскочил на подоконник, когда рядом с домом Ирины раздался выстрел. Офицер повалился обратно, в черный провал окна.

Через полчаса улица заполнилась народом, женщины обнимали партизан, звали в дома отдохнуть.

— Некогда нам, — отвечали партизаны. — Сегодня дел много.

Ольга, обнявшись с Ириной, ходили по улице, всматриваясь в лица партизан. Она узнала Юрия Музыканта и весело переглянулась с ним. Командовал партизанами Гришин. Значит, Гудимов не участвовал в операции? Или ранен?..

Раненых партизан — их было двое — перевязывали в доме тети Саши. Ольга побежала туда. На крыльчке стоял Гришин, загораживая своей широкой фигурой дверь.

— Не любопытствуйте, девушки, — сказал он многозначительно. — Тут все в порядке. Идите по своим делам, кому куда нужно.

Ольга поняла намек и тихонько отступила. Значит, Гудимов ее ждет? Значит, не он ранен? Или ее встретит кто-то другой?..

— Смотрите, люди! — кричала Сычиха, широко шагая вдоль улицы. — Смотрите, люди, как партизанские костры пылают! Смотрите, люди!

Школа догорала, сухие балки распадались красными углями, и эти красные угли уже затягивало серым туманом. Но Сычиха смотрела в другую сторону, и все посмотрели туда же: за лесом полыхало два ярких зарева.

— Конец им пришел! — возбужденно бормотала Ирина, прижимаясь к Ольге. — Это ведь конец им, а?

— Пришла и на них управа! — говорили кругом. — Дождались...

Захваченная общим возбуждением и радостью, почти не скрываясь от Ирины, Ольга побежала через огород, по знакомой тропинке, в лес. До условного места было

полчаса ходу, но Ольга пробежала это расстояние минут за десять и, запылавшаяся, счастливая, остановилась на полянке.

Гудимова не было.

Убедившись, что она здесь одна, Ольга спокойно села на пенек и только тогда, почувствовав через шерсть чулка промерзшую кору, сообразила, что прибежала как была в старых валенках без портянок, в легкой Ирининой жакетке под небрежно накинутым платком. И сразу плечами, шеей, грудью почувствовала, что стоит крепкий ночной мороз. Потуже закуталась в платок, встала, начала ходить взад-вперед, взад-вперед, чтобы не застыть, ожидая.

Жив ли, невредим ли Гудимов? Сумеет ли он прийти? Может ли быть, что он забыл о назначенной встрече?..

Ноги коченели, особенно левая нога, на которой валенок стерся на пятке. Ольга шагала все быстрее, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться. Хрустнула ветка. Она шагнула на звук, заранее улыбаясь навстречу Гудимову. Но все было тихо в лесу.

Зарева пожаров бледнели, опадали. Вот уже одно погасло совсем.

И снова сгустилась темнота, в морозном небе ярче заблистали звезды.

Гудимова не было.

Вот погасли и два других зарева. До утра было еще далеко, но повеяло ветерком, похожим на предутренний, неопределенным и пронизывающим. Снова хрустнула ветка, что-то зашуршало в кустах. Ольга не могла больше маяться по полянке, она припала к дереву, стараясь не двигаться и сохранить тепло под туго натянутым платком, быстро перебирая пальцами в валенках, чтобы не дать им совсем заоченеть. От слез смерзались ресницы, она старалась не плакать, радоваться успеху товарищей, думать о Гудимове...

Он сам нашел ее, ахнул, торопливо распахнул бекешу и крепко прижал ее к себе.

— Разве можно так! — испуганно говорил он, растирая теплыми руками ее плечи и спину. — Без ватника, без шубы... Я же мог до утра не прийти... Ноги замерзли?

— Замерзли, — как девочка, пожаловалась она и крепче прижалась к его груди.

— Сейчас же пойдем в лагерь.

— Подожди... — пробормотала она, охватывая его руками под бекешей.

— Вот ведь легкомыслие какое! — сердито, чтобы скрыть растроганность и жалость, сказал он. — А ну-ка, завернись поплотнее и сядь вот сюда.

Она оказалась в его бекеше на том самом пеньке, на котором мерзла недавно. Он стянул с нее валенок, стянул чулок, крепко растер ее ногу снегом, пока блаженное тепло не разлилось по всему ее телу, потом быстро снял со своей ноги портянку, обернул ногу Ольги и всунул в валенок. Потом проделал то же с другой ногой.

— Ну вот, — сказал он. — А теперь пойдём.

— Спасибо. Возьмите свою бекешу.

— Не замерзнешь?

— Мне очень хорошо.

Он надел бекешу, внимательно оглядел тоненькую фигурку Ольги в короткой жакетке и юбчонке, снова притянул ее к себе и завернул полый бекешей.

— Ну, слушай, партизанка, — строго сказал он. — Сегодня у нас большой день... большая ночь. Шесть гарнизонов — до одного человека. На двадцать километров кругом — ни одного фрица. А у нас ранено семеро, убит Петя Малышев...

— Петя!

— Очень жалко... Очень... Целой очередью прострочили... А в отряд пришло еще сорок шесть человек. Трофеев много, два грузовика, мотоциклов двенадцать, рация. Займем круговую оборону, фашистов больше сюда не пустим. И вдоль железной дороги житья им не дадим...

— Мне так хотелось участвовать...

— А разве ты не участвуешь? Ты — наши глаза.

— Что мне теперь делать?

— Иди к тете Саше и выпишись как следует. — Он помолчал, поморщился. — Только не очень долго спи... Пойдешь на станцию. У тебя там явка есть?

— Есть. Сегодня пойти?

— Обязательно. Нам надо узнать, как реагируют немцы, что предпримут. По всей вероятности, они попытаются послать карательный отряд. Если бы тебе удалось завязать знакомства...

Она крепче прижалась к нему и покорно сказала:

— Хорошо.

— Ты только... береги себя. Ты не могла бы взять кого-нибудь с собой?

— Постараюсь. Подружку я завела одну, Ирину... Или Сычиху?

— Лучше подружку. Это та, кудрявенькая?

— Да.

— Можно ей верить? Она знает?

— Немножко знает... У нее двоюродная сестра — касирша на станции. Очень удобно.

— Ты только берегись.

Он осторожно погладил ее плечо. Она слышала, как гудко и сильно бьется его сердце.

— Ну, согрелась?

— Я сейчас побегу. А у тебя ноги замерзли без портянок, да?

— Нет, мне даже жарко. — Он усмехнулся. — Ты греешь.

Она взглянула на него снизу вверх и разглядела его похудевшее с прошлой встречи лицо с обветренными на морозе губами, с черным пятном на скуле. «Наверно, запачкался на пожаре», — с нежностью подумала она и с трудом подавила желание поцеловать эту запачканную скулу.

— Слушай, — вдруг сказал он, отстраняясь и весь настораживаясь.

Она выскользнула из бекешки, готовая исполнить любое приказание. Но Гудимов молча указал на небо. Далеко в небе гудел самолет.

— Разведчик? — вопросительно сказала Ольга.

Немецкие самолеты давно уже не летали в этом районе. Иногда их соединения стороной проносились к фронту, но одиночным разведчикам делать здесь было нечего. Вызвано ли его появление пожарами и гибелью немецких гарнизонов во всей округе?.. Но что увидит разведчик ночью!..

Гудимов махнул рукой и продолжал слушать. Ольга старалась разглядеть выражение его лица, скупо освещенного звездами. Выражение было непонятно-напряженное и восторженное, ярко блестели глаза, обращенные к небу. И вдруг Гудимов подхватил Ольгу, приподнял и крепко поцеловал.

— Это же наш, Оля! — вскричал он. — Ты не понимаешь, это же наш! Наш! «Уточка»! Неужели ты не узнаешь?!

Теперь ей самой было удивительно, что она не отличала от прерывистого гудения немецких моторов это

родное, неторопливое тархтение маленького советского самолета.

А самолет гудел все ближе, слышно было, как он разворачивается над лесом, завывая...

— Он что-нибудь сбросит, да?

— Наверно...

— Посигналить бы ему... вдруг он не знает, что мы здесь существуем...

— Оля, глу-пыш-ка! Ты все еще не понимаешь самого главного! Это же конец изоляции! Это же значит, что Коля Прохоров дошел!..

Он снова взял ее за плечи и заглянул в ее лицо:

— Поняла, как это много значит для нас?

— Может быть, он и Колю сбросит? — воскликнула она и сразу испугалась, что он истолкует ее вопрос так, будто для нее Коля Прохоров не только товарищ и друг.

Но Гудимов весело поддержал:

— Очень возможно! Коля такой парень, что ему прыгнуть ничего не стоит. Эх, Оленька, хорошо-то как!..

Он заторопился в лагерь, откуда партизаны должны были подать условные сигналы. О них сообщил командованию Коля Прохоров, если ему удалось перебраться через фронт. Ольге тоже захотелось пойти в лагерь, узнать новости, может быть повидать Колю, но Гудимов коротко сказал:

— Ну, беги спи. Если задание изменится, я успею сообщить тебе.

И хотя на прощанье он нежно погладил ее руку и снова сказал: «Береги себя!», она видела, что ему сейчас не до нее и все его мысли там, в лагере, где его, быть может, уже ждут важные сообщения и приказы.

Когда Ольга вошла в село, все спали, небо начало светлеть на востоке, и побелевшие звезды гасли одна за одной. И оттого, что на двадцать километров вокруг нет ни одного врага, вся вселенная показалась Ольге дружелюбной и родной, как собственный дом, куда заходишь просто и в любом настроении, не притворяясь, ничего не тая.

Смело стучась к Ирине, Ольга вспомнила, что ей надо завтра — вернее, сегодня, через несколько часов, — уходить туда, где нет ни Гудимова, ни партизан, туда, где враги, опасность, потайная, напряженная жизнь, без единой минуты спокойствия, где даже спишь настороженно... И ей стало до злости обидно и до слез жалко себя...

Гудимов сейчас беседует с Колей Прохоровым или с кем-либо еще, прилетевшим с Большой земли. Он наконец узнает всю правду о том, что происходит на фронте, где пролегал этот далекий фронт, когда перейдет в наступление Красная Армия... А она, ничего не зная об этом, должна пойти навстречу врагам, разъяренным уничтожением гарнизонов, следить, разузнавать их намерения, ежеминутно рискуя собой... завязать знакомство с фашистскими офицерами... «Хорошо», — сказала она покорно. Хорошо?! А если они заставят ее пить и веселиться с ними, если они будут приставать к ней, если они... Хорошо, она пойдет, но если с нею что-нибудь случится, она повесится. Да, повесится... И пусть Гудимов тогда поймет, как жестоко толкнул ее на это...

Все еще со злобой она вспомнила их недавнюю встречу и то, как Гудимов приказал ей выпасться — «только не очень долго» — и уходить на станцию... Но воспоминание скользнуло мимо этого и вернуло ощущение блаженного тепла и покоя, когда он прижал ее к себе под бекешей, и осторожно гладил ее плечи, и спросил: «Ну, согрелась?»

Но почему же он так жестоко отослал ее именно сегодня, когда особенно хочется быть со своими?..

Она проснулась через несколько часов, разморенная слишком коротким сном. Тетя Саша принесла ей корзинку с яйцами и сушеными грибами, нанизанными на нитки, домотканое полотенце, старую кофту. Это значило, что Ольгу торопят, что она пойдет сейчас на станцию продавать свой нехитрый товар и завязывать знакомства...

— Пойдем, Ириша, вместе? — предложила она беспечно. — Там сейчас барахолка большая. Может, купим чего.

К ее удивлению, Ирина легко согласилась. Мать снарядила ее в путь, и девушки вышли за село, на безлюдную лесную дорогу.

Оглядываясь на село, Ольга все ждала, что увидит Гудимова выходящим из дома тети Саши или из другого, где, быть может, расположился партизанский штаб. Но, кроме часовых, никого не было видно. Может быть, Гудимова и нет здесь? Но тогда кто же послал тетю Сашу с корзинкой? Жаль, что тут вертелись Ирина и ее мать, не удалось расспросить... Если бы он только вышел на крыльцо, улыбнулся, поглядел вслед... Неужели он сидит

за одним из этих окон, занятый своими делами, и даже забыл, что она должна сейчас пройти, быть может, в последний раз?..

Они еще не отошли и на километр от села, когда раздался прерывистый гул чужих моторов. Три тяжелых самолета летели низко над лесом. На черных хвостах, загнутых кверху, отчетливо выделялись желтые изломанные кресты.

Ольга видела даже головы в шлемах, торчавшие из кабин,— летчики осматривались, видимо потеряв направление среди этих белых снегов и однообразных лесов. Но только что успела Ольга подумать об этом, как все три самолета совершили одинаковый полуповорот в сторону села, нырнули вниз и затем взмыли вверх, роняя темные кувыркающиеся палочки... и тотчас заухали взрывы.

А самолеты возвращались к селу. Один из летчиков заметил две человеческие фигуры на дороге и устремился к ним. Ирина вскрикнула и упала в снег. Ольга стояла, прижав к себе корзинку, и смотрела на приближающийся, зловеще гудящий самолет. Несколько пуль со свистом ввинтились в снег рядом с нею. Тра-та-та-та-та,— дошла до ее слуха дробь пулемета.

А самолеты уже промчались в сторону села, там снова заухали тяжелые взрывы. Над селом взметнулось бледное, розоватое на дневном свету пламя.

Прямо по сугробам, набирая в валенки снегу, девушки побежали под деревья. Оттуда, дрожа от страха и злобы, они увидели, как бомбардировщики в третий раз развернулись над селом и сбросили бомбы. Потом самолеты пронеслись совсем близко над домами, так что ненадолго девушки потеряли их из виду за деревьями. Но длинные пулеметные очереди все объяснили им: летчики обстреляли жителей села, пытавшихся тушить пожар.

Потом все стихло. Бомбардировщики улетели.

— Пойдем,— сказала Ольга, подталкивая обомлевшую от страха Ирину.

— Куда? — пробормотала Ирина. Губы ее все еще тряслись.

— Куда шли, туда и пойдем.

— Может, домой? — жалобно сказала Ирина.

Ольге самой хотелось назад, в село,— увидеть, что натворили немецкие бомбы, узнать, кто пострадал. Но теперь ей было ясно, что немцы уже открыли военные

действия против партизанского района и Гудимову необходимо срочно разведать, не стягиваются ли сюда по железной дороге войска и что собираются предпринять немцы. «Спи. Только не очень долго спи...»

Ирина сделала несколько шагов к дороге, стараясь обходить сугробы, и вдруг вскрикнула:

— Мина!

На снегу, потревоженном снежной осыпью с деревьев, лежал небольшой темный пакет, перевязанный бечевкой.

С наблюдательностью, развившейся у нее за месяцы партизанской жизни, Ольга осмотрела никем не примятый снежный пласт и сразу заметила и снежную осыпь, и оголенные ветви, сквозь которые скользнул сверху пакет, и то, что пакет врезался в снег — значит, летел с высоты...

— Это же наши! Ночью! «Уточка!» — закричала она, смело хватая пакет и разрывая бечевку.

Из клеенчатой обертки высвободилась пачка листов. От волнения не разбирая слов, Ольга смотрела на развернутый ею листок с небольшим, отпечатанным в типографии текстом, — русским текстом, отпечатанным там, на родине, советскими людьми и для советских людей — для Гудимова, для Сычихи, для тети Саши, для нее...

«Дорогие друзья, партизаны и партизанки, советские граждане...»

Слезы застилали глаза. Советские граждане! Партизаны и партизанки!.. Это ей, ей, Ольге, о ней помнят там, на родине, о ней знают и ей хотят помочь добрым словом, правдивой вестью...

— В Ленинграде напечатано! — воскликнула Ирина, потрясая листовкой. — Ты смотри! Ленинград! А они брехали — Ленинград взят! На копейку им верить нельзя, подлюгам!..

Обнявшись, плечо к плечу, девушки читали и перечитывали листовку. Да, Ленинград выстоял и выстоит, и там — штаб партизанского движения (значит, по всей области есть партизанские отряды!), и штаб поздравляет с великим праздником Октябрьской социалистической революции... (А мы отпраздновали этот день как надо, как советские люди, и во имя его пылали сегодня ночью партизанские костры!)

«...Большое дело вы делаете, дорогие товарищи, дезорганизуя немецкий тыл, срывая снабжение их армии, заставляя их бояться своего тыла и чувствовать себя в

постоянной опасности». (Да, именно так, они теперь и во двор без автомата не выходят, и вот сегодня ночью целый район мы от них очистили. Если они вздумают брать обратно, сколько сил им придется отвлечь на это с фронта?) «Родина знает о вашей героической борьбе и приветствует вас, несдающиеся советские люди!»

— Несдающиеся советские люди! — вслух повторила Ольга.

— Я возьму листок для сестренки, — попросила Ирина, — ведь пронесем потихоньку, а?

— Пронесем! — уверенно ответила Ольга и стала прятать листовки, чтобы пронести их на станцию. — Мы в них яйца заворачивать будем... Пусть читают люди.

И они пошли — две девушки — туда, где были враги, пошли легким шагом, поскрипывая валенками.

8

Над улицами завивался мокрый снег. Холодное дыхание надвигающейся зимы проникало во все щели дома. И вместе с ним проникал страх — как пережить зиму?

Постояв в холодном коридоре и собравшись с силами, Мария рывком открыла дверь общежития и, входя, бодро спросила:

— Как дела, гражданочки?

С каждым днем ей становилось все труднее притворяться бодрой, и с каждым днем все мучительнее было совершать привычный обход объекта. Создавая в клубных комнатах общежитие для семей рабочих, пострадавших от бомбардировок, она затратила много сил на его благоустройство. На первых порах в общежитии было чисто и даже уютно, дети копошились в отдельной комнате под присмотром двух бабушек; женщины брали воду для стирки в котельной и сушили белье на батареях парового отопления.

Но за последнее время общежитие переполнилось, а люди стали апатичными и слабыми. Дети жались к матерям и часами лежали на кроватях под шубами и платками, выглядывая оттуда большими пристальными глазами. Паровое отопление поддерживалось еле-еле. Мария старалась растянуть остатки угля на самые холодные месяцы.

— Паровое кончилось, — встретили Марию угрюмые голоса.

— Почему кончилось? Немного, но должно топиться, — сказала Мария и приложила ладонь к трубе.

Труба была холодная.

— Сейчас проверю, почему Ерофеич не топит.

Она с невольной брезгливостью оглядела комнату. Старуха Семенова лежала на постели в валенках и шубе, из-под платка выбивались нечесанные волосы. На подоконнике стояли грязные кастрюли. Пол не мели дня три.

— Убрать надо, — строго сказала Мария, указывая на мусор. — Что же вы, гражданочки?

— Силы нету...

— Распускаться не надо, — бросила Мария и, взяв веник, стала подметать. — Неужели самим не приятнее в чистоте жить?

— Какая жизнь! — отозвалась одна из женщин. — Погляди, мой-то на работу уже не пошел. Лежит.

Рабочий Семенов, один из лучших каменщиков Сизова, лежал под тулупом и курил, глядя мимо Марии злыми глазами.

— Что же ты, Семеныч? — испуганно спросила Мария, наклоняясь к нему. — Или заболел?

— Заболеешь, — сказал Семенов и швырнул окурок в угол. — Хлеба-то опять сбавили.

— Как сбавили? Что ты говоришь?

— Так и сбавили. Пооди в булочную, почитай.

Мария знала, что есть в городе люди, распространяющие злые слухи. Но то были враги. А Семенова Мария знала еще до войны как хорошего работника и славного человека. «Пооди почитай». Может ли быть, что и без того бедственная норма снова снижена? Ведь так недавно, 13 ноября, было снижение до трехсот граммов рабочим и до ста пятидесяти граммов всем остальным...

— Сколько же теперь, Семеныч? — спросила она робко и представила себе, как Мироша возвращается из булочной с маленьким ломтем, который надо будет делить на еще меньшие, ничтожные дольки...

— А такая чүдная норма, что мне сто двадцать пять граммов, а мужику моему двести пятьдесят! — закричала жена Семенова. — И бабке сто двадцать пять, и ребенку сто двадцать пять... Живи как хочешь!

Мария механически сосчитала в уме: «Значит, на меня, на маму и на Андрюшу триста семьдесят пять граммов в день. Триста семьдесят пять граммов на всех...».

Надо было отвлечься от своих расчетов и страхов. Надо было немедленно сказать что-то такое, что успокоило бы и приободрило всех этих мужчин, женщин и детей, вопросительно смотревших на нее. Ведь для них она была представителем власти, обязанным все понимать и все объяснять.

Но что сказать успокоительного, когда это — голод, самый настоящий голод, да еще зимой!

— Плохо,— сказала она, присаживаясь. И повторила вслух: — Значит, на мою семью, на всех троих — триста семьдесят пять граммов...

Она сказала это не для себя — для них. И женщины откликнулись сочувственно:

— И у тебя, и у мамы твоей служащие карточки? Да, плохо!

— А сынишка-то, поди, больше взрослого ест!

— Ребенку разве откажешь!

И тогда Мария сказала:

— Это голод, товарищи. Голод. И пока блокада держится, пока немцы нас душат, не может быть иначе. А они нарочно окружили нас и бомбят Ладогу, чтобы даже по озеру не могли мы получить хлеба. Они того и хотят, чтобы мы руки опустили, головы повесили, легли на койки и перестали работать, перестали сопротивляться. Им же только этого и надо. Перестанем мы снаряды делать — им воевать легче. Перестанем оборонительные строить — им дорога открыта. Ляжем мы — они нас голыми руками возьмут.

Семенов крикнул и приподнялся. Лицо его дышало злостью и досадой.

— Намекаешь? Устыдить хочешь?

— Хочу! — зажмурившись, выкрикнула Мария. — Хочу, Семеныч, потому что выхода у нас другого нет, только одно нам осталось: не сдаваться.

— А если человек больной?

— Какая это болезнь, Семеныч, раз лежишь да куришь! Когда болен, от табаку тошно. Не больной ты, а голодный. Но что же ты будешь делать через две недели, посидев на новой норме, если ты уже сегодня слег?

Жена Семенова потянула Марию за рукав:

— Не надрывай ты ему душу. Он встанет. Лучше скажи Ивану Ивановичу, чтоб зашел. Они с моим мужем дружат.

Мария покачала головой:

— Не позову. У Ивана Иваныча и так дел много. А если его помощники ложиться начали, еще дела прибавилось. — Она подтолкнула ногой окурок, брошенный Семеновым. — А безобразие разводить в общежитии не позволю. Еще раз увижу на полу окурки — оштрафую и из общежития выселю.

И она ушла с видом властным и спокойным, но со смятением и горечью в душе. Встанет ли Семенов? И хватит ли у нее сил добиться порядка, чистоты, подтянутости от этих ослабевших людей?

В котельной было теплее, чем везде, но топка уже остывала и в серой золе чуть-чуть алели последние искры огня. Кочегар Ерофеев, пожилой и болезненный человек, спал возле котла, громко присвистывая носом.

— Ерофеев! — закричала Мария, возмущенно дергая его за ногу. — Ерофеев! Ты что, с ума сошел, спать на работе!

Ерофеев сел, неохотно протирая глаза.

— А ты меня накормишь за работу? — спросил он равнодушно.

— А ты советский человек или кто? — вместо ответа со злобой спросила Мария. — Ты в тепле работаешь, рабочую карточку получаешь, сколько бы ни было, все лучше служащей! А людей морозишь, настроение у них подрываешь, как самый настоящий фашистский прихвостень!

— Эко завернула! — сказал Ерофеев и встал на ноги. — Разве так можно — сразу уже и прихвостень, и фашистский, только шпиона не приклеила. Ну, задремал немного. Так ведь подтоплю — и все.

— Ерофеич, дорогой, — попросила Мария, чуть не плача, — добром прошу тебя: держись. Топи.

— Не чурбан, понимаю, — ответил Ерофеев. — Только не говори мне таких слов.

Мария немного погрелась у котла и, заставив себя оторваться от его теплой стенки, пошла на антресоли, где сидели дежурные верхних постов. Это она придумала недавно — устроить в одной из верхних комнат теплый уголок, где могли бы отдыхать дежурные. Тревоги были так часты, что не имело смысла каждый раз после отбоя спускаться, да и сил не хватало бегать по лестницам.

В дежурке у топящейся печки сидели Зоя Плетнева и Тимошкина,

— Тихо сегодня,— сказала Мария и присела к печке. — Говорят, бомбежки скоро поутихнут. Будто бы у немцев горячее не настоящее, а эрзац. Замерзает.

Она слышала такое предположение и не верила ему, но решила обнадежить своих дежурных. Им было очень трудно часами выстаивать голодными на морозе.

— Все равно тулупы нужны,— сказала Тимошкина. — Обстрелы ведь будут.

Марии удалось раздобыть валенки, но ничего другого ей пока не дали, и мечта о тулупах — о дворницких, огромных тулупах — стала навязчивой мечтой всех дежурных. Шел ли дождь или снег, были ли они голодны или утомлены — все верили, что в тулупах было бы легче.

— Благодать у вас,— сказала Мария, грея руки у огня. — Уходить не хочется.

— И не уходи,— откликнулась Тимошкина. — Ляг на коечку и подремли. Что бегать-то зря! Теперь бегать нельзя.

Медленные шаги возникли за дверью. Такие медленные, что все насторожились. Вошла тетя Настя, ходившая в булочную. Она добрела до стола и бережно положила на него маленький сверток. Вынула из-за пазухи три хлебные карточки и две из них отдала Зое и Тимошкиной. По медлительности ее движений можно было понять, что она всячески оттягивает минуту объяснения и всеми силами старается овладеть собой.

Зоя Плетнева достала нож и потянулась к свертку. Из газеты высвободился небольшой кусок хлеба с прижатым к нему довеском. Зоя приподняла кусок и вскинула испуганный взгляд на тетю Настю. И все взгляды впились в лицо тети Насти.

— Да,— сказала тетя Настя, отворачиваясь. — С нынешнего дня по сто двадцать пять граммов.

— Господи... — прошептала Тимошкина.

— То-то я смотрю,— бойко заговорила Зоя и нацелилась ножом, чтобы разделить хлеб на три равные доли. — Тут не сообразишь, как и резать. Ну, я кусок поделю на три и довесок поделю на три.

Все смотрели, как она отмеряет, режет, сравнивает куски и перекладывает крошки от одного куска с другому, чтобы вышло ровно.

— Ладно, не мучайся, от крошки не насытишься,— деликатно сказала тетя Настя и потянула к себе одну долю.

— С чаем давайте, без чаю какая еда! — предложила Зоя. И, ставя на стол чашки, виновато и тревожно поглядела на Марию: — Мария Николаевна, а вы... чайку?

— Да нет, спасибо, я уже пила,— ответила Мария и встала. — Мне пора.

Страдая от мучительного голода, спазмами сжимающего внутренности, и стараясь не глядеть на кусочки хлеба, Мария насильно улыбнулась и вышла. На лестнице ее догнала Зоя.

— Марья Николаевна!

Уже справившись с собой, Мария спокойно отозвалась:

— Что, Зоенька?

— Вы бы попили чаю... согрелись... я вам и хлеба немножко дам...

— Что ты, Зоя!

— А что? — гордо вскинув голову, вскричала Зоя. — Думаете, не могу? Презираю я, кто дрожит над своими крохами! Никогда не унижусь до этого... Не позволю!

— Так и надо, Зоя,— сказала Мария. — И я тоже... Но я, право, не хочу сейчас. Ты иди... ешь.

— Мария Николаевна... вы верите, что мы выдержим?

— Верю,— ответила Мария. А потом сама себе задала тот же вопрос и сама себе вслух ответила: — Да, верю.

— И я,— быстро сказала Зоя, блестя глазами и сжимая локоть Марии. — Надо только совсем не думать о голоде и ни о чем таком. Надо только держаться, как будто ничего такого и нет... правда?

— Правда.

— Вы знаете... у меня здесь жених... зенитчик... с той батареи, что в садике стоит...

— Я его видела с тобой.

— Да? Он очень хороший.

— Мне тоже так показалось.

— Как война кончится, мы поженимся... Если мне бывает муторно, я только пройду мимо садика... Вызывать его неудобно, понимаете, у них же не разрешается. Но я пройду мимо, и мне хорошо.

— Ты об этом и думай.

— Я иногда так счастлива! — сказала Зоя с удивлением. — Очень счастлива! Несмотря ни на что.

— Да. Я понимаю,— сказала Мария и вспомнила Каменского.

Но недавний вечер показался сном, испытанное тогда чувство радости не вернулось.

Она не прошла еще и двух пролетов лестницы, когда наверху зазвучали громкие голоса и затем судорожный плач. Она остановилась, вслушиваясь. Плач раздавался все громче, перебиваемый резкими выкриками.

Мария взбежала наверх, задыхаясь от усталости и от дурного предчувствия.

Зоя толкала в сторону Тимошкиной остатки своего хлеба и выкрикивала:

— Думаешь, мне хлеба жалко? На, ешь! Попросила бы ты добром, я бы тебе все отдала. Но тащить — это хуже фашизма!

А Тимошкина отталкивала остатки хлеба обратно и плакала в голос.

На скрип двери все обернулись. Зоя в последний раз толкнула хлеб к Тимошкиной и, присев у печки, нагнула к огню распаленное лицо. Тимошкина оттолкнула хлеб и, рыдая, повалилась на койку.

Тетя Настя сказала, ни к кому не обращаясь:

— Вот оно как. У своей подруги корку воруют. Что ж это делается с людьми?

— Как хотите, Марья Николаевна,— дрожащим голосом заявила Зоя,— но я с ней дежурить не буду. Мне не хлеб нужен, а совесть. Мы же вместе сколько бомбежек выстояли! А с такой подлостью у нас никакого доверия не может быть. Разве я теперь на нее понадеюсь?!

Тимошкина притихла, только плечи ее дрожали.

— Ладно,— сказала Мария. — Ладно, Тимошкина, пойдем со мной вниз. Я вам кого-нибудь пришлю.

Тимошкина покорно встала, оправила платок и утерла слезы, но тут взгляд ее упал на остатки Зоино хлеба, и она снова зарыдала, грохнувшись на колени рядом с Зоей и забормотала, всхлипывая и цепляясь за плечо Зои:

— Прости, Зоенька, не позорь ты меня... Сама не знаю, как такая гадость получилась, не в себе я была. Отдам я тебе завтра всё как есть, все сто двадцать пять отдам, не позорь ты меня перед людьми, век такого не было...

Презрительно высвобождаясь, Зоя отрезала:

— Ладно. Встань.

Но Тимошкина продолжала умолять и плакать, цепляясь за отталкивающие ее руки. Презрительный ответ Зои был хуже давешнего крика, и Тимошкина чувствовала всем своим простым и несчастным существом, что стоит ей сейчас подняться и выйти — останется она среди людей одна, всеми отринутая, и некуда ей будет деться со своим стыдом.

Хотя Тимошкина была жалка в своем унижении и бесспорно виновата, а Зоя права в своем негодовании и, кроме того, именно она пострадала, Мария невольно сочувствовала Тимошкиной, настолько Зоя была сильнее и счастливее. И она прикрикнула на Зою, как на виноватую:

— Ну и хватит, или ты тоже с голоду сердце потеряла? Унижения чужого хочешь? Прости ее, да и дело с концом.

Зоя оскорбленно выпрямилась:

— Это вы мне?

— Тебе, — так же резко сказала Мария. — Не понимаешь, что женщина в затмении была? Она, быть может, уже месяц от себя куски отрывает для дочери! Ты молодая, одинокая, ты понять не можешь... а гордишься!

— Так если бы она добром...

— Ну, и повибилась она, на колени перед тобой стала... мало тебе?

Чувствуя, что силы ее на исходе и дальнейшие разговоры только затянут тяжелую сцену, Мария снова пошла к двери. И уже в дверях, найдя самое правильное решение, окликнула Тимошкину:

— А ты вставай и немедленно иди в булочную, возьми хлеб на завтра и отдай Плетневой. Поняла?

Когда она вернулась в штаб и закрылась там, чтобы опомниться, ей пришла в голову простая и страшная мысль: сегодня первый день сниженной нормы. Что же будет дальше?

Все пережитое за последние недели показалось ей легким по сравнению с наступающими бедствиями голодной зимы и той сложнейшей борьбой за души и за жизни людей, которую предстояло начать.

Кто-то постучал в дверь, подергал дверную ручку и снова постучал. Мария с досадой спросила:

— Кто?

— Да свои, Марья Николаевна, свои! — ответил добродушный женский голос. — От Ивана Иваныча,

Не узнавая голоса, Мария открыла дверь и увидела Григорьеву. Старуха показалась ей огромной в мужском тулупе и мужской меховой шапке, прижатой к голове вязаным платком.

— А ты сдала! — огорченно сказала Григорьева, разглядывая Марию. — Одни глаза остались. Против лета — половина.

— Мы все не толстеем, — ответила Мария.

Ее обрадовал приход Григорьевой, потому что в этой старухе она угадывала жизнелюбие и упорство, которые были сейчас так необходимы.

— Иван Иваныч тебе привет прислал, — сказала Григорьева, усаживаясь и оглядывая комнатушку. — Здесь и живешь?

— Когда здесь, когда дома.

— Холодно у тебя, — недовольно заметила Григорьева и потрогала чуть теплые батареи. — Печурку поставить надо.

— Надо, да печника нет. Одного залучила, он две печурки сложил да и скрылся, не закончив. Сами кое-как доделали.

— Печурку я тебе сложу, — Григорьева тяжело поднялась и начала выстукивать стенку, отыскивая дымоход. — Вот он, голубчик! — Она прикинула глазом, где удобнее ставить печурку. — Пожалуй, на месте дивана поставлю, трубы протяну через всю комнатушку — от них теплее... Я ведь, Маша, к тебе насовсем пришла, — добавила она и села, опустив на колени большие натруженные руки.

Мария смотрела вопросительно, тревожно.

— Не могу я дома жить, — объяснила Григорьева шепотом, будто боясь, что кто-нибудь подслушает ее малодушное признание. — Сына у меня убили... среденького... С тех пор, как войду в квартиру, все его вижу. Вот тут он бегал, тут щенка кормил, тут играл... И все маленьким вижу. Все маленьким... Не могу я там жить. Силы сейчас нет, чтобы плакать, а без плача немоготу. Мне Иван Иваныч приказал: «Иди к Смолиной в общежитие и помоги ей там управляться». — Помолчав, она подняла на Марию суровые, бесслезные глаза. — Что, трудно тебе?

— Бывает.

— Днем я тебе ничем не помогу, — деловито сказала Григорьева. — Мы сейчас опять почти что на передовой

копаемся, ходить-то далеко. Пока доплетешься! А ночью можешь на меня надеяться.

Распахнув тулуп, она вынула из кармана бумажник, а из бумажника — маленькую фотографию:

— Вот он... Гриша.

Она не выпускала фотографии из рук, и Марии пришлось наклониться к ней. Григорьева, не отрываясь, смотрела на любительский и, видимо, неудачный снимок.

— А другие сыновья пишут? — спросила Мария, чтобы отвлечь ее от мертвого к живым. — Где они теперь?

— А бог их знает! — сердито сказала Григорьева и спрятала фотографию. — Их, видишь, отправили. Мимо Ленинграда на Большую землю. Пишут, что воюют за Ленинград, только с другой стороны. Правда ли, нет ли — не знаю.

— Почему же неправда?

— Отругала я их тогда... Да и что, в самом деле! Бабы воюют, а здоровых бойцов в тыл гонят... разве дело?

Она решительно размотала платок, скинула тулуп.

— Ну, где у тебя кирпичи брать?

— Ты что же... сейчас и примешься?

— А чего мешкать! Раз пришла, надо за дело браться. Меня и Сизов просил: погляди, чтобы Смолина там не пропала, она о себе думать не умеет. Вижу, он правду сказал. Начальница, а живет в таком холоду.

Она отодвинула от стены диванчик, на котором спала Мария.

— Это и есть твоя кровать? Ну, ладно. А я уж ни в какое общежитие не пойду. Здесь, у печки, стелиться буду.

Марию немного задела бесцеремонность, с какой Григорьева вторглась к ней и все повернула по-своему. Но в то же время вторжение чужой сильной воли принесло ей надежду и облегчение.

В начале декабря сержант Бобрышев прибыл с фронта в Ленинград на курсы лейтенантов. Прихрамывая после недавнего ранения, он шел по черным безлюдным улицам, на ощупь пробираясь мимо баррикад и расспрашивая редких постовых, как называется улица и какие здесь номера домов. В прошлый свой приезд Бобрышев видел го-

род тревожным, озаренным вспышками выстрелов и отблесками пожаров, но полным страстного напряжений борьбы. В этот вечер не было ни налета, ни обстрела, ни один проблеск света не нарушал темноты, и Бобрышева тягостно поразила негородская, мертвенная типина, навевавшая мысли о трагической обреченности города. А утром он поглядел в окно, и тревога его рассеялась. Весь белый, укутанный еще не тронутым снегом, город казался праздничным и трогательно спокойным, как будто его трагическая и грозная судьба только приснилась.

Занятия начинались на следующий день, и после скудного завтрака по тыловой норме Бобрышев без труда получил увольнительную до вечера.

Он дошел до трамвайной остановки, но не увидел ни трамваев, ни рельсов. Только заиндевелые провода тянулись над белой улицей.

Поправив на спине вещевой мешок, Бобрышев зашагал к центру, придерживаясь трамвайных проводов, так как плохо знал город. Рана в бедре заныла, но он не позволил себе замедлить шаг — после посещения Веры Подгорной он собирался заглянуть в госпиталь к Кочаряну и к капитану Каменскому, а если останется время, то и на квартиру к Мите Кудрявцеву.

От занесенных снегом рельсовых путей веяло грустью. Он заметил, что выпавший за ночь снег никто не убирает, что пешеходы осторожно идут друг за другом по узким тропкам, как в деревне.

Кировский мост, заваленный сугробами, показался ему бесконечным. Все сильней прихрамывая, Бобрышев смотрел вперед, в даль проспекта, замутненную туманом, и с горечью признался себе, что выполнить намеченный план не может.

Странно, даже в первые дни после ранения он не чувствовал такой усталости... нет, не усталости, а тошнотной слабости.

Вера Подгорная вышла к нему в пальто и белом вязаном платке. Лицо ее осунулось и посерело. Глаза стали огромными и какими-то очень чистыми. Она просияла, узнав сержанта:

— Мне так хотелось увидеть вас! Я была уверена, что вы еще придете.

Она предложила ему пройтись по саду, — очевидно, ей негде было принять его иначе. А ему было неловко признаться в своей усталости.

В снегу Ботанический сад показался Бобрышеву величественнее, чем осенью. Из нетронутой белой глади поднимались громадные белые деревья с черными прожилками ветвей, выделявшимися узором на серовато-белом небе.

Вера шла легко, выпрямив стан. Весь ее облик выражал успокоенность и ту материнскую сосредоточенность в себе, которая часто бывает у женщин, ожидающих ребенка. Но Бобрышева испугала сероватая бледность ее впалых щек.

— Я очень о вас беспокоился,— сказал он. — Как вы справляетесь одна?

— Разве мало теперь одиноких! — откликнулась без жалобы Вера. — Да я и не одна.

— Мы о вас часто вспоминали с товарищами.

— Они знали Юрия?

— Нет. Но я рассказывал о нем и о вас. О профессии вашей.

— Вам нравится наша профессия?

— Очень она мирная. Радостная. На фронте о таком помнить приятно.

Она помолчала, обдумывая его слова.

— Все сейчас стали какие-то другие, необыкновенные,— сказала она. — В одном доме со мной живет жена видного ботаника нашего. Такая важная барыня. Кашу согреть внуку — и то приносила какую-то заграничную спиртовку в кожаном мешочке. А теперь мы в бомбоубежище детскую комнату наладили, она там дежурить взялась — с целью, конечно, чтобы внука на чужих не оставлять. И представьте, учит ребятшек, поет с ними, даже пуговицы им пришивает... А то еще жена профессора Зинаида Львовна. Ну, та просто дамочка. Мы с ней в сентябре случайно ракетчика поймали. Гордилась она — смешно было смотреть! Зато ответственность почувствовала. Боец, да еще отличившийся! У нас в доме лопнули трубы, так она бригаду организовала, в изящном лыжном костюме по чердаку лазит с водопроводчиками... Пришла я на днях домой — у меня в комнате дворник буржуйку ставит. Оказывается, Зинаида Львовна позаботилась...

Она рассказывала, сбоку поглядывая на Бобрышева, и вдруг посмотрела в упор и быстро спросила:

— Вы ничего о Юрии не знаете? Если знаете, скажите сразу.

— Нет, ничего. Я бы сказал.

— Я не горюю... Может быть, потом это придет. Сейчас я невозмутимая стала. Ребенку лучше, а я иначе и жить не смогла бы.

— Я теперь на курсах, в Ленинграде,— сообщил Бобрышев, борясь со все возрастающей слабостью. — Можно мне навещать вас?

— Конечно!

— У меня в Смоленске жена и дочка остались.

Он показал Вере фотографию. Девочка была совсем маленькая, лет двух или трех, с большим бантом в светлых, зачесанных кверху волосах. Жене было на вид лет двадцать — не мать, а старшая сестра, такая же курносенькая и светловолосая, с лукавыми глазами. Вера почувала, что Бобрышев любит ее сильной и беспокойной любовью.

А Бобрышев сказал, жмурясь и отводя взгляд от фотографии:

— Я им писал, чтоб уезжали. Да у нее там старики. Может, и уехали в последнюю минуту... Разве теперь узнаешь!

— Кончится война,— сказала Вера,— а радоваться будет трудно. В каждой семье горе. Все семьи вразброд. Сейчас свое горе отстраняешь. А тогда тяжелее будет. Увидишь, что чужие мужья домой пришли,— тоска задушит. А то придет с войны человек — семьи нет. Отдохнуть захочет — дома нет...

Бобрышев кивнул, но немного спустя ответил:

— А ведь не так оно будет. Конечно, и так тоже, но отдых нам еще не скоро выйдет, и отдыха мы сами не скоро захотим. Сколько разорено, с мест сдвинуто, уничтожено! И захочется это все скорее в порядок привести. Вот куда мы все бросимся... Мы как-то в стереотрубу на Пушкин глядели. Парки его порублены немцами, скошены снарядами. И вот вам скажут: пришло ваше время, садоводы, перевозите деревья, пересаживайте, цветы разводите, пусть будет еще красивей, чем было. И вы себя забудете!.. А когда люди вместе жизнь налаживают, своя жизнь тоже в порядок приходит.

— Может быть...

— Раны останутся. Но что ж раны! Вот я уже два раза ранен. Рубец остается, а человек жив. Ногу оторвало — безногим жить приспособливается человек, раз жить хочется. Слеп — и слепой зацепку в жизни находит. Так уж устроена душа у человека, что воля к жизни побеждает.

— Должно быть, да... Вас бойцы, наверное, любят, товарищ Бобрышев?

— Живем дружно.

— У нас тоже дружбы больше стало. Но как-то все люди вокруг разделились. Одни дружат, помогают друг другу. А иные в свою нору зарылись, свой кусок втихомолку жуют и на всех волками смотрят. Такой тип, кроме супа и каши, ничего уже не видит и не понимает. Как с такими блокаду пережить!

— Дуреет человек с голоду, если выдержки в нем нет.

— Не дуреет, а звереет. На фронте вы этого не видите. А когда такой зверь у тебя хлеб крадет, карточку из-под руки вытягивает...

У Бобрышева вдруг закружилась голова. Сперва чуть-чуть, а потом все сильнее. Снежные сугробы будто взвихрила метель. Стараясь пересилить головокружение, Бобрышев поднял глаза. Но белые лапы ветвей с черными прожилками влажной коры несколько раз отчетливо перекувырнулись и уплыли в белесоватую муть неба.

— Что с вами, Бобрышев?

Он открыл глаза. Вера натирала ему виски снегом.

— Глупость какая,— пробормотал он, пытаясь подняться и стыдливо отводя ее руки. Лицо Веры качалось перед ним вместе с ветвями деревьев, то приближаясь, то удаляясь.

На скамье снег лежал толстой подушкой, и Вера старательно смела его рукавицей, прежде чем усадить Бобрышева.

— Вы... голодны? — шепотом спросила она.

Он усмехнулся и покачал головой:

— Что вы!.. Какой же у меня голод!.. Ерунда, последствия ранения.

— В первое время голода у меня это часто бывало,— сказала Вера. — Я подумала, что и у вас...

В вещевом мешке, связанные в узелок, лежали два пакетика концентратов гречневой каши, десяток сухарей, несколько порционных кусочков сала и недельный паек сахара. Он скопил это на фронте для Веры Подгорной, потому что знал, как туго стало в городе с хлебом. На фронте было тоже голодно, но Бобрышев не замечал этого, может быть потому, что после ранения потерял аппетит. Еще сегодня утром ему казалось пустяком, что он пропустит обед. А сейчас мысль о еде, находящейся рядом, мутила. Он заторопился уходить.

— Вот, возьмите, — сказал он торопливо, прощаясь с Верой у ворот. — От души...

Она ни за что не хотела брать.

— Нет, нет, нет!.. — отмахивалась она, покраснев. — Как можно!.. Вы сами...

Должно быть, она не очень поверила его давешнему объяснению.

— Вы нас обидите, Вера Даниловна. Это не только от меня — от всей батарей, — солгал Бобрышев. — И не вам, а... ребенку.

Выйдя за ворота и медленно шагая к проспекту, он на миг ярко представил себе сухари и кусочки сала, которые он откладывал в течение недели. Сало, примятое и чуть присыпанное хлебными крошками, упрямо маячило перед глазами. Он слышал его запах, щекочущий и душный. Чувствовал на зубах его неподатливую плотную мякоть.

— Гадость какая! — громко сказал Бобрышев, чтобы отвязаться от назойливого видения.

Так вот о чем говорила Подгорная! Вот как он начинает травить душу! Го-лод.

10

Лиза редко ночевала дома. Ходить домой было утомительно, да и незачем. Батальон Сони перевели на Ладогу. Бывая в городе, Соня иногда забегала домой, но всегда неожиданно, так что повстречаться с нею было трудно. Мироша раздражала Лизу вздохами и неумелыми попытками выяснить, что случилось с племянницей.

— Ничего не случилось, — резко отвечала Лиза. — И что ты пристаешь, право!

Она жила при заводе, в команде ПВО, никого не сторонясь, но и ни с кем не сближаясь. Изредка предпринимала путешествие домой, чтобы выяснить, живы ли там и нет ли известий от Сони.

Однажды, придя к ночи домой, Лиза застала на своей кровати заплаканную сестру.

Соня вскочила, и Лиза увидела в ее руках записную книжку Лени Гладышева.

— Зачем ты?.. — крикнула Лиза, вырывая книжку.

— Это подло! — сквозь слезы крикнула в ответ Соня. — Подло скрывать!.. И кому это нужно!.. Я вижу,

ты какая-то шалая... И Мироша говорит — второй месяц ходит сама не своя... Я сразу как почувствовала... Стала рваться... Не ждала от тебя!.. Подло!.. Подло!..

— А кому сейчас дело до чужого горя! — воскликнула Лиза.

— Мне, Мироше, Смолиной, всему свету дело! — запальчиво ответила Соня. — Поплакать вместе, и то легче...

Она обняла сестру за плечи, но Лиза не заплакала и смотрела в сторону сухими глазами.

— А зачем других расстраивать? У каждого своих бед хватает. А мне теперь все равно. И мне ничего не надо: ни слез, ни жалости, ни утешений... И жизнь мне не нужна... Зачем?..

— Это еще что? — отстраняясь от сестры, возмутилась Соня. — Да как ты смеешь так говорить! Сейчас, во время войны! В блокаде!

— А блокада при чем? И что ты меня агитируешь? Как Левитин!..

— Не знаю, как Левитин или кто, но твой Левитин, наверно, умный человек. Да ты понимаешь, что с такими настроениями мы блокаду не выдержим?!

— Нет, не понимаю, — обиженно сказала Лиза. — И чего ты чепуху порешь, в самом деле!.. Блокаду! Я для фронта больше твоего делаю! Ты все по-прежнему судишь — барышня с локонами! Алло, алло! А я теперь токарь, детали для танков вытачиваю. Это поважнее, чем баранку крутить. И никто мне разряда не устанавливал, и никто почти не учил, а работаю и брака не делаю. И ты смеешь меня попрекать!

Соня только отмахнулась:

— Нашла чем хвастаться! Работаю... Фашисты в Лигове — да не работать!.. А ты мне лучше скажи: ты с каким лицом по заводу ходишь? Ты какое настроение людям внушаешь?

— Никакого, — растерянно буркнула Лиза. — Перестань кричать.

— Сейчас не бывает «никакого»! Неужели тебе не понятно? У одного человека улыбка — десять приободрились! Один с постной рожей ходит — у двадцати настроение портится. Ведь бодриться можно, а на самом-то деле плохо!.. — Соня помолчала, колеблясь, говорить ли то, что вертится на языке, и сказала быстрым шепотом: — Вы все думаете — Соня бодрячок, сквозь розовые очки смотрит. Думаете, я не вижу? Плохо, очень плохо, и не скоро

улучшится, я больше вас всех знаю. Две тонны везешь, как богатство, да мучаешься с ними черт знает как, а нужны-то сотни тысяч тонн! А сверху бомбят, сбоку стреляют, внизу трещит... У нас сегодня Вася Егоров, чудный парень, вместе с машиной под лед провалился, пока вытаскивали — не дышит...

— А при чем здесь я? Что ты накинулась на меня? Я тоже под обстрелом работаю и ничего не говорю и не жалуясь, а хочется мне жить или не хочется — так это никого не касается. И тебя тоже.

— Нет, врешь, касается! — крикнула Соня. — Ты что, себе принадлежишь? Если хочешь знать, ты сейчас права не имеешь распускаться! Ты сейчас обязана выжить, понимаешь? А кончится блокада — черт с тобой, умирай, пожалуйста!

Лиза так удивилась, что не нашла ответа.

— Ты не кричи на меня, — со слезами в голосе сказала она. — Тебе хорошо учить. А если бы твой Мика...

Соня стремительно повернула к сестре побледневшее лицо с таким взрослым, не свойственным ей выражением, что у Лизы сердце сжалось от страха перед неизвестной бедой.

— Мику я давно не видала, и жив ли он, я не знаю, — сиюсь быть спокойной, выговорила Соня — Я, когда еду, всегда вижу их истребители. И почти каждый раз — воздушный бой. И очень часто падает истребитель, иногда сгорает на льду, как костер. Или летчик на парашюте выбросится, а «мессеры» кружат вокруг него и расстреливают... Сегодня вот так расстреляли... Мика был или нет, не знаю.

— Сонечка... — прошептала Лиза и хотела обнять сестру.

Но Соня ожесточенно тряхнула головой:

— И все-таки я ни разу себе не позволила остановиться, задержаться, разузнать... И если себя я раньше не жалела, то сейчас вдвойне не жалею.

— Я себя тоже не жалею.

Соня взяла записную книжку Лени Гладышева и подняла ее перед собой.

— Я прочла, — сказала она. — Понимаешь ты его как человека? На твоём месте мне перед ним стыдно было бы.

— Да ведь я...

— Мало ты его понимаешь, Лиза! И любовь твоя — не любовь. Я — пока еду — столько передумаю. И я тебе

скажу — ничего-то мы раньше в любви не понимали. Вот ты всегда говорила, что мы с Микой только хиханьки да хаханьки... А Мика мне пишет... Мика пишет... На, читай.

Она достала из кармана гимнастерки комсомольский билет и вытянула из его футляра листок бумаги, сложенный треугольником. Развернув, перечитала раз и два, видимо каждый раз заново понимая слова Мики и удивляясь им. Потом протянула листок сестре и впилась глазами в ее лицо, желая полностью уловить все оттенки чувств, вызываемых письмом.

«Сонечка, женушка, сейчас уезжает к вам наш парень, может хоть он повидает тебя и расскажет мне, что ты жива, невредима, смеешься чему-нибудь или замерзла, греешься у печурки. Хоть что-нибудь узнать о твоей жизни! У меня все в порядке. Дерусь и буду драться. Я хочу, чтобы ты знала, роденькая: всегда и что бы ни случилось со мною, я благословляю нашу любовь, она дает мне силы ничего не страшиться и, если нужно будет, умереть без сожалений.

Мика».

Письмо было написано неумелым, неустановившимся почерком, с некстати поставленными завитушками и росчерками в конце слов, но за этой неумелостью почерка, за этими нелепыми завитушками еще удивительнее выступал недетский, глубоко продуманный и выстрадавший смысл письма.

— Мика... — дочитав до подписи, изумленно повторила Лиза.

— Мика! — с гордостью повторила Соня. Тщательно запрятав обратно письмо, она сказала с какой-то испуганной радостью: — Вот если так любить и так чтить свою любовь, к живому, к мертвому ли... тогда после всего... ну, после победы... тогда и плакать можно...

И вдруг, наперекор своим словам, заплакала и сердито отвернулась.

Лиза отвела глаза, спрятала под тюфяк записную книжку Лени Гладышева и спросила будничным голосом:

— Ты надолго?

— До половины двенадцатого. В ночь выезжаем.

— Чаю согреть?

— Согрей. Я там хлеба вам привезла буханку. Промерзлого. Отогреть надо.

До половины двенадцатого оставался час. Сестры, не сговариваясь, провели его в обыденных разговорах, пили чай с ломтиками жареного хлеба. Потом Соня курила у печки толстую самокрутку, по-шоферски лихо управляясь с нею, Лиза ворчала на Соню, зачем она начала курить, а Соня объясняла, что на морозе табак согревает. За пять минут до срока Соня стала собираться. Лиза вышла проводить ее. Они шли по темной улице, держась за руки, но к разговору, взволновавшему обеих, не возвращались и простились без нежностей.

— Ну, счастливый путь!

— И тебе счастливо работать!

— Приезжай, Соня!

— А то как же!

Расставшись на углу с сестрой, Лиза постояла на месте, слушая, как бойко поскрипывает под Сониными валенками снег. После давешнего разговора она уже не могла с прежней снисходительностью думать о Соне и в то же время понимала, что никогда не сможет быть такой, как Соня, что она просто не умеет ни жить так, ни чувствовать. И к растерянности перед тем, что сегодня открылось ей, примешивалась зависть.

11

Капитан Каменский был очень беспокойным раненым, и главный врач охотно отпустил его под расписку, тем более что после разрушения части здания в госпитале стало до предела тесно.

Попутная машина подвезла Каменского к штабу фронта. Еще в пути началась воздушная тревога, и когда Каменский выскочил из машины на темную мостовую, его глазам открылось по-южному черное, в крупных звездах, небо, вспарываемое красными, зелеными и желтыми трассами зенитных снарядов. Каменский задержался у подъезда, жадно всматриваясь в небо и дыша холодной сыростью ноябрьского воздуха. Это было не то пугающее, мрачное небо, каким оно виднелось через окно госпитальной палаты. И воздух был нов, — бодрящий воздух борьбы.

Вопреки скучной бумажке, определявшей его состояние и возможности, Каменский вошел в командный отдел штаба с незыблемой уверенностью в том, что выйдет отсюда командиром своего прежнего полка, или своего

прежнего батальона, или хотя бы другого, но действующего, воюющего подразделения. В душной, накуренной комнате, где сидело и уныло слонялось в ожидании приема десятка полтора командиров, уверенность Каменского постепенно сменялась дурными предчувствиями. К тому же болело плечо и хотелось лечь... Может быть, и в самом деле он еще не поправился от ранения, а может быть, сказывалась госпитальная привычка.

Молодой полковник, принявший Каменского, сразу отвел разговор о фронтовом назначении и вообще склонен был рассматривать Каменского как некадрового командира, из тех, что достаточно напутали в первые месяцы войны. Зато он заинтересовался педагогическим прошлым Каменского, записал для памяти основные данные и назначил ему явиться завтра к вечеру. Оскорбленный и раздраженный, Каменский вышел в длинный, плохо освещенный коридор. Мимо него сновали штабные офицеры с папками и фронтовики в перетянутых ремнями шинелях и в овчинных полушубках с оттопыривающимися на боку планшетами. Каменский вглядывался в них, и какими бы они ни выглядели — озабоченными, веселыми, сердитыми или усталыми, — он завидовал каждому, потому что у каждого из них было свое место в войне.

Каменский ходил взад и вперед по коридору, притворяясь идущим по делу и обдумывая, к кому и как обратиться, чтобы попасть на фронт. Плечо ныло все более нестерпимо, и от этого собственное положение рисовалось Каменскому донельзя безрадостным и безнадежным. Когда он услышал знакомую фамилию — Калганов, упомянутую двумя проходившими мимо командирами, он ухватился за эту фамилию, как за якорек спасения, пусть не очень верный, но все-таки якорек.

— Товарищ капитан! — крикнул он, догоняя командиров. — Простите, где сейчас полковник Калганов?

За то время, что Каменский пролежал в госпитале, фронт стабилизировался, управление им реорганизовалось, вместо войск Красногвардейского укрепленного района и временных оперативных групп сколотились новые армии, занявшие оборону на разных секторах фронта, так что разыскать старых сослуживцев было нелегко. Полковник Калганов... Неужели тот самый полковник Калганов, командир его дивизии?..

— Генерал-майор Калганов, — поправил капитан. — Он здесь, вторая дверь налево.

Калганов был на совещании, но скоро должен был вернуться. Каменский с удовольствием сел в глубокое кресло в углу приемной. Ему вспомнилось утро после успешного боя. В то утро они встретились впервые. Жалоба Каменского командующему фронтом не могла быть приятна Калганову. Но Калганов сумел подавить в себе ненужные переживания и встретил Каменского дружелюбно, с интересом и доверием. Тогда задачей дивизии было закрепить успех, то есть удержать те два километра перед высотой, которые удалось отвоевать Каменскому. Они хорошо поработали вместе в тот день и на следующий, и Каменскому случалось на время забывать о горячей боли в плече и растущей лихорадочной слабости. Он украдкой, воровато проскальзывал в медсанбат на перевязки и отталкивал градусник, который пыталась всунуть ему женщина-врач.

На третий день Калганов приехал в полк, и они вместе лазили по переднему краю, проверяя ход работ по сооружению долговременных огневых точек. Потом вернулись в штаб полка и сели ужинать. Каменский выпил водки, чтобы разогнать странную вялость и беспомощность всего тела, но тело существовало как бы само по себе, не подчиняясь воле и сознанию хозяина.

— Вам выспаться надо, — сказал вдруг Калганов. — Что это вы, Леонид Иванович! Какое-то у вас лицо сделалось...

— Пустяки, — сказал Каменский и с усилием встал.

Ему хотелось освежить лицо и шею холодной, очень холодной водой... Что было дальше, ему никогда не удавалось вспомнить. Как из тумана, выплывала исшарканная сапогами ножка стола и сильные руки Калганова, ухватившие его плечи, и тот звериный, нелепый крик, который вырвался у него при грубом прикосновении к ране... Следующее воспоминание относилось к потряхиванию санитарной машины уже на пути в госпиталь...

— Леонид Иванович! Леонид Иванович!

Он встрепенулся, спросонок удивленно разглядывая стоявшего перед ним генерала и незнакомую комнату... Когда и как он умудрился заснуть?

— Товарищ генерал-майор, прошу извинить меня, — сказал он, вскакивая. — Задремал, ожидая...

— Да я уже час здесь и нет-нет выхожу поглядеть на вас, — сказал Калганов. — Приказал не будить. Да мне скоро ехать, а повидать вас хочется. — И, осторожно обняв Каменского ниже плеча (запомнился ему тот крик!), он подтолкнул его к двери своего кабинета. — Ну, рассказывайте, герой. Где вы? Что? Подлечили вас насовсем?

Как часто бывает с фронтовиками, хоть короткое время провоевавшими вместе, они встретились после перерыва более близкими друзьями, чем расстались. И Каменский даже не стал просить Калганова о помощи, так ясно ему было, что Калганов сделает для него все, что нужно. Сразу успокоившись относительно своей личной судьбы, Каменский вернулся к прежнему строю мыслей и чувств, и ему захотелось обобщить разрозненные сведения, доходившие к нему в госпиталь, и толково разобраться в обстановке на фронтах, в первую очередь на Ленинградском фронте.

— Тяжело, — серьезно, но без всякого уныния сказал Калганов и вздернул шторку, открывая карту-десятиверстку, занимавшую почти всю стену. — Вот, поглядите.

Со сжавшимся сердцем окинул Каменский общие очертания фронта. Хотя он приблизительно верно представлял себе положение, но запечатленная извилами шнура, флажками и значками линия производила тягостное впечатление. Не углубляясь в изучение общего, Каменский поспешно и пристрастно уткнулся в одну, самую дорогую, выстраданную точку фронта. И хотя он знал от Бобрышева и других, как там обстоят дела, обозначение укрепленной высоты с вынесенной на два километра вперед линией передовых укреплений доставило ему удовлетворение.

— Видишь, не отдали. А ты ругался, — сказал Калганов.

Каменский не помнил этого, но было вероятно, что он всячески отбивался от госпиталя и наговорил много лишнего. Поэтому он не поддержал разговора, а только виновато улыбнулся и вновь отступил на несколько шагов от карты, чтобы охватить ее взглядом.

Два вала немецкого наступления, стремительно катившиеся к Ленинграду через Двинск — Псков и через Ригу — Вильянди — Нарву, остановились у самого Ленинграда. Остановились, но не отхлынули, а бились у его стен уже без прежней мощи, а с подтачивающей упрямой злостью. И другой — финско-немецкий — вал перехлестнул через

границу, разлился по лесам и озерам Карельского перешейка, уперся, как в дамбу, в старый железобетонный пояс укреплений.

Как маленький островок, омываемый с запада водами Финского залива и с востока — водами Ладожского озера, а с севера и юга — валами вражеского наступления, ленинградская земля казалась на карте неправильным, вытянутым по углам четырехугольником, в котором сам город занимал непомерно, недопустимо большое место. Стиснутый в нижнем углу четырехугольника, Ленинград почти соприкасался с линией фронта. Черные квадратики его кварталов сбегали вниз, к шнурку, обозначавшему фронт, а некоторые из них — мяскокомбинат, больница Фореля, питомник — были на линии огня. Порт смыкался своими причалами с дамбой Морского канала, а по другую сторону дамбы тянулись немецкие укрепления, и оттуда, наверное, в простой бинокль видны и причалы, и портовые склады, и эллинг Ждановской верфи...

Черный шнурок отделял от Ленинграда такие привычные его пригороды, как Гатчина, Павловск, Пушкин. К другим он подбирался вплотную — Колпино, Пулковое... Извиваясь среди флажков, отмечавших все мелкие колебания фронта, шнурок петлей охватывал Ленинград, прикасался к Неве и затем следовал по линии ее левого берега вплоть до истока, где красный флажок на Шлиссельбургской крепости — на Орешке — обозначал последнюю точку чересчур короткого фронта. А город Шлиссельбург был уже за шнуром, у врага, и дальше враг вырвался на побережье Ладоги, отхватив небольшой, но очень важный его кусок. Здесь, в районе Синявинских болот и узловой станции Мга, замыкалось кольцо блокады. За эти ворота Ленинграда шла кровопролитная, незатихающая борьба. С востока, с Большой земли, в эту болотистую почву вгрызались армии Волховского фронта... На карте не были отмечены позиции Волховского и Карельского фронтов, но чья-то рука крутыми черными дужками обозначила основные точки немецкого и финского наступления, и Каменский отчетливо увидел полуосуществленный замысел врага — встречными ударами от Петрозаводска и Лодейного Поля на юг и от Тихвина на север сомкнуть второе, большое кольцо полной блокады... Пока еще кольцо не сомкнулось, — где-то там под Волховом, под Тихвином и у Свири бились наши армии, отражая натиск врага. И пока им это удавалось, голубой овал

Ладожского озера был для ленинградской земли последней непрочной коммуникацией с Большой землей, с родиной.

Но у Ленинграда была еще и своя «малая земля», для которой он сам являлся «большой землей», — Ораниенбаумский «пяточок». Под короткой змейкой острова Котлин, готового ужалить врага всеми батареями Кронштадта, красноармейцы и моряки отстояли кусочек суши от Петергофа до Копорской губы, — кусочек суши, включавшей Ораниенбаум и мощные форты — Красную Горку и Серую Лошадь. Вытянутой подковой огибал шнурок этот маленький кусочек советской суши. Вся линия фронта была здесь не больше семидесяти пяти километров, — но сколько крови стоил каждый не уступленный врагу километр! Немцы захватили Петергофский дворец и парк со знаменитыми фонтанами, прочно уцепились за берег Финского залива к западу от него — до Стрельны, до завода «Пишмаш», до бухточки напротив Ленинградского порта, полностью отрезав «пяточок» с суши и держа под огнем морской путь из Ленинграда. Жирные красные линии наметили на карте единственную водную коммуникацию, соединявшую две части сражающегося Ленинградского фронта. Подобно двум рукам, протянутым друг к другу для взаимной поддержки, тянулись эти линии от Ораниенбаума вверх и от мыса Лисий Нос по прямой через залив, сходясь, как в братском рукопожатии, в Кронштадте.

Каменский внимательно всматривался в раскрывшуюся перед ним картину запечатленного боя и видел за нею еще очень многое, что нельзя запечатлеть, но что видит каждый фронтовик за скупыми знаками отработанной военной карты: большие и малые цели, выгоды и помехи, мысль командиров и усилия бойцов, труд, пот, кровь, зреющие возможности и безвозвратные потери, дух людей и цифры соотношений. От этой невеселой карты ему не стало горько. Душевную собранность и желание вложить в борьбу собственные силы — вот что рождала в нем эта карта.

— В подобном сужении фронта есть свои преимущества, — заметил Калганов и опустил штормку. — Помните, что у нас получалось вначале? По двадцать пять — тридцать километров на одну дивизию, а дивизия численностью в полк! По одному орудию на километр. Самое большее — по два-три орудия! Никакой глубины обороны, ни-

какого второго эшелона, однолинейность... Прорвется немец в одном месте и рвет фронт, как нитку. А теперь боевые порядки уплотнились, артиллерии по двадцать пять стволов на километр, не считая минометов, оборону построили в глубину, несколько полос. Пусть-ка сунутся!

Каменский с радостью слушал и то, что говорил Калганов, и самый звук его голоса. Конечно, положение фронта было тяжелейшим, оно было, пожалуй, хуже, чем два месяца назад, когда Каменский и Калганов вместе работали над укреплением района вокруг высоты. Но, видимо, с тех пор очень закалился дух армии, укрепились военная организация, в плоть и кровь людей вошли уверенность в своих силах и готовность сражаться и побеждать.

— А что у них? — спросил Каменский.

— Закопались, — ответил Калганов оживленно. — И, знаете, силы у них уже не те. И состав не тот. Среди пленных немцев попадаются очень хлипкие, каких в августе — сентябре не попадалось. И всякого сброду нагнали, даже испанскую «голубую дивизию» из франкистских прохвостов... — Он усмехнулся. — Как нам было плохо, мы с вами помним, Леонид Иванович. Из последнего бились. А вот эта наша неравная, отчаянная борьба все-таки три месяца трепала немцев на подступах к Ленинграду, вывела из строя их лучшие дивизии, обескровила их, измотала. Вспомните, как мы боялись тогда, в сентябре, немедленного ответного наступления. Мы же думали, что они могут собрать такой кулак, который разможжит нам головы. А они не смогли! Уже не смогли... Они так и не предприняли ни одной значительной попытки.

Калганов удовлетворенно помолчал и заговорил другим, деловым тоном:

— Впрочем, силы против нас стоят изрядные. В общем, двадцать одна дивизия, это без финнов, из них три танковые и моторизованные. Одна дивизия СС... Сейчас идет жестокое сражение под Москвой. Наше сопротивление оттягивает от Москвы двадцать одну дивизию. Плюс стратегические выгоды.

— А что в районе Волхова — Тихвина?

— Должны отбить Тихвин. Бои там идут тяжкие. Да еще в тамошней проклятой обстановочке — болота, распутица, леса... Вы обратили внимание на Невский «пята-

чок»? — Он до половины вздернул шторку и ткнул пальцем в маленький клочок берега Невы возле 8-й ГЭС, против Невской Дубровки, в пустой клочок земли, отвоеванный у немцев на левом берегу. — Месяц бьемся за этот «пяточок». Баня! Одна переправа чего стоит! Самое кровавое место фронта... Пытались расширить плацдарм и развить наступление на Синявинские болота, Шестой поселок и дальше — соединиться с Волховским фронтом. Пока не вышло. Но на себя мы тут оттянули немало сил. А это уже помощь, волховчанам легче. — Он добавил тихо: — Если им удастся отбить Тихвин и воспрепятствовать немцам и финнам соединиться по ту сторону Ладожского озера — Ленинград спасен. Не удастся — положение весьма затруднится...

И тотчас, встряхнувшись, спросил:

— Ну, а вы что теперь, Леонид Иванович? Куда вас приткнули?

Каменский коротко доложил свои дела и попросил помочь ему попасть на фронт.

— Знаете, друг мой, — сказал Калганов, — когда я вас там увидел спящим, я поглядел-поглядел и решил: не иначе как сбежал до срока из госпиталя и пришел проситься на фронт. Хорош психолог, а?

— Я вполне здоров и окончательно поправлюсь, когда...

— Леонид Иванович, не ври, милый, ты еще нездоров и не притворяйся. Я уже ученый. А потом, ты думаешь, на фронте сейчас очень интересно? Сейчас у нас задачи очень простые. Наладить снабжение по Ладоге и обеспечить эту коммуникацию — раз. Воспитывать войска к предстоящим боям — два. Придет время для настоящего дела — пойдешь командовать. Обещаю. А перезимуй здесь. Хочешь со мной работать? Мне как раз офицер нужен. Дам возможность и на фронте побывать, да еще не на одном участке, а везде.

Каменский встал:

— Спасибо, товарищ генерал-майор.

— Товарищ генерал-майор будет завтра, когда вы явитесь на работу... Ну, Леонид Иванович, рад, что вы целы. Ох, и напугали вы меня тогда!.. Валится под стол, я на выручку, а он как заорет! В машину — силком... Упорный вы человек.

Жужжа ручным фонариком, Мироша кое-как сползла по темной обледенелой лестнице. Бог знает, что делалось на лестнице. Все носят воду, и носят с трудом, через силу; от этого вода расплескивается и замерзает, образуя ледяные наросты на ступенях.

Дверь на парадной с трудом открывалась из-за тех же проклятых ледяных наростов. Хоть бы на ровном месте у людей хватило ума не расплескивать воду! Скоро нельзя будет ни войти, ни выйти...

Выбравшись на улицу, Мироша сунула фонарик в карман и поплелась к булочной. Было темно, хотя шел шестой час и город уже просыпался — медленно, неохотно — от тяжелого, голодного сна. То тут, то там мелькали неясные человеческие тени, и все направлялись в ту же сторону. Мироша заторопилась.

Она поднялась до света, чтобы занять очередь одной из первых, но у булочной уже стоял длинный хвост. Люди подходили, молча занимали место, потуже закутывали шеи платками и шарфами, тщательно засовывали руки в рукава. И молчали. До открытия булочной оставалось полтора часа. Постепенно светало, и видно было, как клубится над очередью пар от дыхания.

Холод и тоска томили Мирошу. Было нестерпимо стоять на одном месте и молчать.

— Не знаете, гражданочка, хлеб привезли? — спросила она у стоявшей впереди женщины.

Женщина, не желая открывать закутанного полумаской лица, утомленно пожала плечами и не ответила.

Сзади кто-то напирал на Мирошу, стараясь придвинуться к желанному входу в булочную. Хотя Мироше было теплее от вплотную придвинувшегося к ней человека, она все-таки огрызнулась, чтобы нарушить молчание, чтобы поругаться, что ли, — стоят как изваяния, а ведь люди, люди, — разве можно молчать столько времени!

— Извините, — прошелестел за ее спиной старческий вежливый голос. — Холодно, знаете... Сил нет стоять...

— Ну и придвигайтесь поближе, — разрешила Мироша, сразу забыв желание поругаться. — Теперь уж недолго ждать.

— Сегодня двадцать восемь градусов мороза, — сообщил вежливый старичок. — По Реомюру. Давно не было

такой суровой зимы. И хоть бы дров... или хлеба... чего-нибудь одного вволю...

— Что поделаешь! — сказала Мироша, вздыхая. — Потерпеть надо. По Ладогe хлеб везут. У меня племянница...

Оживившись оттого, что удалось найти собеседника, Мироша стала рассказывать и то, что знала от Сони, и то, что придумывала тут же сама.

— Продержаться надо, — говорила она, повышая голос, чтобы слышало побольше народу. — На том берегу Ладоги продовольствия горы лежат. Один очень большой военный говорил, что ждать недолго. Обратите внимание, теперь к открытию булочной хлеб всегда есть: значит, муку подвозят без перебоев. Моя племянница по два раза в сутки оборачивается туда и назад, а ведь она девушка...

— Да тише вы! — вдруг прикрикнули на Мирошу. — Разболтались!..

Готовая к схватке, Мироша обернулась на голос, но все смотрели не на нее, а на угол, где хрипло звучало радио.

— Важное сообщение, — проговорил кто-то.

— Так о Ростове объявляли, — напомнил другой.

И вдруг вся очередь, не сбиваясь, стала тихо перемещаться поближе к углу дома, где чернел репродуктор. Переместилась и замерла.

— ...наши войска... заняли город Тихвин!..

— Тихвин!.. — как один человек, вздохнула очередь.

— Тихвин! — вдруг звонко закричала высокая женщина, стоявшая в очереди первой. — Гражданочки! Тихвин! Вы понимаете, что это значит?! Тихвин!..

— Вот видите! — закричала Мироша и вдруг заплакала и обняла старичка, а потом еще кого-то. — Я же говорила — потерпеть надо... Вот и выручают наши!.. Разве ж бросят нас без подмоги!..

— Теперь еще Мгу взяли бы... — мечтательно сказал старичок.

— Возьмут! — убежденно подхватила Мироша. — Туда, знаете, сколько войска стянуто!..

Высокая женщина вытерла слезы и сурово сказала:

— Ну, давайте назад.

И вся очередь стала пятиться, соблюдая порядок. Попятилась до дверей булочной и замерла. Люди снова потуже закутали шеи, вдвинули руки в рукава. Пар от ды-

хания клубился над очередью, как туман. И тихо шелестели голоса:

— От Тихвина до Мги недалеко...

— Теперь и норму, должно, прибавят...

В этот час старая Григорьева проснулась и долго смотрела в темноту, свыкаясь с тем, что несчастье только приснилось... Один и тот же сон приходил к ней каждую ночь, и каждую ночь, просыпаясь, она не имела сил радоваться пробуждению, потому что сон казался вещим.

Белые снега виделись ей, белые-белые бескрайние снега, и дымный налет на снежном насте, и разорванная колючая проволока, полузанесенная снегом. Медленный полет снарядов виделся ей — очень медленный и до ужаса неотвратимый полет снарядов, расчерчивающих серый полумрак красными и зелеными трассами. И все они приближаясь прямо к ней, а она была не она, а младший сын Мишенька. Мишенька бежал, полз и снова бежал вперед по глубокому снегу, хрипло крича и задыхаясь от крика и от бега, бежал прямо навстречу неотвратимым снарядам и вдруг падал плашмя лицом в снег...

— ...наши войска заняли город *Тихвин!*..

Она села на своем тюфяке, вслушалась, закричала:

— Маша! Мария Николаевна!

Мария, еще не раскрывая глаз, вскочила с диванчика, готовая делать все, что нужно, все, что придется: спасать, тушить, успокаивать, приказывать...

— Радио, Машенька! Радио слушай! Тихвин...

Мария выслушала сообщение до конца, потом прослушала его вторично. Значит, началось... Первые шаги победы. Только трусы и маловеры считали нас фанатиками, мы знали, что делаем, мы сопротивлялись и верили в победу, и вот она идет, идет сюда, в голодный мрак осады...

Когда Мария дрожащими руками нащупала спички и зажгла фитилек коптилки, она увидела, что Григорьева сидит, покачиваясь, закрыв глаза, и частые слезы сбегают по ее морщинистым, изглоданным морозом и ветром щекам.

— Ты что?.. Родная, зачем?..

— Слава богу,— сказала Григорьева, открывая глаза, полные страдания и того высокого жертвенного подъема, который, быть может, впервые на земле с такою силой

и полнотой владел душами людей. — Слава богу, если не зря...

В тот же час на танковом заводе, в цехе Курбатова, рабочие и работницы маленькой, сплоченной кучкой стояли под репродуктором и слушали голос московского диктора, торжественно повторявшего сообщение Информбюро. Их было немного сейчас в громадном цехе, и они уже вторые сутки не уходили с завода. Два искалеченных тяжелых танка получили они для ремонта и для смены башен, два танка, которые нужно было скорее вернуть в строй. Всю эту ночь люди работали на пределе. Жидкий рассвет, просачиваясь в разбитые окна, оттенял землистую бледность лиц. И необыкновенно было выражение восторга и уверенности на этих истомленных лицах.

— Ну, что будем делать в честь победы, товарищи? — спросил Григорий Кораблев, улыбаясь.

Он еще недавно обещал своим людям перерыв для отдыха и еще недавно сам мечтал уснуть, закрывшись в конторке.

— Продолжать придется, — ответил самый старший из рабочих. — Порадовались — вроде как выспались. Что ж теперь другого сделаешь.

— Не спать же сейчас! — воскликнула Люба.

— Теперь и не заснешь, пожалуй, — вслух подумала Лиза и первой пошла к своему рабочему месту, с некоторым удивлением прислушиваясь к невнятным голосам надежды и радости, звучащим в ее душе.

Значит, победа может поспеть и к ним? Значит, спасение возможно?..

Над грузной машиной танка заискрилось ослепительное пламя сварки. Люба с гордостью смотрела через щиток, как кипит, стягивая трещину, раскаленный металл.

В этот же час Вера Подгорная слушала, прижав ладони к животу, как властно бьется в ней новая, созревающая жизнь. Ее бесслезные глаза затуманились, и она сказала громко, как обычно говорила в эту зиму, отгоняя одиночество и мертвенную тишину:

— Теперь мы с тобой, кажется, выживем...

Тем же утром, радуясь позднему рассвету, капитан Каменский мчался навстречу потоку санитарных машин в район Невской Дубровки со срочным пакетом из штаба

фронта. Войска невской оперативной группы вели неза-
тихающие кровавые бои на Неве, пытаясь расширить
плацдарм на левом берегу и прорваться в район Синя-
винских болот в направлении станции Мга; в крайнем
случае они должны были сковать противника и отвлечь
на себя часть немецких войск, сопротивляющихся наступ-
лению Волховского фронта. Каменский не слышал торже-
ственного сообщения по радио. Он еще ночью узнал о
взятии Тихвина и теперь был поглощен заботами своего,
Ленинградского фронта.

Упорно переправляясь через Неву и еще на переправе
неся огромные потери убитыми, ранеными и затынутыми
под лед, войска вгрызались в немецкую оборону и не
могли прогрызть ее. Удастся ли заметить какую-нибудь
возможность, не замеченную другими, угадать хоть не-
большую слабость противника, не угаданную другими?
Удастся ли хоть что-нибудь придумать, подсказать, посо-
ветовать?.. Ведь надо, надо, надо опрокинуть немецкую
оборону и прорваться туда, к Мге и Тихвину, разрывая
кольцо осады!

Тем же утром Митя Кудрявцев, один в заваленном
трупами окопчике, вглядывался слезящимися от напряже-
ния глазами в белое пространство перед окопчиком и
время от времени, припав к автомату, неторопливо выпу-
скал короткую, хорошо рассчитанную очередь. Уже скоро
сутки — день, вечер, ночь и этот первый час утра, — как
Митя с товарищами оборонял занятый ими немецкий
окопчик. В течение этих часов Митя иногда оглядывался
и замечал, скольких товарищей уже нет в живых, и то-
гда ему казалось, что сам он неуязвим и останется не-
уязвимым до тех пор, пока удерживает окопчик. Только
что рядом затих раненный еще ночью боец Карпушин,
последний его товарищ. Митя подтянул к себе оставшиеся
диски и снова внимательно оглядел неподвижное белое
пространство перед окопчиком. Он ничего не знал о Тих-
вине и ничего не знал о том, что творится на соседних
участках боя, — он думал только о том, чтобы удержать
с таким трудом завоеванный окопчик до прихода под-
моги, и о том, как он будет удерживать его, если немцы
снова полезут в атаку, как уберечь себя от шальной пули
и как растянуть оставшийся боезапас... Ничего важнее
этого окопчика не было для него сейчас на свете.

А в полукилometре от него в тот же час раннего утра Алексей Смолин в четвертый раз атаковал небольшой бугорок, превращенный немцами в крепость, и для него не существовало сейчас ничего важнее этого бугорка, который ему было приказано захватить. Когда утренний блеск заиграл на взрытом снарядами снегу, Алексей протер полуослепшие от бессонного напряжения глаза, размазав по щекам пороховую копоть, и сказал себе, что пробьется во что бы то ни стало, — лучше помереть, чем этак топтаться возле одного бугорка. А когда Яковенко вызвал его по радио и спросил: «Ну как?» и вдруг многозначительно добавил: «Нажимай, Алеша, волховчане взяли Тихвин!», — Алексей представил себе Тихвин в виде такого вот бугорка, который невозможно взять и который все-таки взяли... И он повел свои танки в пятую атаку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СТИСНУВ ЗУБЫ

1

Кончался тысяча девятьсот сорок первый год.

Каменский работал много и с увлечением, жадно учась всему, что могло пригодиться ему как командиру. В штабе он повседневно сталкивался с основными вопросами руководства, снабжения и обеспечения армии, о которых имел очень смутное представление в батальоне. Теперь он видел общее положение, общие замыслы и потребности фронта и понимал, что они порой расходятся с замыслами и желаниями низовых командиров, склонных судить обо всем по положению на своем участке.

Калганов сдержал свое слово и давал Каменскому возможность бывать на разных участках фронта. В свободные минуты он любил по-дружески побеседовать с Каменским и скоро сделал его своим первым доверенным помощником. Каменский ценил это и знал, что работа в штабе даст ему знания и опыт, полезные для любой командной должности. Но стоило ему остаться наедине с самим собой, как тоска по непосредственному боевому делу, по прежним своим боевым товарищам — командирам и бойцам — начинала грызть его. По ночам не спалось, ныло плечо и осаждали горькие, тревожные мысли.

Разгром немцев под Тихвином был огромной, спасительной победой, избавившей Ленинград от угрозы полного окружения. Но кольцо блокады по-прежнему охватывало город, подступая к самым его окраинам. Правда, теперь ладожская ледяная дорога — последняя коммуникация Ленинграда — стала короче, удобнее и подвергалась сравнительно меньшей опасности: с берега простреливалась только небольшая часть трассы. «Дорогой жизни» с благодарностью называли ее ленинградцы. Она не давала городу погибнуть, но еле справлялась с самыми неотложными, первостепенными перевозками и пока, в

результате героических усилий, лишь поддерживала бесперебойное снабжение хлебом по голодной норме.

В безрадостных думах Каменского обступали истощенные, опухшие от голода и холода ленинградцы,— обступали и спрашивали все одно и то же: «Скоро ли вы нас спасете?» В жизни они проходили мимо него не глядя, равнодушные, занятые своими мыслями и делами, без жалоб и упреков, проходили своей неточной, медленной походкой. Может быть, они хорошо понимали: армия делает все, что может, нельзя требовать от нее того, что сейчас невозможно, непосильно... Может быть, они понимали это, но Каменскому чудилось, что каждый встречный говорит ему с презрением и гневом: «Ты военный, тебе дано оружие, чтобы сражаться. Отчего же ты ходишь здесь, живой, с оружием на боку, вместо того чтобы уничтожать врагов?»

Попытки опрокинуть немцев в районе Синявинских болот не удались. Каменский побывал на «пяточке», на левом берегу Невы, видел мучительную переправу войск через Неву под прицельным огнем противника. Ощущал упорство, с каким командиры и рядовые бойцы прогрызали немецкую оборону. Встречал раненых, открывавших воспаленные от боли глаза с вопросом: «Ну, как там? Прорвали?» Нет, войска не были виноваты. Они делали что могли, с каждым днем обогащаясь опытом штурма долговременных укреплений, но у них еще не хватало ни сил, ни техники, ни боезапасов, ни умения. Нужно было ждать, пока лихорадочная работа тыловых заводов и ленинградских простреливаемых цехов снабдит армию всеми средствами наступления. Нужно было ждать, пока командование сможет стянуть под Ленинград необходимые силы. Нужно было упорно, повседневно учить, тренировать войска, в малых боях закаляя их для будущих больших боев. А пока — держать линию фронта и охранять последний путь из заблокированного города к родине. А пока — голодать самим и знать, что рядом голодают, мучаются, мерзнут женщины и дети...

Каменский разговорился однажды с бойцом-снайпером. И боец, деревенский парень с добродушным лицом, сказал ему, мрачно насупясь:

— Так ведь как же, товарищ капитан. Съездил я недавно в Ленинград... посмотрел... И они на меня смотрят, жители... Так я рад был обратно вернуться на передо-

вую. Совестно. А теперь, как фашиста поддену, в книжечку себе отмечу — вроде очистишься от стыда.

Затем он стал объяснять Каменскому все хитрости своего истребительного искусства. Говорил он спокойно, обстоятельно, о своих хитростях — с лукавой усмешкой, об убитых врагах — с холодной злобой.

Приехав в тот день в город, Каменский отправился к Марии на объект и, сидя у печурки в ее тесной комнатке без окон, сказал ей с горечью:

— Сейчас есть только одно счастье — воевать.

Мария недобро усмехнулась:

— А что вы предлагаете мне?

В последнее время между ними установились отношения, похожие на вооруженный мир. Поводом для назревающей ссоры являлось желание Каменского эвакуировать Марию с Андрюшей и Анной Константиновной, для чего он хотел воспользоваться предстоявшей ему поездкой на ладожскую трассу. Мария склонялась к тому, чтобы отправить Андрюшу с бабушкой, а самой остаться в Ленинграде, но на это не соглашалась Анна Константиновна: «В такое время дробить семью — кроме горя, ничего не будет. И не возьму я такой ответственности на свою душу. А потом, на кого же я всех ребятишек брошу? Это же дезертирство!»

Мария и Каменский с радостью открывали друг у друга сходные мысли, взгляды, родство душевных укладов и охотно уступали друг другу в том, в чем они не сходились. Но в вопросе об эвакуации Мария не проявляла никакой уступчивости, лицо ее становилось упрямым и недоброжелательным, она злилась и, видимо, готова была поссориться навсегда. Каменскому не хотелось ссориться, и все же он опять заговорил о том же, потому что ему была невыносима мысль об опасности, которой она подвергалась ежедневно, и о том, что с нею будет, если погибнет Андрюша.

— Перестаньте! — закричала Мария, бледнея. — Перестаньте травить мне душу или не приходите больше!

Каменский опустил голову, оскорбленный ее резкостью. Но ее угроза показалась такой невыполнимой, что он тихо засмеялся и сказал:

— Не выйдет.

— Что? — не поняла Мария.

— Не приходите...

Она медленно краснела, глаза ее сияли. Он взял ее руку и осторожно поцеловал. Рука огрубела, в шершавую от холода кожу вьелась коготь. «За руки, выпачканные в земле...» — про себя повторил он. Когда он вспомнил ночь перед атакой и разговор с Митей Кудрявцевым, всё казалось ему предзнаменованием, которого он не сумел тогда понять.

— Знаете, Марина, — сказал он, радуясь ее смущению, — если бы сейчас не было вот этой тьмы, голода, обстрелов, смертей... если бы вы были сейчас нарядной, с маникюром... вряд ли я бы так любил вас...

Он не ждал ответа и сам первый заговорил о другом. Взволнованная его признанием, Мария с трудом понимала то, что он говорил о политике англичан и американцев. Ее всегда удивляла способность Каменского мгновенно переключаться с интимного разговора на военные, общеполитические темы и говорить об этом с увлечением, целиком отдаваясь своим мыслям. Она любила людей, живущих напряженной умственной жизнью, но ей хотелось, чтобы Каменский проявлял больше пылкости и настойчивости, меньше рассудительности. И она обрадовалась, когда — в середине длинного рассуждения — Каменский неожиданно потянулся к ее руке, прижал к своей щеке ее шершавую ладонь и воскликнул почти со стоном:

— И все-таки — если бы вы уехали! Как бы я был спокоен тогда...

— А зачем нужно быть сейчас спокойным? — возразила она. Но, желая утешить его после недавней обиды, предложила: — Пойдемте ко мне. Сегодня я отдыхаю дома.

Когда они вышли на улицу, уже стемнело, но где-то за домами вставал молодой месяц, в его отраженном сиянии голубоватым блеском мерцал снег, сугробами заваливший и улицы, и крыши, и подоконники. Чуть мерцали и стены домов, покрытые густым инеем, — должно быть, иней выступал на стенах оттого, что дома были нетопленые. Но Мария думала не об этом — уже привычном — бедствии, а о том, как белые плоскости подчеркивают архитектурные формы, придавая городу таинственный, новый, почти сказочный вид.

— Смотрите, как красиво! — сказала она, останавливаясь.

Они вышли на набережную, окаймленную белыми домами с искрящимися обледенелыми балконами, с мерцающими обындевелыми колоннами. Перед ними прости-

ралась широкая бело-голубая гладь Невы с неясными силуэтами вмерзших в лед кораблей.

Среди сугробов от одного берега к другому темной ниточкой вилась пешеходная тропка, и по ней медленно двигались две черные точки. Вглядевшись, Мария различила фигуру человека, впряженного в нагруженные санки. Она поспешно отвела взгляд.

— Пойдемте, здесь холодно.

Они тихонько пошли дальше. С Невы действительно веяло морозным ветром, но идти быстрее было трудно, ноги не слушались.

Со льда донеслось негромкое постукивание лома. Они поравнялись со спуском к реке и увидели на льду несколько темных фигур. Тут же, на снегу, стояли ведра и бидон. И тут же, рядом с прорубью, вокруг которой молча и немощно возились люди, неясно вырисовывался лежащий человек в платке и тулупе, уже присыпанный снежком.

— Прорубь долбят, — прошептала Мария, поеживаясь, и потянула Каменского в ближайший переулок.

Здесь она сказала, указывая на развалины разбомбленного дома:

— Мне бы хотелось разработать проект жилого дома на его место... Этот был не очень хорош.

Каменский понял, что она старается сохранить радостное настроение, и поддержал ее мечту — почему бы ей и не разработать такой проект! Кончится блокада, и настанет пора восстановления...

— Мы будем знать, как жить после войны, — сказала Мария.

Входя в свою парадную, она спросила:

— Правда ведь, где-нибудь в тылу... вообще не здесь... никто не поверит, что мы бываем иногда счастливыми?

— Счастливыми? — воскликнул Каменский, нащупывая во мраке перила и подавая ей руку, чтобы она не поскользнулась на обледенелых ступенях.

— Да, да, — быстро сказала Мария. — И ради бога не возражайте. Вы должны понять сами. Или молчите. Не сбивайте. Мне так хорошо сейчас. Я бы хотела, чтобы вы все, все понимали. Все!

Ей было бы трудно доказать кому-нибудь, что в этих нечеловеческих условиях существования можно порой чувствовать себя счастливой. Но это было так. Чем непо-

сильнее было бремя, тем глубже и полнее было удовлетворение оттого, что хватает сил нести его, не сдаваясь, не жалуясь. Впервые в жизни Мария расходовала свои силы так безостаточно, впервые она чувствовала себя такой необходимой людям, даже тем, кто ворчал на нее, требовал от нее невозможного и срывал на ней свое голодное раздражение. Пусть это была ничтожно малая точка в обороне Ленинграда — ее объект, и пусть совсем крохотной частицей коллектива ленинградцев были люди, которыми она руководила, — но разве не из малого слагается большое?

Только разговоры об эвакуации нарушали ее душевное равновесие. Ведь все определялось внутренней настроенностью. Надо было уверовать в то, что никакого чуда не будет, что тебя лично никто не спасет, не выручит, что ты и твои близкие будут до конца разделять судьбу города, а значит, надо бороться за свой город и за его судьбу, как за самого себя, как за своего ребенка. Но борьбы открытой, вооруженной не было. Баррикады занесло снегом. Борьба заключалась в терпении и выдержке, в стойкости личного поведения и в том, чтобы в голоде, во мраке, в холоде подбадривать окружающих людей и помогать тем, у кого силы иссякают. Это и значило — *выдержать*. Мария сумела создать у себя такую душевную настроенность, но знала, что ее силы тоже не безграничны, и раздраженно отметила все, что могло поколебать ее, ослабить ее волю.

— Вы же знаете, я упорствую только потому, что люблю... — глухо сказал Каменский, помогая ей передвигаться с одной обледенелой ступени на другую. В полном мраке ему было легко говорить ей о том, что он обычно тайл про себя. — Мне трудно прожить день, не увидев вас, и все же я настаиваю, чтобы вы уехали куда-то за тридевять земель. Дико, правда?

Помолчав и тяжело дыша от усилий, которых требовал подъем, Мария сказала:

— Ну вот. Я задумалась и сбилась со счета. На каком же мы этаже?

Холод, мрак и безмолвие окружали их.

— Подождите. Передохнем и разберемся. У меня есть несколько спичек. И как вы здесь ходите одна!

— Я всегда считаю ступени, — виновато объяснила Мария.

— Слушайте! Кто-то поднимается!

Оба перегнулись через перила. Где-то внизу, как на дне глубокого колодца, прыгало пятно жидкого света и гулко звучало шарканье подошв, жужжание ручного фонарика и негромкие голоса. Людей не было видно, свет двигался перед ними, выхватывая из мрака то обындевелье, в сосульках, перила, то голубоватые наросты льда, под которыми скрывались ступени. Люди поднимались все выше, слышно было их усиленное дыхание.

— Фу ты! — сказал один. — Колени трясутся от страха. Живы ли там?

— Похоже на мертвое царство, — ответил другой. — На фронте никогда не было так жутко.

— Да это же наши! — узнала Мария и закричала вниз, в гулкий черный колодец: — Митюша! Алеша!

— «Мертвое царство! Жутко!» — через минуту подшучивал Каменский, по очереди обнимая Алексея Смолина и Митю. — А мы вот ходим себе и ходим. И говорили сейчас о счастье.

— Мы ж с фронта, к вашим ужасам не привыкли, — отшучивался Алексей.

Когда Анна Константиновна увидела входящих с дочерью гостей, она стыдливо ахнула, поставила коптилку на столик и скрылась.

— Я только переоденусь, — донесся из темноты ее голос. — Можете снимать шинели — в комнате тепло.

Она вышла снова, уже в пуховом платке на плечах. Под тщательной прической ее осунувшееся лицо выглядело особенно истощенным и бескровным. Но большие темные глаза оживленно блестели.

— Идите в Мусину комнату, там мы все теперь живем вокруг печурки, — говорила она мужчинам. — Печка еще не протопилась, и чайник скоро закипит. Только не разбудите Андрюшу.

Добравшись до своей кровати, Мария не могла не лечь, ее тело действительно требовало отдыха. Стараясь не заснуть, она смотрела на мужчин, усевшихся кружком перед печкой, слушала их голоса, смутно понимала, что Митя и Алеша были вызваны для награждения орденами, со стыдом отметила, что она лежит и молчит, в то время как надо встать, расцеловать их, поздравить... Когда она проснулась, Анна Константиновна рукой в рукавице снимала с углей чайник, а мужчины разговаривали шепотом. Должно быть, она спала всего несколько минут, судя по тому, что чайник только что закипел...

— Можете говорить громко, я не сплю,— сказала она.

— А ты поспи, Муся, отдохни,— сказал Алексей. И продолжал начатый разговор: — Это вы правы. Не свойственна русскому человеку холодная расчетливость. И так же не свойственно ему чувство непреходящей, холодной ненависти. Это в психологии каждого снайпера-истребителя. Но сейчас это массовое явление. Что же, значит, народ приобрел новые, не свойственные ему черты?

— Ненависть родилась от гнева, от горя,— сказал баском Митя. — А расчетливость — это уж приложение... раз без нее нельзя.

— По старинке считалось, что русскому солдату самое свойственное — рукопашный бой,— заговорил Каменский, помешивая горячие, вспыхивавшие синим пламенем угли. — И верно, в рукопашной русский солдат — царь и бог. Ну, а в артиллерии? Ты, Митя, наблюдал в работе своего приятеля Бобрышева? Тоже царь и бог! Или, скажем, танки. Ну-ка, Смолин, кто крепче воюет — немецкий танк или русский?

— А по-моему,— сказала Анна Константиновна, накрывая чайник пестрым гарусным петухом,— а по-моему, тут дело не в национальности, а в идейности. В разнице целей и убеждений...

— Прямо в точку, тетя Аня! — подхватил Алексей. — Грабитель смел, пока цел, а когда по шапке надавали, он в кусты... За что ему жизнь отдавать? Чтоб другой награбил?

— К сожалению, они не просто грабители,— заметил Каменский. — У них есть убогая, гнусная, преступная, но философия. Целое поколение немцев оболванено фашизмом. И они будут драться очень упорно, даже когда поймут, что их дело проиграно. А все-таки и здесь, под Ленинградом, и когда-нибудь под своим Берлином они будут драться хуже наших бойцов.

— Знаете, что я вспомнил, Леонид Иванович? — сказал Алексей. — Нашу ночную беседу в землянке... Помните? Счастливому человеку трудней раскачаться на войну, но за счастье он будет драться так, как никогда еще не дрались люди на земле.

— Помню... Но, должно быть, я был тогда прав только отчасти. Во всяком случае, о ходе войны у меня было представление неточное, узкое, со своей кочки, а с кочки немного увидишь. Помните, мы с вами сколько тогда ворчали? Тут пехота побежала, там сосед подвел, здесь

авиация не прикрыла или артиллеристы сплеховали. Все это было. Но целого мы не видели. А в целом получилось то, что врага измотали и спесь ему сбили, блицкриг его сорвали, урон ему нанесли сильнейший, и вот теперь начали громить по частям — под Ростовом, под Тихвином, под Москвой... И мы с вами, что бы там ни случилось порой, первыми остановили немцев под Ленинградом.

— А я другое вспомнила,— многозначительно сказала Анна Константиновна. — Вот вы вошли сегодня, Митюша... с орденом, с отличием, настоящий воин, даже лицо у вас другое стало... А мне вспомнилось, как вы сюда из окружения вернулись...

— Это когда вы меня за дезертира приняли?

Он искусственно засмеялся и оглянулся на Марию. В глубине комнаты было полутемно, и Митя не увидал, а угадал улыбку Марии.

— А что ж, Митя,— сказал Каменский. — Я вас встретил уже обстрелянным, на вас можно было положиться. Сейчас вы — герой, с орденом за боевые дела. А ведь и вы когда-то от немца бегали, верно?

— Я же был мальчишкой,— срывающимся голосом сказал Митя. — Конечно, случалось так, что и бегал...

— Умения не хватало,— заговорил Алексей. — Я хоть и не бегал, а как вспомню свой первый бой — ну, разве это бой?! Азарта много, злости много, а действовать экономно, беречь друг друга, бить точно в уязвимые места не умели! Но что вы верно сказали, Леонид Иванович, и тогда уже я видел в тем, как мы воюем, что-то глубоко отличное от того, как воевали немцы. Я уж не говорю о том, что можно назвать общим замыслом, стратегией войны. Но даже в психологии, в настроенности каждого бойца... Тут говорили — расчетливость и ненависть. А я бы сказал — беззаветность. И, если хотите, любовь.

— Любовь? — переспросила Анна Константиновна.

— Да, любовь. Но многому любовь — к родине и к товарищам, к нашему Яковенко — чудесный он командир! — и к каждому нашему кустику на каждой нашей полянке... Ко всему в целом. Это и есть наша жизнь. Да и к танку своему тоже... Так ведь и сильная ненависть бывает только там, где есть сильная любовь. А расчетливость и у нас есть, да еще какая! Только мне кажется, что она во всяком деле есть, если человек этим делом владеет.

— Вот мы и вернулись к началу разговора,— перебил его Каменский. — Ты спрашивал, Алеша: что же, новые черты в народе появились? Может быть, и не те, что мы называли — они действительно приложение, — а новые черты, конечно, появились. Или, если хочешь, выявились. Они до войны еще сформировались, в годы пятилеток. Смелость, презрение к шаблонам, уважение и доверие к технике, товарищество, умение коллективно жить и коллективно бороться, масштабность мышления, чувство ответственности — я бы его назвал чувством государственной ответственности... Русского характера, который сказывался в рукопашной, мы не потеряли. Наоборот, этот характер закалился, усилился. Но и рассчитывать, планировать, предугадывать научились. Так ведь хозяйева!

Он поглядел в полумрак, стараясь увидеть Марию. Она встала и подседа к огню, обняв Алексея.

— Вы говорите так, будто мы уже победили,— сказала она. — Мы все говорим так... И в этом, наверно, самое полное проявление нового качества советского человека.

— А все-таки до победы еще далеко, и мне за вас всех страшно,— сказал Алексей и погладил прильнувшую к его плечу голову Марии. — Уехали бы вы, право...

— Брось, Лешенька,— протянула Мария.

Каменский ревниво поглядывал на то, как ласкова Мария со своим братом, каким нежным румянцем ложатся отблески огня на ее похудевшие щеки, и сам не понимал, почему ему не хочется больше настаивать на давно продуманном и бесспорно разумном решении.

2

С тех пор как Люба и Сашок поступили на завод, они редко уходили домой, обычно ночевали в заводском бомбоубежище, приспособленном под общежитие бойцов групп самозащиты. Сашок чистил приходившие на ремонт танки, бегал с поручениями по цехам, приглядывался к работе сварщиков, а иногда и помогал им, по тревоге дежурил связистом в заводском штабе ПВО. Он бывал во всех цехах завода, даже в том особо секретном цехе, где работал перед смертью его отец и где делали «те штуки». Завод стал его домом, его семьей, средото-

чием всех его интересов и жизненных планов. Он голодал, почти не замечая голода, и был непоколебимо уверен, что на днях Красная Армия возьмет станцию Мга и все наладится. Мать присылала ему изредка коротенькие, ласковые письма. Она работала на строительстве оборонительного рубежа в верховьях Невы и не приезжала домой с осени.

В декабре она вернулась совсем.

Она пришла на завод и вызвала сына в проходную. Сашок увидел ее запавшие, лихорадочные глаза, блестящие на обветренном, скуластом от худобы лице, и сердце его сжалось от тоскливого предчувствия.

— Отпустили меня, сынок, — сказала мать виновато.

— Совсем? — испуганно спросил Сашок, страшась услышать то, о чем молчаливо свидетельствовал весь облик матери.

— Захворала я, — еле слышно сказала мать. — Ты домой вернешься... или как?

— Понятно, вернусь, — солидно ответил Сашок. — Ты иди. Я только смену доработаю.

В цехе его страх развеялся. Он всем сообщил, что вернулась мать с оборонительных и что она захворала. Слово это звучало нестрашно, и Сашок сам поверил, что все обойдется. Домой он бежал вприпрыжку. Ему представлялось, что мать в домашней обстановке уже оправилась и встретит его по-прежнему заботливой, домовитой, все умеющей сделать быстро и хорошо, как никто другой. Но когда он вошел в комнату, мать лежала на кровати с полузакрытыми глазами, накинув на себя одеяло и полусубок. Сухие губы ее потрескались от жара.

Увидав сына, она приподнялась и, стараясь держаться по-прежнему, как ни в чем не бывало, стала расспрашивать Сашку, чему он успел научиться, кем он будет на заводе, когда выучится, сколько он зарабатывает. Ее радовало, что сын стал самостоятелен и путь его жизни определился, что на заводе много старых отцовских друзей и что они внимательны к Сашку. Но глаза ее смотрели все с той же странной робостью и виноватостью.

Она заставила себя встать и вынула из печки котелок картошки.

— Ой, откуда? — воскликнул Сашок, теряя всю свою солидность.

— Накопала на брошенных огородах. Я тебе целый мешок привезла.

В ее лице впервые мелькнула гордость.

— Ешь, сыночек,— сказала она и присела у стола, любуясь, как быстро и жадно ест Сашок. — Наголодался, бедняга...

Мерзлая картошка имела тошнотворно сладкий вкус, ее мучнистая масса вязла во рту, но это была еда. Сашок опомнился, когда на дне котелка осталось три картофелины.

— А ты, мама? — спросил он со стыдом.

— Доедай, Сашок,— сказала мать. — Я не хочу.

Он доел картошку без охоты, мучаясь подозрениями. Ночью, когда мать потушила свет, он наконец решился спросить:

— Ты очень заболела, мама?.. Тебе плохо, да?..

— Ничего, отлежусь.

— А что у тебя? Доктор что сказал?

— Простыла я на земле,— коротко объяснила она. — Легкие болят. А так, доктор говорит, организм здоровый. — Она долго молчала и затем еле слышно проговорила: — Ничего, Сашок. Запомни мои слова: отольется им все наше горе. Отольется!

И Сашок понял — плохо ей, совсем плохо.

В последующие дни мать поджидала его с работы, как, бывало, ждала отца. Спешила накормить его и расспрашивала о заводских новостях. Обманутый деланной бодростью матери, Сашок отстранился от страшной правды, открывшейся ему в первый вечер, и жизнь у них пошла так, будто ничего не угрожало разлучить их. Но в самых тайниках его сознания бился детский ужас перед неизбежной утратой.

— Ешь, мама,— просил он, не зная другого средства сберечь ее.

— Я уже ела, сынок,— отвечала она и, сложив руки, следила за тем, как он ест. Потрескавшиеся губы ее шевелились, будто она жевала вместе с ним.

Он не мог удержаться и съедал все, что она давала ему, но все настойчивей требовал, чтобы она ела вместе с ним, и все меньше верил ее утверждениям, что она поела перед его приходом.

В выходной день он последил за нею и заметил все ее увертки.

— Ты меня обманываешь! — сказал он с обидой. — Ты думаешь, я не вижу? Ты от картошки отказалась, а кожуру потихоньку съела... А ты больная, тебе важнее есть, чем мне!

Она обняла его и прижалась щекой к его волосам, краями губ поцеловала его в висок и просто сказала: — Обоим не выжить, сынок. Выживи хоть ты.

Чувствуя себя снова маленьким и совершенно беспомощным перед надвигающимся несчастьем, Сашок снизу вверх поглядел в ее лицо, — оно было грустно и спокойно. В глазах не было ни лихорадочного блеска, ни обреченности, а светилась материнская бескрайняя любовь.

Он всхлипнул и прижался к матери, и ощутил горячую влажность ее руки и бестелесную худобу ее плеч и груди. Ему живо вспомнились ее крепкие красивые руки, какими они были еще осенью, загорелые до запястьев, а выше — молочно-белые. И ее звучный голос, каким она тогда говорила, — будто в поле на ветру. Ему захотелось плакать навзрыд, но он только сопел носом, жалобно припав к изнуренному, снедаемому болезнью, бесконечно дорогому существу, от которого отходила жизнь.

Утром он пошел на завод с твердым решением поговорить с Любой, со старыми друзьями отца, а может быть, и с самим директором — просить помощи. Он не знал, чем можно помочь в такое трудное, голодное время, но верил, что столько взрослых хороших людей собьют что-нибудь придумают.

Станным показался ему завод в то утро. Угрюмым. Затаившимся. Не отдавая себе отчета в том, что изменилось, Сашок прошел в свой цех. Пусто было в цехе. Белый иней осел на металле, нетронутый снежок лежал в проходах. Звуки жизни неслись из соседнего цеха, руководимого Солодухиным.

Сашок заспешил туда, но увидел только нескольких рабочих, — они укладывали в ящики готовые детали. Не смея спросить их, что случилось, Сашок остановился рядом с ними и сказал:

— Доброе утро!

— Добрее не бывает, — буркнул один из рабочих.

Оробев, Сашок поплелся дальше. Навстречу ему попались Курбатов с Григорием Кораблевым. Обычно они сами заговаривали с Сашком при встрече, а сейчас прошли мимо, не обратив внимания на его приветствие. По-

том он увидел директора, — Владимир Иванович шел по двору с таким видом, будто у него болят зубы.

Сашок направился в общежитие групп самозащиты. В подвале, заставленном койками, было пусто. На буржуйке в большом чайнике клочкотала, бесцельно выкипая, вода.

Сашок отодвинул чайник с огня и присел у печки, грея руки. И вдруг увидел совсем близко Лизу Кружкову. Она лежала на одной из ближайших коек, натянув до подбородка одеяло, и смотрела на Сашку остановившимся взглядом.

— Здравствуйте, Лиза, — сказал он.

— Здравствуй, — ответила она.

— Захворала?

— Нет.

— А у меня мама захворала... Очень...

— Дистрофия? — равнодушно спросила Лиза.

— Нет... Легкие болят. Простыла на земле... У нее совсем сил нет... и одни косточки остались...

Он вскрикнул и опустил голову.

Лиза долго молчала. Выражение безразличия ко всему на свете постепенно сменялось выражением сочувствия. Она встала и подсела к Сашку:

— Не плачь. Может быть, ее можно в больницу устроить?

— Говорят, мест нету.

— А если завод похлопочет?

— Не знаю... Я хотел попросить... Да сегодня что-то случилось?

— Случилось?! — с горечью воскликнула Лиза. — Ничего не случилось, Сашенька... Ничего! — Она сама вскрикнула и заговорила с отчаянием, впервые высказывая вслух то, что переполняло ее, и совершенно забыв, что перед нею пятнадцатилетний мальчишка. — Все одно к одному... На что рассчитывать? Ничего не случилось и уже не случится. Стал завод. Скрипел, скрипел — и стал. Току нет. А и был бы ток — сколько дней еще протянули бы? Угля нет, металла нет. Люди от голода качаются... Все одно к одному, Сашенька... К концу...

— К концу? — переспросил Сашок.

— А ты как думаешь?

Она взглянула на него с надеждой. Даже от мальчика было бы приятно услышать какое-нибудь обнадеживающее слово.

— Не знаю... — пробормотал Сашок.

— Все одно к одному, — повторила Лиза.

Прекращение работы завода потрясло ее, ошеломило, выбило из колеи. Так же как и другие окружающие ее люди, она своими руками создавала средства для победы, провожала их в бой и не могла не верить в то, что они помогут. После взятия Тихвина она стала надеяться на скорое избавление. И хотя в одиноких размышлениях она по-прежнему убеждала себя в том, что ей лично ничего от жизни не нужно, надежда бодрила ее. После сообщения о разгроме немцев под Москвой ее охватило страстное нетерпение. Со дня на день она ждала еще более победных сообщений. Она жадно расспрашивала всех военных, приехавших на завод, и бредила станцией Мга.

Эта маленькая узловая станция, название которой до войны знали только железнодорожники да окрестные жители, вдруг стала известна каждому ленинградцу — взрослому и ребенку. Она явилась ключом, замкнувшим кольцо блокады. И хотя от самой станции не осталось уже ничего, кроме развалившихся труб на пепелищах, — за эти развалины и пепелища шли ожесточенные, кровавые сражения, трубы и пепелища переходили из рук в руки, бомбардировщики висели над ними, снова и снова перепахивая стонущую землю, снаряды крошили все, что еще уцелело, и срезали под корень последние расщепленные стволы когда-то могучего леса, окружавшего станцию. Никаких сил не жалели немцы, чтобы удержать эту обугленную землю: отступить от Мги значило для них отказаться от блокады, от плана удушения ленинградцев голодом, а удержать Мгу значило для них — с суши Ленинград полностью окружен, и есть плацдарм для будущего наступления на Тихвин, на Волховстрой, на Ладогу для полного удушения ленинградцев. Немцам не удавалось развить свой успех, но и советские войска еще не имели сил для того, чтобы разгромить их и овладеть Мгой...

А горожане, чья судьба решалась в непрекращающихся боях, жили надеждами и слухами. Слухи распространялись почти ежедневно, то плохие, то хорошие, их ловили от «очевидцев» и «участников», выдумывали сами в поисках самоутешения. Лиза принадлежала к числу тех горожан, что воспринимали всякий слух и то отчаивались, то радовались. Провожая за ворота танк, в ремонт

которого была вложена частичка и ее труда, Лиза рисовала себе всегда одну и ту же картину: танк врывается на станцию Мга, утюжит гусеницами вражеские траншеи, в упор расстреливает бегущих врагов... и вот уже тяжеловесные поезда проходят мимо наспех построенной будки с надписью мелом «Мга», и дежурный пропускает их без остановки, потому что это — *хлеб ленинградцам...*

И вот завод остановлен. Не будет больше ни танков, ни мин, ни тех секретных «штук» — мощных минометов...

— Весь смысл был в том, что мы работали, — сказала она Сашку. — А теперь нам и делать нечего... Лежать и ждать...

Сашок поежился и не ответил. Он думал о матери, о том, что она лежит сейчас одна, с потрескавшимися от жара губами, и что он вернется к ней и скажет: «Знаешь, завод стал...» Может быть, и заводская столовая закроется, раз рабочим незачем ходить на завод... А тогда как же?

— Пойдем к Левитину, Сашок, — вдруг сказала Лиза, надевая ватник. — Поговорим насчет твоей мамы.

Ей было невозможно сидеть без дела и думать, думать, думать... Возможность заняться Сашиными делами ожила ее.

— Если с больницей не выйдет, мы в комсомол зайдем, — говорила она, шагая с ним к зданию, где помещались заводские организации. — О бытовом отряде слышал? Они помогают. Чем можно, конечно, но помогают.

У Левитина, как всегда, было много народу. Большинство пришло в партком узнать: что же теперь будет, надолго ли остановлен завод, надо ли приходиться на работу или сидеть пока дома. Лиза и Сашок заметили, что всем одинаково не хочется отрываться от завода, что всех пугает перспектива сидеть дома.

— Обнадеживать не буду, — говорил Левитин усталым от бесконечных разговоров голосом. — В ближайшие дни ток не дадут, с током пока худо. Кто очень слаб, может побыть дома. Здесь тоже дело найдется. Вот наши монтеры придумывают одну штуку...

Все посмотрели на монтеров. Их было трое — двое пожилых мужчин и Люба. В ватных штанах и куртке, в оленьей шапке и расшитых бисером пимах Люба казалась хорошеньким мальчишкой. Она замахала руками в цветастых варежках и лукаво затараторила:

— Нет, нет, пока ничего не рассказывайте: нельзя! Если сделаем, тогда будем хвастаться, а пока не надо! И бригада у нас укомплектована, и все продумано. А рассказывать — только сглазим!

— Сглазу мы не боимся,— сказал старший из монтеров. — А болтать до времени, конечно, ни к чему. Да и сколько мы сможем дать энергии от колеса! Чепуха! На ваш стационар да в контору... Ну, может, в один какой-нибудь цех...

Лиза не поняла, от какого колеса монтеры думают давать энергию, и не знала, что такое стационар (ничего подобного на заводе не было), но ее подбодрил самый факт какой-то продолжающейся деятельности. Она улучила минутку и сообщила Левитину о болезни Сашиной матери.

— Помочь нужно? — спросил Левитин и тут же сказал: — Значит, ты и возьмешься за это дело. В больницу районную сходишь, договоришься, потом свезти ее придется... Лежачая она? Тогда на саночках... Ты в бытовом отряде состоишь?

Лиза смущенно покачала головой.

— Ну, начнешь делать — значит, состоять будешь. Ты с ними свяжись, у них с больницей отношения установлены, и вообще все входы-выходы им известны. Да вот Соловушка тебя сведет с ними.

Люба захотела сама навестить больную. Она поворчала на Сашку, почему он сразу не рассказал ей о болезни матери, тут же потянула Лизу в комитет комсомола, где помещался и штаб бытового отряда, потом в больницу — «вырывать» койку.

Когда они в зимних ранних сумерках вышли из больницы, добившись места для больной, Люба вдруг села на ступени и попросила:

— Подожди... Немножечко отдохнем...

Лицо ее побледнело, глаза глядели жалобно.

Лиза села рядом и почувствовала себя такой утомленной и слабой, что казалось, ей уже не подняться с этих ступеней.

— И как мы ее потащим, если она лежачая,— со вздохом сказала Люба. — Я сегодня что-то рано выдохлась. Вчера мы с девушками пятерых больных отвезли, и все на салазках. Больные теперь, правда, легкие, но все-таки...

— Ничего, дотянем. Да здесь и недалеко,— сказала Лиза, вставая.

Она представила себе, как они потянут вдвоем салазки с больной и как будет потом приятно, что сделала что-то хорошее, полезное людям, и ей захотелось скорее сделать это и взяться еще за что-нибудь подобное, и ходить, преодолевая голод и слабость, пока сама не свалится...

— Я вчера возила, возила, ну — прямо лошадь,— пробурчала Люба, неохотно вставая. — Так ведь если лошадь — лошади тоже сено нужно...

3

Когда колонна грузовиков выходила из Кобоны, первые порывы ветра взметали и бросали под колеса пригоршни сухих снежинок. После трех дней жестоких морозов потеплело. Но Соня опытным взглядом окидывала низкое серое небо и сузившийся горизонт, который будто приближался с каждой минутой.

Дорога была хорошая, и колонна неслась полным ходом. Требовалось только следить за идущей впереди машиной, чтобы не врезаться в ее кузов, если она затормозит. Это не мешало думать, и Соня думала о Мике. Неделию назад она получила от него коротенькую записочку: «Вчера погиб Глазов. Будем мстить за него. Целую тебя, моя родненькая». Когда он называл ее так, это значило, что ему очень грустно. Сержант из БАО, доставивший записку, рассказал ей, что Глазова нельзя было узнать, так он обгорел, и что Мика очень плакал. Соня никак не могла представить себе Микку плачущим.

В последний раз они виделись три недели назад. Соня приехала в Кобону ночью и хотела сразу завалиться спать, но ей сказали, что лейтенант приказал явиться к нему, в какой бы час они ни вернулись. Соня выругалась и потащила к лейтенанту. А там сидел Мика в новом белом полушубке и уже немного пьяный, так как лейтенант угощал его спиртом. Лейтенант сказал: «Ну, слава богу», — и сразу вышел, а она села рядом с Микой как была: с перепачканными руками, в ватном костюме с пятнами масла, и Мика сам снял с нее теплую шапку, расчесал ее слежавшиеся волосы и поцеловал ее в губы, в один глаз, в другой и снова в губы. Потом он ее уго-

шал разведенным спиртом и консервами, как хозяин. И сказал, что ее лейтенант хороший парень, гостеприимно встретил и догадался вовремя «смыться». Еще он сказал, что ждет ее уже три часа и ему пора возвращаться в полк, чтобы забраться в койку до пробудки, так как он в «самоволке». Она сказала: «Ой, Мика, это же нехорошо!», — а он ответил: «Нехорошо! Я вижу, ты очень недовольна!» Они снова поцеловались, и она вышла проводить его, но он захотел сначала проводить ее, и они долго стояли у входа в ее землянку, на морозе, прощались, молчали и снова прощались. Потом она все-таки пошла проводить его до шоссе, и там они опять все прощались, пока не подоспела какая-то машина, которую Мика подхватил, чтобы добраться до аэродрома. Шофер был веселый и уговаривал Мика взять с собой «барышню», обещал даже отвезти ее обратно, но тут Мика ревниво нахмурился и сказал: «Не на такую попали». Они зашли за машину и в последний раз попрощались, а шофер сердито крикнул: «Долго вы там любезничать будете?» И тогда Мика вскочил в кабину, и машина ушла, а Соня махала рукавицей и долго видела голову Мики, высывающуюся из кабины, и вдруг сообразила, что уже светло. Она несколько дней волновалась, не попался ли Мика с этой своей «самоволкой», но, видимо, все обошлось.

Теперь она думала о том, что Мика очень плакал, и о том, что он недалеко отсюда дежурит на аэродроме, готовый в любую минуту подняться в воздух и отогнать немцев, если они налетят на трассу. Но похоже, что налета не будет: видимость плохая, и как бы не было метели...

Не успели они отъехать от Кобоны на пять километров, как порывы ветра участились, окрепли, горизонт растворился в серой пелене, посыпался крупный снег. Ветер крутил его, бросал в стекло, взметал и снова бросал. Кузов передней машины то исчезал, то снова появлялся. Соня напевала привязавшуюся к ней мелодию песенки, но теперь думала только о том, чтобы не врезаться в переднюю машину и не сбиться с дороги в этой чертовой метели.

Передние машины вдруг загудели и замедлили ход. Соня тоже погудела на всякий случай. Навстречу из туманной пелены выплыл грузовик с брезентовой кибиткой, натянутой на кузов, — обратным рейсом машины

вывозили эвакуируемых ленинградцев. Грузовик прошел, за ним вышлыл второй. Знакомый шофер высунулся из кабины и что-то прокричал Соне, но она не разобрала что. Одна за другой проходили встречные машины, и многие шоферы что-то весело кричали. Соня изнывала от любопытства и все замедляла, замедляла ход, пока не проехал другой знакомец — Костя Попов, с зычным голосом, за который его дразнили «дьяконом». Костя крикнул, свободно перекрыв завывание ветра и гул машин:

— Там норму прибавили! С двадцать пятого!

«Там» значило: в Ленинграде.

— Сколько? — крикнула Соня.

— Двести и триста пятьдесят! — успел крикнуть Костя и проехал.

Соня поняла: рабочим — триста пятьдесят, остальным — двести граммов в день. Прибавка небольшая. Норма оставалась голодной, но все-таки это была прибавка, и она должна была произвести огромное впечатление в городе. Соня представила себе, как Мироша впервые получила свои двести граммов и затараторила на всю булочную: «Вот и прибавили! По Ладоге-то муку везут и везут, я ж говорила, я знаю, у меня там племянница шофером...»

Встречные машины проплывали одна за другой. Многие шоферы высовывались, чтобы прокричать Соне новость, и она улыбалась им и кивала. Видимо, у всех было ощущение, что они получили бесценную награду за свой тяжкий круглосуточный труд.

Грузовики прошли, снова впереди ничего не было, кроме вихрей снега и то исчезавшего, то черневшего перед носом кузова. Потом они объехали застрявшую машину. Шофер возился с мотором, поднимая капот. Из кибитки выглядывали женщины и ребятишки. Впрочем, может быть, тут были и мужчины, разобрать трудно: у всех до глаз закутаны лица, на всех намотаны платки, пледы, шарфы, ребятишек можно отличить только по росту, из-за борта машины видны лишь их головенки с пристальными, усталыми, непомерно большими глазами. Ничего, доехали бы только до Кобоны, там их накормят горячим супом и хлеба дадут вволю... Говорят, их везут в Ярославль и там лечат в специально открытых для ленинградцев домах, вроде больниц или санаториев...

Ветер резко изменился, стал дуть в спину. Кузов передней машины побелел, и Соне приходилось напряженно всматриваться, чтобы следить за ним.

И вдруг метель прекратилась, ветром отнесло тучи, открылось высокое небо в быстро бегущих облаках. Негреющее солнце выглядывало в «окна» между облаками, мириадами искр отражаясь на снегу и слепя глаза шоферам. Соня сощурилась, чтобы не так болели глаза.

Сразу похолодало. Стали коченеть пальцы, хотя под шоферскими рукавицами Соня носила еще домашние теплые перчатки. Глаза слезились от сверкания снега, слезы смерзались на щеках.

Теперь надо было ждать и другой беды — сверху. «Прилетят или не прилетят?» — подумала Соня и тотчас увидела звено «юнкерсов», вывалившееся из-за облаков.

«Юнкерсы» резко пикировали на колонну и сбросили бомбы. Колонна растянулась, увеличив интервалы между машинами, и прибавила ходу. Соня вся подобралась, но мысли ее были не здесь, а на аэродроме, где сейчас, наверное, поднимаются в воздух истребители. Поднялся ли Мика? Думает ли он о том, что вот в этой колонне (сверху она, наверное, кажется колонной крохотных, игрушечных машин), что в этой колонне, которую он должен охранять, идет ее машина?.. Наверно, думает. Он сказал в ту встречу: «Я как погляжу вниз, все представляю себе: вот там и моя Соня пыхтит».

Она услышала знакомое гудение «ястребков». Видеть их она не могла, — воздушный бой завязался позади колонны. Но там, среди «ястребков», был, конечно, и Мика... «Не беспокойся, прикрою», — сказал он, целуя ее на прощание. А когда погиб Глазов, он плакал. Сколько его товарищей уже погибло!.. В последнюю встречу она начала расспрашивать его о знакомых и быстро переменяла разговор, потому что Мика все отвечал: «Погиб, бедняга», или: «Ранен, отправили», — и вид у него делался смутный.

Немецкие самолеты появлялись со всех сторон и прямо лезли к трассе. Воздушные бои вспыхивали то тут, то там. Иногда Соня слышала злобное завывание моторов и трескотню пулеметов над головой, затем бой уходил в сторону, и Соня видела кувыркающиеся в облаках, поблескивающие на солнце палочки. И старалась распознать свои, родные истребители. Каждый истребитель казался ей Микиным. Вот он сделал крутой вираж, вот

он свечой пошел вверх. Было жутко представить себе, какой там, наверху, морозище. Замечают ли летчики этот холод в пылу боя? Как дышат на обжигающем ветру? Мика... как он дышит?..

Соня загляделась и чуть не поплатилась за это — еле успела отвернуть от воронки и рывком вывела машину по трескающемуся, проваливающемуся под колесами льду. Ее бросило в жар, громко стучало сердце. Отругав себя и отдышавшись, она дала себе слово смотреть только вперед, на дорогу. Но когда упал подбитый «ястребок», она почувствовала это и успела заметить, как он грохнулся в сугробы. Мика?.. Ей неоткуда было узнать, чей самолет разбился. Боже мой, неужели Мика?.. Ей вспомнилось, как он говорил, улыбаясь: «Ничего, Сонечка, я буду жив до самой смерти!» Эти смешные слова успокаивали ее. Но ведь и Глазов думал...

Немцы продолжали лезть. То справа, то слева от трассы вздымались тяжелые фонтаны воды и битого льда. Соня уже много раз попадала под бомбежку и не верила, что бомба угодит в грузовик, но трещины были опасны так же, как бомбы. Приоткрыв дверцу, чтобы выскочить в случае беды, Соня вела машину на предельной скорости.

Моторы самолетов — своих и чужих — взвыли над ее головой. Ожесточенно били пулеметы и пушки. Соня успела подумать о том, что бой идет прямо над нею. Справа что-то мелькнуло, черное и красное, стремительно падающее. В ту же секунду гром взрыва оглушил ее, машину тряхнуло и подбросило. Приоткрытая дверца захлопнулась, ударив Сою по пальцам. Соня вскрикнула и выровняла машину.

Немецкий бомбардировщик, взорвавшись на собственных бомбах, ушел под лед. Соня увидела огромную воронку и догорающие на льду лужицы расплескавшегося бензина.

Воздушный бой продолжался.

Еще один самолет, подбитый, полетел вниз, выровнялся, закачался и врезался в снег неподалеку. Это был истребитель, свой... И тотчас свист бомбы резанул уши, лед задрожал, как в лихорадке, синяя трещина возникла перед носом грузовика. Соня, сразу вспотев, рванула машину вперед и проскочила; услышала отдаляющийся гул самолетов и остановилась, потому что упавший ис-

требитель лежал всего в двухстах-трехстах метрах и летчик мог быть жив.

Она перелезла через снежно-ледяной вал на краю дороги и поползла по глубокому снегу к самолету. Ноги то и дело проваливались в сугробы. Осколки льда царапали руки. Иногда под снегом оказывалась вода, и тогда Соня кидалась в сторону, боясь упасть в недавнюю, затянутую ледком воронку.

Самолет лежал на боку, на смятом крыле. Видимо, летчик, ведя раненый самолет на посадку, не успел выпустить шасси или потерял сознание еще в воздухе. Соня мгновенно вспомнила решение Мики: «Или спасти машину, или угробиться вместе с нею»... Мика?..

И вдруг она увидела Мику. Он перевалился через край кабины и соскользнул в сугроб. Соня побежала, задыхаясь от усталости и волнения, проваливаясь, вылезая, снова проваливаясь. Мика приподнялся, знакомым движением сорвал с головы шлем и ткнулся лицом в снег.

Она добежала до него и остановилась. Светлые короткие волосы были Микины и не Микины. Мальчишеский затылок в пятнах крови был Микин...

Она села в снег и осторожно подняла голову летчика. Он вдруг дернулся, незнакомое молодое лицо оживилось выражением бешеной решимости, рука потянулась к кобуре.

— Свои, чудило, да свои же, разве ты не видишь! — сказала Соня, доставая индивидуальный пакет. — Куда ты ранен, дружок?

Летчик взгляделся в Соню, откинулся на ее руки, затых. Глаза его замутились.

— Подержи голову, я перевяжу, потерпи, милый, — просила Соня, перевязывая разбитую, всю в ссадинах, окровавленную голову.

Летчик скрипнул зубами от боли, привалился головой к коленям Сони и спросил:

— Ты кто?

— Шофер. Соня Кружкова. Ты Мику Вихрова знаешь? Это мой жених.

Летчик на секунду приоткрыл глаза, чтобы посмотреть на Соню, но заинтересованность была слишком краткой, а страдание слишком сильно. Он полежал с закрытыми глазами и сказал:

— Жалко Вихрова. Хороший парень был.

— Что с ним? — пролепетала Соня, помертвев.

Летчик молчал. Может быть, он и не слышал ее вопроса.

— Милый, родной, ты только скажи слово. Что с ним? Скажи, милый. Что с Вихровым? Ты слышишь меня?..

Он с усилием проговорил:

— Может, и жив. Не знаю. Разбился он. Вслед за Глазовым. Отправили.

Он повернулся на бок и ткнулся лицом в Сонину руку. Она почувствовала острую боль в пальцах. Ах да, это придавило дверцей, когда взорвался бомбардировщик... Может быть, и жив. А может быть, и нет... «Я буду жив до самой смерти»... Вслед за Глазовым. «Мы будем мстить за него. Целую тебя, моя родненькая». Он плакал, а потом пошел в бой... Его подобрали и отправили куда-то, куда отправляют тяжелораненых...

Летчик шевельнулся и открыл замутившиеся глаза.

— Девушка,— забормотал он еле различимо. — Документы возьми. Сдашь командованию. Самолет охраняй. Починят... Скажи...

Он замолк. Рука его нашла Сонины пальцы — те, что придавило дверцей,— и сжала их в последнем земном стремлении к человеку. Соня никогда не видала умирающих, но на этом молодом, пригожем лице смерть проступала так ясно, что Соня наклонилась к его губам и коснулась их, стараясь уловить, есть ли дыхание.

— ...Все, что мог... — отчетливо проговорил летчик и стиснул Сонины, ноющие от боли, пальцы. — Скажешь... Ленинграду... Все, что мог...

Выражение успокоения появилось и застыло на его лице.

Соня осторожно сняла с колен голову летчика, взобралась на крыло самолета и начала махать рукавицей проезжающим грузовикам. Ее долго не замечали. Наконец два грузовика резко затормозили, шоферы выскочили из машин и поползли к самолету по Сониным следам. А Соня продолжала махать рукавицей, потому что по дороге мчалась санитарная машина. Потом она увидела командира, стоявшего на крыле санитарной машины, и тогда соскочила в снег и снова взяла на колени голову летчика.

Он был ее лет или даже чуть старше, но Соня смотрела на него с материнской жалостью и взрослым уважением. «Все, что мог...» Этот храбрый мальчик сделал

все, что мог для Ленинграда, для нее, для того, чтобы хлеб шел в осажденный город бесперебойно. Думал ли он о своей жизни, оборвавшейся сегодня, о том, как мало он прожил и сколько возможностей было у него впереди?.. А Мика?.. Что думал Мика, лежа вот так, на снегу, когда сквозь боль проблескивало сознание?..

Подожли шоферы, санитары и командир. Соня вместе с командиром нашла документы погибшего, мельком прочла: год рождения — 1922, место рождения — Красноярск...

Она продиктовала командиру последние слова летчика и попросила, чтобы их обязательно напечатали в ленинградской газете.

— Обязательно, — сказал командир. И ласково спросил: — Подвести вас в Кобону?

— Я в Ленинград еду, — резко ответила Соня. — Я и так провозилась тут...

Она добрела до машины, с трудом разогрела мотор и погнала свой грузовик по опустевшей дороге, под опустевшим небом. Весь мир опустел. Ничего не было, кроме мороза, снега, усталости и боли в пальцах.

Потом она увидела одинокую встречную машину. Шофер высунул руку, прося остановиться. Соня затормозила и узнала своего товарища по роте, Вальку Зайцева.

— Закурить есть? — спросил Валька. — А там норму прибавили. С двадцать пятого.

Она заставила себя улыбнуться и вытащила табак. Закурили.

— Ты что одна?

— Своих догоняю.

— Авария?

— Нет. Самолет тут подбили. Помогала летчика спасать.

— Живой?

Она качнула головой.

— Хуже нет их профессии. Полетал, полетал — и крышка.

— Да, — она крепко затынулась горьким табаком, сплюнула в снег и сказала, поглядев на небо: — Пожалуй, сегодня успею еще раз обернуться.

— Ну-ну, — сказал Валька. — Покудова!

— Там воронок накопили, осторожно! — крикнула Соня, залезая в кабину, и рывком тронула с места примерзшую ко льду машину.

Мария засветло отнесла баночку со своей похлебкой домой и не спеша возвращалась на объект. В этот последний день сорок первого года весь город был подернут морозной дымкой, и сквозь нее таинственно и незнакомо проступали обындевелые здания. Низко над горизонтом висело клубком багровое облако, — где-то там, за морозным туманом, пылало солнце.

На пустынных улицах ничто не напоминало о том, что близится новогодняя ночь. И все-таки Мария всем существом ощущала, что день необычен. Преодолевая лютую стужу, до ее щек долетало теплое дуновение. Была ли то надежда?..

У парадной объекта Мария увидела Зою Плетневу с ее зенитчиком.

На исхудалом лице Зои было то же выражение самозабвенной радости, как той ночью в окне, озаренной пожаром.

Мария кивнула им и торопливо прошла, чтобы не мешать короткому свиданию.

Сегодня всем начальникам объектов было приказано находиться на местах и приготовиться на случай налета или усиленного обстрела. Мария занялась дежурствами, водой, песком, затем прошла по общежитию, поздравляя с наступающим Новым годом и предупреждая всех, кто мог двигаться, чтобы в случае нужды пришли помочь.

В комнате штаба топилась печка, и Григорьева в праздничной вязаной кофте сушила вокруг трубы мелко расколотые дрова. С дров, шипя, капала вода.

— Ничего, они сегодня нам не помешают, — сказала она Марии с той безусловной уверенностью в своей правоте, с какой всегда высказывала свое мнение. — Они мороз хуже нашего не переносят, а потом нажрут и перепьются... разве они могут трезвыми вперед заглядывать!

Пришла Зоя Плетнева и стала у печки, отогреваясь. За нею вошла тетя Настя и постелила на стол чистую домашнюю скатерть.

— Им наперекор отпразднуем как полагается, — сказала она со злорадством.

— А вино получили? — спросила Мария.

— Тимошкиной доверили,— многозначительно ответила тетя Настя.

Тимошкина явилась с корзиной и бережно извлекла из нее графин с вином и обернутые полотенцем высокие бокалы с золотыми ободками.

— Со свадьбы не трогала их,— говорила Тимошкина, перетирая и расставляя по столу бокалы. — А сегодня — хоть бейте, не жалко! Еще бы доченьку мою сюда, в такую компанию!..

— А я уже набрала кружек да чашек,— сказала Григорьева.

— Как можно, в такой вечер! — ахнула Тимошкина. — Не нужно ли еще чего? Я принесу.

После злосчастной истории с Зоиным хлебом Тимошкина не только не избегала Зои и тети Насти, но тянулась к ним и заглядывала им в глаза, стараясь удостовериться, что ее проступок забыт и прощен. В ее старании услужить им было что-то жалкое и одновременно милое, потому, что за этим старанием угадывались не страх и не угодливость, а стыд и потребность в любви и согласии с людьми. Мария с тревогой следила, не оскорбит ли Зоя небрежностью или снисходительностью эту добрую душу. Но Зоя обращалась с Тимошкиной запросто, как ни в чем не бывало.

Шел одиннадцатый час, когда по радио объявили об артиллерийском обстреле района.

— Я пойду,— сказала Тимошкина. — Вы пока сидите. Может, и ничего.

Никому не хотелось покидать теплую комнату и ползти по темной лестнице на промерзший, продуваемый сквозняками чердак. Но когда Тимошкина, закутавшись до глаз, вышла, всем стало неловко сидеть в тепле.

— Я пойду с ней,— первой сказала Зоя, поднимаясь.

Мария завернулась в тулуп и вышла на улицу. За несколько часов улица неузнаваемо изменилась. Выпал снег, наметя новые сугробы и похоронив все следы. Над нетронутым белым покровом разливался яркий голубой свет, бросая на него отчетливые тени — прямоугольные от целых домов и причудливо изломанные от развалин. Морозная дымка искрилась, пронизанная лунным сиянием.

Мария прислушивалась к далекому свисту снарядов равнодушно, без страха. Ей вспомнилось, как Андрюшка сказал: «Это не снаряды, а понарошку». Она невесело

улыбнулась. Весь этот окружающий ее обледенелый, безлюдный мир был словно нарочно выдуман для того, чтобы умертвить надежды и силы. Что снаряды! — страшна вот эта мертвая, застылая тишина...

Обстрел прекратился, а Мария все стояла, замороженная недоброй красотой ночи. Скрип снега обрадовал ее, как вестник жизни.

Посредине улицы шел человек. Иногда он останавливался и клонился к сугробам, но каждый раз выпрямлялся и рывком, будто толкая самого себя, двигался вперед, — шагнет в сугроб, утвердится в нем, вытянет из сугроба другую ногу, снова шагнет... Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал.

— Врешь, дойду! Тут повалиться — дешево будет, — расслышала Мария.

— Товарищ!

Прохожий остановился и медленно обернулся на голос.

— Вам далеко, товарищ?

— По какому счету? — вопросом на вопрос откликнулся он. И, подумав, сказал: — По старому — минут пятнадцать, по нынешнему — часа полтора. Я бы побегал, да ноги не бегут.

Мария удивилась его многословию и насмешливости.

— Зайдите погреться, а то не дойдете.

— Печка топится? — с надеждой спросил прохожий и шагнул к парадной.

— Дайте руку, у нас темно, — сказала Мария.

— Подниматься не надо? — спросил он, шагая за Марией по темному коридору. — По лестницам я не ходок. Наверх еще вползу, а вниз центра тяжести не хватает.

— Где же вы его потеряли, центр тяжести? — пошутила Мария.

— Где? — протянул прохожий. — В последнюю тарелку борща обронил.

Женщины уже вернулись с постов и отогревались у печки.

— Подвиньтесь, товарищи, — попросила Мария. — Вот... человека обогреть привела.

Женщины потеснились, без любопытства разглядывая неожиданного гостя. Григорьева подала ему кружку, кипятку, коротко спросила:

— Откуда идете?

Он, не отрываясь, выпил кипяток, блаженно чмокнул губами и виновато признался:

— С Малой Охты.

— Господи! Да как же вас понесло в такую даль?..

Прохожий откинул шарф, закрывавший нижнюю часть лица. Сквозь пепельный налет изнеможения, через каждую морщину, через каждое движение бровей, рта, глаз властно пробивались энергия и насмешливость.

— Новый год! — сказал он. — А у меня тут дочка жила замужняя. Три месяца не мог выбраться. Жива ли? Такая уж традиция — в эту ночь подсчитывать: что прибыло, что убыло, с чем в Новый год вступать. Вот я двинулся на переучет.

Он усмехнулся, но в глазах держалась тревога. Вперив взгляд в красное пятно на раскалившейся печурке, он вытянул над ним большие, распухшие от холода руки с вьезшейся в поры металлической пылью.

— Без четверти двенадцать, — шепнула Зоя. И все невольно покосились на прохожего.

Он отдернул руки и встал, запахивая пальто.

— Раздевайтесь и садитесь к столу, — сказала Мария, ставя шестую тарелку. — Будете нашим гостем.

— Ну, какие теперь гости! — возразил прохожий. И вдруг подошел к Марии упругим, легким шагом, каким, наверное, ходил прежде, взял руки Марии в свои и внимательно взгляделся в ее лицо: — Вправду приглашаете? Спасибо. Возле доброго сердца теплей, чем возле печки.

— Ишь ты! А возле обоих, верно, и совсем хорошо, — проворчала Григорьева, снимая с кастрюлек дымящиеся крышки.

Приход лишнего едока спутал ее расчеты, но она, пошптав себе под нос, рассчитала заново и положила на каждую тарелку по ложке пшенной каши и по полторы ложки черных макарон.

— До чего же хорошая вещь пшено! — воскликнула Зоя. — Подумать только, до блокады я просто ненавидела его! А сейчас ничего не хочу — дали бы полную тарелку пшенной каши. И масла не надо!

Все томились над тарелками, ожидая полуночи.

— Макароны-то, как негры, черные, — сказала тетя Настя. — Их бы сохранить для будущего музея, хоть несколько штук. Говорят, осенью на Ладогe разбомбили

баржи с мукой. Водолазы муку спасли, да она размокла, вот и пустили ее на макароны.

— Интересно, пишет ли кто нашу историю? — заговорил прохожий. — Записать бы все, день за днем, как мы работаем, как живем, что едим. И вот такую новгородню встречу тоже записать...

— Без пяти двенадцать!

— Какие тосты сегодня произносить? — как бы про себя тихо произнес прохожий. — Была такая песенка — «За милых женщин...» Слово можно сказать по-разному. Можно так, что получится вроде как за подбородок ущипнуть. А можно и так, что вроде как в ноги поклонился. Я бы сегодня так и сказал.

— Ну, за женщин что же пить... в такую ночь! — стыдливо возразила Зоя. — Я хочу другой тост сказать, настоящий.

— Поднимайте бокалы, полминуты осталось! — предупредила Мария.

Зоя высоко подняла бокал. Отсвет бедного огня тускло заиграл на стекле и потух в черноте вина.

— За Советскую власть!

Все встали, чокнулись бокалами и молча выпили, глядя друг на друга. И Мария увидела, что все окружающие ее лица красивы и праздничны и полны силы.

— Я родилась при ней и, пожалуй, по-настоящему о ней не задумывалась, — сказала Зоя, когда все сели. — А теперь я чувствую, что никакая другая власть не устояла бы... Я как-то думала: что было бы с американцами в их небоскребах, случись у них такая блокада. Без света, без лифта, без топлива где-нибудь на сороковом этаже!.. А я уверена: мы и в небоскребах выдержали бы.

— Хорошего вам жениха, девушка! — сказал прохожий.

— А у меня и есть хороший, — гордо ответила Зоя.

— Умная головешка, Зоенька, — сказала тетя Настя. — Я вот думала: вина мало, а тостов много. За победу надо? А Ленинград как не помянуть, когда за него души горят? А Красную Армию? Ведь как ей тяжело приходится, вся в крови отбивается... Все помянуть надо. А ты как придумала, что и просто, и коротко, и все сказано.

— Да... — задумчиво протянул прохожий. — Сами мы ее создавали, сами к ней и привыкли. Вроде родного до-

ма стала: пока живешь, не замечаешь. А как замахнулись на нее...

— Знать бы только наверняка, что победа будет! — воскликнула Тимошкина.

— А как же! — сказал прохожий. — Как же может быть иначе! Весь народ старается.

Мария разливала по бокалам остатки вина, когда звонил телефон. Могли позвонить из районного штаба и из райкома, но Мария знала, что звонит Каменский, потому что он должен был, не мог не позвонить ей сегодня.

Всю последнюю неделю он находился в командировке на фронте, она не знала, где именно, но все равно он был недалеко — или за Благодатным переулком, в стороне Пулкова и Лигова, или за Рыбацким, в стороне Красного Бора и Колпина, или под Сестрорецком, или на Неве, где-нибудь в районе Невской Дубровки. В кольце осады не было дальних расстояний.

В трубке что-то повизгивало и трещало, но сквозь эти шумы долетел до нее знакомый голос:

— Это вы, Марина? Вы здоровы? И Андрюша? С Новым годом, дорогая!

Она радостно кричала в ответ, но ее голос не мог пересилить взвизги и свисты на линии. И вдруг шум куда-то отодвинулся, и в наступившей тишине она услышала голос Каменского очень близко, как будто он стоял рядом:

— Этот год будет нашим. Понимаете, дорогая, нашим!

Их разъединили. Посторонние голоса ворвались в трубку, кто-то надрывно кричал: «Хозяйство Капралова?.. Хозяйство Капралова?»

Кого имел в виду Каменский — их двоих или всех? Марии всегда представлялось, что человек с фронта внает что-то важное и счастливое, от чего сегодня, завтра, в любой час все может чудесно измениться. Да и разве теперь отделишь судьбу двоих от судьбы всех?

— За *наш* год! — возгласила она голосом человека, владеющего радостным секретом.

И все весело чокнулись с нею. Шла двадцатая минута нового года.

— Хорошо так жить! — неожиданно с чувством сказал прохожий, и все повернулись к нему в изумлении и ожидании. — Хорошо жить, — повторил он, — когда из такой вот каморки без окон — и то далеко видно...

Гудимов в последний раз вышел к зарослям кустарника, долго всматривался и вслушивался, потом резко повернулся и пошел в лагерь.

— Пора,— сказал он Гришину.— Ждать больше нельзя. Через десять минут выходим.

— Антонов вызывается сходить в село,— сказал Гришин.— Дорогу он знает, и пройти вдвоем им будет легче...

— Хорошо. Позови ко мне Антонова.

Антонов был обстоятельным человеком, надежным и сообразительным, и Ольгу уважал — это она привлекла его в отряд. В селе он свой человек и в случае нужды найдет помощь. Но что сможет он сделать, если Ольгу уже схватили!

Два дня назад Ольга прислала Таню с невеселыми новостями. И без того тяжелое положение резко ухудшилось. После месячной упорной обороны, в результате которой Гудимову пришлось отступить снова в лес и принять под свое покровительство сотни бежавших от расправы жителей, немцы разведали местоположение лагеря и стянули к нему отряды карателей с полевой артиллерией. Ольга сообщала о том, что каратели получили приказ в пятидневный срок «ликвидировать» партизан, что всем участникам карательной экспедиции обещаны награды и отпуска, что лагерь обложен со всех сторон и надо ждать решительных действий со дня на день,— начнут, как только приедет какой-то эсэсовский генерал, о котором офицеры говорят, что он хочет «взять всю славу себе». Ольга просила разрешения вернуться в отряд, как только узнает, что генерал прибыл. И еще она передала «на всякий случай», что Ирине «доверять больше нельзя».

Встревоженный Гудимов пробовал выяснить у девочки, что произошло с Ириной.

— Загуляла с ихними офицерами,— брезгливо скривив губы, сказала Таня.— С перепугу. Думает пережить за офицерскими спинами.

— Скажи Ольге, что я приказал немедленно вернуться сюда,— сказал Гудимов.— А ты не попадешься в пути?

— Не-е,— протянула Таня.— Я кустарником, кустарником, а потом бором, они в самую чащобу не полезут,

Гудимов смотрел, как она исчезла в густом кустарнике.

С тех пор истекали вторые сутки. Много раз за эти сутки выходил Гудимов к кустарникам, вслушивался, всматривался... Ольга не возвращалась. А медлить было нельзя. Немцы начали методический обстрел леса. Их разведывательные группы несколько раз вступали в соприкосновение с партизанскими заслонами. Остаться здесь значило принять бой с целой дивизией эсэсовцев, с артиллерией.

Гудимов гордился тем, что против него бросили регулярные войска и пушки. Он вспоминал свои тайные сомнения в первые дни партизанской жизни, когда у него было семнадцать человек и один из семнадцати сбежал, испугавшись. Теперь у него числилось бойцами шесть с половиной сотен, а в лагере было больше тысячи человек. Он не мог не принять женщин и детей, бежавших к нему под защиту. Это были жены, матери и дети партизан, это были советские люди, предпочитавшие ютиться в лесу, чем жить «под немцем». Но они, вместе с ранеными и больными партизанами, тяжелым грузом висели на отряде и сковывали его активность. Их надо было кормить, лечить, охранять, расселять по землянкам. Гудимов установил закон: любой человек, пришедший к партизанам, зачисляется в отряд и подчиняется всем приказам командиров. Все женщины и дети, кроме самых маленьких, были у него пристроены к делу —стряпухами, швеями, истопниками, связистами, сапожниками, прачками, уборщицами. С тех пор как немцы обложили лес, ходить за водой к реке нельзя было, и десятки детишек и старух были прикреплены Гудимовым «к воде» — собирали и растапливали в котлах и кастрюлях снег. За всеми этими женщинами и детьми укрепилось шутовское название: «батальон обслуживания». В общем, «батальон» приносил партизанам пользу, но еще больше обременял их. Особенно теперь, когда надо было решать: принимать или не принимать бой, а если не принимать — как уйти.

Гудимов считал неразумным принимать бой.

Посоветовавшись со своими командирами и с лучшим знатоком здешних мест — охотником Владимиром Петровичем, прозванным в отряде «дедом», Гудимов принял дерзкое решение: под носом у немцев вывести всех своих людей в глухие леса за девяносто километров отсюда.

Единственный путь, которым можно было попытаться пройти, лежал через незамерзающие болота. Владимир Петрович знал тропу через болота. Марш следовало проделать скрытно и стремительно, больных, раненых и детишек нести, отстающих не оставлять. Удастся ли это? Но другого выхода не было...

И вот все было готово, продумано, рассчитано, а Гудимов медлил.

Дав указания Антонову, он со стесненным сердцем прошел по рядам строившихся к походу партизан, сказал им несколько бодрых слов и последним взвалил на плечи тяжелый вещевой мешок.

— Пошли!

Владимир Петрович шел первым, прокладывая след, крепко вжимая валенки в снег. Окладистая борода его побелела вокруг рта, он выглядел настоящим рождественским дедом в своем овчинном тулупе и шапке с ушами. Партизаны любили его, берегли и посмеивались над ним: «Ты у нас, дед, единственный партизан, как полагается по форме». Стрелял дед без промаха, гордился этим и в свободные часы развлекал партизан охотничьими историями. Сейчас он шел неторопливым, но быстрым шагом охотника, привыкшего много и легко ходить. Такой ходок мог отмахать без отдыха десятки километров. Но остальные?..

Гудимов шел по следам «деда», оглядываясь на растянувшуюся в вечерней темноте и исчезающую за деревьями цепь. След в след шли люди, без разговоров, молча. Маленькие детские следы ложились в большие, след в след. Шли женщины. Шли мужчины со своими или чужими ребятишками на руках. Несли на носилках раненых и больных. «Обозники» тащили на спинах мешки с мукой или с патронами. След в след, без отклонений. И где-то в конце цепи шли «концевые» со своей примитивной, но остроумной «техникой» — один ровнял снег граблями, другой заметал его вешиком. Если до утра пойдет снег, никакие следопыты не найдут пути, по которому прошла тысяча людей...

«Все ли я предусмотрел?» — думал Гудимов, в сотый раз перебирая все возможные осложнения. Да, как будто бы все предусмотрено... Как удивятся и разозлятся каратели, израсходовав боезапас и затем обнаружив пустые землянки!.. А Коля Прохоров написал мелом на стене своей землянки: «Привет вашему идиоту-генералу,

от неуловимых партизан. До скорой встречи!» И другие молодые ребята написали — каждый что мог придумать пообидней. Молодежи в походе достанется больше всех, — им и груз дали потяжелее, и помощь отстающим на них возложена. Ничего, эти не скиснут до времени. А вот женщины... ребята...

«Прав ли я, что пошел с ними сам, а не остался с несколькими молодцами выручать Ольгу, если она попала в беду?»

Этот вопрос томил его целые сутки. Закон партизанской выручки подсказывал ему желанное решение — отправить людей с Гришиным, а самому остаться. Но это значило — бросить отряд в опасную минуту, когда тяжелейший переход требует особо четкого руководства. И там, впереди, что их ждет? Надо устраиваться на новом месте, устанавливать новые связи, искать другие партизанские отряды, действующие в том районе, находить организационные формы совместных действий... А может быть, в пути придется принимать вынужденный бой?.. Может быть, каратели предпримут наступление сегодня ночью, пустятся по свежему следу и настигнут отряд на марше?..

Нет, командир не имеет права оставить свою часть в боевых условиях. Это смутило бы и омрачило партизан. Они бы сказали: «Командир нас бросил». И многие сказали бы: «...из-за девушки».

Скажут ли так?.. Дал ли он повод думать так?.. Разве он не глушил в себе чувство с беспощадностью, с гневом к самому себе?.. Как это в стихах, что читала Ольга? «Наступал на горло собственной песне...» Они тогда спорили с Колей Прохоровым, действительно ли Маяковский наступал на горло собственной песне. Ольга горячилась и доказывала, что поэт был бунтарем и борцом по природе, по внутренней сути, и «другой песни» петь не мог. А Гудимов слушал в сторонке и думал о том, что понимает поэта лучше, чем эта молодежь, что внутренний мир человека очень сложен и порой противоречив, что можно быть страстным борцом по зову сердца и все-таки бороться с собой... Он делал это. Но он допустил чувство в свое сердце. Он ни разу не позволил себе удержать Ольгу, уберечь от опасности... Он даже ходил на встречи с нею только тогда, когда этого требовало дело... Но мог ли он спрятать свою томительную тревогу, когда она уходила, мог ли он скрыть свою радость, когда она

присылала весточку или возвращалась сама! И разве боевые товарищи, жившие с ним бок о бок, могли остаться глухи и слепы!

Скрипел снег под валенками. Поскрипывали деревья под порывами ветра. Заплакал ребенок, мать испуганно зашикала на него и, наверное, дала ему грудь, потому что ребенок вскрикнул и затих. На таком морозе, на ходу... А муж этой женщины, может быть, идет впереди или сзади, слышит плач своего ребенка, лишенного родной кровли и колыбели, слышит затрудненное дыхание измученной жены... Помогает это ему воевать или мешает?.. Помогает любовь воевать... или мешает?..

Люди идут след в след. Маленькие детские следы послушно ложатся в большие. А мороз к ночи крепчает. И ветер леденит кожу.

Лес кончился, цепь вступила на белую равнину, поросшую редким кустарником. Болото. Владимир Петрович все чаще останавливается, озирается, находит ему одному видимые приметы и осторожно ступает в глубокий снег. Лунный свет заливает равнину, четко обозначая на ней темные фигуры людей, идущих цепью. Если у немцев есть наблюдатели по краю болота, цепь будет для них удобной, четкой мишенью.

Где-то позади вскрикнула тоненьким голосом девочка. «Я не могу больше!» — звонко прозвучало в тишине. Зашикали. Движение цепи оборвалось... Наладилось вновь... Значит, кто-то из мужчин взял девочку на руки, понес.

Медленно, тяжело, безостановочно движется цепь по равнине, залитой лунным светом. Только скрип валенок, только затрудненное дыхание... Сколько часов надо идти по этой равнине? Три часа?.. Четыре?.. Пять?..

Все ли выдержат этот поход?.. Но те, кто выдержит, будут спасены. И эта девочка, крикнувшая «не могу больше», и грудной ребенок, и его несчастная, стынущая на морозе мать... И шесть сотен бойцов, которые через некоторое время нанесут врагу внезапные и злые удары...

А Ольга не поспела. Не пришла. Попалась ли на обратном пути Таня? Или выдала подружка, которой Ольга легкомысленно доверилась?.. Может ли быть, что Ольгу схватили, увезли, замучили?..

Он простонал громко. Так громко, что Владимир Петрович оглянулся.

— Ногу подвернул,— шепотом объяснил Гудимов.

Ольга лежала, связанная, в холодном деревянном сарае за домом Сычихи. Все тело ныло и горело так, что мороз не чувствовался. Рассеченная губа распухла.

За дверью ходил часовой — скрип-скрип, скрип-скрип.

Как это случилось, что Иринка выдала ее? Ведь они вместе читали советские листовки и вместе проносили их на станцию, и Иринка, конечно, понимала, почему Ольга так интересуется знакомством с железнодорожниками, и это она восхищенно сказала: «Молодцы!», когда эшелон с карательным отрядом полетел под откос в трех километрах от станции.

А в ночь, когда партизаны сожгли школу с немецким гарнизоном, ведь это Иринка прыгала от радости и говорила, жарко дыша: «Конец им, правда?» И когда на станции, а потом здесь, в селе, они завели знакомство с офицерами, Иринка, казалось, помогала Ольге чем могла, пела романсы и плясала, чтоб офицеры дорожили их компанией. Что же, понравилось ей жить такой веселой жизнью? Или испугалась? Да, когда немцы подтянули сюда войска, отеснили партизан в лес, окружили их, Иринка стала сторониться Ольги, вздрагивала, бледнела, боялась пускать Ольгу в дом: «Ты ночуй у тети Саши, так лучше будет». Когда немцы стали хватать всех заподозренных в сочувствии партизанам, Иринка стала сама не своя и охотно напивалась в компании немецких офицеров... Значит, струсилась? Лишь бы снастись самой, лишь бы прожить?

Жить... Да, жить. Что есть на свете лучше и желаннее жизни!..

Но об этом не надо думать. Ослабеешь. А могут прийти за мной сейчас, или через полчаса, или ночью... Важнее об Ирине. Это очень важно понять. Перед войной сельская молодежь много помогала строительству школы-десятилетки, и Ирина тоже... А комсомольский бал весной, за месяц до войны, был очень хорош, весел, наряден. Ирина тогда и вступила в комсомол, только билет получить не успела. Так, по крайней мере она говорит. А может быть, успела, да сожгла билет, когда пришли немцы?.. Вступила в комсомол потому, что на комсомольском балу было весело. И ее приняли, потому что райком комсомола очень «нажимал» на процент роста организации. Я сама ездила по организациям и нажимала — плохо

растете... А в душу ее не заглянули. Душу не укрепили, не воспитали. Ничего не восприняла Иринка. Ни принципов, ни идеалов, ни традиций боевого комсомола.

Настал час испытания — и ничего у нее за душой не оказалось, кроме себялюбия и слабости духа...

Кто-то окликнул часового, он громко ответил.

Надо подготовиться. Говорят, они любят допрашивать по ночам. Надо ли отпираться от того, что я партизанка?.. Или, наоборот, бросить им в лицо всё, всё. Сказать им, что меня они могут убить, но партизанское движение им не уничтожить никогда?.. Или лучше отказаться отвечать им, молчать, молчать, молчать... Они все равно будут мучить. Как?.. Говорят, они прижигают тело каленым железом. Только бы не это!.. Все равно я буду молчать, молчать, молчать, откушу язык, но буду молчать... Или нет, крикну им все, что думаю. Пусть знают, каковы русские люди! Пусть знают, каковы советские девушки, пусть поймут, что Иринка — жалкий выродок, подлое, гнусное исключение... Вызывающе, презрительно крикнуть им в лицо!.. Может быть, они разозлятся и застрелят сразу, не мучая?.. Все равно, пусть мучают, я вытерплю. Надо вытерпеть. Что бы ни было — вытерпеть...

В углу заскреблась мышь. Или крыса. Ольга содрогнулась и подобрала ноги.

— Оля!

Часовой ходил взад и вперед — скрип-скрип, скрип-скрип... Послышалось ей?..

— Оля! Олечка!

Не дыша она поползла к задней стене сарая, на звук голоса, опираясь связанными, избитыми руками о холодную землю, покрытую мерзлыми колкими щепками.

— Это я, Таня. Ты слышишь? — еле слышно несло в щель.

— Слышу...

— Ты связана?

— Да.

— Я брошу в окошечко нож. Ты сумеешь взять его?

— Сумею.

— Я оберну тряпкой, чтоб не стукнул.

Часовой остановился. Слышно было, как он чиркал зажигалкой. Он стоял у двери долго. И все это время

Ольга не шевелилась, опираясь на занемевшие, ноющие руки.

Часовой снова запагал взад и вперед, пританцовывая от холода.

— Олечка! Тебя били?

— Били.

— Идти на лыжах сможешь?

— Смогу.

— Когда сарай откроют, ты сразу выскакивай и беги скорее-скорее к баньке, за банькой лыжи. И прямо к той поляне. Там тебя ждут.

— Хорошо.

Тишина. Только поскрипывание шагов у двери да неясные далекие звуки патефона. Это немцы гуляют, празднуют Новый год.

Тишина. Час тишины. Два часа тишины... Уже ночь. Может быть, уже начался новый год?.. И, может быть, он будет и для меня? Милые, милые люди, родные... Я же должна была знать, что они меня не бросят в беде... Кто выручит меня?.. Как они уберут часового, когда по улице ходят патрули, когда в доме Сычихи — каратели?..

Сменился часовой. Наверное, полночь. Новогодняя полночь.

Хлопнула дверь дома. Стук топора. Кто-то колет дрова.

— Эй, солдат, небось холодно? — грубо крикнула Сычиха. Слышно было, как она приближается к сараю. — На пирога, солдат. Как-никак Новый год!

— Спа-си-ба, — сказал солдат.

Тотчас за дверью что-то хряснуло, тяжело шлепнулось об стену. Оглушительно грянул выстрел.

Сильный удар топора сшиб замок.

— Беги! — шепотом крикнула Сычиха.

Ольга выскочила из сарая, наткнулась на труп часового, перепрыгнула через него, побежала за сарай к баньке, как по воздуху несясь по сугробам. Там стояла Таня возле лыж, уже наставленных носами к лесу, с валенками, вдетыми в ремешки. Таня накинула на Ольгу шубейку, Ольга всунула ноги в валенки и понеслась к лесу, не оглядываясь. У сарая хлопнул выстрел. Потом еще выстрел. Ольга на секунду остановилась и побежала дальше. Что бы там ни случилось, она ничем помочь не может. И если ее спасение куплено дорогой ценой, все равно надо бежать, тем более надо бежать...

Мучительно болели ноги, руки, все тело мучительно ныло. Но Ольга не замечала боли, не думала о ней. Дыханием свободы обжигал ее морозный ветер. Прыгая в кусты, чтобы запутать след, бежала она к знакомой полянке, и к теплой груди Гудимова, распахивающего перед нею нагретую бекешу...

Когда Сычиха ударила часового топором, он без крика повалился в снег. Она замахнулась, чтобы сбить замок, но в это время часовой поднялся на локте и выстрелил. Сычиха снова ударила его топором, сбила замок и выпустила Ольгу. В эти первые мгновения она испытывала только радость и гордость собой. Но по селу уже хлопали двери, перекликались голоса немцев.

Сычиха выпрямилась, соображая, что делать. Она могла убежать. Но тогда немцы сразу хватятся Ольги и пошлют погоню. Свежий лыжный след найти нетрудно. А догнать измученную девушку еще легче.

Она подняла замок и приладила его на место. Когда немцы подбежали к сараю, они увидели старуху, которая пыталась и не могла открыть замок. Ее ударили и свалили с ног.

Но она поднялась, припала спиной к двери сарая и закричала во весь голос:

— Бандиты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты, убийцы! Прокляты! Прокля...

Один из солдат выстрелил в нее в упор. Она почувствовала горячий толчок воздуха в грудь и в лицо, но не почувствовала боли, и снова закричала, вцепившись руками в засов:

— Будьте прокляты, убийцы! И ваш Гитлер, и вы все, и ваши матери, что вас вскормили! Будьте прокляты!

Кровь хлынула горлом, затопила рот. И словно застлала глаза — ничего уже не видела Сычиха, только помнила: задержать, прикрыть собой дверь, задержать... Сплюнув кровь и яростным усилием удерживаясь на ногах, снова закричала:

— Все равно всех не убьете!

Солдат выстрелил еще раз. Сычиха упала, но тут же приподнялась, привалилась к двери сарая и в последний раз уже шепотом сказала:

— Все равно...

Быстро, из последних сил бежала Ольга, так быстро, что ветви шлепали ее по лицу, по ногам, снег с потревоженных ветвей падал ей на плечи, таял за воротником шубейки. Только бы добежать, добежать до Гудимова, а там все будет хорошо...

Приземистая фигура двинулась ей навстречу. Еле приметная фигура в белом балахоне. Она подбежала, уже понимая, что это не Гудимов.

— Ну, слава богу,— сказал он. И протянул ей флягу: — На, выпей.

Она взгляделась и узнала Антонова. Это был молчаливый, строгий мужик. Прижаться к нему, поплакать у него на груди показалось ей невозможным. Она глотнула крепкого спирту, закашлялась, с отвращением отдала флягу.

— Выпей еще, подкрепись, путь долг,— сказал Антонов.

Она покорно выпила еще. Жгучая влага вернула ей силы.

— Как мы прорвемся в лагерь? — спросила она.

— Лагеря уже нет, и пойдем мы кружным путем, проскользнем у них под носом,— сказал он и протянул ей белый балахон. — Надевай, да и пойдем.

Он шел впереди. Чтобы не отстать, она вынуждена была бежать изо всех сил. Ей хотелось попросить его идти помедленней, но она не решилась окликнуть его,— поблизости могли таиться дозоры. На ветру запылала рассеченная губа. Трудно было двигать ногами и руками, больно было от прикосновения одежды к коже... Как ее били!.. Даже ничего не спросив, даже ничего не требуя от нее. Избили, связали и бросили...

Они пробежали через лес и выскочили на белую гладкую равнину, тускло освещенную заходящей луной. Собрав силы, Ольга догнала Антонова и сказала:

— Передохнем. Я не могу больше. Минуточку.

— Тише, дурная, тут же немцы,— тихо сказал он, продолжая скользить вперед. — И стоять здесь нельзя, болото под нами. Провалимся — хуже будет.

Снова они бежали, не разговаривая, он впереди, она сзади. Иногда Антонов оглядывался и торопил ее:

— Иди, не отставай, нельзя!

Луна зашла, короткая, предутренняя темнота легла на равнину. Вспыхнули в небе холодные звезды,

Антонов остановился, протянул Ольге флягу:

— Подкрепишься. В лесу передохнем, поедим.

Она выпила спирту, отдала флягу, снова послушно пошла, с трудом двигая ногами, тяжело наваливаясь на палки. Потом стало легче, даже совсем легко. Звезды горели над нею, милые, хорошие звезды, на которые они смотрели однажды с Гудимовым, шагая по лесу... «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно...» Ноги двигались сами, тело стало невесомым и как будто летело над белой гладью равнины... Новогодняя ночь... Какие близкие звезды...

Вода стекала по шее и щекотала кожу. Ольга открыла глаза и увидела прямо над собой лицо Гудимова с тревожным и страдальческим выражением, какого она никогда не видела у него.

— Оленька! — воскликнул он и сжал ее руку.

Она силилась вспомнить, когда же они дошли до своих, что же случилось с нею и почему на голове у нее мокрое полотенце. Но вспоминалось только скольжение лыж по белой равнине, бесконечное скольжение лыж, короткие окрики Антонова: «Иди! Не отставай!» — и новогодние, ярко вспыхнувшие, странно близкие звезды.

— С Новым годом! — проговорила она, улыбаясь Гудимову.

Улыбаться было трудно, губа распухла и болела.

— Новый год уже прошел, Оленька, — сказал Гудимов, осторожно глядя ее руку.

— Прошел?

— Ты спишь вторые сутки. Мы уж испугались.

— Но я дошла? Я ничего не помню.

— Ты упала на болоте и чуть не провалилась. Антонов вовремя оглянулся. Он нес тебя на спине двенадцать часов.

— Антонов?..

Кто-то подошел и заговорил с Гудимовым. Гудимов выпустил руку Ольги и сказал: «Вот, приходит в себя, бедняга». — «Пусть поспит, это ей полезно», — ответил незнакомый голос. Ольга хотела сказать, что уже выспалась, но глаза сами закрылись, и она заснула с ощущением небывалого, чудесного счастья, баюкающего ее, как в детстве.

Дежурства бойцов группы самозащиты прекратились без приказа, и Марии не казалось это ни самоуправством, ни нарушением дисциплины. Она сама не могла подниматься на верхние этажи для проверки постов — значит, и другие не могли. Она сама не могла выстоять несколько часов на морозе, даже закутавшись в тулуп, — как же требовать этого от других?

Вода в пожарных бочках замерзла, ящики с песком замело снегом. Может быть, и следовало поддерживать боевую готовность на случай воздушного налета, но на все сил не хватало. Были дела неизмеримо важнее и неотложнее. Надо было сберечь людей, их души, их жизнь, их гордость.

Когда-то Мария испугалась назначения начальником штаба объекта. Кем она была теперь? Никакого штаба уже не было. Да и строительной конторы не было. Сизов со всеми работоспособными людьми очищал от снега железнодорожные пути из Ленинграда к Ладожскому озеру. Мария ведала полузамерзшим домом, где с каждым днем жило все больше рабочих семей, привлеченных сюда столовой и теплыми трубами парового отопления. Среди всех этих людей Мария была начальником, человеком, которому жаловались, от которого требовали, просили, которому доверяли. Она вела судорожную борьбу за отопление, не хуже кочегара знала нормы расхода топлива и придирчиво растягивала остатки угля, чтобы хватило его хотя бы на январь, и ссорилась с Ерофеевым, когда он говорил ей: «И чего на месяц вперед загадывать? Сама-то ты месяц протянешь?»

В столовую было страшно заходить. Голодные люди вызывали у Марии жалость и раздражение. Она была так же голодна, как они, и редко позволяла себе съесть свою жалкую похлебку, приходилось делить с Андрюшей и мамой. В столовой Марию осаждали жалобами на обвес или невыполнимыми просьбами накормить по талонам следующей декады. Она не имела права разрешить это. Да и что будут делать эти люди через несколько дней, когда у них не останется ни одного талона? Ей удалось уличить сестру-хозяйку в обвешивании столоующихся. Она выгнала ее из столовой, два дня хозяйничала сама, а потом упросила Сизова отдать в столовую Григорьеву. Старуха поворчала, нацепила на свою все еще мощную фи-

гуру белый халат и принялась «налаживать все с самого начала». Григорьева не могла кормить людей сытно, но стала кормить заботливее, и даже порции немного увеличились. Иногда, в нарушение всех правил, она отпускала какому-нибудь особенно изнуренному человеку тарелку похлебки без всяких талонов, и Мария не осуждала ее, потому что тарелка похлебки могла спасти человека, а у Григорьевой был зоркий глаз и честная душа.

Сизов возложил на Марию еще одну тяжелую обязанность — следить, чтобы рабочие выходили на работу. Мария с утра обходила общежитие. Если она видела рабочего, лежащего на койке или вяло поникшего возле трубы парового отопления, она присаживалась к нему, стыдила, уговаривала, иногда приказывала, хотя особых прав на то и не имела. Почти всегда ей удавалось уговорить человека, потому что ослабели все, а работать было нужно: очищая пути, рабочие видели составы с хлебом, с горючим, с боевыми грузами, прибывающими с Большой земли.

Хотя работа отнимала очень много сил, она бодрила, наполняла существование смыслом. Домашним хозяйкам, старикам, больным нечем было отвлечься от голода и от горестных размышлений. Мария старалась всех пристроить к какому-нибудь делу, заставляла женщин убирать, мыть, наводить порядок. Они ругали ее в глаза и за глаза, но Мария видела, что в глубине души они одобряют ее требовательность.

Почти все бани в городе закрылись. Люди ходили грязными, вшивели.

В столовой был большой бак, нагревавшийся от плиты. Мария отделила в кухне угол и поставила там корыто. Вместе с Григорьевой она в несколько вечеров выкупала в нем всех детей, а потом понемногу стала пускать взрослых. Когда чисто вымытый, благодушно улыбающийся истощенным лицом человек выходил из ванного закутка и тут же присаживался у плиты, чтобы до конца насладиться теплом, Марии хотелось плакать. Но она сурово торонила:

— Иди, иди. Помылся — и скажи спасибо.

А морозы все крепчали. Тридцать, тридцать пять, сорок градусов показывал градусник. Было жутко смотреть на коротенький столбик ртути, как бы сжавшейся в предчувствии большой беды.

Однажды вечером, зайдя в общежитие, Мария увидела на потолке быстро расплывающееся темное пятно. Прислушалась и уловила приглушенное бульканье воды.

С быстротой, с какой уже никто не двигался в эти дни, она побежала наверх. Вода била из лопнувшей трубы парового отопления. Мария дотронулась рукой до ледяной трубы:

— Заснул, мерзавец!

И побежала в кочегарку, чтобы отругать Ерофеева и вместе с ним остановить воду. Дверь в кочегарку, против обыкновения, была полуоткрыта, и ее внутренняя, влажная от испарений поверхность успела заиндеветь. Топка зияла черной дырой. У котла, скорчившись, лежал Ерофеев, прикрыв рукой лицо.

— Ерофеев! — яростно закричала Мария, дергая его за рукав. — Ерофеев, растяпа несчастная, ты понимаешь, что ты натворил! Ты понимаешь, что...

Она остановилась на полуслове. Захолодевшая рука Ерофеева безжизненно отвалилась, открывая синее лицо с закатывшимися глазами.

— Ерофеич, что же ты... — прошептала Мария, боясь дотронуться до него.

Она вздрогнула от резкого шороха. Ей показалось, что Ерофеев шевельнулся. Но это была крыса, большая крыса, обезумевшая от голода. Крыса смело подскочила к белеющей на полу руке Ерофеева.

— Люди! — закричала Мария. — Люди!

Она хотела бежать, но ноги не слушались ее. Крыса подняла морду, блеснув злыми глазами, и тоже не двинулась.

— Люди! — еле слышно в последний раз крикнула Мария, чувствуя, что теряет сознание.

— Ну, что тут стряслось? — раздался в дверях голос тети Насти.

Она шагнула в кочегарку, огляделась, цыкнула на крысу, наклонилась над Ерофеевым и потрогала его лоб и щеки.

— Помер, бедняга, — сказала она и, с усилием согнув его руки, сложила их на груди. Затем заглянула в топку и вздохнула. — Вот ведь какую беду наделал, — сказала она, оборачиваясь к Ерофееву, — заморозил систему! Теперь надо воду спускать, пока все к черту не разорвало. Мороз-то какой! Э-эх, миляга, и угораздило же тебя так неслышно помереть... — Она без всякой брезгливости

приподняла голову покойника и попросила: — Марья Николаевна, возьми-ка за ноги, отнесем его пока в сторонку. Ты в этой системе понимаешь или нет?

Постепенно отходя от пережитого ужаса, Мария принялась осматривать котлы, стараясь понять, как нужно спускать воду.

— А я ведь перетрусилась, тетя Настя, — со стыдом призналась она.

— Еще бы! Я бы со страху померла, кабы тебя не было, — добродушно ответила тетя Настя. — Покойников я не боюсь, потому что умер человек — и все, ничего тут такого нет. А от крыс я в мирное время на стол залезала.

После долгих осмотров и обсуждений им удалось понять, как спускают воду. Но вода шла плохо, кое-где в трубах уже образовались ледяные пробки. Когда позднее пришли с работы рабочие, Мария позвала Никонова на помощь. Она помнила Никонова бесценным работником, покладистым и умелым, и ее тягостно поразил его угрюмый ответ:

— Легко сказать — проверить систему! Тут два раза победать нужно, пока проверишь.

— Я боюсь, как бы и водопровод не замерз, — тихо сказала Мария и, не глядя на него, села на чью-то койку.

От усталости и огорчения она уже не могла и не хотела ни проверять, ни бороться, ни двигаться. «А сама-то ты протянешь месяц?» — спрашивал Ерофеев недавно. Что она может сделать одна, когда все вокруг леденеет, останавливается, умирает!..

— Ну, пополезем, что ли? — прозвучал рядом негромкий и насмешливый голос Никонова. — Паяльная лампа у тебя есть?

Словно возвращаясь из небытия, Мария с трудом улыбнулась ему. Ноги были как ватные, и все кругом было как ватное. И звуки, и движения, и краски казались вялыми, неопределенными. Ступишь на пол — качается. Возьмешься за дверную ручку — уйдет из-под пальцев.

— Паяльная лампа в кладовой у тети Насти, — как бы перекидывая мостик через пустоту, громко сказала Мария и ступила на пол. Пол не качнулся. Взялась за дверную ручку — ручка повернулась под нажимом пальцев.

Они лазили половину ночи, проверяя трубы и прогревая их, с каждым часом убеждаясь в том, что нужен ремонт серьезный, длительный, непосильный. Когда в тем-

ный час перед рассветом они, поддерживая друг друга, добрались до общежития, оба знали, что спасли отопительную систему от полного разрушения, но сегодня их усилия не помогут, — отопление выбыло из строя.

Григорьева проснулась, когда Мария вошла в комнату:

— Ну что?

— Отоплению конец, — от отчаяния равнодушно сообщила Мария и села у печурки, прижав ладони к ее остывающей стенке.

— Возьми, съешь, я тебе сэкономила. — Григорьева подтолкнула к ней миску, в которой было немного хлеба. — Худо будет, если водопровод кончится.

— Никогда больше не делай этого! — сказала Мария и стала есть. — А кончится, так будем воду ведрами носить, в соседнем дворе есть, — все тем же равнодушным голосом продолжала она. — Для столовой наносим. Только с баней будет хуже. — Она обчистила ложкой миску и строго сказала: — А экономить для меня не смей.

— Что делаю — то делаю. Шутка сказать, всю ночь по чердакам лазить! Ложись и спи.

— Страшно мне, — вдруг тихо призналась Мария. — Как же мне быть теперь?

Григорьева не расслышала, и Мария была рада этому.

Утром Мария написала записку Сизову, умоляя его прийти. Записку она послала с Никоновым и до вечера ждала, полная уверенности и спокойствия, как будто приход Сизова мог что-либо изменить.

— Не было сегодня Ивана Ивановича, — испуганно сказал Никонов, вернувшись с работы. — Не вышел.

Они посмотрели друг другу в глаза, и оба потупились.

— А кто же вместо Сизова заступил?

— Я.

На ночь Мария пошла домой. В комнате Марии, где жила теперь вся семья, топилась печурка, и притихший Андрюша сидел перед топкой, вытянув к огню озябшие ручки. Задумчивый взгляд его не отрывался от огня.

— Солнышко мое! — истуцленно прошептала Мария, села рядом и прижала его к себе. На этом непонимающем, теплом и доверчивом существе скрещивались самые страстные ее надежды и самые мрачные опасения.

Утром, когда Мария шла на работу, два снаряда прогудели над головой, но Марии казалось, что они не имеют к ней никакого отношения, — смерть от снаряда была теперь наименее вероятной смертью...

— Водопровод замерз,— встретили ее новостью Григорьева и тетя Настя.

Они возились у ворот, прилаживая к детским санкам бочонок.

— Куда вы?

— На Неву.

— А в соседнем дворе?

— У них тоже стало.

В этот день Мария два раза ходила на Неву. Было очень трудно спускаться самой и спускать санки с бочонком по обледенелому скату и еще труднее было втащить полный воды бочонок наверх. На льду возле проруби стояла очередь, и Марию поразило, что никто не жаловался, а многие радовались, что живут возле реки, и жалели тех, кто живет далеко. Возможность пользоваться водопроводом вычеркнули из сознания, как будто здесь были жители большой деревни.

Мария ходила за водой в паре с Зоей Плетневой, и Зоя сказала громко, для всех:

— Нам-то что! А вы себе представьте американцев с их небоскребами, если бы им пришлось воду таскать на семидесятый этаж. Сдались бы в два счета!

И вся очередь оживилась. Приспуская платки, закрывавшие рот и нос, женщины пытались шутить, и каждая шутка охотно подхватывалась. Мария тоже придумала что-то смешное, а сама украдкой оглядывала серые лица с запавшими глазами, с жуткими бескровными губами. Мертвецы! Улыбающиеся мертвецы!

Вечером Никонов пришел к Марии и прикрыл за собой дверь. Обмороженное лицо его горело возбуждением.

— Что? — увидев это лицо, коротко спросила Мария и собрала все силы, чтобы сдержанно принять новую беду.

Никонов положил перед нею листок, и Мария прочла:

«Дорогой Никонов, свалило меня воспаление легких, и больше ничего. Как поправлюсь, приду. Пока тебе одному крутиться. Лежу дома. Скажи Смолиной, если может, пусть доплетется ко мне. Внушай всем нашим людям, что грузооборот на Ладого увеличивается с каждым днем и очень важно держать пути в порядке, а то мы сами себе сошьем веревку. Продержаться надо еще месяц,

два. Но хлеба скоро еще прибавят. Никонов, друг, помни, что нам с тобой нельзя ни умирать, ни унывать. Мы еще поработаем вместе на восстановлении всего, всего.

Иван Сизов».

— Как у тебя дела? — спросила Мария тихо.

Никонов так же тихо ответил:

— Ничего. Двое сегодня не вышли. Остальные все ходят. Васильев сегодня работал-работал и упал. Думали — помер. Снесли его в дом, отогрели — ничего, отошел.

На следующий день Мария собралась в долгий путь — навестить Сизова. Застанет ли она его в живых? Худшей беды, чем болезнь, при нынешнем голодном истощении организма нельзя было и придумать. Устроить его в больницу? Но чем может помочь больница, когда в больнице тоже мороз и голод, больные лежат одетыми, и не то что компрессы или банки — даже градусники страшно ставить!

Сизов жил в первом этаже небольшого окраинного дома. Окна его комнаты были заложены кирпичом, бойница аккуратно застеклена, и над нею висела свернутая сейчас шторка затемнения. У жарко натопленной печурки возилась жена Сизова. В полумраке Мария не увидела самого хозяина, но именно его оживленный голос встретил ее:

— Машенька! Вот молодец! Раздевайся, у нас тепло.

Он лежал в постели, лицо его, освещенное отсветами огня, казалось розовым и более здоровым, чем было до болезни. Подсев к нему, Мария впервые заметила, что волосы его почти так же белы, как наволочка, — раньше она никогда не задумывалась над тем, что этот крепкий и напористый человек стар.

— Как тебе нравится мой блиндаж? — спрашивал он. — Я в нем и две блокадные зимы перезимую... Хозяйка, покорми гостью.

На столике рядом с постелью лежал больничный листок. Мария заглянула в него: двусторонняя пневмония, температура 39,6.

— Не разговаривай, Иван Иваныч, — попросила она. — Я тебе буду рассказывать наши новости, а ты не разговаривай, тебе нельзя.

— Сперва покушайте, — сказала жена Сизова и подала ей тарелку студня, сквозь который просвечивали куски картошки и зеленые лапки укропа.

— Господи! — воскликнула Мария, силясь отказаться и все-таки принимая тарелку.

Дом Сизова казался ей теперь обителью благополучия; она с удивлением смотрела на усталое, обтянутое кожей лицо хозяйки, на котором выступали несомненные признаки голодания.

Студень, обильно поперченный и пахнувший отваренным сельдереем, имел странный привкус, незнакомый Марии. Стараясь есть неторопливо и не жадно, Мария все-таки слишком быстро опустошила тарелку и откинулась в кресле, разомлев от еды и тепла.

— А теперь выпейте чаю.

Сизова поставила перед нею красивую чашку с бледным чаем и, усмехнувшись, рассказала:

— Сельдерюшку и всякую зелень я еще осенью насыпила. Второй голод переживаю, меня врасплох не застигнешь. А картошки я на фронте накопила, тогда разрешали — кто не боится. На ничейной земле набрала, под огнем. А самый студень — это Ивану Ивановичу спасибо скажите. Столярничать любил.

Она вынула из ящика рабочего стола темные кривые плитки столярного клея.

— А что ж! — вступил в разговор очень довольный Сизов. — Клей из костей варят? Из костей. Так мы его обратно в кости превращаем. Вредного ничего нет... Лизавета, заверни Маше парочку плиток, пусть дома сварит.

Сизов выпростал из-под одеяла руки, чтобы выпить чаю, и Марию снова поразили истощенные, по-детски тонкие руки Сизова. Она не могла отделаться от ощущения, что в этом доме царит изобилие. Может быть, ощущение порождалось налаженностью голодного быта хозяев и тем, что вся обстановка и вид Сизова были противоположны тому, что она ожидала увидеть.

Хозяйка закрыла трубу протопившейся печки, налила мужу второй стакан чаю, на минутку присела в кресло — и мгновенно заснула, склонив набок голову. Весь ее облик говорил о глубокой и бесконечной усталости.

— Ну, как у тебя, Маша? — шепотом спросил Сизов.

Мария рассказывала подробно и точно, тем невозмутимым голосом, который помогал легко принимать самые тяжелые вести и оставлял в стороне все личные переживания. Иногда она улыбалась, вспоминая какие-нибудь

забавные подробности поведения людей или шутки, вроде шутки по поводу американских небоскребов.

— Такую блокаду, Маша, кроме советского человека никто не выдюжит, — строго сказал Сизов. И, потянувшись вперед, чтобы заглянуть в глаза собеседницы, вдруг спросил: — Тяжело тебе?

— Ничего, — ответила Мария.

— Не отчаялась еще?

— Нет.

— Выдержишь, как думаешь?

— Не знаю... Думаю, выдержу.

— Отчего ты в партию не вступаешь, Маша?

Вопрос был неожидан и странен. Сейчас, среди всеобщей беды, когда все вместе тянули общую лямку и все вместе отбивались от общего врага, — какое значение имело формальное членство в партии? И разве она работала не так же, как если бы носила в кармане партийный билет?

— Сейчас? — удивленно возразила она. — Сегодня!?

Ей казалось бессмысленным и неловким подойти сегодня к таким же обессиленным, изнуренным людям, как она, к людям, знающим о ней все, как она все знает о них, и вдруг сказать им: «Давайте мне анкету, я хочу подавать в партию...» Будто это может что-то изменить, чему-то помочь!

Но Сизов настаивал:

— Когда ж еще будет настолько кстати?

И Мария поняла, что Сизов для этого разговора и вызвал ее к себе, и еще — что он торопится с этим, чуя приближение смерти.

— Иван Иванович, дорогой... — прошептала она, сжимая его горячую руку, — ты поправишься, все наладится, тогда...

Он недовольно высвободил руку и помолчал. Сильное дыхание его раздавалось в тишине, нарушаемой только редкими и далекими орудийными выстрелами.

— Вот, слушай меня, дочка. — Он впервые назвал ее так, и в этом тоже было предчувствие смерти. — Я думаю выжить, но, сама знаешь, это сейчас мудрено. Ты и Никонов — моя опора. Врать незачем — трудно будет еще долго. Я боюсь за тебя, не отчаялась бы...

— Я и так не отчаюсь... разве в партийности дело?

— Силы у тебя прибавятся, Маша.

Она напряженно обдумывала его слова, пока он отдыхал от длинной речи.

— Партийность сейчас вроде груза,— снова заговорил Сизов, и оттого, что он произносил каждое слово отдельно, с передышками, слова его звучали особенно веско. — Но груз этот такой, что не уронишь и сам не упадешь. Чувствуешь себя, будто один за все отвечаешь и всем людям один — поддержка.

Мария видела, что он еще не кончил, и сказала:

— Ты передохни. Я подожду.

— Ты добрая,— продолжал Сизов, передохнув. — Это для партийного человека нужно. Но есть доброта — и доброта. Партиец должен быть и жесток, когда нужно. Вот я привел людей пути чистить. Обувь у кого какая, одежда тоже. Качаются люди. А я им говорю: «Принимайся веселее. Работа легкая, это вам не землю копать». А какое там легкая, когда обыкновенная метла — как чугунная, руки тянет! Вижу, бьются люди, а требую с них: вот тебе столько-то метров — как хочешь, чтоб было сделано, иначе домой не пуцую и талона на обед не дам. И не даю, коли не выполнит норму. Жестокость? А без нее мы все погибнем, и он первый свалится. Потому что нужно. Потому что иначе нельзя... Сможешь ты так?

— Постараюсь...

— И еще партийность прибавит зоркости. Вот ты о весне думала? Ты думала — благодать, тепло, ручейки. А ты ответственно подумай и приглядишься, что за ручейки потекут. Не для испуга, а чтоб вовремя опасность учуять. — Он молча подышал, улыбнулся: — Вот тебе мое завещание, Маша. А только скорей всего я выживу.

7

Когда Кочарян вышел на улицу из ворот больницы и морозный воздух проник в его легкие, он присел тут же, у ворот, на скамеечку и несколько минут сидел неподвижно, как человек, которому нужно отдышаться. Это не было действие воздуха,— он уже не раз гулял в больничном дворе. Это не была и слабость,— он чувствовал себя здоровым. Но свобода, полная свобода на целые сутки, с которой он не знал, что делать, ошеломила его.

Потом он медленно пошел к своему бывшему дому. Тихо было на улицах — ни трамваев, ни машин. Только

один грузовик обогнал его. Из-под наброшенной парусины торчали застывшие, скрюченные руки и ноги. Свесившаяся черноволосая голова с оскаленными в предсмертной судороге зубами при каждом толчке постукивала о борт грузовика. Сзади, утомленно привалившись к трупам, сидели рабочие с лопатами. Никто, кроме Кочаряна, не проводил глазами этот страшный грузовик. Люди, неуверенно ступая, глядели себе под ноги.

Развалины его дома были присыпаны снегом. Казалось, уже века стоят здесь эти молчаливые, обглоданные ветром столбы, висят посеребренные морозом балки, глядят в пустоту дыры окон с вырванными рамами.

Он зашел во двор через уцелевший проход, заваленный кирпичами. Две девочки, до глаз укутанные платками, вытаскивали из-под снега и камня расщепленную балку. Когда выпрямились, чтобы передохнуть, ноги их дрожали. Кочарян подошел и взялся за балку, но старшая девочка с воплем схватила его за руку.

— Это наша! Наша! — закричала она.

Кочарян покосился на девочку и продолжал тянуть балку. Девочка отступила.

— Да ну, потяни здесь, глупая! — мирно сказал он.

Девочки послушно тянули, как он им приказывал, поглядывая на него со страхом и надеждой.

Высвободив балку, он спросил сердито:

— Далеко вам тащить?

— Через улицу, — все еще не веря до конца неожиданному помощнику, сказала старшая девочка.

Вторая так и не произнесла ни одного слова.

— Ну, тащите!

— Ой, спасибо вам, дядя! — сказала все та же девочка.

А вторая вдруг заплакала и стала привязывать балку к саночкам. Кочарян отвернулся и стоял, не глядя и не двигаясь, пока девочки не исчезли в проходе.

Он нашел вход в убежище, — раньше там был деревянный сарай. Когда он женился на Кате, он купил дрова и сам складывал их в сарае, очень гордый первым хозяйственным приобретением, а Катя сбрасывала поленья в окна сарая и, щурясь на солнце, улыбалась, стараясь разглядеть своего Левона в темном провале окошка. Теперь окна были заложены кирпичами. Дверь была разбита ударами топора, потолок над нею осел. Кочарян шагнул в полумрак подвала и остановился... Так это здесь

укрывалась Катя со Стасиком?.. Здесь был ее последний горький приют?..

— Надо идти,— громко сказал Кочарян, но пошел бесцельно по двору, как арестант на прогулке — кругами, кругами, по своим же следам.

Женщина вышла из дворового флигеля, внимательно оглядела Кочаряна и не спеша подошла.

— Вы или не вы? — спросила она и покачала головой, должно быть потому, что все стало сейчас не похоже на самих себя, да и память ослабела, все спутывает. — Муж Кати... или обозналась?

— Да! — с дикой надеждой крикнул Кочарян. — Да, да! Что вы знаете?

Женщина кивнула на развалины и промолчала. Лицо ее поскучнело, — она, наверное, жалела, что затеяла ненужный и тяжелый разговор; ведь не вернешь и не поможешь!

— Стасик в Доме малюток, вам ведь писали? — наконец сказала она и приблизила лицо к лицу Кочаряна. — Там хорошо. Мне одна женщина рассказывала, там кормят... будто даже белый хлеб на самолетах привозят... и молоко консервированное... она сама там работает, зачем ей врать!.. Каши дают по целой тарелке.

— Катя... дома была?

Женщина досадливо поморщилась, — смерть наскутила ей.

— Не спустилась она в убежище, вот и придавило, — безжалостно сказала она. — С ребенком разве можно лезть вниз идти!

Кочарян живо представил себе Катю, сонную и усталую, как она проводит слабой рукой по лбу и светлым волосам и говорит сама себе: «Не могу я идти...» — и опускается на кровать, прижав к себе Стасика и прислушиваясь к выстрелам с равнодушием смертельной усталости... Мрачное отчаяние овладело им оттого, что она, оказывается, могла бы и уцелеть, если бы спустилась в убежище...

— Где ее похоронили? — спросил он.

Женщина с осуждением поглядела на него и покачала головой:

— Неужто пойдешь? Ведь пешком! Тут и покойника довести... на улицах бросают... Ну, куда ты пойдешь? Зачем? Да и, знаешь, на кладбищах сейчас... Не ходи! — решительно закончила она и пошла, не прощаясь, к подворотне.

— Где ее похоронили? — крикнул вслед Кочарян.

— Господи! — раздраженно воскликнула женщина, оборачиваясь. — Я же тебе говорю... Она увидела горящие глаза Кочаряна и быстро проговорила: — На Волковом, милый, на Волковом... — и почти побежала через проход.

До кладбища он шел больше часу, и чем ближе он подходил к нему, тем чаще нагонял и оставлял позади пешеходов, впряженных в саночки с покойниками, спеленатыми туго и умело простынями, одеялами, кусками ситца и рогож. Покойники сперва казались ему детьми, потом он понял, что худоба сделала их меньше, суше. Тащили санки почти исключительно женщины. Походка их была строгой, упрямой, лица — каменными.

На улице, ведущей к кладбищенским воротам, поток саней стал густым. У ворот с двух сторон штабелями лежали трупы, частью уже занесенные снегом. Некоторые были в пальто, в шапках, и позы их были мучительно зябкими, — видимо, шел человек и присел на снег, не в силах идти дальше, сжался в комок, пытаясь согреться, да так и умер. Некоторые лежали в одном белье, раскинув руки, оскалив желтые десны, с выражением ужаса в глазах, увидевших смерть. У иных лица были спокойными и просветленными.

Кочарян видел много смертей на фронте, он не раз горевал над убитыми товарищами, но никогда смерть на фронте не будила в нем такого скорбного отчаяния, такой ожесточенной ненависти к врагу, такой ярости и жажды мести.

Он не пошел справляться в конторе, где похоронена Екатерина Кочарян. Сейчас это казалось ему нелепостью и почти оскорблением для тех, кто лежал здесь, в пальто и в белье, в свивальниках и рогожах, — разве они меньше, чем Катя, заслужили достойной могилы?

Он низко поклонился сухим, промерзшим покойникам и побрел обратно. Теперь санки с трупами плыли ему навстречу, и глаза его встречали остановившиеся глаза женщин. Потом сумерки скрыли от него лица встречных, а сердце его устало от муки, и мысли его впервые обратились к тому, кто жив и должен жить, — к сыну Анастасу, к Стасику.

Он пришел к Дому малюток в полной темноте. Не найти было ни калитки, ни крыльца. Он долго плутал вокруг дома, пока не раскрылась дверь, пропуская кого-то.

— Гражданка! — обрадованно выкрикнул он, подбегая к темному силуэту женщины. Силуэт метнулся назад к двери, молодым звонким голосом вскрикнул:

— Кто здесь?

Страх женщины мучительно поразил Кочаряна.

— Левон Кочарян, боец Красной Армии, — сказал он как можно мягче. — Мне сына повидать... в Доме малюток...

Женщина молча впустила его в освещенную свечой переднюю и сама вошла за ним. Она внимательно осмотрела бойца, стоявшего перед нею, и вдруг светло улыбнулась:

— Вы... Стасика отец?

Они смотрели друг на друга. Темные глаза Кочаряна медленно наполнялись слезами.

— Дети спят... — сказала женщина. — Не соображу я, что с вами делать...

— Мне посмотреть, — прошептал Кочарян.

Женщина без слов ушла. Вернулась с другой, пожилой, подтянутой женщиной в белом халате.

— Вот, Анна Константиновна...

— А завтра вы не можете прийти? — спросила Анна Константиновна. — Дети спят... В спальню входить не полагается.

— Мне посмотреть, — повторил Кочарян.

— Пойдемте, — решительно сказала Анна Константиновна и дала ему халат.

В белой спальне рядами стояли кровати. Стасик спал, выпростав из-под одеяла полные ручки и чуть улыбаясь. Длинные черные ресницы отбрасывали тени на покрасневшие щеки. Этот несомненно здоровый и благополучный детский облик был самым поразительным из всего, что видел в тот день Кочарян.

Они простояли там долго. У женщин на лицах, скудно освещенных свечой, бродили странные, то горделивые, то скорбные улыбки. Стасик глубоко вздохнул и повернулся на бок, подложив ладонь под щеку. Кочарян побледнел: так спала Катя — щекой на ладони, и по утрам на щеке иногда оставалась примятая во сне морщинка.

Низко склонив голову, Кочарян повернулся и на цыпочках пошел к двери. Женщины — за ним. В передней они все сели, и Анна Константиновна вдруг начала неудержимо рассказывать, как привезли Стасика, как она долго возилась с его придавленными ножками, как он был

сосредоточенно-молчалив, как на вторую неделю он впервые вышел из оцепенения, обрадовавшись бубну... Молодая изредка вставляла слово, напоминая о чем-нибудь, что забыла Анна Константиновна, и смотрела на Кочаряда с жадным вниманием. Это было их вознаграждением за упорный труд — рассказывать отцу, как они выходили его ребенка.

Когда они кончили рассказывать, Кочарян встал.

— Спасибо вам, матери... — сказал он.

Младшая вытерла слезы и спросила.

— Куда же вы пойдете сейчас?

— Пойду, — неопределенно ответил Кочарян.

— Вы приходите с утра повидать Стасика, — сказала

Анна Константиновна.

— Выйдем вместе, — предложила молодая.

Когда они вышли, она переспросила:

— Куда же вы пойдете ночевать?

— Не знаю, — признался Кочарян. — В город далеко.

— Пойдемте ко мне, — сказала женщина, — я здесь неподалеку живу. Невесело у меня... да ведь что ж!..

Он пошел. Эти грустные слова сделали их отношения простыми. Дома она бережно чиркнула спичкой и зажгла коптилку. Маленькая комната была опрятна, видно было, что хозяйка боролась с копотью и с дымом. Но когда она от коптилки зажгла лучины и сунула их в печурку, набросав сверху сырых полешек, дым вырвался в комнату и поплыл в морозном воздухе.

— Сейчас вытянет. Я чайник поставлю, — сказала женщина и ушла с чайником на кухню, оставив Кочаряна у печки. Потом она позвала его: — Помыться хотите, товарищ? Идите сюда, я вам полью.

Он пошел на скудный свет. В дверях кухни она неожиданно замялась:

— Пойдите здесь... Я сюда вынесу...

Она выставила в коридорчик ведро, принесла ковшик воды. Полила ему. Потом они сидели у печки, слушая, как поет, закипая, чайник. Кочарян не ел с утра, с госпиталя, но и сейчас ему хотелось только пить, так пересохло у него во рту.

— Леля меня зовут, — сказала женщина. — Так уж все дети называют — тетя Леля, и взрослые тоже.

— Муж... на фронте? — спросил Кочарян, заметив на стене фотографию военного,

— Мужа убили в ноябре под Колпином,— привычно спокойно ответила она.

— И родных у вас... никого?

Она опять замаялась, затем отрицательно покачала головой.

К чаю он вынул хлеб из кармана шинели. Леля нарезала промерзший хлеб мелкими ломтиками и ловко подрумянила их на печурке. В комнате стало тепло. Разморенный теплом и усталостью, Кочарян молча ел хлеб и пил кипяток, разделив с Лелей кусок сахара. Она смущенно взяла сахар, но от хлеба упрямо отказывалась.

— Ложитесь,— сказала она, постелив ему постель.

Кочарян долго лежал, растревоженный и почти больной от всего, что видел и пережил за день. Конечно, в госпитале он слышал много рассказов о том, как живет осажденный город. Но то, что он увидел, потрясло его простотой и суровостью. Город страдал без жалоб и без слез.

Утром Леля разбудила его. Снова горела коптилка, но в окно, освобожденное от маскировочной занавески, уже пробивался тусклый зимний рассвет.

— Мне на работу пора,— объяснила она. — Вместе пойдем?

Когда он умывался в коридорчике, Леля второпях оставила его одного. Дверь в кухню была открыта, и он заглянул туда по странному побуждению,— у него осталось в памяти, что Леля, замаявшись, не хотела впустить его в кухню. На кухонном столе, тесно прижатые друг к другу, лежали два старика — мужчина и женщина. Руки их были заботливо сложены на груди, головы покоились на подушке. В застывшие пальцы были вложены веточки цветов — белых цветов, какими украшают подвенечные платья невест.

— Это мама и папа,— раздался за спиной Кочаряна дрогнувший голос. — Я думала, вам будет неприятно смотреть.

— Вы не можете похоронить? — шепотом спросил он.

— Послезавтра у меня выходной, отвезу,— сказала она. — Пойдемте.

Ему пришлось ждать в передней, пока дети умывались и завтракали. Гомон детских голосов доносился из столовой, и беспечность их показалась Кочаряну такой же нереальной, как и улыбка на лице спящего Стасика.

Дети перешли в игральную комнату, и Кочаряну разрешили войти. У него перехватило дыхание, когда он вошел в комнату, полную маленьких детей, и несколько детских голосов восторженно крикнули:

— Папа!

Какие-то худенькие, бледные мальчики и девочки бросились к нему и остановились в нескольких шагах, внимательно вглядываясь в незнакомого военного. Они все, должно быть, уже не помнили, как выглядят их папы, но знали твердо, что папа вот такой, в военном... Стасика он не узнал. В незнакомом вязаном костюмчике с нагрудником, по-новому подстриженный, он медленно подходил, вцепившись в руку тети Лели. Он был бледнее и худее, чем показался ночью, но младенческая пухлость осталась.

Как и большинство детей, окружавших его, Стасик уже не помнил дома, не помнил семьи, мир для него был ограничен Домом малюток, его нянями и воспитательницами, его садом и воротами на улицу, куда не пускают. Но другие дети закричали «папа!». О том, что придет папа, еще в постели узнал он от тети Лели, и он шел к нему, как к неизбежному, слегка пугающему и все же, наверно, хорошему, потому что слово «папа» произносилось особым, торжественным и радостным тоном.

Кочарян подхватил его, прижал к себе и выбежал с ним из комнаты, чтобы не заплакать при всех. Но мальчик вдруг сам заплакал, и Леля догнала их и шепнула:

— Дайте ему сахару...

Они сидели в пустой спальне. Кочарян держал сына на коленях и молчал, а сын разглядывал исподтишка неопытного человека, называемого папой, сосал сахар и тоже молчал. Вдруг какая-то тень прошла по его младенческому лицу, он прижался к гимнастерке отца и отчетливо сказал:

— Мама!

И тогда Кочарян, обезумев от горя, начал целовать его, прижимая к себе, и говорить ему, что кончится война и они будут жить вместе, и будет много сахару и конфет, и они поедут в Армению, где растут большие персики, большие яблоки, большие груши, сок так и брызнет под зубами, и небо там синее, и погода теплая, и Стасику будет очень хорошо... Стасик не понимал и половины слов, но слушал обещающий, ласковый голос и что-то вспоминал, что-то в нем оживало и радовалось. А когда отец замолк, он — доверчиво и уже совсем освоившись — стал

рассматривать и дергать ремень, пуговицы, петлицы, и в глазах его светилось мальчишеское извечное любопытство ко всему военному.

Настало время уходить. Кочарян отнес мальчика в игральную комнату, и ребята снова сгрудились вокруг него и Стасика, молча и завистливо наблюдая. Кочарян долго помнил именно эти завистливые, строгие детские взгляды. Шагая по бесконечной белой дороге к центру города, мимо изнуренных людей, мимо развалин и молчаливых, заиндевевших домов, он впервые подумал, что кусочек детской жизни, которую обошла смерть, это тоже страдающий и воюющий Ленинград, взывающий о возмездии.

И ему стало по-новому, до конца ясно, что он будет делать на фронте. Все, чем дышала страна, что страстно повторяли его товарищи, политруки на беседах и газеты, что говорил он себе сам, борясь со смертью на госпитальной койке, все, о чем без слов кричали ему вчера и сегодня улицы и люди Ленинграда,— все это сейчас пронзило его сознание и потрясло его. И тогда из глубины души, воспринявшей с колыбели горячие чувства своего народа, из-под напластований культуры, знаний и выработанных понятий поднялось, будто из глубины веков, старинное, смертельно страстное чувство родовой мести — ни один враг не должен остаться жив, ни один не будет прощен... И, еще не получив боевого оружия, Кочарян стискивал пальцы, будто винтовка привычно легла между ними.

8

После утомительного, беспокойного дня Люба мечтала сразу лечь спать за ширмой в кабинете мужа, где они оба теперь жили, но еще за дверью услышала голоса Левитина и секретаря райкома Пегова. Мигающий свет керосиновой лампы освещал постаревшее, озабоченное лицо Владимира Ивановича и худое, с темными впадинами на щеках, нервное лицо Левитина. Пегов сидел в глубине комнаты в кресле, загораживаясь от света газетным листом, — от переутомления у него болели глаза.

— А чаю без меня вышить и не догадались, — сказала Люба огорченно, подбрасывая дров в печурку и ставя чайник на огонь. — Тоже директор! Никакого гостеприимства!

— Мы тебя ждали, Соловушка, — Владимир Иванович подошел к ней и с жалостью погладил ее по худенькой спине с выпирающими лопатками. — Устала?

— Устала, — призналась Люба и присела у печки, прикрыв глаза. — Начали разбирать на дрова разбомбленный склад. Одну доску трое человек отдирают и отодрать не могут... — Она открыла глаза и быстро, насмешливо улыбнулась. — Лиза Кружкова говорит: «Очень крепкие гвозди...» А при чем тут гвозди? Гвозди как гвозди...

Чайник тоненько засвистел, потом заурчал, закипая.

— А постельное белье ты мне достань, — строго сказала Люба. — Как хочешь, достань. Хоть одну смену на пятьдесят копеек.

— Вот тебе и начальница для стационара, — сказал Пегов, отбрасывая газетный лист и переходя к печурке. — Чего мудрить, Владимир Иванович? Ищешь, ищешь, десяток мужиков перебрал, а кандидатура у тебя под боком и уже трясет тебя, директора, чтобы быстрее поворачивался. Постельное белье придется достать, а?

Левитин с интересом посмотрел на покрасневшую Любу:

— Справитесь?

— Ой, не знаю. И я что-то не пойму — почему меня?

— А почему не тебя? — спросил Пегов. — Знать тебя на заводе знают, что ты не воровка — уверены, что ты из директора все, что нужно, выколотишь — можно не сомневаться. Заинтересована ты стационаром? Безусловно! Так чем же ты не начальник!

— Я бы лучше помогала, чем могу, а чтоб начальником другой был, — сказала Люба испуганно. — Там ведь и продукты, и нормы, и отчетность...

— А для чего тебя в школе учили? Считать не умеешь? Эка страсть — отчетность! Смотри, чтоб людей не обделяли, не обвешивали, чтоб кормили честно и ухаживали за ними с душой, — вот и будешь справляться. А ответственности бояться — так какая же ты ленинградка?

— Ничего я не боюсь, — проворчала Люба. — А только помогать надо делом. Сколько дней я о постельном белье твержу!

— Ты ж понимаешь, постельное белье все в госпиталях...

— Будет постельное белье — соглашусь, не будет — ищите другого, — сердито сказала Люба, — Я позориться

не буду. — Подумав, она добавила, обращаясь к Левитину: — И устраивать всё будем силами бытового отряда, и повара сами разыщем, и персонал. В таком деле надо знать, с кем работаешь. Ошибаться тут некогда.

Она налила всем чаю, пристроилась на диване, поставив стакан, блаженно откинула голову на мягкую спинку дивана да так и заснула мгновенным глубоким сном.

Владимир Иванович прикрыл ее одеялом, растерянно постоял над нею, мечтая как-нибудь увести Левитина и Пегова, но не решаясь это сделать, так как они пришли по делам и комната эта была служебным кабинетом. Люба вздохнула во сне, подобрала ноги на диван и легла поудобнее. Владимир Иванович принес из-за ширмы подушку, подложил ее под голову жены и на цыпочках прошел к печке, где тихо сидели его товарищи.

— Я категорически против ее назначения, — сказал он, упрямо пригибая голову и ни на кого не глядя.

— Почему, Владимир Иванович? — укоризненно спросил Пегов.

— Потому что у нее нет ни опыта, ни деловой сноровки... — веско начал Владимир Иванович, но оборвал свою речь на полуслове, болезненно поморщился и сказал совсем другим, жалобным голосом: — Я, кажется, себя не жалею... И никогда не просил чего-нибудь для себя... А сейчас я прошу. Я хочу сберечь женщину, которая мне... которую я... — Лицо его дрогнуло. Он преодолел волнение и закончил резко, почти зло: — Можете смеяться, осуждать, но я ее люблю и хочу ее сберечь. Пусть это эгоизм, слабость — что ж, я готов признаться в этом!

Наступило неловкое молчание. Пегов вытащил кисет, все трое взяли из кисета табак и старательно свернули папироски. Прикурили от уголька. Три дымка струйками тянулись вниз, к топке, и заползали в нее, обвивая приоткрытую дверцу.

— Что ж тут смеяться или осуждать, — задумчиво сказал Пегов. — Большое чувство всегда вызывает уважение... и даже зависть. Твоя Соловушка достойна большого чувства... Но почему ж ты, Владимир Иванович, хочешь принизить ее, а не поднять?

— Мудрено говоришь. Не понимаю, — буркнул Владимир Иванович.

— По-моему, так: если любишь человека, хочешь, чтобы он развернулся во всю свою силу... Люба — девочка, но в ней есть талантливость и энергия. Она еще очень

мало сделала в жизни, но может она много. Зачем же искусственно ограничивать ее?

— Я знаю одно,— пылко сказал Владимир Иванович: — она похудела так, что косточки торчат, на ней лица нет, она только придет — засыпает, как убитая. Стационар съест остатки ее сил. Для нее, с ее впечатлительностью, это будет страшная, изматывающая работа, потому что ей придется выхаживать истощенных, полумертвых людей, возиться с дистрофиками, у которых голодные поносы, раздражительность, мнительность, капризы...

— И это будут вместе с тем лучшие люди твоего завода,— тихо закончил Пегов. — Люди, которых надо спасти, сохранить во что бы то ни стало. И которых она спасет и сохранит, потому что они ей дороги, она росла среди них и они ее любят. Потому, наконец, что она уже сейчас добровольно, ни от кого не получив поручения, хлопочет о постельном белье для них, о дровах, о свете...

Владимир Иванович вскочил, заходил по кабинету, потом остановился перед Пеговым, возмущенно вскинул голову.

— Демагогия! — воскликнул он. — Ты хочешь меня прижать к стене нелепым противопоставлением: твоя жена может спасти людей твоего завода, а ты приносишь этих людей в жертву своему эгоистическому желанию сохранить жизнь жены. Но ведь свет клином не сошелся на ней! Я сам сделаю и уже делаю все, чтобы сберечь наши кадры, ты меня ни в чем не можешь упрекнуть. О стационаре я заговорил первый, я буду сам помогать ему повседневно, и делать из меня себялюбца и эгоиста...

— Кто вас обвиняет, Владимир Иванович! — мягко сказал Левитин. — Но вы должны посмотреть на вашу жену глазами стороннего человека... Хоть на минуточку сумейте это! Вы увидите, что вы ее хотите лишить не только самого трудного, но, может быть, и самого прекрасного подвига ее жизни.

— Я хочу сберечь эту ее жизнь,— с горечью сказал Владимир Иванович и отвернулся от собеседников.

Взгляд его остановился на лице жены. Печать огромной усталости лежала на этом худеньком, почти детском лице.

— А я знаю другое,— так же мягко, но с увлечением заговорил Левитин. — Сейчас человека можно сберечь только одним способом — живым делом, чтобы вся его энергия пришла в движение, чтобы ему страстно хотелось

делать. Потому еще и страшна остановка завода, что энергия людей оказалась ненужной, повисла в воздухе. Поглядите хотя бы на Григория Кораблева. Не поручи мы ему сейчас это дело с топливом, он помер бы с тоски.

— А Курбатов? — подхватил Пегов. — Вспомни, Владимир Иванович! В первый же день остановки завода он к тебе пришел с идеей собрать по заводу весь лом, все отходы, чтобы потом, когда дадут ток, не затерло с металлом. И ты сам тогда сказал ему — организуйте, да поскорее. Потому что человеку нужно было дать цель жизни. Верно?

— А Солодухин, как узнал, что завод останавливается, заплакал... — продолжал Левитин. — Теперь и на завод не ходит. Свалился.

Владимир Иванович нервно потянулся за табаком. Лицо его выражало упрямство и досаду. Он не признавал себя убежденным, но понял, что приостановить назначение Любы не может, — и не только потому, что секретарь парткома и секретарь райкома ополчились против него, но и потому, что сама Люба станет на их сторону. И он жалел, что разоткровенничался попусту.

— Университет! — неожиданно воскликнул Пегов и задумался. Яркие отблески огня освещали его осунувшееся лицо и воспаленные глаза. Вопреки переутомлению, во всем его облике и в какой-то внутренней, почти незаметной улыбке проявлялись жадный интерес и любовь к жизни, к людям, ко всему тому, что раскрывает перед ним время. — Да. Университет! — повторил он с удовольствием. — Такую науку мы теперь изучаем, какую в обыкновенном университете не изучишь. Науку понимания людей и руководства ими.

— Дорога́ цена такого обучения, — буркнул Владимир Иванович.

— Тем более важно овладеть ею, чтобы цена окупилась пользой, — заметил Левитин. — Есть сейчас такая искренность и честность отношений между людьми, которую надо сохранить. И такая нетерпимость к бюрократизму, к формалистике, к казенщине, которую тоже надо сохранить. Так было, наверное, в восемнадцатом году, когда вступить в партию для человека значило — идти на фронт, на линию огня...

— Я лично научился верить в способности и инициативу самого рядового человека, — медленно заговорил Пегов, видимо тут же продумывая и обобщая то нсвое, что

раскрылось ему. — Научился видеть скрытые возможности человека. Вот с выдвиганием кадров. Слов нет, и до войны выдвигали. Но по теперешней военной мерке — слабо, робко... Богаты были, что ли?

— Конечно, богаты! — оживленно вступил в разговор Владимир Иванович, радуясь его новому направлению. — В первые дни, когда народ в армию пошел, мы ведь за голову хватались. А потом сколько людей выдвинули! Да тот же Курбатов. Ходил себе молодой инженерик, работал с огоньком, но никаких таких организаторских талантов за ним не замечалось. А поставили начальником сборки — глядите, каков оказался!

— Вот мы Левитина выдвинули, — продолжал Пегов. — Ведь как было? Пришел он ко мне из госпиталя, время смутное, людей нету, посмотрел я на него и подумал: фронта он понюхал, хочет танки делать, понимает, как они нужны... А что если послать его секретарем парткома на танковый, пусть свое понимание всему коллективу передает! А раньше разве бы я решился молодого, неопытного так смело выдвинуть? Да еще на такой заводище!.. В анкету много смотрели. Номенклатура! Кадр! Бывало, числится у тебя в кадрах какой-нибудь неповоротливый дядя со стажем, ты его и на бюро стегаешь и с глазу на глаз с песочком протираешь, а все он у тебя кочует из организации в организацию. Провалиться не проваливается, но и радости от него никакой нету... А теперь у меня на девяносто процентов новые люди работают, и при отборе один критерий: способен человек, с душой берется — значит, двигай его да помогай, чтоб развернулся вовсю.

— А женщины? — подхватил Левитин и оглянулся на мирно спящую Любу. — Я теперь на наших женщин во всех делах опираюсь. Сила!

— Да что скрывать, мы все думали: мужчине поручишь — как-то спокойнее, — напомнил Пегов. — А теперь женщины заметнее стали, вот и убедились. А они доверие ценят, уважение ценят. Я теперь как делаю? Подхожу ко мне на швейной фабрике работница и со злостью такой жалуется, что в хлебном ларьке — обвесы, воровство, очереди. Спрашиваю директора: хорошая работница? Хорошая, отвечает, только беспокойная. Ну, говорю, давай воров выгоним, а ее поставим в хлебный ларек, пусть свое беспокойство на благо людям расходует.

— Ну и как? — полюбопытствовал Владимир Иванович.

— А вот так же, как с твоей Соловушкой, — добродушно пошутил Пегов. — И постельное белье будет, и отчетность, и стационар образцовый на весь район. А у той и порядок, и очередей меньше, и шуметь перестала, а всё весы проверяет — чтоб не врал.

— Что тут обо мне говорят, пока я сплю? — поднимаясь и протирая сонные глаза, спросила Люба и нежно улыбнулась Владимиру Ивановичу, вскинувшемуся на встречу ее голосу. — Я что-то все перепутала... Приснилось мне или вы в самом деле решили меня в стационар назначить?

— Да ты уж сама себя назначила, — пробурчал Владимир Иванович, выплескивая ее остывший чай и наливая ей горячего. — Постельное белье!

— А неужели их на голые матрацы положить? — возразила Люба и с наслаждением отхлебнула горячего крепкого чаю.

.....
Помещение для стационара было предоставлено в одном из бомбоубежищ, где отсутствие дневного света возмещалось безопасностью во время артиллерийских обстрелов. Люба вместе с комсомольцами бытового отряда побелила там стены и потолки, вместе с монтерами провела электричество, вместе с печниками сложила несколько печек. В любой работе она участвовала сама, так как не умела командовать другими и хотела, чтобы все делалось быстро. Сотрудников она подобрала из заводских людей, главным образом из комсомолок, активно работавших в бытовом отряде. Эти отряды возникли в те дни по всему Ленинграду. Тысячи девушек и подростков ходили по домам, навещая больных, одиноких, беспомощных людей, помогая им так, как помогли бы более здоровые и сильные духом близкие люди: носили воду, добывали дрова, получали по карточкам хлеб; устранивали больных в больницы, хоронили умерших; обогревали, обмывали и сдавали в детские дома осиротевших ребятшек. Члены бытовых отрядов не получали ни дополнительного питания, ни вознаграждения. По зову сердца, по долгу совести вышагивали они, голодные и замерзшие, по улицам и дворам, по бесконечным чужим лестницам — из дома в дом, из этажа в этаж, из квартиры в квартиру. Люба сама работала в заводском бытовом отряде и знала, что на членов его можно положиться.

Труднее всего было с ванной и освещением. Бригада монтеров, в которой Люба продолжала работать, сумела обеспечить свет. Маленькую динамо-машину, которую все по-домашнему называли «движок», приводили в движение с помощью газогенераторного грузовика. Грузовик приподняли так, чтобы свободно вращающееся заднее колесо с надетым на него шкивом служило трансмиссией для «движка». Возни с этой своеобразной электростанцией было много: долго не могли подобрать шкив, шкив слетал с колеса, мотор капризничал. Когда впервые вспыхнули лампочки, Люба заплакала. В тот день все ходили праздничные, возбужденные, — убогий свет казался огромной победой.

Устроить ванну не удалось, но оборудовали душевую. Воду в баки приходилось накачивать вручную, но Люба верила, что ей и ее подругам хватит сил на это, пока не разморозят водопровод. Поглядев, как Люба качает насос, Владимир Иванович с бешеной энергией взялся за водяную проблему. А Люба только подзадоривала: «Давай, давай, меня тоже не на век хватит в одну лошадиную силу работать!» К ночи она входила в кабинет мужа шатающейся походкой и падала, не раздеваясь, на диван.

Затеи комсомолок казались Владимиру Ивановичу чрезмерными, безумными. Для чего тратить силы на такой вздор, как белые салфетки на тумбочках, как кружевные занавески в столовой и читальной, устроенных не в подвале, а «на воле», в светлых комнатах, где и так застеклили наново все окна, выбитые взрывной волной!

— Ты не понимаешь, — сердито говорила Люба. — Хорошее настроение — это такой же витамин, как хвойная настойка!

Еще не все было сделано, еще кухонные работницы только налаживали санки для похода на базу за продуктами, когда Любе пришлось принять первого больного.

Инженер Курбатов, обследуя один из цехов в поисках металла, поскользнулся и упал. Падая, он порезал руку о металлическую стружку. Порезы были легкие, потеря крови незначительная, но Курбатов уже не мог подняться. Его перенесли в контору, вызвали врача. Врач перевязал порезы и сказал, что у больного дистрофия второй степени и непонятно, как он работал до сих пор.

Люба попросила врача обмыть Курбатова в душевой, так как Курбатов ни за что не соглашался на помощь

девушек, и затем торжественно уложила его в постель, на чистые, разглаженные простыни, рядом с тумбочкой, покрытой белой салфеткой.

— Как во сне,— сказал Курбатов. И поманил к себе Любу. — А Солодухин-то... — пробормотал он. — Уже неделю не является... Его бы сюда... не помер бы...

— Не забудут вашего Солодухина,— сказала Лиза Кружкова, подавая ему кружку сладкого чая.

Ничего, кроме чая, в стационаре пока не было, но и чай мог подкрепить больного.

— И еще Кораблева надо,— умоляющим голосом продолжал Курбатов. — Он только духом держится... понос у него...

— Экие вы люди! — сказала Люба. — Молчите, молчите, пока не свалитесь! Спите-ка лучше. Никого мы не забудем. Целую ночь сидели.

Список первых пятидесяти кандидатов составлялся Владимиром Ивановичем, Левитиным и Любой почти целую ночь. Из массы изнуренных людей надо было отобрать пятьдесят самых нуждающихся и самых нужных заводу работников. Владимир Иванович настоял на том, чтобы стационар принял специалистов, работающих по подготовке завода к новому пуску. Им руководила жестокая необходимость, более властная, чем сострадание,— нужно было сохранить незаменимые кадры завода: инженеров, мастеров и рабочих, без которых возобновить работу нельзя. Приходилось порой переводить в список второй смены очень ослабевшего человека ради того, чтобы немедленно подкрепить человека менее слабого, но более нужного заводу. До рассвета список составлялся и пересоставлялся. И на рассвете было решено в ближайшие дни расширить стационар вдвое, потому что и самый первоочередной список вместил свыше ста человек.

Устроив Курбатова, Люба стала собирать остальных своих питомцев,— к ужину все должны были быть на местах. Многие сидели по домам, о многих уже давно ничего не знали. Комсомолки разошлись по адресам, чтобы пешком или на саночках доставить больных в стационар.

Уже темнело, когда Люба и Лиза подошли к разбомбленному дому на одной из окраинных улиц. Там, в уцелевшей части дома, жил Солодухин. Держась за перила и друг за друга, Люба и Лиза поднялись по темной

лестнице на третий этаж. Они жалели спички и долго шарили руками по промерзлой стене, нащупывая дверь. И вдруг ясно услышали за дверью сердитый женский голос:

— Чтоб сейчас же наколол, прод несчастный! Чтоб сейчас же!

Они постучались, тот же голос ответил:

— Входите кому надо, не закрыто.

Войдя, они наткнулись на чурки дров, раскиданные по прихожей. В кухне горела контилка. Седая старуха в ватных штанах, обкрученная серым платком, стояла посреди кухни с топором в руке.

— Ну, кто там? — недоброжелательно спросила она, вглядываясь в темноту прихожей.

— Мы с завода. К товарищу Солодухину... к Михаилу Ильичу.

— Так! — зловеще сказала старуха. — Так! — повторила она грозно, обращаясь куда-то в угол кухни, которого не было видно из прихожей. — Дожил, Михаил Ильич! Кланяться тебе пришли с завода! В ножки кланяться!

— Да нет, — испуганно сказала Люба, — мы навес- тить...

— Вот, вот! — подхватила старуха. — Слышишь, старый гриб? Вояка несчастный! Уж лучше бы ты на самолете улетел, птичка божья!.. — Она вспомнила про гостей и смущенно смахнула с табуреток щепки. — Чего же вы, стоите, барышни? Проходите, садитесь да полюбуйтеесь на своего Михаила Ильича, больно хорош!

На диване, загромоздившем половину кухни, лежал закутанный пледом Солодухин. Лицо его опухло и не выражало ничего, кроме досады, что его беспокоят. Но старуха пригляделась, узнала Любу и с новой яростью набросилась на мужа:

— Старый хрыч, директорская жена за тобой бегать должна, совести в тебе нет! Остался на мою голову! Петушился, хорохорился... а где твоя прыть? Чего глаза воротить? Погляди! Люди к тебе пешком тащились по морозу, на красоту твою любоваться. Тьфу!

Люба растерялась, но Лиза со свойственным ей равнодушным спокойствием стала говорить, что завод понимает, ценит Михаила Ильича и оставил ему место в стационаре, где будут усиленное питание, чистота и тепло. Солодухин впервые поглядел на нее и вяло сказал:

— Да что уж... помираю...

— Дурак ты, прости господи! — с сердцем бросила старуха, ушла в прихожую и загрохотала там дровами.

Лиза вышла за нею в прихожую:

— Зачем вы его так?.. Видно же, болен человек. Дистрофия у него.

— А у меня не дистрофия? — злым шепотом сказала старуха. — А у тебя не дистрофия? Ты на себя в зеркало давно не глядела, а то слегла бы тоже — «помираю!..» Так все лягут! Говорю ему: «Иди, старый черт, наколи дров, разогрейся да сходи на завод, погляди, как другие люди ходят...» — Она приблизилась к Лизе и шепнула ей на ухо: — Помирают, когда дух ослабнет... когда руки опускают... А что он болен — верно, болен. Так нынче кто здоров? — Она вздохнула и с робкой надеждой спросила: — А что это за стационар такой?

Люба, оставшись вдвоем с Солодухиным, под села к нему на диван и тихо сказала:

— А я к вам от Владимира Ивановича. Очень вы нужны, Михаил Ильич. Прямо беда без вас... Владимир Иванович просит, если только можете подняться, мы вас на саночках свезем...

— Зачем это я понадобился? — недоверчиво спросил Солодухин и приподнялся. В тусклых глазах его засветился огонек заинтересованности.

— Вы же мастер... — с упреком сказала Люба, так как не знала, что придумать.

— Я мастер, когда завод работает, — сказал Солодухин. — А что мне сейчас делать? Заместо маховика при воды крутить?

— Станки спасать надо, — придумала Люба. — Отоп-лять их нужно. Сейчас электричество наладили, скоро за-вод опять пойдет... а мы пока станки загубим?

Солодухин закричал и спустил с дивана ноги в громадных валенках. Он слег на следующий день после того, как остановилось производство, и слег именно потому, что производство остановилось. Как старый вер-ный конь, ходивший в одной упряжке и по одной дороге всю свою жизнь, он растерялся и почуял смерть, когда не стало привычной упряжки и некуда было идти.

Посидев на краю дивана, Солодухин попробовал встать, но не смог. Жалким, беспомощным взглядом повел в сто-рону прихожей, где гремела дровами старуха.

— Марья, Марьюшка! — позвал он тонким, сорвавшимся голосом. И повалился назад, на диван. — Нет, не дойти мне... видно, копец Солодухину...

Но глаза его требовательно, призывно смотрели на Любу.

— Саночки у вас есть? — спросила Люба у старухи. — Мы его свезем. В стационаре отойдет.

Старуха загремела в чулане, вытащила детские санки:

— Только вы до этого стационара встряхните его... К директору, что ли, или в цех... а то ведь помрет... — шепнула она Любе и стала быстро и ловко собирать мужа в дорогу.

— Грязный он больно, — со стыдом сказала она. — В кухне мыла его — так это разве мытье? Да и упрям! Который день рожу сполоснуть отказывается.

— А у нас горячий душ, — похвасталась Люба. — Мы его прямо под душ повезем. Белье чистое у вас найдется?

Когда Солодухина обрядили, вывели под руки во двор и усадили в санки, для верности привязав его за ноги шарфом, старуха засуетилась, завздыхала, потянула Любу в сторону:

— Голубушка моя... Уж не знаю, как и сказать... Не привычен он к чужому уходу... Тридцать лет я за ним, как за дитем, хожу... А ведь слаб... помирает... Можно мне с вами? Я бы там обмыла его, одела... и других, если надо, обмою... Все, что хотите, делать буду... — Она со страхом покосилась на темную лестницу, по которой они спустились. — По всей лестнице ни одного жильца... Ну, куда я одна? Ведь пропаду...

— В душевой работать, больных обмывать — возьми, — строго сказала Люба, вспомнив, как Курбатов отказывался от ее помощи. — Только старика своего не выделяй, за всеми ухаживай равно.

Лиза и Люба впряглись в ламки саней, старуха подталкивала сзади, держа мужа за плечи. Старик был или казался очень тяжелым. Больше часа двигались они по ухабам, по смерзшимся колеям. Уже совсем стемнело. Старик задремал или впал в забытье. Но когда подъехали к заводским воротам, он вдруг встрепенулся и закричал с испугом:

— Стой, девушки, стой! Развязывай!

Он хотел войти в завод, как всегда, на своих ногах. И пошел, подняв голову, даже не опираясь на предложенную ему руку.

В душевой старуха размотала платок, сняла одну теплую кофту, потом вторую, потом третью, потом спустила ватные штаны и осталась в ситцевом платье. Засучила рукава, повязала голову белой косынкой, сама основательно помыла руки и лицо, охнула от удовольствия и спросила:

— Ну, чья очередь? Отмою, что твоя банщица!

Больных привезли уже много. Люба на глаз определила, кто наиболее слаб, и установила очередь. Солодухин весь обмяк, послушно ждал очереди и преданно следил за каждым движением своей старухи.

Возле душевой Любу поджидал Сашок, которому было поручено собрать в стационар людей, находящихся на заводе.

— Кораблев отказывается!

— То есть как отказывается?

— Наотрез отказывается. Не идет.

Люба нашла Кораблева на заднем дворе, где несколько рабочих и работниц распиливали на дрова бревна и доски от разобранного склада. С ввалившимися глазами, с почерневшим лицом, Кораблев азартно колол дрова.

— Не пойду,— сказал он, увидав приближающуюся Любу. — Во вторую смену пойду, а в первую не пойду. Больнее меня люди есть. Любого берите.

— Григорий Васильевич, это приказ директора,— сказала Люба.

— Приказ директора у меня есть: топливо обеспечить,— возразил Кораблев и со злобой обрушил топор на толстую чурку.

Топор вонзился в чурку, но не расколел ее. Кораблев хотел поднять чурку и не мог. На глаза его вдруг набежали слезы.

— И чего вы все ходите, душу надрываете! — закричал он, выпуская топор и чурку. — Желающих много, вот и лечите. А мне сейчас в санаториях разлеживаться недосуг...

— Григорий Васильевич, директор приказал,— повышая голос, повторила Люба. — И работать вы будете. Спать и питаться в стационаре, а днем работать. Если вы не хотите подчиниться, идите говорить с директором,

К девяти часам вечера все пятьдесят больных были обмыты, переодеты, осмотрены врачом.

Яркая лампа под домашним оранжевым абажуром заливала светом стол, покрытый белой скатертью. У каждого прибора лежал вечерний паек — кусок черного и кусок белого хлеба. Официантки в белых передниках внесли ужин — по тарелке овсяной каши с жиром и по стакану соевого молока. Тарелки были маленькие — на этом настояла Люба, потому что небольшая порция каши на большой тарелке показалась бы ничтожной, а маленькие тарелки были полны.

Чисто отмытые, обогрешившиеся люди смотрели кругом замороженными глазами и старались есть неторопливо. К концу ужина подошел Владимир Иванович, попросил себе стакан чаю, сказал:

— Ну, друзья, помирать мы не будем. Скоро дадут ток, так что давайте подумаем, как нам возродить завод.

А на теплой кухне Люба привалилась спиной к плите, сказала поварихе:

— Я только чуть-чуть посижу...

И мгновенно заснула, покачиваясь и жалостливо вздыхая сквозь сон.

9

Объявление было так необыкновенно, что Мария дважды возвращалась к афише и перечитывала ее. Да, она не ошиблась и не приняла старую афишу за новую. 11 января в здании Капеллы состоится общегородской вечер интеллигенции, на котором выступят писатели, художники и ученые.

Мария с уважением отметила каждого участника и задержалась на одном имени. Она давно любила этого поэта, романтического и мужественного, в чьих стихах чувство всегда обогащалось мыслью и мир человека расширялся до границ вселенной. Уже во время войны она перечитала его довоенную книгу стихов о Европе. Книга показалась ей вещью и тревожной, как набат. Стихотворение «Противогаз» Мария знала наизусть и всегда вспоминала, надевая надоевшую зеленую сумку. А в последнее время ей не раз приходили на память другие строки поэта, будто написанные сегодня, о страстном упорстве

ленинградцев: «Но мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед». И ей казалось, что если она и умрет, то только так — на ходу, в каком-то последнем упрямом усилии.

За окошечком кассы, закутанная до глаз, в двойных перчатках, сидела кассирша. Мария спросила:

— Ну как, покупают?

И кассирша, оживляясь, ответила ей:

— Представьте себе, уже девяносто три билета продала. С вашими — девяносто пять.

Выйдя на улицу, Мария увидела уличные часы. Они показывали половину восьмого, но верить им нельзя было, — стрелки давно остановились. Во всем городе остановившиеся стрелки часов показывали разное время — время своего последнего усилия. Мария старалась не замечать их, они напоминали ей о каком-то страшном, заколдованном доме, где все умерло, все окостенело. И сейчас она с досадой отвела взгляд, но вспомнила о купленных билетах и тряхнула головой, — в вымершем доме не может быть вечера интеллигенции, дом не вымер и не вымрет... И она пойдет на этот вечер с Каменским и, может быть, скажет ему потом: «Не уходите... Не уходи...» Он ждет ее слова, давно ждет... Как объяснить ему, что она рада бы ответить ему от всей души, но слишком изнурено, иссушено голодом тело, слишком отягощен заботами и тревогами мозг. А любовь должна быть красивой и ясной, страсть — полнокровной. «Мы же не обреченные. Если бы я не верила в то, что все вернется, я бы сегодня же сказала: не уходи, Леонид... Но я знаю — все вернется. Подождем немного, Леонид, я все равно скажу вам это слово...»

— Леонид Иванович, я вас приглашаю на литературный вечер, — говорила она часом позднее, закрывшись в своей штабной каморке и торжественно улыбаясь телефонной трубке.

— Хоть на край света, — тихо сказал голос Каменского. — Вы это серьезно?

Она рассказала об афише и об остановившихся часах, о девяноста пяти проданных билетах и о том, кто будет выступать.

— В том, что они здесь, есть что-то обнадеживающее, правда? — сказала она. — Было бы безопаснее и, наверное, полезней для искусства и науки, если бы они находились где-нибудь далеко. Но мне почему-то при-

ятно знать, что они здесь ходят по этим же улицам, слышат тот же свист снарядов.

— Я бы предпочел, чтобы никто из вас не слышал этого свиста,— ответил Каменский. И, подумав, добавил: — Безопаснее — да, вы правы. Но... полезнее? Нет! Я не понимаю художника, который добровольно отказался от таких золотых россыпей материала.

— Золотых россыпей?

— Конечно! Для писателя его материал — человек. А человек никогда не раскрывается так полно, как в испытании. Сейчас все обнажено, все раскрыто — и подлость, и благородство. Можно десять лет прожить рядом с человеком и узнать его по-настоящему в один месяц войны.

— Да... — обронила Мария, вспомнив Бориса Трубникова.

Воспоминание было неприятно ей.

— Да,— резко повторил Каменский, уловив ее мысль и тоже вспомнив свое. — Да, все познается — и к лучшему.

Они поговорили еще о том, о сем, так как обоим не хотелось кончать разговор. Вошла Григорьева, потом вышла, через десять минут вошла снова и неодобрительно покосилась на телефонный аппарат.

— Меня ждут,— сказала Мария. Но Каменский так явно кружился вокруг какого-то очень важного для него, но трудного вопроса, что она спросила: — Вам нужно что-то сказать мне... Леонид?

Короткое молчание в трубке сменилось стремительным вопросом:

— Мне нужно спросить вас, дорогая, возьмете ли вы к себе моего сына, когда кончится война, захотите ли вы принять его вместе со мной?

Сдерживая волнение, она прерывисто ответила:

— Да, конечно. Вместе с вами.

Ответом было молчание. Такое долгое, что она усомнилась, слышал ли он ее ответ, не разъединила ли их телефонистка, и сказала:

— Алло!

В ту же секунду она услышала его напряженное дыхание, а затем возбужденный голос почти крикнул ей:

— Мне необходимо увидеть вас немедленно!.. Я сейчас разобью телефон!

Оглядываясь на Григорьеву, она мягко попросила:

— Не надо разбивать его. И не торопитесь... Леонид. Подождите... хоть немного. Надо.

— Хорошо,— сухо ответил он и повесил трубку, прежде чем она успела попрощаться.

На следующее утро он сообщил ей, что срочно выезжает на фронт и не вернется к воскресенью. Мария почти обрадовалась. Предстоящая встреча с Каменским пугала ее. И невыполнимой, непосильной казалась затея с литературным вечером,— собираться, выходить из дому на мороз, идти пешком и два-три часа сидеть в холодном зале, на людях...

Но в воскресенье утром она проснулась бодрой, и собственное истощенное тело показалось ей чужим, настолько его слабость не соответствовала интенсивности мысли, необычности чувства. Мироша накормила ее и Андриюшу завтраком — ломтиком хлеба с чашкой отвара из сушеных корней, похожего на крепкий бульон. Отвар не насыщал, а только согревал желудок. Но Мария подумала, что ей этого достаточно, что она может прожить так очень долго, что она научилась обходиться без пищи. У нее появилось ощущение независимости и какой-то освобожденности от тела.

Мироша одела Андриюшу, закуталась в платок и повела мальчика гулять. Ничто не могло заставить ее отказаться от прогулок с Андриюшей. «Весь день в потемках, в копоти, без питания,— говорила она,— разве можно его без свежего воздуха оставить!» И она ползла по лестнице, держа малыша за руку, и нежно болтала с ним. Если бы у нее отнять заботу о мальчике, она, наверное, умерла бы в тот же день.

А где-то по Выборгской стороне, по тропинке, обозначающей проспект, шагает с дежурства Анна Константиновна. Она говорит, что ей помогает идти музыка. Она мысленно проигрывает знакомые вещи, чаще из своего фортепьянного репертуара, иногда хорошо известные ей симфонии. Если какое-нибудь место вдруг «проваливается», Анна Константиновна огорчается и по приходе домой роется в нотах; однажды даже села к роялю и загрубевшими, негибкими пальцами проиграла забытое место... Шесть километров туда, шесть километров обратно. Что поддерживает ее жизнь? Любовь? Гордость? Требовательность к себе?..

Быть требовательной к себе... Сначала Марии было очень трудно всегда требовать от самой себя высшего

напряжения сил, потом это стало легко. В последнее время она уже не замечала трудности каждого усилия. А вчера вечером ей показалось, что она все может, что сил хватит для любого дела. Если бы она могла рассказать об этом Сизову!.. Нет, ни ему, ни даже Каменскому не могла бы она рассказать, что произошло вчера. Стыдливость удержала бы слишком взволнованные слова, а иначе это и не передать.

В штабную каморку на объекте пришли трое: Никонов, тетя Настя и высокая, сухопарая работница Клавдия Смирнова, специально вызванная из-за города, с железнодорожного участка, где она руководила очисткой путей. Мария почти не знала ее, в общежитии жила только пятнадцатилетняя дочка Смирновой Вера, длинноногая и тоже сухопарая девочка, говорившая с уважением: «Мать приказала держаться». Смирнова вошла в каморку, скинула платок, обтерла тающие снежинки с седеющих волос и красивого, строгого лба, сказала:

— Здравствуй, товарищ Смолина. А где остальные?..

Ее присутствие внесло холодок официальности в домашнюю простоту отношений, установившихся между Марией, Никоновым и тетей Настей. За столиком, вокруг чадающей коптилки, сели все четверо — трое как хозяева, а Мария чуть в сторонке. Никонов вывел на листе чистой бумаги: «Протокол».

— Сегодня у нас один вопрос, — сказала Смирнова. — Заявление товарища Смолиной Марии Николаевны.

Заседание пошло так, как полагается идти таким заседаниям. Смирнова, записывая и держа бумагу возле самой коптилки, читала заявление и автобиографию Марии и рекомендации. Потом Смирнова сухо доложила, что все документы в надлежащем порядке, и Марии стали задавать вопросы. Хотя ни в самих вопросах, ни в голосах членов партийного бюро не было ничего торжественного, с каждым вопросом у Марии росло ощущение торжественности происходящего события. Пусть она отвечала самым деловым образом на деловые вопросы о том, как она контролирует расход продуктов в столовой, сколько лежачих дистрофиков в общежитии, как она обеспечивает противопожарную оборону дома во время обстрелов, — все это только подчеркивало, что происходит торжественное посвящение ее в члены великого братства, где труд и мысли, жизнь и смерть каждого подчинены единой грандиозной цели и единой, всеобъемлющей ответственности.

Потом все по очереди высказались. Никонов вспомнил о спасении отопительной системы. Тетя Настя рассказала о том, как Мария организовала тушение пожара и как она помогала ослабевшим людям. Потом строгим голосом говорила Смирнова о том, что по отзывам всех рабочих, живущих в общежитии, товарищ Смолина «ведет большую работу по поднятию духа в общежитии и против распущенности, вшивости и антисанитарии». И тем же строгим голосом, без паузы, спросила:

— Будешь говорить, Марья Николаевна?

Подчиняясь внутреннему побуждению, Мария встала и сказала:

— Я клянусь... клянусь быть во всем и всегда коммунистом. Оправдать доверие.

— Блокаду выдержишь — вот и оправдаешь, — впервые ласково сказала Смирнова и предложила членам бюро голосовать.

Три натруженные, потрескавшиеся на морозе руки поднялись, освещенные колеблющимся светом коптилки. И Марии показалось, что никогда не было и, наверное, не будет церемонии торжественнее и значительнее, чем дружное движение этих трех усталых, обтянутых почерневшей кожей, выносливых рук.

Медленно шагая по пустынной улице, подернутой морозным туманом, Мария вспомнила эти три руки, простым движением изменившие ее жизнь, и снова ощутила: «Я все могу... меня на все хватит...»

В полупустом зале Капеллы было холодней, чем на улице. От промерзших каменных стен веяло ледяной сыростью. Шубы, ватники, военные шинели и полушубки, валенки и толстые рукавицы, теплые платки и шарфы, обмотанные поверх шапок и шляп, — все придавало залу необычный, диковинный вид. Неужели в этот самый зал школьницей прибежала Мария слушать громовой голос Маяковского? Неужели вот на этом боковом диване она, еще ничего не зная о страдании и о смерти, старалась понять и прочувствовать «Страсти» Баха? И неужели в этом же четвертом ряду она сидела нарядная возле Бориса и восторженно рукоплескала певице в белом, сверкающем, очень открытом платье?..

Пар от дыхания густыми облачками поднимался над рядами. Громко никто не разговаривал, и никто не смеялся, но даже сквозь обычную в те дни замедленность движений и речей пробивалось оживление.

Притопывая валенками, Мария побродила в глубине зала среди таких же притопывающих мужчин и женщин.

Кто-то потянул Марию за рукав. По характерному выражению энергии и насмешливости на пепельно-сером, но чисто выбритом лице Мария сразу узнала случайного прохожего, встречавшего вместе с нею Новый год.

— Опять пешком с Охты? — шутливо упрекнула она.

— Два раза кряду таким манером на банкет не попадешь, — отшутился он. — Проголосовал на попутную машину. Со всем удобством.

— А... дочку нашли?

— Не застал уже... — отводя взгляд, коротко ответил он. — Сыночка ее застал. К себе свез. Может, и выживет.

Помолчав, он оживленно заговорил:

— Вот пришел послушать. Помните, говорили тогда?.. Хочу убедиться. Должны они записывать. Все как есть, день за днем. Как думаете, записывают?.. И художники тоже. Не знаю, может быть такая картина, чтобы все это выразить?

— Не знаю, — сказала Мария. — Но если такая картина невозможна, зачем вообще нужно искусство? Тогда оно бессильно.

Под звон колокольчика, возвещавшего начало, они прошли в первые ряды.

— Честное слово, Муся Смолина! — воскликнул кто-то неподалеку от Марии.

Она оглянулась, узнавая голос и не помня, кому он принадлежит. Двое мужчин в меховых шапках, обмотанные шарфами, радостно кивали ей. Лица обоих были ей несомненно знакомы, но худоба и нездоровая бледность, должно быть, старили и видоизменяли их.

— Здравствуй, дорогая, — сказал один из них, перегибаясь через кресло. — А я думал, ты где-нибудь за Уралом или в Самарканде! Как же ты, а?

— А почему ты не на Урале и не в Самарканде? — ответила Мария, стараясь вспомнить, кто это.

— Все такая же самостоятельная и своевольная Смолина! — заметил второй, сжимая и потряхивая руки Марии. — До чего же мы умно сделали, Петро, что пришли сюда. Вот и встретила блокадная интеллигенция!

Мария как-то вдруг узнала обоих своих товарищей по институту — Петра Голованя и Сеню Одинцова. Теперь ей казалось, что они мало изменились, и странно

было, что не узнала их сразу. Она вспомнила, как приходила к ним в архитектурные мастерские и придирчиво рассматривала разработанные ими проекты жилых домов. Она слегка завидовала им тогда — строить дома в Ленинграде было ее мечтой. А они расспрашивали ее о проекте санатория, и она обещала показать им проект во вторник. Но во вторник уже шла война, и встретились они только недели три спустя. Мария строила оборонительные линии, а городские архитекторы были заняты маскировкой электростанций, заводов, исторических зданий...

— Ты что же теперь делаешь, Муся?

— Я? Не шутите со мной: начальник объекта.

— Подумаешь! Я сам старший пожарный!

— Были мы когда-то архитекторами или не были? — с грустной насмешкой спросила Мария.

— Что ты, Муся! Самая злободневная профессия!

— Злободневная?

— А как же!

Они рассказали ей, что в мастерских города уже разрабатываются проекты восстановления разбомбленных домов, что задание дано — не просто восстанавливать, а при этом улучшать, совершенствовать и внешний вид, и внутреннее устройство зданий. После восстановления Ленинград должен стать еще прекраснее.

На миг острая зависть опять шевельнулась в душе Марии. На миг она вообразила себя склоненною над чертежным столом в мастерской, среди товарищей по профессии, увлеченных общим профессиональным делом... Споры, обсуждения, сопоставления различных проектов... И не надо заниматься добыванием воды, топлива, не надо «бороться со вшивостью и антисанитарией», не надо ежедневно обходить лежачих дистрофиков, борясь за спасение каждого и не имея основного, что может поддержать угасающую жизнь, — питания и тепла...

— Приходи к нам, Муся, — сказал Одинцов, оглядываясь на сцену, где уже рассаживались участники вечера. — У нас людей не хватает, тебя примут с охотой. Придешь?

— Потом поговорим, — бросила Мария и села на свое место.

Три руки, три натруженные руки поднялись перед ее глазами. Она поклялась быть всегда и во всем коммунистом... Не значит ли это, что она всегда и во всем должна идти по линии наибольшего сопротивления?..

Ее сосед, человек в полувоенной, полуштатской одежде, какую многие носили в те дни, вдруг повернулся к ней и спросил:

— Вы издалека пришли сюда?

Мария не сразу ответила. Не вопрос поразил ее, а лицо этого человека — здоровое, с разрумянившимися на морозе щеками.

Получив ответ, сосед Марии продолжал, будто заполнял анкету:

— А вы кто?.. И что вы сейчас делаете?

Мария ответила и с усмешкой спросила тем же тоном:

— Ну, а вы кто и что сейчас делаете?

— Поражаюсь, — сказал странный человек и положил не защищенную перчаткой руку на толстую рукавицу Марии. — Нет, право, я второй день в Ленинграде и не могу прийти в себя. Поразительнее всего то, что я приехал сюда размещать заказ. Заказ метро. Я не верил, что сейчас здесь заказ можно выполнить. Когда я узнал, что ленинградцы добиваются этого заказа, я подумал — бред! Теперь я верю всему. Мне рассказывали о Ленинграде много. Я был подготовлен. Но, понимаете, все оказалось не так. Во многом здесь хуже и страшней, чем я думал, — издали всего не представишь себе. Но общий дух города... завод, где я был вчера... этот вечер... Нет, поразительно!..

— Вы сказали — заказ метро? — живо откликнулась Мария. — Значит, метро продолжают строить?

— Вы же проектируете дома? Почему же москвичам не строить метро!

Вокруг захлопали, и Мария оторвалась от разговора, чтобы приветствовать докладчика. Невысокий и очень коренастый, он бочком пробирался к трибуне, втянув крупную, приплюснутую черной меховой шапкой голову в широкие плечи, обтянутые флотской шинелью. Он молча потоптался на трибуне, как бы утверждаясь на ней, оглядел собравшихся маленькими, остро внимательными глазками и негромко бросил:

— Товарищи ленинградцы!

Марии говорили, что Всеволод Вишневский — рожденный оратор, и сперва она с разочарованием слушала его однотонный, хриловатый, даже немного вялый голос. Но после первых нескольких фраз голос как бы разгорелся и начал набирать силу и звучность. Новые интонации появлялись и затухали, чтобы возникнуть вновь с возрастающей выразительностью,

Вишневский говорил о войне, о блокаде, о сопротивлении, о гитлеровцах. Заговорив о гитлеровцах, он весь вскинулся; жгучая искра насмешки блеснула в его речи и отсветом пробежала по лицам слушателей. А Вишневский рубанул воздух рукой и закричал:

— Просчитаются — и уже просчитались полностью!

В следующую минуту он скинул шапку и зажал ее в кулаке, размахивая ею в ударных местах своей речи. Вялости и одностонности как не бывало. Его богатый оттенками, напористо-страстный голос завораживал.

Еще минута — и шинель сброшена, презрительно откинута назад. Свободные и пылкие движения всего тела подкрепляют речь. В морозном зале оратору жарко, кажется — он сейчас рванет ворот кителя... Листочки с записями, в которые он сначала заглядывал, разлетелись от стремительного взмаха руки. Вишневский небрежно смахнул оставшиеся, — ему уже не нужны были никакие тезисы, речь его складывалась свободно и прихотливо, по вдохновению, иногда, должно быть, неожиданно для него самого. Факты и доказательства приходили сами, не извне, а от внутреннего убеждения оратора. Он искал не мелкого правдоподобия, а большой и конечной правды. Должно быть, он и не задумывался над тем, действительно ли фашисты уже сегодня полны уныния, тоски и сознания обреченности. Он хотел видеть их такими и знал, что с точки зрения большой исторической правды они обречены, — значит, будем смотреть на них как на обреченных, как победители на побежденных!

Мария вспомнила слова Григорьевой о фашистах, сказанные в новогодний вечер: «Разве они могут трезвыми в будущее заглядывать?» И всей душой поверила, что и Григорьева, и писатель правы.

— Неточно, — заметил кто-то за спиной Марии, когда Вишневский привел цифры военного потенциала немцев.

Мария с досадой передернула плечами. Точность цифр не имела для нее никакого значения. И неслыханные бедствия борьбы тоже перестали ощущаться ею. Оратор был точен в том основном, ради чего пришли сюда люди: в настроении, в готовности сопротивляться, в уверенности, что победа будет завоевана. Его речь все чаще прерывалась рукоплесканиями — всеобщими, но необычно глухими: все руки были в перчатках и рукавицах. Рукоплескания сопровождалась еще более глухим топотом;

слушатели топали валенками, выражая свое одобрение и одновременно стараясь согреть застывшие ноги.

Ощущение победы реяло в промерзшем зале. Победу предвещало все: и само собрание, и речи выступавших ученых и художников, и прочитанные рассказы и стихи.

К трибуне вышел высокий седоволосый человек в армейской шинели. Его глубоко посаженные светлые глаза над вздернутым носом и все выражение его худого, с обтянутыми скулами лица были странно молоды, и так же молодо звучал его несильный простуженный голос. И Марии почудилось, что все собравшиеся вместе с поэтом высказывают свое настроение:

Тряси же, фашист, головою,
Гляди, обалделый солдат,
Как море шумит грозное,
Шумит грозовой Ленинград!
Но все это только начало,
Та буря копилась давно,
То море уже закачалось,
Уже не утихнет оно.
Всей кровью фашистскою черной
Той бури врагам не залить,—
Так жги их, наш гром рукотворный,
! Гроза ленинградской земли!

По окончании вечера Мария задержалась с друзьями у выхода. Никому не хотелось расходиться.

— Нет, к вам я пока не пойду, — сказала Мария в ответ на новое предложение Одинцова. — Может быть, потом, когда полегчает. Но я сегодня же вытащу свой проект санатория, помнишь? Чтоб не разучиться...

— Ну, смотри, — недовольно сказал Одинцов. — Сейчас тебя примут охотно, людей нету. А потом труднее будет. Так и останешься на область работать.

— На область тоже интересно и нужно, — громко возразила Мария.

— Все такая же!

— Не такая же, а еще упрямей, — подхватила Мария. — Разве ты не заметил, что блокадная жизнь развивает упрямство?

К ним подошел еще кто-то знакомый — Мария не узнавала лица и даже не распознала сразу, мужчина это или женщина. Из-под мехового полушубка виднелись ноги в ватных штанах и добротных, обшитых кожей валенках. Шапка-ушанка задорно сидела на коротких с проседью волосах. Резкие черты уже немолодого, тронутого

морщинами лица могли принадлежать мужчине, если бы их не смягчало какое-то неуловимое, материнское выражение глаз.

— Вы же знакомы, Муся, — напомнил Одинцов.

Вглядевшись, Мария узнала скульптора Анну Васильевну Извекову, давнюю приятельницу Одинцова. До войны Мария бывала с Одинцовым в ее мастерской. Марии нравилась эта маленькая, энергичная мужеподобная женщина, царившая в большой холодной комнате среди глыб камня и мокрой глины. В замызганном комбинезоне, со своими инструментами, напоминающими о труде мастера, с силой чернорабочего в больших, испачканных глиной руках с короткими ногтями, Извекова работала много, неутомимо и размашисто. У нее всегда было несколько начатых работ, — одна основная, другие для отдыха. Она лепила широкими мазками, грубовато, с мужской суровостью и точностью. Людей она разглядывала жадно и пристально, не стесняясь, азартно отмечая и запоминая те черты и движения, которые могли ей пригодиться. Мария ей понравилась с первого взгляда, она даже хотела лепить ее, а потом смутила Марию замечанием, что в ней «слишком много неопределеннейшей женственности».

— И вы остались здесь? Очень, очень рада, — сказала Извекова, тряхнув руку Марии и вглядываясь в ее лицо пристальным, изучающим взглядом. — Я так и думала, что вы остались. И не случайно, а по убеждению.

— Почему?

— А кто его знает почему! Понимать понимаю, а объяснять не мастерица. Было в вас и раньше что-то такое...

— От Жанны д'Арк, — подхватил Одинцов.

— Такое определение я уже слышала один раз в очень обидном, презрительном смысле.

— Значит, от дурака или от подлеца слышали, — веско бросила Извекова и мужским движением подтянула ремень, стягивавший ее полушубок. — Ну что, пошли или будем мерзнуть здесь?

У выхода стали прощаться. Извековой оказалось по пути с Марией. Они зашагали в ногу, как два солдата, быстрым шагом, и Мария не чувствовала слабости, так хорошо у нее было на душе. Она рассказала Извековой свой разговор с новогодним прохожим об искусстве.

— Понимаю и вас, и его, — сказала Извекова. — А за- печатлеть вот это наше страдание не могу... и не хочу. Художник один, друг мой большой, ходит сейчас как одержимый и рисует. Из окон домов, в булочных, даже на улице. И не только рисует, даже маслом пишет. Подышит на руки — и пишет. Я говорю: «Ведь помрешь». А он говорит: «Помру, а это все останется как свидетельство современника». Ну, в живописи, в рисунке — там другое. А мой материал — человек, его тело. Лепить вот таких, как мы? Истощенных, обтянутых кожей, с запавшими глазами, дистрофиков?.. Страшно! Страшно... и неверно. С профессиональной точки зрения это интересно. И легко. Очень скульптурно, что ли. А по содержанию — душа протестует. Мы вот ходим, пошатываемся, а я чувствую всех нас — всех! — здоровыми, могучими, прямо богатырями. Да богатыри и есть. А как это вылепить? — Помолчав, она сказала без тени сожаления: — Материал у нас неподвижный, статичный. А выразить надо жизнь. Вот и лепила голову бойца. Бойца, идущего в бой, полного гнева и решимости уничтожить врага. Передать это можно, схватив выражение. Но ведь, кроме этого чувства, охватившего бойца сейчас, мне нужно передать весь его душевный мир советского человека. Что он добр и великодушен, любит труд, детей, веселье, может быть — закат над рекой или утреннюю росу на лугах... А сейчас, знаете, чего мне хочется больше всего? — перебила она себя. — Хочу вылепить фигуру девушки — здоровой, цветущей девушки с корзиной тяжелых, сочных плодов. Яблоки — огромные, душистые. Виноград — в больших, тяжелых гроздьях...

Мария сбоку покосилась на собеседницу, Извекова понимающе подмигнула:

— Думаете, бред голодного?.. Мечты дистрофика?.. Нет. Это утверждение жизни, если хотите. Ведь все это будет. Вернется. Я и сейчас леплю всё здоровые, сильные фигуры. Только трудно стало большие фигуры лепить. В мастерской — морозище, глина стылая, в руках нет силы. И спина сдает, а нам спина нужна выносливая, рабочая... И все-таки начала я фигуру партизанки. Молодой, крупной, налитой, упрямой.

— У меня есть знакомая девушка, она теперь партизанка, — сказала Мария. — Оля ее зовут. Молоденькая, почти девочка еще, и даже, пожалуй, хрупкая. Очень

любит стихи. А пошла партизанить. Это, по-моему, самое удивительное и примечательное.

Извекова молчала, обдумывая. В ее сложившееся представление должен был улечься новый образ.

— Знаете, в каждом деле есть своя логика,— сказала она наконец. — В начале зимы я лепила маленькую группу «Кровь за кровь». Над поверженным врагом стоит наш боец, мститель. Боец получился. Чувствую, что получился. А фашиста я вылепила живым — извивается, цепляется рукой за ступени, злобный оскал на лице... Стала у меня комиссия принимать, да и товарищи тоже все в один голос говорят: «Разве это кровь за кровь, если враг у тебя жив? Убей его». А я умом понимаю, а чувством не могу. Понимаете? Жив для меня враг. Город окружил, лезет к нам, бомбит, стреляет, душит нас... Еще не чувствую я его мертвым. А не чувствую — значит, и изобразить не могу.

Прощаясь на углу, где им надо было разойтись в разные стороны, Мария сказала:

— Мне кажется, скоро вы сможете. Я сегодня как-то особенно верю в победу.

Извекова тряхнула ее руку, пошла прочь, обернулась, крикнула:

— А я вас все-таки буду лепить! Обязательно буду!

Поднимаясь домой, Мария с удовольствием думала о том, что она вытащит из пыльного угла свои незаконченные чертежи и начнет работать — хоть понемножку, а начнет. Нельзя разучиваться, нельзя отставать!

Она открыла дверь квартиры своим ключом и в темноте коридора на ощупь добралась до жилой комнаты.

В комнате стоял серый, чадный полумрак. На детском столике дрожал огонек коптилки, и в кругу ее жидкого света Андрюша, в старом пальто и вязаной шапочке, красными от холода ручонками строил башню из кубиков. Рядом с ним Мироша, прислонясь спиной к остывающей печке, штопала его рейтузы.

Мария остановилась в дверях. Она как бы впервые увидела эту убогую, бедственную картину. Андрюша радостно улыбнулся ей и что-то залопотал о кубиках. Мироша приложила палец к губам и повела взглядом в сторону дивана.

На диване, закинув назад белое, без кровинки, лицо, лежала Анна Константиновна, укрытая одеялами и паль-

то. На табурете рядом с нею стоял недопитый стакан чаю.

Услыхав или почуввав приход дочери, Анна Константиновна открыла глаза и забормотала не свойственным ей жалобным голосом:

— Я упала... поскользнулась и упала... на улице... стукнулась затылком... Я только немного отлежусь... Меня долго не поднимали... думали — мертвая... А потом одна женщина... добрая душа... подняла и проводила... Мне очень холодно...

— Сейчас я нагрею воды и поставлю тебе грелки,— сказала Мария и провела рукой по лицу, как бы снимая все, что мешало ей вернуться в обычную, жестокую действительность.

— Воды нет,— виновато сообщила Мироша. — Я боялась оставить Андрюшу одного.

— Сейчас принесу,— спокойно сказала Мария и натянула на руки снятые было рукавицы.

10

Почти лишенный движения — без трамваев, без автобусов, без троллейбусов,— Ленинград стоял запорошенный чистым натающим снегом. Провода, не тревожимые прикосновением, висели в воздухе толстыми белыми шнурами, как сказочное украшение. Кое-где, оборванные снарядами, они спутались в причудливые клубки. Редкие автомобили уклонялись от этих свисающих клубков, не задевая их,— только струя ветра иногда взметала мелкую снежную пыль. Пустынные проспекты и улицы казались еще шире и прямее. И стало особенно заметно, как много в городе изумительных архитектурных ансамблей — целые площади, целые улицы и скрещения улиц являли собой величественное и стройное целое, сочетаясь с туманным северным небом. В эту зиму было много снега, и деревья стояли белыми изваяниями, с корой, посеребренной инеем, а кроны их скрывались под сплошными снежными шапками. В ранних зимних сумерках дома, поднимающиеся над деревьями, будто висели в воздухе — не дома, а воздушные замки из далеких детских снов!

По ночам, лишенные электричества, тепла и уюта, люди ценили каждый проблеск света и нередко подни-

мали маскировочные шторы, чтобы сквозь заледенелые стекла проник в жилище голубой отблеск снега, освещенного звездами, луч месяца или сияние полной луны. И не один ленинградец, прильнув к стеклу, с изумлением и гордостью вдруг видел свою улицу как бы впервые, наново открывая для себя всю строгую красоту города. И чувство восторженной любви просыпалось в самых измученных, самых суровых и сжатых болью сердцах, и говорили себе ленинградцы, говорили еще раз и с новою силой проникновенного знания: это мой, это наш город. Его нельзя взять ни штурмом, ни запугиванием, ни измором. Устоим. Выдержим. Стиснем зубы и перетерпим.

Мария в эти январские лютые дни любила город особой, болезненной любовью. Ей приходилось много ходить пешком: с тех пор, как Анна Константиновна слегла, на Марию навалились все домашние заботы. Она ходила на рынки и выменивала одно платье за другим на чашку крупы, на кусочки сахара или на ломоть хлеба. В детской консультации для Андрюши отпускали соевое молоко, за ним тоже надо было ходить. Как бы трудно и утомительно это ни бывало, долгие походы по городу доставляли Марии отраду. Шла ли она через Неву по тропинке, протоптанной среди сугробов, или малоизвестными переулками, сокращающими путь, или проходила проспектами и набережными, где, как ей думалось прежде, она знала каждое здание, каждую линию,— всегда открывалось ей что-либо новое и прекрасное, и часто она сдерживала шаг или останавливалась на несколько минут, чтобы разглядеть и запомнить.

Прохожие, окинув ее взглядом, видели опухшую, ослабевшую женщину, которая остановилась, чтобы набраться сил. Да так оно и было. Ноги стали тяжелыми и непослушными. Каждая остановка была необходимым отдыхом. Но, вопреки слабости тела, мысль работала усиленно и обостренно, все впечатления ярко отпечатывались в сознании.

Жизнь была тяжела, она была непосильна, но, думая о своей судьбе, ставшей такой непрочной, и о судьбе вот этого томительно любимого города, Мария все же была рада, что их судьбы слились в одну, что она не убежала от пытки войны, что она все это видит, вынесла и выносит вместе со своими согражданами. И только одного ей хотелось — дожить, дотянуть до конца, чтобы не унести

в могилу драгоценный опыт, чтобы донести до людей — кто знает как! — все то, что ей открылось, почувствовалось, довелось понять. Может быть, это будет какая-то большая и очень трудная работа, которую возложит на нее партия. Может быть, это наполнит новым смыслом и пониманием ее творческую мысль, когда снова удастся строить на благо советским людям... А то просто встретишь человека, и в скупом слове, во взгляде, в умении понять и помочь без навязчивости — передашь ленинградское, выстраданное, выношенное в дни осады. Потому что человек, так близко увидевший смерть и страдание, силу товарищества и силу человеческой выносливости, никогда не сможет забыть, как драгоценно и как необходимо человеку счастье и тепло жизни. И когда он будет проверять самого себя наедине с самим собой, не найдется судьи неподкупнее и требовательней его, потому что мериллом возможного будет самое беспощадное мерило.

Так думала Мария, шагая по городу и слыша только скрип снега под своими валенками да изредка такой же скрип снега под валенками одинокого встречного прохожего. И путь казался ей короче, и ноша легче, и удавалось спокойной, невозмутимой войти в свое жилище, в его бедственный мрак.

Анна Константиновна умирала. После падения на улице она уже ни разу не выходила из дому, хотя на второй день встала и принялась за домашние дела. Силы ее иссякали. Мария не сразу заметила это — было не когда и было темно, не разглядишь лица, не заметишь движения. Потом и в полумраке комнаты она заметила, что у матери безжизненные глаза, что ее движения сделались неуверенными и медлительными, что ей стало не по силам то, что еще недавно она делала быстро и ловко.

— Завтра пойду на работу, — каждый вечер со вздохом говорила Анна Константиновна. — Так стыдно, что я столько пропустила...

— Никуда ты не пойдешь! — раздраженно отвечала Мария. И добавляла, обманывая и мать, и себя: — Отдохни немного, отлежись, тогда пуцу.

Однажды утром Анна Константиновна не встала. К вечеру, когда Мария пришла домой, мать уже не говорила ничего, а только следила за дочерью и внуком тоскующим взглядом, Мария сварила для матери

немного крупяной похлебки, но Анна Константиновна отвела рукой ложку и еле слышно произнесла:

— Андрюше... дай...

Мария заставила себя сходить за водой для грелок. Мироша уже спала — должно быть, ее силы тоже были на исходе. Борясь со сном, Мария развернула чертежи санатория и села с ними у печки. Когда она очнулась, печка давно погасла, вода в чайнике была чуть теплой, мать спала, хрипло и протяжно дыша. Фитилек копилки чадил, высасывая последние капли керосина. Мария прислушалась, не услышала дыхания Андрюши, подбежала к кровати — Андрюша мирно спал, обернутый ватным одеялом, как грудной младенец. Мария задула фитилек и на ощупь добрела до своей кровати.

Утром она обложила мать грелками, напоила чаем с сахаром, кушленным для Андрюши. Анна Константиновна молча выпила чай и пробормотала:

— Не надо... Муся... не стоит...

А вечером Анна Константиновна уже не узнавала дочери и, видимо, не понимала ее слов. Мироша испуганно сказала: «С полудня так. Только что дышит...»

Мария дотронулась до руки матери — рука была ледяной. Ни грелки, ни одеяла не могли согреть тела, израсходовавшего силы до конца. Мария поняла, что конец близок. Но с каким-то тупым безразличием она отошла от постели матери и занялась обычными вечерними делами: накормила Андрюшу, уложила его в постель, тихонько спела ему песенку. Андрюша то смотрел на мать, то закрывал затуманенные сном глаза, иногда вкрадчиво, сквозь дрему, говорил: «Мама!» Мария улыбалась ему и шептала: «Спи, мое солнышко, надо спать, спи...»

Когда сын заснул, она прижалась спиной и захолодевшими ладонями к теплой печке и долго не могла заставить себя посмотреть в ту сторону, где лежала мать.

Мироша стучала в кухне — готовила щепки на завтра. Стукнет раза три-четыре — и отдыхает. Когда она отдыхала, ни единого звука не раздавалось ни внутри квартиры, ни вне ее. И с дивана не доносилось ни единого звука...

Мария медленно подошла к дивану. Тело Анны Константиновны уже застыло, голова была закинута назад, запавший рот приоткрыт, глаза остекленели. Мария прикрыла глаза матери и некоторое время придерживала

пальцами веки, чтобы они не открылись вновь. Прикрыла рот и тоже подержала рукой челюсти, чтобы они сомкнулись. Затем все с тем же спокойствием разыскала чистое белье, голубое любимое платье матери, светлые чулки. С усилием приподняла уже неподатливое тело и кое-как натянула на него белье и платье. Позвала Мирошу и жестким голосом приказала ей:

— Помоги.

Вдвоем они завернули покойницу в простыню, вынесли в Митину комнату и положили на письменный стол. В Митиной комнате было морозно, как на улице. «Это хорошо,— подумала Мария. — Значит, пролежит...»

— Скоро не похоронишь,— как бы отвечая на ее мысль, сказала Мироша.

Вернувшись в свою комнату, Мария убрала с дивана постель матери и села у печки, завернувшись в одеяло. Мироша поставила перед нею кашу, оставленную для Анны Константиновны, и тихо сказала:

— Поешьте. Что ж поделаешь! А вам жить пужно...

Мария жадно поела и снова прилегла к печке, и так просидела до тех пор, пока Мироша не уснула.

Плохая рыночная свечка быстро догорала. Больше свечей не было, и керосина для коптилки не было.

Мария задула свечку и подняла штору. Голубая волшебная ночь из детских далеких сказок посмотрела ей в лицо сквозь тонко разрисованные инеем стекла. Мария дыханием очистила кусочек стекла, протерла его краем занавеси и увидела свой город — ночной, затаившийся, скованный морозом и тишиной, облитый ярким лунным светом. Каменные глыбы домов, маящий просвет улицы, выходящей на набережную, бесцветные шары давно погасших фонарей, таинственно мерцающие на фоне заиндевевших зданий, — все было мертво, ни одного проблеска света в окнах, ни одной двигающейся тени на нетронутым снегу, ни одного звука в ночи... Мария знала, что это не ночная ворожба. Остановились электростанции, прекратилась подача воды, газа, замерзли трубы отопления, замело сугробами трамваи... И люди, истомленные голодом, опухшие, прозябшие до нутра, люди, три месяца спокойно выносившие непрерывные воздушные налеты, артиллерийские обстрелы и непосредственную близость врага, — люди ходят из последних сил, а тысячи уже не могут ходить и умирают тихо, беззвучно, как догорают свечи: дотлела и погасла...

«Почему я не плачу? — подумала вдруг Мария, с удивлением поняв, что не испытала приступа горя, не плакала над телом матери и даже не хотела плакать. — Разве я не любила ее? Разве она не дорогой, не близкий, не любимейший человек для меня?»

Ответа она не нашла. Тупое безразличие было в ней, безразличие и еще что-то, чему не подобрать определения. Она снова поглядела на город, и город сливался в ее мыслях со смертью матери, с ее собственной непрочной жизнью, с Андрюшей, с Леонидом Каменским — все слилось вместе, личная судьба как бы перестала существовать. Существовал — из последних сил — Ленинград как одно целое, стиснутое со всех сторон врагами...

«Враги», — вспомнила Мария, и вдруг ненависть к ним, как живое существо, шевельнулась в ее груди и потрясла ее всю, до кончиков пальцев.

— Ненавижу! — вслух сказала Мария, и тотчас мысль, единственная светлая мысль в этой недоброй ночи, поставила это страстное чувство в общую связь со всем, что наполняло и направляло ее жизнь и жизнь ее сограждан.

«Мы живем стиснув зубы, — поняла Мария. — Если бы у нас было меньше ненависти и решимости, и еще *веры* в победу, мы никогда не выдержали бы. Но вот мама не выдержала? Физически не выдержала. И многим не выдержать... Так случилось с мамой, завтра так может случиться со мной, с Андрюшей... Сколько же терпеть? — вдруг возропнула она. — Разве там, за кольцом, не понимают, что медлить больше нельзя?.. Неужели они не могут собрать силы и освободить нас скорее, скорее! Ведь каждый день дорог!

Нет, — сама себе ответила она, — значит, не могут. И там, за кольцом, не какие-то *они*, там тоже *мы*. Против кого я ропщу?.. Разве мы не знаем, какая титаническая борьба ведется за Ладогу, каким напряжением дались те граммы хлеба, что нам прибавили? Сколько крови пролито в Синявинских болотах, под Волховом, у станции Мга... А бои под Калинином, под Великими Луками — это же попытка помочь нам, освободить нас!..

Алеша рассказывал — непокрашенные танки прямо из заводских ворот уходят в бой. Все средства мобилизованы, все силы собраны, удары наносятся непрерывно то тут, то там. И уже, наверное, копится сила для решаю-

щего удара. Где он произойдет, этот разящий удар? И скоро ли?..»

В этом ночном разговоре с самой собой ей не нужен был собеседник, она чувствовала себя способной понять все и разобраться во всем.

«Будет ли это под Ленинградом?.. Может быть, и нет. Но тогда наши страдания не скоро кончатся?.. Да, тогда не скоро. Мы можем погибнуть?.. Но что значат в ходе больших битв несколько тысяч жизней! Что значат на весах войны, на весах истории жизнь моей мамы!..»

Мы — на фронте, и тут уж ничего не поделаешь. Плохо то, что мы не воюем, что мы — мирные люди, а не солдаты. Это тяжелее всего — пассивность...

Пассивность?! Нет! В темноте, в холоде, без пищи мы все-таки работаем, работаем каждый на своем посту. Какая же это пассивность! Все, что нужно, делается, и город, полный смертей, все-таки живет, упрямо живет! Да, тысячи людей болеют и умирают, но те, кто на ногах, выпускают снаряды и мины, ремонтируют корабли и танки, восстанавливают водопровод и электростанции, составляют проекты восстановления разбомбленных домов, пишут картины, симфонии и книги, слушают музыку, читают стихи! Когда-нибудь историк задумается: как писалась книга в январе 1942 года в осажденном Ленинграде? Как изобретатель нашел гениальное решение в нетопленной комнате, при копилке? Как могли люди, падая от голода, вручную крутить машины в типографиях, чтобы выпустить номер газеты, вручную носить тысячи ведер воды на хлебозавод, чтобы вовремя замесить хлеб!

Нет, мы не пассивны, если не позволяем себе плакать и отчаиваться, если мы сопротивляемся врагу во всем и держимся, держимся, держимся во что бы то ни стало».

— И мы все-таки выдержим, — сказала себе Мария и опустила штору, потому что ледяным холодом веяло от окна. Привычно, не задевая ничего на пути, она прошла по темной комнате и остановилась у двери. Ей хотелось войти в Митину комнату и взглянуть в лицо матери.

— Мама, мама! — сказала она сдавленным голосом, приложив ладони к двери и закрыв глаза. — Мама, мама, родная моя! — сказала она еще и, почуяв поднимающееся рыдание, резко повернулась, поправила на Андрюше одеяло, поворошила на печке сохнувшие щепки, постелила

себе постель. Боль растворилась в повседневных заботах. А когда Мария наконец легла, особое чувство злого спокойствия овладело ею. Она прижалась щекой к нагретой у печки подушке, вытянула ноги, плотно закутанные одеялами, и быстро заснула сном без единого проблеска сознания, сном чернорабочего, весь день таскавшего на спине слишком тяжелый груз.

Дворник стоял в передней, подперев дверь плечом, и с любопытством разглядывал Марию. Он не торопился объяснить цель своего прихода. Мария заговорила первой и неожиданно робким голосом:

— Ну что, Моргунов?

— А разве вы не звали меня? — спокойно сказал Моргунов. — Мамаша-то у вас померла... хоронить будете или как?

— Да, — коротко ответила Мария. И, набравшись смелости, начала неизбежный разговор: — Мне, Моргунов, нужен гроб... Я хочу...

Она старалась не смотреть в равнодушное лицо с алчными глазами, под которыми мешками вздулись опухли. Моргунов долго не отвечал, покачивал головой и чмокал губами. Злоба сдавила ей горло, но что она могла поделать!

— Возьметесь вы за это?

— Расчету мне нет, конечно... всем отказываю... Для вас уж просто из сочувствия... — Он помолчал и добавил, нагло глядя в глаза Марии: — За три кило сделаю. Для вас.

— Моргунов... — сразу ослабев, пробормотала Мария. — Вы же знаете, у меня нет столько...

— Почему же нету! Карточка ее осталась, — рассудительно сказал он. — До конца месяца кило шестьсот... А зачем вам заявлять о смерти? Подождите до конца месяца, получите на нее новую карточку. Похороните как полагается, и вам еще останется.

Беспомощные, злые слезы душили ее. Она быстро сказала, опустив глаза:

— Этого делать нельзя. Я этого не сделаю.

— А доски у вас есть?

Помолчали.

У нее не было досок. Откуда у нее могли взяться доски! Если бы они и были, их давно сожгли бы.

— За одни доски меньше кило не возьмешь,— сказал он. — Сам понимаете.

Снова помолчали. В тишине Мария слышала стук своего сердца и приглушенный стенами голосок Андрюши.

— Хорошо,— сказала она. — Пойдемте на кухню. Там есть стеной шкаф.

Этот стеной шкаф она сама когда-то придумала, и, может быть, тот же Моргунов или другой дворник сделал его по ее указаниям. Она не помнила точно, во всяком случае тот дворник, весело строгавший сухие доски в кухне, был совсем не похож на человека, стоявшего перед нею, только фамилия была как будто та же. Шкаф висел над кухонным столом, длинный и узкий, с дырочками для вентиляции в дверцах, выкрашенный под цвет стен в веселую голубую краску. Всю зиму мама упорно оберегала этот удобный шкаф от уничтожения.

— Хватит?

Моргунов прикинул на глаз, потом смерил сантиметром, видимо припасенным заранее, и молча, не спрашивая разрешения, прошел в комнату, где лежала покойница. Мария остановилась в дверях и старалась не смотреть, как он деловито тянет ленточку сантиметра от головы до белых окаменевших ног.

— Вот хорошо! — радостно сказал Моргунов. — Прямо в точку угадала ростом.

Мария быстро пошла в кухню, чтобы Моргунов ушел *оттуда*. У него был довольный вид, а глаза его обшаривали кухню, выискивая что-нибудь, что можно выпрестить.

— А гвозди есть?

— Нет,— отворачиваясь, резко сказала Мария. — Говорите цену и давайте кончать.

— Кило шестьсот,— сказал он мягче. — Как знакомому человеку... Сколько лет знаю вашу мамашу...

Мария вспомнила, что мать ненавидела этого Моргунова и называла его грабителем, людоедом. Тогда Мария посмеивалась,— ей не приходилось вести дела с дворником, дрова выменивала у него Анна Константиновна. Теперь Мария понимала, почему мать так ненавидела его.

— Хорошо. Ломайте шкаф.

Она стала вынимать из шкафа кастрюли, электрические приборы, пустые банки с аккуратными ярлыками, в которых, бывало, хранились крупы, соль, приправы...

Сколько раз мама открывала этот шкаф, озабоченно выбирая то, что нужно, иногда задумываясь, класть ли лавровый лист, подойдет ли в соус корица...

— Копечно, хлеба жалко,— вслух размышлял Моргунов, невыносимо медленно разбирая шкаф. — Я понимаю... Но и то сказать, зачем тогда хоронить? Сдали в морг, и все. Я бы до морга за полкило свез.

— Не говорите об этом, пожалуйста.

— Вы не расстраивайтесь. Чего уж! Теперь помереть легче, чем жить. А мамаша у вас старый человек, жизнь прожила слава богу как, чего ж тут жалеть!

Он, наконец, отодрал все доски и пошел, похвалив окраску:

— Веселенький гроб получится.

В дверях он задержался и попросил дать ему вперед хлебную карточку.

Мария твердым голосом отказалась отдать карточку, пока гроб не будет готов.

— Ну, хлеба кусочек дайте.

Хлеба она дала — узкий ломтик, свой ужин, — лишь бы скорее ушел. Обняв Андрюшку, она старалась плакать беззвучно, чтобы он не заметил. И вдруг вспомнила, что дрова на исходе и ей придется самой покупать дрова у Моргунова. Ее охватил ужас. Этот человек будет сопровождать ее жизнь, как тень. От него некуда деться.

На следующее утро она пошла на свой объект, где не была уже два дня. Григорьева заменяла ее, можно было не идти и сегодня, но на работе Марии было легче, чем дома. Проходя по набережной, она увидела на льду пешеходов, бредущих с одного берега на другой. Стоит пойти вслед за ними по тропинке, потом по длинной заводской улице... войти в знакомые ворота Дома малюток... И ей без придинок выдадут карточки на февраль... Ведь знают ее не один год! Карточки на месяц... двести граммов хлеба в день...

Она опомнилась уже на льду. И поняла, что уже десять минут мысленно повторяла объяснения, которые помогли бы ей получить мамины карточки, — мама упала на улице, еще слаба, но будем надеяться... «Да что я, с ума схожу?»

Она повернулась и пошла назад, не оглядываясь на заманчивую тропку. Какой-то голос внутри и сейчас нашептывал: «Карточку на месяц... двести граммов хлеба... две-

сти граммов...» Это я, я чуть не сделала подлость. Воровство! Это все Моргунов. Зловещая алчная тень...

Обратно она пошла другой дорогой, чтобы не видеть темнеющую на льду тропу.

Моргунов принес гроб и повторил: «Веселенький гроб получился!» Мария отдала карточку и уже надеялась, что Моргунов сейчас уйдет, но вошла жена Моргунова, Дуня: «Прощаться». Нельзя было отказать ей. Без интереса взглянула Дуня на покойницу, скучным голосом заметила: «Надо же, как исхудала!», с любопытством пощупала платье, прошептала: «Крепдешин... В платье похороните?» Марии хотелось закричать. Она выпроваживала их как умела. Но Дуня упорно крутилась в передней, пока муж не вышел, а тогда схватила Марию за рукав и быстрым шепотом спросила: «За сколько с ним сговорились?» Подчиняясь, Мария шепотом ответила. «А мне сказал — за кило! — с яростью воскликнула Дуня. — Объедала! Гроб-то я ему сколачивала!» И пошла вслед за мужем.

Через час Моргунов вернулся.

— А хоронить-то кто вам будет? — спросил он, подозрительно и жадно вглядываясь в недоброжелательное лицо Марии. — Если нужно, я за кило свезу. Дешевле все равно никто не повезет.

Она чуть не сказала: «Хорошо, хороните», — но сквозь усталость пробился гнев — допустить этого грабителя к могиле мамы!

— Нет, Моргунов, я похороню сама.

На миг перед нею мелькнуло видение долгого, безрадостного пути по заснеженным улицам, по обледенелым перекатам, по крутым колеям... тяжело навалившись на ляжку, она тянет, тянет, тянет сани с подпрыгивающим на них гробом...

— Мне ничего не нужно, — сказала она упрямо. — Все уже устроено.

И она прошла весь этот многокилометровый путь. Григорьева была с нею, и еще Зоя Плетнева, и Тимошкина. По очереди двое тянули сани, а двое подталкивали сзади. На кладбище, уже в сумерках наступающего вечера, они по очереди копали, с трудом взрезая мерзлую, неподатливую землю. Уже стемнело, когда им удалось выкопать небольшую яму, в которую еле помещался гроб.

— Глубже не осилить, — сказала Зоя.

— Вы отдохните... я еще немного покопаю,— тихо сказала Мария.

Деревья слегка качались и шуршали, осыпая с ветвей хлопья снега, под ними мотались неясные тени.

— Я больше не могу,— призналась Мария.

Они забросали гроб землей, потом снегом. Марии хотелось чем-нибудь отметить могилу, но ничего под рукой не было. И в темноте трудно было запомнить даже место.

Обратный путь она прошла как во сне, не падая только потому, что знала: если упадешь, уже не встанешь.

Они кое-как добрались до объекта и молча сели вокруг печки. Мария знала, что ей нужно пройти по общежитию, поздороваться с людьми, осведомиться, кто заболел, кто ходит на работу, кто перестал ходить. Позвонить в районный штаб и доложить, что она приступила к работе... Но сил не было.

— Я все думала: если человек крепок духом, он не умрет,— сказала она, впервые не считаясь с тем, какое действие произведут ее слова на окружающих. — Но вот мама... она была очень крепка духом...

— Устала ты, вот и мысли черные,— неодобрительно заметила Григорьева. — Ляг-ко лучше, поспи. Утро вечера мудренее.

«Все дело в том, что я больше не могу»,— призналась себе Мария и сама ужаснулась этому. Но преодолеть это состояние безразличия ко всему на свете не сумела. «Я устала. У меня иссякли силы. Я ничего больше не хочу».

— Я ее очень любила, маму,— сказала она.

Если бы удалось разрыдаться, рыдания облегчили бы ее. Но слова повисли в холодной пустоте, ни горя, ни отчаяния она не чувствовала.

Кто-то постучал. Григорьева у двери сказала:

— Спит она, Верочка. Тебе чего?

— Мама передать ей велела,— сказала за дверью Верочка Смирнова,— ее завтра в райком вызывают, к десяти часам утра. К секретарю.

Мария поняла, для чего ее вызывают. Дело о приеме Марии Смолиной в кандидаты партии пришло в райком, и секретарь хочет побеседовать с новым коммунистом, проверить, силен ли, достоин ли новый кандидат. «Как же я могла забыть об этом? И как же я пойду завтра? И для чего же я пойду, если у меня нет больше сил?»

В конце короткого зимнего дня, незаметно переходившего в сумерки, Пегов приехал на собрание коммунистов танкового завода. В этот день завод получил задание Военного совета Ленинградского фронта отремонтировать и вернуть в строй двенадцать сильно поврежденных тяжелых танков. Коммунистам предстояло вдохнуть жизнь в мертвые, оледенелые цехи.

Пегов живо помнил многолюдные собрания заводской партийной организации, когда в большом зале Дома культуры не хватало мест. Сегодня коммунисты собрались в читальне стационара. Кроме нескольких диванов и кресел, уютно расставленных Любой, туда принесли десятка два стульев, и все разместились свободно, а Солодухин даже лежал на диване, опираясь на подушки. Свет электрической лампы освещал обтянутые до костей, землистые лица. И это была вся организация — горсточка истощенных, еле двигающихся людей!

Сквозь боль Пегов все-таки заметил, что Левитин начал собрание по всей форме, с выборов президиума, хотя за несколько минут до того они договорились провести собрание по-военному коротко. Что ж, пожалуй, Левитин и прав: привычная форма помогает людям подтянуться, войти в деловую колею... Больше месяца люди лежали по домам или в стационаре, бродили по опустевшему заводу, некоторые возились с доморощенной «электростанцией» или сносили деревянные постройки на топливо, — лишь бы получить немного тепла и света. А завтра им предстоит выйти на работу и работать столько, сколько потребуется, то есть очень много.

Видимо, все уже знали об этом. Сообщение директора выслушали спокойно и даже как будто равнодушно. Но как только Владимир Иванович кончил свою трехминутную речь, посыпались вопросы, а затем слова попросил Кораблев. Пегов знал, что у Кораблева — очень тяжелое истощение организма, дистрофия второй степени, и что после ранения его мучают головные боли: он и на собраниях сидел согнувшись, морщился и потирал виски. Но, попросив слова, Кораблев встал с места и неожиданно звучным голосом заговорил о том, что в цехах найдется много заготовок и запасных частей к танкам, так что ремонт машин не представит непреодолимых трудностей и можно обойтись заменой частей.

После речи Кораблева обсуждение продолжалось так же деловито и даже сухо, — коммунисты вносили предложения, почти не прибегая к доказательствам. Все хорошо понимали друг друга. Трудность задачи была ясна, и поэтому о ней даже не упоминали. Говорили о расселении рабочих на заводе, потому что уходить домой с работы и некогда будет, и сил не хватит. Говорили о питании, о бане, об электрической энергии для цехов, о наборе подсобной рабочей силы и даже о том, что новых рабочих надо немедленно обучать еще в ходе ремонта танков, так как позднее, когда завод заработает вовсю, обученных рабочих будет не хватать.

Начальник сборочного цеха Курбатов вышел вперед, к столу президиума. На его худом, очень бледном лице большие азартные глаза казались особенно яркими.

— В предстоящей работе главная ответственность падает на мой цех, — начал он требовательно. — Поэтому мне кажутся необходимыми следующие неотложные меры по его восстановлению и обеспечению...

И он стал перечислять свои требования, намеченные без запроса.

Солодухин тяжело заворочался на диване, роняя подушки.

— Этот свое не упустит, — буркнул он, спуская ноги с дивана.

Курбатов сверкнул глазами и продолжал говорить еще самоуверенней и настойчивей.

После него голос Солодухина звучал совсем елеяно:

— Очень, очень верно говорил здесь товарищ Курбатов, он только упустил из виду, что без моего цеха и ему делать нечего, поэтому все его толковые, верные предложения надо распространить на мой цех. А так — что ж тут добавлять! Все правильно... прямо в точку!

Коммунисты смеялись и перешептывались. Пегов тоже смеялся, совершенно забыв о своем первом тягостном впечатлении. Собрание уже не казалось ему горсткой еле живых людей. Это была сила, и на эту силу можно было положиться.

Он сообщил собранию, что Военный совет обеспечит рабочих питанием по фронтной норме, и обещал мобилизовать по району дополнительно рабочую силу для завода. После собрания он еще посидел со знакомыми рабочими, потом побеседовал отдельно с Владимиром Ивановичем и Левитиным. Левитин был в приподнятом на-

строении, а Владимир Иванович ворчал и все старался выговорить заводу еще какие-нибудь льготы и блага.

— Ты прямо как Курбатов с Солодухиным, вперед заработать хочешь, — посмеялся Пегов, уезжая, но постарался запомнить все пожелания директора, чтобы добиться кое-чего в Военном совете.

Рано утром он позвонил на танковый завод:

— Пришли?

Владимир Иванович проворчал в трубку, что «они» уже пришли и надо быть сумасшедшим, чтобы обещать «склеить эти черепки» в такой срок. Затем он начал сердито перечислять, что сделано за ночь и за первые два часа после прибытия танков, и Пегов почувствовал, что Владимир Иванович обязательно «склеит черепки» в срок и что он, несмотря на воркотню, оживлен и доволен заданием.

На вопрос об объеме работ Владимир Иванович только крикнул:

— Я ж тебе говорю — черепки! Достаточно взглянуть, чтобы понять, в каких переплетах они побывали!

— Откуда они, не знаешь? — чужим от напряжения голосом спросил Пегов.

Иносказательно, как полагалось по законам военного времени, Владимир Иванович назвал участок фронта.

— Так, — процедил Пегов, бледнея и всеми силами стараясь вернуть себе ясность мысли и самообладание, чтобы закончить деловой и очень важный разговор. Никто ведь не обязан выяснять, не служил ли на одном из этих танков стрелок Сережа Пегов...

— Что, машины пришли с экипажами?

— Скорее с остатками их. — Владимир Иванович вдруг закашлялся и другим, виноватым голосом сказал: — Я сейчас же выясню, чей там народ. Ты извини, я тут закрутился, ошалел малость. Сейчас же выясню.

— А насчет рабочих ты скажи Левитину, пусть заедет, — справившись с собой, сказал Пегов. — Подкинем людей, можешь не беспокоиться.

Опустив трубку на рычаг, Пегов несколько минут сидел в бездействии, рассчитывая, сколько времени может пройти, пока Владимир Иванович пойдет или пошлет кого-нибудь в цех разыскать танкистов и расспросить их о Сереже. Анна Петровна просунула голову в дверь и доложила, что в приемной дожидается Смолина, по вызову.

— Пусть заходит.

Анкета Смолиной заинтересовала его еще несколько дней назад потому, что Смолина была однофамилицей (а может быть, и родственницей) Сережиного командира, и потому, что ее профессию — архитектора-строителя — мечтал избрать Сережа после окончания военной службы. Кроме того, Смолину рекомендовал Сизов, а его рекомендациям Пегов доверял.

— Садитесь, товарищ Смолина. Вы работаете начальником объекта?

Он вглядывался в ее лицо — похудевшее, с начинающимися отеками под глазами и все-таки привлекательное, с чистым и трогательно доверчивым выражением бледных губ.

— Официально я начальник штаба и заведую общезжитием, — сказала Мария, силясь говорить громко и деловито.

Всю эту ночь она очень хотела и не могла уснуть. Короткое забытие сменялось одуряющей бессонницей. К утру у нее сильно распухли ноги, и она с трудом натянула валенки. Она шла до райкома сорок минут, хотя обычного ходу было минут десять. В приемной у нее закружилась голова, и она вынуждена была посидеть в кресле, прежде чем подойти к секретарше и назвать себя. И сейчас собственный голос казался ей далеким, посторонним, и лицо Пегова расплывалось перед глазами.

— Но ведь нас с вами интересует фактическая сторона дела, — добродушно сказал Пегов. — Сизов все время за городом...

— Он сейчас болен.

— Да, знаю. Вы навещаете его?

Мария вскинула утомленные глаза, с усилием сказала:

— Я была два раза. Второй раз ходила за рекомендацией. Он сам просил меня не приходить пока... Он живет далеко и...

— Понимаю. Ну, как дела у вас на объекте?

Мария помолчала и вдруг с полным доверием перегнулась через стол и шепотом сказала:

— Плохо.

Он не осудил ее отчаяния и не стал расспрашивать. Он ясно представлял себе обстановку, в которой ежедневно бьется эта женщина: скученность в холодных, темных комнатах, больные и умирающие люди с их жалобами и

невыполнимыми требованиями. Он понимал, как ей трудно сохранять порядок и чистоту, сколько усилий нужно, чтобы поддержать дух людей и заставить их встать, пойти на работу, выйти на пост во время обстрела...

— Так. Но что же скажут другие, милый вы мой товарищ, если мы с вами скажем: «Плохо»?

— Я же говорю это только вам.

Он слегка усмехнулся и вздохнул: десятки людей ежедневно приходили к нему и говорили ему то, что не стали бы говорить другим, уверенные, что он сильнее их, что он подбодрит, успокоит, поможет. Но в том, что они приходили именно сюда и жаловались только ему, сказывалась сила. Сила партии. И его сила.

— Знаете, товарищ Смолина, мы с вами все-таки победим, и сотни людей вытянем, и еще построим жизнь так, чтобы отвечать только: «Хорошо»! Можете вы поверить в это сейчас, сегодня, как в самое настоящее, реальное *завтра*?

Мария посмотрела прямо в глаза Пегова и твердо ответила:

— Могу. Многие из нас не доживут, но это будет.

— Но то, что вы вступаете сейчас в партию, доказывает, что вы чувствуете в себе силы вести других... более слабых? Ведь не случайно вы пришли к нам сейчас, в самое трудное время?

— Не знаю,— чистосердечно ответила Мария. — Сейчас победа для меня яснее, чем, скажем, осенью, когда ждали баррикадных боев. Но тогда все было проще.

— Тогда тоже было не просто. Насколько я знаю, даже из ваших близких не все решили вопрос о своем месте в войне с такой гражданской честностью, как вы.

Так как Мария молчала, он сказал после паузы:

— Принимая вас в партию, мы возлагаем на вас огромную и — я не боюсь громких слов — страшную ответственность, потому что отныне вы должны быть сильнее окружающих вас, здоровее их, бодрее их, неутомимее... Понимаете вы это?

— Да, конечно,— просто ответила Мария. — Мы об этом говорили с Иваном Ивановичем... с Сизовым. Я сначала думала, что сейчас не время... Поскольку я все равно работаю, как только могу.

— В одиночку, товарищ Смолина, тянуть такую ношу слишком трудно! Партия ведь и помогает, и поддерживает. Вот у меня тяжело на сердце, а поговорю с вами,

с другим, с третьим — мне и легче. Мы требуем многого, но мы и помогаем друг другу выполнять эти требования.

Мария кивнула. Ей и вправду стало легче, и даже странным казалось, что вчера и сегодня утром она дала волю слабости и малодушию. Признаться в этом Пегову? Наверное, надо признаться.

— А все-таки, пожалуй, будет правильнее вас эвакуировать, — вдруг сказал Пегов. — У вас маленький ребенок. И профессия такая — для тыла более подходит, чем для фронта. И вид у вас такой... слабенький.

Мария вспыхнула.

— Говорить об этом я не хочу и не буду, — отрезала она.

— Ишь какая... — Он посмотрел на нее повеселевшими глазами. — Ну, раз не будете, делать нечего. Давайте тогда держаться. Люди нам и правда очень нужны.

Он стал расспрашивать ее, что она делала до войны, что будет делать после. Испытывая бесконечное облегчение, будто ей вдруг вернули и силы, и здоровье, и несомненное будущее, Мария рассказала Пегову о предложении Одинцова.

— И надо пойти, — сказал Пегов. — Ну, не сейчас, так весной. Раз ваша специальность нужна — зачем же вам квалификацию терять? Впереди дела много. Строить и строить будем... Конечно, до весны вам людей бросать нельзя. Не поймут они вашего ухода. Скажут — нашла, где легче. А весной мы вас отпустим... если удастся, конечно, — добавил он.

На прощание он спросил:

— Среди ваших женщин нельзя найти несколько таких, что пошли бы на танковый завод? Рабочая карточка, дополнительное питание. Пусть даже из домохозяек. Все равно учить надо.

— Если это очень нужно, нескольких найду.

Она была уже в дверях, когда он вспомнил и спросил, снова преодолевая томящий страх:

— Скажите, танкист Смолин, командир танка...

— Мой двоюродный брат.

— Давно у вас были... известия?

— Давно. Недели три назад. А вы... вы что-нибудь знаете?

— Нет. У него в экипаже мой сын. Если вы что-нибудь получите...

Она поняла и торопливо обещала:

— Непременно.

Приемный день Пегова продолжался. Сменялись люди, сменялись вопросы и заботы, но шла ли речь о размораживании водопровода, о подготовке допризывников, о детском доме, о переводе портных дамского ателье на пошивку ватников или о снабжении металлом примусной мастерской, выпускающей гранаты,— общим для всех было одно стремление: выдержать блокаду и обеспечить победу. Пегов с интересом и требовательностью обсуждал дела разнообразных больших и малых учреждений и предприятий своего района, стараясь направить их дела так, чтобы облегчить и ускорить победу. И в столкновении с десятками различных, по-разному думающих и чувствующих людей он не упускал из виду одной, главной цели — поддержать или создать у них душевную настроенность, помогающую решать общую задачу как можно успешней.

Среди всех этих дел в каком-то дальнем уголке памяти держалась мысль о том, что может зазвонить телефон... Телефон звонил часто. Пегов выслушивал сообщения, что-то советовал, приказывал или отклонял. Даже с танкового завода звонили дважды, но оба раза звонил секретарь парткома Левитин. Левитин рассказал о том, что коммунисты и комсомольцы разошлись по квартирам звать на работу всех заводских рабочих, какие могут прийти, что в стационаре все больные решили приступить сегодня же к работе и Курбатов с Григорием Кораблевым уже в цехе. Вторично Левитин позвонил, чтобы пригласить Пегова выступить на митинге в шесть часов. Пегов не решился повторить свой вопрос. До шести оставалось полтора часа, митинг будет минут десять — пятнадцать, потом можно будет поговорить с танкистами и разузнать...

В половине пятого Анна Петровна вошла в кабинет, положила свою руку на руку Пегова и сказала необычным, неслужебным, пугающим своей сердечностью голосом:

— Тут к вам лейтенант Смолин... Впустить его? Он торопится...

У Пегова сидел начальник примусной мастерской, изготовлявшей гранаты. Как в тумане видел Пегов его лицо, слушал его возбужденный голос, требовавший активного вмешательства райкома в вопрос о распределении металлического лома. Вошел лейтенант-танкист, поздоровался

и сел в сторонке. Пегов обещал начальнику мастерской вмешаться в распределение лома, вызвал к себе одного из инструкторов райкома и поручил ему «заняться этим делом». Когда инструктор и начальник мастерской наконец вышли из кабинета, танкист встал и подошел к столу.

Пегов смотрел на приближающегося танкиста со странным ощущением, что вот остались считанные секунды обычной и освещенной надеждой жизни, а затем наступит *то* — то, что он всегда ждал и отталкивал, о чем не позволял себе думать, то неотвратимое и непоправимое, перед чем самый сильный человек бессилён.

— Я о вашем сыне, о Сереже, — невыносимо медленно сказал лейтенант. — Он был в моем экипаже. Третьего дня он тяжело ранен и получил сильные ожоги... — Поглядев в застывшее лицо Пегова, Алексей добавил: — Он здесь, в госпитале. Я вам дам адрес, если хотите... Мы все очень любили Сережу...

«Если хотите... мы все очень любили...» Что это он говорит? «Очень любили...» Значит, его уже нет? Но адрес... госпиталь... Да, да, тяжело ранен и сильные ожоги... Ожоги бывают опаснее ранений...

Он взглянул на часы. Без двадцати пять. До шести можно успеть. А в шесть митинг, надо выступить перед рабочими, вызванными на завод для ремонта танков... И того танка тоже?

— Ваш танк на заводе?

— Да, пригнал на ремонт. Экипажи работают, я ушел на полчаса, чтобы сообщить вам...

— Я вас отвезу к шести часам. Поедьте в госпиталь.

В машине Алексей рассказывал о том, при каких обстоятельствах был ранен и обожжен Сережа, и Пегов слушал, плохо понимая и все стараясь представить себе Сережу таким, каким увидит его через несколько минут. Но представить его себе таким не мог, а все видел мальчиком, непомерно высоким, тоненьким, с румянцем на щеках и почему-то с удочкой и ведерком...

Было без двадцати пяти шесть, когда Пегов и Смолин вошли в палату. Врач подвел их к койке, на которой лежал забинтованный до глаз человек, и сказал:

— Вот он.

Пегов наклонился, стараясь узнать светлые мальчишеские глаза, не узнал и не своим голосом крикнул:

— Сережа!..

Большой шевельнулся и сквозь бинты пробормотал:

— Пить...

Сестра поднесла к его губам поильник, осторожно, между бинтов, наклонила носик. Слышно было, как Сережа жадно глотает воду. Потом раздался его голос:

— Спасибо...

И глаза закрылись.

— Сейчас не надо трогать его, придете завтра, послезавтра, потом, — сказал врач недовольно. — Он слаб, волновать его вредно. Да он пока и не понимает.

Пегов оглядел холодную, неприветливую палату с железной временкой, от которой труба выведена прямо в окно, забитое фанерой. Ряды коек, на которых раненые лежат полуодетыми, прикрытые шинелями поверх одеял. Блюдечко разваренной чечевицы на тумбочке у постели тяжелораненого... Взгляд его вернулся к белому, забинтованному до глаз существу, которое было Сережей, — его Сережей, живым, веселым, любознательным, всегда чем-нибудь увлекающимся мальчиком, единственным сыном, в которого вложены все чаяния родителей... Оставить его здесь, беспомощного, разбитого, умирающего?

— Не отчаивайтесь, — сказал врач, смягчаясь. — Организм молодой, крепкий. Вытянет.

Очнувшись от этого обращенного к нему голоса, Пегов увидел соболезнующие лица Смолина, врача, протянувший ему стакан воды в руке сестры.

— Я, кажется, и так владею собой, — сквозь зубы сказал он и пошел к выходу.

В коридоре и на лестнице он заметил, что все встречаемые поспешно уступают ему дорогу. Неужели он так жалок? Неужели он разучился управлять собой?

— Надо торопиться, лейтенант, — сказал он Смолину. — Через десять минут мы должны быть на заводе.

Увидев соболезнующий и вопросительный взгляд своего шофера, он махнул рукой и сердито крикнул:

— Полным ходом!

Надо было сосредоточиться для предстоящей работы. Скорее бы оказаться на заводе, среди людей, быть вынужденным говорить с ними, заниматься делом...

— У меня лучший друг, Гаврюша Кривоzub, тоже тяжело ранен, — сказал Алексей, не зная, как утешить и вывести из оцепенения своего спутника. — Сначала

думали — умрет. А теперь поправляется. Его эвакуировали в тыл. Сережу, наверно, тоже эвакуируют.

— Да, да, — проговорил Пегов. — Конечно.

Его ужаснула мысль о том, что Сережу могут отправить из Ленинграда. Отправят вот таким забинтованным, неподвижным пакетом... И тогда уже никогда не увидят прежнего открытого мальчишеского лица, сияющих глаз, улыбки... И как не понимает этот лейтенант, что об этом нельзя, не надо говорить!

— А у меня сегодня ваша сестра была, — сказал он, чтобы переменить разговор. — Пришли бы раньше — встретились бы.

Алексей обрадовался и сообщению Пегова, и тому, что найдена посторонняя тема для разговора. Пегов охотно отвечал на его расспросы, стараясь вернуться к обычному состоянию озабоченности и деловитости. Но воспоминание о Смолиной ворвалось в новый мир страдания и боли, и он слово за словом повторил себе все, что он говорил этой слабенькой, измученной женщине, вступившей лишь на первую ступеньку партийного бытия. «Мы еще построим жизнь так, чтобы отвечать только: «Хорошо»... «Отныне вы должны быть сильнее окружающих вас, здоровее их, бодрее их...» Как легко было говорить это еще сегодня утром!

«Значит, я сам слаб и не могу перебороть боль?» — жестко спросил он себя. И, уже входя в ворота завода, ответил себе: «Нет, могу. Могу перебороть и это. Только работать. Непрерывно работать. И никому ни слова. Уйти с головой в работу».

Здороваясь с людьми, разговаривая, он сложил в уме короткую речь и в толпе рабочих подошел к танку, который должен был служить трибуной. Левитин уже взобрался наверх и говорил первые вступительные слова. Чья-то дружеская рука взяла Пегова за локоть, чтобы помочь подняться.

— Предоставляю слово секретарю райкома товарищу Пегову! — сказал Левитин.

Голос прозвучал далеко, где-то за пределами реальности. Пегов видел только громадину танка с совершенно смятой, свернутой набок башней, с черными пятнами копоти на исчирканной осколками броне и еще — рыжие засохшие пятна... Ржавчина?.. Кровь?..

Пегова втянули наверх. Его ноги утвердились на опаленной броне, покрытой рыжими пятнами засохшей

крови. Его колени упирались в свернутую набок, разбитую пушку. Рукоплескания смолкли, люди ждали, что он заговорит, десятки знакомых и незнакомых лиц были обращены к нему.

— Начинайте,— обеспокоенно шепнул Левитин, дотрагиваясь до его руки.

Пегов стоял опустив глаза и не мог отвести взгляда от пятен на броне. Он ни о чем не думал, он даже забыл о том, для чего стоит тут и чего от него ждут.

— Товарищ Пегов,— растерянно повторил Левитин.

Танкист Смолин что-то тихо сказал людям, стоявшим рядом с ним. От одного к другому шепот прошел по толпе, какая-то женщина всхлипнула, на нее шикнули — и в цехе стало тихо, так тихо, что слышно было напряженное дыхание людей.

Именно тишина вернула Пегова к жизни — он поднял глаза, оглядел почерневшие, изнуренные лица, увидел на этих лицах выражение боли и понимания... Огромным усилием воли заставил себя вспомнить приготовленную речь, но все приготовленные слова показались ненужными, и он сказал:

— Вы сами понимаете все, дорогие мои товарищи. Танки надо как можно скорее вернуть в бой.

И десятки голосов ответили:

— Понимаем! Вернем!

13

Алексей Смолин и раньше знал, что труд — великая сила, но только в эти дни по-настоящему понял, чем является труд в жизни человека.

Несколько десятков людей пришло в обледенелый, насквозь пронизываемый морозным ветром, полутемный и заброшенный цех. Если бы рассматривать каждого из них в отдельности и на основе медицинских показаний и противопоказаний, ни одного из этих людей нельзя было бы допускать к работе. Но, связанные воедино кровным блокадным родством и общей целью, все они по первому зову прибредли на завод и на коротком митинге, где ни одна речь не занимала больше пяти минут, единогласно приняли решение работать. Никакого видимого энтузиазма не было, да на него и не хватило бы сил. Люди ворчали: «Лучше помереть здесь, чем дома». Они говорили:

«Конечно, раз танки нужны, придется», а многие больше всего интересовались обещанным усиленным питанием. Алексея Смолина даже поразила и огорчила угрюмость и бесстрастность рабочих, — ведь это были те самые рабочие, которые осенью со страстью и веселой злостью выпускали один танк за другим и о которых так восторженно рассказывал Гаврюшка Кривоzub, вернувшись с завода. Неужели у них совсем не осталось прежнего запала, прежней бодрости духа? И как же тогда сумеют они в срок отремонтировать двенадцать изуродованных машин?

Работа, предстоявшая им, была тяжела, а срок, принятый ими как боевой приказ, короток. Что работать придется столько, сколько нужно, не уходя с завода, — об этом даже не договаривались, это было ясно без слов. Сразу после митинга, разобрав по самокруткам весь табак, имевшийся у танкистов, и всласть покурив, люди разбрелись по рабочим местам.

Они еле-еле взбирались на танки и просили помощи, когда нужно было выбраться из танка. Никто из них не мог до конца закрутить гайку или отвернуть ее, — на помощь звали танкистов. Но при этом рабочие стеснялись собственной слабости и чаще всего придумывали какой-нибудь предлог, чтобы передать непосильную работу танкисту: «А ну-ка, парень, отверни вот тут, пока я разберусь, что случилось...»

Располагаясь на броне или выглядывая из люка машины, они неизменно внимательно озирали цех. Алексею вид цеха казался безрадостным: скудный свет, забитые, задымленные окна, лед и снег на полу, медленнодвигающиеся, теряющиеся в огромности цеха закутанные фигуры рабочих, давно остановившиеся громоздкие краны над их головами — как гигантские топоры... Но рабочие, пережив недавно дни умирания, прекращения работ на заводе, глядели сейчас иными глазами и видели то, чего не мог заметить или понять впервые появившийся на заводе человек. Они вслушивались в робкий, еще только начинающийся шум труда. Их ввалившиеся глаза оживлялись, на лицах появлялось выражение гордости и какого-то наивного изумления — может быть, перед тем, что «вот живем, не умерли, будем жить...»

Все работали не по силам много, но — странное дело! — Алексей замечал, что все при этом день ото дня здоровеет. Им давали теперь фронтной паек, и сами они

приписывали свою поправку улучшению питания. Конечно, лишние двести граммов хлеба и тарелка горячей похлебки играли свою роль, но люди здоровели главным образом оттого, что труд возбуждал и радовал их, оттого, что возрождение работ на заводе вывело их из состояния оцепенения.

Пожалуй, больше всех и быстрее всех изменился Солодухин. Первый раз он пришел в цех, опираясь на палку и поддерживаемый женой. Сам он двигаться не мог, но сидел на табуретке посреди цеха и тонким, злым голосом указывал, что и как делать. В его цехе надо было пустить несколько станков, и, как всегда, эти станки должны были обеспечивать цех Курбатова. Но теперь всеми работами командовал Курбатов, и, как всегда, Солодухину казалось, что от Курбатова невозможно добиться ни настоящего понимания, ни уважения. Выпрашивать у него людей для своего цеха было мучительно, но еще мучительнее было докладывать ему о всяких затруднениях и неувязках. А затруднений и неувязок возникало множество. Именно из-за какой-то неувязки Солодухин впервые забыл, что не может ходить, вскочил, опрокинув табурет, разругался с Курбатовым и побежал через весь завод к директору. С этого дня Солодухин уже не сидел на табурете, а все быстрее и быстрее носил по цехам свое большое, обмякшее тело и плачущим голосом ругал Курбатова, директора, рабочих — всех, кто попадался под руку. Отругавшись, он тем же плачущим голосом добавлял: «Ну, голубчик, пожалуйста, не в службу, а в дружбу...» Его неугомонная шумливость никого не раздражала, — это была смешная и привычная принадлежность заводской жизни.

Солодухин по-прежнему жил и питался в стационаре. Но так как теперь он больше всего думал о том, чтобы «утереть нос Курбатову», а кроме того, вообще уметь ценить и беречь порученных ему людей, он почти каждый раз приносил кому-нибудь из своих помощников то кусок лепешки, то стакан соевого молока, то порцию шпика. Делал он это тайком от Любы и от жены, воровато озирался и краснел, как мальчишка, если вдруг появлялась его старуха. Старуха неизменно ругала его на весь цех, не стыдясь людей, а потом утирала слезу радости и рассказывала счастливым голосом:

— А ведь, бывало, съест и свое, и мое, да еще отпирается! Я ему и без того свое подсовывала, мне только

обидно было, зачем сам берет... А теперь, глядите-ко, что твой генерал! Шумит!..

Григорий Кораблев осматривал, проверял, ремонтировал моторы во главе бригады мотористов. Тихий, в шлеме танкиста, до половины прикрывавшем глубокий шрам на лбу, Кораблев явно пересиливал недомогание и порой, когда ему казалось, что никто не видит, утомленно прикрывал помутневшие глаза. Но затем, особенно в тех случаях, когда мотор оказывался неисправен и установить причину неисправности не удавалось, он оживлялся, подолгу ползал вокруг мотора, шупая, выстукивая, разглядывая, и при этом что-то насвистывал сквозь зубы. Когда ему удавалось установить причину неисправности, он становился азартен, бойко распоряжался своими помощниками, умело распределял работу и всегда брал на себя самую трудную и ответственную часть ее. В эти часы в бригаде мотористов работа шла споро, время летело незаметно.

Среди рабочих прижилась поговорка: «Помер бы, да помирать некогда».

А когда нужно было выполнить что-нибудь очень трудное или просто продолжить работу в то время, как на территории завода рвались немецкие снаряды, неизменно звучало обращение:

— А ну, ленинградцы!

Смолин присматривался к ним с уважением и любопытством. Да, это были героические ленинградские труженики, слава о них уже шла по всему миру, и слава эта была не только заслужена ими, она была еще недостаточна, потому что, не видя и не зная всей меры страданий и тягот блокады, нельзя было представить себе и всей меры героизма и выносливости. Голод и страдания развили у многих раздражительность, мелочность, подозрительность. Алексей никого не идеализировал, но он видел, как коллектив отсекал, подавлял все мелкое, как хорошили люди под воздействием дружного и целеустремленного труда. Перед ними была ясная и простая цель — увидеть обновленными, готовыми к бою с фашистами вот эти двенадцать опаленных, изуродованных машин. Ради этого они не жалели себя и соревновались между собой, стараясь сделать больше, лучше, быстрее. Ради этого они побеждали слабость тела, муки голода и холода, спали урывками, где придется.

— По фронтовикам равняемся,— говорили рабочие танкистам.

— Это нам у вас учиться надо,— сказал Алексей Смолин. — Получишь машину, созданную таким трудом,— на ней черт знает как воевать нужно.

Девушка, работавшая на очистке его танка, лукаво улыбнулась.

— Черт знает как — может быть и хорошо, и плохо,— медленно сказала она. — Вы немцев от города прогоните, большего мы не требуем.

— А Берлин вам не потребуется? — пошутил Алексей.

— Для Берлина мы вам новый танк дадим,— тотчас нашла девушка.

— Не обманите, я за ним приду.

Алексею нравилась эта девушка. В ее бледном лице с красивыми глазами сквозь усталость и печаль пробивалось какое-то исступленное вдохновение. Кроме производственной работы, девушка выполняла в цехе еще и другие обязанности — то ли по собственному побуждению, то ли по чьему-то заданию. Она следила за тем, чтобы в цехе была вода для мытья после работы, ведала очередь в душевую при стационаре, где в вечерние часы могли мыться все заводские рабочие. Алексей слышал иногда, как Лиза уговаривала товарищей пойти в душевую или побриться, как она стыдила тех, кто от усталости или по распущенности не следил за собой.

Алексею нравилась ее молчаливая и безропотная старательность в работе, но еще больше понравилась страстность, с какой она однажды заступилась за свои права. Станки в цехе Солодухина были подготовлены к пуску, и Солодухин пришел забрать нескольких своих рабочих, временно работавших у Курбатова. Лиза прислушивалась — и вдруг выпрямилась, соскочила с танка и пошла прямо на Солодухина. Ноздри ее раздувались, щеки горели.

— Второй токарный станок мой, и стану к нему я,— услышал Алексей ее звенящий голос.

Солодухин стал спорить. Он, видимо, предпочитал поставить к станку мужчину, а может быть, подобрал более опытного и умелого рабочего.

— Это несправедливо,— звонко сказала Лиза. — Спорить во время работы я не буду, но я вам говорю — это несправедливо. И я вас предупреждаю — я своего добьюсь.

Она вернулась, гордо вскинув голову с развевающимися локонами, и молча прыгнула внутрь танка.

— Что, там работа легче? — спросил Алексей, желая поговорить с нею.

— Нет, труднее, — зло ответила Лиза и отвернулась.

Вечером Кораблев начал разбирать мотор, и Алексей допоздна помогал ему. Лиза тоже долго копошилась в танке, потом ушла. Когда Алексей освободился, уже не имело смысла тащиться по морозу в общежитие, где устроили экипажи прибывших танков. Алексей в поисках теплого угла забрел в цеховую конторку, где обычно грелся кипятком. В конторке было темно, только красноватые отблески догорающего в печурке огня падали на пол из приоткрытой дверцы.

Алексей присел возле печки, поддел щепкой уголек и закурил. Кто-то зашевелился в темноте на скамье и вздохнул. Алексей быстро вскинул голову, вглядываясь в темноту.

— Это я, Лиза, — сказал девичий голос. — Работаю на вашем танке.

Он сильно затаился, пытаясь в скудном свете вспыхнувшей папирсы увидеть ее лицо.

— На заводе и спите?

— А где же!

— У вас никого нет в городе?

— Есть, да ходить далеко. Я в центре живу.

— Да-а... — протянул он. — Мне вот тоже надо бы в центр смотаться до утра, сестру навестить. Да идти неохота. Тьма, мороз. А главное — глядеть страшно. Страшнее, чем на фронте, вы тут живете.

Лиза знала фамилию танкиста и давно догадалась, что это двоюродный брат Марии Смолиной, но ей не хотелось завязывать знакомство. Ни к чему.

— Какая жизнь! — вяло откликнулась она.

— Это скоро кончится, — виновато сказал он. — Вот увидите. Сейчас на Ладоге, с каждым днем грузооборот увеличивается...

— Не утешайте, — оборвала Лиза. — У меня там сестра. Знаю.

— Починимся, — смущенно сказал он, — опять воевать пойдем. И ваше требование выполним. Хотите, я в вашу честь в первый бой пойду?

Она не ответила.

— Я все хочу вас развеселить немного,— еще смущеннее пробормотал он. — Кончится это все. Вы еще молодая...

— Ну и что? — со злостью спросила Лиза.

— Поправитесь. Отдохнете. Будете булку с маслом есть.

— Было бы хлеба вволю,— отмахнулась Лиза.

Он помедлил, прежде чем пошарить в кармане застрашный хлебный паек. Потом вытащил легкий плоский сверток, переломил хлеб пополам, половину сунул обратно, а половину переломил еще на две неравные части и больший кусок протянул Лизе:

— Кушайте!..

Девушка не шевельнулась и не ответила.

— Ну, берите,— сказал он грубовато и наугад ткнул лопоту хлеба туда, где должны были быть ее руки.

Рука высвободилась из-под пальто и приняла хлеб. Алексей слышал, как медленно жевала девушка, тяжело дыша.

— Вот и веселее на душе,— сказал он, улыбаясь в темноту, и легкомысленно разом проглотил свою долю.

— Спасибо,— наконец сказала она. — Вы теперь сами без хлеба остались.

— Ничего подобного,— возразил он и щедро вытащил оставшийся хлеб. — У меня, видите, с запасом. Тяните!

Он протянул хлеб, рассчитывая, что Лиза отломит половинку, но Лиза не поняла и взяла весь. Взяв, застыдилась:

— А у вас, честное слово, на завтра еще есть?

— Говорю же вам, вот какая! — рассердился он и отвернулся, стараясь не слышать, как она снова медленно, с наслаждением двигает челюстями. Теперь его мутила злость — расчувствовался, а завтра работай голодным. Идиот!

— Боже мой,— вдруг сказала Лиза,— боже мой!..

— Чего вы? — хмуро спросил он.

— До чего мы все дошли... — прошептала она. — Жалкие стали...

Злость его мгновенно прошла. Ему стало жаль девушку,— в темноте не видно, но она, наверное, покраснела от стыда. Конечно, она не ошиблась, а сознательно взяла вместо половинки весь хлеб.

— Ну, что теперь каяться,— буркнул он. — Насытились хоть немного?

— А я не знаю, можно когда-нибудь насытиться или нет,— все тем же вялым тоном ответила Лиза. — Кажется, все ела бы и ела. А зачем — неизвестно.

— Да что вы в таком упадочном настроении? — возмутился Алексей. — Днем гляжу на вас — молодец, за себя постоит. И девушка как девушка, даже локончики завиты, верно? А послушать вас — будто панихиду служите.

После паузы Лиза строго сказала:

— Вы лучше то поймите, что меня на заводе уже четыре года с локонами видят. Привыкли. Я других заставляю — мойтесь, брейтесь... Если они меня увидят нечесаной — нехорошо. Вот и все насчет локончиков.

Так как он не отвечал, она резко спросила:

— Понятно?

— Ага,— добродушно ответил он. — Только я ведь всей душой за локончики и прочее. Я к тому говорю, что все пройдет. Поправитесь... повеселеете... дружка заведете... или уже есть?

Она перестала дышать, потом отрезала:

— Был, да убили. — Приподнялась, уронив на пол пальто, с иступлением выкрикнула: — А вам так просто кажется рассуждать!

Он поднял пальто, помог ей снова закутаться, подбросил в топку две щепки и подул, чтобы они разгорелись.

— Где-нибудь поблизости есть еще щепки или дрова какие-нибудь?

— Поищите,— коротко ответила Лиза.

Он долго бродил по холодному цеху, обшаривая все углы лучом ручного фонарика. Фонарик уныло жужжал. «Неладно вышло... И правда, со стороны легко рассуждать. А еще подумал, что она нарочно взяла весь хлеб! Ей, может быть, и не до того было, чтобы глядеть...»

Разыскав грязную обледенелую доску, он расколол ее и притащил дрова к печке. Пламя разгоралось медленно, неохотно, лед таял и шипел.

— Была на фронте девушка,— тихо заговорил он, не глядя на белеющее в темноте лицо Лизы. — Собственно говоря, не на фронте, а на заводе, где стал фронт. Она с отцом была в рабочем отряде. Они здорово дрались и сами отбили первые атаки немцев, мы уже потом подошли. Ее звали Шура...

Он умолк. Слезы вдруг обожгли глаза, и стало трудно дышать.

— Да? — подождав, сказала Лиза.

— Она стреляла из винтовки и нескольких немцев убила. А призналась мне, что война ей противна... Очень мне понравилось тогда, что не хвастается, не притворяется...

Так как он умолк, она чуть слышно поторошила:

— Ну?

— Тоже убили.

Лиза уткнула лицо в ладони, ничего больше не спрашивала. Прошло очень много времени, прежде чем он окликнул ее, но Лиза не отозвалась. Должно быть, ее сморили усталость и тепло разгоревшейся печурки. Тогда Алексей раскинул кожанку на столе и лег. «Надо подкинуть еще дров, чтобы ей было теплее», — подумал он, но это была его последняя мысль.

Мороз, просачиваясь в щели, быстро выстуживал комнату и ползком подбирался к спящим.

Когда Алексей проснулся, Лизы уже не было. В сером утреннем свете все предметы казались тронутыми теплом. Из цеха доносились постукивания молотков и шипение автогена.

Окоченевший и голодный, Алексей поспешил к своему танку. Он искал глазами Лизу, но ее не было, вместо нее работал худенький парнишка, которого все в цехе звали Сашком.

— А молодец Лиза, — сказал Сашок другой девушке. — Настояла на своем!

Значит, Лиза вернулась на станок в цех Солодухина. Алексей одобрил ее настойчивость, но испытал легкий укол досады, что она ушла с его танка.

14

Стоял тридцатиградусный мороз. Яркое февральское солнце клонилось к закату в венчике золотого тумана. Сверкающий снег сухо скрипел под ногами двух женщин, медленно пробравшихся по тропинке через занесенный сугробами больничный двор.

Человек неопределенного возраста, с отекившим лицом, шел им навстречу, бормоча себе под нос:

— Я больной, они обязаны положить меня... Я больной... я больной...

Девочка в огромных валенках прошла к моргу, волоча по снегу лист фанеры, с привязанным к нему, зашитым в простыню трупом.

У крыльца родильного отделения женщина колола дрова. Взмахнет топором, топор тихо стукнется о полено, а женщина, распрямившись, задумается, глядя поверх всего, куда-то в пустоту. Потом снова взмахнет топором, и снова топор тихо стучается о полено, не причиняя ему вреда, а женщина распрямляется и задумывается, глядя в пустоту...

— Там все-таки, очевидно, топят, — подбадривающим голосом сказала Зинаида Львовна.

— Это здесь? — беспомощно спросила Вера Подгорная и остановилась возле женщины с топором. То резкие, то тягучие боли почти не отпускали ее.

— Рожать пришли? — укоризненно вздохнула женщина и сердито взглянула сперва на роженицу, а потом на ее спутницу. — Преждевременные?

— Нет. Почему же! — сказала Вера. — Нормальные.

— А простыни принесли?

— Нет.

— Тогда принесите. Мы со своим бельем принимаем. — Она увидела истомленное болью лицо Веры и уже мягче добавила: — Пойдите в приемную, полежите пока. Может, ваша родственница принесет?

Зинаида Львовна охнула и вся съежилась. В своем изящном мантии и пестром капоре она была похожа на озябшую южную птицу, грубо кинутую на мороз, в снега севера. Капризные губы ее задрожали, ей очень не хотелось идти домой и снова сюда, да еще с ношей.

— Конечно, принесу, — чуть не плача, пробормотала она и пошла обратно по тропинке, засунув руки в широкие холодные рукава.

Когда в сумерках она прибрела в больницу, ей уже не удалось повидать Подгорную.

— Давайте скорее, — сказала вышедшая к ней навстречу сестра в нечистом халате, натянутом поверх шубы и платков. — Сейчас родит.

— Я подожду, — сказала Зинаида Львовна, так как у нее не было сил на обратный путь.

Сестра ушла. Сквозь стеклянную дверь виден был длинный коридор, скудно освещенный свечой. Слышался слабый детский писк, глухие голоса, чей-то долгий стон.

Кто-то прошел по коридору, от закачавшегося пламени свечи по стенам заматались тени.

— Кто здесь Подгорную ждет? — спросил хриплым мужской голос.

Зинаида Львовна очнулась от сна, встрепенулась:

— Я.

— Девочка, — сказал тот же голос. — Роженица чувствует себя сносно. А ребенок... ребенок, возможно, выживет, — с некоторым удивлением добавил голос. — Можете вы приносить хоть немного пищи для роженицы?

Зинаида Львовна замялась. Она не могла объяснить чужому человеку, что роженица не сестра, не родственница, что мужу только что дали академический паек, но мужа надо кормить и кормить, так он истощен... Да и что же теперь делать, если Подгорная родила живую девочку и девочку нужно кормить, а у Подгорной погиб муж и нет ни одной родной души!

— Конечно, я завтра принесу чего-нибудь, — сказала Зинаида Львовна. — Вы ей скажите, что я принесу. И приду за нею. Пусть не волнуется.

Вера Подгорная лежала в пустой, холодной палате и смотрела на скользящие по дверному стеклу блики тусклого света. После страшной боли и долгих усилий она совсем перестала чувствовать свое тело, и в ее то угасающем, то вспыхивающем сознании проносились мысли и образы, далекие от убогой и жуткой обстановки, в которой она находилась. Ей виделся Юрий, живой и взволнованный, наклоняющийся над нею с нежным вопросом: «Устала?» Благодарность и любовь светились в его больших, печальных, неожиданно исчезающих во мраке глазах. Она тянулась за ними во мрак и говорила: «Посмотри же... дочка... Ты хотел дочку, помнишь?» Потом ей вспоминался пойманный ею ракетчик, страшная схватка с ним возле дубовой вешалки и безумное желание задушить его своими руками... И она, снова переживая тот гнев и ту злобную радость, усмехалась навстречу ненавистному лицу и шептала: «Ну, что? А я все-таки родила. И ничего ты мне не сделал...» И вдруг страх за жизнь рожденного ею ребенка возвращал ее к убогой и жуткой обстановке блокадной больницы, ей хотелось немедленно убедиться в том, что ребенок жив, не замерз, не забыт в темноте, и она звала слабым, еле слышным голосом:

— Сестрица... нянечка... сестрица...

.....

В этот вечер на территории завода и вокруг него в течение часа рвались снаряды. Но из цеха никто не ушел. И, пожалуй, никто в этот вечер не боялся за себя. Танки! Только что отремонтированные, с опробованными моторами, возвращенные к жизни танки! — о них тревожились люди, прислушиваясь к унылому свисту и гулким разрывам снарядов. «Только бы не сюда!» — думали люди, радуясь каждый раз, когда снаряд разрывался за пределами цеха. И если бы им сказали, что снаряд попал в их жилище, все равно каждый в эту минуту сказал бы: «Хорошо, что не сюда», — потому что не было для них сейчас ничего драгоценней этих громадных машин, готовых к бою.

А когда раздались ревущие голоса наших батарей, от которых содрогались стены и певуче звенел металл, в цехе начался митинг, короткий и необыкновенный. Никто не произносил речей, а все по очереди — танкисты, рабочие, инженеры — выходили вперед и говорили друг другу то, чем полна душа: слова благодарности, и гордости, и крепкой дружбы, и напутствия, и пожеланий.

И всем казалось естественным, что немцы смолкли, а в небе гудят свои, родимые истребители, охраняющие труд и сон ленинградцев. Ворота цеха распахнулись в ночную тьму, зарокотали двенадцать мощных моторов, первый из двенадцати танков задрожал всем корпусом, сдвинулся с места и пошел, грузно переваливаясь, к воротам.

На его броне рядом с Григорием Кораблевым, сияя всем своим худеньким, но уже поздоровевшим лицом, сидел Сашок. Подаренный танкистами шлем наезжал ему на глаза, планшет и солдатская фляга болтались у него на боку. Он не страшился того, что ему придется мерзнуть на ветру весь долгий путь от завода к той загородной местности, где будут происходить испытания машины. Его не смущало то, что его имени нет в списке заводских работников, отправляющихся на сдаточные испытания, и что, следовательно, кормить его там не обязаны. И в этой машине, и во всех других находились его друзья, он знал, что нигде с ними не пропадет. А это была такая честь и такая ни с чем не сравнимая радость — прокатиться на танке через весь город и участвовать в сдаточных испытаниях рядом с настоящими заводскими мастерами!

Григорий Кораблев обнял его за плечи и крикнул, пересиливая грохот гусениц и шум мотора:

— Ну что, парень, дожили до светлого дня?

И хотя глухая тьма встретила их за воротами и ни одно из бедствий блокады еще не осталось позади, Сашок кивнул и важно ответил:

— Факт, дожили!

Солодухин и Курбатов стояли рядом, провожая глазами каждый танк. Сами не замечая этого, они обнялись и поддерживали друг друга, — кто кого, трудно было бы определить, так как у обоих подгибались ноги.

Лиза подбежала к самым воротам и остановилась там, прижав к груди выпачканные машинным маслом руки. Она только что сказала Любе своим невозмутимым голосом: «Вот проводим и завалимся спать на целые сутки», — но, вопреки этим словам, ни желания спать, ни даже усталости она не ощущала. Такую же легкость и приподнятость она испытывала порой при выполнении самых трудных и мучительных поручений бытового отряда. Но испытываемое ею сегодня чувство было лишено всякой примеси страдания и самоотрешения, это было прежде певедомое ей счастье достижения цели.

Из люка проходившего мимо танка перегнулся к ней танкист Смолин.

— До свиданья, девушка! — крикнул он. — Готовьте!.. Для Берлина!

Она подбежала и, шагая рядом с грохочущим танком, выкрикнула:

— Обязательно! Первый бой в мою честь! Помните?

Прежде чем Смолин исчез в черной пасти ворот, она успела увидеть его ответную улыбку.

Пегов сидел в кресле в большом кабинете, казавшемся очень уютным оттого, что горела только настольная лампа. Деловой разговор, ради которого он пришел сюда, был уже закончен, но Пегову не хотелось уходить. И его собеседнику, видимо, тоже не хотелось отпускать его, — это была короткая передышка между делами. Пегов неторопливо, вразброд рассказывал разнородные впечатления последних дней, и его собеседник не прерывал его и только иногда делал короткую запись в блокноте, — может быть, записывая самый факт, рассказанный Пеговым, может быть, мысль, попутно пришедшую в голову.

Только одно, самое страшное впечатление старательно обходил Пегов: ни слова не сказал он о сыне, о молчаливом отчаянии жены, о ее бессонном и бессменном дежур-

стве возле забинтованного до глаз мальчика, который не откликнулся на зов, не узнавал, не жаловался и просил только одного: пить...

Но собеседник Пегова вдруг внимательно посмотрел ему в глаза и быстро спросил:

— Сегодня вы навещали сына?

Пегов пробормотал удивленно:

— Нет еще... Там жена...

— Вы не отчаивайтесь,— сказал член Военного совета. — Я подробно расспрашивал главного хирурга. Положение серьезно, но малчик поднимется. Электролечение и лечебная физкультура могут восстановить подвижность мускулов. Следы ожогов на лице останутся, но постепенно их можно смягчить. Сейчас хорошо делают пластические операции... — Помолчав, он спросил: — Как вы смотрите на то, чтобы отправить его в тыл вместе с матерью? Там можно обеспечить хорошую клинику и все прочее.

Пегов вскочил, прошелся по кабинету. Слезы душили его. Спустя несколько минут он справился с собой и сумел ответить:

— Конечно, если можно. Я вам очень благодарен.

— А скрывали зря. Что же вы меня в такое положение ставите, что я должен сам разузнавать, расспрашивать, выпытывать? — шутливо проворчал член Военного совета. Он порылся в бумагах, протянул один листок Пегову. — Прочитайте и скажите свое мнение.

Пегов внутренне подтянулся, сел, начал внимательно читать проект постановления. И хотя вопрос об уборке и очистке города был для него не нов и он ждал подобного решения, проект испугал его и сроками, и размахом работ. Он представил себе рабочих и служащих своего района, голодных, измученных, работающих на пределе сил, и домохозяек, школьников, пенсионеров, всех тех, кто получает иждивенческие карточки и является бедствующим населением промерзших, слепых домов, где дворы обросли горами мусора, нечистот, грязного льда, где лестницы обледенели, где целые квартиры вымерли, а в немногих жилых комнатах среди копоты и мрака теплится скудная, невеселая жизнь... Какая сила поднимет всех этих людей и заставит их выйти на мороз с лопатами и ломом для многодневного непосильного труда?

Он сам знал имя этой силы. Он приводил ее в действие и управлял ею. Но сейчас он усомнился в том, что новое

напряжение усилий возможно, в себе самом усомнился: подниму ли? Сумею ли осилить?

— Не знаю,— сказал он утомленно. — Люди истощены. Трудно им вытянуть такое дело...

Сказав это, он вопросительно посмотрел на своего собеседника. В глубине души он знал ответ. Но кому еще смел он высказать свое мнение, перед кем еще он мог себе позволить хотя бы минутную слабость!

Член Военного совета откинулся на спинку кресла, укрыв лицо в тени. Десятки партийных, военных, советских, производственных работников приходили к нему ежедневно с самыми острыми вопросами, с самыми тайными сомнениями. Уверенные, бодрые, спокойные перед тысячами людей, с которыми они соприкасались, которыми руководили, перед ними они имели право раскрыть свои тайные опасения, свою загнанную внутрь тревогу. Они приходили к нему за помощью, за укрепляющим душу словом, за исчерпывающим советом, а порой и за приказанием, которое перекладывало всю ответственность на его плечи, на его совесть, на его сердце. Время было крутое, борьба шла насмерть; для того чтобы победить, приходилось применять и страстное убеждение, и жестокое принуждение. Что ж, он готов был отвечать за все и принять на себя всю тяжесть. Ему некому было сказать: устал. Не перед кем усомниться: вытянем ли?

Он помолчал, разглядывая постаревшее, усталое лицо Пегова, затем жестко сказал:

— А вы знаете другую возможность?

— Нет,— ответил Пегов. Ему хотелось сказать: «Силы армии, флота, ПВО», но они тоже были перечислены в проекте, и они не могли справиться со всей задачей целиком.

— Потепление ожидается через две-три недели. Как вы думаете, ради этих же истощенных голодом людей, которых вы жалеете, имеем мы право пустить в город заразу? Вы себе представляете, как эпидемия, набросившись на изнуренные организмы, начнет косить людей?

— Да нет, я же... Я только сказал...

— Как же ты так рассуждаешь — не вытянуть! — сердито бросил член Военного совета и ребром ладони стукнул по столу. — Надо вытянуть — значит, вытянем. Для нас это сегодня самый главный фронт.

Пегов хотел сказать, что принимает эти слова как приказ, но в дверь заглянул адъютант:

— Москва.

Член Военного совета взял телефонную трубку и подтянул к себе заранее заготовленный листок.

— Здравствуйте... Хорошо... Да, да,— сказал он и стал без пояснений называть цифры, почти не сверяясь с записью на листке.

Пегов догадался, что это цифры грузооборота на ладожской трассе за последние трое суток. Цифры показывали рост, член Военного совета называл их с удовольствием и гордостью.

— Учитываем,— выслушав собеседника, сказал он, и лицо его стало озабоченным. — Потепление ожидается недели через две-три... Нет, лед выдержит дольше. Создаем...

Пегов понял, что речь идет о таянии льда на Ладогe и о запасах продовольствия, которые необходимо создать на то время, когда ледовая дорога выбудет из строя, а перевозки на баржах еще не начнутся. Кто из ленинградцев не задумывался со страхом, удастся ли обеспечить город и фронт на время весны?..

— Решение уже подготовлено,— сказал член Военного совета и вдруг лукаво усмехнулся, косясь на Пегова. — Вот мы сейчас об этом и толковали с товарищем Пеговым...

Пегов понял, что речь идет об уборке города, у него екнуло сердце при мысли, что член Военного совета расскажет о его сомнениях, но тот продолжал невозмутимо:

— Мобилизуем все население от мала до велика. Да, срок небольшой, но раз надо вытянуть,— значит, вытянем... Пегов? — Член Военного совета с усмешкой покосился на Пегова и твердо сказал: — Пегов тоже уверен, что справимся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВЕСНА

1

Однажды утром Мария осторожно спустилась по сумрачной лестнице своего дома, вышла на улицу, оглянулась — и замерла.

Еще ничего как будто бы не произошло, — все так же громоздились посеревшие от копоты сугробы, мертвенная тишина висела над пустынной улицей, медленно, через силу, брели одиночные пешеходы, — но все казалось иным в щедрых и теплых лучах солнца. Мария закинула голову — и словно ласковые теплые ладони коснулись ее лица. Она зажмурилась и сказала себе с радостным удивлением: «Дожили! Весна».

Да, это была весна. Зрением, слухом, обонянием отмечала Мария ее первые несмелые, но явственные приметы. Сугробы отяжелели и осели, — пока еле заметно, но уже осели. Деревья сбросили снежные шапки и вытянули к солнцу мокрые, блестящие, кое-где перебитые снарядами ветви. На крышах, пригретый солнцем, подтаивал снег, и тяжелые капли срывались и падали, глухо ударяясь о снежный наст. Первая, робкая весенняя капель! «Кап!..» Потом, после передышки: «Кап-кап!» и снова, как бы в задумчивости: «Кап... кап... кап...» Тишина, медленное набухание искрящейся крупной капли и снова глухое «Кап!» — вдруг где-то рядом победной скороговоркой: «Кап! Кап! Кап!..»

А воздух напоен такой влажной свежестью и неопределенными пьянящими запахами, что раздуваются ноздри, дышится жадно и глубоко, на лицах бродят улыбки.

Еще вялы и слабы мускулы, опухшие ноги плохо слушаются, плечи зябко ежатся под тяжестью многих зимних одежек, но уже хочется распрямиться, шагать быстрее, говорить громче и даже смеяться, так властно ощущение возрождающейся, торжествующей жизни.

Проходя мимо Дома радио, Мария скользнула взглядом по знакомому циферблату уличных часов — много недель они отмечали четверть четвертого. Ей показалось,

что часы весело мигнули ей. В репродукторе что-то щелкнуло, и низкий женский голос сказал:

— Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. Сейчас девять часов тридцать одна минута. Начинаем литературную передачу...

В лад словам минутная стрелка дрогнула и передвинулась на одно деление, отметив тридцать одну минуту десятого. Часы ожили.

— Да, это весна! — повторила Мария и прибавила шагу.

Пересекая проспект, она с интересом поглядела на другие уличные часы — не произошли ли и с ними чудесные превращения. Но для чуда не было электрической энергии, питавшей их движение. А в Дом радио дали свет в первую очередь, наравне с цехами, производящими снаряды...

И сейчас живой человеческий голос звучал над улицами как верный спутник, и Мария с удивлением вспомнила: «А раньше я не любила радио! Выключала его, как только приходила домой! Что бы мы делали теперь, в блокаде, без радио? Верный, неусыпный друг!»

Радио вело Марию от перекрестка до перекрестка, то затихая, то приближаясь. Оно говорило на каждом углу для всех и о том, что было важно людям сегодня, сейчас. Женский, чуть задыхающийся, мечтательный и убежденный голос читал стихи:

Настанет день — и, радуясь, спеша,
Еще печальных не убрав развалин,
Мы будем так наш город украшать,
Как люди никогда не украшали.

То, что должна была делать Мария сегодня, не было похоже на украшение израненного города, но она восприняла слова поэта как напоминание о своих заботах и опасениях, не поверила опасениям и сказала себе: соберутся, сделаем.

Три дня назад ее вызвали в райком. Пегов вручил ей кандидатскую карточку и поздравил ее. Она была взволнована и не нашла подходящего ответа. Пегов усадил ее в кресло, сел напротив:

— Как вы себя чувствуете теперь?

— Хорошо, — быстро ответила Мария. И так как Пегов выглядел постаревшим и очень усталым, озабоченно спросила: — А вы?

Он улыбнулся — должно быть, не привык, чтобы его об этом спрашивали:

— Так вот, дорогой товарищ,— сказал он, не ответив на вопрос,— получайте первое и очень важное партийное поручение. Вы представляете себе границы вашего квартала?

Дальнейший разговор был будничным — о дворах и лестницах, о лопатах и ящиках для вывозки снега, о числе жильцов в домах квартала и о том, как добиться их выхода на работы.

— Я уверен, что вы справитесь,— сказал Пегов напоследок.

И вот Мария торопилась к началу работ после трехдневной напряженной подготовки. В четырех незнакомых домах, с четырьмя незнакомыми женщинами, управлявшими домами, она тщательно проверяла списки жильцов, подлежащих мобилизации на работы. Сотни грустных повестей вставали перед нею. Жены, потерявшие мужей; матери, разлученные с детьми, увезенными за Урал; старухи, проводившие на войну всех сыновей; подростки, познавшие сиротство в обстановке тягчайших лишений; женщины, судорожно борющиеся за жизнь близких... Управдомы угрюмо перелистывали списки, ставили птички и кружочки, дополняя их короткими замечаниями: «Не сможет. Не вытацишь. А уж эта плоха — где ей!» Мария выписывала фамилии тех, кто вызывал сомнения, и шла с лестницы на лестницу, из квартиры в квартиру. Грустные повести оживали. Все было так, как рисовало воображение, и в то же время совсем иначе.

Мало кто спорил с Марией, мало кто отказывался. Угроза была осознана давно — когда в лютые морозы, в темноте опораживали ведра где придется, когда выбрасывали мусор прямо на лестницы, не имея сил спускаться по бесконечным ступеням. Тогда уже знали: придет весна — страшные эпидемии могут вспыхнуть среди изголодавшихся людей. Но казалось — еще не скоро! Дожить бы! А там все приберем, все очистим... И вот весна надвигалась, новая опасность встала перед людьми, — опасность страшнее бомб и снарядов. И опять — в который раз! — все зависело от самих ленинградцев.

— Что ж делать, нужно! — говорили Марии те люди, про которых управдом заявлял: «не сможет». — Работник из меня плохой, но потихоньку постараюсь...

Случалось, Мария входила в темное жилище, всматривалась в изможденное лицо человека, который напоминал мертвеца, робко заговаривала с ним о работе, готовая отступить, сказать: «Не надо, вы уж не ходите...» — и вдруг во взгляде этого человека, в слове, в улыбке блеснет такая мужественная гордость, что слова снисхождения и жалости кажутся неуместными, постыдными, и вместо них само собой произносится:

— Значит, в десять. Там увидимся. До свиданья, товарищ!

Попадались и такие, что всячески изворачивались, стараясь отсидеться, пережить беду за спинами других. Они тоже голодали, но к ним у Марии не было жалости.

Одна, еще молодая, женщина встретила ее злыми упреками и уверениями, что работать не в силах. По обстановке, по запаху еды, царившему в комнате, по лицу самой хозяйки Мария видела, что в этой квартире зимовали не так страшно, как в большинстве других. Сдерживая раздражение, Мария попробовала убеждать.

— Да что вы меня уговариваете! — со злостью воскликнула женщина. — Небось приказ военного времени! Хочешь не хочешь, больна не больна, а иди!

— Нет, зачем же; если вы больны, — сказала Мария, — сходите к врачу, возьмите бюллетень. А потом, если тифом или холерой заболеете, опять бюллетень. Так до смерти и прокантителитесь бездельницей. Авось другие за вас сработают!

— Мне ничего не нужно! — крикнула женщина.

— Врете! — с ненавистью сказала Мария. — Врете, все вам нужно, больше всех нужно, на даровщинку выжить хотите, чужими руками спасаетесь. Только не выйдет!

— С милицией потащите помойки чистить?

— С милицией потащу, — усмехнувшись, согласилась Мария. — По закону военного времени.

В одну из квартир Мария долго стучалась. Наконец ей открыла дверь старуха в грязном, засаленном, запыленном тряпье, с нечесаными вихрами черных волос, свисавших на лицо из-под платка. «Как ведьма», — подумала Мария, неохотно переступая порог. Квартира напоминала о былом достатке, но все в ней было захламлено, запущено, загажено. Тяжелый запах вызвал у Марии головокружение.

Узнав о цели прихода неожиданной гостии, старуха стала стонать и жаловаться на болезнь.

— Грязи у вас больше, чем болезни, — резко сказала Мария. — Опустились вы, человеческий облик потеряли. Сегодня же уберите квартиру, вымойте все и сожгите мусор, иначе оштрафую и отдам под суд.

А рядом с этой старухой, на той же площадке, жила вдова с тремя ребятами. По пустоте квартиры было заметно, что многое из нее продано или сожжено, сама женщина была худа и явно больна, но аккуратность и заботливость сказывались во всем: и в одежде худеньких ребятешек, и в чистоте постелей, и даже в том, как были сложены у печки части расколотого на дрова стола.

Этой женщине Мария сама предложила освобождение от работ.

— Нет, — сказала женщина, — не надо. Сколько смогу, поработаю. Ребятишки со мной пойдут. Гулять с ними сил нету, а так, заодно, и они погрееются на солнышке.

После трех дней подготовки Мария верила, что большинство жильцов ее квартала выйдет на работу. Но как они будут работать? Много ли они наработают? Объем задания и сроки пугали.

Мария шла по улицам, и первые признаки оживления привлекали ее внимание. Вот тащится процессия. Люди по трое впряжены в лямки саней, а на санях — лопаты. Вот у разбитого снарядом подъезда собралась небольшая толпа, девушка в стеганых штанах звонко выкликает фамилии по списку, и тихие голоса отзываются: «Здесь!», «Здесь!», «Здесь!». А над солнечной улицей, над серыми оседающими сугробами, над впряженными в санки людьми звучит из репродуктора женский, чуть задыхающийся, согретый любовью голос:

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещенные блокадой.
Нас вместе называют — Ленинград,
И шар земной гордится Ленинградом.
Двойною жизнью мы сейчас живем,
В кольце, во мраке, в голоде, в печали
Мы дышим завтрашним, счастливым, щедрым днем.
Мы сами этот день завоевали.

Мария вошла в парадную своего объекта. Здесь уже собирались жильцы общежития, плотно закутанные, в ва-

ленках и рукавицах, не верящие теплу, но возбужденные предстоящей совместной работой. Тетя Настя выдавала им лопаты.

В дверях библиотеки стояла Зоя Плетнева. Даже в толстом ватном костюме она казалась очень тоненькой — маленький темный силуэт на фоне залитой солнцем комнаты. Солнечный луч лежал на ее плече и пронизывал легкие волосы.

— Вы слышали стихи? — спросила Зоя. — Про нас!

— Кипятильник затопила, — донесся из библиотеки голос Григорьевой. — Кто замерзнет, посылай кипяток пить. Без отказа будет.

Всю зиму Зоя не закрывала библиотеку, только перемещалась из большого читального зала в маленькую комнату, где установили кипятильник. В этой теплой клетушке Зоя принимала прочитанные книги и собирала заявки, а потом отправлялась с фонарем в холодное книгохранилище, радуясь, что люди продолжают читать. У нее всегда собирались по вечерам читатели, а те, кто приходил только погреться и попить кипятку, постепенно становились читателями.

— Кроме двух старух, все выйдут, — сообщила Зоя. — Одна из старух тоже обещала выйти, Васильевна.

— Пусть лучше за ребятами присмотрит, — сказала Мария.

— Ребятишки сами собираются на улицу. Ведь солнышко!

Зоя оглянулась на свою залитую солнцем комнату, в ярком луче ее волосы вспыхнули золотыми искрами.

— Греет... — прошептала она.

— Весна, Зоенька! Весна...

— Решили дожить — и дожили, — сказала Григорьева.

Пять минут спустя, расставив людей, Мария взяла лопату и подошла к наросшей до окон первого этажа куче смерзшегося, обледенелого мусора. Вонзила острие лопаты в кучу. Дернула. Маленький кусочек отвалился от кучи. Передохнув, Мария повторила движение. Еще кусок отвалился. Она в третий раз навалилась на лопату, удивляясь ее тяжести, вздохнула и оглянулась.

Вдоль всей улицы, сколько видит глаз, — люди. Неподалеку от Марии тетя Настя ломом упорно долбит лед. Рядом с нею — Тимошкина, с бескровным почерневшим лицом, медленно втыкает лопату в сугроб и с уси-

лием бросает слежавшийся твердый снег в ящик, укрепленный на санках. А с другой стороны санок работает Зоя, спустив на плечи платок, при каждом взмахе лопаты в ее взлетающих волосах вспыхивают искры. Голосов не слышно, работа поглощает все силы.

Но то тут, то там кто-либо поднимет лицо к солнцу и блаженно зажмурится, и все окружающие на миг отрвутся от работы, чтобы еще раз почувствовать: да, пришла весна! И вдруг — короткий, звучный смех. Это Верочка Смирнова выронила лопату. Она тоже без шапки, по-весеннему, туго заплетенные косички вздрагивают при каждом ее движении, тонкие ножки кажутся непрочными — вот-вот переломятся. Но ее движения уверенны, четки.

А дальше, у соседнего дома, Мария видит и вчерашнюю ворчунью, не желавшую работать, и старуху, похожую на ведьму, — обе ковыряются в снегу, пусть неохотно, но и они что-то сделают. А вон и вдова с тремя ребятишками. Сидя на ступеньке крыльца (должно быть, не держат ноги), она топориком скалывает со ступенек лед. А ребятишки, подражая взрослым, возятся с игрушечными лопатками и тачками, на их бледненьких личиках сияет радость.

«Нас вместе называют — Ленинград», — вспомнила Мария и снова вонзила острие лопаты в неподатливую кучу.

2

Григорьева уже собиралась ложиться спать, когда за дверьми раздались необычно громкие шаги и возбужденный голос Верочки Смирновой:

— Сюда, сюда! Вот хорошо-то! Вот радость-то! В эту дверь стучите, она дома!

Григорьева поднялась, мертвея в ожидании невероятной, невозможной радости.

Красноармеец в овчинном полушубке рывком распахнул дверь, взгляделся в полумрак и звонким, сорвавшимся голосом сказал:

— Это я... мама!..

Григорьева шагнула вперед, глотнула воздух, шепотом крикнула:

— Миша!..

Сильными руками он подхватил ее прикипшее к нему крупное, вздрагивающее от рыданий тело, пробормотал растроганно и смущенно:

— Ну что ты... мама... ну что ты...

Она откинулась, повернула его к свету, упиваясь видом возмужалого, обветренного и все-таки прежнего, мальчишеского лица, ненасытными руками погладила его щеки, волосы, его широкие плечи.

— Живой! — только и сказала она, прежде чем оторвалась от него, чтобы позаботиться о том, о чем заботятся все матери мира, встречая сыновей.

Побаловать его Григорьевой было нечем, она только раздула угольки и развела огонь, подвинула на жаркое место чайник. Но сын уже скинул вещевой мешок с плеча, вытащил из него хлеб, шпик и сахар, поднес матери:

— Кушай, ленинградка.

Он дал усадить себя в единственное кресло и взрослым баском отвечал на сбивчивые расспросы:

— Прибыл к вам с новой техникой. На Ленинградский фронт. Куда пошлют, не знаю. А техника эта, мама, такая, что немцы от нее сами не свои делаются. Как мы дадим свой залп, все небо будто в огненных стрелах...

Мать смотрела на него с гордостью и почтительно спрашивала, невольно переходя на «вы»:

— Как же это вас чести такой удостоили? Из пехоты да на такую технику?

Сын придвинулся к огню, новенький орден Красного Знамени блеснул на его гимнастерке.

— Просил командование. За боевое отличие уважили.

— Где же ты так отличился, Мишенька? Ведь это очень большая награда, сынок?

— Под Тихвином... — Он уже не хвастал и не радовался, а весь съезжился. Испуганно глядя на мать, тихо добавил: — А Ваня наш... погиб, мама.

Григорьева выронила сковородник. Наклонилась, подняла его, подбросила на сковороду шипящие ломти сала и начала укладывать на сковороду мелко нарезанный хлеб.

— Под Тихвином? — после молчания спросила она.

— В самом Тихвине. Уже мы взяли его, последние остатки выбивали. В грудь навывлет.

Она стояла спиной к сыну, он видел только ее размеренные движения и напряженно вытянутую шею под узлом седеющих волос. Пока жарился хлеб, она молчала.

не забывая переворачивать ломти. Потом она подала сковороду на стол, сын увидел ее посуровевшее лицо и остановившийся, будто в себя обращенный взгляд потемневших бесслезных глаз.

— Ешь, Мишенька. Небось проголодался с дороги. Он исподлобья поглядывал на нее, не доверяя ее спокойствию. Она заметила это и повторила:

— Ешь...

И такой она вдруг показалась ему большой и сильной, что он, запинаясь, пробормотал:

— Если вы будете... вместе с вами. Вы тут хуже фронтовиков натерпелись всего...

И снова мать ответила так, что он не узнал ее:

— Так ведь нас все равно не скоро насытишь. А тебе воевать. Ты надолго?

— До утра, мама.

— До утра!.. — чуть слышно ахнула она.

Оцепенение горя прошло. Сын, третий и теперь единственный, через несколько часов опять уйдет туда, откуда не вернулись двое старших. Глядя на него преданными, любящими глазами, забыв обо всем, кроме вот этого кровного меньшенького, последнего, она подкладывала ему самые сочные ломтики сала и хлеба, подливала в чашку чаю, щедро накладывая сахар, и расспрашивала робко и жадно, как же он там воевал, как отличился, трудно ли ему было, холодно ли, страшно ли...

Увидев, что у него глаза слипаются, она поспешно постелила ему свою постель, а сама устроилась на диванчике Марии Смолиной. Долго не тушила свет, разглядывая лицо спящего сына, слушая его тихое, как у ребенка, дыхание. Коптилка начала чадить, пришлось задуть ее. И тогда в ярком, пронзительном свете памяти возник тот, другой, еще не оплаканный... Первенец, выпрастывающий из пеленок розовые толстые ножки... Его раздумянившееся курносое личико и жадный ротик, хватающий сосок... Первенец, делающий свои первые самостоятельные шаги от колен отца к коленям матери!.. И он же в последнюю встречу на вокзале, в суতোлке перед отправкой эшелона — сутулый, обросший бородой, пронахший потом и табаком, морщинистый, посеревший, почти старый... Его голос: «Прощайте, мама, теперь когда свидимся — неизвестно...»

Отчаянный стон рвался из ее груди, она задерживала дыхание, чтобы не дать ему вырваться наружу,

стиснув зубы смотрела в ночную тьму — и снова в прозительном свете возникал перед нею сын, бегущий с винтовкой по снежным сугробам... И злое, ненавистное лицо врага, нацеливающего свой автомат...

Утром, открыв глаза, Миша увидел мать, хлопочущую у печки. Щеки ее запали, губы горько опустились. Потухший взгляд, не видя, смотрел перед собой. Но стоило Мише пошевелиться, как взгляд ожил, губы улыбнулись.

— Вставай, сынок, я тебе лепешек напекла.

Когда он стоял у двери, готовый уйти, она вскинула руки в стремительном удерживающем движении, но не завершила движения, а только коснулась его плеч и прошептала:

— Ты пиши... почаще...

Он ответил ей наивной солдатской ложью:

— У нас не опасно. Ты не беспокойся.

Она сказала, чуть усмехнувшись:

— Я и не беспокоюсь. Ты только... пиши.

Весь этот день она работала как обычно, а вечером пришла к Марии и сказала со страстной мольбой:

— Не могу больше, Маша. Отпусти.

Мария взглянула в ее лицо и торопливо ответила:

— Хорошо. Конечно.

После того как Мария по заданию Пегова завербовала нескольких женщин на танковый завод, Григорьева время от времени возобновляла свою просьбу отпустить ее на производство. Григорьеву тяготила возня на кухне, ей хотелось работать непосредственно для фронта, так, чтобы ежедневно видеть результат своего труда. Сегодня она ухватилась за эту возможность как за возможность устоять на ногах и переспорить неумную боль сердца.

Но два дня спустя, отправляясь на завод, она почувствовала себя старой и немощной, очень усталой и неспособной привыкать к новым людям, учиться новому делу. «Мне бы бабушкой быть, — подумала она с горечью. — Ну, куда я! Куда?! В ученицы на пятидесятом году...»

Она издали увидела широко раскинувшийся завод, и сердце ее сжалось. Как после землетрясения или гигантского урагана, стоял он весь в трещинах и дырах, с обвалившимися во многих местах стенами, с сорванными крышами. Бурные и зеленые полосы маскировочной окраски, намалеванные на фасадах окна и балкончики придавали зданию диковинный вид. И, словно довершая

общую картину бедствия, воющий свист снаряда возник в воздухе и завершился гулким взрывом. Эхо взрыва еще не отзвучало между заводскими корпусами, когда возник новый свист...

Григорьева шла навстречу обстрелу, равнодушная, гордая в своем презрении. Осколок или камень взвизгнул возле ее уха. На какой-то миг смерть показалась ей естественным избавлением от всего сразу — от усталости, от боли, от непосильной, пугающей перемены, которую она сама затеяла. Но в следующий миг лютая злоба охватила ее: «Что, поддаться *им*? Помереть ради *их* удовольствия?»

Согнувшись, втянув в плечи седеющую голову, она пошла дальше вдоль заводского забора, настороженно прислушиваясь к свисту снарядов и приседая, если опасность приближалась к ней.

Сторожившая ворота старуха с винтовкой показала ей дорогу в отдел кадров и понимающе улыбнулась:

— К нам? То-то!

У входа в заводоуправление тротуар был засыпан битым стеклом и кусками штукатурки. Серая пыль еще клубилась в воздухе. В коридоре несколько испуганных служащих обменивались впечатлениями. Провели девушку, раненную в лицо; она прижимала к лицу окровавленный платок и всхлипывала.

Но когда Григорьева вошла в комнату отдела кадров, ее сразу захватило царившее здесь настроение ожидания и надежды. Люди, собравшиеся тут, будто и не находились в десятке метров от «очага поражения», будто и не слышали свиста и гулких разрывов,— казалось, война для них стала делом прошлым, а в настоящем существуют только задачи возрождения, восстановления. Здесь были все те же ленинградцы конца блокадной зимы — почерневшие, неестественно худые или болезненно опухшие, закутанные во все теплое, что нашлось под рукой. Но они оживленно обсуждали, в какой цех лучше проситься, какую специальность легче изучить, какие цехи будут размораживать в первую очередь. Было здесь человек тридцать, главным образом женщины — и молодые, и одних лет с Григорьевой, и даже старше ее. Тут же сновало несколько подростков, среди которых Григорьева с радостью узнала Колю, работавшего вместе с нею на строительстве баррикад и в аварийно-спасательном отряде.

— А приятель твой где? — спросила Григорьева, вспомнив, как этот мальчик обожал своего более взрослого, щеголеватого, самоуверенного друга Жорку.

— Помер,— омрачившись, ответил Коля.

Но тотчас оживление пробилось наружу, и он стал рассказывать о том, что поступает в сборочный, где ремонтируют танки и где уже работает их общий знакомец Сашок.

В это время в комнату шумно ворвался толстый человек в очках, сидевших на самом кончике крупного носа, и с большой палкой, какие носили в эту зиму многие ленинградцы,— только на палку он не опирался, а держал ее под мышкой, так что она не помогала ему, а обременяла. Человек этот внимательным взглядом поверх очков оглядел собравшихся, поднял руку, чтобы водворить тишину, и зычно выкрикнул:

— Каменщики, плотники есть?

Из окошечка, где оформлялись документы, высунулось недовольное лицо:

— Товарищ Солодухин, опять вы без очереди и без заявки? Директор категорически...

— Всё, всё есть, сейчас покажу! — отмахнулся Солодухин и повторил вопрос.

Настойчивый начальник понравился Григорьевой, и она выступила вперед, сказала, что работала каменщиком на оборонительных. Правда, там кладка была несложная...

— А немецкие дырки латать разве сложно? — возразил Солодухин и стал зазывать к себе других работников, обещая потом обучить, поставить на станок, довести до седьмого разряда.

У завербованных им женщин он тут же отобрал паспорта и с паспортами в руке пошел за перегородку объясняться. Григорьева слышала, как он ругался и просил, яростно стучал телефонной трубкой, а затем доказывал директору, что ему нужно немедленно получить наряды на семь человек, это «его люди» и ни в какой другой цех идти не хотят.

Через полчаса Григорьева уверенно вошла в цех Солодухина, осмотрела две пробоины и отправилась получать материалы.

Она работала размашисто, как всегда,— иначе она не умела. Боль и тоска ныли в глубине сердца. Если бы дать им волю, не хватило бы сил работать и жить. Стоило

перестать сдерживаться — брякнулась бы на землю, закричала бы. Может, и полегчало бы. Но, как внутренний страж, держала совесть. Нельзя. Не время.

В этот же день Григорьева встретила с Лизой Кружковой. Лиза обходила работающих и опрашивала, кто хочет пойти на пятидневные курсы огородников.

Григорьева обрадовалась знакомой, окликнула ее. Как два человека, не выдавшиеся всю эту тяжелую зиму, они испытующе оглядели друг друга.

— А вы почти такая же...

Лиза раздраженно передернула плечами, бросила:

— Каждый по-своему чувствует...

И ушла.

Чем убедительнее звучали для нее слова, зовущие к жизни и преодолению горя, тем мрачнее и злее думала она о самой себе и о том, как скоро она изменила своему решению отказаться от надежд и ожидания счастья. Ей становилось противно, что она живет, дышит, смеется, и она упрямо бредила затянувшуюся рану и внушала себе: «Я и не живу, это только так, для виду, потому что иначе нельзя, а для себя я ничего не хочу и не жду...»

3

Журчали ручейки, весело струясь вдоль тротуаров и образуя маленькие водовороты возле нагромождений сколотого, но еще не вывезенного льда. Их нежное журчание сопровождало Марию вместе со звуками труда — звяканьем лопат, постукиванием ломов, шарканьем фанерных листов и скрежетом полозьев по мостовой. Мария шла через весь город навестить Сизова и на всем долгом пути видела те же картины весеннего оживления.

И ей страшно было думать, что сейчас она войдет в уютный «блиндаж» Сизова и может услышать горькую весть. Три недели назад Сизов был очень плох, еле говорил, ослабевшая рука не могла удержать перо. Жена потихоньку утирала слезы и на прощание шепнула Марии: «Бодритесь он при вас, а ведь в чем душа держится!..»

Вопреки тревожным впечатлениям последнего свидания Мария не хотела верить в возможность смертельного исхода. «Мы с ним живучие, — думала она. — Он поскрипит-поскрипит и встанет. Весна ведь! Вон как греет

солнце, даже через ватник. Выживет он. Не может быть...»

И действительно, подходя к знакомому дому, она еще издали увидела Сизова. Сидя на крыльце в шубе и шапке-ушанке, завязанной под подбородком, Иван Иванович держал в руке топор и с любопытством поглядывал вверх на крутившегося в небе немецкого разведчика.

— Вот это гостья! И в самое гостевое время! — воскликнул Сизов. — Славно-то как?!

— Весна.

— Весна-красна. А ты говорила — не доживем.

Он привстал, отвернул конец ковровой дорожки, на которой сидел, как на подушке, и пригласил сесть Марию. Стукнул топором, осколки льда брызнули во все стороны, искрясь на солнце.

— Вот, балуюсь полегоньку, лед скалываю и заодно себя проверяю: есть ли еще силушка в жилушках? Выходит — есть. — Он отложил топор, вытащил кисет и стал сворачивать папиросу, закладывая в бумажку щепотки какого-то странного, черного с зеленоватыми крупинками месива. — Говорят врачи — не курить табаку. А разве это табак? Вальс «Осенние листья», а не табак.

В вышине немецкий разведчик увертывался от зенитного огня, но упорно кружил над городом, не желая уходить. Мария с тоскливым предчувствием посмотрела на этого злого предвестника.

— Иван Иванович... неужели снова начнется, как осенью?

— Все возможно.

— Ох!..

— А ты не охай. С воздуха город не возьмешь, как ни бомби, да и не очень-то мы их пускаем в воздух. Осенью у них еще были шансы, а сейчас — куда там!

— Ты думаешь, сейчас нет опасности штурма?

— Опасности? Опасность большая...

Он видел, что Мария жадно ждет продолжения, но не торопился. Он много и обстоятельно размышлял в эти недели болезни и теперь радовался слушателю.

— Опасность, дорогуша, будет, пока мы их за Прибалтику не отгоним. Они, конечно, к штурму готовятся. Из одного самолюбия не может Гитлер допустить, чтобы Ленинград ушел из его рук. На весь мир разрезвонил: «Падение Ленинграда — дело дней», а глядишь, семь месяцев у окраин топчется — и ни с места.

— Семь месяцев!.. — Марию поразили простой факт, что блокада продолжается семь месяцев.

Время, прожитое в блокаде, показалось ей пролетевшим очень быстро, но вместе с тем доблокадная жизнь вспоминалась как что-то далекое, призрачное...

— Или не заметила, как прошли? — усмехнулся Сизов. — А я, золотишко, каждый день присчитываю — вот вам, подлецы, еще минус, а нам еще прибавь. Время-то на нас работает. Хотели нас уморить — не уморили. Сами закопались. И не они нас трясут, а мы их. Как же Гитлеру не сердиться! Им пока лезть несподручно. Распутица, бездорожье, болота раскисли. Надо ждать лета. К лету они, надо думать, и готовятся. Так ведь и мы не зря всю осень и зиму ковырялись. А скоро опять начнем, дай только в городе прибраться. — Он хитро покосился на Марию. — Думаешь, я только небо копчу да паек жую? Я же полегонечку, пока моя старушка снег возила, прогулялся до телефона, поговорил с кем надо... Большие работы предстоят. Еще денька три погрею кости и поплетусь.

— Куда?

— Разворачиваться пора. Вот ты спрашиваешь — штурм... В сентябре нас штурмовали — вот где была опасность! В октябре — тоже. А сейчас мы говорим — город-фронт, город-крепость. Думала ты, что это значит? Вот, смотри. Здесь Ленинград. Так? — Он топором начертил неровный квадрат на спекшемся снегу, ткнул топором в бегущий по канаве ручеек: — Это Нева. А вон те лужицы, тот битый лед — немцы. Сидят себе в мокрых блиндажах. Мокро, кисло, скучно, и с каждым днем мокрее и скучнее, потому что Гитлер обещал им блицкриг, а получили они кукиш. — Он сердито поворошил крошево битого льда, обозначив расположение немцев. — Ближко, а?.. Но пусть-ка они теперь сунутся! Вот, скажем, наш передний край. — Он закругленной чертой обвел южную часть «города». — Урицк, Пулковое, Колпино — и до Невы... Неплохой рубеж. Все пристреляно, минировано. Проволоки, ежей, надолб и прочего нагромождено. Доты, дзоты — ну, сама знаешь. Сунутся они сюда? Допустим, сунутся. Но разгрызть такой орешек — не скоро разгрызут.

— Иван Иваныч, — мягко прервала его Мария, — я очень хочу, чтобы так и случилось. И я верю —

просто верю в то, что мы отобьемся. Но ведь прорвали когда-то линию Маннергейма? Значит, можно?

— Наши? Так то наши! — Он усмехнулся и сам себя поправил: — Ну, допустим. Конечно, нескольких дивизий они при этом недосчитаются. Но допускаю. Прогрызли. И на что же они наткнулись? Пожалуйста! — Он провел вторую закругленную черту внутри первой. — Пожалуйста: второй пояс укреплений по внешнему обводу окружной железной дороги. Шушары, Лигово, мясокомбинат, больница Фореля вплоть до Торгового порта и южной дамбы Морского канала. Узлы обороны, отсеченные позиции... Новый орешек не по зубам! Скольких дивизий они тут недосчитаются?..

— Это уже город...

— Ми-ла-я! Когда он к Стрельне подходил, мы тоже говорили: это уже город. А города ему, как своих ушей, не видать! Но допустим, допустим, — покладисто забормотал он, — допустим, что он и тут кое-где прорвется. И что же? Шагай по проспекту? Извините-с! На этот случай подготовлен третий рубеж. — Он провел еще одну закругленную линию, уже внутри городской границы. — Тут мы с тобой строили да городили, знаем. Будьте любезны, опять всё сначала! От Угольной гавани и до Фарфорового завода — третий мощный пояс укреплений. Еще дивизий недосчитаются! Или ты думаешь, у Гитлера они без счету?

— А знаешь, Иван Иванович, не будет этого, не прорвутся они никогда ни до второго, ни до третьего пояса. Доказать не могу, а чувствую.

— Экая ты! Сперва раздразила, а потом — «чувствую»!.. Ты подсажди, тут расчет и обоснование нужны, а не чувства. Д-да... Так вот, прорвал он все три пояса, захлебнулся от радости и — хлоп! — расквасил нос о внутреннюю оборону города. Напрасно мы с тобой возились, что ли? Внутри города только и начнется для него морока. Четыре промежуточных рубежа там преодолеть нужно, пока он к центру дорвется. По окраине, примерно где танковый завод да товарные станции, — раз! По Обводному каналу — два! По Фонтанке — три! По Неве от Галерной гавани до Уткиной заводи — четыре! Баррикады, бойницы, дзоты, каждый дом с боем брать надо, каждый этаж... То-то, дорогуша! Вот это и значит: город-крепость! А ко всему этому есть и еще одна, наипервейшая линия обороны...

— Наипервейшая?

— Да, золотко. Наипервейшая и наипрочнейшая. Это мы с тобой. Мы и все прочие. Ленинградцы... И вот тут ты права насчет «чувствую». Правильно чувствуешь. Не прорвутся они ни ко второй, ни к третьей линии.

Мария смотрела на Сизова сияющими глазами.

— Ты очень хорошо сказал это, Иван Иванович. Знаешь, на днях по радио стихи передавали: «Нас вместе называют — Ленинград...»

— Вот, вот. Именно — вместе! В отдельности взять человека — ничего особенного как будто и нет, и хорошее в нем есть, и худое... А возьми его в коллективе, возьми всю массу да проследи, что ее ведет, что определяет, — и есть чем погордиться, чему изумиться даже. Я все думаю, Маша... Лежу и думаю. Сажу и думаю. Лед скалываю — опять думаю. Великий наш народ, Маша, советские люди. Удивительный народ!

— И даже в отдельности, — улыбаясь, поправила Мария. — Право, Иван Иванович. Всем нам приходилось в ком-то разочароваться, от кого-либо отшатнуться... Но сколько оказалось людей таких, что с ними и воевать, и работать, и голодать можно, и опасность встречать...

— Да, первая линия обороны. Эх, Маша-Машенька! До чего люди ясны стали, а? Тут ошибки быть не может. Тут словами не прикроешься, не сыграешь и в сторонке не останешься. Остаться в сторонке — тоже поступок, верно?

Мария задумалась. Она вспомнила десятки людей, с которыми ее свела война, их слова и поступки, свое отношение к ним и к их поступкам.

— Только не забудь, что люди меняются, — сказала она. — Вот хотя бы Тимошкина. Изменился человек у нас на глазах! А может быть, приподнялся над самим собой... — Она вдруг засмеялась и рассказала: — Стоим мы с нею на днях у парадной во время шквального обстрела. Стоим и ежимся — страшно. Перекинемся словом — и опять ежимся. Она все вскрикивала: «Ой, страсть какая!» Снаряд в дом напротив ударил, она охнула, поглядела, как дым и пыль оседают, и вдруг говорит вполголоса: «Нет, не верю я Черчиллю...» И опять: «Ой, страсть какая!»

— Ишь ты, молодец! — удивился Сизов. — Думает, значит, о международной политике?

Он снова закурил, черное месиво в его папиресе чадило, шипело и порой разлеталось с кончика папиросы дымищими искрами.

— Трассирующим табаком его на фронте называют, — заметил Сизов и, не докурив, отложил папиросу. — Читаешь ты газеты, Маша? Я все вчитываюсь и в строчки, и между строчек. И как ни читай, выходит — нам одним надо выдюжить. Не торопятся союзнички. Мы их освободили от бомбежек, все силы на себя приняли. А они не торопятся... Пускай, думают, советский народ послабнет, порастратит силушку, тогда будет легче шкуру делить...

Мария сказала звонким от волнения голосом:

— Мы не ослабнем!..

Сизов кивнул, наклонился к Марии и таинственно понизил голос:

— А что в мире делается? Во Франции — партизаны, на Балканах, в Чехословакии — везде сопротивление... И отовсюду смотрят на нас с надеждой, с ожиданием... И это, Маша, не скоро забудется. Так что, может быть, и правильнее, с исторической-то вышки, что нам придется одним выдюжить...

4

Все осталось позади.

Проваливаясь в метровые сугробы, подталкивая тяжелые сани, прислушиваясь к каждому шороху в этой дикой лесной тишине, где скрип полозьев казался невыносимо громким, а ржание коня — оглушительным, партизаны вывели обоз на лесную тропу. Тропа ничем не отличалась от прежних, по которым они вели обоз уже много дней. Так же неподвижен, глух и темен дремучий лес. Так же глубоки и нетронуты сугробы. Так же хмуро смыкаются над тропой давно перепутавшиеся ветви. И такая же стоит тишина, нарушаемая только отдаленным ворчанием канонады... Но Гудимов сказал:

— Перешли, товарищи!

И это значило, что вокруг уже не оккупированная немцами, опасная, полная ловушек территория, а своя, милая Большая земля, где ждут свои, родные люди. Ольга осматривалась, и лес ей казался приветливым, и шатер над головой — пронизанным светом, веселым, и сугробы — легкими, и тишина — дружелюбной, таящей

радость... Радость пришла в облике четырех красноармейцев. Партизаны окружили их, обнимали их, целовали, разглядывали, снова обнимали и целовали. Разведчики смеялись и вытирали глаза, что-то наперебой спрашивали и рассказывали. И хотя партизаны знали, что Красной Армии приходится тяжело и страна напрягает свои силы до предела, у всех партизан было ощущение, что дела на фронте хороши и победа обеспечена. Разведчики не прикрашивали положения, не скрывали того, что каждый малый успех достается в тяжелом бою и дорогой ценой, но сами эти бойцы были так не похожи на тех, что отступали под напором немцев прошлой осенью! По ним учуяли партизаны разительную перемену в войне.

Обоз вышел в расположение пехотной дивизии. Партизан встретили торжественно и любовно, сводили в баню, накормили, уложили отдохнуть. Ольга легла в настоящую постель, сказала себе, что уснет мертвым сном, улыбнулась удивительному чувству безопасности и уюта, приоткрыла глаза, желая убедиться, что удобный блиндаж медсанбата — не сон, не мечта... и не заснула.

Она была среди своих, на Большой земле. Все пережитое за последние месяцы осталось позади: страшные скитания по лесам и первые бои с преследующими по пятам карательными отрядами, голодная, мучительная жизнь в лесных чащах, в наскоро открытых землянках, где вперемешку с партизанами ютились сотни женщин и ребятешек. Рост отряда, встреча с другим партизанским отрядом и создание партизанской бригады... Крупный налет на концлагерь и освобождение нескольких сотен советских людей, томившихся в плену... Дерзкие налеты на большие гарнизоны, на железнодорожные станции, на продовольственные и военные склады... Бригада росла, расширяла свои операции, хорошо вооружилась, держала постоянную радиосвязь с командованием фронта.

В одной из операций Ольга бросила связку гранат в окно знакомого дома, где происходила офицерская попойка, а потом видела трупы убитых ею эсесовцев и среди них — опаленный труп полураздетой, растрепанной Иринки... Даже по мертвому, искаженному предсмертным ужасом лицу Иринки можно было понять, что она была совершенно пьяна. Ее зарыли в лесу, в одной яме с фашистами. Худшего позора и возмездия Ольга не могла себе представить. Она убежала тогда, чтобы не видеть, и ей вспоминалась прежняя Иринка, легкомыс-

ленная и несмелая, но как будто обычная девушка, и она все старалась до конца понять, как же это случилось, что Иринка изменила, продалась.

Но и это осталось позади. Остались позади и дни, когда Партизанский край решил помочь осажденным ленинградцам и по всем селениям пошел сбор продовольствия. С какой щедростью доставали крестьянки припрятанные запасы, с какой готовностью резали скот, чтобы послать ленинградцам мяса, с какой заботой зашивали мешки и упаковывали ящики! Были они в этих сборах и хлопотах как матери, собирающие гостинцы для своих детей. И старики возились тут, как деды, радеющие о внуках, старались сделать все особенно добротное — заколотить основательно, увязать накрепко. Потом настал день, когда на сходках читали письмо, посылаемое от партизан и колхозников защитникам Ленинграда, и те же самые женщины и старики не спеша, соблюдая очередь, подходили к столу и ставили свои подписи, зная точно, что тетрадки с подписями пойдут опасной дорогой, через фронт, и могут в недобрый час попасть в руки врагов, а тогда всем подписавшим — смерть... Но женщины и старики разборчиво подписывались и выглядели уже не матерями и дедами, а гражданами и бойцами, исполненными непримиримости и высокого человеческого достоинства.

Ольга знала, что делегаты доставят обоз с продовольствием в осажденный Ленинград, и она завидовала счастливым, — возможность пройти по улицам Ленинграда, пожать руки ленинградцам, заглянуть в их обстрелянные дома казалась ей совершенно сказочной. А когда Ольгу выбрали делегатом, она все боялась, что в последнюю минуту что-нибудь изменится, сорвется, что вместо нее пошлют другого... Товарищи по отряду приносили ей письма, адресованные «туда», Юрий Музыкант принес даже посылку для жены и умолял Ольгу обязательно отнести лично. Ольга обещала, принимала письма, записывала адреса, а сама не верила, что все это правда... Иногда в ее мозгу мелькала мысль о брате, о Марии и ее семье, но Ольга отгоняла невозможную надежду. Конечно же, Борис сразу увез в далекий тыл и Марию, и Андриюшку. Но, может быть, Анна Константиновна осталась? Увидеть ее, обнять и все рассказать ей, как матери!.. Она тотчас останавливала себя — нет, это слишком хорошо, не может быть...

Но вот уже промелькнули десятки станций и полустанков с толпами встречающих, промелькнули тысячи дружелюбных лиц, отзвучали сотни приветственных речей и возгласов. Позади осталась Кобона, еще недавно — простое приладожское село, а теперь — огромный порт, где круглые сутки выгружаются из вагонов и нагружаются на машины тысячи тонн грузов, где грузовики наполняют воздух дребезжанием, гудками и запахом бензина, где при свете дня и в темноте, при свете включенных фар, колонны грузовиков сползают с берега на лед и уходят туда, в морозную, беспокойную даль озера, за которой — край ленинградской земли, а другие колонны грузовиков ползут навстречу им, из этой беспокойной дали, и вползают на берег, нагруженные станками или заполненные до отказа людьми, вывезенными «оттуда»... Ольга всматривалась в изнуренные, потемневшие лица, — лица выходцев «с того света», и читала в их пристальных глазах ответ какого-то глубокого знания, неведомого ей. Стыдясь своего незнания и своего здоровья, она ходила среди приехавших, желая и боясь встретить знакомых, и робко расспрашивала обо всем, что они перенесли. Но они быстро узнавали, что она — делегат Партизанского края, и сами начинали расспрашивать ее с интересом и бесконечным уважением к ее боевой судьбе, и тогда у Ольги исчезало ощущение необыкновенности этих людей, — как боец повстречалась она с бойцами. Позднее, после встреч и бесед с ленинградцами в самом Ленинграде, она окончательно поняла, что у партизан и у ленинградцев есть истинное душевное родство, потому что и в блокаде, и в немецком тылу борьба забирала всего человека, требовала крайнего напряжения сил, чистоты и смелости духа...

И вот она шла по Ленинграду, взволнованная и потрясенная всем, что узнала, всем, что видела. Кого она найдет? Кого уже не найдет никогда?..

Ей нужно было на Петроградскую сторону, к жене Юрия Музыканта, но ноги сами повернули на знакомую улицу, к знакомому пятиэтажному дому. Ей вспомнилось, как она приезжала сюда на каникулы или по делам, на комсомольские конференции и совещания, и как ей нравилось останавливаться у Смолиных. С десяти лет Ольга не имела семьи, скиталась вместе с братом из одного города в другой, девочкой привязалась к его первой жене, тягостно переживала его развод, потом всей

душой полюбила и Марию Смолину, и особенно Анну Константиновну. Но, пожалуй, только в дни войны она по-настоящему оценила силу чувства, связавшего ее с ними. Сколько раз она думала о том, что потеряла брата и что больно и горько потерять вместе с ним двух самых близких женщин, ставших матерью и сестрой... Догадалась ли Мария, что он поступил недостойно? Оправдала ли его? Или отшатнулась? И что подумала, что сказала, как поступила Анна Константиновна?..

Ольга остановилась против знакомого дома и подняла глаза к окнам пятого этажа. Окна были частично заколочены, зачем-то приделанные дощатые ставенки поскрипывали на ветру. Для чего ставенки? Чтобы предохранить стекла при обстрелах?.. Но тогда, значит, кто-то позаботился навесить их? И кто-то открыл их поутру, впуская в комнату дневной свет?..

Она взбежала по лестнице, привычно позвонила, потом сообразила, что звонок не действует, и начала стучать. Совсем просто, как в любой мирный день, за дверью возникли шаги, звякнула цепочка, щелкнула задвижка — и в раскрывшейся двери появилась Мария. В первое мгновение Мария показалась Ольге совсем прежней — те же серьезные блестящие глаза, то же светлое лицо под зачесанными назад волосами, обнажающими высокий гладкий лоб.

Мария, не узнавая, смотрела на девушку в тулупчике и в меховой шапке с красноармейской звездочкой.

— Вам кого? — доброжелательно спросила она.

— Маша!.. — пробормотала Ольга. — Это я!..

Мария вскрикнула и отступила от двери. Радость, смятение, какое-то горькое воспоминание и снова радость, побеждающая все другие чувства, отразилась на ее лице. Она вскинула руки и не обняла, а только схватила Ольгу за плечи и притянула к себе. Ольга увидела слезы в ее глазах и сама заплакала, прижимаясь лицом к плечу Марии.

— Ну вот, разревелись, — сквозь слезы шуточно сказала Мария и втянула Ольгу в переднюю. — Ну входи же, входи... Оленька, откуда?

— Дай сперва поглядеть, какая ты, — говорила Ольга, размазывая слезы по щекам. — Я с партизанами... с обозом... Ты, может, слышала... А где Андрюша?.. Господи, неужели это все правда?..

Она сняла тулупчик, шапку. Радостно вскинулась, уловив шаги в глубине квартиры.

Незнакомая пожилая женщина выглянула из кухни. Андрюша, выросший и похудевший, держался за ее юбку.

— Андрюшенька! — позвала Ольга, подбегая и опускаясь на колени перед ребенком. — Андрюша... Малыш...

Мальчик поздоровался с доверчивой готовностью, но смотрел на Ольгу как на чужую. Ольге не надо было спрашивать, она уже почувствовала, что другой, самой желанной, встречи не будет.

Мария объясняла чужой женщине:

— Ты знаешь, кто наша гостья, Мироша? Это партизанка, обоз с продовольствием привезла к нам через фронт...

Ольга поняла, что этим представлением Мария как бы отгородилась от прежней родственной близости.

В комнате Марии среди многих перемен Ольга прежде всего заметила пустое место над столом, где раньше висел портрет Бориса. На столе, прислоненная к чернильнице, стояла небольшая фотография. Ольга невольно пригляделась: незнакомое мужское лицо, шпала в петлице военной гимнастерки... Она оглянулась, стыдясь своего нескромного любопытства.

Мария стояла посреди комнаты, подняв брови, с потухшими глазами. Теперь Ольга видела, что Мария очень изменилась: лицо резко осунулось и потускнело, припухлости под глазами странно искажали прежде чистые черты, незавитые волосы лежали на голове бессильные, будто поникшие. И столько разом возникшего страдания проступило в этом изменившемся облике, что Ольга с жалостью и стыдом вспомнила, что она — сестра Бориса, смущенно обняла Марию и шепнула:

— Маша... ты мне только не говори ничего... я все понимаю... Я бы так хотела...

Глаза Марии блеснули, горькие морщины разгладись.

— О чем ты, Оля? — Она усадила Ольгу на диван рядом с собой, нежно поцеловала ее. — Ты мне лучше о себе расскажи. Я догадалась, что ты с Гудимовым пошла. Я столько раз думала о тебе... Девушка в лесах, в землянках, в походах... Это очень страшно, Оля?

— Иногда,— призналась Ольга,— но в общем при-
выкаешь. И потом — кругом люди. Товарищи. Когда од-
на — страшно. Но вот мы уже второй день здесь... Нет,
Маша, не нам страшно. После того, что я здесь увидела,
что нам рассказали... я не знаю, что еще может быть
страшнее! Я в плену была. Меня били. Я бежала зимой
через болото, пока не упала без сознания... Но это борь-
ба. Действие. А вот так месяцами жить, как вы... уми-
рать, как вы... Не знаю, как бы я сумела выдержать... —
И вдруг просто спросила: — Мама умерла?

Мария кивнула головой и сурово сказала:

— Все дело в том, что у нас тоже борьба. И действие.
И потери, как в бою.

— Скажи мне, Маша...

— Что, Оленька?

Но вопрос не произносился. Никакие усилия не могли
заставить губы прошептать этот вопрос.

— Ну, так я тебя спрошу,— ровным голосом сказала
Мария. — И ты мне ответь всю правду. Мы ведь заслу-
жили право не лгать друг другу. Даже если это тяжело.
Скажи мне, Оля... Тогда, когда все решалось... Трубни-
ков разыскал тебя или нет?

— Я бы все равно не уехала!

Мария молчала, горько сжав губы.

— Нет, он не разыскал меня,— сказала Ольга. —
Я была в отряде, мы получили винтовки и учились обра-
щаться с ними. А он торопился... — Она припала к Ма-
рии и всхлипнула. — Маша, мне так... мне так... Ты мо-
жешь забыть, что я его сестра?..

— Я не хочу ничего забывать,— строго сказала Ма-
рия и поцеловала Ольгу в мокрый глаз. — Я рада, что
есть Оля Трубникова, партизанка и молодец. Что в семье
человека, которого я любила, есть настоящие люди. Ты
это понимаешь?

— Теперь я спрошу, Маша. А потом мы больше не
будем об этом. Маша... он был очень противен, да?

— Нет,— подумав, сказала Мария. — Нет. Или, мо-
жет быть, одну, первую минуту, когда ввалился в квар-
тиру... Он... как бы тебе объяснить... он не терял вида.
Держал себя в руках. Рассуждал. Со стороны, пожалуй,
и не заметить было...

— Ты не знаешь, где он?

Мария выдвинула ящик стола и вынула пачку пи-
сем:

— Если ты хочешь знать, как может человек оправдываться... как он может лгать себе, своему прошлому, своей совести... — Она подержала в руке и бросила письма обратно в ящик. — Сейчас он, видимо, много работает в тылу. И если бы у него хватило честности написать: «Я струсил, растерялся, мне стыдно», — я бы простила. Нет, не то... я бы поняла. У каждого из нас были минуты страха. Одни подавили его в себе, другие не смогли. Это можно понять. Я не знаю, так ли было у вас, у партизан, но здесь я столько видела людей, менявшихся изо дня в день... Слабый становился сильным. Неужели мы будем казнить тех, кто сперва растерялся, а потом устыдился и выпрямился? Я бы все поняла. Но ложь... Зачем? Он же знает, что я все понимала!

— И он оставил вас с Андрюшкой, а сам уехал?

— Он уговаривал...

— Ах, Маша... я не сомневаюсь, что тебя-то он уговаривал! Но он уехал!

Они помолчали. Ольга не таясь подошла к столу и наклонилась, разглядывая фотографию, прислоненную к чернильнице.

— Какое хорошее лицо, — сказала она. — Он очень смелый, да?

— Не знаю. Я не представляю себе, чтобы он мог бояться, а он говорит, что часто боится.

— Все боятся, — подтвердила Ольга. — Гудимов тоже боится...

Она вдруг покраснела, покосилась на Марию и прижалась к ней, пряча лицо.

— А Гудимов приехал?

— Да.

— Почему же ты не привела его? Почему вы не пришли вместе?

— Мы придем... можно?

— Любишь, Оленька?

— Да... нет, не знаю... Может быть, вообще не так любят...

— Люби «вообще» не бывает, Оля. Каждая большая любовь по-своему нова и по-своему необыкновенна.

Ольга отодвинулась, подняла порозовевшее лицо:

— Мне всегда казалось: любить — это так стремиться к человеку, что без него свет не светит и птицы не поют, — сказала она, — так заполнить душу человеком, что ни для чего другого места нет...

— Ну и...

— Ну, и все не так. Я ухожу на задание иногда на две, три недели — и с охотой иду, понимаешь?.. Иду на неизвестность, часто бывает очень страшно, а свет светит и птицы поют, и ничего не жалко... Он меня посылает на смерть, а я горда... И мне только нужно, чтобы он был доволен мною. Я могу с ним не видаться подолгу... я с ним разговариваю за двадцать верст, понимаешь? Ведь это и есть любовь, да?.. Но я всегда думала, что любить — это значит быть с человеком такой, какая ты есть. Не притворяться ни сильной, ни смелой, ни умной, а быть самой собой и чтобы он любил тебя за то, что есть. И слабость твою любил, и недостатки твои прощал... А с ним я никогда не бываю самой собой... Он не хочет видеть ни слабости, ничего... Я при нем всегда скована и всегда тянусь быть сильнее, чем я есть... Может из этого что-нибудь выйти?

— По-моему, из этого может выйти самое чудесное... Но я хочу увидеть вас обоих вместе, Оля.

— Ой! Только ты даже виду не показывай, Маша, что ты знаешь... Мы с ним никогда не говорили ни о чем и, наверное, никогда не поговорим... И вообще из этого ничего, наверное, не выйдет...

— Наверное, выйдет то, что после войны он будет беречь тебя и прощать тебе твою слабость... если у тебя действительно есть слабость, Оленька!

— Ты так думаешь?

Она встала, прошла по комнате. Посылка лежала на столе, ее надо было отнести жене товарища. И надо было возвращаться в общежитие при Смольном и ехать выступать на завод, и в воинскую часть, и у зенитчиков. Рассказывать ленинградцам о партизанской борьбе. Каждый день — несколько выступлений, сотни встреч с прекрасными, сильными, храбрыми людьми... Разве это не самое главное, что таких людей очень много и она — одна из них? Сколько бы ни было страха и слабости внутри, она же не дает себе воли и старается быть такой, как они, такой, как надо... И она вернется в партизанскую бригаду и будет ходить в разведку, участвовать в операциях, изредка встречаться в Гудимовым... и всё.

— Ну, я пошла, — сказала она с девической угловатостью. — И знаешь — сейчас не время для таких разговоров. Вредно думать, ждать... Сейчас нужно забыть себя.

— Но зачем же, Оля?

Ольга хотела ответить строго и резко, но вдруг жалобно улыбнулась и сказала:

— Размякнуть боюсь.

Уходя, она обняла Марию и жарко зашептала ей в ухо:

— Мы придем вместе. Ты ничего не спрашивай, ты только присмотришься и потом шепни мне... как тебе покажется...

5

Ольга осторожно постучала в указанную дверь, сдерживая улыбку, чтобы не сразу, не слишком внезапно обрадовать Веру Подгорную известием о муже.

— Да, да, входите,— раздался негромкий голос.

В комнате стоял полумрак,— половина окна была забита фанерой, уцелевшие стекла по-осеннему замутились, словно за окном лил безнадежный дождь, а не сверкала, не журчала, не веяла веселым ветром весна. Ольга шагнула в комнату и разглядела на кровати закутанную в платок женщину. Женщина неохотно и вяло поднялась с кровати, бережно поправив маленький сверток, лежавший рядом с нею. По радостной белизне свертка Ольга догадалась, что в нем ребенок.

— Товарищ Подгорная? — неуверенно спросила Ольга.

Это не могла быть Вера Подгорная,— в изможденном лице, в сгорбленной под платком фигуре не было ничего от той красивой статности, которую воспевал Юрий.

— Это я,— сказала Вера и провела рукой по лицу. — Вы простите, я прилегла и заснула. Так мало удается спать. Вы откуда?

Она без любопытства смотрела на незнакомую гостью, стараясь на ходу прибрать комнату. Ольга заметила разбросанные пеленки, невымытые тарелки и чашки, грелку, лежащую на стуле.

— Я из военкомата,— сказала Ольга первое, что ей пришло в голову,— пришла узнать, как вы себя чувствуете и чем вам помочь.

— Спасибо,— сказала Вера и выпрямилась. В изможденном лице вдруг мелькнула непобежденная гордость. — Спасибо,— повторила она. — Мне ничего особенно не нужно, но я рада человеку. Я почти не выхожу и немного одичала здесь сама с собой.

— Вы живете совсем одна?

— Одна? — Вера поглядела в сторону белого свертка, и молодое материнское счастье преобразило ее лицо, сквозь морщины и одутловатость проступила замученная, но не исчезающая молодость. — Нет, не одна. Вдвоем. С дочкой.

— Ну, и как она... здорова?

— Ничего, — ревниво и словно нехотя ответила Вера. — Конечно, родилась она очень маленькая, шести фунтов. Но здоровая. Теперь стала прибавлять в весе. Теплее будет, начнем гулять...

— Пока еще не гуляете?

Вера села перед Ольгой и долгим, изучающим взглядом осмотрела ее:

— Вы приезжая, да?

— Да, — покраснев, сказала Ольга. — А почему вы поняли?

Вера усмехнулась:

— По вопросам вашим. Если бы сейчас по холоду еще гулять... Я до консультации еле-еле хожу... Она меня высасывает, а восполнить нечем... Для наших это все понятно... Вы не думайте, я не для упрека. Просто смешно стало. Вы недавно приехали?

— Вчера.

— Да что вы! Ну, расскажите же, расскажите, что там, на Большой земле! Вы как же ехали? По Ладоге? Она уже начала таять, нет?..

С молодой энергией Вера бросилась к буржуйке, поднесла спичку к припасенным лучинкам:

— Сейчас будем пить чай!

— Да нет, зачем же...

— И не спорьте, пожалуйста! Наш блокадный кипяточек. Мне полезно побольше пить, а для вас это еще и экзотика, правда?

Когда Вера усмехнулась, лицо ее помолодело. Она распрямилась, скинула платок, и простое домашнее платье, свободно висевшее на ее высокой похудевшей фигуре, напомнило о другом времени, о другой жизни, — жизнь эта бродила где-то рядом, готовая вернуться.

— Вы, наверное, заметили, что у меня беспорядок, — с досадой сказала Вера, оглядывая комнату. — Мне самой бывает стыдно. Но иногда так устанешь, что просто сил нет прибрать. Накормишь дочку, укачаешь — и сама рядом уснешь...

Она торопливо убрала пеленки, раскинула маленькую вышитую скатерку и поставила чашки, хлеб, кусок сахара на блюдечке. Ольга застенчиво протянула посылку, которую до того держала на коленях, не решаясь передать.

— Это что такое? — строго спросила Вера.

— А вы разверните. Это вам и через вас — дочке.

Вера развернула, — масло, деревенское, желтое, пахнущее давно забытым неуловимым запахом...

— Кто вы? — спросила она, задыхаясь, и прикрыла масло бумагой, чтобы не видеть его. — Это как в сказке какой-то... с феей... только фея в тулупчике и гимнастерке... Боже мой, кто вы такая?

— Будем думать, что я и есть фея, только в гимнастерке, — сказала Ольга, — а вы, пожалуйста, намажьте сразу кусок хлеба и съешьте... Ну, прошу вас... я же понимаю, как давно вы этого не ели... Там еще хлеб, и сало, и всякая всячина.

Вера пересмотрела все свертки, и видно было, как она сдерживается, чтобы не заплакать. Она не намазала хлеб маслом, а стыдливо отошла к печурке, потом поглядела на спящего ребенка, снова наклонилась к печурке, поправляя дрова.

— Знаете, фея, — тихо сказала она, — от нашей жизни до сказки очень далеко. Так далеко, что мы, кажется, позабыли все сказки. Но одно мы узнали так крепко и верно, что и в сказках не бывало: очень много на свете хороших людей. Вас прислали хорошие люди. И у нас... В самое тяжкое время приходили ко мне. Ломтик хлеба... тридцать граммов... вот такой крохотный... А знаете, сколько весит на человеческих, на сердечных весах вот такой принесенный товарищем ломтик?..

В бликах пламени, освещавших ее, она порозовела, и Ольга вдруг увидела в ней ту Веру Подгорную, о которой рассказывал Юрий Музыкант, и поверила, что Музыкант не преувеличивал.

— А Бобрышев, — еще тише сказала Вера, глядя в огонь, — сержант Бобрышев... Он приходит раз в неделю с вязаночкой досок, щепок, и всегда у него в кармане что-нибудь — вот сахару немного (она кивнула на стол, где белел на блюдечке маленький кусок) или ломтик сала... Раз компоту принес половину баночки... А кто я ему? По-старому сказать — посторонний человек.

— Кто это Бобрышев?

— Сержант... товарищ моего покойного мужа.

Сейчас надо было сказать, сейчас, этой возродившейся прежней Вере Подгорной можно было сказать, но Ольга не нашла слов, которые помогли бы сделать это безболезненно, испугалась своего неумения и пробормотала неестественным голосом:

— Почему вы так говорите? Ваш муж пропал без вести... он может найтись...

Вера вскинула голову. Ее покрасневшее лицо дышало теперь силой и страстью.

— Нет,— властно прошептала она,— молчите. Нет, этого не может быть. Вы не знали Юрия. Его все равно растерзали бы за непокорность, за гордость, за одни его непокорные глаза...

Она закусила губу, вся содрогнувшись от того, что в тысячный раз нарисовало ей воображение.

— Но он мог попасть к партизанам,— выговорила Ольга, совершенно растерявшись. — Так бывает... Я знаю случаи...

— Нет,— сказала Вера,— я думала. Нет. Он был ранен. Он упал, раненный. В бою. Они нашли его мертвым или прикончили... Там не могло быть партизан.

— А я знаю столько случаев... — настаивала Ольга. — Один мой приятель был тоже ранен, его сочли убитым. А ночью он с товарищем пополз в лес... Они пришли к партизанам...

— Зачем вы мне это рассказываете? — резко спросила Вера и поднялась. — Ну, давайте чай пить.

Она налила чаю в чашки и опять подошла к кровати взглянуть на дочку.

— У нее отцовские непокорные глаза,— сказала она, возвращаясь к столу и стараясь вернуть хорошее настроение. Но разговор о Юрии расстроил ее, и она пугливо съежилась. — Когда она спит, вот так тихонько, как сейчас, мне иногда страшно... Я подхожу и слушаю — жива ли?.. А когда она смотрит этими глазами, я знаю: выживет...

Ольга намазала хлеб толстым слоем масла и протянула Вере:

— Ешьте, а я вам расскажу... не о Большой земле, нет... я ее не знаю сейчас... так же как вы... — Она запнулась было и вдруг поняла, что не надо хитрить, не надо искать окольных путей. — Я ведь сама от Большой земли далеко... Дальше, чем вы. И шла я к вам через

фронт... от хороших людей, от особенно хороших людей...

Вера ела хлеб с маслом. Маленькими кусочками, подставляя ладонь, чтобы не просыпались крошки, она ела хлеб с маслом, и в напряженном лице ее было блаженство узнавания. Она была так поглощена этим узнаванием давно забытого вкуса и ощущения, что слова Ольги скользили мимо ее сознания. Ольга поняла это и смолкла, опустив глаза в чашку, чтобы не смущать Веру. Кончив кусок, Вера помедлила, отрезала себе второй кусок, намазала его и виновато взглянула на гостью.

— Не удержаться,— сказала она. — Вы уж не обижайтесь...

Она поднесла было хлеб ко рту, но вдруг память ее повторила и донесла до сознания слова гостьи. Побелев и опустив на стол хлеб, она пристально вглядывалась в лицо Ольги. Потом стремительно взяла ее руку и прошептала:

— Если у вас есть что сказать мне... если вы пришли... Я вас умоляю, скажите мне сразу...

— Я из Партизанского края,— сказала Ольга и потянулась к карманчику тулупчика, где лежало письмо Юрия Музыканта.

Но, прежде чем она дотянулась, Вера перехватила ее руку своей неожиданно сильной рукой.

— Юра? — выговорила она одним коротким дыханием, зажмурив глаза.

И Ольга сказала:

— Да.

Ольге хотелось увидеть лицо Веры, но слезы мешали ей. А Вера стояла неподвижно, закинув голову назад и глядя перед собой недоуменными, широко раскрытыми, еще не видящими счастья глазами,— ей надо было освоиться, привыкнуть наново к возможности того, что входило сейчас в ее жизнь.

Ольга наконец посмотрела — и испугалась непонятного, недоуменного выражения на лице Веры и быстро заговорила, чтобы отвлечь Веру от ее сосредоточенного недоумения. Она стала лихорадочно рассказывать, как принесли в отряд тяжелораненого, как не понимали сперва, что Музыкант — фамилия, а не профессия раненого, как он потом поправился, как он принес письмо и страшно волновался, жива ли Вера, родился ли ребенок...

Вера слушала все с тем же выражением недоумения и сосредоточенности. Ее порыв был неожидан и мгновенен, Ольга увидела ее уже на коленях у кровати,— Вера обнимала руками белый сверток и повторяла в исступлении:

— Дочка... дочка... доченька... дочка...

Ребенок проснулся и запищал. Очнувшись, Вера взяла его на руки и села к столу, и заплаканное, измученное лицо ее было таким необыкновенным, не похожим на прежнее, таким преображенным и прекрасным, что Ольга уронила голову на руки и заплакала от жалости и умиления, и вся ее тревожная, трудная, неженская жизнь последних месяцев показалась ей по-новому красивой, и она плакала уже о себе, о своей любви, скрытой ото всех, о трудности самоотречения и радости его.

— Покажите мне его почерк,— сказала Вера, не замечая слез гостьи, покачивая на руках дочь и жадными, требовательными глазами следя за рукой Ольги, снова потянувшейся к тулупчику.

Ольга достала письмо и положила на стол перед Верой. Вера смотрела на самодельный конверт и продолжала укачивать ребенка.

— Я пойду,— сказала Ольга, вставая. — Я еще приду к вам позднее. Может быть, завтра.

— Да, да,— пробормотала Вера, не отрывая глаз от знакомого почерка на конверте.

6

К телу приливалась жизнь. Все чувства Лизы обострились, ее внимание касалось всех предметов, прежде ничем для нее не примечательных, и возбужденно отмечало и упругую легкость окрепших мускулов, и нежную голубизну весеннего неба, и пряную свежесть воздуха. Она уходила с завода домой и шла пешком, наслаждаясь ходьбой и видом оживающего города. Путь был долог, но она выходила еще на набережную и бродила, вслушиваясь в шорохи льдин и в журчание волн у ступеней гранитной лестницы, и ей хотелось спуститься к самой воде, поймать крошечную льдинку и держать на теплой ладони, пока льдинка не растает... Все пело в ней и кричало: живу!

Однажды она поддалась искушению, спустилась по ступеням и стала над высоко поднявшейся водой, слушая

и наблюдая, внимательная и рассеянная одновременно. Вода струилась и струилась у ее ног, увлекая с собой серые, набухшие водой льдинки. Река уносила их в море. В море им суждено растаять и слиться с массами холодной воды, раскачиваемой ветром над черной глубиной, где навсегда схоронен Леонид Гладышев... «Пусть море примет меня в последний раз...» Леня стоял рядом с нею — большой, застенчивый, от застенчивости то развязный, то угрюмо-молчаливый. Она давно уже не припоминала его живым, почти осязаемым, так, что слышится дыхание и угадывается слово, которое он хочет сказать...

Она взбежала по ступеням и быстро пошла прочь от реки, задыхаясь от горя. Но и в этом было возвращение жизни...

Вечером, слушая сонную болтовню Андрюшки за стеной, Лиза впервые с осени разрыдалась, уже не над Лейей, а над собой, потому что она была одинока и молода, жизнь вернулась к ней, молодость и красота вернулись, но некому полюбоваться ими, некому отдать их... Большая жизнь, предстоявшая ей, показалась пустой и страшной.

Зимой, перед общей большой бедой, в непосильной, мучительной работе, было так просто найти забвение и отраду. Тогда Лиза требовала от своего тела только выносливости, чтобы подниматься по лестницам чужих домов, таскать воду и дрова, чтобы тянуть санки с больными и не упасть, дотянуть. Природа не существовала для нее иначе, как враг или помощник: мороз был убийцей, наступающая весна — спасительницей или новым коварным врагом, если сама Лиза вместе со всеми не сумеет вовремя очистить город... Луна, как бы таинственно и приветно она ни светила, была только осветительной лампой, демаскирующей город...

Потом началось возрождение завода. Разве не пережила она недель душевного подъема, когда весь смысл жизни заключался в том, чтобы увидеть отремонтированные машины выходящими через цеховые ворота на фронт?

Так недавно это было! И вдруг оказалось, что весенний ветер по-прежнему что-то шепчет и солнце ласкает кожу, и остается время тосковать по ласке, и силы, как их ни расходуешь в труде, еще остаются для того, чтобы томить душу и тело. Вдруг оказалось, что весна — это просто весна, и молодость — все та же жадная молодость,

и можно быть занятой почти целые сутки — всегда найдется минута понять, что одиночество остается одиночеством.

В один из таких одиноких дней появился Леня Шевяков. Он рассказал, что его батарея сбила четыре немецких бомбардировщика. На его груди красовался орден Красной Звезды. Лиза поняла, что он пришел похвастаться наградой. В этом не было ничего плохого, но Лиза оскорбилась и не поздравила его.

— Знаете, открылись кинотеатры? — сказал Леня. — Почему бы нам с вами не сходить в кино?

Лиза даже зажмурилась, так это показалось необыкновенно. Войти в знакомый зал, увидеть яркий луч, дрожащий над головой и заливающий волшебным светом экран... увидеть разворачивающуюся на экране чужую, мирную жизнь... услышать музыку, совсем такую же, как до войны, до блокады, до танков...

Они вошли в очень холодный, скудно освещенный зал. Зал быстро заполнился. Армейские и флотские шинели перемежались ватниками и шубами женщин. Зал был обшарпанный и лица исхудалые, но непривычный электрический свет придавал собранию почти сказочную праздничность.

И вот луч яркого света осветил экран, и возникла чужая, мирная жизнь. Фильм оказался комедией, которую Лиза уже видела до войны. Но теперь она смотрела на оживших перед нею старых знакомцев с удивлением и раздражением. Их волнения показались мелки, они суетились попусту, их страсти оставляли ее равнодушной. Почему они не понимают, что жизнь проста, что жизнью и счастьем надо дорожить, что глупо мешать друг другу?.. Почему среди всей этой массы людей не нашлось хоть одного человека, чтобы сказать этим горе-влюбленным: «Чудаки! Ну, чего вы терзаетесь? Не надо выдумывать преграды, когда их нет!» При мысли о том, что без выдуманных преград не было бы и фильма, Лиза развеселилась и подобрела. «Посмотрим, — решила она, — как они будут выпутываться, раз умного человека не нашлось!» И она уже охотно смеялась над смешными злоключениями героев фильма и даже пожалела, когда влюбленные наконец устали сомневаться и поцеловались, а в зале вспыхнул свет, вернув ее к действительности.

В темном дворе кинотеатра Шевяков взял ее под руку.

— Не споткнитесь,— сказал он, чуть сжимая ее локоть.

На улице было светлее, из-за домов выползала луна.

— Вот занятно, при луне ваши волосы кажутся голубыми, а глаза черными,— сказал Шевяков, наклоняясь и заглядывая в ее глаза.

Она почувствовала себя красивой и необыкновенной и не наплась, что ответить Шевякову, так непривычны и приятны были его слова.

— Я тут в штабе на трехдневных учениях,— сказал Шевяков, прощаясь с нею у подъезда. — Можно зайти к вам завтра вечером?

— Завтра не выйдет, я работаю до восьми,— солгала Лиза.

— А что, если я вас встречу у завода и провожу домой? И вы меня напоите чаем? Вы не поверите, как хочется выпить чаю в домашней обстановке!

— Хорошо... Если не будет сверхурочных, я выйду в восемь.

Поднявшись к себе, Лиза села в темной комнате у окна. Луна уже совсем взошла. Лиза накрутила на палец локон и подняла его, чтобы посмотреть, действительно ли он кажется при луне голубым. Да, он казался голубым. Она выдернула палец, больно дернув при этом запутавшийся волос и сквозь зубы сказала себе: «Дряннь!»

На следующий день она кончила работу в шесть, но осталась поработать еще часок, а потом сидела в комитете комсомола и злилась на себя. Почему она догадалась солгать насчет работы, но не собралась с духом прямо отказать ему? Может быть, уйти сейчас, пока его еще нет, он потопчется и поймет...

В пять минут девятого она вышла за ворота и сразу увидела его высокую фигуру в щегольской шинели и в щегольской, с острыми краями, фуражке. Сердце ее дрогнуло. Темный силуэт Шевякова до странности напоминал другой, любимый.

Она отшатнулась, когда Шевяков хотел взять ее под руку.

— Нельзя? — огорченно осведомился он. И тут же добродушно заговорил: — А я хочу рассказать вам одну смешную историю... Вы не упадете в потемках?

Она, конечно, споткнулась, и кончилось тем, что он взял ее под руку и стал рассказывать свою историю, и домой они пришли в самом веселом настроении.

Они пили чай с бутербродами, принесенными Шевяковым, и Лиза лениво молчала, накручивая локоны на пальцы.

Было уже поздно. Мироша вздыхала и зевала на кухне, но Лиза не решалась прогнать своего гостя. А он заговорил о своем одиночестве, о том, как он счастлив эти два вечера в ее обществе и как ему легче и веселее будет работать, зная, что в свободный час он может навесить ее, если она позволит.

— А я люблю свое одиночество и ничего не хочу менять в своей жизни,— вспыхнув, со злостью сказала Лиза. — Вы!.. Вы, друг Лени!.. Вы так быстро забыли его, что смеете...

Он покраснел и начал оправдываться, но она со слезами в голосе напала на него:

— Да, да! Вы думаете — погоревала и забыла! Это гадко! Гадко! Вы два вечера со мной, и вы даже ни разу не вспомнили Леню. Неужели вы думаете, что я стала бы встречаться с вами, если бы я не думала, что вы разделяете со мной... что вы уважаете... что вы... — Она расплакалась и закричала: — Уходите! Уходите! Я не могу вас видеть... друг называется!

Он оправдывался как мог. Она постепенно успокоилась и почти помирилась с ним. Уже у двери он сказал ей:

— Вы простите меня, Лиза. Я не хотел обидеть вас. Я не забыл Леню. Но я думал, что жизнь берет свое. Я хотел...

— А я ничего не хочу! — страстно сказала Лиза. — Понимаете? Ни-че-го!

«Я не хочу,— внушала себе Лиза назавтра, стараясь не глядеть по сторонам на оживающий мир. — Мне ничего не нужно. Я не хочу...»

Но она хотела. Она жила. Ее ноздри против ее воли втягивали запахи талого снега, соленого ветра и разогретой, прелой земли. Глаза видели солнечный свет, искрами вспыхивающий в журчащих ручейках, набухшую влагой землю, готовую выпустить первые зеленые ростки. Ее кожа горела на ветру. Ее слух ловил многоголосый звон капли...

И вдруг она увидела воробья. В городе, покинутом птицами, она увидела обыкновенного взлохмаченного воробья, который вприпрыжку пересекал набережную. Она остановилась. Воробей покосился на нее блестящим гла-

зом, вспорхнул, перелетел подальше и снова запрыгал, ероша перья. Она шагнула к нему, но воробей снова вспорхнул, сделал круг над мостовой и сел на карниз. Крылышки его вздрагивали от падающих с крыши капель.

Значит, жизнь несомненно возвращается! Новые птицы прилетели, ничего не зная о тех, других... И в теле Лизы билась кровь, пульсировала в висках, подступала к щекам, горячила губы — не потому ли так свеж казался ветер?..

Громкий скрежет привлек ее внимание. Во втором этаже полуразрушенного дома распахнулось окно. В тусклом, закопченном стекле милостиво блеснуло солнце. Две тощие руки закрепили крючки, и вслед за тем сам человек перегнулся через подоконник и свесил голову, озирая набережную. Лицо было не молодое и не старое, — кто его знает, сколько раз оно встречало вот так весну! Оно было вне возраста и вне жизни — заостренное, с глубокими впадинами на щеках, с синевато-черными пятнами отеков под огромными глазами.

Лиза не могла отвести взгляда от этого полувидения-получеловека. «Выжил-таки», — подумала она с недоверием. В это время лицо широко улыбнулось ей, став веселым, простым и совсем человеческим, одна бровь озорно поднялась, глаз заговорщицки подмигнул и обыкновенный мягкий голос крикнул ей:

— Красота!

Она с улыбкой кивнула, невольно замедлив шаг.

— Живем! — снова крикнул человек и засмеялся, щурясь, подмигивая, шевеля подвижной бровью.

Лизе стало ясно, что человек этот молод и отеки пройдут, тело нальется соками жизни и восстановит прежнюю силу!

— Живем! — крикнула в ответ Лиза, чтобы не убивать радость этого воскресшего из мертвых, и ускорила шаг. «Да... да... Я тоже живу... И радуюсь тому, что не умерла... И хочу солнца, радости, любви... И любви тоже... Куда деваться от самой себя?»

У Шевякова кончались штабные учения. Завтра он должен был вернуться на корабль. Она не рассердилась, когда он позвонил ей по телефону и, запинаясь, попрощался. Ей хотелось встретиться с ним и услышать снова его хороший голос: «Вот забавно, у вас волосы голубые, а глаза черные...» Но она сухо сказала:

— Желаю успехов.

— Вы не сердитесь, Лизонька? — глухо спросил он. Чуть не плача, она ответила:

— Нет, нет. Прощайте, Леня.

И повесила трубку, но еще долго сжимала ее нагретую ручку в ладони, как будто ожидая, что телефон вот-вот позвонит.

7

Пятитонка уже мчалась полным ходом по шоссе, а Соне все еще мерещились торосы и разливы мутной воды и все хотелось приоткрыть дверцу, чтобы успеть выпрыгнуть, если случится беда. Этот последний рейс по тающему льду Ладоги был на редкость тяжелым даже для выдавших виды ветеранов ледовой трассы. Дорога «поплыла». Почти на всем ее протяжении поверх непрочного, прогибающегося льда выступила вода, и машины шли в ней, поднимая буруны, как торпедные катера. Сильный ветер рябил воду и гонял ее волнами. Соне казалось, будто грузовики плывут по морю. Когда машина застряла, она выскочила на лед и оказалась в воде по колени.

Самые выносливые шоферы взмокли от пота — такого напряжения требовал этот рейс. Соню бросало то в жар, то в холод. Открыв дверцу, она до рези в глазах вглядывалась в дорогу, в ее смутные приметы и, не выпуская из виду машины, идущей впереди, следила за каждым маневром ее водителя.

Когда озеро осталось позади и пять машин последнего эшелона понеслись по шоссе к Ленинграду, Соня почувствовала себя измочаленной, ни на что не способной — хоть плачь! Ветер пронизывал ее насквозь, леденя мокрую одежду. Глаза болели. Соня время от времени закрывала их и вела машину вслепую, но тогда перед нею начинали рябить волны и взлетать брызги бурунов, и она испуганно вздрагивала, чувствуя, что засыпает.

Подбадривая себя, она думала о том, что уже близко Ленинград, в котором она не была с середины зимы, и что автобат теперь перебазировать куда-нибудь на Ленинградский фронт, а пока, наверное, будет передышка и можно будет выпросить увольнение домой. «Домой!» — повторяла она вслух, обретая новые силы от одной мысли, что попадет домой. Она не мечтала о встрече с сестрой или с Мирошей, она даже не думала сейчас о них, —

ею владело одно простое желание: скинуть комбинезон, сапоги и всю свою грубую, мокрую, пропахшую потом одежду, вымыться с головы до ног, надеть халатик и домашние туфли, на полчаса сесть в кресло и выпить чаю из домашней голубой чашки...

Чтобы не заснуть на ходу, она заставляла себя обдумывать, как все это осуществится, что она скажет своему лейтенанту и что ответит лейтенант. Она убеждала себя, что он неплохой парень, этот лейтенант, хотя и нагловат и любит показать свою власть. Мысль о лейтенанте привела ее к воспоминанию, доставлявшему боль, и она постаралась отвлечься от всяких мыслей вообще и стала громко, сердито петь, чтобы разогнать сон. Но голос хрипел и не слушался, слова песни забылись. А воспоминание шевелилось в мозгу и вызывало острую боль...

После трех недель мучительного ожидания, тоски и страха она решилась попросить однодневный отпуск, чтобы съездить в полк, где служил Мика, и узнать на месте, что с Микой случилось и куда его увезли. Лейтенант был не в духе и заорал на Соню, что она сошла с ума, что она не комсомолка, а баба, и толку от бабы не будет, он знал это с первого дня. Соня ушла оскорбленная, потому что работала в комсомольском эшелоне, совершавшем не меньше трех рейсов в сутки и ежедневно перевыполнявшем план перевозок. На ее личном счету было тогда уже двести пятнадцать тонн перевезенных грузов, чем могли похвастать далеко не все водители. Она вывела машину в очередной рейс и половину дороги плакала от обиды, от страха за Микку и от ненависти к лейтенанту. Но на следующий день лейтенант срочно вызвал ее и еще издали закричал: «Собирайтесь скорей! Сейчас идет аэродромная машина, вас подвезут, я договорился!» И она не успела опомниться, как уже машина везла ее к аэродрому и два ее попутчика, оказавшиеся техниками, давали ей советы, к кому обратиться в полку и кого из «стариков» она может найти. «Старики!» Так они называли летчиков, которые служили вместе с Миккой.

Она повидала и комиссара полка, и командира, и многих Микиных товарищей,— их было не так мало, хотя они уже терялись среди новичков. Ее утешали и успокаивали, наперебой уверяли, что Мика ранен не опасно и, конечно, поправится и даже вернется в строй... Соня старалась верить тому, что ей говорили, но сердце ее

холодело от отчаяния. Никто ничего не знал точно: Мику подобрали и отправили в госпиталь пехотинцы. И сколько бы ее ни успокаивали, она не могла верить, что Мика жив, не при смерти и все-таки не пишет ей ни слова...

Так она и жила с тех пор, внутренне сжавшись и похолодев от тоски. Она по-прежнему старательно водила машину, всеми силами стремилась сделать три рейса, а иногда и четыре, соревновалась с другими шоферами и отвечала им на шутку шуткой, на доброе слово добрым словом, на резкость резкостью. Ее любили за веселость, за упорство, с каким она работала, держась наравне с мужчинами, и она осталась и упорной, и веселой. Это помогало ей,— да и что было бы, если б среди тяжелого труда, лишений и смертей каждый выносил свои переживания на людях!

Случались и радости в ее трудной жизни. Комсомольцы создали ударные комсомольские эшелоны, и эшелон, в котором работала Соня, вышел на первое место в соревновании. На ее личном счету теперь значилось уже триста восемьдесят три тонны. Лейтенант шепнул ей однажды, что командование представило ее к медали «За отвагу». Из всех возможных наград Соню больше всего привлекала эта медаль: взглянув на нее, каждый должен был понять, что Соня вела себя храбро. Но и в радости присутствовал едкий привкус горя. От Мики не было вестей, даже написать ему было некуда, и небо над трассой стало пустым,— сколько бы ни было в нем самолетов, не хватало одного, самого нужного, заполнявшего прежде Сонину жизнь тревожной радостью и гордостью...

Машины вошли в город.

Соню уже клонило ко сну. Она смотрела по сторонам, стараясь уловить сущность перемены, происшедшей в городе. Машины пронеслись мимо развалин и мимо уцелевших домов, исчирканных осколками снарядов, мимо колонок, где горожане набирался воду, и мимо трамвайных остановок, где стояли кучки людей. Все было буднично, привычно. Люди выглядели получше, крепче; Соня с радостью отметила это; она знала, что есть и ее доля труда в том, что ленинградцы уже два месяца получают шестьсот, пятьсот и четыреста граммов хлеба, а рабочие оборонных предприятий — даже семьсот граммов. Но этой перемены она ждала, а другую никак не могла уловить. Что-то произошло с самим городом... И вдруг

она увидела женщину в белом фартуке, деловито подметавшую мостовую. Женщина посторонилась, пропуская машины, но из-за угла вышел трамвай, и женщина вся застыла в узком пространстве между трамваем и машинами, заметила, что Соня сочувственно замедлила ход, и улыбнулась ей. И тогда Соня поняла, что поразило ее в облике города: город лежал прибранный, трогательно чистый, как под праздник, и в нем снова ходили трамваи. Ленинградцы восстановили трамвай! Эта новость еще не успела дойти до Ладоги.

Во временную казарму автобата попали только к вечеру. Соня пошла доложить лейтенанту, а лейтенант приказал ей подготовить машину к ночи,— значит, предстояла новая поездка. Неужели автобат перебазировается в эту же ночь? Соня была так утомлена и удручена, что даже не попросила увольнения и коротко спросила:

— Разрешите исполнять?

Но лейтенант сам спросил:

— А домой не хотите?

— Ой, конечно, хочу! — воскликнула Соня.

— Дать вам увольнение, Сонечка, я не имею права. Сегодня! — многозначительно сказал лейтенант. — Но вот вам пакет. Снесете по адресу. Если вам повезет с трамваем, у вас выкроится часа два для личных дел. Идет?

— Еще бы! Разрешите бежать?

— Беги, раз ноги бегут.

Дома Соня застала только Мирошу с Андрюшкой. Но даже не поздоровалась с ними как следует, потому что глаза ее разглядели знакомый треугольничек письма, засунутого под раму зеркала, и на этом треугольничке — знакомый почерк с завитушками и росчерками.

— Я уложу спать Андрюшеньку и приду,— сказала Мироша, испуганно косясь на письмо: в эти военные дни каждое письмо казалось ей вестником беды.

— Ладно,— рассеянно ответила Соня и торопливо закрылась в комнате.

Было полутемно, но в окно еще струился блеклый вечерний свет. Соня развернула у окна треугольничек бумаги и помедлила, собираясь с силами, чтобы принять все, что там таится. Обращение было простое и веселое, первые строки — бодрыми и незначительными, как будто это было не первое и единственное письмо за четыре месяца, а одно из многих писем. Так оно и оказалось. Мика сетовал на то, что не получает от Сони ответа, и

высказывал опасение, что он напутал с номером ее полевой почты. Соня опустила на колени письмо и несколько минут молча осваивалась с той простой истиной, что Мика — жив, что у Мики все в порядке, что ее опасения не оправдались. А потом жаркая, веселая надежда заставила ее схватиться за письмо. «Что касается меня,— писал Мика,— то починили меня полностью, и сегодня я выезжаю со своими новыми приятелями поближе к теплomu морю. Сама понимаешь, отдыхать не собираемся, хотя места и курортные».

Соня несколько раз подряд перечитала эти строчки, мертвея от еще не до конца осознанного смысла их. Потом она прочитала дальше: «Как только определюсь, пришлю тебе номер почты. Очень беспокоюсь о тебе и о родном городе. Когда-то теперь увидимся!» Она опять вернулась назад, к ужаснувшим ее строчкам, и поняла всё до конца. Из госпиталя Микy направили в новую часть и «с новыми приятелями» отправляют куда-то к Черному морю, «в курортные места», может быть на Керченский полуостров или в Севастополь... куда-то, где идут большие бои,— «отдыхать не собираемся...»

Конец письма был нежный, но сдержанный. Соня угадала, что Мика вполне поправился и даже отдохнул, и сейчас он в боевом настроении, но раздосадован назначением на далекий Южный фронт и поэтому взбадривает себя бойкими, веселыми словами.

Строчки письма растворились в полумраке. Соня смотрела прямо перед собой в окно, за которым густели поздние сумерки. Она не видела и не чувствовала ничего, кроме пустоты. Огромной пустоты пространства и времени, отделявших ее от Мики.

Мироша приоткрыла дверь и робко спросила:

— Ты где, Сонюшка?

Соня вздрогнула, огляделась, увидела себя сидящей в темноте и подскочила в испуге:

— Который час?

— Да уж начало одиннадцатого, наверно.

— Одиннадцатого?!

Соня бросилась к двери, на ходу запихивая в карман Микино письмо. Она даже не простилась толком с теткой, что-то невпопад ответила ей, через три ступеньки понеслась вниз по лестнице. Сапоги ее подсохли и больно сжимали распухшие ноги. Но она все-таки бежала всю

дорогу и опоздала лишь на шесть минут. Подмигнув дежурному, скользнула в гараж к своей машине, взяла тряпку, чтобы обмыть ее, да так и села с грязной тряпкой в руках на подножку грузовика.

В огромном холодном гараже рядами стояли обшарпанные, тоже по-своему усталые и до предела заезженные машины. Как они скрипели и дребезжали, бедняги, когда их снова и снова выводили в долгий путь!

Соня сочувственно и грустно оглядела ряды машин, потом себя: замызганный, в темных пятнах полушубок, промасленные ватные штаны, покоробившиеся солдатские сапоги и загрубелые, шершавые руки. В потрескавшуюся на морозе кожу въелась маслянистая грязь. Не скоро отмоешь теперь! Да и не скоро придется отмывать добела!.. должно быть, сегодня же или завтра автобат тронется на новое место, и снова пойдут дни и месяцы опасных, утомительных поездок с короткими передышками, во время которых только и думаешь, как бы поплотнее поесть да поскорее завалиться спать. Это и есть война. Суровая, простая и жестокая война, через которую надо пройти, не ослабев. Впереди долгие месяцы — а может быть, и годы? — разлуки, грубого фронтового труда, мытарств, тревоги, редких писем, а порой страшных недель полной неизвестности, ожидания, страха. Сколько дорог надо изъездить до встречи!.. И может быть, самое плохое случится с Микой, или с нею, или с обоими, прежде чем все кончится победой?..

Кто-то шел по гаражу. Соня вскочила, скосив глаза в ту сторону, откуда приближались шаги.

— Эге, Сонечка явилась! — приветствовал ее один из товарищей. — Ну что, нагулялась?

— А как же! — бойко откликнулась Соня. — Шесть минут лишних прихватила. Уж гулять так гулять!

8

Предполагалось, что на танковый завод поедут Гудимов, Ольга и «дед» Владимир Петрович. Но в последнюю минуту Гудимова вызвали к члену Военного совета Ленинградского фронта, и Ольге пришлось выступать вдвоем с «дедом».

На таких собраниях Ольга обычно рассказывала о том, как ее поймали немцы и как Сычиха спасла ее

ценой собственной жизни, а «дед» рассказывал о ночном переходе тысячи человек по охотничьей тропе через болото.

Стоя на трибуне перед несколькими сотнями притихших слушателей, Ольга начала свой рассказ. Но сегодня он не удовлетворял ее. Ведь какие люди слушали ее! Рабочие прославленного завода, герои небывалого сопротивления! Они знали толк в героизме и выносливости. Если бы здесь был Гудимов! Он умел просто и даже весело рассказать о множестве людей и событий так, что слушатели получали ясное представление о самом главном — о народности партизанского движения, о трудности условий и героическом упорстве партизан. Его выступления были убедительным отчетом перед взыскательным судьей — народом. А Ольга не умела собрать воедино и связно обобщить свои наблюдения и чувствовала, что проходит мимо главного, что от волнения ее мысли разбегаются.

Но собравшиеся слушали ее затаив дыхание, с нежностью и уважением разглядывали худенькую, очень молоденькую девушку, испытавшую так много. Слушал Григорий Кораблев, с горечью думая о том, что ранение слишком быстро вывело его из строя и что он мог бы принести у партизан куда больше пользы и как боец, и как мастер. Слушала Лиза, с благоговением повторяя себе, что вот это и есть настоящая борьба и что только так стоит жить. Слушал Солдухин, ворча про себя: «А я-то, старая развалина, все ругаюсь, все жалуясь, сам себя в герои записал, что не помер. А вот они — настоящие-то люди!» Слушал Сашок, мысленно переживая всё, что рассказывала Ольга, но мгновенно дополняя и на свой лад улучшая события: ножом, брошенным в окошко, он сам убивал часового, спасая Сычиху от гибели, он хватал автомат убитого часового и короткими очередями косил всех, кто пытался подойти; он устраивал засаду и ловил эсэсовского генерала... Рядом с ним Григорьева утирала слезы, жалея молодость Ольги, и думала: «Меня вот, старую, не жалко, жизнь все равно на исходе, мне бы напоследок отомстить проклятым за Гришутку, за Ванюшку, за все наши слезы! Я бы сама под поезд легла, лишь бы они, душегубы, полетели под откос. Мне бы, мне бы такое утоление, такую последнюю отраду!» Слушал Владимир Иванович, из президиума собрания поглядывая то на Ольгу, то на возбужден-

ное отчаянное лицо Соловухи в первом ряду и раздумывая о том, что эти советские девушки, полные жизнелюбия и жажды самоутверждения, никогда не удовлетворятся узкими интересами своего дома и семьи, что они идут с мужчинами вровень даже в воинском труде. А в это время Люба мысленно умоляла мужа: «Отпусти меня, Володечка, отпусти меня с ними! Я не попадусь в плен, как она, я буду хитрой, осторожной и ловкой. Я и стрелять умею отлично, и на лыжах бегаю превосходно, и ничего не побоюсь. А мне так хочется пожить этой удивительной, страшной, интересной жизнью! Отпусти, Володечка, я буду так любить тебя за это!..» Левитин, слушая Ольгу, думал о том, как много чистых, замечательных людей проявила война и как легко будет с ними работать после победы, лишь бы они уцелели, лишь бы побольше их уцелело...

А Ольга, не уловив ни благородной зависти, ни волнения слушателей, чувствовала себя напряженно, как на экзамене, причем отвечала она на этом экзамене не только за себя, но и за всех своих товарищей.

— Мы стараемся быть такими же стойкими и выносливыми, как вы,— сказала она. — Мы учимся бороться у ленинградцев и хотим заслужить право называться ленинградцами.

На многих лицах промелькнуло удивление. Солодухин даже головой покачал: «Ишь ты как возвеличила нас!» Сашок приосанился. Люба оторвалась от своего мысленного спора с мужем и призадумалась.

Ольга заметила движение, вызванное ее словами. Да, ленинградцы еще не понимают величия своего подвига! Ей стало легко. Робеть нечего, не для того они приехали, чтобы считаться подвигами, их встреча — это встреча боевых соратников для взаимной поддержки, для обмена опытом. Она так и сказала, вызвав дружные рукоплескания, и затем неожиданно для самой себя заговорила о предательстве Иринки. Волнуясь, она подробно рассказала все, что знала об этой девушке, как будто присутствующим было так же важно понять причины падения Иринки, как это было важно Ольге. По воцарившейся в зале тишине она увидела, что это действительно важно всем.

— И вот, товарищи, я виню себя,— сказала Ольга решительно. — Ведь она была рядом со мною. А я не заглянула в ее душу. Она же три месяца подряд видела

нашу работу, иногда тянулась к нам, иногда в страхе шарахалась. А я прошла мимо ее слабости, ее неустойчивости. Почему я не поговорила с нею в открытую? Не предупредила ее, что нет среднего пути? Не укрепила ее душу? Ведь ей было двадцать лет! Она не устояла, сдалась, но я в этом сама виновата! Да, виновата! — страстно подтвердила Ольга, отмахнувшись от протестующего возгласа «деда». — Человеку в тех условиях надо доверять много или ничего. На полпути останавливаться нельзя! Если бы я внушила ей доверие к ее собственным силам, заставила ее принять решение и перешагнуть через свой страх и легкомыслие... Да ведь мы все хоть раз в жизни перешагнули через свой страх, разве не верно? — Она передохнула и с такой же страстностью продолжала: — Я говорю об этом потому, что это — часть моего боевого опыта. И этот опыт важен всем. Нельзя быть равнодушными к другому человеку, к его слабости. Надо бороться за каждую душу, говорить с каждым прямо, внимательно и требовательно! — Она посмотрела поверх голов слушателей, улыбнулась возникшему перед нею образу и сказала: — Я хочу рассказать вам, как наш командир воспитывает нас. Он нам доверяет, товарищи. Это, по-моему, главное. Он верит в наши силы и заставляет нас верить, что ты все сможешь, все вытерпишь, со всем справишься.

Она вдруг вспыхнула, повернулась к раскрывшейся возле подмостков двери и произнесла с восторженной и безоглядной любовью:

— Да вот он сам приехал, наш командир!

Гудимов и Пегов поднялись на подмости. Они только что приехали из Смольного, и на лице Гудимова еще держалось серьезное, озабоченное выражение. Его встретили рукоплесканиями; он тряхнул головой, оживился и охотно вышел к трибуне.

Ольга уже несколько раз за последние дни слушала его выступления перед ленинградцами. Но сегодня она уловила в его речи какую-то новую, суровую интонацию.

— Нас ушло в лес семнадцать человек, а один испугался, убежал. Мы были тогда очень слабы, а теперь против нас посылают дивизии карателей с артиллерией и самолетами и все-таки не могут уничтожить нас. И не уничтожат! Хотя, быть может, нам еще придется очень туго. Мы обещаем вам, ленинградцы, что выдержим самый

жестокий напор, но превратим немецкий тыл в ад для врага!

Так закончил Гудимов. В этой концовке не было ничего необыкновенного, но за обычными словами Ольге почувствовалась внутренняя тревога.

— Что случилось, Алексей Григорьевич? — спросила она, как только они сели в машину.

— Ничего, Оленька, ничего, — ответил он, стиснув ее руку. — Я договорился насчет машины — завезем «деда», а потом — к Маше Смолиной. А то и не соберемся к ней до отъезда.

— Уезжать-то скоро будем? — спросил Владимир Петрович, которого ежедневные выступления утомили больше, чем любые партизанские скитания.

— Погостили — пора и честь знать, — ответил Гудимов.

Мария бродила по своей квартире, то бесцельно перекладывая и переставляя вещи, то рассматривая свое отражение в зеркале испытующим, недоверчивым взглядом, то останавливаясь в передней, чтобы послушать, не слышны ли шаги на лестнице. Она сказала Каменскому, что будет дома с восьми, но пришла гораздо раньше и уже успела придать своей запущенной за зиму комнате довоенный уютный вид, уложила спать Андрюшу и надела единственное уцелевшее от обмена на хлеб, темно-вишневое платье. Сначала она сама себе понравилась в этом платье. Но прошел час, прошло полтора часа, стрелка часов приближалась к десяти, а Каменского все не было. И теперь, заглядывая в зеркало, она недоброжелательно, безжалостно судила себя — она заметила и отечную припухлость нижних век, и морщинки возле рта, и сероватую бледность щек...

Утром Каменский позвонил ей и сообщил, что добился назначения на фронт и получает свой прежний полк. Он был очень доволен, а Мария только тихо спросила:

— Когда?

— Приказ еще не подписан, но вопрос решен. Надеюсь, что дня через два-три смогу принять полк.

Она заставила себя поздравить его и сказала, что вечером будет дома. Ей показалось, что он обрадовался этому меньше, чем обычно. Он весь захвачен новыми заботами и надеждами. И через два-три дня он уедет.

«Я люблю его,—говорила она себе, бродя по квартире. — Я люблю его, и он мне необходим... А он? Он даже не подумал о том, что отъезд в полк — это разлука! Любит ли он? Наша любовь началась не так, как надо... Горькие впечатления врывались в каждую из встреч. Отношения стали братскими, дружескими еще до того, как победила любовь. Может ли теперь стать иначе? Не поздно ли?..»

«Может», — сказала она себе, услышав стук на парадной, и побежала открывать дверь, сама не зная, что сделает и что скажет, зная только, что не будет ни таить, ни сдерживать любовь.

Но это были Ольга и Гудимов.

Мария желала и боялась встречи с Гудимовым. Она предвидела тягостный, но что-то до конца решающий разговор о Борисе. Что скажет Гудимов?

Они расцеловались, как старые друзья. Гудимов расспрашивал Марию, Мария расспрашивала Гудимова и Ольгу, беседа перескакивала с одной темы на другую, в середине беседы пришел Каменский, обрадовался интересной встрече, сразу подружился с Гудимовым и Ольгой, беседа потекла еще оживленнее, и никто не заговорил о Трубникове, все забыли о нем, — Трубников уже не существовал для них.

Вспомнила только Мария — мельком, чтобы сказать себе, что прошлое отброшено навсегда. Она села на ручку кресла возле Каменского, коснувшись его плеча. Он поглядел на нее снизу вверх благодарным взглядом, и она поверила, что он любит ее. Ей хотелось громко признать: вот он, человек, которого я люблю.

Но Гудимов вдруг повернулся к Марии и, сделав над собой мучительное усилие, проговорил:

— Маша, вы сможете приютить у себя на несколько недель вот эту девушку? Ее оставляют в Ленинграде.

Два часа назад член Военного совета Ленинградского фронта показал Гудимову радиограмму штаба партизанской бригады и сводку разведывательных данных. Немцы снова стягивали силы вокруг Партизанского края, намереваясь на этот раз плотно блокировать и разгромить партизан. Вчера были отбиты первые вылазки, предпринятые немцами. На большой станции несколько смельчаков вызвали крушение большого эшелона карателей. Немцы подвезли артиллерию, но один из складов со снаряда-

ми в первую же ночь взлетел на воздух. По примерным подсчетам, вокруг Партизанского края сконцентрировано до двух дивизий и две эсэсовские карательные группы...

— Надо возвращаться,— дочитав сводку, сказал Гудимов.

Теперь, когда он был далеко от своей бригады, полученные известия пугали его гораздо сильнее, чем если бы он получил их на месте. Он предвидел все меры, какие сейчас предпринимаются и какие надо предпринять... Догадаются ли там без него? Сумеют ли?..

— Разрешите вылететь сегодня же?

— Такой крайности нет,— сказал член Военного совета. — Сейчас распутица, немцы не полезут, пока не подсохнет. А здесь вы делаете важное дело. Ваш приезд — большая поддержка для нашего народа.

Они все-таки договорились сжать план встреч партизан с ленинградцами и ускорить отъезд группы. Все было решено. Гудимова ждал Пегов, чтобы ехать вместе на танковый завод. Но Гудимов медлил, не решаясь высказать просьбу, горевшую на губах.

— Ну, всё? — спросил член Военного совета.

— Есть еще личная просьба.

— Давай, давай, сделаем.

— Я бы хотел... оставить здесь одного человека.

Член Военного совета вопросительно вскинул глаза, увидел побледневшее лицо Гудимова и мягко сказал:

— Ладно. А что она может делать, если оставить ее в партизанском центре?

— Все,— уверенно сказал Гудимов. — Она грамотная, способная девушка, комсомольский работник, ей можно доверять полностью.

— Идет.

Разговор был окончен, но оба задумались. Потом член Военного совета спросил равнодушным голосом, но со странным выражением тревоги и сожаления на лице:

— А она согласна остаться?

— Не знаю,— угрюмо ответил Гудимов. — Думаю, что заставить ее согласиться будет нелегко. Мне хотелось бы так поставить вопрос, что ее оставляют.

После паузы оба встали, и член Военного совета спросил, прощаясь:

— А тебе... не очень трудно оставить ее здесь? Может быть, не стоит?

— Трудно. Но еще труднее посылать ее на задания, на операции.

— Так не посылай. Держи ее при себе, в штабе. Конечно, и там риск, но...

Гудимов горько усмехнулся:

— Это невозможно. И она никогда на это не согласится, и я не имею права.

— Ох, Алексей Григорьевич, какие задачи жизнь перед большевиками ставит!

Гудимов вздохнул и заставил себя улыбнуться:

— Однако и мы ставим перед жизнью немалые задачи!

И вот теперь он должен был договориться с Ольгой. Он нарочно затеял поездку к Марии Смолиной. Здесь он и оставит Ольгу, когда уедет. Может быть, уют домашней обстановки после стольких мытарств и лишений соблазнит ее, поможет смириться?..

Не решаясь заговорить с Ольгой, он обратился к Марии. В комнате наступила тишина, и в этой тишине прозвучал резкий голос Ольги:

— О ком речь, Алексей Григорьевич?

Твердо глядя в сверкающие гневом глаза Ольги, Гудимов объяснил, что ее оставляют на несколько недель для работы в партизанском центре. Так нужно для дела, через несколько недель ее сменит Коля Прохоров или еще кто-либо. Она будет работать по связи с бригадой.

— Это несправедливо! — звонко выкрикнула Ольга. — Они не имеют права! Почему вы не сказали им, что я ни за что не останусь?

— Девушка! — примирительно вмешался Каменский, не понимая толком, что тут происходит, но желая поддержать Гудимова из мужской и командирской солидарности. — Приказ есть приказ, и если вам приказывают остаться...

— Это не может быть, чтобы мне приказали... — прошептала Ольга.

Ей живо представились друзья, оставленные в бригаде, землянка, где она жила, землянка, где стояла рация Коли Прохорова, штаб, куда она ходила за новыми заданиями и где было так отрадно хоть издали увидеть Гудимова... долгие беседы с Колей Прохоровым — он один догадывался о ее любви и грустно сочувствовал ей... ожидающий вестей Юрий Музыкант... молчаливый и строгий Антонов, тащивший ее на спине двенадцать часов... Тетя Саша

и Таня, доверчиво и самоотверженно помогавшие ей во всем... Не вернуться к ним?! Это было невысказано. Она вспомнила первую диверсию, свое прощание с Трошиным и Женей Орловым и минуту, когда, услышав страшный взрыв, выбежала к реке и увидела в отсветах пламени медленно, как бы задумчиво падающие в воду черные переплеты взорванного моста... и долгое ожидание, и рассвет, и напряженный голос Гудимова: «Доблестная, славная смерть!» Она вспомнила многих других товарищей, которых уже нет, вспомнила старую Сычиху, ее шепот: «Беги!» и те два выстрела, что прозвучали в ночной тишине... Обмануть этих людей? Никогда!

— Такого приказа не может быть,— повторила она. И вдруг догадка осенила ее, догадка, подтверждаемая той внутренней тревожной озабоченностью Гудимова, с которой он приехал из Смольного. — Вы скрываете от меня правду, Алексей Григорьевич. Какие новости вы узнали сегодня? Плохие, да?

— Неважные.

И Гудимов начал рассказывать, ничего не утаивая, даже сгущая краски в надежде, что Ольга, быть может, ужаснется и поймет — лучше остаться. Скрыть от нее надвигающуюся опасность было выше его сил. Оставшись здесь, она никогда не простила бы ему обмана. А если он пообещает вскоре, когда угроза пройдет, вызвать ее обратно,— может быть, она и смирится?

В тревоге за товарищей, забыв о себе, Ольга расспрашивала, высказывала свои предположения, кто были те смельчаки, что вызвали крушение эшелона, придумывала новые диверсии, волновалась, придут ли они в голову другим, жалела, что ее нет там сейчас,— ее, имеющей такие верные связи и среди железнодорожников, и в деревнях... Когда она снова вспомнила о себе и о желании Гудимова оставить ее, она уже не возмущалась, а подошла к Гудимову и заглянула ему в глаза:

— Вы хотите уберечь меня, Алексей Григорьевич?

Мужская, горькая, долго сдерживаемая тоска прорвалась в его коротком ответе:

— Хочу!

И тогда Ольга порывисто схватила его руку и прижалась к ней лицом.

— Если вы хотите, Гудимов... если вы хотите сберечь меня — не оставляйте! Не оставляйте никогда. Понимаете? Никогда!

Оторвавшись от его руки, она бросилась на диван и зарылась головой в подушку.

Гудимов дрожащими пальцами доставал папиросу.

— Здесь Андрияша спит, нас выгонят, — сказал Каменский, увлекая его к двери. — Пойдемте курить на кухню.

— Черт! — сказал Гудимов, так как папироса сломалась в его пальцах, и вытащил другую. Уходя, он с мольбой шепнул Марии: — Уговорите ее, Маша.

Ольга и Мария долго молчали. Марии был понятен страстный отказ Ольги, но ей хотелось помочь Гудимову, да и сама она боялась отпустить Ольгу туда, где ее подстерегает смерть. Ольга все еще прятала лицо в подушку. Мария потянула ее за плечи и спросила с улыбкой:

— Ты все еще не веришь, Оля, что он тебя любит?

Ольга не ответила, но насторожилась.

— А ты еще говорила, что он не бережет тебя... не считается с твоей слабостью!..

Ольга упрямо мотнула головой и буркнула в подушку:

— И лучше бы не берег!

Мария с силой оторвала ее от подушки, села рядом.

— Подожди, Олечка. Не горячись. Я не хочу вмешиваться... Но ведь это на несколько недель. И тебе предлагают работу нужную, ответственную, полезную твоим товарищам... — Ольга вырвалась, вскочила, прошла по комнате и остановилась напротив Марии:

— Чтобы их пока убили? Выждать, пока минует опасность? Спасать свою шкуру?! И это советуешь мне ты? Ты?!

В комнате горела одна настольная лампа. Ольга стояла спиной к свету. Мария не видела ее лица, только светлый контур обрисовывал ее вскинутую голову и узенькие плечи. Мария даже заслонилась рукой, — так ярко встал в памяти другой вечер. Вот так же горела настольная лампа, освещая сзади безвольно опущенные плечи и упрямо пригнутую голову Бориса. Как он сказал тогда? «Фанатик... Жанна д'Арк... В конце концов, я не хочу быть лишней жертвой в кровавой бане, которая будет на днях...» А его сестра требует, чтобы ей разрешили вернуться к товарищам и разделить с ними смертельную опасность.

— Прости меня, Оля...

— Ты же понимаешь! — обрадованно сказала Ольга, обнимая Марию. — И знаешь, Маша, сейчас... я поеду туда, даже если его оставят!

Мужчины молча курили в кухне, смущенные недавней сценой. Докурив папиросу, Гудимов прикурил от нее вторую. Каменский примял свою и сказал:

— Простите, что я вмешиваюсь в ваши дела. Не оставляйте ее. Обоим будет лучше.

Гудимов поморщился. Выражение беспомощности было странно на его лице, но оно только промелькнуло.

— Если бы она... относилась ко мне иначе,— сказал он,— мне было бы не так трудно. А вечно бороться с собой... И уж очень она хорошая. Ей жить. После победы жить.

— Я тоже очень хотел отправить Марию Николаевну в тыл,— сказал Каменский. — Но имеем ли мы право навязывать им путь, который сами отвергаем?

— У-ух, эта война! — со злобой процедил Гудимов. — Ненавижу!

Вошла Мария, оба обернулись к ней.

— Дайте папиросу, Алексей Григорьевич,— попросила Мария и жадно закурила, стараясь унять волнение. — Я ничего не достигла,— быстро сказала она. — Оля права. Не мучайте ее.

— Она права,— утомленно согласился Гудимов. — Но вы-то понимаете, Маша, что я не могу, не имею права беречь ее там... больше, чем других?

— Понимаю,— так же быстро сказала Мария. — Но я верю в силу любви.

— Любви?

— Да,— подтвердила Мария, глядя на Каменского с торжественной убежденностью. — Любовь должна хранить человека. А если и не сохранит, то даст счастье перед смертью.

Гудимов взял ее руки в свои и крепко пожал их.

— Вы уверены, Маша?

— Конечно,— легко ответила Мария. — Идите к ней, идите же!..

Гудимов еще прикрывал за собой дверь, когда Каменский шагнул к Марии.

— Какие слова! — сказал он со страстным упреком. — Почему вы не сказали их мне, Марина?

Она улыбнулась, исподлобья глядя в его возбужденное лицо:

— Разве вы не поняли, что я говорила и вам?

Последнюю посадку перед Ленинградом самолет совершил где-то в поле,— отсюда его должны были сопроводить истребители. По краю поля бродили пассажиры, ожидая отправки самолетов на Ленинград, на Москву, на Урал.

Василий Васильевич Кораблев потолкался среди пассажиров, прислушиваясь к их разговорам и охотно завязывая знакомства. Тут были партизаны, возвращавшиеся из Ленинграда к себе, в леса Ленинградской области,— им предстоял еще сложный путь. Были командиры, армейские и флотские, но больше всего было всяких штатских «командировочных», летевших из Ленинграда и в Ленинград по разным делам. Василию Васильевичу очень понравилась обстоятельность, с какой жил в осаде его родной город: враг на шоссе Стачек, а в городе готовят научные диссертации, волнуются о штатных ассигнованиях и ставят спектакли. Должно быть, опасный перелет через зону фронта нет-нет да и заставит сердце сжаться, но по виду все спокойны и не говорят об опасности. И вновь прилетающие задают только один тревожный вопрос:

— Новой сводки не слышали? Что в Керчи?

И тогда оживленные лица становятся озабоченными, и кто-нибудь коротко отвечает:

— Пока отбиваются.

Пилот прошел к самолету и через плечо бросил своим пассажирам:

— Давайте, поехали.

Самолет— того же типа, на каком Василий Васильевич летел весь путь, но на нем установлен турельный пулемет и возле него под самым потолком на подвесном сиденье дежурит пулеметчик. Пассажиры чаще поглядывают в окна — и не на землю, как бывало, а в небо. Небо уже темнеет, и в нем не видно никого, только два верных спутника — два истребителя — летят с двух сторон, то отдаляясь, то приближаясь. В этом тоже была обстоятельность, понравившаяся Василию Васильевичу,— разве прошлой осенью могли бы выделить на это истребителей! Тогда и воевать-то нечем было...

В сумерках северной ночи под крылом открылась Ладога — тусклая гладь воды с белеющими на ней последними льдинами. На одной из льдин зоркие глаза Васи-

лия Васильевича разглядели скорченный труп бойца, упавшего вниз лицом. На другой промелькнули какие-то обломки — может быть, от разбитого грузовика или от самолета.

Через полчаса Василий Васильевич ступил на сырую, мягкую землю и всем существом ощутил, что это не простая земля, а ленинградская, желанная, родная.

— Ну, как тут в Ленинграде? — спросил он у встретившегося ему авиатехника.

— Ничего, — лениво ответил техник. — Киоски вот открывают.

— Какие киоски? — не понял Василий Васильевич.

— Обыкновенные. С водами и сиропами, как полагается приличному городу.

И техник подмигнул старому мастеру с таким задором, что Василий Васильевич понял — никакой лениности в этом милом человеке нет, а просто недосуг ему рассказывать, да и трудно отвечать на слишком общий вопрос.

— А вы чего же, папаша, приехали? — спросил техник, косясь на седины Василия Васильевича.

— Для консультации, — проворчал старик. — Со своего завода на свой завод. Понимай как знаешь.

— Очень понятно, — сказал техник и снова подмигнул.

Старенький автобус повез пассажиров по бесконечной темной дороге в город. Василий Васильевич прижимался лицом к стеклу, но городская окраина, которой они ехали, тонула во мраке, и впереди тоже не проблескивало ни одного огонька, хотя именно там лежал громадный, населенный и работающий город.

Пассажиров выгрузили на Литейном и предложили им ночевать в здании Аэрофлота. Хождение по городу ночью без специальных пропусков было запрещено, но Василий Васильевич решил рискнуть.

Перекинув через плечо чемодан и посылку с гостинцами для сына, он уверенно зашагал по знакомым улицам. Все казалось ему прежним, неизменившимся. Изредка попадались развалины, вырисовываясь острыми линиями на светлеющем небе. Василий Васильевич гневно осматривал их и старался запомнить улицу и номер дома.

Заметив патруль, он шел к нему навстречу.

— Пропуска у меня нет, — говорил он, вытаскивая бумажник. — Может, вот эти бумажки подойдут...

Бойцы разглядывали его командировочные документы, понятиливо улыбались:

— Домой?

И он шел дальше, внимательный, радостный. А небо над ним быстро светлело, и по-весеннему ранняя заря позолотила город. Теперь уже не только развалины, но каждую дыру в стене, каждую щербину от осколка видели глаза старого ленинградца, и было их так много, этих дыр и щербин, что Василий Васильевич перестал останавливаться и запоминать.

Заговорило радио.

Ровный, сдержанный голос диктора читал утреннюю сводку:

«...на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и, отбивая контратаки противника, продвигались вперед».

— Так,— сказал Василий Васильевич, несколько встревоженный сообщением о контратаках, потому что подобное упоминание было первым с начала наступления на Харьковском направлении. — Значит, немцы подбросили туда силы и пытаются во что бы то ни стало обновить нас?..

Тем же ровным голосом диктор продолжал читать сводку:

«В направлении Изюм — Барвенково завязались бои с перешедшими в наступление немецко-фашистскими войсками.

На Керченском полуострове продолжались бои в районе города Керчь...»

— Так,— со вздохом произнес Василий Васильевич и зашагал дальше, бормоча себе под нос: — Ну, погодите, погодите! Дайте срок!

Он по-прежнему смотрел по сторонам, отмечая все раны на знакомых улицах, но мысли его унеслись далеко от родного города, на Урал. Подходил час, когда там, в поселке, похожем на лагерь погорельцев, из всех бараков, землянок и вагонов выйдут рабочие, устремляясь к заводу. Рабочие войдут в цех и станут на свои места. Все ли там подготовлено сегодня для бесперебойной работы конвейера? Не затерло ли опять с термической обработкой? Справляется ли заместитель? Золотой он парень, но мячковат... Поправился ли начальник смены или все еще хо-

дит с температурой, в двух фуфайках, и кричит простуженным голосом?.. Эх, не напутали бы там, не сбили бы налаженного темпа!..

С этими тревожными мыслями он подошел к любимой площади и увидел триумфальную арку, увенчанную колесницей. Горячие кони рвались на запад, туда, где за утренней дымкой скрывалась линия фронта, туда, где за колючей проволокой таился враг... «Погоди, мы рванемся! — пригрозил ему Василий Васильевич. — Не на конях рванемся, а на могучих уральских танках... Тысячи танков пошлем на тебя, проклятый... много тысяч...»

Часом позднее он сидел в кабинете директора, деловито обсуждая, что нужно делать, и когда Владимир Иванович, хитро прищурясь, спросил его:

— Как, Василий Васильевич, не ругаете меня, что поехали?

Василий Васильевич только руками развел:

— Толк вышел, так жалеть не приходится.

— Долго у нас пробудете?

Еще на Урале, узнав о командировке, старый Кораблев старался выговорить себе срок побольше. В дороге он даже мечтал — остаться бы в Ленинграде совсем. Но, поговорив с Владимиром Ивановичем и разобравшись в том, что блокадные условия не позволят развернуться широко, сравнив масштабы производства здесь и на Урале, он сурово отказался от своей мечты.

— Долго не могу, — ответил он. — Да и не нужно. Вы мне дайте под начало моего Григория и еще пяток знающих людей, я их проинструктирую, сами сумеют. — Он помолчал и признался: — Боязно мне, Владимир Иванович, как бы там темп не снизили... А на фронте-то, видите, как оборачивается...

Потом он пошел по заводу, то и дело останавливаясь как вкопанный перед страшными разрушениями. Из иных полуразрушенных цехов несся звон и скрежет металла, шипение работающих резцов, стук молотов, голоса. Василий Васильевич устремлялся туда и разыскивал среди женщин и подростков знакомых «стариков» и с ними забывал о горечи этого свидания с еле дышащим заводом, потому что «старики» верили, что все восстановится, вернется.

Он вздрогнул от радостного удивления, увидав в пролете сборочного цеха знакомые фигуры Курбатова и

Солодухина. Все таким же иронически-спокойным выглядел Курбатов, так же рыхло и массивно было подвижное тело Солодухина, так же съезжали на кончик носа его очки, но самое главное — старые приятели всё так же спорили, и совсем по-прежнему, петушком налетал на Курбатова Солодухин.

— Будто я и не уезжал, — сказал Василий Васильевич, подходя к ним.

После первых объятий и расспросов Курбатов пожаловался, любовно косясь на Солодухина:

— Всю душу выел мне толстопузый. Прямо сладу нет.

А Солодухин виновато и нежно пробурчал:

— Ладно, не жалуйся, Василий Васильевич знает, что ты за птица.

— В ваши споры мешаться — что мужа с женой судить, — отмахнулся Василий Васильевич. — Сам же и виноват окажешься... Сын мой здесь?

— Господи, дураки мы! — вскричал Солодухин и рысью побежал по цеху, крича во весь голос: — Гриша! Ко-раб-лев!

— Пройдем к нему, — спокойно предложил Курбатов.

Они застали Григория за разборкой мотора. Помогал ему круглолицый паренек лет пятнадцати-шестнадцати, и старый Кораблев с одного взгляда определил, что паренек работает не без сноровки. А Гриша осунулся, пожелтел, постарел, розовый бугристый рубец, пересекавший его лоб, странно изменил его.

— Отец! — изумленно вымолвил Григорий, поднимаясь.

Паренек тоже почтительно поднялся и сказал, деликатно отводя глаза:

— Здравствуйте, Василий Васильевич!

Его робкое приветствие помогло Василию Васильевичу справиться с собой.

— Ну, здравствуй, мастер, — сказал старик. — Ты чей такой, что знаешь меня?

— Кто же вас не знает...

— Аверьянова сынишка, — объяснил Григорий. — Помощник у меня, правая рука.

— А-а, то-то я смотрю — сноровка у тебя. В отца, значит. Зовут как?

— Александр.

— Выходит, Александр Николаевич. Ну, ну, работай: Николая Егорыча Аверьянова сын должен в первоклассные мастера выйти.

Он повернулся к Григорию и почувствовал, как мучительная отцовская жалость слезами подступает к глазам.

— Эх тебя скрутило, Гриша. Половина осталась... Пойдем куда-нибудь, поговорим, или не можешь?

— Идите, Григорий Васильевич, я сделаю,— сказал Сашок.

— Сделает,— с гордостью подтвердил Григорий. — Если так пойдет, королем мотористов будет!

Отец и сын прошли в пустую конторку и сели рядышком на скамью. Много хотелось им рассказать друг другу и о многом расспросить, но в эти первые минуты свидания все казалось не тем самым главным, о чем следует поведать. Потом Василий Васильевич сказал:

— Что ж, Гриша. Вижу, постоял ты за всех нас... А я вам тут новинку одну привез, интереснейшее, понимаешь, дело...

Кончился рабочий день, давно разошлись рабочие, уборщицы подмели цех и погасили свет, а старый и молодой Кораблевы все сидели в конторке. Старик чертил на клочке бумаги, самодельными чертежиками подкрепляя устные объяснения. Сын вглядывался в рисунки отца, кивал головой и старался точнее схватить суть важного и остроумного усовершенствования, до которого додумались конструкторы и рабочие на далеком Урале. Время от времени старик гордо спрашивал:

— Понял, какая от этого выгода? Понял, до чего тонко?

И тут же, увидев перед собой худое, бескровное лицо сына, подталкивал к нему распакованные и разложенные на столе гостинцы:

— Ты ешь, ешь!

В это время Сашок, окрыленный похвалой своего учителя и многозначительными словами старого Кораблева, неся по улице на самокате и мечтал о том, что скоро его поставят бригадиром, а мать выйдет наконец из больницы и он скажет ей, как глава семьи: «Вот что, мать, работать я тебя больше не пушу, отдыхай и поправляйся — моего заработка на двоих хватит».

Улица была пустынна, только один пешеход шел навстречу Сашку, поскрипывая новыми сапогами. Поздняя вечерняя заря блеклым светом освещала приближаю-

щуюся невысокую, но коренастую и ладно одетую фигуру подростка-бойца. Сашок резко затормозил и соскочил с самоката, завистливо разглядывая новенькое и хорошо пригнанное обмундирование, блестящие сапоги и ремни, щегольскую пилотку, надвинутую на одну бровь...

— Андрей Андреич! — вдруг вскрикнул он, роняя самокат.

Да, это был Андрей Андреич, его сверстник и приятель по школе, шутливо прозванный так за свое мощное сложение и недетскую силу. Это был Андрей Андреич, с которым они виделись в последний раз осенью на строительстве баррикад и о котором ребята говорили, что бедняга, верно, погиб, так как пропал без вести — в школу не явился, в аварийно-спасательный отряд не явился, а квартиры заколочена. И вот он живой, невредимый, да еще каким молодцом выглядит! Шутливое прозвище уже не произносилось, и Сашок спросил, замирая от уважения:

— Андрей, ты где же теперь?

Андрей обрадовался Сашку и по-приятельски тряс его руку, но отрапортовал гордо и даже хвастливо:

— В гвардейском гаубичном полку подполковника Жданова.

— Ух ты! Как же ты попал?

— С осени службу, — важно сказал Андрей. — К медали представлен.

— За что?

— Было одно дело...

— А с возрастом-то как же? — мучаясь завистью, допрашивал Сашок. — Зачислили по всей форме или как?

— Ясно, по форме, разве не видишь! — небрежно ответил Андрей.

Но желание похвастать удачей пересилило желание поважничать, и он рассказал, как однажды на улице его швырнуло воздушной волной, а проходившие артиллеристы подняли его и привели к себе «очухаться», как он подружился с ними и остался на батарее, сперва просто так, а потом заменил раненого подносчика снарядов и был зачислен приказом...

— Ну, а ты? — спросил он снисходительно. — Все в школе?

— Еще чего! — огрызнулся Сашок. — В заводе я. Давно уже.

— Учеником?

Сашок презрительно повел плечом и с достоинством обронил:

— Бригадиром. По моторной группе.

— Вот оно как! — удивился Андрей. — Это какие же моторы? Танковые?

— Всякие, — подчеркнуто туманно сказал Сашок. — Завод номерной, сам понимаешь.

Он был очень доволен, что не ударил лицом в грязь перед удачливым приятелем, но зависть все-таки томила его. Уж очень молодцевато выглядит Андрей, и одет шикарно, и к медали представлен... А тут еще под ногами самокат валяется, глупое ребячество!.. И повстречайся Андрей с другими ребятами, работающими на заводе, — они же скажут Андрею, что никакой он пока не бригадир, а так — «правая рука» четвертого разряда...

— Ну, мне надо в полк, — сказал Андрей, протягивая руку. — Ты вот что, Саша. Если хочешь, приходи к нам. Есть у нас один огневой взвод, где все пожилые подобрались. Они и меня к себе сманивали. Приходи, а? Устрою...

— В гости приду, когда время будет, — солидно ответил Сашок. — А так, что же мне специальность терять? Да и сейчас вот новую технику осваиваем, на кого же я все это брошу?

Андрей удалялся по улице, поскрипывая новыми сапогами, а Сашок смотрел вслед, завидуя ему, стыдясь того, что прихвостнул, но все же ясно чувствуя, что у него появилось в жизни свое, собственное направление и оно ему дорого и важно.

10

Рыхлая, напоенная влагой земля вызвала чувство, прежде совершенно чуждое Лизе. Хотелось прижать к этой земле ладони и через них принять ток вечной, благодатной земной жизни. Равное этому ощущение давали только звезды в ясную ночь, когда раскинувшийся над головой звездный мир рождал представление о вечности и огромности вселенной. Но, глядя в большое небо, Лиза чувствовала себя маленькой, ничтожной, а влажная дымящаяся земля была родной, близкой, теплой, приобщающей к самой основе жизни.

Немцы стреляли с утра, но снаряды пролетали высоко над головами — в город. Здесь, на прифронтовом огородном

поле, было спокойно. То тут, то там виднелись сложенные над грядками женщины в цветных косынках и теплых платках. Теплых платков было больше, ленинградки всё еще мерзли и не доверяли вернувшемуся теплу. Под платками выдавались худые лопатки. Но с лиц уже сошли опухолы и зловещая синева. Натруженные черные руки нежно и тщательно высаживали в дымящиеся на солнце ямки рассаду капусты.

И вот над этим мирным полем раздался знакомый воющий звук. Прежде чем сознание объяснило его, Лиза уже припала к земле, стараясь слиться с нею. Взрыв на излете, снаряд врезался в край поля, и черный столб земли, окутанный дымом, взлетел высоко над полем.

Вскочив, Лиза побежала к щели, настороженно ловя звук приближающегося снаряда, и в нужную секунду опять припала всем телом к земле. Снаряд упал в том месте, где она только что высаживала капусту.

Забившись в защитную щель, выкопанную ими еще ранней весной, женщины обругали немцев крепкими словами и уселись на сыром земляном срезе, плечо к плечу, переждать обстрел.

— Заметили нас,— говорили женщины. — По огородам и то бьют, сволочи!

— Время идет,— вздохнула Григорьева. — Час просидим, ни за что до темноты не высадим.

— Откуда час? — откликнулась Лиза. — Ишь, шквальным шпарт! Шквальный долго не бывает.

Земля ухала от взрывов, на плечи женщин скатывались комья земли и мелкие камешки.

— А вдруг в капусту угодит? — вскрикнула одна из женщин, прислушиваясь.

И всем показалось, что снаряды рвутся как раз в той стороне, где один к одному поставлены ящики рассады.

— Рассредоточить их надо,— сказала Григорьева и поднялась. — Сидеть да волноваться — это хуже смерти.

— Затихает,— добавил кто-то.

— Определенно затихает. Влево перешло.

Женщины сгрудились у выхода, не решаясь выйти, но и не желая сидеть в душной щели. Все поглядывали в ту сторону, где стояла драгоценная рассада.

— Кажется, целы... Вон белеют...

Григорьева вышла первой и решительно зашагала к ящикам.

Лиза последовала за нею.

Григорьева вдруг взмахнула руками и побежала, тяжело переваливаясь. И Лиза побежала тоже, охваченная предчувствием несчастья.

Часть ящиков раскидало взрывом, они лежали опрокинутые, расщепленные, и нежные ростки были размяты далеко вокруг, засыпаны, придавлены.

Ни слова не сказав, Григорьева присела на корточки и стала бережно высвобождать из-под земли нежно-зеленые поникшие стебли. Лиза молча присоединилась к ней. Злоба и жалость душили ее. Как беспомощно никли маленькие стебельки! Как они жаждали влаги и тепла, чтобы выжить! И каждый из них словно просил: «Спаси меня, я пушу корни в землю и поднимусь для тебя пышным, сочным кочном, я накормлю вас всех и помогу вам перенести вашу вторую военную зиму. Спаси меня — и я спасу вас...»

«Выжил, милый!» — шептала Лиза каждому уцелевшему ростку и вдруг сообразила, что смерть была в нескольких метрах от нее, и подумала: «И я выжила, еще раз выжила!» Жизнь, бьющаяся в ее окрепшем молодом теле, показалась ей такой прекрасной, слитой со всем, что есть на свете живого, крепкого, не поддающегося уничтожению, что она вздохнула, зажмурилась и засмеялась про себя. И впервые мысль о постыдности и ненужности этой радости не пришла ей в голову.

Танкисты ввалились в квартиру шумно и бестолково, как обычно вваливаются в дом отвыкшие от домашней обстановки фронтовики. Мария, Андрюша, Мироша вышли к ним в переднюю, и начались рукопожатия, возгласы, поцелуи, быстрые вопросы, остающиеся без ответа, сбивчивые рассказы о причинах приезда.

— А ну, герои, довольно в передней топтаться, — сказала наконец Мария. — Раздевайтесь и — марш в комнату. Мироша, у нас есть чем угощать?

Мироша засуетилась, пошептала с Марией и побежала греть самовар. Алексей подошел к зеркалу и уже вынул расческу, когда дверь одной из комнат раскрылась и Алексей увидел девушку, которую меньше всего ожидал увидеть здесь.

Лиза вышла в коридор с полотенцем на плече, привычно накручивая на палец распутившийся локон. Алексей покраснел и растерянно вкось рванул волосы расческой.

— Лиза! — чуть улыбаясь, позвала Мария. — У меня дорогие гости с фронта, ты к нам присоединишься?

Лиза подала руку разлетевшемуся с приветствием Кривоzubу, перевела взгляд на Алексея и замерла.

— Узнаёте? — пробормотал Алексей и снова рванул волосы.

Лиза так смутилась, что не ответила, не улыбнулась, не подала руки. Алексей Смолин обрадовался ее смущению, засунул расческу в карман и стал снова знакомить Лизу с Гаврюшкой Кривоzubом, объясняя Лизе, что Гаврюшка только что из госпиталя после ранения и что нет на свете более замечательного танкиста и человека.

— Мы с ним жизнью и смертью делимся, — сказал Гаврюшка, разглядывая Лизу. — Только девушки вресь.

Лиза впервые улыбнулась и легко, с необычной резвостью побежала мыться.

— Я с огорода, — крикнула она, — сейчас отмою руки!

Она долго освежала лицо холодной водой. Оттого, что она провела весь день на воздухе и первый загар тронул ее кожу, лицо горело и кровь прилиwała к щекам. Работа на огороде была непривычна и утомительна, но Лиза чувствовала все тело обновленным, легким и свежим. И ее волосы, ставшие за зиму вялыми, послушно свились на ее пальцах в локоны, как будто за день в них прибавилось силы.

— Я изменилась? — спросила она Алексея Смолина, садясь за столом напротив него и требовательно глядя на него блестящими глазами.

— Очень! — восхищенно сказал Алексей. — Я бы вас и не узнал, если б и тогда не представлял вас себе вот такой.

— Какой?

— Сами знаете! — весело буркнул Алексей. — Что ж, мне при всех комплименты говорить?

Ни он, ни она уже не испытывали давешнего смущения. Как два путника, истомленных жаждой, они открыто стремились к обновляющему силы источнику, еще не зная, что их ждет, как не знает путник, склоняясь к воде, будет ли она вкусна и холодна, хотя заранее жадно раскрывает пересохшие губы.

Они были на людях, но как бы одни; пили обычный блокадный чай — чуть подкрашенный кипяточек, но веселое опьянение кружило им головы. Когда Лиза встала,

чтобы проверить, действительно ли начались белые ночи, ее слегка покачивало, как после вина.

Алексей пошел за нею к окну и сказал, близко заглядывая в ее возбужденные глаза:

— Здесь мы ничего не увидим со свету. И постовой засвистит. Может, выйдем в переднюю?

В темной передней они подняли маскировочную штору и увидели призрачно белесую мглу северной весенней ночи.

— Муся вам показывала мое письмо?

— Какое? — протянула Лиза, хотя прекрасно помнила письмо, в котором Алексей рассказывал сестре о встрече на заводе девушке Лизе.

Марии очень хотелось, чтобы Лиза оказалась той самой девушкой, что «запала в душу» Алексею. Но Лиза пренебрежительно сказала, что так бывает только в романах. «Все та же ниточка, чтобы ухватиться... Посошок, чтоб легче шагать», — определила она тогда свое желание откликнуться, признаться, дать адрес. «Но ведь надо жить, и хочется жить», — решила она теперь.

— Я о вас вспоминал, — сказал он и нашел в темноте ее руку.

Теплая волна прошла по ее телу от этого прикосновения. Она на миг вспомнила Леню Гладышева и отдернула руку, с сожалением почувствовав, что Смолин без сопротивления выпускает ее пальцы. Но в то же мгновение он с неожиданной для него самого грубоватостью притянул Лизу к себе, и губы его нашли ее послушные губы. «Что же мне делать?» — мысленно вскрикнула она, не отталкивая его и не отвечая на его поцелуи. Кровь молоточками стучала в висках: «Жить! Жить! Жить!» Лиза почти не знала этого человека и сейчас в неверном сумраке белой ночи не узнавала его лица. Чужие руки торопливо ласкали ее, чужие губы целовали ее, спеша насытиться, а ей было и страшно, и радостно, и до отчаяния горько, и хотелось, чтобы это продолжалось, продолжалось без конца.

Скрипнула дверь, где-то близко раздался голос Мироши, на пол лег косой четырехугольник света из раскрытой двери столовой.

Лиза вырвалась и скользнула в свою комнату. Бросившись на диван, она всхлипнула, улыбнулась и прислушалась,

В столовой громко разговаривали, смеялся милый парень Кривоzub, Мария тоже смеялась. Над чем это они?.. Еще один голос донесся до Лизы, голос размягченный и одновременно рассудительный, напоминавший, что пора ехать. Этот незнакомый голос был голосом Алексея Смолина. Значит, он заторопился уходить?.. Ну и пусть... Пусть...

Униженная этим предположением, она решила ни за что не выходить из комнаты, — пусть уезжает, пусть никогда больше не приходит, тем лучше.

— погоди, Гаврюша, — прозвучал голос Алексея.

Несмелые шаги остановились у ее двери. Он стоял и прислушивался так же, как она. Потом постучал и открыл дверь.

— Нельзя! — испуганно вскрикнула Лиза, придерживая дверь.

— Почему, Лиза? — удрученно пробормотал Алексей. — Я хочу проститься с вами. Мы должны попасть на штабную машину в два часа... Разве вы не можете впустить меня? На минутку?

Она молчала, упираясь руками в дверь, на которую Алексей тихо, но упорно нажимал с другой стороны.

— Разве я обидел вас, Лиза? — Он вдруг очень ласково усмехнулся и просунул в щель руку. — Ну, дайте лапку и не сердитесь. Я ведь очень по-хорошему...

Она отпустила дверь, он вошел и сам прикрыл ее за собой. Она прижалась к этому чужому, желанному человеку и заплакала, а он виновато шептал, подхватывая ее слезы мягкими и теперь только нежными губами:

— Ну вот... я же любя... И постараюсь скоро приехать... и буду писать... Это же хорошо, что я тебя нашел...

Алексей приглаживал ее растрепавшиеся волосы и с волнением сознавал, что эта почти незнакомая девушка, которую он почтительно идеализировал издали, вдруг оказалась очень близкой, земной и, должно быть, по-прежнему несчастливой и что такая она бесконечно дорога ему.

— Береги себя, — прошептала Лиза, вздрогнув от промелькнувшей тревожной мысли.

— Ну вот! Мне теперь тебя беречь нужно... А значит — воевать.

— Когда это кончится, боже мой! — со злостью сказала она.

Мимо двери прожужжал карманный фонарик. Кривозуб вздохнул под самой дверью:

— Кажется, мне придется возвращаться одному.

— Да, ваши ряды поредели на пятьдесят процентов,— сказала Мария.

— Иду, иду! — крикнул Алексей и в последний раз с острой тоской поцеловал Лизу.

Она вышла проводить его, счастливая, грустная, с подпухшими губами. Кривозуб метнул было в ее лицо луч фонарика, но тотчас отвел его и забыл приготовленную шутку.

— Береги себя,— повторила Лиза.

Ей было совершенно безразлично, что ее слышат и видят другие.

11

Добираться до батальона Самохина можно было только ходами сообщений, где после недавних дождей нога уходила в грязь по щиколотку, или под покровом темноты. На этой проклятой равнине все просматривалось и простреливалось насквозь.

Каменский дождался начала короткой северной ночи и со своим связным пошел к Самохину напрямик, подымающемуся испарениями полю, взрытому снарядами. Идти было легко, и теплый сырой воздух был приятен.

Они подходили к железнодорожной насыпи, когда немцы начали кидать мины.

— Товарищ майор, переждать бы,— сказал связной.

Новое звание было еще непривычно и веселило Каменского. Он ответил шутливо:

— Роса большая, товарищ Егоров, лежать мокро, а стоять скучно. Может, доберемся?

— Оно, конечно, правильной переждать, но можно и добраться,— сказал связной и, пригнув голову, пошел вперед уверенной походкой охотника, привычного к ходьбе без дорог.

Связной нравился Каменскому и возвращал его к заботившим его мыслям о полученном пополнении. Пополнение состояло из ленинградцев (отчасти вновь призванных, отчасти вернувшихся из госпиталей) и из новобранцев-сибиряков. Ленинградцы были физически слабы, на всех в большей или меньшей степени сказалась голодная

зима. Но у них выработались незаменимые для бойца душевные качества, которые Каменский коротко определял словами «ленинградская школа». Сибиряки были здоровенными людьми и хорошими работниками, выносливыми ходоками и меткими стрелками. Из них получались ловкие разведчики и прекрасные снайперы, да и к любому другому делу они принаравливались быстро. Беда была только в том, что учить новых бойцов методам современного боя приходилось на ходу, в боевой обстановке, а предстоявшие бои на этой проклятой болотистой равнине против врага, построившего за зиму основательные укрепления, требовали не только смелости, но и умения. Приняв полк, Каменский с первого дня направил все силы своих офицеров на обучение бойцов и с особым пристрастием «вцепился» в младших командиров. Именно их умение и сообразительность определяли исход самой продуманной и хорошо руководимой сверху операции.

— Товарищ майор, тут скорее надо бы, — почему-то шепотом сказал связной у насыпи.

Пригнувшись, они вскарабкались наверх и скатились вниз.

— И чего он пуляет втемную? — возмутился связной. И предложил: — Давайте-ка теперь в траншею. Вернее будет.

Мины рвались бессистемно, то ближе, то дальше. На равнине даже в сумерках человек чувствовал себя открытой мишенью. Добежав до хода сообщения, они спрыгнули в месиво жидкой грязи.

— Ничего, теперь недалеко, — утешил связной. — Шагайте по моему следу, товарищ майор — может, легче будет.

Мина разорвалась совсем близко, осколки провизжали над их головами.

— Накрылись бы мы наверху, — сказал связной.

Как всегда, когда смерть пролетала мимо него, Каменский с томительной и благодарной нежностью вспомнил Марию. Ему казалось, что он очень долго ждал ее, так долго, что любовь ее пришла к нему как нечаянный подарок. Всего три вечера и три ночи они провели вместе... Как она побледнела, узнав, что он наутро уезжает в полк! А простилась с ним легко, будто он уезжал не на фронт, а в мирную командировку...

— Пришли, товарищ майор, — сказал связной. — Значный блиндаж у комбата Самохина, лучше вашего будет,

— Я в своем задерживаться не собираюсь,— ответил Каменский. И добавил, указывая в сторону вражеских укреплений: — Мой новый блиндаж будет там.

Он знал, что эти слова сегодня же полетят по «солдатской почте» во все землянки и окопы и сослужат ему не меньшую службу, чем специальные беседы, призванные развить у бойцов наступательный дух.

Самохин был предупрежден и ждал Каменского с тем смешанным чувством тревоги и радости ожидания, с каким всегда ждут любимого, но строгого командира. Блиндаж у него был сработан сибиряками и действительно отличался надежностью, удобством и даже уютом. Каменский заметил, что на печурке стоят прикрытые крышками котелки, а на краю стола, под белой салфеткой, приготовлена посуда.

— Ничего живешь, хозяин,— сказал Каменский, оглядывая обитые фанерой и покрашенные «под дуб» стены, аккуратно застланную кровать за занавеской и умывальник с зеркалом над ним. — Жениться можешь с такой квартирой. Любая пойдет.

Самохин покраснел и яростно замахал руками на вестового, сунувшегося было в дверь с подносом. Впрочем, через минуту он спросил уверенным и отнюдь не виноватым голосом:

— Вы считаете это излишним, товарищ майор?

Каменский, не отвечая, заглянул под салфетку и увидел чашки, стопки, открытую банку консервов, графинчик разведенного спирта.

— Уверяю вас, товарищ командир, что «блиндажных настроений» у меня нет,— горячо сказал Самохин. — Обо мне можете не тревожиться.

— Нету — и хорошо! — сказал Каменский. — Пойдем-ка тогда, дружок, прогуляемся в роты.

Он не собирался ходить по ротам, решение пришло сейчас и было вызвано лукавым желанием погонять как следует Самохина.

Выходя, Каменский услышал голоса бойцов во второй половине блиндажа. Он задержался.

— Блиндаж не метро, чтобы стены расписывать,— разглагольствовал связной. — «Наш» насчет этого строг. У него такой, значит, генеральный план, чтоб новый блиндаж оборудовать вон в том лесочке, что напротив вас. И опять-таки стенки расписывать некогда, оттуда у нас

будет новый прицел — до самой германской границы...

— А мы и до Берлина не успокоимся, — вызывающе ответил другой голос. — У нашего комбата уж и адресок намечен — Гитлерштрасса...

— Мой-то вашего переплюнул! — не преминул подметить Самохин.

— Дошли бы мои батальоны до Гитлерштрассе, а я как-нибудь за ними поспею! — нашелся Каменский. И уже серьезно добавил: — А «блиндажные настроения», Самохин, подкрадываются незаметно. Закопался, оборудовался, уют завел, над головой шесть накатов, до города рукой подать, а бои всё мелкие, неблагодарные, славы не делают, за каждую сотню метров зубами грызться надо... Стоит ли? Охота ли?

На воле после теплого блиндажа показалось холодно и мокро. Поднялся ветер, гнавший в лицо мельчайшую водяную пыль. Темнота сгустилась, сапоги вязли в клейкой грязи.

Самохин был хорошим, придиричивым командиром и свое большое хозяйство показывал с удовольствием, а людей своих любил и многими гордился. Зная, что Каменский особенно интересуется младшими командирами, он их представлял ему и заводил с ними разговоры, позволявшие оценить их самые сильные стороны.

За ночь они сбили ноги и порядком устали, но оба старались не уступать друг другу в выносливости.

Когда они вернулись в уютный блиндаж комбата и заспанный вестовой бросился разогревать ужин, Каменский положил руку поверх салфетки, прикрывавшей спирт и закуску, сурово кивнул на табурет и сказал:

— А теперь давай поговорим.

Мечтавший об ужине Самохин сразу подтянулся и приготовился слушать.

— Ты мне чем хвастался сегодня? Павлюков у тебя хозяйственный мужик, а Грибов лихой, а Михачев к технике пристрастие имеет... так? Мне же нужно, Самохин, сочетание всех этих качеств. И тебе нужно. И родине нужно. Так вот, на боевую подготовку у Павлюкова надо приналежь, а Грибова учить не лихостью побеждать, а умением и техникой. А почему Мухачев у тебя не заботится о том, чтобы пришедшие из секрета бойцы обсушились как следует? Парадную сторону мы с тобой генералу показывать будем, и то если генерал попадетя неваж-

ный... Ну-ка, доложи, что у тебя с боевой подготовкой намечено.

Обоим хотелось отдохнуть, вытянуть занемевшие ноги, поесть и выпить для бодрости. Но Каменский мучил себя и своего комбата, потому что любил Самохина, возлагал на него особые надежды и не хотел прощать ему того, что простил бы другому. Их нелегкую беседу прервал радостно-взволнованный голос:

— Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу капитану?

Каменский понял — случилось что-то важное и хорошее, чем хотят похвастать именно при нем.

— Что у вас?

— Снайперы вернулись, товарищ командир. С языком.

— С языком?! Тащите его сюда живенько! Очень, очень кстати.

Снайперы были, видимо, за дверью. Они сразу же ввалились в блиндаж, толкая перед собой здорового немца с синяками на лице.

— Вот так встреча! — воскликнул Каменский, подходя к снайперам и пожимая им мокрые, грязные руки. — Вот это встреча!

Перед ним, брезгливо сторонясь пленного, стояли Митя Кудрявцев и Кочарян.

— Вы от него подальше, товарищ майор, — сказал Митя, с детским отвращением выпячивая губы. — Он вшивый.

— Да ну? — рассмеялся Каменский. — А я думал, это у нас для агитации говорят — вшивые фрицы!.. Идите сюда, герси, выпейте сто граммов вне очереди и выкладывайте, как вы его словили.

Поздно вечером Митя и Кочарян пошли выбирать себе новые снайперские позиции, а для этого «немножечко углубились»; фриц же выполз сам из землянки и пошел не в ту сторону, в какую ему следовало идти. Был он пьян, но по дороге сюда протрезвился от страха. Дрался здорово, как боксер. Митя, знавший немецкий язык, уверял, что пленный глуп и неразвит.

Допрос, кратко учиненный тут же, подтвердил определение Мити. Солдат охотно рассказывал все, что знал, но знал немного. Только одно интересное сообщение получил от него Каменский: солдат со своим батальоном прибыл на этот фронт месяц назад.

— Месяц назад! — повторил Каменский, когда Митя и Кочарян увели пленного. — Ты вот говоришь — «топчемся, топчемся», а от нашего топтания немцы вынуждены сюда свежие силы подбрасывать. Чуешь?

Он решительно откинул салфетку и сам расставил на столе стопки, спирт, консервы, тарелки:

— Давай мечи на стол все, что есть! А то ведь голодом заморил, хозяин!

Они весело поужинали, выпили и по стопке, и по второй. Каменский поддерживал незначительный приятельский разговор, выжидая, чтобы Самохин наелся, подогрелся спиртом и сам потянулся к откровенной беседе. А такая беседа нужна... Как бы живо ни интересовался Самохин своим батальоном, как бы живо ни готовился он к предстоящим боям, какое-то недовольство или сомнение жило в глубине его души, и Каменский это почувствовал.

— А ведь я вам не жаловался, что топчемся, — вдруг заговорил Самохин, отталкивая тарелку и выкладывая на стол табак и бумагу. — Почему вы знаете, Леонид Иванович, что я так думаю?

— А ведь думаешь?

— Думаю. А вы не думаете?

— Нет.

— Неправда, Леонид Иванович, говорить вы этого не хотите, потому что меня должны наставлять... а про себя и вы думаете: на кой черт стоит армия и мелкие прорехи затыкает да врагу мелкие царапины наносит! На кой черт мы топчемся на этом болоте, и если шевелимся, то в масштабе батальона или, в крайности, дивизии!..

Он неверными движениями закурил. Каменский увидел, что хмель ударил ему в голову. Сам Самохин тоже почувствовал это, прошелся по блиндажу, окатил голову холодной водой, пофыркал от удовольствия и вернулся к столу, глядя на Каменского пряснившимися глазами.

— Леонид Иванович, вы мой командир и учитель: скажите вы мне ради бога — всерьез вы нас готовите, к наступлению готовите или опять так, в стенку лбом, шишку набить и — восвойси? — Он добавил, заметив движение досады на лице своего командира: — Я волнуюсь, но я не пьян, Леонид Иванович. Душа у меня горит, а водка мне язык развязала, вот и все. Будем мы наступать или нет?

— Будем, — сказал Каменский серьезно.

— Всей армией?

— Всем полком, дружок, всем полком и даже дивизией.

— А-а! — с горечью отмахнулся Самохин и продекларировал, подражая бесстрастному голосу радиодиктора: — «Наши части, действующие на одном из участков Ленинградского фронта, в результате боев местного значения несколько улучшили свои позиции, уничтожив девять вражеских землянок, три станковых пулемета, пять повозок...»

— Не ври! — крикнул Каменский и стукнул кулаком по столу.

Самохин разорвал в пальцах папиросу, сел и стал скручивать новую, кусая побелевшие губы.

— Экой ты кипятюк, а еще слывешь хладнокровным командиром, — с любовью сказал Каменский. И тоже свернул папиросу, готовясь к разговору. — Откипел? Так слушай. Ты себе представляешь общую военную обстановку?

— Тем более надо бить всем фронтом!

— «Тем более, тем более!» Ты сперва разберись! Керченский полуостров пал. А это значит — и Севастополю задыхаться! За зиму мы врага пощипали неплохо, на Харьковском направлении попробовали развить наступление, помогая Керчи. А они ответили на Изюм-Барвенковском, потом на Харьковском, активизировались по всему югу. И, видно, сил у них еще порядочно... Взгляни на карту и сообрази, куда они целят. Я тебе подскажу: через Кубань на Грозный, Баку — раз! К нефти... И к Волге — два! К Волге! Где сейчас судьба страны решается? Да не только страны — всего мира! Там. Всю технику, боеприпасы, резервы куда бросать нужно? Туда!

Самохин сказал умоляющим голосом:

— Да разве я не понимаю? Мне только кажется, Леонид Иванович, что мы бы помочь могли. Нам бы действовать крупнее, решительней. Почему мы всё на отдельных участках да малыми силами?.. Рвануть бы...

— А если ты рванешься всей силой да тебя разгромят? — жестко спросил Каменский.

У Самохина вспыхнули в глазах злые огоньки.

— А вспомните, как вы сами рассуждали осенью, под высотой, и как своего добились. Не разгромили же вас!

— Так, милый мой, ведь тогда все на волоске висело — или паян, или пропал! А потом, дружок, ведь и тогда мы действовали малыми силами и отбили всего два километра, а результат-то был большой! — Он встал и подошел к карте, припшиленной над кроватью. — Флажки ты переставляешь, Самохин, а думаешь над обстановкой мало. Ты погляди на наш Ленинградский фронт. Слышал, что Гитлер провозглашал зимой? «Ленинград упадет к нашим ногам, как спелый плод». А мы не упали и нависаем над всей его северной группировкой не как плод, а как бомба. Кто кого осаждает — они нас или мы их? Сколько мы сил на себя оттягиваем? Не будь нас, они отрезали бы север и охватили бы Москву с севера. Так? А мы не позволяем. Держим. Ленинград они не взяли? Тихвина не удержали? С финнами так и не соединились? Надо же это понимать?

— Это ясно, — упрямо сказал Самохин. — Но меня тут что злит? Вот эти ваши приставки «не»; *не* взяли, *не* удержали, *не* соединились... Ведь это все пассивная оборона, а не активное контрдействие. Когда же у нас будет — побили, прогнали, опрокинули к черту?!

— Не понимаю, как ты, участник всех зимних и весенних боев, мог забыть о том, что наша оборона все время была активной, даже тогда, когда боец шел в бой голым. Сколько ты друзей схоронил в этих боях!

— То и горько, Леонид Иванович, — промолвил Самохин. — Схоронили народу много, а всё на тех же кочках сидим и через ту же насыпь ползаем...

— Ты еще на Невском пяточке не был, друг. А я был. Всего сутки был, а и то удивляюсь, что невредим остался. Вцепились мы в эти восемьсот метров и держимся — дальше пробиться не можем и себя опрокинуть не даем. Почеловечески думаешь — зачем это? Людей пожалеть бы... А по правде, по большой, выходит — оттого и миллионы спаслись. Взяли бы мы обратно Тихвин без этой борьбы за восемьсот метров на правом берегу Невы? Пожалуй, не взяли бы. Огромные силы мы сковали этим пяточком! Или вот здешние бои. Понимаю тебя, хотелось бы успеха покрупней, славы поярче. Думаешь, я славы не хочу? А только, друг, слава нам будет всем и на весь мир, если мы фашистов разобьем... А здешние наши «местные» бои тоже им жить не давали. Да вспомни сегодняшнего пленного! Месяц назад их пригнали. А откуда? С Волхова.

Значит, «местные» бои заставили немцев ослабить напор там, чтобы крепить здесь?

Он встал и ласково обнял Самохина.

— Будем мы с тобой наступать, душа, будем! Вон в тот лесочек ворвемся, вдоль шоссе, на Ульяновку, на Госно... а это тылы Мгинской группировки — значит, у Мги нашим полегчает, значит, ленинградцам угрозы меньше.... А потом будет и побольше дела, самые большие будут дела — побить, погнать, опрокинуть к черту!

— Скорее бы...

— А чтоб скорей, давай наши малые дела выполнять, как большие. И еще вот что, командир батальона, — сказал он другим тоном. — Помните, что эти малые бои для вас — боевая учеба. Боевая подготовка к походу на Берлин, где ваш связной вам квартиру обдумывает. Ясно?

Он выглянул из блиндажа. Сияющее солнечное утро ослепило его светом и обласкало парным теплом воздуха, пропитанного запахами мокрой земли и травы.

— Чертушка! Заговорил меня, а теперь мне на полном свету переть через твою насыпь да по твоим пристрелянным кочкам!

12

Бревно с треском оборвалось и покатилося вниз. Зоя Плетнева, в штанах и спецовке, подпоясанной ремешком, сидела верхом на гребне полуразобранной крыши, бойко орудуя топором, и, когда бревно летело вниз, задорно кричала:

— Э-эй, берегись!

Женщины отбегали от дома.

— Есть! — тихо говорила Тимошкина, бралась за упавшее бревно и волоком оттащивала его в сторону. «Сухое-то, чисто порох!» — растроганно бормотала она, заранее представляя себе, как славно вспыхнет и запоет в печи огонь. И будущая зима казалась ей нестрашной.

Тяжелый зной повис над городом. В неподвижном воздухе четко разносились звонкие удары топоров по сухому дереву, скрежет отдираемых рам, стук падающих бревен. В перерывах между этими близкими звуками можно было слышать далекий, глухой рокот кононады. Уловив его,

Мария выпрямлялась и слушала со стесненным сердцем. Она знала, что означает этот рокот, и губы ее беззвучно шептали: «Только бы удалось ему... только бы остался не-вредим...»

Но канонаду заглушали близкие звуки труда, раздававшиеся по всей этой маленькой окраинной улочке, которой суждено было исчезнуть ради того, чтобы выжил город. Тетя Настя сильными ударами топора отбивала ветхие ступени, исхоженные сотнями ног. Мария отди-рала наличник двери, старенький, облупившийся налич-ник, хранивший целую лесенку зарубок, которыми лю-бовно отмечали рост ребенка... «Кто здесь жил? — думала Мария с грустью. — Вернутся ли когда-нибудь хозяева этого домишка к его заросшему травой фундаменту?.. Или некому возвращаться?.. Конечно, эти деревянные до-мишки в современном городе — нелепость, пережиток старины...»

— Я бы хотела строить дома на этой улице, — сказала она тете Насте, чтобы утешиться. — Удобные, уютные дома...

— Да, — вздохнула тетя Настя, поддев топором до-ску и пытаясь отодрать ее. — Тяжело чужое жилье ру-шить....

Немного погодя она сказала уже веселее:

— А ты попроси там, на новой-то службе. Может, и разрешат? Как окончится вся эта заваруха, будут же здесь отстраивать?

— Шабаш! — крикнула Зоя.

Она метнула топор так, что он вонзился глубоко в землю, и соскользнула вниз.

Все уселись на бревнах, в тени, утомленные не тру-дом, а зноем.

— Холод нехорошо, и жара нехорошо, — сказала Ти-мошкина удивленно. — Думали, век не отогреемся, а те-перь, гляди-ка, разомлели... — Поколебавшись, она робко высказала томившую ее мысль: — И неужели все-таки придется вторую зиму зимовать в блокаде?

— Такой зимы не будет, — убежденно заявила Зоя.

— До чего приспособливается человек ко всякому горю! — сказала тетя Настя. — Вот ведь и к блокаде при-способились.

— Прогадал Гитлер! — подхватила Зоя. — Думал — за самое горло взял, так нам и конец. А мы огороды раз-вели. Дрова запасаем. Говорят, электростанции чинят...

И со снарядами хорошо стало — зенитчики раньше каждый снаряд считали, а теперь заградительный огонь дают.

— Кто о чем, а наша Зоенька все о зенитках...

«Да, приспособились ко всему,— думала Мария.— Жизнь наладилась — трудная, опасная, но все же как-то упорядоченная жизнь... Иначе разве отпустил бы меня Пегов работать по специальности?»

Итак, возвращение к работе по специальности — правда. И оно произойдет в самые ближайшие дни. Но сумеет ли она? Не очень ли она отстала? Мозг так загружен заботами и тревогами... Удастся ли сосредоточиться для спокойного творческого мышления? Она недоверчиво посмотрела на свои руки, грубые, покрытые мозолями, — смогут ли они держать перо, карандаш?

— Глядите-ка, Иван Иванович бежит! — воскликнула Зоя.

Сизов семенил по улице, бойко постукивая палочкой. Несмотря на жару, неизменный красный шарф болтался на его шее.

— Здравствуйте, бабоньки! — провозгласил он. — Отдыхаете?

— Отдыхаем.

— Так, так... А ты что же, Мария, не поступила еще?

— Завтра иду к Одинцову оформляться.

— Так, так... Ну-ка, Маша, проводи меня немного, есть одна секретная тема.

Они отошли вдвоем к тому месту, где еще недавно была калитка, и остановились. Женщины с любопытством поглядывали в их сторону, стараясь догадаться, зачем пожаловал Сизов. Они видели, как Мария встрепенулась и затем вся поникла, как огорченно убеждал ее Сизов, как она тряхнула головой и пошла назад с невеселым лицом.

— Пожалуй, продолжим,— сказала Мария как ни в чем не бывало, но не подняла свой топор, а сама села на траву и стала разглаживать примятые травинки.

— Марья Николаевна, вы уже завтра идете? — спросила Зоя.

— Да,— рассеянно ответила Мария. — Нет,— поправилась она, поняв вопрос.

— А когда?

Мария жалобно усмехнулась.

— Ой, Зоенька, не скоро. Мобилизуют меня. На оборонительные. Начальником участка.

Тетя Настя возмутилась:

— Это Сизов наколдовал тебе! То-то он при людях засовестился! Я бы ему в глаза сказала — нехорошо! Раз уж сам Пегов разрешил...

— Что ж делать, Настя, надо.

— Все надо! — буркнула тетя Настя и поднялась. — А наново отстраивать не нужно будет? Рубишь, рубишь, будто по живому телу...

И она пошла, замахнулась топором, с сердцем рванула доску.

— Я пойду в город, девушки, — сказала Мария. — Меня Пегов вызывает. И Одинцова предупредить нужно.

Она вышла к проспекту, поглядела, не идет ли трамвай. Трамваи не ходили, все было тихо, только в стороне фронта рокотала канонада, будто река ворочала камни, да в центре города глухо рвались снаряды. Мария пошла пешком, мысленно повторяя разговор с Сизовым. Она не была в обиде на него. Он не заставлял ее, а просил. «Понимаешь, золотко, до зарезу не хватает толковых людей. Я тебе дам участочек, ты его сработашь — и свободна». И еще он сказал, как бы мимоходом: «Говорят, они из-под Севастополя осадную артиллерию сюда перекидывают». Она помнила весенний разговор на крылечке, когда Сизов нарисовал ей на талом снегу схему обороны города-крепости. Он, конечно, подберет ей такой каверзный «участочек», что скоро не разделаешься. Только бы договориться с Одинцовым, чтобы ее приняли позднее, осенью.

Разрывы ухали впереди, в центре. Мария шагала навстречу снарядам. «А Андрюша там... Спустилась ли с ним Мироша или сидит наверху, надеется на счастье?.. Это еще не осадные пушки. Пока. А потом будут и осадные...»

Кто-то нагонял ее, шумно дыша. Мария оглянулась и увидела скульптора Извекову. Извекова была в синем комбинезоне, в сандалиях на босу ногу, в лихо заломленном набок берете, из-под которого копной вырывались короткие, с сильной проседью волосы.

— А я гляжу — Смолина или не Смолина? — пересиливая одышку, говорила Извекова. — Глаз-то у меня памятливый. Уф, зашлась совсем!

— Да как вы сюда попали, на край земли?

— Домишко на снос получили, дрова заготовляем, — с удовольствием рассказывала Извекова. — Хорошо на воздухе! Третий день живем здесь, тут и едим, тут и по-

чуем. Вроде дачи. Парни наши и сейчас работают, а я решила в город смотаться, за альбомом.

— За альбомом?

— Наших парней рисовать буду,— объяснила Извекова. — Вы замечали, как труд меняет человека? Вот ведь вижу их, слава богу, в Союзе художников каждый день. Примелькались все и даже надоели. А поглядела я на них в эти дни — до чего же хороши стали! Знаете, очень красив человек после физического труда! Ноги тяжелые, руки тяжелые, а голова легкая и лицо свежее. — Она вдруг заглянула в лицо своей спутницы: — А вы чем-то озабочены?

Мария медлила с ответом. Впереди, в центре города, рвались снаряды — там был Андрияша... А позади, на близком фронте, глухо рокотали орудия — там штурмует немецкие укрепления полк Каменского. Где-то там, среди наступающих бойцов, находится Митя... Где-то там, поддерживая пехоту действиями своих танков, сражаются Алексей и Гаврюша Кривозуб...

Она ни слова не сказала об этом Извековой. В такой тревоге живут и будут жить все до последнего дня войны. О такой тревоге лучше молчать.

— Я собиралась работать в архитектурных мастерских,— сказала Мария,— а сегодня выяснилось, что не придется.

Узнав, что Марии нужно поговорить с Одинцовым, Извекова предложила:

— Пойдемте ко мне в мастерскую. Я позвоню Одинцову. А вы пока мои работы посмотрите.

— Пегов вызывает к шести. Пожалуй, успею.

Они шли уже по центральным улицам города, когда Мария попросила:

— Сделаем небольшой крюк, мимо моего дома, хорошо?

Они сделали крюк, и обе с тревогой посмотрели на дом, где жила Мария. Дом был цел, ставни на пятом этаже были раскрыты, приветливо впуская солнечные лучи в комнату, где играл маленький мальчик, привыкший к звукам артиллерийских разрывов.

В мастерской Извековой все стекла были выбиты и на скульптурах, на глыбах камня, на кучах глины лежал белый налет пыли.

— Ишь ты! — сердито бурчала Извекова, осматривая окна. — Те, верхние стекла еще весной вышибло, а вот

эти были целы. Уж не сегодня ли их трахнуло? Ну да, вот и осколки на полу. Черти поганые! Девушку-то мою ранили!

Посреди мастерской, лицом к свету, стояла законченная фигура девушки-партизанки. Зеленоватая глина, обработанная крутыми, широкими мазками, жила и, казалось, дышала. Крепкие плечи и сильную, налитую грудь облегалла шинель, стянутая в талии и свободно распахнутая в шагу. Девушка шла с винтовкой за спиной. Лицо ее было сосредоточенно-спокойно и решительно. Слегка прищуренные глаза смотрели вдаль,— может быть, девушка прислушивалась к чему-то, может быть, мысли ее улетели далеко вперед, к будущему, за которое она сражалась. Чистый лоб, немного вздернутый нос, красиво очерченные губы и овал лица были нежны, как бывают нежны черты лица только в ранней молодости. Но эта нежность черт одухотворялась и как бы оттачивалась выражением суровой, недевической силы.

Несколько осколков стекла впились в грудь и бедра партизанки.

— Вы меня зимой чуть не сбили рассказом о своей знакомой,— говорила Извекова, осторожно выдирая из глины осколки и разглядывая свою работу пристрастным и неуверенным взглядом. — Лицо у меня было задумано грубее и мужественней. Пришла я тогда, смотрю новыми глазами и думаю: ей же двадцать лет, она стихи любит, она, быть может, еще и первого поцелуя не испытала... Воин она, это так, но воин по необходимости, из гнева, из любви к родине, к жизни и даже к стихам. Мужество ее — от преодоления нежности и слабости. Получилось это теперь, как вам кажется? Как вы ее чувствуете?

— А моя знакомая приезжала сюда с партизанской делегацией,— сказала Мария, отходя от скульптуры, чтобы лучше рассмотреть ее и вернее понять свое впечатление.

— Ну, ну? — волнуясь, торопила Извекова.

В скульптуре не было никакого сходства с Ольгой. У Ольги плечи уже, стан тоньше и гибче, в лице больше мягкости и мечтательности. И все-таки...

— Узнаю,— сказала Мария. — Не по внешности, а по душевному содержанию, как я его поняла.

— Да?

Извекова обрадовалась и с проворством мальчишки полезла по стремянке на антресоли.

— Я вам хочу одну штуку показать, о которой мы говорили! — крикнула она оттуда.

Мария смахнула с подоконника осколки и села на него, высунув голову и лоя разгоряченным лицом слабое дуновение ветерка. Никакие шумы не нарушали тишины, и в этой тишине Мария услышала очень далекую, невнятную канонаду.

— Вот она! — сказала Извекова, осторожно слезая со стремянки.

Небольшая композиция изображала красноармейца в плащ-палатке, распрямившегося над поверженным врагом. Образ красноармейца был плодом того душевного взлета, тем подъемом творческой, вдохновенной силы художника, когда осуществление точно выражает замысел и каждый штрих живет, дышит, играет, послушный воле своего создателя.

Странным противоречием этому живому и конкретному образу выглядела поверженная к его ногам фигура фашиста. Скорченное тело, цепляющиеся за ступени руки, приподнятая голова с ощеренным, злобным лицом были вылеплены по всем правилам. Но образ в целом был условен.

— «Кровь за кровь» — так я ее назвала тогда, — напомнила Извекова. — Не получился фашист, да? Я теперь и сама вижу. Надо было убить его, а он не убивался! Замысел был такой, что я его наземь бросила, а сама-то я его чувствовала иным — прущим вперед с автоматом, злорадным, по-звериному здоровущим...

Она села рядом с Марией на подоконник и оттуда продолжала разглядывать полузабытую работу, стоившую ей большого душевного напряжения.

— А знаете, — с изумлением сказала она, — теперь, пожалуй, я могу вернуться к ней. И убить его. Понимаете? Он еще силен, лезет на Кубань, на Волгу... Но после того, что мы выдержали, после того, как мы, Ленинград, выстояли, — знаю, верю, что так будет со всей страной. Со всем народом. И фашистов я чувствую обреченными.

— Так и есть, — сказала Мария, — но мне кажется, что до победы еще долгий-долгий путь. Много испытаний, много жертв... А так хочется дожить до конца.

Она постаралась представить себе долгие месяцы, а может быть, и годы, полные лишений, труда, опасности и тревоги, — не испугалась, но почувствовала

ощепенение усталости; сидеть бы вот так, никуда не идти, даже не думать ни о чем...

Она резко поднялась.

— Пойдем звонить Одинцову. Мне в райком пора.

Одинцов выслушал ее сбивчивое объяснение и сердито проворчал:

— И очень плохо. Ты бы поговорила с Пеговым начистоту. Что, на тебе свет клином сошелся? Я уже договорился, а к нам сейчас знаешь сколько архитекторов просится! Порастерялись люди, а теперь все к делу тянутся.

— Я как раз к Пегову иду, попробую отбиться,— обещала Мария.

— Обязательно! И не робей, а режь прямо: отказываюсь — и точка.

Пока она шагала через город на прифронтовую окраину, снова начался обстрел. Но разрывы звучали где-то в стороне. А на окраине было тихо, безлюдно. На заросших травой баррикадах желтели полевые цветки.

Милиционер в вестибюле райкома не хотел пропускать Марию, пытаясь загнать ее в бомбоубежище. Мария отмахнулась:

— Меня Пегов ждет.

В секретариате ей сказали, что Пегов поднялся на вышку.

Стараясь не растерять решимости, внушенной советами Одинцова, Мария прошла длинным коридором в запущенное, полуразрушенное крыло дома и стала пробираться по засыпанным штукатуркой лестницам и переходам наверх, на вышку. Все здесь было мертво и покрыто серым налетом пыли. Сквозной ветер гулял по этажам и шелестел обрывками старых бумаг.

Когда Мария остановилась, чтобы передохнуть, ее знобило от холодной сырости, а может быть, и от мрачного запустения, царившего вокруг. Наверху ее ослепило солнце и яркая голубизна открытого неба.

Пегов стоял у края вышки, опираясь ладонями о перила.

— А-а, Смолина! Пришла! — приветствовал он Марию и, не здороваясь, широко распахнул руки, как бы открывая перед нею облюбованную им картину.

Под высоким небом простирался бесконечный мир домов. Крыши, крыши, крыши уходили в даль, затянутую дымкой испарений, и уже в этой дали, из тумана, как

из пены, вздымался темный купол Исаакия. Огромен и плотен был раскинувшийся на десятки километров мир домов, но в самой огромности и плотности его выступал обдуманый порядок, определялся четкий рисунок улиц и площадей, то тут, то там перемежающихся зелеными пятнами садов. И над всем этим порядком господствовали кирпично-бурые заводские и фабричные корпуса, вознося над собой черные трубы.

— А ведь уцелел? Город-то? А? — воскликнул Пегов. — Бьют-бьют, бомбят-бомбят, а он стоит! Дыр, конечно, много... Да ведь что дыры! Людей вот не вернешь. А это всё отстроим.

— Вот и хочется строить, — вставила Мария.

Пегов быстро усмехнулся и кивнул головой.

— Дела-то сколько будет, — помолчал, сказал он.

Отсюда, с высоты, было отчетливо видно, что на покатых плоскостях крыш много рваных дыр, но еще больше свежих, непобуревших заплат. Сколько жизненного упорства вложено в эти заплатки! Вон на том большом доме тщательно залатали крышу, а назавтра три снаряда проббили ее. Тогда Зоя Плетнева сказала кровельщикам: «Назло починила бы снова!» И починили... Но, может быть, сегодня или завтра, ее вспорет новый снаряд?..

— Смотрите, наши контрбатарею начали!

Мария оглянулась. В пронизанном светом воздухе вспышки выстрелов казались бледными, робкими огоньками, а гудение тяжелых снарядов было неожиданно мощным, басистым.

— Сколько я выстоял здесь обстрелов! И каждый раз будто тебя самого на части рвут, — признался Пегов, не глядя на Марию. — Вот там, где развалина, — помните, какой домина был! — мы там образцовое ателье открывали. А теперь скоро и кирпичей не останется, растащат помаленьку... А вон там одна стена торчит — мы тот дом строили для рабочих танкового завода, я неделю с новоселья на новоселье ходил... И вот я думаю иногда: придется ли мне — понимаете, мне лично — дожидаться часа, чтобы все это поднять из праха? — Он простер руку над городом. — Видите ту развалину? Уберем! Две улицы соединим в одну. Во всю длину деревьев насадим. Клумбы, скамейки, песочные кучи для ребят, зимой — ледяные горки. А на месте разобранных деревянных домишек — помните, как они лепились возле новых домов? —

прекрасные дома построим, с центральным отоплением, с ваннами, с газом. И балконов побольше, окна пошире, чтоб солнце... Можно так спроектировать, товарищ Смолина? Почему-то кажется, что после победы солнца должно быть много. — Он взглянул на ожившую Марию и ласково коснулся ее руки. — То-то, дорогой мой товарищ. Хорошая штука — архитектура, но ее еще отстоять надо. Окончательно отстоять. Сделать Ленинград таким неприступным, чтобы никакие штурмы... Да ты сама понимаешь.

— Да, — коротко сказала Мария.

— Участок тебе даем ответственный. А работать — женщинам да школьникам. Навалили на них много, и управлять ими надо душевно, с пониманием. У тебя получится. Потому и задержали тебя. А потом, дорогая, когда справимся да победим, — строй! Много строить будем — и хорошо строить, красиво, удобно, лучше, чем раньше. И ты, Мария Николаевна, обязательно для нас строить будешь, и потребуем мы от тебя всего твоего таланта, и души, и умения. Придирчиво потребуем, потому что своя.

Солнце било в лицо. Сквозь смеженные веки Мария смотрела на широко раскинувшийся город, и глаза ее видели одновременно и вспоротые снарядами крыши, и уродливые нагромождения обрушенных зданий, и одинокую девочку, прыгающую на одной ножке возле баррикады, и то, чего еще не было: просторный бульвар с цветущими клумбами и кучами золотого песка, на которых возятся ребятишки, и окруженные зеленью новые дома, опоясанные балконами и отражающие солнце сотнями зеркальных стекол.

— Бледная ты какая, — вдруг озабоченно сказал Пегов. — Пожалуй, тебе сперва надо бы немножко отдохнуть?

— Да я не устала, — ответила Мария, думая о другом.

*Январь 1942 — октябрь 1946
Ленинград*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Конец августа	7
ГЛАВА ВТОРАЯ. На последних рубежах	58
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Обычная ночь	151
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. В решающие дни	204
ГЛАВА ПЯТАЯ. Испытание душ	336
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Стиснув зубы	423
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Весна	547

Кетлинская В.

К 37 Собрание сочинений: В 4-х т. / Оформ. худож.
Н. Васильева. — Л.: Худож. лит., 1978—1980.
Т. 2. В осаде: Роман. 1979. 632 с.

Удостоенный Государственной премии СССР роман Веры
Казимировны Кетлинской «В осаде» посвящен подвигу ленин-
градцев в годы блокады.

К $\frac{70302-051}{028(01)-79}$ подписное 4702010200,

P2

**ВЕРА КАЗИМИРОВНА
КЕТЛИНСКАЯ**

*Собрание сочинений
в четырех томах*

т. 2

Редактор Г. Антонова
Художественный редактор
Р. Чумаков
Технический редактор
М. Шафрова
Корректор
Л. Никульшина

ИБ № 1226

Сдано в набор 02.08.78. Подписано в печать 19.02.79. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкно-
венная новал». Печать высокая. 33,18 усл. печ. л. 35,492 уч.-
изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 114. Цена 2 р. 50 к. Из-
дательство «Художественная литература», Ленинградское
отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградское производственно-техническое объ-
единение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзно-
лиграфпрома» при Государственном комитете СССР по де-
лам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136,
Ленинград, П-136, Гатчинская, 26.